

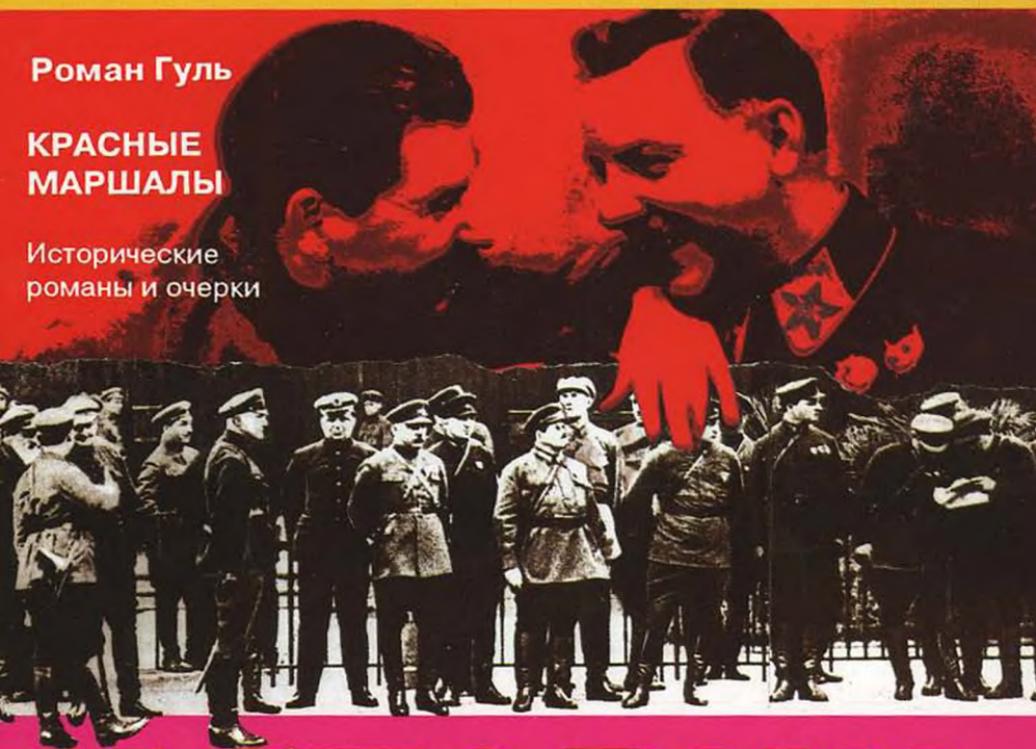
ТАЙНЫ

Век XX

Роман Гуль

**КРАСНЫЕ
МАРШАЛЫ**

Исторические
романы и очерки



ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах



ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Век XX

Роман Гуль

КРАСНЫЕ МАРШАЛЫ

Исторические
романы и очерки



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

- Г94 Гуль Р. Б.
Красные маршалы: Исторические романы и очерки.
— М.: ТЕРРА, 1995. — 656 с. — (Тайны истории в романах, повестях и документах).
ISBN 5-300-00135-X

В книгу вошли произведения известного прозаика русского зарубежья, в которых выражено мироощущение писателя в трагический период отечественной истории.

«Скиф в Европе» — роман о знаменитом анархисте Михаиле Бакунине. Произведение «Конь рыжий» повествует о братоубийственной войне, вспыхнувшей в России после октября 1917 года. Главы из книги «Красные маршалы» — это рассказ о советских полководцах, большинство из которых закончили жизнь на сталинской плахе.

Моя биография¹

ДО РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

Я родился в 1896 году, в Киеве. Свое раннее детство и юность провел в г. Пензе и в Пензенской губернии, в имении отца Рамзай. В детстве я и мой брат Сергей (умер во Франции в 1945 году) часто ездили к деду в уездный городок Керенск Пензенской губернии. С этим заброшенным городком у меня связаны прекрасные детские воспоминания: старый дом, запущенный большой сад, весь старинный уклад той русской жизни. После большевистской революции Керенск из города был «снижен» большевиками в село и переименован в Вад (по реке Вад, на которой он стоит). Переименование было сделано потому, чтобы люди не связывали названия городка с именем премьер-министра февральской революции Керенского, хотя он не имел к городу никакого отношения (впрочем, кажется, его дед, протопоп, был родом из Керенска). Так с географической карты России исчез город моего детства.

Мое отрочество связано с городом Пензой, где я окончил пензенскую Первую мужскую гимназию. Это была старая гимназия, основанная во времена Николая I (тогда это был закрытый дворянский пансион). В наше время это была обычная классическая гимназия. Мой отец был юрист, домовладелец и помещик. В Пензе на главной, Московской, улице (которую я сейчас вижу, как сон) у нас был каменный белый дом. Были свои лошади, две верховые (для меня и брата), корова, куры, собаки. Так тогда жили все зажиточные пензяки. А в Саранском уезде Пензенской губернии у нас было имение в 153 десятины, с большим деревянным домом, фруктовым садом, со множеством всяческой скотины, там в юности я охотился с борзыми и гончими.

¹ Печатается по тексту: Нью-Йорк, «Новый журнал», 1986, № 164.

Отец мой хотел, чтобы я поступил на юридический факультет Московского университета. Я соглашался, хотя к юриспруденции особой склонности не имел. Меня манила жизнь в столице, в Москве. Но когда я был в последнем классе гимназии, в декабре 1913 года отец внезапно умер от припадка грудной жабы. Эта смерть была первым сильным переживанием. Она многое открыла мне, чего я раньше не чувствовал. В 1914 году я поступил на юридический факультет Московского университета. Забыл сказать, что при жизни отца мы семьей (отец, мать и двое нас, сыновей) довольно много путешествовали по России. Часто ездили по Волге, просторы которой до сих пор помню, ездили на Кавказ, где в память врезалась горная гроза, когда мы были на горе Бештау, куда мы ездили на тройке. Бывали в Москве, ездили за границу — в Германию (там в Бад-Наухайме отец лечился почти каждое лето от сердечной болезни; после курса его лечения мы ехали по Европе — в Италию, Швейцарию, Австрию — и возвращались домой в Пензу к началу учения).

В Москве я поселился в знаменитом студенческом районе — на Малой Бронной. Перед университетом я благоговел. Но из профессоров меня увлек только один, читавший введение в философию, — приват-доцент Иван Ильин. Впоследствии он тоже оказался в эмиграции и умер в Швейцарии, в Цюрихе, после второй мировой войны. У Ильина я и стал, главным образом, заниматься философией. Как сейчас помню, Ильин указал мне первые шесть книг для начала занятий: 6-й том диалогов Платона («Апология Сократа»), «Пролегомены» Канта, «Историю философии Древней Греции» кн. С. Н. Трубецкого и еще две-три книги. В это время уже шла мировая война. Когда я перешел на третий курс университета, мой год был мобилизован, и я был отправлен в Московскую офицерскую школу, которую окончил через четыре месяца.

Февральскую революцию 1917 года я встретил, уже будучи молодым офицером в запасном полку в своем родном городе Пензе. Весной 1917 года я отправился на Юго-Западный фронт, где в 417-м Кинбурнском полку был сначала младшим офицером, потом командиром роты, а затем полевым адъютантом командира полка. Мне нравился стиль моего послужного списка: «участвовал в боях и походах против Австро-Венгрии». Как известно, Австро-Венгрии давно уже нет на географической карте Европы.

В Москве в годы моего студенчества я бывал в семье инспектрисы Николаевского института С. Ф. Новохацкой. Она была старым другом нашей семьи еще по Пензе; там она потеряла мужа, бывшего врачом, и со своими четырьмя дочерьми переехала в Москву. К Новохацким я обычно ездил со своим другом детства бар. Гавриилом Штейнгелем. Я был влюблен в Олю Новохацкую, а Штейнгель — в старшую, Наташу. В 1915 году Штейнгель женился на Наташе, я был шафером, и у меня до сих пор сохранилась большая фотография свадебной церемонии. Увы, почти все люди, изображенные на этой фотографии, погибли в гражданской войне и революции. В 1917 году, когда я ушел на фронт, Оля осталась в институте. И встретились мы снова только через много лет, в Берлине, после мировой войны, после двух гражданских войн, после смертей многих наших близких.

ПОЧЕМУ Я ПОШЕЛ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ АРМИЮ

Ни до революции, ни после революции я не принадлежал ни к какой политической партии. Отец мой был член Конституционно-демократической партии «Народной свободы» (русские либералы). В революцию я сочувствовал идеям этой партии и воспринял революцию как демократ. Я был противником монархии, сторонником республики, демократии и социальных реформ. В частности, передачи земли крестьянам, хотя я сам происхожу из помещицкой семьи — у нас в Пензенской губернии было имение. Как демократ, я считал необходимым созыв Всероссийского Учредительного собрания, которое должно установить в России демократическую конституцию. Так как созыв Учредительного собрания был лозунгом и Добровольческой армии, я поехал туда на вооруженную борьбу с большевизмом.

Сначала я был в партизанском отряде полковника Симановского, в рядах которого участвовал в боях с большевиками. Затем этот отряд влился в офицерский Корниловский ударный полк. В составе этого полка я проделал знаменитый «Ледяной поход» по донским и кубанским степям. Участвовал во многих боях с большевиками, под станицей Кореновской в атаке на красный бронированный поезд был ранен в бедро.

Летом 1918 года Добровольческая армия вернулась в Ростов-на-Дону. Меня, как раненого, положили в госпи-

таль в Новочеркасске. К этому времени Добровольческая армия политически меня разочаровала. После смерти генерала Корнилова влияние в армии перешло к монархистам. Демократический лозунг созыва Учредительного собрания стал фиктивным. Монархическая верхушка армии придавала ему антидемократический, антинародный характер. В отношении крестьян применялись бессмысленные жестокости, бессудные расстрелы, чем белая армия отталкивала от себя самые главные антибольшевистские силы, основную массу населения России — крестьян. Я понимал, что такая армия «реставрации» осуждена на поражение. Осенью 1918 года я подал рапорт об уходе из армии. Я уехал вместе с своей матерью в Киев к родным. В Киеве жила моя тетка, Е. К. Высочанская. Ее муж был полковником артиллерии. Гражданская война в рядах Добровольческой армии мною описана в книге «Ледяной поход».

КАК Я ПОПАЛ ЗА ГРАНИЦУ

На Украине в 1918 году тоже шла гражданская война, несмотря на то что Украина была оккупирована немцами. В Киеве сидел гетман Скоропадский. На Киев при поддержке австрийцев наступали войска Симона Петлюры. Защищаясь от Петлюры, Скоропадский объявил мобилизацию всех находящихся в Киеве офицеров. И я, как офицер, был мобилизован и назначен в дружину генерала Кирпичева. Дружина была выдвинута на защиту Киева от Петлюры. 14 декабря 1918 года Петлюра взял Киев. Гетман Скоропадский бежал. Все вооруженные части сдались Петлюре. Я в числе многих сотен других офицеров попал в заключение в Педагогический музей на Владимирской улице. Мы находились там под охраной украинского и немецкого караулов. В это время на Киев с севера наступали большевики. Было ясно, что они возьмут Киев. В этом случае нам, офицерам, грозил неминуемый расстрел. Как я узнал уже много позднее, за нас, заключенных в Педагогическом музее офицеров, стал хлопотать находившийся в Киеве какой-то немецкий генерал, чтобы представители Петлюры разрешили вывезти нас в Германию. Многие офицеры освобождались за деньги и благодаря украинским связям. Я был в числе тех, у кого ни того, ни другого не было. И 30 декабря 1918 года всех нас, оставшихся в заключении, человек пятьсот-шестьсот, погрузи-

ли в вагоны и под охраной немецкого и украинского конвоя повезли в Германию. Попал я в лагерь для «перемещенных лиц», как их теперь называют. И там, в Гарце, в горах, начал писать свою первую книгу «Ледяной поход».

Как я начал писать? Меня давно тянуло к писанию, с детства, с отрочества, но я и вообразить себе на мог, что когда-нибудь то, что я напишу, будет напечатано, будет как-то, стало быть, признано и люди будут это читать. Первое — я, молодой человек двадцати двух лет, был так потрясен зверством гражданской войны, что чувствовал потребность рассказать о ней правду, и рассказать именно так, чтобы люди увидели всю нелепость, глупость и зверство того, что называется словами — «гражданская война». Но непосредственный толчок к писанию мне дала одна книга: рассказы В. Гаршина. В Гарце, в лагере Гельмштедт, где жили русские беженцы, я как-то прочел рассказ Гаршина «Рядовой Иванов». В свое время этот рассказ своим «ужасом» военных картин потрясал дореволюционных русских читателей. Но когда сейчас я его прочел, я подумал: «Да ведь если сравнить «Рядового Иванова» с тем, что я видел в гражданской войне, рассказ Гаршина покажется почти детским чтением». И я решил написать правду о гражданской войне.

2 января 1919 года мы переехали границу Германии. Так началась моя эмиграция. Нас поместили в лагерь военнопленных Деберитц под Берлином. Вслед за нашим эшелоном немцы привезли из Киева в Германию еще четыре-пять поездов с офицерами и солдатами. Гражданская война в Киеве, заключение в Педагогическом музее, наш вывоз за границу и помещение в лагерь Деберитц мной описаны в большой статье «Киевская эпопея» (см. «Архив Русской революции», т. II, Берлин, 1921).

Но когда я начал писать, я понял, какой это труд — «быть писателем». Я не умел выразить своих чувств, не умел построить фразу так, как хотел, она мне не давалась, не умел описать сцену так, чтоб читатель ее увидел и почувствовал. И все-таки с большим трудом, потихоньку я свою книгу писал. И написал. Она называлась «Ледяной поход». Так в истории русской гражданской войны называется легендарный поход зимой через донские и кубанские степи, от Ростова до Екатеринодара, белой армии генерала Корнилова в 1918 году. Участником этого похода я и был. Написанное мною я читал в лагере Гельмштедт, в Брауншвейге, своим друзьям-офицерам, участникам гражданской

войны. Они одобряли. Но о том, чтобы напечатать книгу, я и не думал, ибо мы жили полуголодной жизнью в лагере, отрезанные от культурного мира. Я работал у лесоторговца — в лесу обдираю кору со срубленных деревьев. На помощь мне, как всегда, пришел случай. В берлинской русской газете я прочел, что известный литератор и бывший комиссар Верховной Ставки при Керенском В. Б. Станкевич начинает в Берлине издание русского журнала «Жизнь». Не без волнения я послал Станкевичу одну главу из своей книги и с нетерпением ждал ответа, причем, конечно, ждал ответа «классического»: не подошло. Письмо от Станкевича пришло: он очень хвалил присланный ему отрывок, сообщал, что напечатает его в «Жизни». И больше того, предлагал мне приехать в Берлин на переговоры: может быть, я соглашусь постоянно работать вместе с ним в журнале.

Я с радостью приехал в Берлин. Это был интересный Берлин 1929 года, еще не оправившийся от войны, я его хорошо помню. Наша встреча с В. Б. Станкевичем и его чудесной семьей — женой Наталией Владимировной и дочерью Леночкой перешла в дружбу на всю жизнь.

В нашей жизни много моментов, которые запоминаются на всю жизнь. Моменты эти бывают и значительные, и незначительные. Так вот, я не знаю, как назвать — значительным или незначительным — момент, когда я впервые увидел в журнале «Жизнь» напечатанным то, что я написал. Для писателя, то есть для человека, для которого его писание есть призвание, — появление в печати первого произведения — это всегда знаменательная дата. Я и сейчас помню свое чувство, когда открыл журнал «Жизнь» с моим первым отрывком из «Ледяного похода». Это было счастье возможности того жизненного пути, который я сам выбрал. Вскоре издатель С. Ефрон в Берлине издал мою книгу «Ледяной поход». Это было в 1921 году. Книга имела большой успех. Помню, я получил письмо от Максима Горького, в котором он хвалил мою книгу. Хорошо отозвался о ней приехавший тогда в Берлин известный поэт Андрей Белый. На одном литературном собрании в 1922 году я встретил высланного из России известного критика Ю. Айхенвальда. Знакомясь со мной, он сказал хорошие слова о моей книге: «Ваша книга против всякой гражданской войны — и против белых, и против красных».

В 1920 году Станкевич предложил мне переехать из лагеря в Берлин, где он редактировал тогда журнал

«Жизнь». Я переехал. Вокруг Станкевича и его журнала образовалась небольшая группа русских демократов-антикоммунистов. Группа называлась «Мир и труд». Политическая позиция группы выражалась в желании внутреннего замирения России после гражданской войны. В первом номере журнала «Жизнь» сообщение от редакции говорило: «Период опустошения и разрушения близок к концу. С каждым днем ярче предчувствуем мы приближение творческого периода русской революции, который несомненно наступит, какой бы политической вывеской ни прикрывалась власть». Настроения этой группы были и моими настроениями. В журнале «Жизнь» я опубликовал три отрывка воспоминаний о гражданской войне «Ледяной поход».

В Берлине я сотрудничал и в других русских антикоммунистических журналах и газетах: «Время», «Русский эмигрант», «Голос России», «Новая русская книга». Политических статей я не писал, ибо вообще я не публицист и их не пишу. Я писал художественную прозу и статьи по вопросам литературы. В 1921 году в Берлине в издательстве С. Ефрона (владелец издательства, Семен Абрамович Ефрон, позднее умер в Берлине) вышли отдельной книгой мои воспоминания о гражданской войне «Ледяной поход» (с Корниловым). Это была моя первая книга. Она была и первой книгой о гражданской войне. Эта книга имела большой успех, о ней много писали. Ряд известных писателей (М. Горький, Ю. Айхенвальд, А. Белый и др.) прислали мне свои письма. Но в правых, монархических, кругах книга вызвала возмущение и ненависть ко мне, ибо я рассказал всю правду о жестокости гражданской войны, о бессудных расстрелах крестьян, о тупости политики белой армии. Ненависть русских монархистов и фашистов ко мне живет до сих пор в их печати и в кругах таких организаций, как «Общевоинский союз», «Высший монархический совет» и пр. Ненависть эта несправедлива, ибо вся последующая литература о белой армии подтвердила то, что я писал в «Ледяном походе». Я имею в виду даже такие книги, как воспоминания известного монархиста В. Шульгина, воспоминания самого генерала Врангеля и другие.

По приезде в Берлин я вступил в Русский студенческий союз, ибо думал продолжать прерванное войной высшее образование. В Союзе я был избран товарищем

председателя. Председателем был Евгений Исаакович Рабинович, ныне видный американский ученый по вопросам атомной энергии и редактор «Бюллетеня Комитета атомной энергии».

Мы с Рабиновичем всегда были в хороших отношениях, хотя он и не разделял моей тогдашней веры в то, что в Советской России даже при начавшемся нэпе возможна эволюция в сторону демократии. Из-за политических споров Русский студенческий союз вскоре раскололся на три части. Из Союза ушли монархисты. Ушли также члены Союза, стоявшие, как и я, на точке зрения внутреннего замирения в Советской России после гражданской войны. Эта группа студентов выбрала меня своим председателем. Вскоре я совершенно ушел от всяких студенческих дел, ибо решил высшего образования не продолжать, а всецело посвятить себя литературе.

Тогда в Берлине была группа русских молодых писателей, поэтов, художников. Это начало своей эмигрантской жизни вспоминаю с удовольствием, как всякую беззаботную молодость.

В 1921 году, пройдя больше 400 километров пешком по Советской России до границы Польши и тайно перейдя границу, ко мне из Варшавы в Берлин приехала моя мать и с ней наша старая няня, Анна Григорьевна Булдакова. А в 1925 году из Советской России после тяжелой операции приехала моя теперешняя жена Ольга Андреевна Новохацкая, с которой мы обвенчались в 1927 году. За годы жизни в Берлине я издал сравнительно много книг — «Генерал БО», двухтомный роман, переведенный на восемь иностранных языков, «Скиф» (роман о Бакунине), две книги о красных советских маршалах — «Тухачевский» и «Красные маршалы», которые тоже были переведены на несколько иностранных языков, и другие.

В 1921 году я поступил секретарем редакции русского эмигрантского библиографического журнала «Новая русская книга». «Новая русская книга» имеется в Публичной библиотеке Нью-Йорка. Этот антикоммунистический журнал издавался издательством Ладыжникова (владелец, Б. Н. Рубинштейн, погиб во время последней войны в Париже). В «Новой русской книге» я писал литературно-критические статьи и рецензии. Как секретарь работал в этом журнале до его закрытия в 1928 году.

«СМЕНОВЕХОВЦЫ» И ГАЗЕТА «НАКАНУНЕ»

Так как клевета на меня со стороны монархистов, солидаристов и советских агентов всегда оперировала моим «сменовеховством» и сотрудничеством в газете «Накануне», то я хочу подробно осветить все это.

В июле 1921 года в Праге группа видных русских эмигрантов издала сборник «Смена вех». В сборнике поместили статьи профессор Ю. Ключников, профессор Н. Устрялов, профессор С. Лукьянов, профессор С. Чахотин, А. Бобрищев-Пушкин и Ю. Потехин. По заглавию сборника — «Смена вех» — люди, примыкавшие к этим взглядам, получили в эмиграции название «сменовеховцев». Позиция группы сборника «Смена вех» была такова. Оставаясь антикоммунистами, «сменовеховцы» верили в то, что провозглашенная в Советской России в 1921 г. новая экономическая политика (нэп) является ликвидацией коммунистической революции, примирением власти с населением и постепенным переходом России к формам трудовой демократии. В сборнике «Смена вех» профессор Н. Устрялов писал: «Коммунизм не удался... дальнейшее продолжение этого опыта в русском масштабе не принесло бы с собой ничего, кроме подтверждения его безнадежности при настоящих условиях, а также неминуемой гибели самих экспериментаторов... Дело в самой системе, доктринерской и утопической при данных условиях. Только в изживании, преодолении коммунизма — залог хозяйственного возрождения государства».

И, веря, что Россия после гражданской войны встанет на путь нормальной хозяйственной и политической жизни, авторы сборника «Смена вех» звали эмиграцию к примирению с властью в Советской России. Напомню, что положение в России тогда было таково: вся земля была в руках крестьян — это был единственный период во всей русской истории, когда крестьяне обладали всей землей и были довольны своим положением; рабочие не были прикреплены к фабрикам и заводам, а работали где хотели; в искусстве и литературе была относительная свобода; наряду с Государственным издательством (ГИЗ) открылись частные издательства; в хозяйственной жизни была частная инициатива, многим собственникам были возвращены предприятия и дома; были допущены иностранные концессии. Именно тогда у теперешнего губернатора Нью-Йорка Аверелла Харримана были концессии в России. Существовали уже отдельные концлагеря, но системы принуди-

тельного труда тогда не было. Выезд за границу был не свободен, но все-таки за границу тогда выпускали сравнительно легко. Веру «сменовеховцев» в эволюцию советского режима разделяли многие иностранные государственные деятели. За границей на такой же позиции стояло несколько русских изданий. В Нью-Йорке, в частности, газета «Новое русское слово» и ее редактор М. Е. Вайнбаум.

В марте 1922 года группа «сменовеховцев» (проф. Ю. Ключников, проф. С. Лукьянов, проф. С. Чахотин, Ю. Потехин и другие) стала издавать в Берлине сменовеховскую газету «Накануне». Я подчеркиваю — сменовеховскую, а не коммунистическую, как лгали многочисленные доносчики. В Берлине существовала коммунистическая русская газета «Новый мир», но со «сменовеховцами» она не имела ничего общего. Сотрудничать в «Накануне» стали многие видные русские писатели и журналисты: Алексей Толстой, Ив. Соколов-Микитов, А. Дроздов, А. Ветлугин, Н. Петровская, И. Василевский (Не-Буква) и др. Алексей Толстой редактировал воскресное «Литературное приложение» к «Накануне».

В это время я работал в журнале «Новая русская книга». Однажды, придя к нам в редакцию, Толстой попросил у меня литературный материал для своего «Литературного приложения». Я тогда как раз писал роман из жизни эмиграции 1920—1921 годов «В рассеяньи сущие» и дал Толстому отрывок. Этот отрывок был напечатан в «Литературном приложении» к «Накануне» от 28 мая 1922 года.

Вскоре в Союзе русских писателей и журналистов Владимир Татаринов поднял вопрос об исключении из Союза всех сотрудников «Накануне». После напечатания отрывка из моего романа я, считая себя солидарным со всеми сотрудниками «Накануне», пришел на собрание Союза, где должен был обсуждаться вопрос об исключении сотрудников «Накануне». Так как в Союзе у меня было много друзей, которые не хотели моего исключения, то они предложили мне, чтобы я сам просто ушел из Союза. Но я на это не пошел. И в своем выступлении на собрании Союза сказал, что я не понимаю, почему за помещение в газете «Накануне» художественной прозы я должен быть исключен, а один из редакторов газеты «Руль» (ежедневная демократическая газета, издававшаяся в Берлине И. Гесенем, А. Каминкой и В. Набоковым), профессор Каминка, который имел тогда с большевиками торговые операции,

может оставаться в Союзе. Это произвело впечатление скандала. Добровольно уйти я отказался. Тогда собранием было принято постановление об исключении всех сотрудников «Накануне» из Союза. Вскоре после этого в газете «Руль» была помещена заметка репортера Бориса Бродского об этом собрании, в которой он приписал мне, будто на собрании я заявил себя «сторонником диктатуры пролетариата» (?!).

Хотя я и не писал политических статей в газете «Накануне», тем не менее один мой фельетон может прекрасно осветить мои политические настроения того времени. Этот фельетон под названием «D-Zug» был помещен в «Накануне» от 25 ноября 1923 года. В нем я описывал свою летнюю поездку по Германии и высказывал кое-какие политические мысли. Я наивно, как я теперь понимаю, писал о том, что мечты коммунистов о мировой революции кончились и Россия выходит из революционных бурь своеобразной Америкой. Вот цитата из фельетона: «Русские интеллигенты-коммунисты — последние из касты русской интеллигенции, мечтавшей сделать жизнь «для внуков» и тянувшиеся детскими руками к звездам... Непрошено, неожиданно и негаданно в жизнь пришли новые гости. Дали новый тон жизни. Это — люди не метафизически, а буквально выросшие в революции. О, они живут не для внуков! Извините, на себя жизни не хватает. Это — не интеллигентская мечта. Ей подвели итог. Это — Америка с московским масштабом». Полагаю, что этой цитаты достаточно, чтобы показать не только мою тогдашнюю наивность, но и всю лживость утверждений, будто бы я заявлял себя «сторонником диктатуры пролетариата».

Когда в Париже в 1945 году начала издаваться русская прокоммунистическая газета «Русские новости», главным ее сотрудником (а фактически редактором) стал В. Татарин, репортером — Б. Бродский. Через некоторое время французские власти выслали Б. Бродского из Франции в Советский Союз как советского агента, о чем сообщалось во всех русских газетах.

Работа в «Накануне» дала мне возможность многое узнать о Советской России. Эта газета была допущена к продаже в Советской России, будучи там единственной некоммунистической газетой. Естественно, что целый ряд лучших беспартийных писателей, живших в Советской России, приняли участие в «Литературном приложении» к «Накануне». Там печатались Мандельштам, Пильняк, Фе-

дин, Катаев, Никитин, Волошин, Слезкин, Мариенгоф, Всев. Иванов, Булгаков, Лидин, Рождественский, Орешин, Неверов, Чуковский, Никулин, Голлербах и многие другие. Со многими из них у меня установилась дружеская переписка, со многими я познакомился, а с некоторыми и близко сошелся, когда они приезжали в Германию. В те годы за границу писателей выпускали сравнительно легко. В Берлине я познакомился с Конст. Фединым, Юрием Тыняновым, Борисом Пильняком, Евг. Замятиным, Ник. Никитиным, Ильей Груздевым и другими. Все это были писатели не только беспартийные, но и настроенные враждебно к режиму. С некоторыми я близко сошелся, и они были со мной откровенны. От них я узнал многое о советском режиме и тамошней жизни. В разговоре со мной ни один из них не посоветовал мне вернуться в Россию.

В двадцатых годах в Советской России у меня вышли три книги: «Ледяной поход», «Жизнь на Фукса», «Белые по Черному» (очерки о жизни русской эмиграции в Африке, написанные мной по рассказу бывшего там эмигранта). «Ледяной поход» был перепечатан Госиздатом с издания, выпущенного в эмиграции. Рукописи двух других книг я передал моим друзьям, Константину Федину и Илье Груздеву, которые их и провели в Ленинграде через цензуру и устроили их издание. Гонорар за них я получал по почте, тогда переводы делались свободно.

Кончая говорить о «сменовеховстве», я хочу указать на трагическую судьбу политических представителей этого течения. Профессор Н. Устрялов был приглашен Советским правительством приехать в Россию. Он поехал и был убит чекистами в поезде. Профессор С. С. Лукьянов вернулся в Россию, был заключен в Ухт-Печерский лагерь, где умер, как сообщают, под пытками на допросах. Профессор Ю. Ключников бесследно исчез в каком-то концлагере. Журналист Литвин был сослан на Соловки. Погибли также многие вернувшиеся в Россию писатели, такие, как, например, Георгий Венус, умерший в тюрьме в Сызрани. Так смертью расплатились люди за свою ошибку — за то, что они поверили в возможность эволюции советского режима в сторону нормального демократического государства.

С конца двадцатых годов, когда в России обозначился отказ от нэпа и новый поворот в сторону коммунизма, я был уже таким же врагом советской власти, каким был в 1917 году.

ЛИТЕРАТУРНАЯ РАБОТА В БЕРЛИНЕ

В 1924—1933 гг.

С 1924 года в Берлине я работал как свободный писатель. Мои книги выходили по-русски и на иностранных языках. Все мои книги по-русски выходили в эмигрантском издательстве «Петрополис» (владельцем этого издательства был проф. А. С. Каган).

В 1929 году в изд-ве «Петрополис» вышел мой двухтомный исторический роман «Генерал БО». Этот роман имел большой успех, был переведен на восемь иностранных языков. Главными действующими лицами романа «Генерал БО» являются известные исторические лица: провокатор Азеф и его друг, известный революционер-террорист Борис Савинков. Роман описывает борьбу партии социалистов-революционеров и царской полиции в 1905—1908 гг.

В 1931 году в изд-ве «Петрополис» вышел мой другой исторический роман, «Скиф» (об анархисте М. Бакуanine, из времен царствования Николая I, 1830—1850 гг.). В 1932 году я опубликовал в изд-ве «Петрополис» книгу «Тухачевский. Красный маршал».

Это была первая книга из задуманной мною серии портретов видных советских деятелей. Когда книга «Тухачевский» вышла, издатель А. С. Каган мне рассказывал, что к нему в издательство приходил Эренбург и сказал, что эту книгу Советы не простят ни автору, ни издателю. Впоследствии книга «Тухачевский» вышла по-французски, по-шведски, по-фински. В Нью-Йорке эта книга была напечатана на идише в газете «Форвертс». В 1933 году в «Петрополисе» вышла моя книга о других советских маршалах — Ворошилове, Буденном, Блюхере, Котовском. Эта книга вышла и на французском языке.

В 1933 году я работал над следующей книгой из этой серии — биографиями вождей коммунистического террора (Дзержинский, Менжинский, Ягода и др.). В этой книге я решил дать историю коммунистического террора начиная с 1918 года. Но в июне 1933 года из-за прихода Гитлера к власти оставаться в Германии я не хотел. Я хотел с женой переехать в Париж. Многие из моих друзей, русских демократов, уже уехали тогда во Францию. Уехал, в частности, и Б. И. Николаевский, который обещал мне выслать французскую визу. Через некоторое время он мне сообщил, что виза для меня и жены получена и я могу пойти за ней во французское консульство. Эту

визу Николаевский получил через известного французского политического деятеля, впоследствии премьер-министра, Леона Блюма. Но как раз в этот момент со мной произошла неожиданная неприятность: я был арестован гитлеровцами. Мой арест и мое пребывание в концлагере Ораниенбург подробно описаны в моей книге «Ораниенбург. Что я видел в гитлеровском концентрационном лагере». Эта книга была мной выпущена в 1937 году в Париже.

МОЯ ЖИЗНЬ В ПАРИЖЕ В 1933—1938 гг.

3 сентября 1933 года мы с женой приехали во Францию. В Париже я продолжал свою литературную работу. Я сотрудничал в известной, самой распространенной русской антикоммунистической газете проф. П. Н. Милюкова «Последние новости». В ней еще из Германии, в 1932 году, я напечатал серию статей под названием «Прыжок в Европу». Это — рассказ о советской жизни бежавшего через Прибалтику в Германию советского юноши Петра Шепечука. С ним я встретился в Берлине у своих знакомых, которые принимали в нем участие. И по его рассказам написал эту рукопись. Она печаталась и по-немецки.

Кроме «Последних новостей» я сотрудничал и в других антикоммунистических журналах: в «Современных записках», в «Иллюстрированной России», в «Иллюстрированной жизни» и др. Писал я также сценарии для кино. В 1933 году я вступил членом в Союз русских писателей и журналистов во Франции.

В 1936 году я закончил свою книгу по истории коммунистического террора и опубликовал ее по-русски. По-русски она называлась «Дзержинский» (по имени первого начальника Чека и организатора красного террора). Все материалы для этой работы я получал из богатейшего архива Б. И. Николаевского. Во французском издании я довел эту работу до террора Ежова (знаменитые Московские процессы и пр.).

В 1935 году я вступил в русскую масонскую ложу «Свободная Россия» (ложка «Великого Востока Франции»). Это была ярко антикоммунистическая ложка. В этой ложе в 1936 г. я читал доклад о терроре в Советском Союзе (из своей книги по истории красного террора). Тем вре-

менем в монархической газете «Возрождение» советским провокатором генералом Скоблиным через своего друга, сотрудника газеты «Возрождение» Н. Н. Алексеева, было сообщено, что я читал «доклад о масонстве в СССР». Привожу это как один из примеров борьбы со мною советских агентов.

В конце 1936 года благодаря изданному по-французски моему роману «Генерал БО» известный кинорежиссер Жан Федер пригласил меня работать в фильме из русской революции. Это был фильм для Марлен Дитрих и Роберта Доната «Knight without armour» («Рыцарь без доспехов»), который ставился Александром Корда. Я был приглашен как «technical and dramatical adviser». В Лондоне я пробыл больше полугода. Когда я вернулся во Францию, то на заработанные деньги купил на юге Франции небольшую, в 5 гектаров, ферму Пети Комон около городка Нерак, в департаменте Лот-э-Гаронна. Эту ферму я купил, собственно, для своего брата, который хотел во Франции заняться сельским хозяйством.

Как раз в 1936 году мне после долгих стараний удалось через известного депутата французской палаты Мариуса Мутэ получить визу для моей семьи, оставшейся в Германии. Моя мать, брат, его жена и мой племянник в конце 1936 года приехали во Францию. Брат мой с семьей поселился на ферме Пети Комон и занялся сельским хозяйством.

Приезд моей семьи из Германии дал мне возможность опубликовать мою рукопись «Ораниенбург. Что я видел в гитлеровском концентрационном лагере», которую я не мог напечатать, пока семья оставалась в Германии. Эта моя книга вышла в 1937 году в Париже. В русской демократической печати книга «Ораниенбург» имела много хороших отзывов, но со стороны русских монархистов и фашистов (а в эмиграции их было великое множество) она вызвала брань по моему адресу.

В 1937 году в русском театре в Париже была поставлена моя пьеса «Азеф» (по роману «Генерал БО»).

В 1938 году на ферме Пети Комон под Нераком умерла моя мать и похоронена на кладбище Нерака. Вскоре вспыхнувшая война застала меня и жену на ферме Пети Комон. Все мои политические и литературные друзья тогда покидали Францию, уезжая в Америку. Мы тоже хотели съехать с женой в Америку. Для этого я держал связь с Б. И. Николаевским, который принимал участие в организации этого переезда. Он дол-

жен был приехать к нам на ферму, чтобы обо всем переговорить, но приехать так и не смог. И я остался во Франции.

ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ, 1939—1945 гг.

На ферме Пети Комон я остался совершенно без всяких средств. Демократические русские газеты и журналы с занятием Парижа немцами прекратились. Русские монархисты и фашисты пошли с немцами и грозили мне за мою книгу «Ораниенбург». Ферма в пять гектаров прокормить нашу семью не могла. И мы с женой в 1939 году пошли рабочими на стеклянную фабрику в городке Вианн (в том же департаменте, неподалеку от фермы). Работали мы там около полугода. Но фабрика закрылась из-за военных событий. Из-за моей книги «Ораниенбург» я должен был от немцев скрываться. Мы с женой решили превратиться в самых настоящих крестьян. В 1940 году я, мой брат, моя жена, жена брата сняли, как испольтчики, большую ферму в 30 гектаров с тридцатью головами рогатого скота. Это была молочная ферма с одиннадцатью молочными коровами недалеко от городка Вианн, в том же департаменте Лот-э-Гаронн. Ферма принадлежала богатому французу Ле Руа Дюпре. На ней, как крестьяне, мы прожили три года. После этого переехали на другую ферму, около городка Кастельжалю в том же департаменте: эта ферма называлась Пайес и принадлежала французу Мобургету. На этой ферме мы дожили до конца войны. Позже монархисты, солидаристы и советские агенты узнали, что я жил «где-то на границе Испании», — между тем во время войны иностранцы не имели права передвижения по стране. Они были прикреплены к месту их жительства.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАРИЖ, 1945—1950 гг.

После окончания войны в июле 1945 года мы с женой вернулись в Париж на нашу старую квартиру (258 рю Лекурб. Париж XV). По приезде в Париж в 1945 году я вошел в русскую масонскую ложу «Юпитер» («Великая Ложа Франции»). Через некоторое время я вынужден был

из нее уйти. Дело в том, что большинство ее членов стояло тогда на просоветской позиции. На этой почве в ложе у меня произошел конфликт с просоветской группой (адмирал Вердеревский, братья Ермоловы, Шклявер и др.). И так как эта группа в ложе была в большинстве, я, разослав русским масонам циркулярное письмо, протестующее против прокоммунистических настроений этих масонов, ушел из ложи. Документы по этому делу имеются в моем архиве.

По приезде в Париж я связался со своими друзьями в Америке, Б. И. Николаевским, В. М. Зензиновым и другими. В это время я закончил новую книгу «Конь Рыжий» (моя автобиография в художественной форме). Эту рукопись я послал в Америку через Б. И. Николаевского профессору М. А. Карповичу, редактору «Нового журнала». Она там была напечатана в книгах 14, 15, 16, 17 за 1946 и 1947 годы. В 1952 году «Конь Рыжий» вышел отдельной книгой в издательстве им. Чехова в Нью-Йорке. Вместо предисловия было напечатано письмо ко мне известного русского писателя-эмигранта Ив. Бунина. Книга имела везде хорошую прессу. Даже военный монархический журнал «Часовой» («La Sentinelle»), выходящий в Брюсселе, в Бельгии, сочувственно отозвался об этой книге.

В эти годы я продал один мой киносценарий нескольким французским обществам: Синэ-Альянс, Аталье Франсэс, Викториа Фильм. В те же годы в Париже я занялся и политической работой — впервые в моей жизни. После войны в Западной Европе осталось много советских эмигрантов, и мне тогда казалось, что именно с ними можно начать широкую и активную антикоммунистическую работу. В Париже я познакомился со многими из советских эмигрантов. Оказывал им всякого рода помощь.

В 1946 году ко мне домой приехал С. Мельгунов, прося меня о совместной с ним антикоммунистической работе. Мельгунов просил меня войти в редакцию антикоммунистических сборников, которые он выпускал тогда в Париже. Но в 1948 году я с ним разошелся из-за напечатания статьи профессора Карташева о белой армии, с которой я был не согласен. Об этом инциденте Мельгунов писал в своих сборниках. После статьи Карташева я вышел из редакции сборников Мельгунова; в них прекратили сотрудничать и мои нью-йоркские друзья.

В конце 1948 года я создал демократическую группу под названием «Российское народное движение» и стал из-

давать журнал «Народная правда». Мельгунов, человек чрезвычайно пристрастный, начал против меня мелочную гравлю. В ней приняли участие окружавшие его монархисты (Цуриков и др.) и солидаристы (Столыпин и др.), с которыми у меня были давние счеты. В конце концов на эту гравлю я вынужден был ответить открытым письмом гг. Мельгунову и Цурикову в «Народной правде» (№ 7—8, 1950 г.).

Самую существенную помощь «Народной правде» оказывал тогдашний представитель Американской федерации труда Ирвинг Браун. С Брауном меня познакомил в Париже американский журналист Леон Дениен (Денненберг). Б. Николаевский и Д. Далин принимали самое близкое участие в «Народной правде». «Народная правда» просуществовала с 1948 года по 1952 год. Этот демократический журнал имел большой успех в широких кругах эмиграции. Последние номера я издавал уже в Нью-Йорке. Тут мне поддержку на это издание оказал «Американский комитет по борьбе с большевизмом» в лице его тогдашнего председателя Юджина Лайонса.

В 1949 году в Париж приехал Виктор Кравченко на свой процесс. Друзья из Нью-Йорка советовали ему обратиться в Париже ко мне. Кравченко пришел ко мне. Прежде всего ему нужен был секретарь, которому он мог бы *абсолютно доверять* и с которым мог бы работать во время процесса. Я ему привез для этой работы нашего знакомого, Александра Зембулатова. Во время процесса Зембулатов, как переводчик и личный секретарь, проделал для процесса громадную работу. Во время процесса я поддерживал с Кравченко непрерывную связь. Как-то ко мне приехал мой друг, известный польский антикоммунист, писатель граф Йозеф Чапский. Он сказал, что в Германии только что вышла потрясающая книга о советских концлагерях бывшей коммунистки Бубер Нейман и что он может достать один экземпляр книги. Получив экземпляр книги, я тут же отвез его Кравченко. А через три дня сама Бубер-Нейман приехала в Париж из Германии и выступила на процессе с сенсационными показаниями о концлагерях.

В Нью-Йорке, в первое время после моего приезда, В. Кравченко мне помог материально при моем устройстве.

ЖИЗНЬ В АМЕРИКЕ

В 1950 году я уехал из Парижа в Америку. Плыли мы целых 13 дней на голландском пароходе «Виндам», заезжали почему-то на Бермуды, где на берегу меня поразил старый негр в розовых штанах. До тех пор я никогда не видел розовых штанов. Маршрут плавания был интересный. И на 13-й день мы подплыли к Нью-Йорку.

С 1950 года я живу в Америке. Ни одну страну, где я жил в эмиграции, я не любил так, как Америку. И природу, и людей, и стиль жизни, и настоящую свободу человека, которой здесь, пожалуй, даже чересчур много. В Нью-Йорке я продолжал издавать журнал «Народная правда». Потом стал секретарем редакции «Нового журнала». О нем обычно говорят, что это лучший русский журнал не только за рубежом, но и во всем мире, потому что советские коммунистические журналы продолжают оставаться несвободными.

С 1959 года я стал одним из редакторов «Нового журнала».

В Нью-Йорке по-русски вышли три мои книги — «Конь Рыжий», «Скиф в Европе» и «Азеф», который вышел, уже по-японски и выходит в ближайшее время по-английски и по-французски. Кроме редактирования «Нового журнала» я работал как главный редактор нью-йоркского отдела радиостанции «Свобода».

Свободное время я трачу на то, чтобы получше узнать Америку. А это не просто, ибо Америка велика, а я очень занят. Но путешествия (и далекие, и близкие) — моя всегдашняя страсть, и за годы жизни в Америке я все-таки кое-что увидел. Изъездил Калифорнию, этот изумительный край с его тысячелетними лесами красного дерева, с его божественным океаном. Побывал в Аризоне, на ошеломляющем по красоте Гранд-Кэньон; в Нью-Мексико побывал у индейцев, проехал через песчаную пустыню, цветущую красными, розовыми, желтыми кактусами. Побывал и в Пуэрто-Рико, в Сан-Хуане, объездил ущелистые, зеленые его окрестности. Пожил и на Вирджинских островах — Сэнт-Джон, Сэнт-Томас, Сэнт-Круа, и даже на островке Тортола. Узнал ряд интересных городов, таких, как Бостон, Вашингтон, Денвер, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и другие, не говоря уже о Нью-Йорке, который люблю и где живу в двух шагах от Гудзона, часто любуюсь на его «волжскую» ширь и даль, на его далекие зеленые берега и через них перекинутый Вашингтонский мост. Коротко:

люблю Америку. И рад, что под занавес своей жизни приехал сюда, в Новый Свет.

Только когда я думаю о своем пути от пензенского имения, от дедовского дома в Керенске до Нью-Йорка, у меня кружится голова. И все ж, несмотря ни на что, считаю свою жизнь счастливой и — если бы было можно — повторил бы ее сначала, от первого до последнего дня¹.

¹ Роман Борисович Гуль скончался 30 июня 1986 года в Нью-Йорке.

СКИФ В ЕВРОПЕ

Роман

Эта книга является переработкой моего двухтомного романа «Скиф», вышедшего в издательстве «Петрополис» в Берлине в 1931 году.

ОТ АВТОРА

Эпиграфом к своей книге о Бакуanine и Николае I я беру известное стихотворение А. Блока

СКИФЫ

Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.

Владимир Соловьев

*Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы —
С раскосыми и жадными очами!*

*Для вас — века, для нас — единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас —
Монголов и Европы!*

*Века, века ваш старый горн ковал
И заглушал грома лавины,
И дикой сказкой был для вас провал
И Лиссабона, и Мессины!*

*Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок
Когда наставить пушек жерла!*

*Вот — срок настал. Крылами бьет беда,
И каждый день обиды множит,
И день придет — не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!*

*О, старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!*

*Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью!..*

*Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет, и губит!*

*Мы любим все — и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно все — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...*

*Мы помним все — парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат,
И Кельна дымные громады...*

*Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
И душный, смертный плоти запах...
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?*

*Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы
И усмирять рабынь строптивых...*

*Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятия!
Пока не поздно — старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем — братья!*

*А если нет — нам нечего терять,
И нам доступно вероломство!
Века, века — вас будет проклинать
Больное позднее потомство!*

*Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!*

*Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!*

*Но сами мы — отныне — вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами!
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами!*

*Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..*

*В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз — на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!*

30 января 1918 г.

Александр Блок

Посвящаю эту книгу памяти венгров, павших в октябрьском восстании 1956 года, в борьбе за свободу Европы.

Автор

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Император изругался извозчичьим ругательством. Вице-канцлер Карл Роберт Нессельроде, руководитель внешней политики, и граф Бенкендорф, шеф жандармов, руководитель внутренней, сделали подобие улыбок. Улыбки вышли естественными. Но умерли, ибо Николай поднялся, словно был он один в зале, и пошел, громадный, в общегенеральском мундире, плотно стянувшем сильную фигуру. На фоне золотой пустыни дворца фигуре нельзя было отказать в властности и величии.

Император шел в любимой позе, заложив руки за спину. Знал, что расстроило; от этого было не легче. Расстроили в Красном линейное учение войскам 2-го пехотного корпуса и вчерашние артиллерийские маневры под Петергофом. В Красном Николай скакал на белоногом жеребце, в окружении генералов: принца Евгения Вюртембергского, принца Ольденбургского, принца Фридриха Гогенлоэ-Вальденбургского, графа Берга, графа Бенкендорфа, графа Адлерберга, барона Беллинггаузена, флигель-адъютантов, свиты, фельдмаршала князя Паскевича и военного министра князя Чернышева. Прекрасное весеннее утро; по небу беловатые облака с синими донышками, никакого ветра. Иностранцы скакали тут же, в неизменном белом мундире граф Фикельмон. Интереснейшая ситуация. Линейное учение должно быть отменено; и все скомкали никуда не годно.

От артиллерийских маневров осталось невозможное впечатление: до сих пор жило бешенство где-то у сердца и душил воротник. Николай скомандовал залп из всех орудий, и вдруг из крайней, у леса, пушки вылетел не холостой, а боевой снаряд, пронесшийся над императором. Император при всех сделал невольное движение корпусом и пригнулся. Николай рассвирепел, позвал батарейного, при всех кричал на него. Но опять глупость: на матерное ругательство трясущийся офицер ответил бормотавшими губами:

— Почту за особенное счастье, ваше величество.

Даже гнев пришлось оборвать. Батарейный же командир повалился в обморок, как баба.

Неприятности свивались: внезапный удар с министром, князем Чернышевым, в кабинете императора за военным докладом; отвратительный рапорт коменданта крепости, с ошибками и вздором, где вместо «батальона» стояло «эшелон». При обходе богадельни, где приютил глухих, слепых, сумасшедших солдат, под сводами «на кашу» раздался такой барабан, что император вздрогнул. Под барабан безумный голос умалишенного инвалида закричал непристойности. Царь приказал дураку-барабанщику бить «на кашу» не в богадельне, а во дворе. В больнице видел у солдат от учебного шага, от вытягивания ноги, требуемого дисциплиной, на ступне фангомы! Глупейшее слово! Черносуставная грибовидная опухоль. «Откуда?» — думал Николай, злобно ходя по залу. И идиотический пиджак графа Татищева! Лейб-гвардии поручик, семеновец, приехал из Европы — в пиджаке! Хотел оказать милость, обласкав невесту майора Стурта, спросил с всегдашней веселостью в отношении к девицам. И вдруг: «Дозвольте моему жениху носить усы!» Усы в инженерном ведомстве, в любимом детище царя!

В невероятную свирепость приходил император. К тому ж замучили чирьи: ни сесть, ни встать. «Баба, мажет, мажет...» — бешено бормотал Николай, это относилось к шотландцу лейб-медику Мандту, заменившему заболевшего доктора Арндта.

2

Вечером в Петровском зале играли в вист-преферанс. Стены обиты бархатом, с золочеными распростертыми двуглавыми орлами. Канделябры и люстры серебряные, работы петербургской мастерской датчанина Буха. Меж орлами на стенах любимые баталы Лядюрнера, Крюгера, Гесса, Коцебу. За ломберным зеленым полем — свои, граф Бенкендорф, граф Нессельроде, барон Корф, генерал-адъютант Плаутин, Николай. Играли по четвертаку.

Это успокоение императора. Бенкендорф не играл, глядел в карты царя: хороший советчик в вист-преферанс. Карлик, вице-канцлер Карл Нессельроде, поджав коротенькие ножки, хитростью разошедшихся маслиновых глаз, казалось, видел не только сразу четырех партнеров, но и советчика Бенкендорфа. В его желтых ручках карты мига-

ли, словно пойманные и готовые взлететь птицы. Корф улыбался женственными губами.

— Твой ход, *monsieur de la Bibliotheque*¹.

Корф бросил маленькую пику, взглянув на императора; и на Корфа, и на пику взглянули Нессельроде и Плаутин. Камер-лакеи внесли подносы: фрукты, печенья, чай, составили, пододвинули столики к играющим. Весело вошел красавец наследник. Николай глазами чуть улыбнулся улыбке сына, отрываясь от карт.

— Что там у тебя?

— Карикатура, папа.

Только Плаутин не бросил сдачу карт; кресло Николая обступили. Карикатура изображала бутылки. С шампанским, — пробка вылетела, в фонтане выбрасываются корона, трон, конституция, король, принцы, министры — Франция. С черным пивом, — из мутной влаги выжимаются короли, гроссгерцоги, герцоги, курфюрсты, гросскурфюрсты — Германия. С русским пенником, — на обтянутой прочной бечевой пробке наложена казенная печать — Россия. Бенкендорф карикатуру знал. Нессельроде захохотал звонким хохотом. Короткими ударами расхохотался Николай.

— С бечевой да печатью, стало быть, моя Россия?

— *Mais j'ose le eroire, Sire*², — смеялся наследник.

Вист-преферанс уставал; император предался воспоминаниям, улучшилось настроение сановников.

— Пинск? — говорил Николай. — Что ж, порядочный город, улицы довольно правильно расположены, только большая часть народонаселения жида. Надо бы водворить русских купцов, обещать привилегии, приохотить селиться.

— Помню, в Одессе, в последний раз, — посмеиваясь в веер карт, в рыжеватые усы, сказал Николай, и шесть глаз, карих, серых, уставились на Николая, только усталые зеленые глаза Бенкендорфа молчали прищуренно. — Встретил я там на улице толпы шатающихся без дела цыган, в совершенной нищете, нагие, девки по осьмнадцать лет, голые... позор и безобразие! Говорю Воронцову: «Что ты не приведешь их в порядок?» А он: «Мне с ними не сладить, все меры без успеха». Ну так постой, я с ними слажу. Приказал тут же брать всех бродяг и тунеядцев за определенную поденную плату на работу. И что ж? Через месяц исчезли! — засмеялся Николай; и все засмеялись, кто по-тише, кто погромче.

¹ Господин из библиотеки (*фр.*).

² Но я осмелюсь так полагать, государь (*фр.*).

— Вот тоже что-нибудь придумай и с этими тунеядцами жидами, Бенкендорф, они у меня служилых людей портят, кого угодно, проклятые, подкупят. Подумай-ка, не составить ли нам из них рабочие роты для крепостных работ, а?

— Жиды и поляки большое бедствие царства Польского, — тихо, не меняя усталой позы, сказал Бенкендорф.

— Истина. Один из ссыльных на Кавказ полячишек недавно проник в Киевскую губернию с целью покушения на меня. Да князь Четвертинский, хоть поляк, а сразу выдал. Впрочем, я на это не смотрю, я свое дело продолжаю, как угодно Богу, до того времени, когда они меня сами поймут. Считаю, что если б я в отношении поляков действовал иначе, взял бы ответ перед Богом, перед Россией и перед ним, — указал Николай на наследника, зачитавшегося в кресле французской книгой.

— Злоумышленник в крепости? — проговорил Плаутин Бенкендорфу.

Бенкендорф не ответил, не взглянул.

— Если б явилась необходимость арестовать половину России только ради того, чтоб другая половина осталась незараженной, я б арестовал, — проговорил Николай, взяв с зеленого сукна белой рукой заснувшие карты: императору пришли черви и трефы.

Наследник зевнул. Вскоре, бросив карты, встав, говорили о любимом детище императора, гвардейском саперном батальоне; обняв Бенкендорфа, Николай улыбался.

— Что ж, ребятишки мои меня любят, и я их не забываю, саперы молодцы. Хоть и строг я, Впрочем, вернее, был строг больше, чем теперь, Бенкендорф, а? Вы с Плаутиным-то знаете, каков я раньше был, да, — протянул, засмеявшись, — сам знаю, что был невыносимым бригадным.

Все пошли за императором из Петровского зала.

3

С половины императрицы Николай возвращался мрачный, словно не было вист-преферанса. Внутренние караулы замирали, как статуи; император спускался в первый этаж; ждали дела, наложение высочайших резолюций, Николай делал это на ночь; во время работы, на которую поставил Бог, становился сосредоточен.

Постель открыта, на ней солдатская шинель. Канделябры освещают столы карельской березы, тома «Свода законов Российской империи», бумаги, приготовленные для

резолуций. Николай скинул мундир, ботфорты, лосины, остался в рубашке, в подштанниках. Шмыгнул в туфли, с постели взял шинель, накинул и бесшумно прошел к столу.

Писал неграмотно, с множеством ошибок. На прошении «О разрешении студенту Яковлеву выезда за границу для продолжения образования» написал: «Можид здесь учиться, а в его лета шататься по белу свету вместо службы стыдно». На прошении «дворянской вдовы Ртищевой об усыновлении внебрачного сына» написал: «Беззаконного не могу сделать законным», отложил, взял «О поручении студентов императорского Московского университета, живущих вне университета, надзору городской полиции». Написал: «На подчинение присмотру городской полиции тем более согласен, что сему иначе и быть не должно». На «Докладе об укрощении бунтующих крестьян» написал: «Строжайше подтвердить всем местным властям, все убийства укрощать не потворством, а наказывая виновных силою». Попалась глупая бумага о лотерее, написал гневно: «Не раз приказывал с представлениями, противными закону, не сметь отнюдь входить».

Долго рассматривал проект общественного здания; масштабную фигуру человека, долженствовавшего наглядно изображать высоту цоколя, в цилиндре, цветном фраке, жилете и панталонах, гневно зачеркнул, надписав: «Это что за республиканец! Масштабные фигуры должны изображаться только в виде солдат в шинели и фуражке!» На всеподданнейшем рапорте графа Воронцова о тайном побеге двух подданных из России и переходе ими реки Прут, где определял граф за сие карантинное преступление смертную казнь, начертал: «Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало и не мне ее вводить!» Долго работал император, последним читал дело об отставном корнете Лагофете, растлившем шестнадцатилетнюю крепостную девку; на мнении Государственного Совета начертал: «Приятно видеть, что Государственный Совет взирает на дело с настоящей точки. При существующем положении нашего гражданского устройства необходимо, чтоб помещичья власть была единственно обращена на благо своих крепостных, злоупотребления ж сей властью влекут за собой унижение благородного звания и могут привести к пагубнейшим последствиям».

Пройдя к койке, Николай скинул шинель, разделся. На мгновенье остался голым, потом в ночной, до колен, рубашке лег на заскрипевшую под тяжестью большого тела койку и укрылся простыней и шинелью. Но долго не засыпал Нико-

лай, мучило легкое, в темноте, головокружение и ныли ноги. Думалось о донесениях посла Катакази о происках Англии в Греции, посла Бруннова о волнениях чартистов, приходил на память курьер прусского посла Мейендорфа, доклад о брожениях в Пруссии: Европа не давала сна. Николай не представлял, чтоб события оказывали ему сопротивление, ворочаясь в темноте кабинета, верил во всемогущество войск, слома, силы, оружия, засыпая, думал о походе на Запад.

4

Эльба замглилась, затуманилась сеткой измороси; словно даже душно в Дрездене в этот мелкий, сетчатый дождь; дворец, цейхгауз¹, Королевская опера застыли во мгле; даже барокко белого Цвингера словно увяло.

Под зонтом Марья Ивановна Полудинская подымалась на Брюллевскую террасу, повторяя два слова: «Неужели люблю?» И отвечала взволнованно: «Люблю, люблю». Да она и спрашивала, лишь бы доставить себе радость повторением. Нервическая, резкая, чуть долговязая, шла под зонтом, высоко подбирая юбку. Близоруко вглядывалась в идущих по террасе немцев; видела — по мосту через Эльбу едет карета в серый, в осеннем дожде, Нейштадт.

У парапета Полудинская поглядела на причаливший пароход; под каштаном у скамьи никого не было; в представлении Полудинской стоял красавец, хохотун, червонный демократ, разрушитель — Бакунин. Полудинская сердилась: как мог он позавчера отплясывать на балу у мадам Шамбелан де Кеннериц с какой-то графиней, женой французского посланника?

Бакунин шел широкой, раскачивающейся походкой. Подходя, улыбался дружески.

— Простите опоздание, Марья Ивановна!

Спускаясь по широкому спуску брюллевской террасы, сделанному еще русским князем Репниным в бытность его дрезденским губернатором, Полудинская проговорила:

— Михаил Александрович, как же совместить: вы, якобинец, демократ, танцуете у Шамбелан де Кеннериц?

Бакунин посмотрел удивленно.

— Ну, танцор-то я, положим, плохой, — захохотал он громко, — а что же, общество на балу было преинтересное.

¹ Военный вещевого склад.

Они пошли Театральной площадью ко дворцу; их обогнали четыре смеявшихся офицера, взглянули, обернулись на Полудинскую.

И оттого что Бакунин молчал, курил, не обходя, шлепал по лужам, и оттого что смеялись офицеры, Полудинская выговорила, может быть, даже не то, что хотела: от обиды молчания.

— Я иногда ненавижу ту власть, которой сама покорилаь.

— Власть? — переспросил Бакунин без интереса, словно не понимая.

— Да, ту власть. То есть с тех пор как я люблю вас, Михаил Александрович, — сказала Полудинская дрожаще и вызывающе, — у меня нет ни гордости, ни самолюбия. Не притворяйтесь, что вы этого не знали, вчера я не могла выговорить вам то, что было на душе, но я не боюсь ничего, даже вашего презрения.

Бакунин почувствовал захватывающую все существо неловкость; вспомнил такое же объяснение с Воейковой и Александрой Беер, упавшей в обморок.

— Ну и подите, рассказывайте кому хотите, что я унизилась до того, что сама пришла к вам, непрошенная и ненужная, и первая вам сказала, что люблю вас. Я хочу только одного, — говорила резко, страстно Полудинская, то глядя на камни площади, ударяя в них концом зонта, то поворачиваясь к Бакунину, — да, только одного, чтоб вы признали, что в этом виноваты и вы. Вы помните разговор о любви? Иль, может быть, я неверно вас поняла?

Полудинской показалось, что мужественное лицо Бакунина чуть улыбнулось. «Чему?» — подумала, и захотелось заплакать.

— Марья Ивановна, видите ли, — громко проговорил Бакунин, — да, я говорил о любви, о том, что это великое таинство, но я говорил это общо, с объективной точки. Если же вы хотите спросить меня о развитии моего личного чувства...

— Да, — резко сказала Полудинская.

Бакунин поглядел в камни площади, чуть улыбнулся.

— Любовь? — сказал он. — Сложное это дело, Марья Ивановна. Иногда мне ведь тоже кажется, что люблю, взглядишься, оказывается, и нет. Мало мы знакомы, наши жизни не нашли еще то мгновение, в котором люди сознают себя и чувствуют, что друг другу родны, что составляют одну жизнь. Но я думаю, что оно для меня едва ли и возможно, не рожден я для любви, Марья Ивановна. — Бакунин поглядел весело, улыбаясь. Полудинской показалось, что Бакунин ударил ее.

Они выходили на Альтмаркт, к старому ратгаузу¹.

— Ведь любовь, — говорил Бакунин, — Марья Ивановна, далеко еще не истина и к тому ж всегда вступает в борьбу с иными элементами жизни, и тут любовь должно умерять и взнуздывать.

— Взнуздывать? Почему ж? — внезапно тихо проговорила Полудинская.

— Ну да, Марья Ивановна, дорогая вы моя, да, потому что любовь же это потребность всего-навсего второстепенная, а у человека есть потребности главные, потребности духа.

Полудинская приостановилась, как от неожиданности, и снова двинулась; Бакунин говорил громко, затягиваясь трубкой.

— Конечно, свобода человеческая! Свобода! Вот главная потребность человека! Для чего ж нам жизнь, если нет в ней полной свободы? Жизнь без свободы не нужна, да! Я за эту свободу отдам всю жизнь, я готов обязаться питаться одним черным хлебом да жить в лесу, только бы быть свободным.

Полудинская внезапно, истерически рассмеялась.

— Не надо, не надо! — говорила в смехе, — не говорите, я не понимаю, что это такое — «быть свободным»! Не понимаю, ну и поделом мне, поделом, ну и хорошо, что я наказана, а вам предстоит, вероятно, занятия, более достойные вас.

Вздрагивающие темные глаза Полудинской были полны слез, но, еще сдерживая себя, она проговорила:

— Ну и все равно, знайте, все равно, если б я могла окружить вас всем, что жизнь включает в себе прекрасного, святого, великого, если б могла умолить Бога дать вам все радости и все счастье, я бы сделала это! — И вдруг Полудинская зарыдала и, закрываясь платком, порывисто пошла прочь.

5

К отправлявшемуся на Лейпциг дилижансу, чтоб поспеть, под дождем, косившим с полудня, по размякшей грязи ночью бежали Бакунин, поэт Гервег и музыкант Рейхель. В широком черном плаще, черной шляпе, ругаясь на слякоть, на грязь, на посланника Шрейдера, на королей саксонского и прусского, на весь мир, который он скоро разрушит, не оставив камня на камне, Бакунин шлепал по лужам латаными башмаками, ускоряя и ускоряя шаги.

¹ Ратуше.

— Бакунин! Ох, черт возьми, вот что значит поссориться с королями, как мы с тобой! — хохотал Гервег в изящном английском макинтоше.

— Рейхель, дружище, да не отставай! — подхватил его Бакунин.

В правую руку взял он саблю
И храбро устремился в бой! —

запел, шлепая громаднейшими подметками по лужам. — Черт дери, если б не эти проклятые тюремщики, я бы слушал сейчас твоего Бетховена, Рейхель, без музыки я, брат, как рыба без воды.

Станционные ворота растворены настежь; у полосатого столба, под крыльцом, стоял толстый почтальон, докуривая фарфоровую трубку, накуриваясь на дорогу. В темноте ворот виднелись очертания лошадей и кареты. Через полчаса вместе с купцами, спешившими в Лейпциг на ярмарку, Рейхель, Бакунин и Гервег тряслись в дилижансе. Завернувшись в плащ, прислонившись к Рейхелю, Бакунин, похрапывая, спал.

6

Флигельная, мансардная комната, в которую вошел Бакунин, поразила его бедностью. Было странно увидеть на берегу Цюрихского озера, трепещущего яхтами, парусниками, среди солнца, ветра, горного воздуха такую мизерную¹ комнату.

Комната освещалась керосиновой лампой, привешенной на гвоздь. За столом сидел белокурый, довольно красивый молодой человек, с кокетливо подстриженной бородкой, в задумчивости грызя ногти. Одет он был в бедный сюртук щеголеватого покроя; походил на коммивояжера.

Бакунин остановился на пороге. Атлет, с Петра Великого; темная, кудрявая голова; выражение сине-голубых, чуть татарски разрезанных глаз смеющееся, пылливо-беспокойное; руки белые, неловкие, аристократической формы; что-то львообразное и вместе детское; улыбка большого рта запуталась в вьющихся усах; легкая славянская сутуловатость придала фигуре неловкость, даже увалистость, словно не знает Бакунин, куда ему деть свое раскидистое тело. Подперший потолок комнатухи Бакунин и небольшой, вкрадчивый портной Вейтлинг были полным контрастом.

¹ Нищенскую.

— Я не знаю, не встречал русских, садитесь, пожалуйста, — сказал Вейтлинг.

— Я прочел вашу книгу «Человечество, как оно есть и каким должно быть», — басом говорил Бакунин, с некоторой бесцеремонностью разглядывая портного. На бледные щеки Вейтлинга вышли пятаки румянца; не то смутился, не то рассердился.

— Вы чудесно о многом высказываетесь, хотя я с вами не во всем согласен, я ведь не коммунист, — сказал Бакунин.

— Не коммунист? — тихо спросил Вейтлинг, как бы с мгновенным, жалобным сожалением поднимая светлые глаза.

— Нет, нет, ваш друг Гервег, — расхохотался Бакунин рожочуще, — просто называет меня скифом, но в наших взглядах есть много общего. Георг рассказывал, вы прошли тяжелую жизнь, были работником?

— Да, — сказал тихо, — был портняжным подмастерьем, но когда понял, что мир устроен ложно, ушел из Магдебурга в Австрию, бродяжил семь лет, писал стихи, — Вейтлинг вдруг улыбнулся чуждо, как ребенок.

— Знаете, почему я так интересуюсь, я, видите, сейчас в страшных долгах, если родные не продадут части имения в России, я решил тоже стать работником иль бродягой, что ль, работать что попало, но, главное, не утерять свободу и скрыться, чтоб не вернули в Россию.

— В Россию? — спросил Вейтлинг. — Кто же вас захочет вернуть?

— Царь.

— Ах, царь? Это скверно, — тихо засмеялся.

— Чем вы зарабатывали?

— Шил штаны, сюртуки, латал мужикам платье; в городе делал цветы. Искусственные, — добавил Вейтлинг.

— Цветы? — удивился Бакунин, глядя на худые, синевато-костистые руки Вейтлинга. — Ну, этого я наверное не сумею, для цветов я груб. Много выработывали?

— Чтоб не сдохнуть с голоду.

Лампа светила скупо, как раз от стены освещая Бакунина, развалившегося в соломенном кресле. Вейтлинг, видимо, к нему уже привыкал.

— Я многое видел в жизни, — говорил он, — такую нищету, какой вы никогда и не видали, если говорите, что у вас даже имение. Я давно понял, что нищие вправе убивать богатых только потому, что они нищие. В Париже в 37-м году я вошел в «Союз справедливых» и с тех пор борюсь за угнетенных.

- Вы чистый немец?
- Почему вы спрашиваете?
- Так.

— Странно. Нет, я сын француза и немки. Внебрачный, — добавил Вейтлинг.

Бакунину Вейтлинг нравился. Вейтлинг казался даже заманчивым, в Вейтлинге мелькнул Бакунину огонек фанатизма.

— Вот пишу в защиту бедных классов, — оживляясь и примиряясь с Бакуниным, говорил Вейтлинг, — и вижу, что такое свобода печати при господстве денежной системы. В современном обществе все покупают за деньги: совесть, тело и дарования человека. Разве это свобода? Свобода для одних и тюрьма для других. Вы согласны, что работникам в современном обществе приходится разыгрывать роль ослов, которых бьют палкой там, где надо бить, а где обходятся одними вожжами, то направляют не менее искусно?

— Разумеется.

— Но как же вы тогда против коммунизма?

— Так что ж? Вы видите спасение общества в коммунизме?

— Да, в коммунизме, — Вейтлинг сказал тихо, не терпя возражения.

Вейтлинг, худощавый, аккуратный, небольшой, возбужденный внутренним огнем, встал.

— Только коммунистическое государство явится таким, при котором все силы и органы человека, руки, ноги и голова, — Вейтлинг показал на голову и на ноги, — будут содействовать каждому индивидууму, чтобы сообразно равным для всех условиям было обеспечено удовлетворение всех потребностей человека. Каждому будет гарантировано полное наслаждение своей личной свободой. Этот же мир, — обвел Вейтлинг рукой, указывая на стены, — подлежит разрушению. В нем хаос и насилие.

— Вейтлинг! Вижу в вас автора чудеснейшей книги! Но не соглашаюсь, нет.

Вейтлинг перебил дрогнувшим голосом, проговорил скороговоркой:

— Знаю заранее, что вы скажете, что нельзя идти к счастью через кровь и насилие, что нужны иные меры. А я вам говорю, — закричал Вейтлинг, вдруг наступая с яростью, почти с бешенством, — что для победы иного пути нет! Надо раскалить, разжечь всеми средствами живущее в бедных недовольство, чтобы оно вырвалось пламенем, спалив без остатка современный строй и его людей. Мы, ком-

мунисты и бедные классы, мы поднимем для этой цели грабителей, нищих, преступников, каторжан, создадим армию отчаявшихся, которым нечего терять, и двинем их на мещан, богачей и аристократов!

Отвалясь в заскрипевшем под могучей спиной кресле, Бакунин, улыбаясь, махнул рукой.

— Что? — спросил Вейтлинг.

— Не знаю, за кого вы меня принимаете, что так страстно проповедуете ваши революционные меры. Я вовсе не о том, все это нужно и, конечно, правильно, — Бакунин встал, заходил, сгибаясь, по комнате, — да дело-то не в мерах, дорогой Вейтлинг, а в цели. Ваша цель — коммунизм? А где его происхождение? Общественный порядок на Западе сгнил, он едва держится болезненным усилием, этим и объясняется та невероятная слабость и тот панический страх, которым полны современные государства. Куда бы в Европе ни оглянулись — везде дряхлость, безверие, разврат, происходящий от безверия, начиная с самого верха общественной лестницы. Ни один человек, ни один класс не имеет веры в свое призвание, и, право, все шарлатанят друг перед другом и ни один другому, даже самому себе, не верят. Привилегия, классы и власти едва держатся эгоизмом и привычкой, это слабая препона против возрастающей бури. И тут, в гибели этого строя, в гибели этого мира вы, конечно, правы. «Lust der Zerstörung ist zugleich eine schaffende Lust»¹, — сказал я в моей статье «Партии в Германии».

— Как? — поразился Вейтлинг. — Вы Жюль Элизар?

— Моя, моя, — отмахнулся Бакунин, — но дело не в этом, а в том, что вы не понимаете, откуда проистекает природа коммунизма! Она проистекает столько же сверху, сколько и снизу. Внизу, в народных массах, она растет и живет как потребность неясная, энергическая, как инстинкт возвышения. В верхних классах — как разврат, эгоизм, как инстинкт угрожающей, заслуженной беды и неопределенный беспомощный страх. Беспрестанный крик против коммунизма более способствует распространению его идей, чем ваша собственная пропаганда. Этот неопределенный, невидимый, неосвязаемый, но везде присутствующий коммунизм, живущий во всех без исключения, в тысячу раз опаснее для современного общества, чем определенный и приведенный в систему, который проповедуете вы в тайных и явных коммунистических обществах. Ваша

¹ Склонность к разрушению всегда дремлет в нас (нем.).

сила идет с двух сторон, Вейтлинг! Это великая сила! Но вы не правы в конечной цели. Она — коммунизм — просто-напросто логическая натяжка. Прекрасное средство пропаганды среди бедных классов, коммунизм как революционная цель — вредная бессмыслица.

Вейтлинг хотел перебить, но Бакунин не дал, протянув руку.

— Поймите, ну, возьмем, положим, вы осуществили коммунизм, и вместо Российской империи — коммунистическое государство, вместо германских княжеств, королевств и герцогств — сплошные коммуны! Так что же вы думаете, вы сделали людей, именно бедные-то классы, счастливее, оттого что создали над ними не царскую и не княжескую, а свою собственную опеку? О нет, Вейтлинг, — хохотнул Бакунин властно, свысока, — вы правы, только пока вы боретесь, лишь только вы победили, бедным массам надо тут же начинать бороться с вами, за те же лозунги свободы и жизни! Ведь общество, устроенное по вашему плану, представит собой не живое объединение свободных людей, каким общество должно быть, а организованное с помощью принуждения и насилия стадо животных, которыми вы, Вейтлинг, или другие начнут командовать и управлять по своему усмотрению! Ваше коммунистическое общество, преследующее исключительно материальные интересы, неизбежно задавит все то духовное, что растет только на свободе отдельных личностей, вне пространства и времени. Я ненавижу коммунизм, потому что он есть отрицание свободы и потому что для меня непонятна человечность без свободы. Ваше насилие, Вейтлинг, если оно когда-нибудь осуществилось бы, было бы чудовищным! Поэтому-то в устроенном по вашему плану государстве у меня нет охоты жить, так же, как в государстве царя Николая. Но, к счастью людей, ваша цель и ваша идея всего-навсего есть логическая нелепость!

Вспотевший, не убежденный, взволнованный Вейтлинг вскочил, но Бакунин снова не дал перебить, заговорил быстро:

— Что же касается люмпен-пролетариата, что это самый революционный элемент теперешнего общества, что в них, а не в зажиточных слоях рабочих весь пафос разрушения и нужные новому миру силы, — вы правы. Именно люмпен-пролетариат нужно двинуть вперед волной возмущения старым порядком и старым миром, чтобы эта безжалостная армия беспощадно смела, дотла сожгла и изрубила старый мир! Она не подчинится вашей власти,

так же, как не хочет подчиниться власти теперешних королей. Эта армия протестантов свободы, певцов вечного протеста, ножа и пожара говорит о другой потребности человечества, о потребности бескрайней свободы и воли. И вот такая революция придет в мир, именно такая, смывающая все старое, воздвигающая на пепелище новую, молодую, совершенно свободную, простую и прекрасную жизнь!

— Пойдите! — закричал Вейтлинг страстно. Бакунин вытащил луковицу часов, бесцеремонно смеясь, похлопал Вейтлинга по плечу громадной, львиной рукой.

— Нет, нет, с вами общая дорога у меня, Вейтлинг, не до конца, но ладно, довольно, поговорим в другой раз, приходите ко мне на озеро, за бутылкой вина и потолкуем. — Бакунин пошел к двери.

Прощаясь, как бы отказываясь прийти, Вейтлинг сказал:

— Я не пью.

— Напрасно. А я люблю выпить в хорошей компании. Ну по крайней мере покурим сигары.

— И не курю, — засмеялся Вейтлинг, — но я приду к вам все-таки.

— Ладно, только не запрещайте, Бога ради, в вашем будущем обществе вина и табака, а то какая у вас разведется скучища! — хохотал в сених низкого флигеля Бакунин, пока Вейтлинг отпирал дверь.

— Чудно! — взглянув на небо, на звезды, идя по двору, сказал полным голосом Бакунин.

7

Распустив поводья, Николай ехал верхом по площади к Летнему саду, к Марсову полю, наблюдать репетиции майского парада. Такой молодцеватой посадки, как у императора, трудно было сыскать в кавалерии. Громадность его фигуры скрадывалась громадностью гнедой кобылы.

В широкой поперечной аллее кобыла стала. Под тяжелым императором окаменела, как постамент, не шевеля даже ушами. Император с седла наблюдал репетиции.

Гулявшие на утреннем променаде, робея, приближались петербургские щеголихи к верховому императору. Цветным кругом обступили. И вдруг, наклонясь к близкой, в голубоватом капоре, Николай, приветливо улыбаясь, сказал:

— Кто ж, сударыни, вам больше нравится, гусары или кавалергарды?

В вальсе, в польском, в контрдансе, в кадрили зашелетели цветными петуньями дамы на балу князя Юсупова, в любимом доме императора. Рубенсовского тела, прекраснейшая из красавиц, любовница Николая Варвара Нелидова шутила с Бенкендорфом; Наталия Пушкина-Ланская, Апраксина, Долгорукая, Бутурлина — рой русских красавиц. За ломберными столами старички дуются в вист, в ералаш. В бильярдной режутся морские офицеры.

Генерал Бенкендорф в голуби мундира, белизна чулок, аксельбанты; только не бодры руки, подрагивают в белых перчатках. Нездоров генерал, хоть и улыбается с фрейлиной Нелидовой и графиней Нессельроде, превзошедшей всех женщин уродством и оголенностью старых плеч. Карлик вице-канцлер семенит с его величеством. Но дан высочайший знак, и Бенкендорф заскользил по паркету.

— Хотел спросить, Христофорыч, — отведя, проговорил император, — как дело с этим отставным прапорщиком Бакуниным?

От царя отошли граф Нессельроде, граф Канкрин, князь Волконский.

— Серьезнейшая предерзость, ваше величество, поступило донесение...

— Как? — Брови, светлые, широкие, свелись, потемнели красивые глаза. Николай остановился, за рукав голубого мундира придерживая Бенкендорфа.

— Прикинувшись согласным вернуться, бежал неизвестно куда, везде производит волнения, вступая в общение с заговорщиками.

— Завтра доложишь.

Наискось, почти визави, графиня Нессельроде посадила семнадцатилетнюю цыганистую Пален. Но за ужином не глядят водянистые глаза царя на семнадцатилетнюю красоту. И раньше обычного коляска, запряженная воронными рысаками, отъехала от особняка князя Юсупова в Зимний дворец.

В любимой позе, заложив за спину руки, Николай поджидал Бенкендорфа. Николай не представлял, чтоб его выраженной воле кто-либо смел не подчиниться. В такие ми-

нуты вставало все пережитое в те четверть часа на Дворцовой площади с «amis du quatorze»¹. Злоумыслы? Революции? Мятежи? Люди хороших фамилий опять превращаются в якобинцев?

Бенкендорф вошел, более обычного усталый.

— Что ж он заявил, эта сволочь, эта bestia? — с места закричал, поворачиваясь к генералу, Николай. — Не возвращаться ко мне, когда я приказываю?!

Давненько не видывал генерал, это не гнев, а гнев-вище! Это буря! Николай ходил, чтоб несколько успокоиться.

Доклад обстоятельный, шел со всеми мелочами, как любил царь.

— Где, где учился? В артиллерийском? Стало быть, лично меня знает, сукин сын! — перебил, останавливаясь, Николай. И снова заходил.

— Бакунин! Подумай, какая фамилия! Капитан Бакунин дал первый залп из пушки 14 декабря по преступной сволочи! А этот революционером стал, достойным уже сейчас виселицы!

— Двоюродный племянник капитана Бакунина.

Николай промолчал. Бенкендорф читал сведения тверского губернатора о семье.

— Деньги посылают мерзавцу.

— Никак нет, ваше величество, меры приняты. Денег из России не пойдет, хоть и были попытки.

— Ни копейки, — бормотнул Николай.

Бенкендорф перешел к донесениям российского посланника при прусском дворе барона Мейендорфа, к докладу бернского посольства: «...вышеупомянутый прапорщик явился самолично в бернское императорское посольство для визирования паспорта на проезд в Мангейм и в имевшем быть разговоре признал себя виновным по первому пункту, то есть что был в сношениях с коммунистами, что же касается брошюры о Польше, решительно отрицал свое авторство и даже знание о ней. Кроме того, заверил *честным словом*, что никогда не принадлежал ни к какому тайному обществу и что поддерживал связь с коммунистами, лишь чтоб ознакомиться с идеями, породившими эту секту, но не разделял их. Тем не менее прилагаемыми копиями донесений агентов швейцарской полиции и агентов III отделения Его Величества канцелярии установлено, что названный Бакунин поддерживает сношения с самыми радикальными

¹ Друзьями Четырнадцатого.

элементами, стремящимися перенести свою деятельность за пределы Швейцарии для ниспровержения правительств и существующего строя. Объявленное ему, Бакунину, приказание о немедленном возвращении на родину и в случае неисполнения сего об ответственности по всей строгости законов он принял с должным уважением и выдал в объявлении ему сего прилагаемую собственноручную расписку, заверив *честным словом*, что вернется на родину незамедлительно, заграничный же паспорт обещал тотчас же вернуть по возвращении своем из Мангейма, дав в сем также честное слово. Но уж на следующий день посольством нашим было получено прилагаемое при сем письмо Бакунина с сообщением о невозможности ему вернуть паспорт, нужный для дальнейшей поездки в Лондон. Мною незамедлительными депешами были извещены миссии русского императорского двора в Карлсруэ и Франкфурте-на-Майне о том, чтобы при появлении там названного Бакунина у него был бы незамедлительно отобран заграничный вид на жительство, но в названных миссиях Бакунин не появлялся, вероятно, проехав иным путем...»

Чем дальше шло чтение, густей темнел Николай, дерзостный поступок против него казался даже не преступлением, а помешательством!

— Снюхался с поляками, — захохотал негнушимся тенором, — что ж, воевать со мной хочет? Достану и за границей! — крикнул он. — Сообщи Нессельроде: приказываю, чтобы все наши миссии и посольства незамедлительно уведомили правительства всех земель о том, что эта личность вредна не только мне, но всем правительствам своей агитацией и пропагандой. Бакунина ж лишить всех прав состояния, заочно приговорить к ссылке в каторжные работы, в Сибирь, с тем, чтоб имение теперь же взять в секвестр. Пусть министр юстиции войдет с предложением в Сенат. Понял? Реши на месте, с кем был знаком и есть ли тут сообщники.

— Приступлено, ваше величество.

По прошествии получаса, отпуская любимца, подавив гнев, Николай сказал:

— Как здоровье? Что такой бледный? Смотри, смотри, без тебя мне со всей этой гадиной не справиться, съездил бы отдохнуть в Эстляндию к себе, а?

— Неотложные дела, государь, знаете, как положиться на кого другого.

— Ну-ну, я подумаю. А об этом негодяе докладывай незамедлительно, как что поступит.

Дело отставного прапорщика артиллерии Бакунина, судимого за невозвращение в Россию, от министра юстиции графа Панина пошло в санкт-петербургский надворный уголовный суд; из суда в уголовную палату, из палаты в правительствующий Сенат; всеподданнейший доклад Сената пошел на представление государственному секретарю; государственный секретарь представил на мнение соединенных департаментов Государственного Совета, гражданского и законов; Государственный Совет в соединенном заседании департаментов постановил заключение по докладу правительствующего Сената об отставном прапорщике артиллерии Михаиле Бакунине: «Сего подсудимого, согласно с приговором Сената, лишив чина, дворянского достоинства и всех прав состояния, в случае явки в Россию сослать в Сибирь, в каторжные работы, а имение его, каковое окажется где-либо ему собственно принадлежащим, на основании 271-й ст. XV тома Свода законов уголовных взять в секвестр».

На заседании соединенных департаментов Государственного Совета присутствовал усталый генерал Бенкендорф. Сидел в заднем ряду, позевывал, прикрывая ладонью рот; глядел на свои шевровые¹ сапоги; от чтения первоприсутствующего члена закрывал глаза, как бы в дреме. По окончании, не прощаясь ни с кем, выехал в Зимний дворец. Николай на постановлении написал: «Быть по сему».

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Квартира на рю Годо де Моруа, номер 9, откуда слышалась музыка, была проста. В передней комнате — диван, два кресла, стол и рояль, на котором импровизировал светловолосый молодой человек. Под его музыку во второй, полупустой, комнате, где не было ничего, кроме складной, чересчур размеристой кровати, цинкового бокала на столе да двух горшков гиацинтов на подоконнике, несмотря на двенадцатый час, спал громадный, черный Бакунин, завернувшись с головой в одеяло.

¹ То есть сделанные из мягкой тонкой кожи.

Сквозь растворенное окно видно: в дворике цвел жасмин. В передней комнате, разносясь, гремела фантазия Рейхеля. Бакунин не борол привычки поздно вставать. Хотя тут, пожалуй, это и не была слабость характера, а необходимость отдохнуть от парижского воздуха. Великое дело этот воздух! Во все этажи, подвалы, чердаки, бельэтажи, трубы, щели дует свободой, революцией, карманьолой. Мещане конопатят дыры, запирают ставни. Богемьянам же, гулякам, навевает парижский воздух веселые мысли. Но парижская жизнь — с кабачками и кофейнями, множеством газет, спорами, излишним вином, трубочным дымом — нелегка. Хорошо еще на рю Годо де Моруа, а раньше от безденежья спал Бакунин в редакции немецкой эмигрантской газеты «Vorwärts», в комнате совещаний.

2

В двенадцать зашевелилась размеристая кровать под потягивающимся телом; Бакунин выпростался из-под одеяла мускулистыми руками. За стеной падающими звуками летело рондо Моцарта, словно рассыпалась звучащая дробь.

Заломив за голову голые руки, Бакунин улыбнулся вовнутрь: «Божественно играет Адольф». Но звуки оборвались; на пороге Рейхель, легкий, изящный, возбужденный музыкой, смеялся:

Auf! Bade, Schuler, unferdrossen
Die irdische Brust in Morgenroht!¹

Бакунин зевнул, львиной пастью выпуская неясные звуки.

— Скажи-ка лучше, как у нас с деньгами, Адольф, я вчера последнее заплатил у «Paul Nuquet» за Сазонова; черт знает, Рейхель, когда мы будем приличные люди? — Бакунин перевернулся на затрепавшей всеми суставами постели. — Обещают мне урок русского языка во французской семье по семь франков, но этого не хватит даже на сигаретки.

— Если твои скифские силы окажутся плохи и мы не дотянем до всемирного извержения, — смеялся изящный зеленоглазый Рейхель, — то придется, вероятно, садиться в тюрьму.

Рейхель высунулся в окно, в палисадник. Плавал солнечный ветер и пахло жасмином. Бакунин, кряхтя, спустил ноги, взял носки, надевая, старался подвернуть дыры на пальцах. «Черт знает что», — бормотал под нос.

¹ Омойся, ученик, зарею утренней! (нем.)

Неумытый, веселый, с сматыми курчавыми, по плечи вьющимися волосами, Бакунин, усмехаясь, качал головой.

— Без тебя, Адольф, я сдох бы в этом чудесном городе. Только не пойму, чего ты со мной мечешься: женат, счастлив, это я, брат, бегаю, пытаюсь все ожениться на своей мадам Революции, — хохотал грудным смехом Бакунин, идя в кухню умываться. Рейхель обернулся, ласково глядя на неуклюжую фигуру.

3

У двери Бакунин услышал незнакомые голоса, потом звонок, стук. Запахивая на широченной волосатой груди халат, Бакунин отпер дверь. Вошли поляки, члены польской «централизации»¹ — Станислав Ворцель, Иосиф Высоцкий, Иосиф Орденга. На их лицах Бакунин прочел удивление.

— Не ошибаемся, мсье Бакунин, автор письма в «Ля Реформ»? — необычайно вежливо проговорил Ворцель.

— Совершенно справедливо, чем могу служить? Прошу, пожалуйста, — растворил Бакунин дверь в комнату. Но, Боже мой, что за комната! Кресла друг к другу спинками; занавески порваны; грязные полустаканы; не проветрено; сталкиваясь в дверях, поляки вошли за Бакуниным, говорившим раскатывающимся басом: — Извините за легкий беспорядок, прислуга приходит неисправно, а у самого возиться нет времени.

— Пожалуйста, пожалуйста. — Ворцель сел напротив Бакунина, сказал по-французски: — Мы ведь не для салонной беседы, мсье Бакунин. Мы члены польской «централизации».

Бакунин кивнул головой, рассматривая упрямо-энергичного, с свисшими седоватыми польскими усами, графа Ворцеля, душу и пламя польского восстания; много слышал о графе Станиславе; знал: математик, лингвист, аристократ, отдал восстанию против России душу, тело, семью, средства; знал, что живет Ворцель нищенски, у француза в полуподвале, но выкован из стали этот столп польской революции.

— Я уполномочен, — говорил Ворцель, — передать вам привет польских деятелей самых различных направлений. Ваше выступление от всего сердца приветствуют князь Адам Чарторьский, Алоизий Бернацкий, члены «централи-

¹ Руководящий орган польского эмигрантского Демократического общества.

зации», наша молодежь, и мы пришли к вам предложить выступить на нашем банкете в память варшавского восстания 31-го года против Николая.

Высоцкий и Орденга рассматривали Бакунина; на лицах смесь удивления, любопытства и недоверия.

— Что ж, — раскатисто заговорил Бакунин, — я, разумеется, согласен; как русский, я люблю свою страну и как раз именно поэтому горячо желаю торжества польскому делу, ибо угнетение Польши — это позор моей родины, свобода же Польши послужит началом и нашему освобождению. Я рад польско-русскому сближению революционных элементов от всей души. Передайте мой сердечный привет «централизации», пану Алоизию Бернацкому, которого чрезвычайно уважаю и чту. Вы говорите, 29-го? Во французской гимназии на рю Сент-Онорэ, 359?

— Так точно, — сказал Ворцель.

По очереди пожимая полякам руки, Бакунин стоял в дверях, как лавина, громадина, одной рукой придерживая халат. Поляки сухие, корректные.

4

В зале гимназии на рю Сент-Онорэ, 359 ожило сердце Польши, выброшенное Николаем из страны. Левые, члены «Демократического комитета»; «Молодая Польша» — Высоцкий, Орденга, прославленный поэт Уейский, автор хора-ла «С дымом пожаров», окружили графа Ворцеля. «Централизация», молодежь тайных кружков, — бойцы за страну против России; писатель Медынский горячо кому-то доказывает, что Польша всегда защищала Запад от вторжения татар, турок, москалей и погибла, спасая Европу, в борьбе с москальским деспотизмом.

В первом ряду старик Алоизий Бернацкий, в темно-коричневом сюртуке, нунций польской диеты¹, министр финансов времени революции.

С блузами, сюртуками слились правые патриоты; великолепный друг императора Александра князь Адам Чарторыйский, в синем фраке, окруженный дамами. Гул. Но душа зала, вокруг которого толпятся левые, правые, — живущий в сыром полуподвале граф Станислав Ворцель. Левые недружелюбно косятся на первый ряд. Зачем пришли эти мистики, мессианцы? Что им тут, в воспоминаниях крови,

¹ Сейма.

восстания, боя жизнью за Польшу? Там странный философ Гене Вронский и мечтательный, с необычайно бледным лицом, великий поэт Польши Адам Мицкевич; он создает культ Наполеона, «величайшего духа после Христа». Мицкевич стоит с женщиной острого еврейского типа; в его сторону усмехается поэт Уейский.

5

На трибуну, обитую красной материей с ясно-белым польским орлом, поднимались ораторы. Белый орел казался летящим, воздушным. Речи музыкальные, даже не речи, поэмы, баллады, песни. Страстный пафос проклятия, места, фанфары, звуки восстания. Высоцкий, Бернацкий, Орденга, Медынский; к белому орлу на красном фоне поднялся Ворцель под оглушительную бурю зала.

Страстный, стальной, заговорил, затрепетал зал любовью к отчизне, мстью, гневом. В первом ряду необычайно бледный Мицкевич закрыл лицо руками. Плачет. Оглянулись близкие. Смуглая женщина, склоняясь к нему, что-то шепчет.

Гролом, разрядением такой энергии оборвалась речь Ворцеля, что колыхнулся зал и отчаяньем грянула тысячеголосая «С дымом пожаров». Под потолком задрожал высокий драматический польский тенор. Собрание двинулось к выходу, но смешавшийся зал остановил голос Ворцеля.

— Господа! Собрание не кончено! Слово последнего оратора, нашего русского друга Михаила Бакунина!

И тут же в сметшийся, разорвавшийся зал из распахнувшейся двери на самодельную трибуну, к ясно-белому польскому орлу, резкими шагами, бурно и широко поднялся Бакунин. Бледен. Кто знал, понял бы, как сильно волнуется. На трибуне стоял громадный, в черном глухом сюртуке, черном галстуке, черный и бледный.

Бурю не сразу остановишь; зал приходил в себя медленно. Ворцель кричал: «Прошу тишины!» Бакунин, опершись о кафедру, опустив голову, ждал. Напрягаясь и замирая, тишина с трудом вошла в зал. Голосом, соответствующим его физической мощи, Бакунин начал свою речь.

— Я русский, — звучал низкий голос Бакунина, — и прихожу в это многочисленное собрание, которое сошло, чтоб праздновать годовщину польского восстания, и которого одно присутствие здесь есть уже род вызова, угроза и как бы проклятие, брошенное в лицо всем притеснителям Польши.

Может, необыкновенная внешность молодого, полного сил Бакунина заставила аудиторию замереть, вслушиваясь в бросаемые быстрым басом слова? Слыша свой голос в тихом зале, Бакунин неся в охватившем его подъеме, чувствуя, как ложатся и все крепче пролегают скрепы к слушателям, а по скрепам катится страсть, воля, душа, вся мятежность. Взмахивая любимым жестом сжатых длинных пальцев правой руки, Бакунин бросал в замерший зал слова о родине, о России:

— Имя русского повсюду является синонимом грубого угнетения и позорного рабства! Русский во мнении Европы есть не что иное, как гнусное орудие завоевания в руках наиненавистнейшего и опаснейшего деспотизма! Господа, не для того, чтобы оправдывать Россию от преступлений, в которых ее обвиняют, не для того, чтоб отрицать истину, взошел я на эту трибуну! Истина становится более чем когда-либо нужной для моего отечества!

Это было странно после польской нежности к отечеству; аудитория затихла, затаилась. Славянская речь, но непонятная и неродная, повелительная пафосом нелюбви. Это стихия, уносящая в бесконечную сладость бунта, отчаяния, разрушения.

— Итак, да! Мы еще народ рабский! У нас нет свободы, нет достоинства человеческого! Мы живем под отвратительным деспотизмом, необузданным в его капризах, безграничным в его действиях. У нас нет никаких прав, никакого суда, никакой апелляции против произвола; мы не имеем ничего, что составляет достоинство и гордость народов! Нельзя вообразить положения более несчастного и более унижительного. Будучи пассивными исполнителями мысли, которая для нас чужая, воли, которая так же противна нашим интересам, как и нашей чести, мы страшны, ненавидимы, я хотел бы даже сказать, почти презираемы потому, что на нас повсюду смотрят, как на врагов цивилизации и человечества! Наши повелители пользуются нашими руками для того, чтоб сковать мир, чтоб поработить народы, и всякий успех их есть новый позор, прибавленный к нашей истории!

Может, аудитория была поражена? Может быть, настало болезненное онемение? Аудитория не сводила глаз; Мицкевич из угла первого ряда устремленно, напряженно глядел на оратора, словно не понимая, словно перед ним стояло невозможное, невероятное, прекрасное.

— Россия сделалась поощрением к преступлению и угрозой всем святым интересам человечества! Русский в офи-

циальном смысле слова значит раб и палач! Вы видите, господа, — перевел дух и голос Бакунин, как бы остановившись от душившего его шквала, — я вполне сознаю свое положение и все-таки являюсь здесь как русский, несмотря на то что я русский, но потому что я — русский!

Бурно с задних рядов, от молодежи, словно птицы бури, взлетев, ударили крыльями, раздались аплодисменты и прокатились по залу овацией. Князь Адам Чарторьский, Бернацкий, Ворцель аплодировали, но сильнее всех зааплодировал Мицкевич.

— В святой войне вы, казалось, развили, истожили все, что великая польская душа содержит в себе энтузиазма! — Громовые аплодисменты покрыли голос, заглушив Бакунина, жестикулировавшего в их буре. Но голос стал снова слышен сквозь замолкающие аплодисменты: — Но, подавленные численностью, вы упали. Годовщина двадцать девятого ноября для вас не только великое воспоминание, но еще и залог будущего освобождения, будущего возврата вашего в ваше отечество! Я являюсь перед вами не только как русский, как кающийся, я осмеливаюсь провозгласить в вашем присутствии мою любовь и мое уважение к моему отечеству, я осмеливаюсь еще более, осмеливаюсь пригласить вас на союз с Россией! Но здесь я должен объяснить, я знаю, что вам предлагали подчиниться царю, отдаться ему душой и телом, вполне, без условий и оговорок. И будто тогда ваш господин станет вашим братом. Вашим братом, господа, слышите ли вы, император Николай вашим братом! — воскликнул Бакунин.

— Нет, нет! — раздались ответные крики зала, и пронеслось живое движение, смятое тишиной.

— Угнетатель, раб, враг, палач стольких жертв, похититель вашей свободы! — Голос уже охрип, слишком не жалел выкриков, слишком был увлечен, слишком подымали несдерживаемые выкрики зала. Но Бакунин понимал, что только сейчас подходит к главному, только сейчас он через этот зал, наполненный поляками, закричит на Неву, Николаю, бросая вызов из Европы. Бакунин знал, что вызов будет услышан и он станет в открытый бой с ним, Николаем Романовым.

— Россия — это анархия со всеми видимостями порядка! Под внешностью иерархического формализма, крайне строгого, скрываются отвратительные раны: наша администрация, наша юстиция, наши финансы — все это одна ложь! Ложь, чтоб обмануть заграничное мнение, ложь, чтоб усыпить чувство безопасности и сознание императора, который

поддается ей тем охотнее, чем действительное положение дел его более пугает. Это, наконец, организация, обдуманная и ученая, несправедливости, варварства и грабежа — потому что все, начиная от тех, которые занимают наивысшие должности, до самых мелких, разоряют, обкрадывают страну, совершают несправедливости самые вопиющие, самые отвратительные насилия без стыда, без малейшего страха, публично, среди бела дня, с нахальством и грубостью беспримерными, не давая себе труда скрывать свои преступления перед негодованием публики, они уверены в своей безнаказанности! Правительство, которое кажется таким импозантным извне, внутри страны бессильно; ничто ему не удастся, все преобразования, которые оно предпринимает, тотчас же обращаются в ничто! Имея опорой только две самых гнусных страсти человеческого сердца — продажность и страх, действуя вне всех национальных инстинктов, вне всех интересов, всех полезных сил страны, правительство России ослабляет себя каждый день своими собственными действиями и расстраивает себя! Оно волнуется, кидается с места на место, переменяет ежеминутно проекты и идеи, оно предпринимает сразу много, но не осуществляет ничего. У него есть одна только сила — вредить, и ею оно пользуется широко, как будто оно хотело бы само ускорить минуту своей гибели. Чуждое и враждебное стране, посреди самой этой страны оно отмечено для будущего падения.

Враги его повсюду; во-первых, это страшная масса крестьян, которые не ждут от императора своего освобождения и которых бунты с каждым днем показывают все более, что они устали ждать. Далее — интеллигенция — класс промежуточный, очень многочисленный и состоящий из элементов различных, класс беспокойный, буйственный, который бросится со страстью в первое революционное движение. Наконец, и особенно, это бесчисленная армия. Во всех последних крестьянских бунтах отпускные солдаты играли главную роль, они питают неугасимую ненависть к правительству! Ах, верьте мне, право, элементов революционных достаточно в России! Она волнуется, она оживляется, она считает свои силы, она узнает себя, сосредотачивается, и минута недалека, когда буря, великая буря, наше общее спасение, поднимется!

Тут показалось — рухнул зал от рукоплесканий, криков, бури восторга; с задних рядов все вскочили, стоя аплодируя, словно хотели разглядеть лучше русского, кто так громит Николая. В громе оваций Бакунин стоял, опустив голову, ожидая затишья. Он уже видел их всех побежден-

ными и чувствовал то спадение ораторского чувства, выпадение из себя материала, которое подсказывает: сейчас конец речи, и успокоение. Удовлетворенно знал: зал его весь, полностью побежден, и ни один оратор не завладел им так, как сейчас Бакунин; видел на себе сотни глаз, сотни плещущих, как крылья, ему рук.

В наступившей тишине Бакунин заговорил о той новой России, которая придет на смену, заговорил и о своей любви к России:

— Вы простите мне, господа, эту минуту невольной гордости Россией. Русский, который любит свое отечество, не может холодно говорить о нем.

Это было странно, эта стыдливость, это «прощение» в зале, где так пламенно, самозабвенно пелась любовь к отечеству; но, может быть, просьба о прощении любви была даже сильнее фанфар, симфоний, поэм, рукоплесканий.

Живое согласие задвигалось в зале.

— Примирение России и Польши — дело огромное и достойное того, чтобы ему отдаться всецело. Да наступит же великий день примирения, день, когда русские, соединенные с вами одинаковыми чувствами, сражаясь за ту же цель и против общего врага, получают право запеть вместе с вами вашу национальную польскую песнь, гимн славянской свободы «Еще Польша не сгинела!»!

И песня грянула. Бакунин сходил с трибуны в песне, в громовой овации; остановился на ступеньках; из рядов бросились. Бакунин видел слезы женщин. Бакунина окружили Ворцель, Бернацкий, Медынский, Высоцкий, Орденга. Смутно различал возгласы удивления, одобрения, радость, восторги; они все в эту минуту были его, Бакунина. Власть в гимназическом зале на рю Сент-Онорэ была его, неколебима. Бакунин пожимал бесчисленные руки, сильные, слабые, мужские, женские, идя в окружении толпы к выходу.

Выходя из дверей гимназии, Орденга проговорил Высоцкому:

— Бакунин говорит, как демон.

6

— Михаил Александрович! — проговорила Полудинская, останавливаясь как бы в нерешительности: входить ей или нет. — Не ждали?

— Не ждал, — проговорил Бакунин, — хоть и получил ваше письмо, а не ждал.

Полудинская одета изящно, в темно-вишневом шелковом манто, на шляпе бело-розовое птичье перо; лицо в темной вуали; в руке зонтик. Бакунин помог снять манто, проводил в комнату, называвшуюся гостиной. Входя, Полудинская, улыбаясь большими вздрагивающими глазами, оглядела все: покривившиеся багеты картин, хаос сборной, бедной мебели и пыльное открытое пианино с оставшимися на пюпитре нотами, на столе недопитые стаканы и немытая посуда от обеда.

— Угостил бы вас кофе, Марья Ивановна...

— Нет, нет, полноте, — засмеялась Полудинская, — куда уж там, знаю, какой вы хозяин. А ведь я не надеялась, что застану вас в Париже.

Бакунин ходил; Полудинская села в кресло, шляпы не сняла, приподняв только с подбородка вуаль. Было ясно, что разговор еще не начинался, это только вступление, неловкое и сковывающее обоих.

— Видала в Дрездене Рейхеля, — сказала Полудинская, — он передавал о вашей речи у поляков. В Дрездене об этом много говорили. А я волновалась, Михаил Александрович, не знаю почему, — засмеялась Полудинская, — вы представляетесь мне все ребенком, играющим с огнем.

— Ребенком? — остановившись, хохотнул Бакунин, глядя на Полудинскую не то с ласковой, не то со снисходительной усмешкой.

Потом в комнате родилось молчание, длительное и странное.

— Вот я вам недавно писала, — потупясь, заговорила Полудинская первая, — а сейчас желание взять это письмо назад.

— Почему? — садясь на диван, разваливаясь, прикрывая колено полой сюртука, проговорил Бакунин.

— Не понимаете? — повернулась Полудинская вполоборота. — Я ведь не знала, что буду писать вам, когда брала перо. Казалось, сумею высказать перед вами все, и, главное, вы меня поймете, а вот увидела вас — и холодно, и страшно, и все кажется никчемным, — грустно улыбалась Полудинская, перебирая бахрому скатерти на столе. — Разве, Михаил Александрович, не больно сознание, что вот я могу жить, могу умереть, могу радоваться и страдать, и все это не произведет ни малейшего движения в вашей душе и ни в чем не изменит вашего существования, даже одного вашего дня?

— Я вам сделал, быть может, много неумышленного зла, — проговорил Бакунин, — но я хочу только одного, чтобы вы поняли, что это зло — безвольное, не активное, нам, вероятно, просто не суждено найтись друг в друге. А может быть, мне и не суждено вовсе любить. — Бакунин

оживлялся; если б слушать со стороны, то казалось бы, что говорил он словно не о себе и Полудинской, а о ком-то третьем, теоретическом человеке и теоретической женщине. Полудинская под вуалью подняла на него большие вздрагивающие глаза, было даже неясно, понимала ли она Бакунина или только слушала его голос.

— К чему ж от вас скрывать, Марья Ивановна, — раскатывался мощный бас, — меня трудно любить, сам знаю это, есть в душе что-то неразрешенное и на дне постоянная тяжесть. Может, и не найдется человек, могущий снять ее. Я говорю вам прямо, потому что считаю вас своим другом, к чему нам всякие фразистые изъяснения любви? — Поднявшись, помахивая трубкой, Бакунин заходил по истрепанному, когда-то в странных, пестрых разводах ковру.

Полудинская сидела, уставясь в то место дивана, с которого встал Бакунин.

— Михаил Александрович, — сказала тихо, — о, я вас слишком хорошо понимаю, но мне порой становится жаль одного — что вы не ощущаете, не слышите силы моего чувства. Это чувство не эгоистическое, нет. Я не только бы ради вашего счастья, нет, ради вашей безопасности, ради сохранения вашей жизни мечтала бы отдать все силы свои, чтобы нашлось то существо, которое поняло бы вас совершенно и было способно любить вас так, как вы заслуживаете. Поверьте мне, — оживляясь, заговорила Полудинская, — что бывали минуты, о, эти минуты были для меня истинно адские! — воскликнула, как бы что-то припоминая, — когда я желала, если б это было возможно, купить всеми самыми ужасными несчастьями власть уничтожиться самой и своею смертью дать жизнь новой женщине, которая могла бы встать с вами вровень и быть вашим ангелом-хранителем, в эти минуты я хотела бы обладать могуществом Бога...

Бакунин незаметно ухмыльнулся в темные усы.

Полудинская приходила в то состояние раздражительных порывов, когда уж плохо владела собой, это бывало многократно в Дрездене и всегда вызывало в Бакунине чувство внутренней неловкости. Откинув на кожаное кресло голову, Полудинская говорила:

— Я не знаю, почему в самый первый раз ваше присутствие произвело на меня действие, в котором я никогда не буду в состоянии разобраться. Это был хаос, — тихо сказала как бы не Бакунину, а в пространство, — разверстая пропасть чувств и идей, которые меня потрясли. О, это потому, что ваши сердце и голова — это такой лабиринт, в котором не скоро найдешь путь, они словно полны

огня, и искры, летящие от них, воспламеняют другим сердцем и голову. Ах, Боже мой, Боже мой, что я говорю, — вдруг громко рассмеялась Полудинская, — ведь вы скажете: она с ума сошла! Ну смейтесь, смейтесь над моей экзальтированной экстравагантностью, а что же мне говорить, если я хочу и даже не могу передать вам все мои безумные мысли. Но я хочу знать только одно, скажите, как на исповеди, мне всю правду — неужто вами не владело никогда это чувство любви, такое же страстное, как вся ваша огненная натура? Das kann ich nicht begreifen!¹ — проговорила внезапно, чуть раздраженно, Полудинская.

— Чувство любви? — снова садясь на диван, закидывая громадную, слоновью ногу на ногу, проговорил Бакунин. — Может быть, его и не испытал еще, хотя не думайте, Марья Ивановна, чтобы во мне совершенно исчезло желание этого чувства. О, нет! Оно бывает иногда содержанием очень милых фантазий, — засмеялся Бакунин, — но, во-первых, я не даю слишком много воли своей фантазии, потому что она не должна преобладать в жизни, а во-вторых, смотрю на любовь как на невинную забаву; в-третьих же, для развития любви необходимы некоторые благоприятные обстоятельства, а мои теперешние, и внешние и внутренние, нисколько тому не благоприятствуют, — хохотал громко, с оттенком юмора Бакунин. — У меня есть интересы важнее всех частных интересов, и раньше удовлетворения главной моей потребности для меня невозможно удовлетворение потребностей второстепенных. Я считаю, Марья Ивановна, что высшее счастье человека — деятельность, а не любовь. Человек вправду счастлив, лишь когда он творит.

Полудинская улыбалась красивыми губами, отрицательно покачала головой, но словно не хотела перебить речь, слушая голос.

— Вы не считаете? Оно, может, конечно, это мужская доля, а природа женщины и не вынесет этой эксцентрической сферы?

— Нет, не вынесет! — засмеялась вдруг низким смехом Полудинская. — Нет, Михаил Александрович, вы хорошо знаете мир политический, но, дорогой друг, плохо знаете женщин. Ваш фанатизм теоретических мыслей без тени действительности никогда не заменит женщине полной любви с ее горячими взаимными принятием и приношением. И в то же время... и в то же время, — повторила Полу-

¹ Я не могу это понять! (нем.)

динская, — именно вы, Михаил Александрович, одно из тех существ, кому женщина хотела бы всем пожертвовать.

— Да-да, — прочищая трубку, как бы сам с собою сказал Бакунин, — человек странное и неуловимое существо. Впрочем, — поднял на Полудинскую смеющиеся темно-голубые глаза, — я ведь не прочь и от любви, только чтоб она не мешала главному, а заняла б, так сказать, свое законное место! — хохотал на всю квартиру заливающимся смехом. — А если вот она захочет овладеть всем моим существом, тогда пардон, тогда ее в сторону! Ибо «ничто не должно выходить за пределы здравого смысла!» — хохотал Бакунин.

— Вот вы смеетесь, — перебила Полудинская, — и как будто веселы, вы вечно такой, по студенческой привычке нараспашку, а мне кажется все, что все это ложь, что вы совсем иной, что, когда вы сами с собой, вы полны одиночества, застенчивости, человеческой ущербности, мне под вашей внешней экспансивностью всегда кажется, что вы несчастны. Это преследует меня, Михаил Александрович, я помню, вы как-то проповедовали в Дрездене о свободе разврата, что представлялось мне похожим на постоянное, открытое почесывание, а я вас слушала, и одна меня сверлила мысль: все это ложь, ложь, одни слова, и нет у вас ни в чем счастья.

— И, полноте, Марья Ивановна! — замахал трубкой, заходил Бакунин. — Ну эка мы с вами расфилософствовались! Счастье, счастье, а где это счастье, да и какое оно в этом безбрежном океане вечности? Должно быть мудрым и готовым ко всему, а главное, не забывать, что «горе и счастье все к цели одной», перед вечностью все ничто, голубка моя, все тщетно! Ну вот поговорили мы, а теперь пойдемте кофе пить в «Де ля Ротонд», я сейчас и ваше манто малиновое принесу.

Полудинская встала, тихо сказала что-то про себя, неразборчивое.

Когда они шли в кафе «Де ля Ротонд», она, смеясь, говорила.

— Если вы и ребенок, то такой, которого трудно водить на помочах, он эти помочи разорвет и разобьет себе при этом голову.

— Э-э-э, не так все страшно для «вашего ребенка».

Под руку они вошли в «Де ля Ротонд», где собиралась всесветная богема, где был Бакунин завсегдатаем. На них обращали внимание, от столиков оборачивались, Бакунин раскланивался налево, направо, идя с Полудинской, жестикулировал белой рукой, говоря громко, свободно, как путешествующий принц.

Приподнявшись со сна, Бакунин ничего не понимал: вошли трое мужчин и консьержка, гремя связкой ключей. По завитым усам, хватким глазам, цепкости движений Бакунин догадался бы сам. Но, желая быть вежливым, вошедший расстегнул пиджак, показав полицейский шарф.

Квартира легко поддавалась обыску; открывали столы, шкафы, лазили под кровать, расшвыряли пепел камина. Бакунин указывал, что требовали. «Но неужто вышлют?» — подумал, когда надевал брюки. Чувство отчаяния, усталости и тоски охватывало, душило.

— Возьмите вещи.

— Куда?

— В префектуру.

Бакунин сел вместе с полицейскими в карету с темными занавешенными окнами, запряженную гнедой парой лошадей, дверцы захлопнулись, карета тронулась рысью.

Смугловатый, с кошачьими движениями чиновник, грассируя, читал приказ о высылке из пределов Франции за вредную спокойствию граждан деятельность. Бакунин протянул паспорт. Чиновник писал в паспорте, ставил печати, заносил в книгу.

Бакунин бормотал русские ругательства.

— Куда я буду выслан, мсье?

— Отправитесь на бельгийскую границу.

С чемоданом в руке Бакунин шел по унылому коридору. Пахло прелью, непроветренностью, старыми бумагами, сапогами, ваксой. Экипаж, запряженный худыми, мотавшими головами лошадьми, ждал во дворе. У кареты в широком плаще стоял жандарм, он сел рядом с Бакуниным, высунувшись в окно, крикнул кучеру:

— Поехали!

Гнедые лошадки тронули по пыльному двору, мимо оконплыли парижские улицы, Тюильрийский сад, навстречу прогарцевали гусарские офицеры и мужчина во фраке на белой лошади; возле бульвара поравнялись с ротой национальных гвардейцев в медвежьих шапках, белых брюках; лошади бежали труской рысью; выправляя ноги, Бакунин вынул портсигар, закурил; уходила панорама обоих берегов Сены, огромные почернелые дома, дворцы на Кэ

д'Орсэ; капризная, разнообразная архитектура парижских построек; мрачные стены Консьержери, темная масса Нотр-Дам, Тюильри, Лувр, Сите, врезающаяся баркой в Сену. Париж, с которым связано столько надежд, дорогой сердцу город, лучшее место в гибнущем Западе, где так широко и удобно гибнуть.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

В Санкт-Петербурге в эту зиму, снежную и искристую, не было конца вечерам, балам, маскарадам. Особливо маскарады любил император Николай, не пропуская их ни в театре, ни в Дворянском собрании. Среди масок, полумасок появлялся всегда в пунцовом жупане линейного казака, и каждая маска имела право взять под руку всероссийского императора в пунцовом жупане и ходить с ним по залам. Николая забавляло, что тут слышал он из-под масок множество отважных шуток, анекдотов и прочего, чего б никто не осмелился сказать монарху без щита маски. Но дам высшего общества находил император малопригодными к игре маскарада. Раздавалось здесь до сотни билетов актрисам, модисткам и другим подобного разряда француженкам. Маскарады состояли из полонеза, разных кадрилией — индейцев, маркизов, швейцарцев и смешанных. Танцевали везде в Санкт-Петербурге; в отличие от государевых шли «bals des arpanages»¹ у князя Волконского, графини Разумовской, графини Лаваль, у Сухозанета. В Аничковом шли танцы дважды в неделю, чуть не затанцевались в пост. На масленой с утра — декольте, манш-курт². В пошевнях скакали на Елагин остров кататься с гор в «дилижансах». Мужики-силачи в красных рубахах правят; сам государь с Нелидовой садятся в ковровые сани; в другие пошевни лезут флигель-адъютанты, фрейлины, генералы. За пошевни привяжут салазки нитью, одни за другие, усадутся, несутся вниз как безумные, в снегу, в визге дам, в мужском хохоте.

На Каменном острове лужайку закидали снегом, делали тут крутой поворот, опрокидывались, взлетали сани, шум, смех, давка: шутка дело, пошевни запрягали шестериком;

¹ Балы достояний (фр.).

² Короткие рукава (фр.).

кучер Канчин в поту, душа в пятки уходит, спаси Господи, неудобно вылетит из саней государь. Но вылетали в снег; путаясь в серой, разлетающейся крыльями шинели, выпрастываясь, валяясь вместе с «Аркадьевной», хохотал заснеженный царь Николай.

2

После фоль-журне¹ у цесаревича шел в Зимнем дворце лучший придворный бал. Сверх дипломатического корпуса, всей «*maison militaire*», генералов гвардии, министров съезжались первые и вторые чины двора, члены Государственного Совета, статс-секретари, первоприсутствующие сенаторы департаментов и общих собраний. Съезжались тысячи белоснежных плеч и рук. Горностаи, соболя, шиншиля; сколько хл. лют француженкам-портнихам, сколько французами-парикмахерами пожжено в завивке волос.

Шестериками с форейторами едут Санкт-Петербургом от французов-портных штатские и военные; заботы с подбоем, прибором, примерки, брани, благодарности. Все для февральской ночи высочайшего бала в роскоши Большого Фельдмаршальского зала Зимнего дворца на Неве.

Плывут в зимнем вечере звезды, лысины, перстни, плечи, прически, бакенбарды, ленты через плечо; едут огни карет, бьют бичи; скачут тройки в ковровых белых санях с бархатом отлета крыльев. Укутались в уфимские платки, заснежились от российской пурги щеголихи, страшно отморозить щечку. Стоя в престранных позах, чтоб не смять мундиров, едут в каретах пажи.

Созвездием люстр горит Большой Фельдмаршальский зал, отдавая блеск в янтарь паркета. Куранты играют девять, их не расслышать за вальсом; несется французский говор; шумом, музыкой, оживлением наполнен не только зал, Помпеева галерея, Арапская комната, даже в ротонде — везде пляшут. Генерал Эссен с великими князьями уже ходил польку.

В девять громко распахнулись парадные двери; присели в глубоком реверансе дамы, склонились мужчины: император, обер-церемониймейстер граф Воронцов, вице-канцлер граф Нессельроде, шеф жандармов граф Орлов, министр двора князь Волконский, военный министр князь Чернышев. Но волнение в качающемся общегенеральском мунди-

¹ Казармы (фр.).

ре императора; лицо темно. Быстро, тяжело идет на середину Николай, и не голос, а крик:

— *Sellez von chevaux, messieurs! La Republique est proclamee en France!*¹

В белой перчатке — телеграфная депеша. Николай повернулся к близстоящему побледневшему князю Меншикову:

— *Voila donc une comedie jouee et finie le coquin a bas!*²

Николай махнул музыкантам. С полутакта, как остановились, повели трубачи вальс. Но стучащими шагами, кивнув стоявшим блестящей кучкой князю Волконскому, князю Чернышеву, графу Орлову, графу Нессельроде, император вышел, разъяренный, бормоча про себя что-то гневное.

В бальном зале образовались кружки; толковали о случившемся; смущенно и одиноко в стороне стоял французский поверенный в делах Мерсье де Лостанд.

— *Quel affreux malheur!*³ — сказал кто-то возле него.

— Високосный год взял-таки свое! — громко проговорил нетанцующий дородный дивизионный генерал Дохтуров, прозванный императором за толщину «мое пузо».

3

По Иорданской лестнице вниз в кабинет спускался Николай; столбенели, замирали кавалергарды: очень гневен шаг; торопясь, сзади спешил кудрявый военный министр князь Чернышев. Дверь распахнулась под ударом руки, осталась открытой. Чернышев вошел и прикрыл дверь.

До кабинета долетали звуки польки и менуэта. Императрица, растерянная, ходила в аванзале с Салтыковой; Салтыкова успокаивала.

Дверь кабинета растворилась только через час. Князь Чернышев вышел взволнованный; поднимался по лестнице, опустив голову; караул глазами провожал крепко сшитую фигуру министра.

У входа в танцевальный зал, заложив за спину руки, прохаживался опоздавший фельдмаршал князь Паскевич. Увидав Чернышева, пошел навстречу, спускаясь по ступеням. Взяв за локоть министра, фельдмаршал сказал тихо:

— Что, ваше сиятельство?

¹ Седлайте коней, господа! Во Франции — республика! (фр.)

² Комедия окончена, долой актеров! (фр.)

³ Какое ужасное несчастье! (фр.)

— Поспорил с государем, — проговорил Чернышев, не глядя на Паскевича; они поднимались, блестя лентами и звездами.

— Хочет воевать, — сказал Чернышев.

— С кем?

— С французами, что прогнали короля.

— Но его величество не жаловал короля.

— Вот, подите, говорит, через месяц поставит на Рейн триста тысяч войска. Я заметил, что войска у нас столько не найдется, чтоб на Рейн отделить триста тысяч, да и денег нет.

— Что ж государь?

— Как же, говорит, Александр вел такие большие войны, находились деньги? Государь запомнил, — взволнованно проговорил Чернышев, — что тогда вели войну на чужие деньги, Англия осыпала субсидиями, а теперь попробуйте попросите, дадут грош? Да и кому командовать армиями? — нарочито проговорил Чернышев.

Паскевич искоса взглянул на министра.

— Убедили государя?

— Нет, государь крепок, стоит на своем.

Никто не смел войти в кабинет; кабинет полутемен; горели две свечи. Николай ходил по кабинету в бешенстве; было трудно думать в этом бешенстве. Четверть двенадцатого остановился у амбразуры окна: «Если анархия перебросится на Германию, двину!» — пробормотал, и дверь распахнулась под ударом его руки. Николай стремительно вышел.

4

В Париж, в город великих революций, Бакунин вошел через Клиши, пешком, на третий день республики. Бульвары залиты толпами вооруженных синеглазников, в красных шапках, опоясанных красными кушаками, на шляпах кокарды; все красно; шумят толпы, поют, у многих перевязаны руки, головы, эти раны счастливей сейчас всех наград. На бульваре Батиньоль Бакунин остановился с глазами, полными слез. Какая же красота! Это Париж, светоч-город, да он сейчас еще прекраснее, превращенный в дикий Кавказ! Как горы, достигающие крыш взгроможденные баррикады; меж камней, сломанной мебели, поваленных карет, как лезгины в ущельях, толпятся работники, почерневшие от пороха, в живописных блузах, вооруженные до зубов. На рю де Риволи увидел Бакунин боязливо из окна выглядывающего лавочника с толстым, поглупевшим от ужаса лицом. Ни карет с гер-

бами и лакеями, ни дам с левретками на ремешках, ни знаменитых фланеров; исчезли львы с тросточками, лорнетами. На место их навстречу Бакунину по Елисейским полям новыми потоками текут торжествующие толпы работников, плывут красные знамена в упоении победой. «Vive la Republique!»¹ Вширь раздались парижские улицы, раскачались, размахнулись площади, вздрогнули набережные; заиграл грубой игрой, ожил город; и громадный парижский рот орет на весь Париж «Марсельезу!» На площади Согласия Бакунин стоял пораженный, не чувствуя себя от радости, от счастья. Исполнение мечты, начало безграничной свободы, потоп старого мира. Вот они, среди безграничного раздолья разрушений, эти радостные, как дети, толпы. Они любезны, остроумны, скромны, человеколюбивы, упади сейчас с крыши этого казенного зданья котенок, и ему на помощь бросится вся эта дикая, вооруженная толпа.

Без шляпы, с вьющимися по ветру волосами до плеч, грязный от долгой ходьбы, широко шагающий, с чемоданом в руке, Бакунин продирался сквозь толпы блузников к мосту Согласия. Улыбка ли, необыкновенность ли нефранцузского вида, но ему машут ружьями работники, кричат:

— Camerade! Camerade! Vive la Republique! Vive la Revolution!²

У Тюильри пестрая толпа солдат, работников, женщин, каких знает только революционный Париж, строгих «орлеанских дев революции», бедно одетых, смуглых, с красными бантами на груди. Держась за шею каменной фигуры, кричит вооруженный старик, вея бородой. Это — пламень революции, выпускаемый легкими, языком, челюстями — в воздух. И толпа ловит этот пламень:

— Vive la Revolution! Vive la Republique! Mort! Mort!³

Бакунин стоял очарованный; самому броситься, взлететь, произнести родным людям, созданным для нового человеческого счастья безграничной свободы, речь! О том, что они даже не подозревают, как велики, значительны дни и как, чтоб бережно сохранить счастье свободы и революции, надо, забыв все, броситься на взрыв земли, на подъем всемогущего, все смывающего, всемирного пожара. Маша красными шапками, шляпами, каскетками, заволновалась толпа. Навстре-

¹ Да здравствует республика! (фр.)

² Товарищ! Товарищ! Да здравствует республика! Да здравствует революция! (фр.)

³ Да здравствует революция! Да здравствует республика! Смерть (тиранам)! Смерть! (фр.)

чу, от Лувра, выезжала кавалькада. На тонком вороном жеребце, впереди всех, Бакунин сразу узнал Марка Коссидьера, заговорщика, бойца, революционного префекта полиции, того, кто так восхищался письмом Бакунина к царю и речью его на польском банкете. Коссидьер, большой, ширококоптый, с сухим лицом, черной эспаньолкой, как и вся кавалькада новой Коссидьеровой гвардии, — в синей блузе, красной шапке, красном поясе, с заткнутым за пояс пистолетом. На жеребце Коссидьер сидел плохо, с развороченными носками и шенкелями; и возбужденный криками толпы конь встряхивал Коссидьером, как привязанным мешком.

— Да здравствует Коссидьер! Да здравствует Коссидьер!

Красной шапкой с трехцветной кокардой машет Коссидьер, бритый, желтый, похожий на актера. Машут десять монтаньяров Коссидьеровой гвардии, с сильно республиканскими лицами и театрально воинственными жестами. Революционный префект едет на смотр в Казерн де Турнон, где расположилась красная гвардия, заменив королевскую муниципальную. Коссидьер не видел Бакунина, да и толпа хлынула через мост, за тронувшими рысью конными. Бакунин видел, как скверно облегчается на рыси Коссидьер. Но для революции это неважно. Через час вместе с толпой солдат, рабочих и женщин Бакунин вплыл во двор Казерн де Турнон.

Коссидьер отбыл, но в казармах все еще праздник; все трезвы, а похожи на весело пьяных, до того тут много шуток, смеху. Вместе с шутками стучат об пол ружья, звеня примкнутыми штыками. Мальчишка-солдат подкидывает штыком, пробивает медвежью шапку национальной гвардии; бьют прикладом по барабану; а гамен, с красным галстуком во всю шею, рваный озорник, приплясывает в солдатском кольце:

Mon pere est a Versailles,
Ma mere est a Paris.¹

Своеволен, отчаян, вертляв подросток; тучный взрывается гогот, хохочет и Бакунин. Бакунина схватил за руку подпоясанный белой солдатской портупеей коссидьеровец.

— Mon vieux!² Какими судьбами! Тебя шлет сюда сам сатана!

Это наборщик из «Ля Реформ», командующий отделением, первым ворвавшийся в Тюильри. Их обступили незнакомые рабочие, с смешливым удивлением глядя на громадную фигуру Бакунина.

¹ Мой отец в Версале,
Мой отец в Париже (фр.).

² Старина! (фр.)

— Да зачем тебе квартира! Для тебя не будет лучше квартиры, чем наши казармы, пойдем, пойдем, я устрою тебе прекрасный угол!

Дым сигареток, силуэты штыков, красные штаны, галстуки, веселые лица, помпоны матросов, крик здоровых глоток — опьянили Бакунина. Так уж устроен он, что, когда входил раз в кабак, всем казалось, что всю жизнь он пропьянствовал в этом кабаке.

— *Vive la Republique! Vive la Revolution!* — и бакунинский бас гремит: — *Vive la Revolution sociale mondiale!*¹

5

Пир без начала, без конца! Но в Казерн де Турнон не один Бакунин, все пьяны. Только Бакунин пьянее всех новых солдат, рабочих парижских предместий. В душно заспанных казармах ранним утром хочет старая труба играть зорю. Не умеет стекольщик жувенской фабрики, чернолицый Перье выдувать упругие мелодии, а горниста муниципальной гвардии убили. Будит Коссидьерову казарму отчаянными, душераздирающими звуками, дуя с хохотом в трубу; но никто не обижен, подымается казарма весело.

Идут в очередь к умывальной; среди голых по пояс французских тел полуголый, заспанный Бакунин возвышается громадой. Революция научила его вставать с петухами. Впрочем, Бакунин ночи не спит; в клубах, на прогулках по бульварам, в демонстрациях перед ратушей примелькалась волосатая, черная фигура русского. Его знает не только Коссидьерова гвардия. Вчера от ворот Сен-Дени вел безработных крестьян, наводняющих Париж. За громадной атлетической фигурой крестьяне шли по Парижу с криками: «*Mort! Mort!! Vive la Revolution sociale mondiale!*» и с знаменами: «Рабочее министерство! Уничтожение эксплуатации человека человеком!» На площади Грев взобрался на конную статую Генриха IV, украшенную красным знаменем. Бакунин не был оратором, Бакунин был народным трибуном, демагогом, его величаявая фигура, энергические жесты, короткие, как топором вырубленные, фразы производили захватывающее впечатление. Со статуи Бакунин кричал то безработным, то обращался к правительству: «Народ водрузил над баррикадами красное знамя! Нельзя пытаться обесчестить его! Пролитая народная кровь окрасила это знамя в

¹ Да здравствует всемирная социальная революция! (фр.)

красный цвет! Оно горит и ярко блещет, развеваясь над Парижем. Но может ли учрежденное правительство быть представителем социальной республики?! Прониклось ли оно насквозь республиканскими идеями?! Мы требуем для защиты республики, чтобы была немедленно объявлена война всем тронам и аристократам всех стран!!!»

Крики «Смерть! Смерть!» заставили Ламартина и Флокона с балкона ратуши говорить безработным, требующим хлеба и полного счастья, — речи!

О, стоящего в очереди к умывальной полугололого заспанного Мишеля уже знают работники Парижа.

— Мишель! *On se bat a Berlin! Le roi a pris la fuite, apres avoir prononce un discours!*¹ — ворвался гвардеец-матрос, трепыхая красным помпоном.

— Урра!!! Вив!!! — кричат полуголые.

— *On se battu a Vienne, Metternich s'est enfui, la Republique y est proclamee! Toute l'Allemagne se souleve!*²

— Урра!!! Вив!!!

— *Les Italiens ont triomphe a Milan, a Venise! Les Autrichiens ont subi une honteuse defaite!*³

— *Vive la Revolution sociale mondiale!* — гремит бакунинский бас, хоть и знает, что спокойна еще Европа. Но все тут смешалось в Коссидьеровой казарме, невероятное тут обычно, невозможное тут возможно, потому-то и орет оголец-мальчишка в красном галстуке во всю шею:

— *Le bon Dieu vient d'etre chasse du ciel, la Republique y est proclamee!*⁴ — И от нечеловеческой бури хохота качается казарма гвардии Коссидьера.

6

С баррикад, с ружьем на плече вошел в префектуру Марк Коссидьер, именем народа став префектом полиции. Старый заговорщик был человек средних способностей, но сильного характера. Коссидьер был голоден и, бросив ружье на диван, съел обед бежавшего префекта полиции Делессера.

¹ Сражение в Берлине, король спасся бегством после произнесения речи! (фр.)

² В Вене восстание, Меттерних бежал, провозглашена республика! Вся Германия поднялась! (фр.)

³ Итальянцы победили в Милане и в Венеции! Австрийцы потерпели неслыханное поражение! (фр.)

⁴ Боже, провозгласи республику и на небесах! (фр.)

Но вот уж несколько дней смуглому крепкому Коссидьеру, нервному Флокону, морщинистому Ламартину, жирненькому, с глиняной трубкой Луи Блану с балконов правительственных зданий толпы кажутся волнами, понесшими Францию в открытое море.

Коссидьер сидел в кресле префекта задумчиво, устало, бессонными глазами глядел в окно, в облака. Сквозь дребезжащие стекла, словно везли тяжелую кладь, доносился гул «Марсельезы». Коссидьер позвонил в колокольчик, приказал вошедшему адъютанту распорядиться закладывать карету.

В ратуше старый друг Флокон, человек незаметный, с черной эспаньолкой, как у Коссидьера, встретил приятеля в зале Сен-Жана невеселой улыбкой.

— Comment ça va?¹

— Comme-ci, comme-ca², — проговорил, рассматривая лицо Флокона, Коссидьер и тихо засмеялся. Они прошли к нише окна.

— Знаешь, что делает тут Бакунин? — вдруг проговорил Флокон.

— Видал, — сводя брови, пробормотал Коссидьер, — эта бестия поселилась в Казерн де Турнон, среди моей гвардии, он сошел с ума и сводит с ума людей; я говорил с ним, он помешанный.

Флокон отрывисто захохотал.

— Мой дорогой, в первый день революции этот человек просто клад, но на другой же день революции его надо немедленно расстрелять!

Коссидьер невесело усмехнулся.

— Вчера я видел Прудона, он готов носить по республике траур; жалеет, что таскал камни на баррикады, что вырвал дерево на площади Биржи и сломал перила на бульваре Бон-Нувель, — Коссидьер помолчал, — а его друг Бакунин, о котором он выражался, что *une monstruosité par sa dialectique serrée et par perception lumineuse des idées dans leur essence*³, проповедует, что революция еще не началась, зовет к полному нивелированию во имя равенства, которое, по его словам, начнется с разгрома Парижа. Это плохие шутки, Флокон, он водит к ратуше безработных, которые без того настроены беспокойно и затопляют Париж; они превратят Париж в Помпеи.

¹ Как дела? (фр.)

² Так себе (фр.).

³ Он чудовищен своей строгой диалектикой и ясным восприятием глубины идей (фр.).

— Да, да, знаю. Триста таких Бакуниных, и управлять Францией станет невозможно; но, мой друг, не подтверждать же нам его высылку королевским правительством?

— Его агитация может вылиться в кровавую драму, — пробормотал Коссидьер.

— Вероятно, мсье Делессер на твоём месте выдумал бы что-нибудь остроумное, — смеялся Флокон, вытаскивая из кармана сюртука сложенный вчетверо лист. — Собственно говоря, это твоё дело, но оно, к сожалению, сделано без тебя.

Коссидьер развернул лист: «Изгнанный из Франции падшим правительством, возвратившись в нее после февральской революции и теперь намереваясь ехать на русскую границу, в герцогство Познанское, для того чтобы действовать вместе с польскими патриотами, я нуждаюсь в деньгах и прошу демократических членов провизорного¹ правительства дать мне 2000 франков не даровою помощью, на которую не имею ни желания, ни права, но в виде займа, обещая возвратить эту сумму, когда только будет возможно. Михаил Бакунин».

— Ну? — залился смехом Флокон. — Революционный префект! Бакунину всего-навсего лишь подтвердили, что, если он обратится ко мне, Луи Блану, Альберу и Ледрю-Роллену, мы поддержим его планы поднять революцию в Германии или на границах России, где ему там заблагорассудится.

— Он довольно скромн, дайте ему хоть вместо двух тысяч пять. На две тысячи франков он вряд ли подымет революцию в Германии и России... — идя с Флокконом по залу Сен-Жана, говорил Коссидьер.

— О, в этом смысле надо предоставить все на полную свободу его гения. Я думаю, что люди на «Б» вообще не для Франции, — похохатывал Флоккон. Коссидьер понял намек на Бланки и Барбеса. Когда они выходили из ратуши, Флоккон, похлопывая по плечу старого друга, проговорил:

— И немецкие эмигранты, Коссидьер, похожи на подложенную под республику солому, политую керосином, вскоре, кажется, удастся и их отправить к себе восвояси.

7

С Бакуниным на тротуаре рю Шампньонет сидел оборванный человек со странно перекошенной щекой и глазом. Он перебивал Бакунина взмахами жилистых рук. В клубе

¹ Временного.

у ворот Сен-Дени Бакунин увлек человека с перекошенной половиной лица двухчасовой речью. Безработный слесарь с улицы Рике, стоя у трибуны, видел разевающийся, похожий на пасть, громадный рот Бакунина, вокруг головы вилась грива волос от резких движений корпуса, взмахов белых громадных рук. Слесарь бежал за Бакуниным, расталкивая толпу по рю Шампньонет, и нагнал растрепанного, гигантского человека, шагавшего по камням мостовой быстрой крепкой походкой. Слесарь схватил его за руку, проговорил все, что томило и мучило. У слесаря был свой план счастья Парижа и прекращения безработицы.

— Стой! — бормотал слесарь с большим красным бантом на груди и пистолетом за поясом. — Присядем, я расскажу тебе, что нам нужно...

Бакунина не удивили безумные глаза, перекошенный, прищуренный облик. В улице, запруженной возбужденной толпой и проезжавшими верховыми гвардейцами Коссидье-ра, они сели на краю тротуара; слесарь заговорил неразборчиво:

— В Париже много стариков, старух и детей...

Бакунин увидал: слесарь бредит.

— ...Их помещения будут отдыхом безработным...

Бакунин крепко схватил его за руку.

— Нет, этот план не нужен! — проговорил; но слесарь держал Бакунина, не выпуская. За ними остановились щегольской, полноватый молодой человек и хрупкая дама, оба одетые, как туристы. Молодой человек в модном пальто-макинтоше, круглой шляпе улыбался, то глядя на даму, то вниз на Бакунина. Наконец дотронулся палкой до спины Бакунина.

Вскрикнув:

— Герцен! — Бакунин вскочил и бросился, обнимая, целуя в обе щеки элегантного человека. — Да как ты попал? Я думал, ты в Италии.

— А ты, кажется, занят агитацией? — брызжа радостью веселых карих глаз, смеялся Герцен.

Слесарь шел понуро в сторону, все сильнее размахивая руками, разговаривая сам с собой, ускорял шаг, сплевывая тонким, длинным плевком на мостовую.

— Какая к черту агитация! — смеялся Бакунин. — Больной, сумасшедший человек буквально. Твердит дикую идею уничтожения неработоспособных и разрушения дворцов.

— Так чего ж вы так страстно с ним дебатировали? — хохотал звонко Герцен.

— И то верно, да я действительно, кажется, брат, сам тут на радостях с ума спятил; его бы надо попросту послать к черту...

Натали Герцен, улыбаясь ласковостью серых глаз, взглянула на Бакунина: все, мол, тот же.

8

Парижский салон Герцена в эту революцию был самым блестящим. Сборище всесветных богемьенов, мятежников, вагабундов¹, революционеров, весельчаков, страдальцев, съехавшихся со всего света в Париж. Это было «дионисиево ухо» Парижа, где отражался весь его шум, малейшие движения и волнения, пробегавшие по поверхности его уличной и интеллектуальной жизни. Приходили сюда друзья и незнакомые, завсегдатаи и случайные гости, богатые и нищие, никаких приглашений, даже рекомендаций не требовалось; приходили кто попало, и две венки-эмигрантки за неимением собственной квартиры разрешились здесь от бремени. Помосковски хлебосолен хозяин; завтракали тут, обедали, ужинали — беспрерывно; шампанское лилось в ночь до рассвета; за стол меньше 20 человек не садилось — немцы, поляки, итальянцы, румыны, французы, венгры, сербы, русские, — кто не перебивал в доме Герцена! Мишле и Тургенев, Прудон и Гервег с женой Эммой, Ламартин и Маркс, Луи Блан, Энгельс, Гарибальди, Мадзини, Флокон, Мюллер-Стрюбинг, Зольгер, фон Борнштедт, фон Левенфельс, Ворцель, Сазонов, Бернацкий, Жорж Санд, Толстой, Головин. Взрывались тут политические, философские споры, стихи, анекдоты, шутки, смех. Блистал в интернациональном обществе Бакунин диалектической стройностью толкования Гегеля, бешеностью темперамента и невероятным количеством выпитого и съеденного. Историк Мишле умер бы от десятой доли.

Собирали дань изумления, смешанного почти со страхом, смелость воззрений Герцена, его непокорный и неуживчивый ум, неугасающий фейерверк его речи, неистощимость фантазии и какая-то безоглядная расточительность ума при парадоксальности энергического характера и детского сердца. Это был пир таланта. Это были ночи пиршественно-скифские.

— Неужто в самом деле уезжаешь? — говорил Герцен озабоченно, когда они с Бакуниным подъезжали в фиакре.

¹ Бродяг (фр.).

— Да, да, еду, брат, еду, время не терпит, Флокон сообщил, что поддерживают от всей души, дают кой-какие деньжонки, предлагали даже пять тысяч, да я удовольствовался двумя. Не из чистоплюйства, считаю, что с революционного правительства брать деньги, не зная, когда отдашь, неловко.

— Это ж почти безумие; и ты надеешься что-нибудь сделать? Ехать неизвестно куда, одному, кого-то подымать, да кого ты подымешь?

Когда шли анфиладой комнат в кабинет с широкими креслами, кушетками, диванами, Бакунин, улыбаясь, говорил:

— Помни, друг мой, что я русский, да к тому ж еще и Бакунин, ха-ха-ха! Говоришь, никого и ничего? А мне вот кажется, что я Крез, богач, напал в мире на такую золотую жилу, что только копни, и брызнет золотом. Не сидеть же, Герцен, вечно сложа руки, рефлектируя? Надо делать историю, брат, самому, а не то всякий раз останешься зауряд. Эх, Герцен, Герцен, ты, брат, матадор, но с голубиным сердцем!

— Запил революционный запой! Только не принимаешь ли ты второй месяц беременности за девятый? — И на умном лице, в карих глазах убийственная ирония. — Ты, Бакунин, локомотив слишком натопленный и вне рельсов, несешься без удержу и несешь с собой все на свете. Ну что ж, подавай Бог, давай запьем по-всамделишному, сейчас дадут вина, а скоро соберется народ; сегодня даже Маркс будет, хоть ты его и не любишь.

— Нет, — качнул гривой Бакунин, — тщеславный, безапелляционный и мелочный еврей, хотя ум, конечно, и воля. Но эгоцентричен до безумия, он говорит не иначе, как мои идеи, и не хочет понять, что идеи не принадлежат никому.

Герцен задумался, улыбаясь, проговорил:

— Вы по всей стати, Мишель, очень разные. Ты — прирожденный партизан революции, а Маркс во что бы то ни стало хочет быть революционным главнокомандующим. Впрочем, — засмеялся, — я люблю его столько же, сколько и ты.

9

Дом залит светом, на длинном, раздвинутом столе в столовой готовились вина, закуски, коньяки, шампанское и с трудом испеченные во французской плите русские пироги.

Гостиная шумела пестрым сборищем, изящный Гервег, стоя у окна с Тургеневым, холеными руками пощипывал шелковистую бороду, говорил об испанской литературе; поодаль с хрупкой хозяйкой, Натали, разговаривал Карл Маркс, крепкий, резкий, с копной черных волос, с лицом упрямым и нахмуренным, все движения его были угловаты, но смелы и самонадеянны, и такой же прочно сшитый, но спокойный стоял рядом Ледрю-Роллен; невдалеке шумел с Борнштедтом и Левенфельсом краснощекий Энгельс; в массивном кресле посредине комнаты, как всегда, в синем сюртучке с золотыми пуговицами, вынув фарфоровую трубку изо рта, маленький Луи Блан перед Ворцелем, Прудоном, Бакуниным и Герценом говорил о проекте национальных мастерских. Неизвестный польский полковник беседовал с скептическим Рейнгольдом Зольгером; Мюллер-Стрюбинг, посасывая трубку, старался перевести бледному, морщинистому Ламартину стихи Люнига. Вошел, изящно кланяясь, Флокон; несмотря на занятость, управляющий делами временного правительства, так же, как Ламартин и Ледрю-Роллен, освободил этот вечер. Слушая Луи Блана, сидел, развываясь, обняв за плечо Герцена, Бакунин.

Натали, изящная, извинившись перед Марксом, пошла навстречу Флокону, говоря любезности. Потом задвигались кресла, стулья. Продолжая неоконченные разговоры, переходили в столовую, размещаясь у сервированного стола. За красиво-цветным столом с бутылками и бургундского, и бордо не произошло ничего необычного; но вот хозяин, Герцен, встал и, подняв бокал, заговорил о сущности сегодняшнего вечера.

— Друзья! Я предлагаю выпить за успех предприятия нашего общего друга Гервега!

За столом знали, для чего собрались, за что подымает тост Герцен: за военный поход на Баден легиона в четыре тысячи немецких эмигрантов во главе с Гервегом и фон Борнштедтом. За бокалы взялись французы и немцы. Гервег чуть улыбнулся, беря свой бокал; жена, Эмма, большая, словно переодетый в юбку мужчина, взглянула на него умиленно.

С угла резко проговорил Маркс:

— У этого предприятия не может быть успеха, оно похоже больше на революционную авантюру, чем на революцию. Я и мои друзья считаем для дела революции гибелью посылать людей на верное поражение.

Произошло замешательство. Флокон отставил поднесенный к губам бокал. Только что осушив бокал бургундского,

вспыхнул краской гнева Адальберт фон Борнштедт, проговорил запальчиво:

— Простите, герр доктор, может быть, вашу безапелляционность вы будете любезны подтвердить фактами?

Французы замолчали неловко, как хозяева при ссоре гостей, Ледрю-Роллен, опустив глаза в тарелку, ел. Флокон и Ламартин переводили глаза с Маркса на Борнштедта. Гервег сидел с вздернутым на Маркса, полным пренебрежения, красиво-игрушечным лицом. Бакунин, косо ухмыляясь, взглядывал то на Герцена, то на Маркса.

Отставив бокал несколько в сторону, звякнув им о другой, Маркс заговорил безапелляционно, резко обрывая слова, словно за столом сидели школьники, а не революционеры. Чем больше говорил, сильнее волновался, сжимая поросший черным волосом кулак.

Ужин вспыхнул, загорелся; забыли английское пиво, вина, шампанское, русские пироги и закуски; напрасно волновалась Натали на французской кухне. Гервег, желавший похода, заговорил страстно и красно о всеобщем восстании Германии, для которого нужна баденская искра, о связи с Геккером и Струве, которые уже раскачивают Баден. Гервега поддержали Левенфельс и Борнштедт. Коротко проговорил страстным басом Бакунин; за ним осторожно начал красивую, тихую речь Ламартин. Молчавший Прудон повернулся к Бакунину, проговорил на ухо:

— Что ты думаешь о Германии?

— Поход на Баден может дать сильный толчок к развитию революционного движения в Германии, — шептал Бакунин, — к тому ж имя Гервега, я сторонник его во что бы то ни стало, — и, совсем склонившись, прошептал, тихо рассмеявшись: — И думаю, тут, вероятно, больше зависти, чем логики.

Прудон повел плечом, вслушиваясь в ответный метавшийся голос Маркса.

— Вы ведете работников на верную смерть! Дайте мне цифры! Дайте мне данные, укажите фактические возможности восстания! Германия не Балканы, ее не подожжешь спичкой авантюры!

Почему, признавая волю, преданность революции, эрудицию, ум, не любил Маркса Бакунин? Волосатого, крепкого человека словно не переносил всем нутром и всей кожей. «Нет в нем ни на грош инстинкта свободы», — думал Бакунин, слушая все более гневно кричавшего Маркса. И, плохо подавляя гнев, резко заговорил, поддерживая поход на Баден. Маркс сидел с сжатым на столе большим

кулаком; когда ж метавшийся бакунинский бас оборвался, Маркс отшвырнул тарелку и встал:

— Я считаю бессмысленный поход предательством дела германской революции! — И пошел прочь из-за стола; за ним поднялся Энгельс.

Произошло новое замешательство: революционного поэта Германии оскорбили, захмелевший от шампанского Гервег вскочил, Бакунин успокаивал, склоняясь, бубня что-то со смехом; Флокон был искренно возмущен, и Герцен, что-то говоря о «марксидах», смеется.

А с Сены уж тянет рассветный ветер, молодая республика просыпается; над крышей дома Герцена, на авеню Мариньи, посерело весеннее влажное небо. Каменной глыбой очертился в прозрачной мартовской темноте Лувр, и лица гостей зеленеют в рассвете.

10

Когда стол стал похож на оставленное поле сражения, Бакунин, подперев голову широкой ладонью, облокотясь на локоть, сидел задумчиво. Герцен в передней провожал гостей, надевавших пальто и плащи. Бакунин думал о России; в легком хмелю на рассвете приходят странные и смешные мысли.

— Что мы как отяжелемши, а? — вошел Герцен.

— Да так, — улыбнулся Бакунин, меняя позу, — эх, тоска, брат, иногда охватывает, а отчего? Странно устроен человек, — заговорил, наливая вина, — вот еду очертя голову, как угорелый брошусь в неизвестность, отдам все силы святому бунту против мещан всех качеств и калибров, а иногда вдруг, знаешь, схватит такая тощица, без причин и без всякого основания. Ходишь как потерянный. На чужбине, без семьи, без родных, вот мы, русские, отрываемся от родины, а ведь немцами, французами никогда вовек так и не станем; и чем больше живу я за границей, все сильнее чувствую, что я по всем костям не они, а они, брат мой, не я. И никогда мы вплотную не сойдемся. И вот эта тоска отчего? Черт знает, а вяжет, словно живешь на поднявшемся кладбище. Вчера иду мимо Сены и сам себя спрашиваю: а не лучше ль сейчас за парашют да в реку и утопить все свое существование? Кажется иногда мне, что мир заснул и тишина какая-то страшная, мертвецкая. Если б вот не революция, может быть, натурально и прыгнул бы в реку.

Герцен улыбался карими умными глазами.

— Это у вас, герр Бакунин, нервное расстройство и переутомление от Казерн де Турнон.

Бакунин отпил из бокала крупными глотками.

— В общем-то, конечно, ерунда, — сказал, утирая от вина усы, — вот поеду послезавтра, да и попробую силы. Завертим, Герцен, выпустим русского красного петуха, пусть пропляшет мир под нашу музыку!

Но карие глаза Герцена словно потеряли на рассвете иронию.

— Знаешь, Мишель, ну, конечно, упоение революцией, увриерами¹ и восторг, а вдруг иногда подумаешь: да, но стоит ли вообще-то браниться с миром, не начать ли проще самобытную жизнь, которая б нашла себе самой оправдание и спасение, даже тогда, когда весь нас окружающий мир погибал бы? Иногда хочется взглядеться, да идет ли в самом деле масса туда, куда мы думаем, что идет? И идти ли нам с нею или же от нее? Знаем ли мы ее путь? Почему это мы живем не для себя, а чтоб словно занимать других, ведь практическое большинство людей вовсе не печется о недостатке *исторической* деятельности. Что это мы за вечные комедианты, за публичные такие мужчины, Бакунин?

Бакунин молчал, потом проговорил:

— Я человек обстоятельств, Герцен, и рука судьбы начертала в моем сердце священные слова, которые обнимают все мое существование: *он не будет жить для себя*. Я хочу осуществить это прекрасное будущее, и я сделаюсь достоин его. Быть в состоянии пожертвовать собой для священной цели — вот мое единственное честолюбие. А жить для себя? Что ж ты думаешь, в этом счастье?

— Не убежден, но иногда думаю, вот когда один, не на людях, — добавил, улыбнувшись мягко.

— Нет, — качнув лохматой головой, сказал после паузы Бакунин, — для меня это невозможно. Где ж тут жизнь? В тенетах, в цепях, с платком во рту, без свободы твоей и других, нет, мне слишком много свободы надо, Герцен.

— Свободы, свободы, а что такое свобода? Ну хорошо, может быть, в этом и есть *твоя* жизнь, но ведь ты ж борешься якобы за свободу других, хочешь умереть за нее, а вот Гёте думал: «Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein»².

¹ Рабочими.

² Человек не рожден быть свободным (нем.).

— Гёте, — усмехнулся Бакунин, — да при чем тут Гёте? Разве ты сам не чувствуешь, что кругом тебя все гниет, что этот мир стар и требует обновления дикой и свежей кровью? Этот мир должен умереть, никакие лекарства больше не действуют, и, чтоб легко вздохнуть наследникам, надо хоронить мертвеца. Вот эти похороны-то, это буйство похорон и есть моя жизнь, Герцен. Для этой страсти я и живу.

— Ну да, да, Бакунин, но есть ведь разница, — страстно заговорил Герцен, — можно спастись вплавь и можно топиться. Ты вот обрекаешь современных людей на жалкую участь кариатид, поддерживающих террасу вечности, на которой когда-нибудь будут танцевать другие. Но лучше ли, веселее ли будет их танец? Когда тот же Гёте был в Италии, он сравнивал череп древнего быка с черепом современного и нашел, что у современного быка кость несколько тоньше, а вместилище больших полушарий мозга несколько просторнее. И только. Три четверти всего, что мы делаем, Бакунин, есть повторение того, что делали другие, и история может продолжаться миллионы лет, и кажется, будет все то же. Недаром сказано, что история — скучная сказка, рассказанная дураком.

— История! — вставая, сказал Бакунин. — Да я ничего не имею против окончания истории хоть завтра! Ты слишком много философствуешь, Герцен.

— Философствуешь, ах, экс-Гегель, тебе ль это говорить, откуда вдруг такое пренебрежение к «философии»? Аттила, да и только!

— Без живого дела, без действительной жизни философия для меня давно мертва. Чем больше я ей занимался, тем яснее приходил к убеждению, что я ничего не знаю.

— Ну что ж, счастье твое. Отрезать голову и утверждать, что я от этого стал счастливее, вряд ли сумею. Ты, вероятно, счастливее, а у меня вот нет даже ясного сознания необходимости всеуничтожения. Я вижу гибель Европы, но не знаю еще, что придет ей на смену. Современная Европа снится мне гаванью, которой человечество достигло трудным плаванием. Современное состояние не представляет стройно выработанный быт, а быт, туго сложившийся по возможностям; оседая, он захватил с собой величайшие противоречия, исторические привычки и теоретические идеалы, обломки античных капителей, церковных утварей, топоры ликторов, рыцарские копыя, доски временных балаганов, ключья царских одежд и скрижали законов во имя свободы, равенства и братства.

Герцен говорил грустно; таким никогда не бывал на людях, где остроумничал и иронизировал без конца. Не то вплывший в затуманившиеся от утреннего тумана окна парижский рассвет, не то испаряющийся алкоголь оставляли грусть. На столе в беспорядке стояли разноцветные недопитые бокалы, недоеденные креветки, колбасы, устрицы, сыры. Бакунин то ходил, то садился.

— Странная вещь, — машинально поигрывал кистью кресла Герцен, — вот прочел пустяк, старую газетную телеграмму, а она не дает мне покоя и мучит именно потому, что в этом пустяке отразилась вся Европа: «Святой отец прислал по *электрическому телеграфу* свое благословение новорожденному императорскому принцу через два часа после разрешения императрицы французов». Здесь, в телеграмме, есть что-то безумное, и она объясняет лучше всех комментариев то, что я думаю о Западе.

— Святой отец по электрическому телеграфу... — хотнул Бакунин, махнув рукой, словно от жалости, — ну да, мы присутствуем, брат, при великой драме. Драма, ни более ни менее как разложение христианско-европейского мира. Благодаря Богу мы уже более не христиане. И надо решительно отвергнуть всякую возможность выйти из современного импасса¹ без истребления всего существующего. А тут, в Европе, непременно хотят мертвеца вылечить. Европа не понимает, что она в агонии, а она в агонии, и мне думается, не она, а именно мы, полудикие славяне, сыграем теперь в мире решающую роль. Наша судьба странна, мы видим дальше соседей, мрачней их видим и смелей высказываем. При гибели европейской цивилизации мы скажем свое слово, и, может быть, в момент этой гибели оно и будет услышано. Мы жестче, свежее, дичее и поэтому мудрее.

— Это, может быть, и верно, — медленно проговорил Герцен, — но ты представляешь себе реально этот «конец Европы», каков он будет? Ведь если в 93-м году, Бакунин, свирепел террор, поднятый мещанами и парижанами, что ж будет теперь, когда весь пролетариат Европы встанет на ноги? О-о-о, брат, да это зарево увидят с других планет. Но дело-то даже не в этом, а в том, чем это разрешится. Вот. По-моему, — задумчиво покачал головой Герцен, — это разрешится, Мишель, всеобщим варварством, в котором люди возобновятся, и тогда лет через пятьсот все пойдет как по маслу лет на пятьсот...

¹ Тупика.

Может, отъезд, риск головой, может, рассвет, но настроение Герцена сердило Бакунина; он грузно шагал по комнате, супил широкие брови.

— Ты похож, Герцен, на монаха, который при встрече не находит ничего лучшего, как сказать: «Memento mori»¹. Смотреть на конец — это вообще величайшая ошибка. Что такое будущее? Будущего нет! История импровизируется и редко когда повторяется, она стучится, брат, разом в тысячу ворот, а которые отпрутятся, никто не знает.

— Может быть, балтийские? И Россия хлынет на Европу?

— Может быть. Тебя все сбивает цель, дурно понятая телеология, а какая, брат, цель в песне, которую поют? Если задуматься о цели, то исчезнет мгновенно и очарование песни. Так и в истории, дальше уходит тот, кто не знает, куда идет. Лихо — морю-океану раскататься да расколыхаться. Разумеется, революция, а тем более мировая, не похожа на игрушки в детской. Да и что ж из того, что мировой переворот не переродит три четверти людей в людей из «орангутангов». По-моему, именно даже в них-то, вот в этих «орангутангах»-то, как раз и больше жизненной красоты. Пусть их завладеют жизнью, пусть принадлежит она им всецело, пусть они будут ее господами и наполнят мир дикой свободой, дикими песнями, может быть, зародышами новой культуры? Неужто для этого не стоит жить, Герцен, хоть бы минуту, хоть час, хоть день? Нет, я бросаюсь с головой сейчас в Европу только с этой одной мыслью и жаждой — зажечь пламя великой и святой всесокрушающей революции! Мой друг, пусть она переверотит и поставит вверх дном все, да так, чтобы после нее никто бы не нашел ни одной вещи на своем месте. Пусть будут разрушены княжеские замки, административные и судебные здания и учреждения, уничтожены процедуры, господские бумаги, документы, ипотеки, банки, одним словом, все, все. Пусть эта замышляемая мной, революция будет ужасна, беспримерна, хоть и обращена больше против вещей, чем против людей. Но только тогда я буду действительно счастлив, Герцен, когда весь мир будет стоять в пламени разрушения! И это будет настоящая революция, которой еще не было у народов! Вот с чем я бросаюсь сейчас в Германию! Вот с чего начну борьбу, агитацию и пропаганду. Нам нужна даже не словесная агитация, предоставим ее Ламартину, этой манной каше, желающей стать лавой, нам нужны действия, должны быть восстания, вспыш-

¹ Помни о смерти (лат.).

ки, кровавые бунты. Пусть некоторые из них будут обречены на неудачу, пусть гибнут в них люди, но вспышки нужны, как пропаганда действием, этот парлефетизм даст нам опыт для действий широких масс в том месте, где будет удача... — Бакунин, стоя, махал вокруг себя дымящейся сигареткой. — Да, да, Герцен, поэтому я и готов на всякое головоломное предприятие, на всякую отчаянную, революционерскую вылазку, потому что я верю, что всеобщее восстание именно сейчас, как никогда, близко! Но в белых перчатках, как хотел бы ты, восстаний не делают, напротив, надо развязать во всех этих «орангутангах» самые низкие, самые дурные страсти, чтоб ничто не стало им на пути, чтоб ничто не сдерживало этих обиженных судьбой в их ненависти и жажде истребления и разрушения. И вот тогда, о, только тогда прозвучит на земле гимн настоящей свободы и настоящего счастья. И самому во главе толп, миллионов нищеты, бедноты участвовать в беспощадной мести и разрушении мира, вот где, брат, наслаждение, которому я не знаю равного! Это Lust der Zerstörung!¹

— А и силищи в тебе, Мишель, какие-то непомерные, право, — рассмеялся и грустно и весело Герцен, — словно Этна Ниагаровна какая-то иль трехполенная революционная Жанна д'Арк, одна против англичан. С твоей-то бы, брат, силищей да страстью действий тебе бы вместо революций да катнуть в Америку, богачом бы стал!

— Э-э-э, — отмахнулся Бакунин, — в Америку. Там, брат, скука чертовская.

— Ну, стало быть, назовем тебя «Колумбом без Америки»!

11

Запряженный четверкой дрянной дилижанс, поскрипывая, проехал ровной рысью ворота Клиши; помахивала четверка вороных лошадей стриженными хвостами. Когда кругом пошли однообразные поля, над дилижансом пролетела разорванной тучей стая галок. Укачиваемый в старом дилижансе, Бакунин курил, разговаривая сам с собой: «Куда едешь? — Бунтовать. — Против кого? — Против Николая. — Как? — Еще хорошо не знаю. — Куда ж ты едешь? — В Познанское герцогство. — Почему туда? — Слышал от поляков, теперь там больше жизни, движения,

¹ Переход от слов к делу (нем.).

и оттуда легче действовать. — Какие у тебя средства? — Никаких, авось найду. — Есть знакомые и связи? — Исключая некоторых молодых людей, которых встречал в Берлинском университете, никого. — Рекомендательные письма? — Нет. — Как же ты, без средств и один, хочешь бороться с русским царем? — Со мной революция, и в Poznани я выйду из одиночества. — Но поляки одни не в состоянии бороться с русской силой. — Одни нет, но в соединении с другими славянами — да, особенно если удастся увлечь русских в царстве Польском. — На чем же основаны твои надежды, есть у тебя связи с русскими, иль ты идешь как угорелый на явную гибель? — Связей никаких, надеюсь на могучий дух революции, овладевший всем миром...»

Стался разнобой копыт; лошади везли дилижанс по блестящей, в колеях, дороге; старик почтальон дремал на козлах, ездил тридцать лет дорогой на Страсбург.

12

Сколько фельдъегерей, гофкурьеров несло по Европе, к границам России, к кабинету императора Николая; из Вены, Дрездена, Берлина, Италии, Богемии, Швейцарии, Венгрии на перекладных шестериках, на ямских тройках мчали изустные доклады, письма королей, бумаги министров. Сколько пало коней в пути, сколько зуботычин надавали пьяным ямщикам станционные смотрители, натерпевшись страху царских приказов. Да и гофкурьеры хватили перелягу, выкатывая с звоном колокольцев на Дворцовую площадь, предстая перед русским императором. Знали: кроме Бога стоит еще одна только сила, не сломанная европейским неистовством, — царь Николай. Но невероятно раздражителен, гневен, не спит ночей. А ночи в Петербурге белые, как пятичасовые сумерки.

В золотой пустыне дворца, с заложенной за борт рукой, потупив рыжеватую, с лысиной, голову, взволнованными шагами ходил император. Николай переживал самое страшное: воля казалась не всемогущей. В Вене — диктаторство каналов, бегство князя Меттерниха, разгром дворца на Бальплиц, буйства, столкновения с войсками эрцгерцога Альбрехта; бегство слабовольного императора в Инсбрук и полная отдача города в руки взбесившейся черни под главенством попа Фюстера! Бург, где танцевал с эрцгерцогиней Софией, захвачен толпой, и надпись: «Здесь не осталось ни капли вина!», в Шарлоттенбурге, на дворце, где сватал же-

ну, где говорил шефским бранденбургским кирасирам: «Помните, друзья, что я ваш соотечественник и, как вы, вхожу в состав армии вашего короля», — надпись: «Национальная собственность». Хаос и вертеп; бессилие и трусость, волнения в Неаполе; герцоги Пармский и Моденский бежали; Венеция — Республика Св. Марка. Не чернь — императоры, короли, генералы, министры, вот кто вызывал гнев шагов железного человека в военном мундире. Николай бормотал: «Трусость, ни в одном нет силы кровью защищать Богом врученные страны! Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока я милостью Божьей император!»

По ночам приходили ощущения, как болезнь, охватывало волнение, разливалась пустота в сердце и немели ноги. Откинув шинель, Николай с трудом поднимался на походной кровати, сидел в темноте, спустив длинные ноги на шкуру медведя. Было жаль, что умер Бенкендорф в своем эстляндском имении. Орлов ленив, проспит, убили же во дворце кулаком деда, удушили шарфом отца...

13

Вместо простудившегося графа Орлова на высочайший доклад прибыл умный генерал темного происхождения, Дубельт. Николай читал письмо от Орлова, хмурясь: «Ваше Величество! К сожалению моему, не могу быть с докладом, потому что горло болит и кашель сильный продолжается, но надеюсь завтра или послезавтра поправиться. Между тем, слава Богу, все смирно, и пустых толков никаких нет, как в городе, так и в окрестностях».

Исхудалое, в светлых усах лицо у генерала Дубельта; на лбу, щеках по-бенкендорфовски глубокие рытвины, но лицо много хитрей и уклончивей.

— Докладывай.

Дубельт зачитал певучим упорным баритоном; докладывал сводку заграничных агентов из Франции, цитировал донесения парижского агента Якова Толстого; доложил о Вене; Николай не перебивал, глядел в стену. Но когда в германском докладе Дубельт прочел, что поступили полицейские сведения о появлении снова в Пруссии отставного прапорщика Бакунина, направившегося на границу с Польшей, откуда доносят о связях его с польскими мятежниками, Николай ударил кулаком по ручке кресла, потемнел и гневно встал в рост. Дубельт остановился.

— Попросят помощи, а сами до сих пор не могут схватить этого мошенника!

Темен стоял Николай.

Дубельт проговорил негромко:

— Если б в Пруссии был покойный король, мы б давно имели преступника.

Дубельт докладывал о Богемии:

«...о средоточии поляков, после поражения восстания в Познани, теперь в Саксонии и в Праге получены данные, что якобы в противовес Франкфуртскому собранию собирается в Богемии славянский конгресс, имеющий на самом деле скрытые революционные цели. Среди съезжающихся есть головы, мечтающие о новом подъеме Польши к повсеместному восстанию. Как доносят, завязаны преступные связи с сербами, черногорцами, хорватами и русинами. Из русских возможно появление на съезде названного преступника, отставного прапорщика Бакунина. От съезда этого ждать во всяком случае надо многих опасностей, хоть и господствует в головах депутатов путаница. Есть донесения, что у некоторых существует даже безумная и преступная идея о том, что якобы можно надеяться при всеобщем славянском восстании на то, что Ваше Величество принуждены будете, подобно другим сдавшимся революции монархам, встать во главе всеобщего славянского движения...»

— Что?! — вскрикнул Николай. Дубельт оборвал. Николай захохотал. — Я?! В роли славянского Мазаниело?! Так, что ли?!

Дубельт улыбнулся в светлые усы.

— Вот это ловко! Развеселил! Да какой же это дурак прочит меня в голову славянской революции?

Николай гневно смеялся; сидел в мундирном сюртуке нараспашку без эполет; закидывая большую ногу на ногу, сказал:

— Знаешь, кто Мазаниело был? Один злосчастный неаполитанский рыбак, предводитель восстания в семнадцатом веке, сначала боготворили его бунтовщики, а потом убили, а похоронили снова с исключительными почестями, как героя. Вот и они хотят, чтоб я голову под топор положил, хотя бы и славянский... сволочь! — ненавистно пробормотал Николай. — Медему немедля пошлешь, войдя в согласование с Нессельроде, все данные об этих происках, пусть в Инсбруке заранее знают о кознях и гнусностях. Там теперь, поди, такой хаос вокруг Фердинанда, что святых вон выноси, составь подробный доклад, дай назавтра, я просмотрю, пошли с гофкурьером прямо в Инсбрук к эрцгерцогине Софии,

она дельная, с волей, да и князь Виндишгрец при ней, чтоб заранее пресекли авантюру в корне. А то, может, и до них дойдет, что я поддерживаю разбойников. Ма-за-ни-е-ло?! — захохотал в светлые усы Николай. — Так, может, это мой прапорщик Бакунин выдумал? Хотя он знает меня. — После мрачной паузы Николай проговорил сквозь зубь: — За сим извергом приказываю следить неотступно, сам напомню Нессельроде, чтоб при первом же случае схватили негодя и выдали мне. Закую! Его место давно там! — пробормотал и махнул кулаком на Петропавловскую крепость.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Солнце над золотой Прагой так разгорелось, что словно тают в блеске купола церквей в недрожавшем воздухе. Зелены пражские острова, дремлют в голуби неба краснокаменные мосты, башни Вышнеграда и Градчина. Рыбьей чешуей опоясывает гористость города голубая Молдава. Безветрен палящий день. Но что происходит в золотой, расцветившейся цветной ярмаркой Праге? Не воскрес ли Ян Гус? Не вернулись ли времена Жижки?

Смешение чужеземных лиц, пестрота нарядов, беспокойная суeta вооруженных течет по улицам и площадям. Красно-золотые чепраки на конях, выются ленты, вплетенные в конские гривы. В синих безрукавках с широкой белизной шитых рукавов скачут всадники. Цветут шапочки славянских цветов; перья на шишаках; звенят сабли.

Смоляной старик, владыка Черногории, въехал в Прагу с загорелыми, бронзовыми, черно-бородатыми конниками. Прибыл бан хорватов, на горячих конях с ним двести конных в пестроте национальных костюмов. Парами идут сербы-священники. Колышутся трехцветные славянские знамена. Заполнило золотую Прагу славянское беспокойство. От славянских радостных толп боязливо сторонятся немцы и евреи. Ожила славянщина, забилась на Молдаве в золоте дней перед праздником Святой Троицы.

На Конную площадь, к статуе доброго герцога Вацлава, едут конные, идут пешие толпы. Под небом, под солнцем поет тысячный хор. Расплавленным ароматом ладана льется благолепие греческого песнопения, прекрасна в живописности славянская толпа.

Зачинщики всеславянского съезда, хозяева, чехи в старине гуситских камзолов, члены «Сворности» в цветных шапочках, гремят саблями на боку члены «Славии» и «Рипиля», студенческий славянский легион в синих плащах с широкими воротами, в стянутых кушаком мундирах, шляпах с вьющимся в ветре пером. Машут платками женщины, сыплют цветы на чешские камзолы, словацкие безрукавки, черногорские чекмени, белизну сербских рубах, на кунтуши, свитки, чубы, усы и бороды.

В колясках едут европейцы поляки, в цилиндрах. С балконов кричат: «Слава! Слава!» Давно исчезли черно-желтые флаги Австрии. Веют национальные знамена славян. Польский отряд познанских бойцов выходит строем на площадь, несется торжественный хорал «С дымом пожаров».

Течет по Конной тысячный гул, громогласны дьяконы, в золоте риз возглашая славянству многолетие. Ответно гремит площадь «Многая лета!» — словно не церковным песнопением, а гимном восстания.

2

Трудно императорско-королевскому командующему войсками фельдмаршалу-лейтенанту князю Альфреду фон Виндишгрецу, хоть и чех он родом. Часто седлают курьеры коней к его апостолическому величеству императору Фердинанду. Безволен увезенный из Вены больной монарх, но князь Виндишгрец знает волю эрцгерцогини Софии. С Софией иезуиты, сутаны, бритые гуменцы, нашептывают в Инсбруке, вьют веревку. Виндишгрец ждет, чтобы только по телу Австрии пробежали судороги восстаний, он опрокинет, набросит удавку, затащит узлом. Поэтому и слушает спокойно «кошачьи концерты» славян, окруживших Пражский замок.

В гостинице «Голубая звезда» дым, шум, распахнуты день-деньской смежные двери номеров 14-го и 15-го, творится странное, по пестроте костюмов, разнообразию говора, сильнее всех гудит бакунинский бас.

Бакунин окружен вооруженными: доктор Карл Сладковский, русский чех в гуситском камзоле, белые спокойные близнецы теологи братья Страка, журналисты Арнольд и Сабина, жестяных дел мастер Менцль, купец Прейс, патер Андрей Красный, мельник Мушка, много членов «Сворности»; с чехами смешались кунтуши черногорцев, безрукавки словаков, польское штатское. У стены — выпущенный из берлинской тюрьмы повстанец Либельт со словаком Ту-

ранским, мораванином Захом. Шелестит рясой благостный старообрядческий поп Олимпий Милорадов.

— Будь мы, славяне-то, посолитарней да не столь падки на чужеземное, никогда б и не подпали под власть иностранных династий.

Страстен перед собравшимися бакунинский бас.

— Верно, верно, что мы, славяне, с трудом понимаем друг друга, но и у нас есть слово, которое понимают все славянские сердца! Это «Заграбьте немцев!» — Сметайте немцев! — это наше слово знают от Эльбы до Урала, от Адриатического моря до Балкан, услышат его и на Неве! — потрясает кулаком Бакунин. — Прав Коллар, что если б славяне были металлами, вылил бы он одну статую: голова — Россия! туловище — поляки! плечи и руки — чехи! ноги — сербы! а хорватов, словаков, словенцев, лужичан растопил бы в латы и оружие! О, перед этим изваянием, восходящим за облака,двигающим Землею, вся Европа падет ниц! Мы противопоставим Гёте — Пушкина! Мицкевича — Шиллеру! Наша болезнь — раздробленность и недостаток единства, но зато у нас есть свойство, за которое много бы дали племена старой Европы, — свежесть, за нами молодость! Она-то и призывает нас вступить в одряхлевшую жизнь мира и перестроить ее заново! Может ли старая Европа работать для рождения того нового, что есть ее проклятие и смерть? Может ли быть она союзницей той демонической, мир обновляющей силы, которая нам, братья славяне, прокладывает дорогу, чтоб мы могуче перелили нашу полноту крови, как свежие, весенние соки, в жилы окоченелой европейской цивилизации? Нет! Никогда! Никогда не выйдет правда из лжи! Великое из посредственности! Свобода из несвободы! Мы, последние пришельцы в развитии европейского общества, чувствуем себя призванными к осуществлению того, что другие народы Европы приготовили, что теперь считается за конечную цель гуманности, величия, свободы и счастья всего человечества!

Славяне зашумели одобрением захватившему их громадному, похожему на черного льва человеку; забряцало оружие, крики «Слава! Слава!» наполнили комнаты «Голубой звезды».

3

Предгрозовые летние сумерки ложились на древнюю Прагу; померкли купола, зашелестели в ветре сады, взволнованней понесла темные воды Молдава. Шумной толпой

из «Голубой звезды» выходили славяне, меж искусственных пальм, пыльных зеркал, по коврам.

У Бакунина остались Либельт, мораванин Зах, отец Олимпий. Бакунин уславливался с Либельтом, где встретиться для выработки «Манифеста к европейским народам», порученного конгрессом. Никто так не кипел в эти пражские дни, как отставной прапорщик артиллерии Михаил Бакунин. Бакунин словно помолодел, был в своем элементе. Любил рев восстания, шум клубов, площади, баррикады, любил и приговорительную агитацию, возбужденную и вместе с тем сдержанную жизнь конспираций, консультаций, бессонных ночей, переговоров, договоров, ректификаций, шифров, химических чернил и условных знаков.

— Прекрасно, до завтра, — прощались Либельт и Зах.

Когда они вышли, Бакунин размашисто повалился в кресло, растирая лицо руками.

— Устали? — сказал отец Олимпий. У Олимпия бескаблучные татарские сапоги, словно плывет он по бакунинской комнате.

— Устал, отец, устал. Наболтаешься за день, — потянулся широченным движением рук, зевнул и крякнул Бакунин.

К окну поднималась лиловая сирень; Олимпий вытянулся в окно, и черная ряса смешно, как у женщины, обтянулась. Повернувшись, проговорил:

— Хорошо теперь на Днестре, у нас в Буковине. Благодарить, Михаил Александрович; Днестр-то в желтых скалах, сады, вишенье, тишина вечерняя.

— Да, да, — глядя в пространство, в точку, задумался Бакунин, — хорошо, отец, вишенье и тишина. А скажи, почему ж это ваш монастырь-то прихлопнули?

— Да разве ж не знаете, за что император старообрядцев преследует? За то и разогнали, по приказу Николая Павловича, его приказ всему миру закон.

— Толком, батя, не понимаю я, какая разница между православием и старообрядчеством, расскажи-ка вкратце.

— Странно, что не понимаете. — Олимпий помолчал. — Это с патриарха Никона повелось, все изложено в книжках, в «Истории о древних стригольниках и новых раскольниках» Иоанна Охтенского, в книжке господина Берга «Царствование Алексея Михайловича», в «Истории церкви» Павла Белокриницкого, почитайте.

— Достать бы эти книжки, отец, хоть одну бы какую-нибудь, непременно прочту. Займусь. Жаль, что вообще мало «фактов» знаю. А понимаешь, что тут может выйти,

а? — Бакунин заговорил, откинув белой рукой кудрявые волосы. — На Руси-то ведь старообрядцев и других расколов — пруд пруди, русский народ склонен к фанатизму, и вот, отец, раскачать бы раскольников против Николая-то, а? За ними можно и крестьян поднять, тут, батюшка, если во главе движения встанет новый народный Никита Пустосвят иль протопоп Аввакум, он и Стеньку Разина затмит! — подходя к попу, проговорил Бакунин.

Лицо Олимпия без выражения, чуть скривился левый угол рта.

— Понятно, если с умом к делу подойти.

— Ну да, с умом! Этим должен заняться человек толковый, знающий старообрядчество. Вот, например, ты, батя? — хлопнул по плечу Олимпия Бакунин. — А? Как? Иль кишка тонка? А даль-то заманчива, новым Аввакумом будешь.

— На костре-то? — чуть присев в пояснице, тоненько засмеялся Олимпий.

— Зачем на костре, сам говоришь, с умом надо.

— Оно так, Михаил Александрович, да ведь нет у нас с вами того, что нужно. Ну что мы на съезде, всего двое россиян, и те беглые? Нужны многие люди, а главное — средства, без средств что сделаешь? Вот если б со средствами-то, с иностранной державой какой.

«Плут, пройдоха, знает, где жареным пахнет», — прищуренно смеясь, думал Бакунин и внезапно расхохотался грубо, оскорбительно для отца Олимпия.

— Эка, куда хватил, батя! Средства и средства, говоришь?! Как Наполеон — аржан, мол, ха-ха-ха! Правильно, сан заржан¹ ничего, батя, не поделаешь, ну я, брат, вечерять-то в ресторацию на низ пошел.

Приглаживая масляные волосы, бесшумно проплыл сапожками отец Олимпий.

4

Тайное общество «Славянских друзей» ждало глубокой ночи. Бакунин ждал этого часа в первом этаже «Голубой звезды», в ресторане. Вид ресторана необычаен; за столиками — вооруженные, разноцветные славяне, подвыпившие, поют. Никто так и не пьет и не поет, как славяне; все веселы, словно перед боем.

¹ Без денег (фр.).

В углу боязливо оглядывался заезжий еврей с глазами кролика и двое немцев старались не обращать внимания на славянские песни.

— Лучше бежать в Каир! Тут висит гроза, несколько дней, и она разразится, — понизив голос, говорил лысый немец длинноволосому очкастому человеку, похожему на писателя.

— Неужто так плохо? Мне думается, вы преувеличиваете, славяне любят пошуметь, но что б что-нибудь из всего этого вышло?

— Варфоломеевская ночь, вот что выйдет, — тихо проговорил лысый.

За славянскими столами зазвенели бокалы, сворнисты грянули гуситскую песню.

Мимо немцев, смеясь в сторону песни, прошел громадный Бакунин, размахивая сигареткой. Остановился, выбирая взглядом место, и, сев, подозвал лакея, долго объясняя, заказывая еду.

Очкастый, сутулящийся, длинноносый человек, только что говоривший с лысым немцем, пристально разглядывал монументальную главу «Славянских друзей»; под очками плавала улыбка, словно человек был и чем-то до крайности удивлен, и весел. Наконец, выпив остаток сельтерской воды, человек встал, направившись к Бакунину.

— Если не ошибаюсь, господин Бакунин? — проговорил по-немецки.

— Ах, Мейсснер, — оторвался Бакунин от еды, — не ожидал, какими судьбами?

— Проездом во Франкфурт, — садясь, сказал Мейсснер, знававший Бакунина еще по Парижу.

Но Бакунин взглянул недружелюбно, сказал зло:

— Во Франкфурт? Что ж, господин немец, едете туда продавать чехов?

После паузы Мейсснер произнес:

— Если для вас богемский депутат — «продавец» чехов, то я, вероятно, продавец.

Бакунин доедал необычайную, чрезмерную порцию мяса; брови сошлись; прожевав, утираясь салфеткой, сказал:

— Богемия — славянская страна, и всякий немец здесь враг!

Цветную капусту лакей поднес завернутую, как новорожденного ребенка, теплыми салфетками. Бакунин ото двинулся, когда лакей накладывал на тарелку множество капусты, поливая маслом с сухарями; Мейсснер саркастически глядел на гигантские порции.

— Мне кажется, в Париже, Бакунин, вы были иного мнения о чехах, называя их выкидышами славянства, которые благодаря немецкой культуре и немецкой крови так дегенерировали, что истинные славяне не должны признавать их братьями, помните? Отчего ж это все так сразу переменялось?

Бакунин оторвался от капусты, взглянул в упор вспыхнувшей синевой глаз на худого, желтоватого, немощного Мейсснера.

— Мой господин немец, — сказал, отчеканивая, — я охотно признаю, что два года назад был иного мнения о чехах, не зная их близко. Теперь я их знаю! Это старые гуситы, это кажется невероятным, но чехи воскресли! Что ж вы, не видите, как все здесь одушевлено славянством?

— Для жизни одного одушевления маловато...

— Не говорите старых истин, которые звучат сейчас пошлостью! Здесь, в Богемии, как нигде, бьется единственная в мире свежесть. В славянах несравненно больше природного ума и энергии, чем в немцах! А главное — в них молодость. Если б вы видели братскую встречу славян, это дети одной семьи, в первый раз свидевшиеся после долгой разлуки. Они плакали здесь на улицах, обнимались, смеялись, и все это без лжи, без пошлой фальши, так присущей европейцам!

В дверях раздался шум голосов, ударились о косяки настежь отлетевшие двери. Гомонной пестротой ворвались члены «Славии», «Сворности» с поляками, хорватами, словаками.

— Смотрите! — воскликнул Бакунин. — Смотрите на этих молодцов! Они все братья! Вот он, ставший жизнью панславизм!

Мейсснер с болезненным выражением лица отвернулся. Вломившаяся молодежь, крича, мешалась с сидевшими. Бакунин глядел на них радостно, улыбался, наливая в два бокала шампанского.

— Простите, я не пью, Бакунин, и я не понимаю, как эта странная, дикая романтика вяжется у вас с вашими взглядами? Вы же прекрасно знаете, что между чешским, сербским и русским народами разница так же велика, как между немецким, датским и голландским. Ваш славянский парламент будет конгрессом братьев, не понимающих друг друга, — Мейсснер резко расхохотался, — хорошее братство! Иль вы надеетесь на повторение в Духов день чуда с языками? Ну тогда вы, разумеется, побратаетесь!

Бакунин отшвырнул салфетку, смерил Мейсснера с презрением и высокомерием.

— Господин немец! Все это верно, мы, славяне, понимаем друг друга с большими трудностями, но там, где нам не хватает языка, начинается симпатия родственных душ. Не вам, немецкому еврею, смеяться над этим! К тому ж у нас есть слова, понятные решительно всем славянам от Эльбы до Урала, от Адриатического моря до Балкан и приводящие все славянские сердца в одинаковое действие! «Заграбьте нимцив!» Поняли?

5

В полночь номер 14-й «Голубой звезды» дышал дымно, дымили кривыми, прямыми трубками, сигаретками, сигарами; на середину был выдвинут стол, за ним, распластав громадные руки, сидел великан — Бакунин. Справа секретарствовал бледный Адольф Страка, рядом с ним, в национальном костюме, красавец студент Иосиф Фрич. Слева, в низком кресле, черноглазый, бойкий товарищ председателя, поляк Юлий Андржейкович. Грыз трубку в углу рта словак Туранский, грязноватый, тяжелый; редактор «Общанске Новины» Эммануил Арнольд, испитой и бесцветный; неопределенных лет редактор «Новины Славянской Липы» Карл Сабина; жестяных дел мастер Менцль, патер Андрей Красный; сдвинулись кучкой неизвестные лужичане, сербы, хорваты, два бородатых бронзовых черногорца. Бакунин говорил пониженно, плавно катился раскатистый низкий голос. Разнообразные лица сковывались взглядом его синих, выжидающих глаз. Иногда он чуть взмахивал большой белой рукой; иногда тихо ударял по столу, и вздрагивал тогда поляк Андржейкович.

— Братья, мы члены «Славянских друзей», червленнейшие республиканцы-демократы, должны превратить себя в одну жажду революции, в одну революционную страсть! К будущей весне демократические немцы готовят всеобщее восстание Германии, мы, славяне, для нашего дела должны соединиться с ними, так же, как с мадьярами. Посредничество между славянами и немцами я беру на себя. Посредничество между Кошутом и венгерскими славянами должен взять на себя брат Туранский. Богемия должна стать центром славянского революционного движения, здесь все назрело, и если мы не смажем ружей, то их смажут другие. Некоторые из нас говорили о Польше, но нам нужна свежая

почва, Польша истощена и деморализована поражениями; к тому ж многие из поляков могут дать начавшейся революции исключительно польский, частный характер и тем самым предадут славян западноевропейским демократам. Это нам не с руки, — Бакунин стукнул по столу. — Прага, вот род Москвы, сердце славян, и если Прага поголовно встанет, она увлечет и прочих славян, наперекор Палацкому и другим приверженцам австрийцев. Наша главная надежда должна быть — при помощи Праги поднять всю Богемию. Ошибка немецких и французских демократов состояла в том, их пропаганда ограничивалась городами и не проникала в села. Села оставались равнодушными зрителями революции. Мы не должны повторять этой ошибки, мы должны в первую голову вместе с Прагой поднять богемских, чешских, а равно и немецких крестьян. Нет ничего легче, как возбудить революционный дух в земледельческом классе, в этих Häusler¹ и даже совсем бездомных деревенских людях! Я утверждаю, что нигде крестьяне не склонны так к революционному движению, как в Богемии. Феодализм, тяготы притеснения, господские суды, феодальные налоги, набор в войска, сборы десятины — этого чересчур достаточно для пропаганды и поднятия крестьян, живущих наполовину волками в камышах, наполовину свиньями в хлевах. Кроме того, от безработицы уходящие с фабрик работники судьбой призваны быть рекрутами демократической пропаганды. Кто не слышит в богемском народе всеобщего ропота и неудовольствия, тот слеп. Я убежден, что нам будет легко двинуть крестьян на восстание! Но это еще далеко не наша революция. Наше восстание, эта богемская революция, которая станет началом всеобщего европейского восстания, должна быть стремительной, решительной, радикальной, словом, такой, которая, если б даже и была побеждена впоследствии, успела бы, однако, все так перевернуть и поставить вверх дном, что австрийское правительство даже после победы не нашло бы ни одной вещи на своем месте. Для этого мы должны воспользоваться тем благоприятным обстоятельством, что все дворянство в Богемии, да и вообще весь класс богатых собственников состоит из немцев. Надо против них поднять славян. Восстанием мы изгоним всех дворян, все враждебно настроенное духовенство, конфисковав без разбора все господские имения, отчасти разделив их между неимущими крестьянами для поощрения их к революции, отчасти превратив в источник для чрезвычайных

¹ Домовитых (нем.).

революционных доходов. Восстание должно разрушить все господские замки, сжечь, уничтожить во всей Богемии решительно все процедуры, все административные, судебные, правительственные, господские бумаги и документы, объявить все ипотеки, а также другие неоплаченные долги, превышающие известную сумму, несуществующими (на лицо Андржейковича тут выплыла неприметная посторонним улыбка), наша революция, — раскатывался бас Бакунина, — должна быть победоносна, а потому ужасна, беспримерна, только такая революция может стать подлинной революцией и рассчитывать на успех. Переверотив все, она так вьется в кровь и в жизнь народа, что даже если б она была побеждена, то пришедшее правительство не было б никогда в силах искоренить ее, не знало б, с чего начать, что делать, не могло б ни собрать, ни даже найти остатков навек разрушенного старого порядка и никогда б не могло помириться с богемским народом. Такая революция, по своей цели не ограничивающаяся одной национальностью, увлечет червлено-огненной пропагандой не только Моравию, австрийскую Силезию, но и прусскую Силезию, да и вообще все пограничные немецкие земли, и германская революция, бывшая до сих пор революцией фабричных работников, мещан, литераторов и адвокатов, превратится в огненную общенародную революцию. Ее пламя запылает над Европой, сжигая старый, дряхлый, гниющий порядок!

Бакунин вдруг встал во весь рост и заговорил еще страстней. Все кругом молчали. Некоторые неточно понимали, но точно чувствовали.

— Мы превратим Богемию в лагерь, создав в ней силу, способную не только охранять революцию в самом крае, но и действовать вовне наступательно, возмущая народы к бунту, разрушая все, что только носит на себе печать австрийской породы! Мы пойдем на помощь мадьярам, полякам, мы, — взмахнул кулаком Бакунин, — двинем беспощадную революцию в Россию! О! — Бакунин словно даже покачнулся. — Во мне есть инстинкт буревестника! Эта революция близка, и она будет беспощадна! Наша обязанность будет громко провозгласить необходимость разрушения России как империи, как государства. Это должно быть первым словом нашей программы! Мы создадим новое, революционное правительство с неограниченной диктаторской властью, будет изгнано дворянство, все противоборствующее духовенство, уничтожена в прах администрация, изгнаны чиновники. Могут быть сохранены только некоторые из главных, из наиболее знающих, для совета нам и как «библиотека

статистических справок», — усмехнулся Бакунин. — Мы уничтожим все клубы, журналы, все проявления болтливой анархии, все будет покорно одной диктаторской власти! Молодежь и всех способных людей, разделенных на категории по характеру, способностям и направлению каждого, мы разошлем для того, чтобы дать им провизорную революционную и воинскую подготовку. Народные массы должны будут быть разделены на две части; одни, вооруженные, но вооруженные кое-как, останутся дома, для охраны нового порядка, и будут употребляться на партизанскую войну, если таковая случилась бы. Все ж неимущие молодые, способные носить оружие, фабричные работники, ремесленники без занятий, а также большая часть образованной мещанской молодежи составят регулярное войско, не фрайшарен¹, но войско, которое должно формироваться с помощью старых польских офицеров, отставных австрийских солдат, унтер-офицеров, возвышенных по способностям и по рвению на разные офицерские чины. У нас будут огромные издержки, но они покроются отчасти конфискованными имениями, чрезвычайными налогами и ассигнациями! — Бакунин говорил страстно, словно даже не видя окружающих, словно сквозь стены гостиницы «Голубая звезда» говорил в столетия. А когда кончил — Анджейкович заговорил по-русски легким польским тенором, путая слова:

— Мне выпали слезы, брат Михаил, слушая твои планы. Но будет ли у нас какой шанс сделать демократическую революцию, когда у нас нету денег? Богемия бедна, ты сам знаешь, ходят здесь деревянные да кожаные монетки, так есть ли у нас какой шанс? Вот что я хотел спросить. У нас есть отчаянные головы, я могу доставить тебе завтра 1000 человек, но нам недостает денег, а без денег черт удастся восстание. Надо обсудить, откуда взять деньги.

В дыму трубок Бакунин стоял задумчивый, собранный внутрь, на широкой груди скрестив руки. Когда плавный, певучий напев Анджейковича кончился, Бакунин не возразил. Заговорил словак Туранский; высказались даже неизвестный лужичанин и два черногорца. Потом в наступившем молчании взял слово Бакунин, бурно подминая под себя всех; эта вторая была не речь, а призыв верить огням восстания. Окончив его, Бакунин перешел к делу, проверяя у Сабины, установлены ль, крепки ли связи со «Сворностью» и «Рипилем», надежна ли связь Сладковского со студенческим легионом, можно ль, как думают

¹ Ополчение.

патер Красный и мельник Мушка, по знаку заговора из «Голубой звезды» поднять окрестных крестьян и работников-ситцепечатников в день Св. Духа, чтобы развернуть восстание в общепогемское и пустить по Европе революционной волной.

6

На рассвете «славянские друзья» вышли от Бакунина. Бакунин долго ходил по комнате широким шагом, опустив львиную голову. Бакунин метался; страсти и мысли, охватившие его, были нестерпимы. Словно слышал шумно ходившую кровь. В ушах стоял гул, крушение, разрушение старого мира. Бакунину не хватало дыхания, он распахнул окно. В рассвете тянуло расцветшей сиренью и свежестью утра.

7

Тяжелый, темный словак Туранский, сидя в гостинице «Золотой рог», думал о деньгах, о князе Виндишгреце. Член тайного общества «Славянских друзей», Туранский был послан предупредить о славянских замыслах и провоцировать славян на крайности.

8

Молдава катила синие воды, день был в разгаре, малооблачный и жаркий. Проходящие мимо здания на Софийском острове пражане, дамы в кринолинах, мужчины в цилиндрах и сюртуках, останавливались, дивясь шедшим депутатам славянского конгресса.

В здание Софийского зала среди пестроты камзолов, кунтушей, чекменей, безрукавок прошел быстрый, чуть нагнувшийся Бакунин в черном плаще, черной шляпе. За ним, еле поспевая, подбирая рясу, прошелестел отец Олимпий.

Чуден небывалый в истории съезд славян. Встретились разбросанные по свету братья, свиделись после долгой разлуки. Радостная встреча перешла в крики, в бурю, в восторги. В этом шуме Бакунин чувствовал растроганность и необъяснимое волнение.

Староста съезда, онемеченный сухой Франц Палацкий, в глухом сюртуке, от имени чехов поднялся на трибуну под

богемскими и всеми славянскими знаменами. Открывая съезд, заговорил профессорски. В зале ж стоял никогда не виданный Прагой радостный хаос: сербы, поляки, мораване, русины, лужичане, хорваты, словенцы плохо понимали язык Палацкого. Его сменил на родном языке мораванин Дворчачек. По-словенски заговорил Мато Топалович. От сербов Даничич Попович, от украинцев по-украински говорил Заклинский. По-словацки страстную речь произнес пастор Милослав Гурбан. На трибуну во флагах поднялся освобожденный из тюрьмы Карл Либельт, говорил по-польски. И чем странней текли славянские речи, недоуменной становилось замешательство зала, пока на трибуну в знаменах взшел Бакунин, крикнув по-русски:

— Братья!

Бакунин улыбался.

— Я позволю себе, господа, предложить ораторам славянского конгресса, дабы все члены понимали друг друга, говорить, так сказать, на «общеславянском» языке — немецком!

Вместе с хохотом взорвались аплодисменты, прерывая Бакунина. Такой смелости смеялись даже в президиуме маститые ученые-славяне — граф Коловрат-Краковский, Шафарик, престарелый Карадичич, Любомирский, секретарь съезда Гавличек, улыбался просвещенно и Франц Палацкий.

Бакунин стоял, великолепный своей львиной силой, своей безоглядностью. Не походил ни на сухость Палацкого, ни на горячность Карла Либельта. Бакунин простоял несколько минут безмолвно, по-бычьей опустив голову. Вдруг как бы очнулся, выпрямился и заговорил. Возгласы, удар грома, сверкание молний, рев бури, что-то стихийное, поражающее, непостижимое. Бакунин кричал. Местами мысли были неясны, неточен язык, но конгресс взят напором захватывающего чувства. Бакунин говорил о мировой роли славянства, определяя путь, силу и значение славян в мире. Эти струны были самыми звонкими, и Бакунин ударял по ним так, что, дрожа, отвечали струны гудом, гулом, всплесками рук.

— Братья славяне! Пробил решительный час! Дело идет о том, чтобы открыто и отважно решить, чью сторону взять славянам! Сторону ли развалин старого мира, чтоб поддержать его еще на короткое мгновение, или сторону нового мира, заря которого занимается. От вас, от вашего выбора зависит, удастся ли всем народам, стремящимся к освобождению, достичь цели быстро, или же эта цель, если она не может никогда исчезнуть, все ж должна отодвинуться в нео-

бозримую даль. На вас обращены полные ожидания глаза человечества. На том, каков будет ваш выбор, покоится и дальнейшая судьба мира!

Грудные, усиливающиеся выкрики могучего голоса возбужденно затопляли зал.

— Славяне! Братья! Мир разделен на два стана. И между этими станами не проложено средней дороги. Здесь — революция, там — контрреволюция — вот лозунги. На один из них должен решиться каждый, и мы, и вы, братья, должны решиться. Взгляните твердо и пронизательно в искаженное злостью лицо вероломного старого мира, и вы проникнетесь страхом и отвращением от его своднических приманок. Так долой же угнетателей, да здравствуют угнетенные! Самые дерзкие мечты близки к исполнению. Народы видят, как с могилы их независимости сваливается, словно сдвинутый невидимой рукой, тяжелый камень, тяготивший целые столетия! Волшебная печать сломана, дракон, стороживший болезненное оцепенение стольких заживо погребенных, лежит убитый и хрипящий. Занялась красная, как кровь, заря весны народов. Старая государственность погружается в ничто, конечной целью которой будет — Всеобщая Федерация Европейских Республик!

Аплодисменты понеслись с задних рядов конгресса. За столом президиума руки Палацкого, Любомирского, Шафарика, Гавличека остались недвижны. Но овация россиянину разрасталась. Бакунин стоял, опустив львиную голову.

— Братья! Я славянин, я русский! — восторженно воскликнул он. — И я говорю вам от имени этого народа! Но различайте, братья славяне; если вы ждете спасения от России, то предметом вашего упования должна быть не порабощенная холмская Россия с притеснителем и тираном Николаем, а возмущенная, восставшая для свободы Россия, сильный русский народ! Верьте мне, братья, что указы деспота не выражают наших чувств, наших желаний и нашей воли. Нет и еще раз нет! Это искажение того, что живет в глубине нашего русского сердца! Наше племя глубоко чувствует срам и позор рабства, в котором держит его деспот, оно наибольший враг того, кого многие из вас считают еще истинным представителем русской народности. Мы — враги этого палача, этого мучителя и посрамителя нашей чести! Кто он? Славянин? Нет! Голштинско-готторпский господин на славянском троне, тиран чужеземного происхождения! Друг своего народа? Нет! Расчетливый деспот, без сердца, без всякого чувства ко всему русскому, ко всему славянскому, без малейшего понятия о том, что скрыто, что кипит и клопочет в русском

народе! Но русский народ пресыщен, утомлен порабощением и позором, он устал служить жалким орудием достойной проклятия политики. Братья, не обманывайтесь внешним видом, будто этот народ-великан до сих пор лежит скованный по всем членам железным волшебным сном. Я говорю вам, он спит неглубоко, он только тихо дремлет, он уже начал пробуждаться, его час пробил! Не обманывайтесь уверенностью Николая в верности войск, в подчиненности масс. Я говорю вам: эта вера пошатнулась, а удары кнута — плохое средство, чтобы оживить веру.

Братья славяне! Я зову вас порвать раз навсегда с реакцией, порвите со всякой половинчатой, недостойной политикой и бросьтесь отважно, всецело в объятия революции! В ней — все ваше пробуждение, ваше воскресение, ваша надежда, ваше спасение и ваша будущность! В ней и только в ней! Доверьтесь ей! Вы должны довериться потому, что она неплохой союзник. Вам говорят: она упадет под ударами контрреволюции. Это ложь! Оглянитесь, посмотрите на ее дело! Не изменяется ли все в европейском мире? Разве он не сделался вдруг хаосом, в котором именно кто стараются восстановить порядок старого мира, вносят только еще большее замешательство своими созывами войск, бомбардировками и осадами, своими громко вопящими о мести насилиями, боями и опустошениями! Революция — сила! Революция — правда, революция — спасение этого времени, революция — единственная практика, ведущая к добру и удаче! Вне ее нет ума, нет мудрости, нет политики. Она одна может создать полноту жизни, даровать непоколебимую уверенность, придать силы, творить чудо, превратить в одну живую жизнь — весь мир! Верьте же революции! Отдайтесь ей вполне и всецело! Знайте, что без революции нет славянства!

Крики «Слава! Слава! Елей, Бакунин! Живио!» наполняли зал конгресса; и когда под пестрыми знаменами поднялись с мест славяне, грянуло разливающееся «Гей, славяне!».

9

Таяла в солнечном золоте Прага, изнывали от жары поля Богемии; жара не спадала, шел двенадцатый день конгресса; депутаты казались утомленными; часто видели Бакунина в коридорах съезда спорящим с Францем Палацким.

В «Голубой звезде» по ночам заседали «Славянские друзья» с представителями «Сворности», «Рипиля», «Славии», семинаристами из Клементинума, студентами, ткача-

ми, набойщиками ситца. Отчаянные головы южных славян, опьянев от жажды действия, предлагали сигнализировать восстание убийством Виндишгреца на славянском балу.

10

Фельдмаршал-лейтенант князь Альфред Виндишгрец в главном зале Пражского замка принимал депутации. Курьеры из Вены и Инсбрука осведомляли о развивающейся революции. Агенты конгресса доносили: восстание близко. Но Виндишгрец не волновался. Приказывал генералу Шюльте стянуть войска, быть готовым занять господствующие над городом высоты Градчина. Фельдмаршал ждал восстания, любил риск и был игрок беспощадный, если повезет в игре.

Аристократ до кончиков ногтей, князь верил, что человек начинается только с барона. Ладонь подавал немногим. Лакеев бил серебряной шпорой. Фельдмаршалу хотелось проучить пражскую сволочь. Адьютанты, граф Вильчек и граф Андраши, осведомляли о настроении войск. Виндишгрец приказывал увеличить довольствие, поддать пива. «Войска должны быть сыты до отвала», — говорил он.

11

Ночь накануне Духова дня — душная, мутная, безветренная; тяжесть тянула над Прагой. В «Голубой звезде» толчея; скачут, мчатся верховые в Клементинум, в предместья, на фабрики. Бакунин как в лихорадке, кружится голова, не хватает времени. То требуют появления среди ситцепечатников, то просят распорядиться, куда свозить порох и пули. Как лунатики, ходят Страка, Сабина; Арнольд отговаривается подагрой, уехал Андржейкович, в нетях патер Красный. Кругом нерешительность, хорошо еще, крепки застрельщики семинаристы, наэлектризованные Сладковским; меж студентов храбры Фрич и Виллани. Они первыми нападут на цейхгауз, это будет первое сопротивление войскам. Меж ремесленников работает Фастер, но малонадежен, хоть и доносит, что ремесленники подымутся.

Суета в «Голубой звезде» у Бакунина. Бакунин говорит охрипше, как долго лаявшая собака.

— Если не удалось убийство Виндишгреца на балу, надо одно, чтобы в Духов день на улицы вывести всех наших сторонников. Тогда достаточно выстрела в ненави-

стные войска, и вы увидите, восстание вспыхнет само собой, как после выстрела на Карузельской площади в Париже.

Нервно у «Славянских друзей»; кажется, волны восстания высоки, вот-вот хлынут. В музей свезено 24 фунта пороху, в распоряжении «Сворности» 2000 пуль; в «Славии» собраны двуствольные ружья. Ситцепечатники готовы броситься на военное управление, брать его приступом.

Из деревень доносят, что три села готовы по сигналу двинуться на столицу с вилами, косами, топорами. На окраинах уж начались волнения, разгромили две еврейские лавки; ожидание Духова дня томит низы города.

12

Духов день наступил; уж с ранним рассветом отлетела от Праги прохлада. В десять раскалились камни мостовой, стены домов; в такой жар не выходить бы из дому. По заборам пестрит красная афиша: «Пражане, внимание! Оставайтесь дома!» А Прага с Троицы стоит в зелени берез, венков, в цветах, полы церквей устланы травой. Марит, дрожит голубой воздух над Прагой, быть грозе.

В этот жар на Конную первыми пошли отряды «Сворности». Князю Лабковичу, командиру национальной гвардии, сообщили: за порядком в Духов день следит «Сворность». Вьются плащи командиров студенческих батальонов, перья на шляпах. На богослужение к статуе доброго герцога Вацлава стекаются славяне. Вышли колонны «Славии», члены «Рипиля». На рассвете Бакунин проехал в Клементинум. Через конные ворота на Конную площадь идут ситцепечатники; заполнили переулки, из толпы несутся угрозы военным патрулям при гауптвахте; началась, льется ароматным пением православная литургия.

13

В широком светлом зале Клементинума Бакунин застал всех в сборе: пастор Гурбан, крупный, животастый человек; Сладковский, Виллани, Фастер, Густав Страка, хромоногий Арнольд, представители «Сворности» и ситцепечатников.

На столе, где экзаменовали семинаристов по гомилетике, — планы Вышеграда и Градчина.

— Говорите, Виндишгрец отведет войска к Градчину, откроет огонь?

— Ну да, что вы будете делать? — говорит пастор Гурбан.

— Дратся! — злобно кричит Бакунин, отрываясь от карты. — Что, сдрейфил, яростный пастор?

Это верно, кругом путаница и паника.

— Сегодня приезжает в Прагу эрцгерцог Карл-Фердинанд, хочет пойти на уступки народу, — говорит Сладковский.

Бакунин не ответил; торопливо вошел взволнованный Карл Сабина.

— Обедня началась, — задохнувшись, проговорил, обращаясь к Бакунину, — работники собрались, тысячи две, наши там, все готовы, «Сворность» охраняет порядок.

— А войска?

— Войск — один патруль у гауптвахты. Но еще нет никого от деревень.

— А служба уж идет?

Сабина пожал плечом. Почему Бакунина окружает такая нерешительность и вялость? Вчера готовый биться на улицах, пастор Гурбан сидит в углу, подавленный, безучастный; Арнольд хромает, жалуется, как всегда, на подагру. Бешенство приливает к сердцу Бакунина: бить бы их палкой!

— Арнольд и Страка! — Бакунину сейчас нельзя возражать. — Толпу после службы надо разорвать, двинув демонстрацией; сделать это просто, достаточно крика, и толпа пойдет. Смотрите сюда, — указывал белым пальцем на карту Бакунин. Встал и пастор Гурбан, все окружили Бакунина. — Пусть студенты и «Сворность» двинутся после литургии с Конной на Новую аллею, отсюда часть свернет к Грабену, к замку Виндишгреца, хорошо б сюда свернуть работников, пусть они идут ко дворцу. Путь по Бергманштрассе, через Эйзенгассе, по Рингу Старого города к Цельтнергассе — это одна демонстрация. Другая — двинется через Грабен, мимо Пороховой башни, к главному управлению, у замка Виндишгреца работники устроят ему кошачий концерт. Я поеду к дворцу, а вы двигайтесь с другой частью. Штаб перенесем в «Голубую звезду» и там решим сообразно обстоятельствам. — Обращаясь к офицеру из «Сворности», Бакунин проговорил: — Езжайте на окраину, надо с предместий двинуть больше работников и крестьян. Наш успех от первого натиска на главное управление и цейхгауз. — Длинный палец Бакунина на картах Вышеграда и Градчина указывал пункты приступов, наступлений, атак.

Дьяконы в золото-розовых, зеленовато-золотых ризах, похожие на темно-раззолоченные столбы, торжественно возглашали на Конной площади многолетие славянству, перед алтарем у статуи св. Вацлава. Плыли камилавки протоиереев, скуфейки иереев, колебались в жаре Духова дня хоругви с изображением ангелов и святителей. В недвижимом воздухе замирали расплавленные хоры; и вот на колени опустила многотысячная толпа, подхватывая «Многая лета!».

Но концы дрогнули, вставая, заколебался и центр; длинным, извилистым рядом толпа тронулась к золотым крестам, что держали четыре усталых протоиерея, благословляя толпу. На Конной обнимались славяне, клялись в верности славянскому делу, если б даже пришлось пролить кровь. Пестрые члены «Сворности», «Славии» смешались, обходя вокруг старой статуи св. Вацлава. Но раздалось: «Вперед, братья!» — и густота тысячной толпы двинулась первыми колоннами с плавно дышащими в воздухе славянскими трехцветными знаменами.

— На Новую аллею! — закричал студент в плаще, с перьями на шляпе, взмахивая саблей; голос передался по толпе. Колонна грянула «Гей, славяне!», заворачивая к Новой аллее.

— Показать Виндишгрецу! Пройти перед Виндишгрецем! Вперед, братья! — Слово случайно разрывалась толпа; часть сворачивала к Грабену. На Бергманштрассе от льющейся массы вновь отвалился живой кусок, вея знаменами, поплыл под песни через Эйзенгассе по Рингу Старого города к Цельтнергассе. Толпы ситцепечатников со студентами лились, как расплавленный свинец, мимо Пороховой башни к Пражскому замку. В духоте летнего воздуха билась песня Кухулевица «Где отечество славян». И чем ближе вырастал замок австрийского главнокомандующего, ожесточенней шла толпа прямо на замок.

В сводчатом зале в присутствии свиты князь Виндишгрец принимал депутацию «Союза спокойствия и порядка». Князь стоял в гусарской форме, как будто чуть рассеянный. Толстые депутаты в сюртуках, в руках цилиндры. Пражский городской голова граф Рудольф Стадион, одышливый, быкообразный человек, произносил ветвистую приветственную речь.

Виндишгрецу скучно от длинноты речи штатского человека. Тонкими, как у женщины, пальцами князь трогал то пуговицу мундира, то темляк сабли. Освещенный окнами профиль Виндишгреца сух, в кудрявых бакенах; на мундире поблескивала колодка орденов.

Как сердечный больной, тяжело переводя дыхание, Стадион кончил; Виндишгрец сказал холодно, без всякого выражения:

— Я хочу верить чувствам, выраженным мне депутацией славного австрийского города Праги. Смею уверить, что приму все меры к поддержанию спокойствия и порядка в столице Богемии.

До присутствующих донесся свинцовый гул толпы, приближающийся, смелеющий, словно катящееся ядро. Когда ударил набат, городской голова Стадион побледнел и депутаты переглянулись.

— Что это? — сказал тихо, в пространство городской голова. Свита князя метнулась к окнам. Повернув голову вполоборота, сведя над ястребиным носом брови, Виндишгрец спросил:

— Что за шум, граф Андраши?

Лейтенант в такой же гусарской, как у князя, форме проговорил от окна:

— От Пороховой башни движется толпа, ваше сиятельство.

Виндишгрец кинул депутации:

— Прием окончен.

Депутация, торопясь, выходила из зала. Славянская толпа залила уж площадь перед замком, наполняя ее, как прибором; кричали по-чешски, катился гул. Виндишгрец хотел услышать, что кричат. Рукой с гербовым княжеским перстнем распахнул окно — ворвался рев, крик, с отворенным окном внезапно усилившийся:

— На фонарь Виндишгреца!

Виндишгрец закрыл окно и чуть улыбнулся, бледно, с потемневшими глазами.

— Лейтенант Яблоновский, — обратился к сильному розовощекому блондину с разведенным ямочкой подбородком, — с полуротой гренадер Вохера — разогнать толпу, не открывая огня!

Лейтенант Яблоновский отчетливо повернулся, побежал по лестнице. Распахнулись замковые ворота; ошестинившись штыками, полурота гренадер пошла на толпу; впереди, прямо в нее, с обнаженной саблей шел розовощекий блондин чех, лейтенант Яблоновский.

Виндишгрец стоял у цветного окна, смотрел злобно, хотелось смять конницей, расстрелять пушками. Яблоновский шел ускоренным, твердым шагом, Яблоновскому идти было не страшно, за собой слышал неотстающий шаг полуроты и чувствовал спиной ощетинившиеся штыки. Но толпа близилась, Яблоновский уж различал незнакомые лица, студенты в шапочках «Сворности», вот в цветах союза «Прага», когда близился вплотную к чужим, враждебным, нерасходящимся людям, что-то дрогнуло внутри. Но тут же, чтоб побороть себя, Яблоновский повернулся к полуроте, крикнув что есть силы: «За мной!» — хотел повернуться к толпе, но студент с вьющейся бородой, в цветах союза «Прага», изо всех сил опустил на голову Яблоновского палку. Лейтенант споткнулся под чужие тысячи сапог. Гренадеры со штыками наперевес рванулись, и чужие ноги отхлынули, побежали.

Заливаясь криками «Предательство! На баррикады!», площадь смешалась. Смешалось все и на Цельтнергассе, перекинулось в ближайшие улицы. Кто-то кричал, тащил камни, мешки, опрокинули почтовую карету, повалили тумбы, выломали газовые канделябры и подожгли вытекающий оттуда газ. В Старом и Новом городе из земли выросли баррикады. Улицы завалили опрокинутыми будками, перевернутыми телегами, старыми колымагами. Кричали об убитых, взятых в плен Виндишгрецем. В окна летела мебель, разворочали мостовые. В зеленой, золотой Праге в день Святого Духа обывателям стало страшно. Рвут ворота у рубак повстанцы, мучит золотое солнце. Бегут к баррикадам. Ощетинился штыками Старый город, полностью в руках восставших; и сам правитель Богемии, граф Лео Тун, заперт заложником в Клементинуме.

16

В «Голубую звезду» вбегали вооруженные. Спрыгивали у гостиницы с коней верховые, докладывали мечущемуся темному человеку. Бакунин чувствовал полное отчаяние и одиночество. Где пастор Гурбан, радикал Сладковский, Фастер, Виллани, Сабина, Арнольд? Бакунина окружала никогда не виданная им молодежь, чехи, словаки, даже немцы. Бакунин шлет их в музей, в захваченный семинаристами Клементинум. Эти неведомые молодые сейчас самые близкие; а из прежних безотлучны при нем только Иосиф Фрич да близнецы братья Страка.

В музее штаб «Сворности» еле отбивает атаку майоров Ланга и ван дер Мюллена. Гренадеры в медвежьих шапках, узких брюках и мундирах, прикрывающих только ребра, идут сомкнутыми колоннами на баррикады. Гренадеры звереют, как быки. На Вассерштрассе работники держатся, атаку солдат из полка Гогенегга отбили камнями и револьверами. Но туда из переулка, вея на лету султанами, проскакали королевские уланы под командой графа Менсдорфа, саблями врубилась в толпу рабочих. На Обстмаркт двинулся капитан Мюллер с двумя ротами пехоты: рассеять скопища, идти приступом на Каролиnum. Полковник Майнон с гренадерами дерется против баррикад у «Трех лип». На Эйзенгассе в атаку пошел генерал Райнер. На Конной, на Бергманштрассе растут баррикады, текут из предместий работники. Пролетарии дважды переходили в контратаку против солдат на Бергманштрассе. В Пражском замке убита жена Виндишгреца. В Тринитарской казарме бьют тревогу. Виндишгрец выслал в атаку гусарские части.

17

Второй день в «Голубой звезде» метался одинокий Бакунин, крича:

— Верховые к крестьянам! Вести всех на город, пусть вооружаются чем попало!

Из «Голубой звезды» выбегали студенты и пролетарии, скакали из Старого города к деревням, в поля, потому что в музее «Сворность» сдалась уже на милость майора Ланга; разбиты три студенческих баррикады. Повстанцы идут на уговоры отцов города; доктор Клауди разъезжает по баррикадам, увещевает опомниться, обещая полное прощение австрийского главнокомандующего.

— Пусть передаст Виндишгрецу, — кричит Бакунин посланцу доктора Клауди, — что если хоть один защитник баррикад будет казнен, то захваченный граф Лео Тун будет повешен!

Но вести мрачны; атаки кавалерии серьезны; под командой генерала Шюльте войска Виндишгреца заняли высоты Градчина; Виндишгрец грозит открыть бомбардировку.

— Пусть громит, будем биться! Увидим, как осмелится Виндишгрец расстрелять мирное население! — Голос Бакунина срывается, еле слышен, хрипит. А кругом только незнакомая молодежь.

— В город въехал эрцгерцог Карл-Фердинанд! — кричит вбежавший студент. — Приближается, его пропускают через баррикады, бургомистр и муниципальные советники выехали навстречу просить о посредничестве, ему прокладывают путь, с ним полковник Майнон!

— Стрелять по нему, стрелять! — бешено кричит Бакунин.

Кавалькада эрцгерцога близка, подъезжают к Пороховой башне. Из «Голубой звезды» загремели выстрелы, и видно, как метнулись, понеслись игрушечным галопом всадники и заспешила коляска. Но в ответ над Прагой с высот Градчина, со Стрелецкого острова, с Малой страны свистят первые ядра — Виндишгрец повел обстрел. Генералу Шюльте приказано не жалеть снарядов, артиллерия бьет по баррикадам на Эйзенгассе, рушит соседние дома, из-под ядер летят обломки мебели, камни, розовая пыль кирпичей. По улицам куда попало тащат раненых, у баррикад распростерлись вывернутые тела убитых. Виндишгрец бьет Прагу.

В который раз из Старого города скачут верховые подымать крестьян, но из верховых никто не возвращается. Хорошо еще, что есть день и ночь. Последними ядрами, упавшими в Молдаву, мутится река; и меркнет небо над золотой Прагой.

18

С близнецами братьями Страка и студентом Фричем ночью Бакунин пробирался к последней, главной баррикаде, заграждавшей Ринг в Старом городе. В подвальной пивной «Белый конь» засел штаб. Бакунин, согнувшись, вошел в низкий подвал. У стен свалены порох, пули, ружья, их теперь слишком много. Спят за дубовыми столами усталые люди, спят на полу, в страшных вывернутых позах, как убитые. Командует баррикадой седой, косматый ситцепечатник.

— Устоим? — здороваясь, проговорил Бакунин.

— Между Грабеном, Новой аллеей и Малой страной они уж восстановили сообщение, все баррикады взяты, держимся только мы да Цельтнергассе.

— Палацкий и Гавличек выступили с уговорами к примирению, — говорит поляк офицер, член конгресса, сидя у стены, отпивая из бутылки пиво, — они лижут зад Виндишгрецу, пся крев, славяне!

В большой глиняной кружке Густав Страка принес пиво Бакунину.

— На рассвете Виндишгрец начнет наступление; если мы не получим крестьянского подкрепления, не выдержим, — проговорил Бакунин, отпивая.

Никто не ответил. Смертная тоска пустым кольцом сжала сердце Бакунина, вместе с ней навалилось безразличие, захотелось лечь спать. Все молчали. Бойцы в пивной распоряжались, как дома, словно завтра их не расстреляет Виндишгрец. Кто сидел на полу у раскупоренных пивных бочонков, кто тащил солому, чтоб спать. Входили с баррикад отдыхать. У стен в темноте дремали славянские несвернутые знамена; такие же реяли в темноте над последней баррикадой.

В подвале горели сальные свечи. Бакунин прилег в углу, задумываясь, отпивал из глиняной кружки, писал на клочке бумаги воззвание к народу: «Братья, со славой выходим мы из предательской, неравной борьбы, не станем же отступать перед тем, что так славно начали. На нас смотрит вся земля богемцев и моравов, Вена и вся Европа: это богемский лев грозно пробудился от своего двухсотлетнего сна. Не позволим обмануть себя никакими обещаниями, за нами вся нация...»

В тусклости колеблемых свечей вбежали вооруженные. Бакунин узнал последнего посланца к крестьянам, вскочил, зашумев упавшим стулом.

— Ну, ну? — повторяли кругом, окружив студента.

Студент задохнулся от бега, от страха, сел на стул, как упал от усталости.

— Кончено, — бормотал, — отрезаны.

— Как? — вскрикнули голоса.

— Крестьянам и национальной гвардии, шедшим к нам, перерезала путь кавалерия Виндишгреца. А Палацкий и Гавличек уговорили крестьян вернуться, все наши верховые захвачены, к утру все кончится...

— Чего ты каркаешь! — наступил офицер-поляк.

Но студента бросили, разошлись; он у стола, опустив голову на руки, не то заснул, не то плакал. С Градчина громыхнули первые пушки. Перекатился в рассвете первый треск ружей. Снова ухнули с левого берега Молдавы орудия. Гренадеры в медвежьих шапках, подрагивая от холода, двинулись на приступ Старого города.

Баррикады молчали. В утреннике веяли два еще не упавших славянских знамени да, странно разведя руки, валялись возле них на мостовой трупы.

В затененном парком варшавском Бельведере, в двухсветном зале, у амбразуры окна стоял пожилой человек с лохматыми седыми волосами. Человек был одет в мундир с колодкой орденов, стоял в зале один. Хромой фельдмаршал Паскевич смотрел в окно, выходявшее на запад.

Паскевич неожиданно повернулся. Прихрамывая раненой под Варшавой ногой, по-военному неся вперед грудь, заходил по залу. В голове: расчет сил, нового блеска, удара, славы, затмевающей Румянцева, Потемкина, Суворова.

К фельдмаршалу вчера на вспенившихся конях приехал посланник австрийского двора граф Кабога. Австрийский граф умолял Паскевича двинуть войска для спасения Австрии. Граф Кабога был расстроен. В этом самом двухсветном зале Бельведера внезапно опустился на колени перед седым фельдмаршалом, еле выговаривая: «Дорога каждая минута, ваша светлость, каждый час, спасите Австрию!» — и, схватив сухую руку Паскевича, граф Кабога поцеловал ее.

Паскевич улыбнулся: «Это было, конечно, уж слишком, фельдмаршал Паскевич не женщина». Подняв графа, Паскевич выговорил слова дружбы, успокоил. Звон шпор с хромотой был неровен. Император в Москве освящает новый дворец, Паскевич не знал подлинных монарших настроений. Прихрамывая, Паскевич прошел к письменному столу в конце зала; и когда сел, задумавшись, в мундире, орденах, подперев седую, солдатскую, в неопрятно-кудрявых бакенах голову, было странно: словно на громадной сцене сидел фельдмаршал. До того был велик зал и до того мал казался Паскевич за длинным столом.

«Ваше Величество!

Сейчас получил известие, что австрийское правительство намерено просить Ваше Величество занять Трансильванию. Сия неожиданная просьба весьма удивляет меня. Занять — это значило бы войти в такое место, где нет никакого препятствия, а тут до 80 000 вооруженных венгерцев, и весь край в бунте. Итак, они хотят, чтобы Ваше Величество изволили всю тяжесть войны взять на себя. Не зная еще мнения Вашего Величества в положении сего дела, осмеливаюсь доложить: если согласиться на просьбу Австрии, то будет необходимо для удержания княжеств еще употребить около 50 тысяч для действия в Трансильвании. Итак, 85 тысяч будут употреблены нами в дело, притом придется вести войну самую трудную, в горах, населенных воинственными племенами, а тому доказательством то, что

эта Трансильвания два века назад во время бунта долго боролась против австрийских сил. По всему этому кажется выгоднее для нас держаться того предположения, которое я имел счастье предложить в последнем письме, с переменой только того, чтобы сверх занятия Восточной Галиции занять также и Буковину и охранять все выходы из Трансильвании. Когда же мы будем на местах, то можно будет дать руку помощи по тогдашним обстоятельствам. Но одно только надобно рекомендовать господам генералам австрийским: чтобы не отдавали проходов Карпатских гор, ибо тогда наша помощь им не будет действительной. Полагаю следующий план кампании российских войск: 1) занять Галицию и Буковину и все проходы гор Карпатских. На сие употребить 4 дивизии пехоты, одну кавалерийскую и 160 орудий. Занявши вершины гор Карпатских, русские этим самым держат в повиновении все долины на 50 верст; 2) со стороны Валахии можно тот же маневр делать, но с осторожностью, ибо собранные там войска не так будут многочисленны, как со стороны Буковины и Галиции. Они должны наблюдать: если неприятель начнет слабеть против занимаемых нами пунктов или ослабит себя отрядами, то сходить с гор и разбить его. Заняв Галицию и Буковину, в Венгрию надлежит двинуться двумя колоннами. Первой, под начальством генерала Ридигера (три пехотных дивизии и одна кавалерийская), идти долиной рек Арвы и Ваага на город Тренчин по направлению к Пресбургу, второй же, под начальством генерала князя Горчакова (три пехотных дивизии и одна кавалерийская, собравшиеся у г. Дукла), направиться на Бартфельд и Эпериеш, угрожая флангу и тылу неприятеля по направлению к Пресбургу и Коморну.

Равномерно испрашиваю, Ваше Величество, разрешение на соглашение с доверенным от Австрии в случае надобности двинуть войска на помощь австрийцам без нового на то повеления вашего. А как я уверен, что Ваше Величество изволите дать им скорую помощь, то я и написал нашему послу в Вене барону Медему...»

Блеснув, дверь Белого зала отворилась. На пороге стоял красивый сын фельдмаршала, капитан гвардии Паскевич. Отец отложил остро отточенное перо, проговорил:

— Ну, ты что?

— От австрийского двора, от князя Шварценберга, папа, курьер.

Фельдмаршал, оправляя мундир, поднялся.

Николай отвечал фельдмаршалу наспех, из Москвы: «Вчера вечером получил я твое письмо, любезный отец-командир, с приложениями. Оно весьма важно. Полагаю, что скоро настанет нам время действовать. Не одна помощь Австрии для укрощения внутреннего мятежа и по ее призыву меня к тому побуждает, а чувство и долг защиты спокойствия пределов Богом вверенной мне России меня вызывает на бой, ибо в венгерском мятеже явственно видны усилия общего заговора против всего священного, и в особенности против России. Приняв сие за основание и буде австрийцы повторят просьбу, разрешаю тебе вступать, призвав Бога на помощь.

Вступая в дело для подачи настоящей помощи, а не для одной диверсии, должно сие исполнить со всеми на то нужными силами. Надо, чтоб ты сам вел свои армии на новую славу, на великодушную помощь, да поможет нам Бог, и ты будь его орудием.

Вразуми Ридигера, что нужно ему будет действовать быстро, осторожно и решительно, надо, чтобы с первого удара нашего дело было переломлено в пользу правого дела. Надо, чтобы как громом грянуло и все было кончено.

Мы видим, что на австрийцев нет никакой надежды. Надо все твое знание дела, все твое искусство на одоление, но нужна и сила значительная. Полагаю, что тебе должно вступить с 2-м, 8-м корпусами и 1-й пешей (полагаю, 12-й) дивизией четвертого корпуса, оставь 10-ю и 11-ю в Галиции и Буковине, с 4-ю легкой и всем драгунским корпусом и не менее как с 8 казачьими полками. Жалею, что казаков не более в армии, ими надо будет истреблять шайки по всем направлениям. Об одном прошу, не увлекайся просьбами австрийцев, дай себе срок собрать все условия успеха и тогда с Богом действуй на наших врагов быстро, по-русски, не щади каналов. Жаль, если уйдут от заслуженной кары. Ежели Вена и потеряна, дело ты исправишь, уничтожив гнездо бунта.

Видишь, любезный отец-командир, что было мне об чем подумать и, признаюсь, была тяжелая дума! Но слишком верю и уважаю твое мнение, чтоб с тобой спорить или препятствовать действиям по твоему убеждению: ты варшавский герой, а я твой старый бригадный командир на парадной площади...»

Под зеленой, летней Варшавой, у берегов Вислы, где разбились белым лѣтом, словно голуби сели на зеленое поле, палатки войск, на гнедом мохнатом жеребце, в походной форме, усатый, квадратнолобый, сидевший в седле как влитой, ехал генерал Панютин. Генерала окружали командиры полков, адъютанты. Били сбор, скакали ординарцы. Сам хромой старик пролетел в блестящей кавалькаде, подымая пыль, унося за собой громовое «ура» выстроенных панютинских войск. Перед фронтом Панютин приостановил коня, зачитал фельдмаршальский приказ, громко выкрикивая басом:

«Друзья-товарищи!

Доверенность, которой государь император по случаю предстоящих военных действий...» После приказа охрипшим басом Панютин крикнул с прыгнувшего жеребца: «Государю императору и фельдмаршалу князю Паскевичу ура!»

Сведенное в белое каре войско от крика взметнулось, дрогнув взятыми на караул ружьями, немолчным гомоном раскатываясь лесами, полями, заглушая туши ударивших четырех оркестров. И заиграли хвостами кони, заприседали на мохнатых казанках, завертелись, затанцевали под адъютантами, генералами, полковниками, перед белым строем полков, блестевших примкнутыми штыками.

Развертывалась безбрежным полем пехота. Подымала безветренную пыль. Пошли ротными колоннами брянские и орловские егеря. Выбежали вперед, торопясь, перед ротами песенники, на все поле гаркнули:

Тучи темны, тучи грозны
По поднебесью идут!

Брянцы уходили в поход первыми. Орловцы пылили в полуверсте. Севцы и черниговцы стояли еще вольно, докуривая, оправляясь, собираясь кучками. Унтер-офицер, заросший волосом, пахший перегаром, в пропотевшей рубашке, говорил столпившейся плотной куче солдат, пускавших марочный дым из козых ножек.

— Государь дал австрийскому королю денег взаймы, наступил срок уплаты, а он не платит, пишет ему государь, пишет, а толку сѣ нет, вот напоследок он и велел написать всему австрийскому народу, что, дескать, ваш государь занял у меня деньги, срок вышел, а уплаты сѣ нет...

Крайний солдат выжидательно-весело хохотнул:

— Ну а он?

— Вот тебе и «а он»! Заставьте, пишет государь, его заплатить. А народ рассудил, что наш государь требует дело, и

приступил к своему королю: заплати, мол, да заплати, а король взял да и бежать с деньгами! Вот народ и разъярился, что король его неверный, потолковали промеж себя да и положили *распубликовать* его по всей своей земле, сделали такую распублику! Но от такой распублики нам тоже толку нет, вот государь и приказал усмирить нам всех их как ни на есть...

— Становись! — донесся тенор.

Походным порядком, колоннами двинулись русские войска, развевая воздух песней:

Ох, вы ляхи, вы поляки, покоритесь вы нам,
Ежли вы не покоритесь, пропадете, как трава!
Наша матушка Россия
Всему свету голова!

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Дрезден, зеленый, в бело-голубом поясе Эльбы, был прекрасен этой весной. За извивами, изгибами реки в синюю мглу уходили надгорья. Волнуются на волнах Эльбы белые паруса, дымят пароходы. Резиденция саксонского короля зацвела яблоней, вишней, миндалем, как сад, спускающийся террасами.

На Альтмаркт меж цветных домов, исписанных масляной краской разноцветных вывесок, распрягали окрестные крестьяне затянутые парусиной телеги. Рынок зацвел капустой, кольраби, свеклой, морковью; цветочницы расставляли высадки кровавых гераней, желтых бегоний, пестроту цветов, рыбки раскричались, разложив на блестящем льду в ящиках под пестрыми навесами разную рыбу.

К мосту, в Нейштадт, мимо Брюллевской террасы проходили бездельно два человека. Один, в зеленой лоденовой накидке, серебряных очках, с длинной загнувшейся бородой, размахивал снятой белой демократической шляпой, как человек неистовый. Другой, невысокий, слабого сложения, с горбатым носом и вывернутым подбородком, обросшим кудрявой бородкой, шел спокойно, изредка отбивая с дороги палкой камешки. Дрезденцы узнавали обоих королевских музыкантов, музык-директора Августа Рекеля и капельмейстера королевской капеллы Вагнера.

— Если Германия даст растоптать свою свободу, как растоптали ее у славян в Праге, то, право ж, Вагнер, не

стоит уважать наш народ! Нужна готовность выступить с оружием в руках, — размахивал белой шляпой длинноволосый Рекель.

Вагнер отбил палкой камешек; на вдавленных меж острым носом и острым подбородком губах выплывала улыбка.

— Дело революции — это вдохновение и активность, так было в Вене, но венцы — особенные немцы, такой возможности у саксонцев нет. Что у нас? Лежащая коммунальная гвардия и стоящее королевское войско.

Они проходили мимо квадратного серого здания нейштадтских кавалерийских казарм; во дворе резко пел в утреннике генерал-марш. Вагнер улыбнулся, проговорил:

— После «Лоэнгрина» молчу; перестал чувствовать музыку, слишком сейчас ее много вокруг. Вчера написал политическое стихотворение с призывом к войне против русской деспотии.

Рекель проговорил задумчиво:

— Я, Рихард, с музыкой давно кончил; «Фаринелли» забыта, — засмеялся, — я прирожденный бунтарь, хотя, чтоб стать дрезденским Маратом, мне не хватит, наверное, хладнокровия и рассудочности.

Эту гористую зелень, голубую Эльбу на окраине Нейштадта оба видели каждый день, но все ж приостановились, оглянувшись. Потом вошли в желтый двухэтажный дом, «Гостиницу у Трех Лип», стоящую в зелени сада. Навстречу поклонился лакей; оба поднимались по винтовой деревянной скрипевшей лестнице. И в крайнюю комнату Рекель постучал.

— Войдите! — крикнул бас изнутри.

Раскинувшись импозантно на диване, обтянутом пестро-зеленой материей, с сигареткой в руке лежал Бакунин.

— Славно, Август, что зашел, — поднялся Бакунин, рассматривая незнакомого.

— Познакомьтесь, капельмейстер Вагнер.

— Очень приятно, как же, хорошо знаю вашу «Риенци», — смотрел на Вагнера пристально-смеющимися темно-голубыми глазами Бакунин.

У дивана сидели трое; плохой скрипач королевского оркестра, галициец, поляк Геймбергер, здороваясь с композитором, смутился; не называя имени, поздоровались другие, по выправке военные, по звенящему акценту — поляки. Бакунин — во фраке, затягивался сигареткой, продолжая с поляками разговор.

— ...Я и говорю, что мы, славяне, должны дать толчок европейскому движению, без нас Европа не увидит револю-

ции, а потому смелей вперед, с нами Бог, а кто против нас, бесы и черти? Но мы их не боимся, — раскатисто захохотал. Он был в хорошем расположении духа, в воле, в силе.

— Так мы пойдем, Бакунин, — проговорил один из военных с висячими темными усами, Гельтман.

Бакунин, поднявшись, смеясь сказал:

— Стало быть, ни пуха ни пера.

Когда Бакунин вышел с гостями, Рекель с легкой полуулыбкой глянул на Вагнера, как бы спрашивая: «Ну как? Понравился?»

Раздались обратные тяжелые шаги Бакунина по лестнице, словно сейчас он обрушит дряхлые ступени. Бакунин напевал из «Гугенотов»: «В правую руку взял он саблю...», — распахнул дверь широко и весело.

Полулежа на диване, Бакунин рассматривал Вагнера чересчур пристально, пожалуй, даже невежливо, не сводя с него пытливых светлых глаз.

— Скоро у вас, герр Вагнер, будет тема для большой патетической музыки, оперы, симфонии, — сказал, смеясь, — разрушение старого мира во имя нового и неведомого, да, да, это не за горами. Нас не пугает выступление русских войск. Россия — это колосс на глиняных ногах, чего в Европе не подозревают. Это обнаружится именно в войнах, когда войска заразятся духом разрушения, бродящим на Западе. Вам, вероятно, странно — это я, коренной русский, открыто желаю, чтобы Россия во всякой войне, которую ни предпримет, терпела бы одни поражения?! Но этого требуют интересы революции и освобождения всех европейских народов. В удобный момент мы, славяне, первыми зажжем пожар, который обновит мир, уничтожив все старье изжившей себя цивилизации. Вы удивлены? А может быть, негодуете подобному скифству? — захохотал весело Бакунин, обращаясь к Вагнеру даже как бы с вызовом. — Да, да, я вот, скиф и бродяга по вашей Европе, говорю вам, что, несмотря на кажущиеся силы реакции, дни Европы сочтены и она рухнет под взрывами революции. Первые удары будут славянские, а за ними вспыхнет все любящее и ценящее страсть разрушения. Европа сгорит дотла, и даже скорей, чем об этом думают.

Вагнером овладело смешение чувств; он сидел, откинувшись в кресле, с легкой улыбкой на узких вдавленных губах. Может быть, обаяние было внешнее: в черном фраке, силач, с вьющимися по плечи темными кудрями, с голубыми глазами, страшно свободный, резкий в движениях, с откинутой рукой, длинными, красивыми пальцами

зажавшей сигаретку, смешанный из простоты и барства, Бакунин нравился Вагнеру. Что-то неприятное было, пожалуй, в теме, но чувство очарования все ж было, и странно-музыкальное пронеслось в облике русского. «Сила огня», — подумал Вагнер и, щурясь от света, прикрывая больные глаза бледной рукой, проговорил:

— Но разве вы, герр Бакунин, считаете *всю* европейскую цивилизацию сплошным несчастьем человечества? Мне неясно, какова в вашей концепции грядущего разрушения мира судьба хотя бы искусства, этого хрупкого и драгоценнейшего из достижений человечества? Или вы, человек большой философской культуры, обрекаете и искусство на гибель во имя неизвестного нового?

— Ну да, сегодняшнее искусство, — проговорил Бакунин, отбрасывая докуренную сигаретку, — должно погибнуть, так же, как судебные бумаги, полицейские архивы, купчие крепости. Народу не нужны эти мертвые и подтасованные фикции, имеющие единственной целью провести в народ систему ложных представлений, заражающих его официально-общественным ядом, чтоб отвлекать от единственно полезного и спасительного ему дела — бунта! Если у нового человечества будет потребность в искусстве, оно родит новое, свое искусство.

— Не слишком ли крупный вексель будущему и неизвестному человечеству? — проговорил, улыбнувшись чуть снисходительно, Вагнер. — Вы исключаете всякую преемственность и культурную традицию? Иль так уверены, что будущее человечество оплатит любой вексель?

— Оплатит, оплатит, герр Вагнер, не беспокойтесь, — захохотал Бакунин, поглаживая волосы большой белой рукой. — Впрочем, я об этом мало думаю, это уж не моя тема. Моя тема — революция, которая перевернула бы все вверх дном. Запад сам не в силах и не способен дать эту новую, еще неслыханную песнь разрушения, Запад погряз в так называемой цивилизации, эту необходимую человечеству революцию начнем мы, славяне, и в первую очередь, конечно, Россия. В России начнут ее связанные с толщей народа подлинныe революционеры, а подлинныe наши революционеры, вы о них даже не слышали, — улыбнулся Бакунин, — это Степан Разин, Емельян Пугачев, наши русские разбойники, да, да, милостивый государь, не удивляйтесь, русский разбойник — это вовсе не криминальный тип лондонских переулков, у нас в России, не прерываясь со времен Московского государства, живет русский разбой, в котором все предание обид, унижений, все ожесточение народа против

поработившей его власти. Это настоящая, подлинная революция, без книжной риторики, непримиримая, неутомимая и неукротимая на деле. Этого не знают в Европе, но от Петербурга до Нерчинска идет непрерывное течение разбойничьего подземного потока. Оно легко охватит миллионы крестьян, ибо во всех нас, славянах, с давних пор — не то детская, не то демонская страсть и любовь к огню. В России живет один нераздельный, крепко связанный мир русской революции. И не думайте, что эта революция далека, о, она близка и беспощадна! Именно она охватит пожаром Россию и перекинется на Запад, произведя наконец настоящую, подлинную революцию, которой европейские народы, отравленные и поработанные цивилизацией, не знают. Да, да, господа, наша цель — полное разрушение всех стесняющих уз, и наша борьба — холодная и ожесточенная. Лишь после миллионов жертв мы придем к убеждению, что насильственный переворот и борьба на жизнь и смерть между наслаждающимися и угнетенными обновят искаженный мир. Что будет, герр Вагнер, с искусством? Современное искусство погибнет! Но мы об этом не думаем, мы думаем только о том, как бы отдать все силы подготовке пожара, как бы разрушить все существующее сплеча, без разбора, с единым соображением — «скорей и побольше». Яд, нож, петля! Революция освящает все во имя свое! Мы должны образовать ничего не щадящую грубую силу, безостановочно идущую по дороге разрушения. Ведь гораздо человечней резать и душить десятки и сотни ненавистных людей, чем участвовать с этими людьми в систематических законных убийствах миллионов. Разумеется, было б дико надеяться, и я думаю, что из нас никто не безумен и не надеется уцелеть в пожаре всеобщего развала мира. Ведь только стоит себе представить, что весь европейский мир с Парижем, Петербургом, Лондоном сложен в один костер! И можно ль думать, что люди, поджигающие этот костер, будут строить потом на его пепелище? Нет, конечно, нет, наше дело беспощадного, жестокого, не останавливающегося ни перед чем разрушения.

Увлекательная речь Бакунина казалась Вагнеру то отвратительной, то прекрасной; она была похожа на взрыв гремящего оркестра, на звуки с грохотом несущегося оползня. Бакунин то обращался к Рекелю, то к Вагнеру, словно приглашая, убеждая безоговорочно, даже приказывая сейчас же следовать за первым полком армии разрушения, с которой Бакунин ринется в водоворот европейской, мировой, все низвергающей революции.

Весенний день за окном, ветер и смех каких-то играющих под окнами детей казались недоразумением в этой комнате. Бакунин не останавливался, зовя к борьбе, к красоте огня и пожара. Никто не заметил в этот день, как протянулись от дома тени тополей, легли сумерки. Геймбергер зажег лампу с пышным бумажным абажуром в цветочках. От света лампы Вагнер, ощущая резкую боль глаз, прикрыл глаза ладонью. В свете лампы фигура Бакунина вырисовывалась еще размашистее.

— Раздадутся вопли страха и отчаяния! Обращать ли на это внимание? Нет! Мы должны оставаться глубоко равнодушными ко всем этим завываниям и не входить ни в какие компромиссы с обреченными на гибель. Это назовут терроризмом, этому дадут громкую кличку! Пусть! Нам все равно. Не нам засыпать овраги и заравнивать выбоины, мы бросим сразу в будущее — чертов мост. Вам мешает свет, герр Вагнер? — оборвал вдруг Бакунин.

— Болят глаза, ничего.

— Нет, я прикрою, — проговорил он и, застыв свет лампы широченной ладонью, продолжал: — Тряпичные литераторы будут испускать лирические стоны, но не обращать же нам внимание на этих мартовских котов! От лести, от литературы, продающей себя, мы не должны ждать ничего, кроме гадости и сплетен. Современный театр, это бесполезное учреждение, предназначенное для развлечения самой испорченной части населения, будет, конечно, уничтожен...

Бакунин говорил долго; только когда оборвал и лег на диван, Рекель проговорил:

— А я тебя уверяю, Михаил, если б ты знал замысел оперы Вагнера на сюжет «Нибелунгов», ты б не был так беспардонен к искусству, как сегодня; ты не верь ему, Вагнер, что он так недорого ценит искусство, он понимает музыку как настоящий знаток.

Бакунин, лежа на диване, расхохотался:

— Что, музыкант, перепугался, не хочется погибать в мировом пожаре на всеобщем костре? А? «Нибелунги»? Это нас не интересует, пусть герр Вагнер напишет лучше нам революционный марш, под который люди смелей пойдут на бой за разрушение.

— Э-э-э, марш! Если б ты слышал его первые наброски новой трагедии «Иисус из Назарета»! Нет, мой друг, музыка Вагнера принадлежит не королевскому театру, а человечеству!

— Ладно, ладно, не рекламируй друга! И пощади меня, Рекель, с «Иисусом Христом», — отмахивался, хохоча, Бакунин. — Что касается Иисуса, — повернулся он к Вагнеру, —

охотно желаю вам успеха, но только прошу, сделайте его, ради Бога, человеком слабым, безвольным и погибающим. Тема музыки тут должна быть самая простая, варьировать при композиции один текст. Пусть тенор поет, — запел Бакунин: — «Обезглавьте его!» Сопрано: «Повесьте его!» А бас: «Сожгите его!» — хохотал залиvisto на всю комнату.

— Приму к сведению.

— Ну вот и обиделись! Да я говорю ж вам, что я скиф, ничего не понимающий в музыке, ха-ха-ха! Хоть у меня даже вон и инструмент стоит, — смеялся Бакунин, — и Геймбергер говорит, что недурная машина.

Когда было не разобрать за окнами ветвей тополей, в комнате от трубок, сигареток стоял плотный дым, тогда бросили политику. Рекель вспоминал о дружбе своего отца, певца, с Бетховеном, о приключениях в Англии; Бакунин, опершись локтем о валик, полулежал на диване, курил и слушал.

— Правда, Вагнер, — проговорил он в паузу, — сыграли бы что-нибудь.

— Инструмент неплохой, — тихо сказал все время молчавший блондин в зеленых очках, Геймбергер.

Вагнер, походкой, в противоположность тяжелому Бакунину, легкой, даже чуть танцующей, прошел в глубь комнаты к роялю. Сел, бледный, слабый, поднял крышку; правая рука пробежала стремительным арпеджио.

Рекель опустил бородатую голову; Бакунин лежал на спине; похожий на белого котенка Геймбергер сидел необычайно тихо. Вагнеровские пальцы пробегали по клавиатуре, словно ища, потом взметнулись. Вагнер заиграл отрывок из «Летучего голландца»; вместе с музыкой вскоре раздался небольшой голос; Вагнер напевал.

Поднявшись с дивана, когда Вагнер кончил, Бакунин пробормотал, идя ему навстречу:

— Вагнер, это божественно! — полутемный, громадный, во фраке, с вьющейся черной копной волос, Бакунин стоял возбужденный. — Из-за всех моих дел я не слышал музыки, ей-Богу, целую вечность! Играйте, играйте, Вагнер, пожалуйста!

2

Под легким, теплым дождем на дрезденских улицах распускались липы, тополя; скверно, собачьим запахом пахли зацветающие каштаны, в темноте казавшиеся осы-

паннами снегом. В сумерках на Пирнайскую площадь из Грунауерштрассе, торопясь, вышли двое: один с черно-красно-золотой кокардой на шляпе, другой темный, громадный, не разобрать. Первый остановил извозчика на рыжей кобыле и, влезая в пролетку, проговорил: — Во Фридрихштадт, к Вейзерикскому мосту!

По улицам, дышавшим газовыми фонарями, пролетка тронулась, исчезнув в длинной полутемноте Острааллее. Дождь, раскатываясь по крышам, учащал; на Фридрихштрассе, у обнесенного решеткой темного сада, извозчик остановился. Седоки вылезли, пошли в ворота, в глубину, где в темноте, в широком низком доме жил оранжевый свет огня.

3

Комната была похожа на помещичью гостиную, с фотографиями, низкими диванами, кушетками, креслами; горели четыре канделябра; народу много; говорили мало, кого-то ждали.

Вагнер, бледный и рассеянный, сидел у рояля, наигрывая одной рукой. У Рекеля закинута на лоб очки, и неистовый музик-директор кажется поэтому сейчас добродушным. Отстранив занавес, глядел в темноту окна ширококостый, низкий, грубоватый адвокат из Бауцена, Чирнер, крайне левый депутат саксонской палаты.

— Ищете наши звезды на небе, герр Чирнер, а? — засмеялся поразительно худой, белозубый офицер в форме коммунальной гвардии.

— Наши еще не светятся, Цихлинский, — ответил Чирнер. У коренастого адвоката блеклое, скуластое лицо, голова выросла в плечи; во всем холодность и недоверчивость.

— Смотрите, герр фон Цихлинский, — медленно подходя к офицеру, улыбался бородатый доктор Гауснер, — как бы от наших предприятий не перевернулись в гробу ваши благородные предки.

Офицер спокоен, очень худ, засмеялся весело.

— Мои предки довольно плохо перешли в тот мир, так что за них не беспокойтесь, доктор, они могут меня встретить с распростертыми объятиями.

— Кто знает, — бормотнул Чирнер.

Черноглазый, густоволосый, юношей ушедший в Грецию и там получивший чин полковника греческой службы, Александр Клаус Гейнце сидел молчаливо рядом с безлич-

ным герихтсдиректором из Рохлица Грунером, рассматривавшим фотографии. В кресле читал свежий номер рекелевского «Фольксблатта» розовощекий кандидат теологии и редактор «Дрезденской газеты» Людвиг Виттих; возле него — адвокат Карл Бетхер, офицер коммунальной гвардии Маршалль фон Биберштейн.

— Бакунин опаздывает, — поднялся Рекель, подошел к окну, отдернул занавес. Все слышали, как рассыпается, слясь, расходясь, дождь.

— Темнота, — пробормотал Рекель, — все равно как во время факельцуга, который сделали мне с разрешения полиции. — Остроте рассмеялись, знали, по выходе Рекеля из тюрьмы полиция потушила факелы у факельцуга в его честь. В это время раздался звонок.

— Наконец-то, — бормотнул Рекель, взяв канделябр, быстро вышел в сени.

4

Кроме улыбнувшегося дружески Вагнера, Бакунин собравшихся почти не знал. Но вошел свободно, шумно, приветливо, как к хорошим знакомым.

— Посмотрим, кто не опоздает, когда начнется настоящее дело, — прохотал на пороге с Рекелем.

Развязность, бесцеремонность этого огромного человека с непомерно громким голосом не понравились Гейнце, Грунеру, Чирнеру; с застывшей усталой гримасой Чирнер даже не поднялся с кресла. Рекель просил перейти в соседнюю, не видную с улицы комнату. Там, когда все расселись вокруг стола, Рекель в наступившую тишину заговорил:

— Присутствующие знают, для чего мы собрались, я предоставляю слово Чирнеру.

Чирнер, опершись локтями о стол, так что мослаки широких плеч выдались и тяжелая голова вошла в плечи, заговорил ровно, голосом, привыкшим к выступлениям:

— Всем известно, что мы стоим перед роспуском палаты. Реакция, руководимая Бейстом и Рабенхорстом, это уже решила, мы должны встретить удар ответным ударом. Правительство потело кровью и в то же время опасалось предпринять что-нибудь против народных представителей, но сейчас точные сведения говорят, что фон Бейст идет ва-банк; они считают, что революция устала, а заговор немецких князей созрел. Министерство Брауна растоптано в прах, теперешнее министерство Гельда не лучше; этот

выкидыш умрет не сегодня-завтра, и на его место встанет реакция. Его, как это ни странно, уьем не мы, а именем короля барон фон Бейст. Он бросит открытый вызов народу, и если мы не поднимем народ на борьбу, то, может быть, не достигнем ничего уж в столетие. Фон Бейст вошел в согласие с прусским двором, и пруссаки в случае чего окажут соседскую помощь, приведя в порядок Саксонию. Но фон Бейст напрасно думает, у нас есть силы, которые мы противопоставим даже пруссакам. Наша коммунальная гвардия, отечественные союзы, гимнастические союзы, мы двинем их в бой с войсками реакции, и Дрезден должен стать вождем немецкой борьбы за требования народа.

Еще больше вобрав тяжелую голову в плечи, Чирнер замолчал. Вагнер, подперев тонкой рукой острый подбородок, обвел собравшихся прозрачными глазами. Отодвинувшись от стола, закинул ногу на ногу Бакунин. Закинутые ноги казались громадными. Бакунин дымил сигареткой, громадный и взволнованный. Так прослушал он энтузиастическую речь Рекеля о подъеме Дрездена и всей Саксонии на бой. Это было «чересчур лирично». Взгляд Бакунина перехватил Вагнер, улыбнулся вдавленными губами. Говорили Бетхер, Грунер, Гауснер, опоздавший глава отечественного союза Минквиц. Бакунин слушал, беспрестанно поднося ко рту сигаретку. «Ах, эти адвокаты, герихтсдиректоры, полковники, судьи, редакторы, это даже не композиторы», — думал Бакунин. Седьмым заговорил он:

— Позвольте беглецу, отдавшему жизнь всецело делу свободы, сказать в кратких чертах о пути, которого должна придерживаться демократия, если она хочет не только славно умереть, но и победить. — Бакунин говорил с мягким русским акцентом, ломано, иногда неправильно.

Бакунин встал. Всем, низко сидевшим, он казался нечеловечески громадным и неудобным. Бакунин был в припадке красноречия. Плыл дым сигареток, трубок, сигар. Бакунин заклинал разжечь, распалить страсти народа, требовал клятвы от всех умереть в восстании.

После него, голосом, привыкшим к команде, заговорил Гейнце о надежде, что коммунальная гвардия встанет на сторону народа. Цихлинский говорил о желании нескольких офицеров биться за конституцию. Виттих — о помощи коммунальных гвардейцев из провинции. И снова в дыму, прервав возбужденный разговор с Вагнером, заговорил Бакунин:

— Господа! Если сведения Чирнера правильны, а в этом сомнения нет, стало быть, мы имеем перед собой врага в лице нескольких тысяч саксонских войск и ежеминут-

но готовых войти пруссаков. Этот враг силен, дисциплинирован и организован. Что мы противопоставим ему? Незначительную силу коммунальной гвардии и необученную массу работников? Цихлинский говорит о нескольких офицерах, это прекрасно, но если мы хотим успеха восстания, его должны вести военные, знающие технику дела, могущие оказать организованное, прочное сопротивление. Сейчас в Дрездене много польских офицеров, это опытные вожди уличных восстаний и бесстрашные бойцы...

— Ни за что! — крикнул Гейнце, встав в рост. — Вы воображаете, что саксонцы, защищая свою свободу, должны сражаться под командой поляков?!

Его прервал крик сплетшихся голосов.

— Нет, этого нельзя, нельзя, ты не понимаешь обстановки, — кричал, успокаивая Бакунина, Рекель, отводя в сторону.

Дрезден предрассветно серел; уходили тени с Эльбы. Рекель с канделябром шел через гостиную, провожая гостей. В передней, сгрудившись, разбирали одежду.

— Когда ты, Мишель, вылезешь из своего фрака?

— Рад бы, да не во что! И так боюсь попасться на глаза старым кредиторам, ха-ха-ха, кстати, ссуди-ка, брат, талер; говорят, твой «Фольксблатт» теперь здорово идет.

Поставив канделябр на тумбу, Рекель вынул мягкий кошелек, развязывая, полез за монетой.

— Завтра Вагнер дирижирует Девятой симфонией, если не боишься кредиторов иль полиции, пойдем.

— Пожалуй, ради «Freude, schöner Götterfunken»¹.

Рассветало тихо, безветренно; в сыроватом от прошедшего дождя воздухе пахло тополями, сыростью; соседняя католическая церковь светлым контуром обозначилась в небе; проводив гостей, Рекель, идя по двору, слышал их далекие замирающие шаги.

5

Опера Флотова «Марта» в этот сезон шла без успеха. Утомленные однообразностью ее партитуры, отсутствием ясных мелодий, королевские музыканты в Вербное воскресенье давали Девятую симфонию Бетховена. Дирижировал не старик Рейсигер, а молодой Вагнер. И на здании театра висели аншлаги: «Билеты проданы».

¹ Друзей, прекрасных искр Божьих (нем.).

У первой скрипки оркестра никогда не было столь благородного звука; никогда так пламенно не вступали виолончели и фаготы, наполняющие зал печалью; после отшумевшей бури скрипок никогда не врывались так мощно контрабасы и гром литавр; никогда не подымалась такой страстной бурей Девятая симфония под словно отрывающимися руками капельмейстера Вагнера. Краска залила бледное лицо; взгляд странен и дик, уже потушив мелькнувшую улыбку полуоткрытого рта, он откидывается назад, брови поднялись, на щеках игра мускулов, глаза блестят, глубокая внутренняя скорбь разрешается в охватывающее наслаждение.

Из золотой королевской ложи, встав, аплодирует король. Ладонь о ладонь бьются руки блистающего моноклем барона фон Бейста, тучного военного министра Рабенхорста, храбрых генералов фон Шульца и фон Ширндинга.

За кулисами, отирая выпукло-округлый лоб, Вагнер стоял, окруженный друзьями.

— Вагнер, Вагнер, — бормотал Бакунин, пожимая его руку, — да если б при ожидаемом пожаре мира предстояло погибнуть всей музыке, мы должны б с опасностью для жизни соединиться, чтоб отстоять эту симфонию!

Вагнер слабо улыбался вдавленными губами, в нем жила еще Девятая симфония. Сказал тихо:

— Я доволен исполнением, оркестр держал себя превосходно.

6

Стон набата дрезденских церквей начался с Фрауенкирхе, но взвился над прекрасной столицей Саксонии неистовой фугой, гудом, звоном всех набатов. Дрезденцы выбегали, не понимая: с чего бьет непрекращающийся набат, словно туча плача колоколов налетела, разразилась на колокольнях. Не пожар ли, не горит ли город? Суета и страх охватывали обывателей. Приказ короля об отставке министерства Гельда? Но ушло ж министерство Брауна. Роспуск палаты? Но королем обещаны новые выборы. Почему бьет набат? И где раскатываются барабаны?

В этот жар кружат под солнцем в вышине безоблачного неба над Дрезденом ястребы, голубая Эльба трепещет парусами лодок. Лавочники, ремесленники, студенты, обыватели, торопясь, бегут ко дворцу, мешаясь с работниками зеркальной, фарфоровой фабрик, с печатниками, случай-

ными крестьянами. В форму одеваются коммунальные гвардейцы, потому что звонят на Крейцтурм и играет, поет генерал-марш на Альт-Маркт. На Дворцовой площади уж гудят батальоны коммунальной гвардии. Перед строем волнуется командир, купец Наполеон Ленц, окруженный батальонными командирами адвокатами Беме и фон Бранденштейном. Толпятся возбужденно депутаты распущенной палаты; прибежал встревоженный глава отечественного союза Минквиц. Но саксонские стрелки преградили ружьями вход, и на конях перед войсками — губернатор генерал фон Шульц и комендант дворца полковник фон Фредерици.

Заливаются толпой Театральная, Дворцовая площади, Неймаркт, Юденхоф; уж текут к цейхгаузу по Рампишегассе, слева с Альт-Маркт бегут через Шлоссгассе. Сквозь бушующие шляпами, непокрытыми головами, цилиндрами толпы горожан к Дворцовой площади протискивается депутация к королю: плотный, лысый заместитель бургомистра Пфотенхауер и городские советники. Толпа ревет: «Где Бейст?! Министры не выходят к народу!! Разворочать арсенал! Гейбнера! Депутата Гейбнера!» — требуют любимого демократа из Фрейберга. Как волнующееся море, поверхность толпы, стиснутой голова к голове, беспрестанно движется из стороны в сторону, и каждое движение ее перекачивается до отдаленнейших концов. Бьет набат над старым Дрезденом в жарком воздухе. Из нейштадтских казарм, пришпоривая коней, к Эльбе проскакала кавалерия: губернатор приказал занять мост. Полковник фон Фредерици пехотой занял ворота дворца. Залезши на цоколь, орет на Дворцовой площади депутат Чирнер, требуя, чтоб коммунальная гвардия шла парадом в честь конституции.

— Против войска не поведем!! — кричит ему Беме, командир 1-го батальона.

А еще вчера гуляли дрезденцы по Брюллевской террасе, по Гроссергартен; никто не знал, что наутро волнение охватит город. За ночь на заборах запестрели красно-черные плакаты: «На помощь Вене!» «Да здравствует красная республика!» «Долой монархию!» «На фонарь Бейста!» Кричат со стен прокламации доктора Гауснера, главы отечественного союза Минквица, вождя рабочего союза Фридриха Грилле; разбрасывают мальчишки в толпе листовку «Огонь!». В сбегающихся в центр, ко дворцу толпах, качающихся, мнущихся на площадях, видны особые калабрийские шляпы с черно-красно-золотыми лентами, видно, бежавшие из Вены. Нет места на площади, напирают стеной, раздаются крики:

«Король вюртембергский расстрелян! В Берлине восстание!» И шумят, бегут женщины с непоспевающими детьми, студенты, рабочие, члены гимнастических союзов; толпа кричит: «Ура!», Минквиц и Захариас ведут колонны с черно-красно-золотым знаменем с надписью: «Свобода!»

По Острааллее, по мостовой, в толпах народа торопился Бакунин, без шляпы, во фраке, дымя сигарой. Можно поклясться, вспоминал Париж, карузельский выстрел, в обгоняющих саксонцах искал французов и вырывающуюся стихию бунта, которую раздуть — и она станет святыней.

Из Аугустустрассе сквозь толпы работников зеркальной фабрики на площадь протискивался Вагнер в светло-синем сюртуке, в берете, светлых панталонах. Вагнеру казалась площадь озаренной темно-желтым, почти коричневым светом, словно наступило затмение солнца, как когда-то в Магдебурге. Прорываясь локтями сквозь толпу, Вагнер чувствовал веселое, острое возбуждение. У Юденхоф осколком мелькнуло в сознании описание Гёте канонады при Вальми. «То же самое», — бормотнул Вагнер, чувствуя, как его все сильней охватывает необыкновенная веселость. Дрезден, залитые площади — словно изумительная постановка, начало гигантского представления под отчаянные, к небу несущиеся фуги набата. На ступенях дома прижали артистку Шредер-Девриент, развились волосы, она кричит с крыльца. Вагнер разобрал: возмущается стрельбой по народу в Берлине, заклинает от несчастья! Ее осыпали неприличным юмором рабочие в широкополых мятых шляпах.

— Депутация к королю!

Бакунин увидел: в блестящих на солнце цилиндрах, глухих сюртуках, белых перчатках, высоко подперших шею воротниках пробивается депутация. За первой вторая, третья, даже депутация правого «Немецкого союза» идет к королю просить не вызывать несчастий в любимом отечестве. Работники осыпают депутатов смехом, но депутаты движутся к дворцу, охраняемому солдатами полковника фон Фредерици, выкатившего на Дворцовую площадь пушки.

Вагнер втиснулся на крыльцо: женщины в белых платьях, у одной красная роза в волосах, испуганно держит мальчика. Крыльцо густо окружили рабочие, меж ними Вагнер увидел нескольких музыкантов своего оркестра.

Запыхавшийся Ленц, командир коммунальной гвардии, потя, протискивается с двумя гвардейцами к Шлоссгассе.

— Долой Ленца! — кричит толпа. С колокольной св. Анны ударил набат, соединяясь в мажоре с летящими стонами над городом. Ленц толст, душно, черт побери. На

Ленца наступают депутаты распущенной палаты. Чирнера опять подняли на руках, Чирнер орет:

— Долой Ленца! Да здравствует коммунальная гвардия!

Разрывает воздух несущийся с Альтмаркт генерал-марш. Но Наполеон Ленц, владелец дома дамских нарядов и придворный поставщик, не слушает Чирнера, не разрешает гвардии идти вместе с чернью.

— Король хочет бежать! — шумит толпа. У дворцовых ворот рабочие и студенты схватили королевских конюхов с четырьмя бьющимися конями. Народные толпы все ожесточенней окружают дворец, столпились возле гостиницы «Город Рим» и «Hotel de Saxe». У Цейхгаузпляц особенно силен напор, резки, угрожающе выкрики и лица; тут напирают гимнастические союзы, подмастерья, молодежь, бушуют, колыхаясь, у цейхгауза. Кто, чего ждет в солнечном Дрездене? Чего хотят толпы, окружив дворец? За решеткой сада перед цейхгаузом прохаживается взволнованно блондин, чуть косящий глазом, лейтенант Круг фон Нидда, не снимая руки с эфеса сабли, то выйдет, взглянет на толпу, то уйдет, волнуется лейтенант, не слышит от шума толпы собственных шагов. Охраняют цейхгауз под командой полковника Дитриха две роты пехоты да семьдесят артиллеристов. Но треск, крик, лом. И, прыгнув с лестницы, выбежал чуть косящий глазом лейтенант Круг фон Нидда. Деревянная ограда рухнула, повалившись. Не услышанный толпой, раздался крик лейтенанта, и вместе с криком из цейхгауза ударили смешавшиеся выстрелы в густоте жаркого дня. И ружьями грохнула картечь. И на запруженной тысячами шумящих людей площади стало вдруг необычайно тихо. Но вот раздались стоны, и все закипело, заварилось котлом, толпы гимнастов, студентов, рабочих ринулись под выстрелы, часть отхлынула назад, давя падающих и бегущих. Все бежали по площади, по Зальцгассе, кричат: «Измена! Стреляют в безоружный народ! Нас предали! На баррикады!» Толпа растекается, но разве знает, куда бежать? И странно, что на только что переполненной площади — пустота. За поваленной решеткой видны солдаты, полковник Дитрих, двое лейтенантов; перед решеткой без движения лежат штатские, страшно раскинув руки. Раненный пулей в живот умирает в цейхгаузе блондин с чуть косящим глазом, лейтенант Круг фон Нидда; и там же застрелился в припадке неврастении лейтенант Криц.

Вагнера обогнали; четверо тащили старика рабочего с закатившимися глазами, как из стекла. Собственно, нести его незачем, надо положить, оставить, куда несут его незнакомые люди? Кругом бегут; побежал и Вагнер, потому

что бежит вся густая толпа. «К Старому ратгаузу! Пусть дают оружие! На баррикады!». На углу Бадергассе торговец, побагровев, стыдит мужчину, кричит: «Пфуй! Пфуй!» На Шлоссгассе громят придворный магазин дамских нарядов Ленца, летят из окон корсеты, манекены. Из Шефельгассе, разрывая противоположным движением толпу, движется колонна вооруженных. В светлых шляпах с лентами, кокардами, чересчур возбуждены, с криком машут ружьями, палками, железными штангами. На тротуаре остановился горбун, смеясь, потирая руки. «Как гётевский Фанзен в «Эгмонте», — промелькнуло у Вагнера.

Возле Старого ратгауза бушевала буря; толпы, залившие площадь, кричат: «Оружия!» Двери ратгауза, куда всегда степенно ходили городские советники, не раскрыты, а словно разорваны настежь. Балкон заполнен, с него охрипше кричит в толпу взлохмаченный, без шляпы, Чирнер:

— ...Или полная победа, или гибель в бою за наше дело!

На балконе депутаты Кехли, полковник Гейнце, тайный советник Тодт, доктор Гауснер, Минквиц, Грунер.

На площади в толпе Вагнер увидал прислонившегося к фонарю Бакунина во фраке, с сигарой.

— Ну что? — протиснувшись, проговорил Вагнер, — вы-то во всяком случае должны быть довольны!

— Немецкий народ самый беспомощный, какой я знаю, — словно нехотя ответил Бакунин, — разве вы не видите кругом полную беспомощность, в то время как должна быть проявлена вся сила и ненависть? Первым шагом всякого восстания должно быть уничтожение правительственных зданий, а здесь об этом даже не думают! — Бакунин затащил сигару. — Такие революции с первой минуты обречены на поражение, у революции должна быть смелость отчаяния и холодно выставленная цель, а тут я стою в детской комнате, где наказанные дети обдумывают бунт.

— И это вы?! Бакунин?! Это говорите вы, обер-фейерверкер революций и скиф в Европе?! — Вагнер был почти возмущен.

Сквозь набат с Крейцтурм раздавались барабаны, на площадь с Крейцгассе входила коммунальная гвардия; но впереди нее не Беме, не фон Бранденштейн, не Ленц, а неизвестный рыжий малый в белой шляпе, с красным галстуком во всю шею. Гвардия шумно, пестро встала перед ратгаузом, командиры пошли к Чирнеру за распоряжениями. К Бакунину и Вагнеру подошел взволнованный придворный архитектор Семпер в форме коммунального гвардейца и в шляпе знаменосца. Сняв шляпу, профессор,

отирая пот со лба, с ружьем в руке, заговорил возбужденно, обращаясь не то к Вагнеру, не то к незнакомому Бакунину:

— На Вильдсруфергассе, у ресторана Энгельса, на Брундергассе, на Постплиц строят баррикады, но, помилуйте! — сквозь возбуждение захохотал Семпер. — Это ж игрушки, пустая трата времени! Отсутствуют примитивные знания постройки! Такие баррикады не окажут никакого сопротивления! — И знаменитый архитектор замахал руками. Бакунин засмеялся.

— Милый Семпер, — проговорил Вагнер, — в чем же дело? Ваша художественно-артистическая натура в соединении с добросовестностью, да идемте в ратгауз, я познакомлю вас с Чирнером, они будут в восторге, если вы возьметесь за постройку баррикад!

По лестнице ратгауза им навстречу разномастные, чем попало вооруженные люди тащили ящики со свинцом, мешки с порохом, четверо рабочих волокли длинную железную штангу; такую ж пилили у ратгауза, готовя куски железа вместо картечи для пушек. Семпер, взяв под руку Вагнера, тихо говорил:

— Часть гвардии, где я, насквозь пропитана крайне демократическим духом, вы понимаете, Вагнер, что мне все-таки, как королевскому чиновнику, неудобно.

Вагнер хохотал, проталкиваясь.

— Семпер! Да о ваших баррикадах будут писать в истории, как о шедеврах Микеланджело! Что вы! Маршаль! — закричал Вагнер обгонявшему их по лестнице офицеру, — Познакомься.

— Мы знакомы.

— Да постой, — схватил его Вагнер, — профессор говорит, что баррикады на Вильдсруфергассе никуда не годятся, а он построит вам настоящие!

— Идемте, идемте за мной! — И Маршаль фон Биберштейн, схватив Семпера за локоть, побежал с ним, расталкивая всех, наверх.

Главная зала ратгауза, выходявшая окнами на Альт-Маркт набита людьми; шумели депутаты; многие стояли, словно не понимая, зачем они здесь; в углу толпились возмущенные члены магистрата во главе с полнотелым заместителем бургомистра Пфотенхауером. Вспотевший, растрепанный, без галстука, без воротника, Чирнер с злым лицом кричал в толпу:

— За Гейбнером послано! Послано! Да успокойтесь, к вечеру приедет! Но надо сейчас же выбрать «Комитет общественной безопасности»!

— Сколько убитых? Двадцать?!

Бакунина в зале окружили офицеры-поляки с представителями польской «централизации» Гельтманом и Крыжановским во главе. Бакунин говорил с ними по-русски, маша рукой; польские офицеры перебивали. В комнату совещаний двинулись депутаты; оттуда выбежал Цихлинский, закричал:

— Бакунин! Зовут!

— Мы будем ждать тебя в «Cafe Graincais», — беря за руку Бакунина, проговорил Гельтман.

— Хорошо, я буду настаивать! — по-русски ответил Бакунин и скрылся за дверь.

В боевой форме, с ружьем за плечом, рыжеволосая художница Паулина Вундерлих, окруженная тремя девицами, одетыми в форму коммунальных гвардейцев, взобравшись на подоконник, говорила в зале взволнованную речь о свободе...

7

Когда заголубела и рассвела Эльба, Вагнер, заснувши час назад, проснулся: набат дрезденских колоколен не прекращался. Минна, жена, не понимала оживления мужа; он торопливо прошел в рабочую комнату, ходил там, напевая, приостанавливался, отбивая такт. Наконец в комнате Вагнера все стихло, он сел к столу дописывать вариант «Смерти Зигфрида». В воображении Вагнера металась богатырская фигура Бакунина.

Словно землетрясение за ночь раскачало мостовые Дрездена, вырвало камни, гранитные плиты тротуаров, бесчисленные руки растащили их. Брюдергассе, Шлоссгассе, Вильдсруфергассе, Брейтгассе, сто дрезденских улиц и переулков пересеклись баррикадами, завалась мешками, почтовыми каретами, дрожками, тачками, камнями, плитами, мебелью. Стены угловых домов пробиты; дома заняты поющими «Марсельезу» мятежниками.

8

На Альт-Маркт трудно пробиться; это парижская площадь: ружья, крики, кокарды на шляпах, знамена, ленты, «Марсельеза», смех, красные галстуки. С Крейцтурм несутся барабанные сигналы сбора коммунальной гвардии. А в

зале совещаний, где приходы-расходы вели городские советники, в креслах — охрипший Чирнер, Грунер, Минк-виц, Гейнце и тут же, в отчаянии закрыв лицо обеими руками, умеренный депутат Карл Тодт. Кричат — Бакунин, Цихлинский, Маршаль, наборщик Борн, секретарь почтового управления Мартин; в стороне представители магистрата с Пфотенхауером во главе. Чирнер кричит им, держа сам себя за охрипшее горло:

— «Комитет общественной безопасности» назначает полковника Гейнце командующим всеми войсками!

От Цвингера — треск ружей; пошли в бой без приказаний командующего. Бакунин, с растерзанной манишкой, без воротника, во фраке, раздраженно перебил охрипшего Чирнера:

— Если будете болтать так же, как в вашей палате, послезавтра вас повесят на этой же площади!

— Так что ж вы предлагаете?

— Прежде всего отдайте общее командование в более твердые руки! Люди уже умирают, все идет бессмысленно, без плана, неразбериха вселяет в сражающихся панику. Нет ни одной путно построенной баррикады, кроме Семперовых! Прикажите Семперу руководить постройкой всех баррикад и ведите наступление на дворец всеми силами!

— Я не военный, не главнокомандующий! Кроме того, мы ждем Гейбнера!

— Гейбнера! — горько расхохотался Бакунин. — Какое же вы имели право вызвать людей на уличный бой, когда у вас нет смелости без какого-то Гейбнера! Опытные люди, знающие военное дело, хотят отдать вам свои знания и жизни, а вы их отталкиваете потому, что они не подданные саксонского короля! Сражающиеся на баррикадах не знают ни эллинов, ни иудеев!

В окно с площади врывалась «Марсельеза»; ветер рвал желтую занавесь; «Марсельеза» близилась; на площадь входили колонны рабочих, окружив груженные провиантом телеги.

Отто Гейбнера знала вся Саксония как честного демократа и основателя гимнастических союзов; мечтательный, с росшей из-под шеи золотистой бородой, увеличивавшей впечатление детскости, если б Гейбнер был сейчас в Дрез-

дене, бросился б к королю умолять не доводить страну до кровавой бойни; а если б король не послушал Гейбнера, Гейбнер умер бы от солдатских пуль.

Но жена, Цецилия, рожала. Гейбнер сидел у ее постели. Гейбнер любил жену, семью, друзей, воскресные прогулки в окрестностях горного родного Фрейберга. Цецилия лежала, словно освещенная внутренним светом. Ее побледневшую руку Гейбнер держал в своей, тихо называя жену «белой голубкой» и говоря о божественности их любви. Цецилия улыбалась мучительно и светло.

К серому дому, окруженному палисадником, где распустились тюльпаны и зацвела черемуха, подъехали дрожки. Плотный запыленный человек несколько раз дернул звонок.

В фигуре Гейбнера жила легкость, спортивность, несмотря на неправильно двигавшуюся поврежденную левую руку. Ясные глаза и необычайная спокойность лица были таковы, что с Гейбнером даже честным людям становилось не по себе от этой его ясности.

Гейбнер знал, что в столице неладно, но роспуск палаты? Отставка министерства? Огонь по народу? Жертвы? Прусская помощь?.. Под дагерротипом деда, саксонского священника, комкая письмо, Гейбнер проговорил:

— Если я звал народ на борьбу за демократию, я считаю бесчестным уклониться в тот момент, когда народ доведен до отчаяния.

Гейбнер простился с посланным. Тихо пошел к спальне, бесшумно, осторожно открыл дверь. Цецилия лежала, утомленная схватками. Гейбнер нежно проговорил:

— Цили, голубка моя...

10

— Гейбнер приехал, Гейбнер! — грубыми голосами кричали на Альт-Маркт толпящиеся вооруженные. Гейбнер снял широкополую шляпу с золотистых волос, улыбался, приветствуя трясших ружьями, косами, штангами, вилами, топорами, и, входя в двери ратгауза, подумал: «Не дрезденцы, из предместий». Торопливо поднимаясь по лестнице меж тащивших оружие людей, помахивая правой рукой, левая была без движения, Гейбнер думал: «Такого Дрездена не ожидал, это почти катастрофа». В зале Гейбнер шагнул через спящие, застлавшие пол тела; первым увидел его Цихлинский.

— Наконец-то, Гейбнер! — жал его руку двумя руками этот худой, белозубый офицер, приветствуя вождя саксонской демократии.

— Кто здесь из депутатов? — спросил Гейбнер.

— Чирнер и Тодт.

— Только? — удивился, — А другие?

Цихлинский развел руками:

— Еще Грунер здесь.

Посреди комнаты совещаний Гейбнер стоял озабоченный, взволнованный. Таким увидал его Бакунин. «Это, кажется, лучше Тодта и Чирнера», — подумал, здороваясь с Гейбнером.

11

Прусский гренадерский полк имени императора Александра, укомплектованный однолицыми, похожими на телят бранденбуржцами, одетыми ладно, накормленными до отвала, под командой полковника графа фон Вальдерзее спешился у станции Бургсдорф и маршировал под флейты и барабаны в тумане к Дрездену. Полковник граф фон Вальдерзее ехал впереди полка на гнедой кобыле, помахи-вавшей стриженным хвостом. Ветер дул с юга, с Дрездена, в лицо. Гренадеры видели уж погасавшие в туманах огни предместий Нейштадта. Вальдерзее позевывал, поднося руку в перчатке к усатому красивому рту.

12

На рассвете король Фридрих-Август вместе с королевой, стоя на коленях, молился в придворной капелле; свита, тоже на коленях, окружала короля. Вошел высокий барон фон Бейст, тихо доложил королю, что войска готовы.

Рассветным бивуаком разбились на замковом, стиля французского ренессанса, дворе солдаты саксонского короля. За ночь отбили атаку на Цвингер и арсенал; бои устраивают дисциплину; саксонские стрелки на дворе стояли нестройной, шумящей толпой, перемешавшись с офицерами. Многие еще не вытрезвились от пива королевских погребов. В тумане двора, у башен с косыми окнами, пылали дымным огнем непотушенные факелы. Барабан ударил подъем; стали разбирать ружья; перед строем встал полковник фон Фредерици, и наступила тишина.

Раздался шум идущих из дворца многих ног; полетела по двору команда; окруженный министрами, генералами, неровно, быстро, махая толстыми руками, вышел закутанный в синий плащ Фридрих-Август и, выждав паузу, голосом, полным волнения, закричал:

— Солдаты! Мои граждане оставили меня! Призрак республики беснуется в городе! Вы одни являетесь моей защитой! В рядах саксонских солдат нет предателей короля и отечества! Солдаты, я доверяю вам! Солдаты, могу ли я полагаться на вас?!

Замковый двор ожил; понеслось тысячеротое: «Да здравствует король Фридрих-Август! Хох! Хох!»; расстроилось каре, перемешался строй, превратясь в толпу, приветствующую короля. Из замковых погребов дворцовая прислуга катила по каменным плитам двора бочки вина и пива; кипела весельем, хохотом крепкая солдатская толпа. Быстро, неровно, маша толстыми руками, неверно ставя ногу на каблук, удалялась во дворец полная фигура в синем плаще. У набережной Эльбы под охраной роты капитана фон Бюнау ждал белый пароход, чтоб спасти короля, увозить в скалистую крепость Кёнигштейн; через Зеленые ворота в тумане вышел к Эльбе король.

13

Над Дрезденом поднималась заря. Полковник граф фон Вальдерзее был истый пруссак; Дрездена не любил за кризисы, за изгибы, полукруги, отсутствие прямолинейности. Военное заседание шло в Нейштадте, в здании гауптвахты.

Старик генерал фон Ширндинг, командующий войсками короля, сидел рядом с полковником и его помощником майором фон Редерном. Седой Ширндинг знал иные времена, делал марш с Наполеоном в Россию, на его глазах под Зальфельде пал принц прусский Луи-Фердинанд. Стар, свиреп был старик и верный слуга королю.

На заседании присутствовали министры, кроме них — генерал фон Шульц и полковник фон Фредерици. Вальдерзее говорил, обращаясь больше других к старику Ширндингу.

— Найдись среди мятежников военный талант, скажем, гений, — улыбнулся Вальдерзее, — они предпримут, конечно, все с военной точки зрения возможное, но я не думаю, чтоб в ратгаузе сидел новый Наполеон.

— Портупей-юнкер Гейнце, — с омерзением бормотнул Ширндинг.

— Этот Гейнце, — сказал Фредерици, — у них только в роли паяца, военное командование там в руках русского беглого офицера, он терроризировал так называемое временное правительство и вместе с поляками взял командование в свои руки. По его плану они забаррикадировали город, а лозунг этого зверя из Парижа — огонь и грабеж.

Вальдерзее проговорил:

— Бакунин? Слышал о нем еще в Познани; вместе с Чирнером и поляками эта банда достойна виселицы. Но, кроме Гейнце, там есть немецкие офицеры, полковник?

— Несколько человек, обер-лейтенант фон Мюллер... фон Цихлинский.

Командир гренадерского полка имени императора Александра Вальдерзее заговорил о приемах гражданской войны в городе и о плане борьбы с повстанцами.

— Существуют четыре способа боя: осада, бомбардировка, общий штурм и медленное, детально разработанное наступление, с взятием отдельных укреплений врага. Я думаю, нам придется остановиться на последнем. Осада, классический пример чего показал Генрих IV против Парижа, нам мало подходяща, ибо восстание должно быть раздавлено с возможной скоростью, дабы не перебросилось на всю страну и не вызвало поддержки в других немецких государствах. Бомбардировка, что прекрасно применил Виндишгрец к Праге? Я думаю, что орудий и пороху у нас достаточно...

Тучный министр Рабенхорст, волнуясь, перебил:

— Простите, полковник, его величество передал мне, что ему было б горько разрушать столицу бомбардировкой.

— Именно. Я понимаю, господин министр, — проговорил Вальдерзее, уставив прозрачные глаза на карту Дрездена, — общий штурм. — Вальдерзее задумался. — Кавеньяк блестяще провел его в Париже — это было классически, но негодяи засели в домах, к тому ж расположение Дрездена, изогнутые улицы... я думаю, — обратился он к насупленно сидевшему Ширндингу, — надо вести комбинированный способ действий.

— То есть? — низким басом проговорил Ширндинг, не любивший пруссаков.

— Повести частичный штурм, закрепляя взятое «войной домов», то есть во взятых домах саперы будут пробивать стены, и мы будем проникать в дом за домом, беря всю улицу до конца. Мои гренадеры это знают уже по Берлину, при захвате улиц будем брать левую сторону, тогда солдаты при обстреле спрятаны почти всем корпусом.

Вальдерзее говорил и карандашом показывал по карте:

— ...В центре Георгиевские ворота, отсюда поведем карточный огонь против Шлоссгассе, тут в отеле «Город Гота» главная база инсургентов; на левом фланге поведем наступление из Аугустусштрассе, из Рампишегассе, с угла Топфенштрассе на Морицгассе, где засели они в отелях «Город Рим» и «Hotel de Saxe», на правом от Цвингера двинем на Вильдсруферпляц, на зеркальную фабрику и Софиенкирхе...

14

В комнату совещаний смешной кургузый мальчишка, сын швейцара Ницше, улыбаясь, внес на подносе кофе. За столом сидело временное правительство Саксонии: светловолосый Гейбнер, разбитый, охрипший Чирнер, молчаливо-испуганный Тодт. Рядом с Гейбнером — секретарь правительства Грунер и чахоточный почтовый чиновник Мартин. Странно бездейственный, ходил Гейнце, не снимая серого пыльника и серой острой шляпы. На подоконнике озлобленно попыхивал сигарой Бакунин; возле него члены комиссии обороны Цихлинский и Маршалъ.

Знали о бегстве короля, утяжелившем положение восставших, о том, что пруссаки Вальдерзее уже повели наступление, правым флангом ударив от Цвингера на зеркальную фабрику, а левым упершись в Неймаркт — на Фрауенкирхе. Чирнер, злой, писал воззвание к народу: «Граждане! Король и министры бежали. Страна без правительства предоставлена самой себе. Конституция оболгана. Граждане! Отечество в опасности! Поэтому стало необходимым образовать временное правительство...»

В углу лейтенант Мюллер набрасывал воззвание-призыв к солдатам-саксонцам не идти с врагами Саксонии пруссаками. Обращение к Франкфурту написал Тодт. Когда ж Гейнце, остановясь у стола, разложил раскрашенный план Дрездена и заговорил, указывая карандашом позиции войск временного правительства, все обступили стол.

— Нейштадт с вокзалами на правом берегу Эльбы, мост, цейхгауз, Брюллевская терраса, дворец, Цвингер, оранжерея заняты пруссаками и войсками короля, — показывал Гейнце отмеченное зеленым карандашом. — Мы держим весь Альтштадт, за исключением дворца и Принценпалэ, все эти улицы и переулки Альтштадта нами забаррикадированы, всего у нас сто восемь баррикад.

— Сколько войск на передовых баррикадах? — перебил тихо Гейбнер.

— Сказать трудно, всего мы располагаем тысячами во семью бойцов, в Альтштадте четыре батальона коммунальной гвардии.

— Скажите, по крайней мере, каковы эти войска, сколько коммунальной гвардии и сколько сбродных частей с вилами и косами, — насмешливо перебил Бакунин, — а также озаботились ли вы, господин полковник, достать снаряды, ведь пока что оправдана только старая немецкая поговорка «Not bricht Eisen»¹, бойцы вместо картечи режут железные штанги и начинают этим пушки!

Гейнце ненавидел Бакунина; указывая карандашом позиции войск временного правительства, заговорил, обращаясь только к Гейбнеру. Бакунин видел густоволосую черную голову Гейнце, и эта голова казалась ему не только не революционной, но предательской.

— Герр Гейбнер, во имя защиты революции, спросите полковника, разработан ли план обороны против наступления прусских войск, которое уже началось?

Гейбнер, может быть, не повторил бы вопроса Бакунина главнокомандующему, но с Эльбы свежо ухнуло первое орудие.

— Слыхали? — расхохотался Бакунин. — Пруссаки знают свое дело, этот зверь прыгает быстро, у него хороший берлинский опыт! Это вам не саксонские стрелки!

— Господин полковник, у вас есть детально разработанный план защиты?

— Излишне говорить, герр Гейбнер, если временное правительство дало мне неограниченные полномочия...

Но Бакунин заговорил резче, тряся кудлатой львиной головой, сжимая кулаки. На него глядели, слушали все.

— Именем революции требую представления подробного плана обороны и имею конкретные предложения! Прежде всего, что касается Альтштадта, то на нашем левом фланге мы должны употребить все силы, чтобы провести баррикады от дома Кальберля до театра, Цвингера и конюшен, тогда бы мы могли попытаться захватить мост и отрезать Альтштадт. Предупреждаю всех, — кричал Бакунин, — что если сейчас же мы сами не бросимся в бой со всеми нашими силами, очертя голову, то нас пруссаки раздавят, как мышей. Но нам надо действовать не только в Дрездене, надо взорвать железнодорожные пути от Редерау к прусской границе и от Бауцена до Лебау, перерезав этим пруссакам путь и выиграв время! От имени своего и моих друзей поляков, помощь

¹ Железо не ломится (нем.).

которых господин Гейнце, не имеющий офицеров, тем не менее отклоняет, заявляю, что баррикады временного правительства, за исключением баррикад Семпера на Вильдсруфергассе, Шефельгассе, между «Hotel de Saxe» и «Римом», все построены никуда не годно! Далее — провиантом люди снабжаются плохо, дисциплины нет, точного плана действий нет, нет и общего командования. Революционеры сражаются как попало, обороняются и наступают, как хотят, все это чревато роковыми последствиями, если мы не образумимся сейчас же. У нас должна вестись не тактика уличных боев, а прусская тактика войны домов, мы должны брать отдельные дома, укрепляя их...

— Выгоняя жителей? — перебил Гейбнер. — Мы, провозгласившие священный лозунг собственности, будем выгонять граждан и истреблять их имущество?

— Это разбой, хороший для банд! — закричал Гейнце.

— Но это ж, черт возьми, революция или нет?! — громово закричал Бакунин, бешеный, с потемневшими глазами. Он ненавидел сейчас их всех больше, чем самого Вальдерзее. — Во имя революции требую сейчас же принять все меры защиты будущей свободы и жизни тех, кто отдался в ваши руки! Мы должны вырвать инициативу боя из рук Вальдерзее и нанести врагу удар! Я предлагаю взорвать королевский дворец! Да, да, милостивые государи! Здесь у меня есть рабочие, они готовы с баррикады на Шлоссгассе через главный шлюз проникнуть к Георгиевским воротам и подложить мину в четыре центнера пороху, проведя шнур к баррикаде. Это пламя покажет, что народ пришел в движение. Этого будет достаточно, чтобы вызвать панику и страх у врага, и этим в то же время мы выбьем их из главной цитадели!

На площади шумели, пели, с Зеегассе двигались вооруженные колонны подкреплений из Фрейберга в форме венгерских войск. Эхом раскатывались выстрелы со стороны дворца, треском, перекатами в звучном утреннике. Где-то глухо прорвалось и замерло «ура»; в этот момент в комнату вбежал бородатый, очкастый, задыхающийся Рекель.

— Что ж сидите?! — закричал он, как пьяный. — Пруссаки наступают из Аугустустрассе, и, если там не будет подкрепления, наши не выдержат!

Гейбнер встал, побледневший, словно обескровленный.

— Полковник Гейнце, — проговорил он громко, — отправьтесь на баррикады, взяв пришедшие колонны подкреплений.

Гейнце, в сером пыльнике, острой шляпе, вышел. За ним пошли члены комиссии обороны, лейтенанты Мар-

шаль, Цихлинский и Мюллер. Из комнаты совещаний в зал вышли Бакунин и Рекель. Гейбнер остался у окна, прислушиваясь к бою.

— Каждый выстрел разрывает мне сердце, — проговорил тихо Гейбнер, глядя на площадь.

— Баррикады и близлежащие дома надо обложить смоляными венками, — возбужденно говорил Бакунину Рекель, — бойцы у «Hotel de Pologne» требуют венки, если бойцы не выдержат, мы подожжем венки и не допустим солдат!

— Поди предложи, когда они в разгар революции твердят о священной собственности домовладельцев! Что ты сделаешь с этими мещанами, я даже не убежден, что Гейбнер неумышленно бездействует; господин Тодт, по крайней мере, своих чувств не скрывает и беспокоится только, как бы революционеры не совершили какой-нибудь «неправомерный поступок», то есть не подожгли бы дом или не расстреляли кого-нибудь, а когда расстреливают революционеров, он разводит руками.

— Мещане, мещане, но что ж ты будешь делать, это временное правительство, и народ верит Гейбнеру!

— У Гейбнера жена родила! — засмеялся Бакунин, безнадежно махнув рукой. — Мне кажется, что он больше думает о жене, чем о революции, или, во всяком случае, уверен, что революция побеждает так же легко, как рождает его супруга.

По лестнице ратгауза продирался сквозь толпу, бежал семнадцатилетний юноша из гимнастического союза, связанной 1-го батальона с Фрауенгассе; по запыхавшемуся лицу Бакунин понял, что сведения неблагоприятны.

— Пойдем, — проговорил, идя за юношей в комнату совещаний.

Гейбнер писал воззвание к народу: «Граждане! Рабство или свобода?! Выбирайте! Ваша судьба решается сейчас. Вся судьба немецкого народа здесь. Другого времени у нас нет...»

— Герр доктор, — задохнулся от бега, глотая слова, юноша, — от командира лейтенанта фон Мюллера с Неймаркт, с Фрауенгассе, бойцы не выдерживают, бросают баррикады, уже бросили «Город Рим», — от страха, от бессонницы слезы выступили на глазах юноши.

— На Неймаркт?! — Гейбнер встал, схватил шляпу. Хрупкий, голубоглазый Гейбнер сейчас был величествен. — Скажите лейтенанту Мюллеру, что я еду! — сказал опрометью бросившемуся в дверь юноше.

— Чирнер, вы останетесь здесь, подпишите и отдайте в печать приказ по баррикадам, а я еду на Неймаркт, кто со мной? Бакунин, поедете!

От Аугустусштрассе и Цейхгаузпляц, левым крылом опершись на окрестности Фрауенкирхе, пруссаки графа фон Вальдерзее двигались на Семпером укрепленную баррикаду. Зоркоглазые бранденбуржцы утомили баррикады гимнастических союзов метким и непрерывным огнем. Из-за мешков с песком, камней, столов отстреливались гимнасты; но, перебегая игрушечными пешками по Неймаркт, близились бранденбуржцы, и первая баррикада, под командой лейтенанта фон Мюллера, смялась и дрогнула, потому что на бруствере семнадцатилетним юношам не захотелось умирать. Но веснушчатому крепышу, сыну саксонского генерала лейтенанту фон Мюллеру было все равно. Мюллер даже предпочитал виселице баррикады; хрипло, деревянно крича, он размахивал саблей посреди улицы.

— Куда?! Назад, сволочь! На баррикады! — И обезумевшего желтолицего человека Мюллер, схватив, с размаху ударил эфесом сабли в зубы.

Гейбнер и Бакунин скакали по улице. Бакунин в изорванном, измятом фраке; Гейбнер в распахнувшемся сюртуке; Гейбнер в седле сидел прекрасно, натянутые штрипками брюки обтянули сухие колени. Возле Мюллера Бакунин соскочил с тяжелого упряжного коня.

— Братья! Граждане! Солдаты революции! — закричал надтреснуто Гейбнер. Гейбнер сейчас силен и смел. Бросив поводья первому подбежавшему, кричал голосом отчаянным, которого не слышал сам.

— Братья! Граждане! Вперед! — Гейбнер бросился на оставленную баррикаду. Вблизи бегущие остановились, далеко бегущие повернулись. Гейбнер с лейтенантом Мюллером и кучкой молодежи бежали к брошенной баррикаде.

— За свободу! — машет правой рукой Гейбнер, перекошенным ртом кричит Мюллер. И к баррикаде стали возвращаться гимнасты. Пули свистят, бьются в голубую стену соседней колбасной, отбивают штукатурку; в дома тащат раненых. Гейбнер, не слыша своего голоса, с воеющими вокруг головы золотистыми волосами, в разлетающемся сюртуке, кричит:

— Рабство или свобода?! Ваша судьба решается сейчас! Вся судьба немецкого народа здесь, на этой баррикаде!

Бойцы залегли, баррикада открыла огонь, кто-то закричал: «Бегут, бегут». Это юноша, связной лейтенанта фон Мюллера, крича, стреляет, лежа у самых ног Гейбнера. Выстрелы заварились отчаянной кашей, слышно: «Бегут! Бегут!» — и видно: игрушечными фигурками убегают пруссаки по Неймаркт. Из-за косяка по пруссакам бьет из штуцера лейтенант фон Мюллер, выкряхтывая площадные ругательства. У противоположной стены скусывает патрон, стреляет по пруссакам Бакунин из одноствольного кухенрейтера¹.

16

Баррикада замолчала, когда Неймаркт стала пуста. Гейбнер, легкий, Бакунин, громадный, поднялись в седла. Гимнасты радостными глазами провожали Гейбнера. Гейбнер и Бакунин ехали шагом по Фрауенгассе.

— Гейбнер, — с седла говорил Бакунин, когда в узкой улице ехали, касаясь друг друга коленями, — мы разные люди, ваши взгляды умеренны, но после того, как вы действовали не щадя жизни, как лучший герой революции, верьте мне, меня не пугает ваша умеренность, и к чему бы ни пришла революция, знайте, моя жизнь в вашем распоряжении. Я понял, что сейчас не о чем спрашивать, а нужно рискнуть головой.

Гейбнер улыбнулся улыбкой, размягченной мягкостью глаз.

— Бакунин, я не чувствую себя даже политиком, — сказал Гейбнер, — я не наделен сильными страстями, но с пути, на который я встал в защите конституции, я не сойду. *Qui vult quod antecedit, vult etiam quod consequitur*².

— Я латыни не знаю, — бормотнул Бакунин.

— По старонемецкой пословице это значит: кто сказал «А», должен сказать и «Б». Если вы поставили на эту же карту жизнь и хотите отдать ее на этих же баррикадах, то будем друзьями.

Гейбнер протянул Бакунину руку, и Бакунин крепко ее пожал.

— Я поеду на Цангассе, а вы езжайте на Вильдсруфер, — сказал Гейбнер.

¹ Берданки (нем.).

² Предшествуя одному, последуешь другому.

Тяжелый упряжный мохнатый конь не хотел отъезжать от кобылы, Бакунин ударял его каблуками, повернул, тронул рысью. Возле Вильдсруфергассе Бакунину показалось: мелькнула, перебегая улицу, худая фигура Вагнера, в берете, в широких панталонах, синем сюртуке; даже показалось, что фигура композитора выражала веселье.

Атаки на баррикады Семпера были отбиты. С рудокопами отстрелялся Бакунин и на Брейтештрассе, но бойцы ждали ночи, как спасения, чтоб, упав темнотой на Дрезден, остановила б набатные колокола и выстрелы, повалив шпили дворцов, колокольни, все смещав чернотой. Ночь не хотела приходить, но пришла.

В зале ратгауза, поджав ноги, на матрасе в испачканном фраке сидел Бакунин. Рядом полулежал, наливал в жестяную кружку кофе из большого кофейника Рекель; сидели Маршал, Цихлинский, Мартин, группа поляков: в светло-синих широких панталонах, по-турецки поджав ноги, отпивал кофе Вагнер, возбужденно говоря:

— Это блестящая, блестящая победа! — Вагнер был даже красив, в необычайно радостном возбуждении обращаясь то к Бакунину, то ко всем окружавшим. — Такие переживания бывают раз и далеко не во всякой жизни! Я пробрался под обстрелом с вечера на Крейцтурм, но, представьте, туда залезло уже несколько человек, и между ними учитель Бертольд, пытавшийся завязать со мной во время боя сложнейший философский спор на самые отвлеченные вопросы религии и права!

Все расхохотались.

— У башенного сторожа я достал тюфяк и устроился почти что с комфортом. И вот, на рассвете, вы подумайте, это была изумительная картина! С одной стороны беспрестанное, жуткое гудение колоколов, с другой — свист прусских пуль, а из сада у Крейцтурм слышу в начавшемся бою самую настоящую песню соловья! Нет, нет, это был удивительнейший рассвет в моей жизни!

— Вагнер, — прожевывая колбасу, улыбался Бакунин, — если б вас сделать главнокомандующим революцией, она прошла бы у вас поразительно музыкально!

— Я даю слово, слышал самого настоящего соловья! И в полнейшей утренней тишине, когда из-за Эльбы встало, как расплавленный, огненный шар с ярким контуром, алое

солнце, еще не было ни выстрелов, ни колоколов, а с Тарандерштрассе уже начала доноситься «Марсельеза». Оттуда шли колонны человек в тысячу отлично вооруженных, в ногу марширующих рудокопов, солнце осветило их необычным светом, о, это была такая незабываемая сцена! Тут присутствовала как раз та самая стихия, которую я так долго отрицал в немецком народе! Тут она встала передо мной с полной ясностью, облеченная в изумительную форму! Рудокопы везли с собой на вороных клячах четыре небольшие пушки. Мне объяснили, что эти пушки принадлежали господину Дате, барону фон Бургу, с которым я познакомился на торжестве открытия дрезденского певчего общества. Помню, он тогда еще произнес чрезвычайно благожелательную, но до смешного скучную речь. И поверьте, мои друзья, — засмеялся Вагнер, — когда из этих пушечек стали стрелять по солдатам, эта плохенькая канонада, по иронии судьбы, напомнила мне скучную речь господина Дате фон Бурга!

Поперхнувшись куском, Бакунин захохотал. Хохотали и окружившие матрац поляки, Цихлинский, Мартин, Рель. Из комнаты совещаний вышел Чирнер, приглашая на заседание.

18

Уже шел рассвет. В комнате необычно суетился тайный советник Тодт, жестикулировал, наседая на Гейбнера.

— Члены магистрата протестуют против того, что по распоряжению Бакунина в нижний этаж свозятся запасы пороха и там же льют пули! Я присоединяюсь! Мы подвергаем здание опасности!

— Одну минуту, — устало говорил Гейбнер, как бы успокаивая Тодта, протянул руку, смыкая светлые, окружившиеся кругами бессонницы глаза, — я переговорю с членами магистрата и с Бакуниным.

Но в этот момент за стеной раздался шум, словно в ратгауз с боем ворвались пруссаки. Посреди зала сгрудилась толпа разъяренных гвардейцев, махавших ружьями. Гейбнер подбежал к двери: в толпе металась громадная фигура Бакунина, Бакунин кричал:

— Граждане! Революция не знает бессудных убийств!

— Судить! Судить!

Гейбнер пробился; в толпе зажали сине-окровавленного человека, по-детски поднявшего к лицу руки.

— Ведите в комнату совещаний! Цихлинский, займите вместе с Бакуниным место судей! — кричал Гейбнер. Комната совещаний наполнилась вооруженными; толпа напирала; пробившись сквозь нее мощным телом, закричал громово Бакунин, садясь за стол:

— Подсудимый! Назовите ваше имя, фамилию, род занятий!

Окровавленный человек нерешительно качнулся, побледнев под голосом судьи.

— Ганс Фогт, владелец мехового магазина с Брейтештрассе. — Побелевший Фогт стоял в отчаявшейся позе. Бакунин еле потушил улыбку, утерев ее широкой ладонью.

— В чем вы его обвиняете?

— Когда мы шли по Брейтештрассе, — заговорил ближний рослый гвардеец, — из верхнего этажа выстрелили, мы бросились, во дворе стоял он, — ткнул гвардеец в Фогта, — у него дымилось ружье, это шпион...

— Пойдите! Герр Фогт, вы действительно стреляли?

— Да. — И бледность лица Фогта стала меловой.

— Стреляли? — переспросил удивленно Бакунин.

— Да, но я стрелял не в них, — указал на гвардейцев Фогт, — я честный человек, меня тридцать лет знает вся Брейтештрассе...

Бакунин увидел, как от жалости к Фогту побледнел Гейбнер.

— Господин судья, — колени Фогта дрожали, язык заплетался, говорил торопясь, спасаясь от смерти, — у меня от покойного отца, седельщика Карла Фогта, осталось дробовое ружье, с которым мой покойный отец ходил на охоту, я не охотник, всю мою жизнь не охотился, но в городе так много выстрелов, и моя жена сказала, что можно испробовать ружье, я и выстрелил в голубей. — И совершенно неожиданно, сжавшись, Фогт вобрал в плечи голову, заплакав, закрываясь, размазывая по избитому лицу слезы.

— Какое это ружье? Вы его взяли? — Бакунин едва сдерживал смех. Гвардеец передал ржавое дробовое ружье со стершейся насечкой «Льез». Удерживая смех, Бакунин насупил сильнее.

— Герр Фогт, ваше ружье действительно похоже на палку, но зачем же вы в такой серьезный момент, когда народ в отчаянном напряжении отстаивает свои права, вздумали стрелять по голубям? Ваш поступок неосторожен, вы за него могли поплатиться, но теперь вы свободны.

Бакунин написал на клочке бумаги пропуск.

— Возьмите с собой вашу замечательную флинтку¹ и передайте фрау Фогт, что из нее даже по голубям едва ли можно стрелять с большой пользой.

Смех наполнил комнату совещаний.

19

Ходя из угла в угол, кричал покрасневший тайный советник, член правительства Тодт.

— Чем?! — указывал на окно, откуда виднелись тучи черного дыма. — Чем вы оправдаете это?! Королевский театр, лучший театр Саксонии, пылает, подожженный войсками временного правительства! Там погибли декорации, гардероб! Вместе с театром горит Цвингерпавильон! Гейбнер, вы человек, ценящий национальное достояние, это же вандализм! Страна воспримет нас как правительство ужаса!

Если б вошла сейчас Цецилия, только взглянула б, поняла, как разбит мертвенно-бледный, охрипший Гейбнер; он заговорил еле слышно, осип, пропал голос.

— Моему личному чувству пожар оперы так же ужасен, как вам, но дело дошло до открытого боя, и тут не руководятся ощущениями, ибо борьба идет за права народа. Если б это было в моих силах, я б не позволил в Дрездене раздаться выстрелу!

О, как зарыдала бы, заметалась раненой птицей Цецилия, услышав этот дрожащий, еле слышный голос.

— Но кто-нибудь да отдал приказ поджечь?! — бешено закричал Тодт.

— Я не отдавал, восставшим пожар не нужен, опера подожжена, вероятно, прусскими снарядами.

— Ну, конечно, пруссаками! — захохотал Тодт. — Теперь все «прусское»! Зачем же музык-директор Рекель во дворе ратгауза готовит смоляные венки?! Я своими ушами слышал, как вчера еще господин Рекель, так недавно зарабатывавший свой хлеб в этой опере, говорил Бакунину, которому наше дрезденское несчастье кажется чуть ли не удовольствием, о необходимости сжечь театр при защите левого фланга!

— Верно! — крикнул Рекель.

Гейбнер измученно поглядел на Бакунина и Рекеля.

— Такой разговор был, — проговорил Бакунин, — и если б понадобилось для спасения революции сжечь не

¹ Ружье.

только оперу, а пол-Дрездена, я думаю, всякий, поставивший на карту либо смерть, либо свободу народа, поджег бы пол-Дрездена.

В комнате произошло замешательство. Гейбнер останавливал шум, но, схватясь за голову, закричав истерическим голосом: «О бедлам преступлений!» — Тодт выбежал из комнаты совещаний. Змеящимися клубами в голубое небо стлался над Дрезденом, уходил дым театра, где недавно гремела Девятая симфония под управлением Вагнера. Дым вырывался гигантскими клубами, оплетая белое барокко Цвингера, изредка показывалось душное пламя с косматым языком.

20

Шел третий день боя. Время над городом плыло с задыханиями, перебоями, толчками. Дома умерли, окна забиты. Тяжело дышал город восстания. В Дрездене развязался хаос борьбы. Вальдерзее вел бой, но и он терял терпение, на баррикады Семпера бросил в четвертый раз в лоб на штурм три роты александровских гренадер, и лейтенант фон Кийленштерн, раненный в атаке на «Английский дом», падая, закричал нечеловеческим голосом: «Kinder! Lasst mich hier nicht liegen!»¹ Вокруг замолкших колоколен метались стрижи; от пушек подымались с площадей звенящей тучей голуби. На носилках таскали закопченных порохом раненых прусских гренадер, саксонских стрелков и штатских с черно-золото-красными лентами и кокардами.

Вагнер с трудом пробирался в зал ратгауза, осторожно шагая меж лежащих спящих. В комнате совещаний на подоконнике сидел Гейбнер, опухший, без голоса; радостно пожав руку Вагнера, проговорил еле слышно:

— Хорошо, что вы пришли, будем считать это добрым предзнаменованием.

— Устали, Гейбнер?

— Ослаб. Три дня не сплю, не ел ничего горячего, не знаю, как двигаюсь, было б легче сейчас умереть, чем нести ответственность за все дело.

— А Чирнер и Тодт? Что? Неужели скрылись?

— Оба, — улыбнулся мягко Гейбнер, — Тодт заявил, что не несет ответственности за «безобразия», и уехал во Франкфурт...

— А Бакунин?

¹ Ребята! Не дайте мне здесь лечь костями! (нем.)

— Он тут, заступил их место, мы остались вдвоем, ах, Вагнер, верите ль, что у меня в груди? Я не призван для государственной роли, я рядовой гражданин, и, поверьте, среди этих боев и крови я ни на минуту не забываю моей жены...

Лицо Гейбнера свела судорога, он отмахнулся, взглянул на стенные часы, сказал:

— Пройдите к Бакунину, он в зале, там, в углу, а мне надо к Гейнце на Вильдсруфергассе, там очень много беспорядков. — Гейбнер надел широкополую шляпу с черно-красно-золотой кокардой и, надев, показался еще бледнее. Взял Вагнера под руку, идя, тихо проговорил: — Вагнер, я знаю, мы проиграли, теперь нужно только одно: честно умереть.

21

В комнате совещаний только Бакунин сохранил перекачавшийся осипшей октавой голос. Остальные возбужденно, бешено шептали, стараясь жестами дополнить речь.

— Члены магистрата обратились к правительству, — приложив руку к горлу, шептал Бакунину Цихлинский, — с требованием удалить из ратгауза порох, они протестуют против разрушения трех домов и пожара оперы, Гейбнер на баррикаде, просил тебя выслушать, выяснить дело.

Бакунин насупился, злоба в потемневшем бакунинском лице, он знал это дело.

В комнату совещаний, где у окна стоял Бакунин, курил сигарету, смотря вдаль на дымы пожаров, вошел, тяжело задыхаясь, заместитель бургомистра, штадтрат Пфотенхауер. Бакунин обернулся к нему.

— С кем имею честь говорить? — проговорил Пфотенхауер.

Презрительная улыбка пробежала по лицу Бакунина. Штадтрат Пфотенхауер застегнут на все пуговицы, стоячий воротник, несмотря на жару, подпер шею и стянут синим галстуком.

— Вы имеете честь говорить с членом временного правительства Саксонии, — ответил Бакунин.

— Я заместитель бургомистра, штадтрат города Дрездена, — не сдерживая вырывающегося гнева, проговорил Пфотенхауер, — от имени магистрата заявляю протест лицам, командующим восстанием! Мы приказываем, — закричал вне себя Пфотенхауер, ударив по столу, — немедленно прекратить в ратгаузе литье пуль и очистить подвалы от пороха!

Усмешка в темных усах Бакунина, русские степные глаза насмешливы.

— Чьим именем вы приказываете? Магистрат не имеет никаких прав, его больше не существует! — Бакунин смерил с ног до головы штадтрата.

— Что?! — вскрикнул Пфотенхауер, делая угрожающий шаг, и голос зазвенел, переходя в бешенство тено-ра. — Вы стащили сюда восемнадцать центнеров пороху! Ваши люди набивают патроны и курят сигареты! Это угрожает зданию! Ратгауз не строился для того, чтоб в нем лили пули и свозили порох!

Улыбаясь гневу, сюртуку, синему галстуку, Бакунин сказал тихо:

— А дальше что, что вы еще *требуете*? — И расхохотался. — У городского совета нет сейчас права требовать, он сейчас *нуль*. Поняли?

Штадтрат будто шатнулся, побледнев, но вдруг, ступив бешеным шагом, крикнул, и от крика задрожали ноздри и щеки:

— Я требую ответа за поджог трех домов на Брейтештрассе и за поджог театра!! Чем собирается возместить так называемое временное правительство причиненные убытки? Городская касса и депозиты никем не охраняются, тогда как тут все достояние граждан! Ваши войска по вашему приказанию ворвались к придворному проповеднику фон Аммону и отняли у него ключи от Софиенкирхе! — Штадтрат дышал глубоко, еле успевая под сюртуком переводить дыхание больного, склеротического тела.

Бакунин злобно прервал молчание:

— Штадтрат Пфотенхауер! Именем временного революционного правительства, в руках которого сейчас судьба свободы всей страны, я запрещаю вам раз навсегда обращаться с подобными требованиями! — Бакунин уже кричал громовым голосом. — Ваши филистерские слезы для нас нектар богов! Революции нет дела до вашего ратгауза и благосостояния ваших мещан! Мы разрушим все, что нам нужно, не обращая внимания на потоки мещанских слез! Ваше бездарное здание оперы сторело потому, что мы защищали жизни наших бойцов на левом фланге! Нам удобно свозить порох в ратгауз, и мы будем свозить! Вы протестуете против смоляных венков, но их зажгут при наступлении врага! Мы разрушим все для победы нашего правого дела! Что ваши дома! Пусть они взлетают на воздух! У меня нет времени с вами разговаривать!

Слишком много бешенства было в бакунинском крике, если б в комнату не вошли Цихлинский и Маршалль, может

быть, штадтрат и бросился б на Бакунина. Голосом срывающимся, налившись кровью, Пфотенхауер закричал:

— О каком «правом деле» говорите вы? Иностранец, беглец, у нас в Дрездене разжигающий костер противозаконных и противобожеских бунтов! Иль вы не видите, сколько жертв вопиют к небу! Вам все равно, что граждане Дрездена умирают! Вам нужен этот пожар нашего достоинства и нашей крови! Но ошибаетесь, герр!!! Германия не страна рабов!!! И я не увижу вас ранее чем на виселице на этой же площади!! — И схватившись за ручку двери, штадтрат распахнул ее так, как никогда не распахивал за шесть лет работы на совещаниях магистрата.

22

Ночью, с свечами, сидели в комнате совещаний измученный, сине-бледный Гейбнер, сосредоточенные, обеспокоенные Цихлинский, Мюллер, Маршалль, и возбужденно бегал, вея бородой, с поднятыми на лоб очками, Рекель. Рядом с Гейбнером — казавшийся спокойным Гейнце. Раскатывающейся, срывающейся в лай октавой говорил Бакунин о том, что бой в Дрездене безнадежен, что надо отступить. На столе перед комиссией обороны и временным правительством цветилась размеченная пестрая карта Дрездена.

Гейбнер, грязной рукой откинув назад длинные волосы, просипел:

— Полковник Гейнце, обрисуйте стратегическое положение; важно знать, продержимся ли мы до прибытия подкреплений из Хемница?

Густоволосый, бровастый, с растущими из ушей и ноздрей пучками жестких волос, из-под серого пыльника блестящий золотым воротником мундира, Гейнце, не меняя позы, проговорил:

— Когда может прибыть подкрепление?

— Мы приняли меры, пошлем уполномоченных, надо рассчитывать — два дня.

— Не продержимся двух дней, — уверенно проговорил Бакунин.

— Можем держаться два дня, — сказал Гейнце.

— Достаточно посмотреть, — показал Бакунин на карту сигарой, — пруссаки сжимают нас все поспешней, мы скоро очутимся в кольце, и это может произойти даже завтра, если наступление Вальдерзее пойдет таким же темпом. Оптимизм Гейнце неуместен, мы не можем восстано-

вить положения, нет сил. Пруссаки отказались от боя на улицах, в котором мы могли бы им противостоять. Они применяют излюбленную тактику, берут дом за домом под прикрытием артиллерии, кстати сказать, мало церемонясь со «священной собственностью».

— Пруссаки мне не указ, — просипел Гейбнер.

— Оттого и победят; но сейчас дело не в том, у нас нет достаточного числа военных командиров, после отказа от их услуг поляки уж покинули Дрезден. Наши пушки, подарок герра Дате фон Бурга, никуда не годятся, это старые калоши, пороху и пуль не хватает, усталость у людей полная, и в подкрепления никто не верит, количество раненых растет, где ж тут место оптимизму?

— Что же ты предлагаешь? — перебил ходивший взад-вперед Рекель.

— Мой план: вывод революционных войск за Дрезден, чтоб засесть в Рудных горах и там поднять восстание, связавшись с Богемией, Баденом и Пфальцем, это единственное спасение.

Канонада словно сошла с ума, пруссаки ударили обрывающими душу пушечными залпами, что-то страшным грохотом и раскатами обрушилось вблизи. Маршаль и Мюллер подошли к темным окнам. Навстречу метнулись красные языки и в свете огня тучи ночного, пропадающего дыма.

— Сегодня к рассвету, — лаял бас Бакунина, — принять самые отчаянные меры контратаки со всех баррикад. Это задержит пруссаков, а мы приведем в порядок резервы и приготовимся к выводу войск единственным еще свободным путем через Дипольдисвальдерпляц по Гроссе Плауеншегассе. Чтоб нас не обошла конница, срубим и завалим деревьями Максимилиановскую аллею, а на Вильдсруфскую баррикаду, на которую пруссаки так точат зубы, предлагаю выставить хотя б все картины галереи с «Мадонной» Рафаэля во главе, оповестив об этом полковника Вальдерзее.

— Что?! — остановился, нервно засмеявшись, Рекель.

Гейнце криво, презрительно усмехнулся.

— У нас нет времени шутить, — прохрипел Гейбнер, — при чем тут картины?

— Я говорю серьезно, — проговорил Бакунин, — надо задержать пруссаков во что бы то ни стало. О выставке на баррикады «Мадонны» и прочих знаменитостей надо оповестить, и это может на время задержать пруссаков, ибо их офицеры все ж «zu klassisch gebildet»¹, чтоб открыть огонь

¹ В классической манере воспитаны (нем.).

по «Мадонне» Рафаэля, а если откроют — тем лучше, на них падет позор варварства!

— Я считаю это шуткой, а если серьезно, то подчеркиваю: мы можем погибнуть на баррикадах, но немецкую свободу и конституцию никогда не запятнаем именем вандализма! — резко просипел измученный Гейбнер.

— Очень жаль в истории, Гейбнер, судят только тех, кто побежден. Я могу лишь сказать, что даже в такой решительный час, когда тут, на улицах Дрездена, за свободу умирают не картины Рафаэля, а живые люди, когда решается судьба не только немецкой, а, может быть, всей европейской свободы, в вас нет ни должной твердости, ни желания победы! Я ж настаиваю именно на принятии самых отчаянных, самых невозможных мер, пусть выйдем все на баррикады, может, это поднимет дух бойцов, пусть бросимся на пруссаков и умрем за спасение революции!

— А если эта «отчаянная атака» по всему фронту потерпит неудачу? — холодно, с расстановкой проговорил Гейнце. — Ведь этим мы обнажим подступы к ратгаузу, и тогда?

— Тогда свезем остатки пороха сюда и, когда пруссаки приблизятся, взорвем все к черту на воздух!

Гейбнер казался обреченным, думал о том, как весть о смерти примет не оправившаяся от родов Цици; на глаза могли навернуться слезы, но Гейбнер повернулся на фразу Бакунина, проговорил:

— Мы имеем право биться и умереть, но не разрушать город.

Бакунин отшвырнул стул, заходил по комнате тяжелыми, подминающими половицы шагами. «Полная безнадежность, они еще хуже Коссидьеров, Флоконов, Ламартинов, у тех был хоть петушиный пафос, а тут ничего, кроме боязни, как бы не разбить чашку или миску какой-нибудь фрау Мюллер. И это революция?»

— Я предлагаю согласиться с планом контратаки, — заговорил Рекель.

Гейнце сидел безучастно, думал, что дело в Дрездене кончено, что, бежав, Тодт и Чирнер поступили правильно, может быть, тут, в ратгаузе, в этой же комнате совещаний, схватят его пруссаки и, как командира восстания, поведут к Вальдерзее. Гейнце слушал удары артиллерии, знал, что близятся. Сквозь заставший уши звуковой туман услышал Гейбнера:

— Полковник Гейнце, вы согласны?

Не то от недоедания, не то от переутомления Гейнце показалось, что Гейбнер далеко проплывает в тумане и лицо у него крошечное.

— Согласен, — с напряжением произнес Гейнце, но присутствующие не почувствовали этого напряжения. И снова лающим басом заметался голос Бакунина, сыплющего пепел на стол, на карту, на фрак. Гейнце машинально встал, пересек дымную комнату, пошел в уборную.

— Да как же не рубить Максимилиановскую аллею! Боже ты мой! — убеждая, кричал Бакунин. — Если мы будем думать о каждой чашке фрау Мюллер, нам не сделать самой плевой революции! Прорвись вдогонку конница, она изрубит нас в котлеты!

— Бакунин прав, — прохрипел Гейбнер, — спасая людей, аллею надо забаррикадировать, хотя б и столетними деревьями.

— Слава Богу, хоть это, — бормотнул Бакунин, дымя сигарой.

— Маршал, вы поедете во Фрейберг за подкреплениями?

— Если временное правительство прикажет.

— Цихлинский отправится в Плауен, я думаю, Гейнце ничего не имеет против? Где Гейнце?

— Он вышел, герр Гейбнер, — прохрипел Цихлинский, — слушаюсь, только я плохо знаю дорогу.

— Тогда, Рекель, поезжай вместе с Цихлинским, ваша задача — скорейший подвод подкреплений, во Фрейберге четыреста резервистов и в Плауне около этого.

Не закрыв за собой дверь, вошел Гейнце.

— Полковник, вы согласны на поездку Маршала и Цихлинского за подкреплениями?

— Да.

— Маршал, послушайте, — кричал Бакунин, — возьмите с собой Вагнера, он спит тут у меня на матрасе, он будет вам полезен, а тут ему уже нечего толкаться!

Когда спали баррикады, в тусклом рассвете по Пирнаишегассе меж разбитых домов прошел, как бы спотыкаясь, человек в сером пыльнике, серой остроконечной шляпе. Он шел вдаль от баррикад, в сторону пруссаков, скрываясь в кривом переулке. Все ускорял шаги, низко опустив голову, пока навстречу из Клейне Шлоссгассе не показался взвод прусских гренадер. Тут человек замедлил шаг, словно стали у него отниматься ноги.

Из окон двое посторонних видели, как в серости рассвета пруссаки остановили человека в сером пыльнике. И

вдруг прусский майор стал срывать с человека пыльник, шляпу, блеснул отделанный золотом мундир. Рослый, ражий майор сорвал у арестованного с портупей саблю. Взвод повернул назад, конвоируя главнокомандующего восстанием, сдавшегося полковника Гейнце.

В ратгаузе, в главном зале, сторож Ницше подметал пол, охапками выносил во двор солому. По всем этажам ходили члены магистрата во главе с заместителем бургомистра Пфотенхауером, рассылали уборщиц, приказывали мыть лестницу, посылали сторожей за стекольщиками.

На площади шумно строились, рассчитывались по номерам, взводами уходили на баррикады бойцы. Только в комнате совещаний, откуда только что выбежала вооруженная Паулина Вундерлих, шепча: «Все погибло, все погибло», — оставались еще Гейбнер, Бакунин, Мартин и наборщик Стефан Борн, принявший главное командование войсками. Борн, жилистый, громадный, как столб, прохаживался молча. У окна, скусив патрон, Бакунин шомполом забивал заряд. Гейбнер стоял землисто-серый, как вырытый из земли труп, невооруженный, со шляпой в руках.

— Бакунин, — проговорил Гейбнер, останавливаясь подле него, — ты единственный близкий человек, прежде чем выводить войска и предпринимать дальнейшую борьбу, скажи прямо: верно ль, что твоя конечная цель — учреждение красной республики?

Бакунин засмеялся:

— О чем ты волнуешься, Гейбнер? — забивал крепче заряд. — Что умрем вместе за разные идеи? Ну, мои цели, — проговорил, подымая штуцер, надевая пистон на капсюль, — не имеют ничего общего с немецкой конституцией, и, если хочешь откровенности, считаю это ваше движение смешным, филистерским и неумным, но беру ружье и, пожалуй, буду даже рад, если меня, как тряпку, расстреляют пруссаки. Эх, Гейбнер! — вскинул ружье Бакунин. — Всего не перескажешь, друг! Да и времени нет, человек слишком сложен. Пусть мои идеи остаются при мне, верь одному: я начал борьбу вместе с тобой и пойду до конца. На меня можешь положиться, как на преданного друга. К тому ж, дорогой, умирают ведь в тысячу раз скорее, чем об этом думают.

Гейбнер, уставившись в одну точку светлостью глаз, стоял потерянный и грустный. Это уж не пламенный Гей-

бнер неймарктской баррикады, увлекающий Бакунина, это тонкий плющ, вьющийся по бакунинскому дубу.

— Ну, пойдёмте, — обращаясь ко всем, сказал Бакунин, — войска уж собраны, ты должен их приветствовать, Гейбнер.

Идя по пустому, уже подметенному залу, Гейбнер говорил странно печально:

— У меня какой-то томительный разрыв сознания, выпали дни, эпизоды, хожу, как сомнамбула.

— Это нервная усталость, — спускаясь по лестнице, сказал Бакунин, — нет, надо было видеть, как на Максимилиановской аллее мещане вылезли из домов и оплакивали погубленные деревья. — Бакунин, засмеявшись, потер лицо большой ладонью снизу вверх. — Не знаю, может, действительно было б лучше, Гейбнер, если б дрезденский ратгауз стал нам могилой? Мир так беден, брат, событиями, что следовало б хоть в Дрездене показать одно, заслуживающее внимания, и поднять вместе с собой на воздух часть Дрездена.

— Сумасшедший, — улыбнувшись, проговорил Гейбнер.

— Да, если б я верил в возможность найти у немцев творящую душу революции, которая обнажена у нас, славян, и которой если нет, то была по крайней мере у французов; нет, в немцах нет ее, с вами я знаю, что иду на верную гибель, но иду потому, что у меня нет другого пути. Я уже вижу лицо ликующего штадтрата, когда сбудутся его пророчества о моей виселице здесь, на Альт-Маркт. Ну да ладно, стало быть, я иду на Вильдсруфергассе, — проговорил Бакунин. Он свернул от ратгауза; услышал за собой команду; командовал Стефан Борн войскам, приветствовавшим главу временного правительства. Оглянувшись, Бакунин увидел: стоя перед войсками, подняв вверх правую руку, Гейбнер говорит речь.

Держалась еще только Вильдсруфская баррикада, подступы к которой архитектор Семпер вывел с совершенным искусством строителя. Этой ночью толпились тут рабочие зеркальной фабрики, сбродные толпы косиньеров, звеневших косами, остатки коммунальной гвардии. С телег, стоя, раздавали бойцам провиант женщины, веселые базарные торговки. Бегали ребятишки, разнося хлеб. Баррикада была обведена камнями, завалена мешками, только

сверху живописно перевернулся разбитый рояль да возле дома привалилась перевернутая почтовая карета. С баррикады в соседние дома люди проходили сквозь пробитые стены. Крепка еще баррикада Семпера, упершаяся в магазин и ресторан Энгельса. На баррикаде в темноте вился черно-красно-золотой флаг. Пруссаки ночевали в двухстах шагах, в таких же полуразбитых домах. Оттуда доносились дробь барабанов.

Ночь была темная. Бакунин обходил баррикады; на Максимилиановской аллее лежали, как трупы великанов, еще недавно в небо уходившие, уж готовые зацвести липы. Мертвые, убитые, они шумели листвою, заграждая улицу.

— Республика, дьявол рассчитается с нами за твою республику, — услышал Бакунин в темноте. У костров в разбитых домах, сидя, напевали гвардейцы; освещенная кострами и факелами толпа незнакомых вооруженных людей, тихие песни, конец революции создавали у Бакунина ощущение невыразимой тоски.

Бакунин сел на крыльцо, в темноте прислонясь к стене дома под большим тазом-вывеской медника Нушке. Ничем не связанные с баррикадой, проходили мысли, и, как бывает в минуты потрясений, вставали неожиданные, но совершенно явственные воспоминания. Образ сестры Татьяны; глаза темно-голубые, глубокие; бакунинский округлый лоб и общее Бакуниным выражение обреченности. «Умру, — по-русски пробормотал Бакунин, — и никто не узнает». Ни себя, ни немцев не было жаль. Улица чужая и чуждая. Бакунин закрыл глаза, выпрастывая из-под себя онемевшую ногу. Вспомнил, как в Прямухине в конце лета гуляли по любимой Лопатинской гати, это было вечером, было уже темно, Татьяна в белом платье встала на забор и представляла привидение, а он, весь в черном, в виде черта, крался к ней.

На Крейцкирхе пробило час. Бакунин встал, тихо прохаживался меж разбитых домов, покуривая в темноте. Вспомнил песенку, сочиненную отцом, когда дети, бывало, уезжали из имения: «Настал уж час, готовы кони, село Прямухино, прости». Кругом во сне стонали, храпели. Бакунин остановился. «А вдруг выдадут?» — пробормотал, и мороз прошел по спине.

— Снимать! — проговорил кто-то, подбегая. — Гимнастические союзы уж выступают, Гейбнер и Мартин ждут на Дипольдисвальдерпляц.

На Крейцтурм ударили три коротких удара: сигнал к общему отступлению.

Карета, запряженная парой стриженных лошадей, тихой рысью ехала по обсаженному каштанами шоссе из Фрейберга к Таранду. Укутавшись в лоденовый темно-зеленый плащ с капюшоном, Вагнер дремал, и в стуке вертящихся по булыжникам колес Вагнеру грезилась исполняемая на басовых инструментах мелодия из Девятой симфонии.

Карета везла музыканта тихой трусцой назад, в столицу Саксонии. Мысли стлались неясно, музыкально, дремотно. Зелень ландшафта, черепичные красные кровли; Вагнер полудремал, вспоминая, как коммунальная гвардия Фрейберга маршировала перед ратгаузом, готовясь на помощь товарищам, и барабанщик выбивал трель не по коже барабана, а по деревянному ободу. Это неожиданно, поразительно напомнило последнюю часть «Симфони Фантастик» Берлиоза, где слышится щелканье костей во время ночного танца. Вагнеру стало смешно, узкогубым ртом он улыбнулся, мысли перелетали в Веймар, где Лист собрался ставить «Лоэнгрин». Колеса, вертясь, томили музыкой, клоня ко сну. Кони, пофыркивая, бежали в ногу. Но внезапно карета остановилась.

Что такое? Из сотен глоток неслись ругательства. Вагнер протирал глаза, высовываясь из окна: кругом вооруженные люди. Карета застряла на мосту, меж ругательств, криков, скрипов, лязга, не разъезжаясь с точно такой же каретой, в которой сидели человек шесть вооруженных незнакомых людей в форме дрезденской коммунальной гвардии.

— Куда вы? — закричал Вагнер.

В ответ захохотали:

— В Дрездене все кончено, герр капельмейстер!

Вагнер выпрыгнул, почтальоны и трое вооруженных оттащивали карету подхватив ее под заднюю ось.

— Где же временное правительство?

— А вон, спускается с горы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Фрейберг — горный городок, гнездо Отто Гейбнера. Из Дрездена к Фрейбергу пестрой лентой движутся революционные войска. На Кёниггассе, в небольшом белом особняке,

главу временного правительства Саксонии ждет жена, Цецилия. Пестрой лентой к серебряно-рудному Фрейбергу шли войска, там, в долинах, будет новый бой.

Приближаясь к Фрейбергу, Гейбнер волновался; столько тут пережито, что даже тяжесть управления длинной, пестро-пыльной лентой вооруженных людей не приглушала волнения.

У старинных городских ворот, потев в сюртуках, коляску встретили друг детства Гейбнера адвокат Глекнер, члены магистрата, командиры фрейбергской и хемницкой коммунальных гвардий. Бакунин с усмешкой смотрел, как сюртуки, цилиндры, белые перчатки окружали вылезшего из коляски разбитого, изнемогшего Гейбнера. Приветствуя, кто-то закричал «Хох!», но широкоплечий бургомистр заговорил, что Фрейберг просит согражданина Гейбнера не подвергать город бою и уходить дальше.

2

В гостинице «Золотой лев», поставив ружье под портретом Фридриха-Августа, Мартин снимал пыльные, натершие ноги сапоги, прошлепал босиком к дивану и лег в изнеможении.

В дверь постучали. На пороге появилась миловидная женщина в песочной накидке.

— Вам кого, сударыня?

— Я жена доктора Гейбнера.

— Фрау Гейбнер! — радушно вскрикнул Бакунин. — Пожалуйста, входите! Гейбнер сейчас, он на Марктпляц принимает бесконечность всяческих deputаций!

Цецилия Гейбнер села поодаль, рассеянно, ни на кого не глядя, теребя концы песочной накидки. Бакунину лакей принес бифштекс и гору картофеля, за едой Бакунин повеселел. Издалека узнав спешащие, легкие взбегающие шаги, Цецилия побледнела и, как только открылась дверь, вскрикнула.

— Отто!

Цецилия рыдала неприятно, не выпуская Гейбнера из объятий, словно сейчас он уйдет и навсегда сгинет.

— Цили, голубка, — ласково, еле слышно говорил охрипший Гейбнер, глядя жену по светлой голове. И всем стало неловко. Вагнер и Мартин отвернулись к Бакунину, потупившемуся в тарелку, бормотавшему что-то невнятное. Два резвых молодых лакея в комнату внесли дымящиеся кушанья.

— Ты мне заказал? Вот чудесно. — Гейбнер прошел к столу, и с ним Цецилия, села рядом, то что-то смахнет с сюртука мужа, то поднесет к покрасневшим глазам платок, закусывая губы и морща переносицу, удерживаясь от слез.

— Надо быть твердой, Цили, — тихо говорит Гейбнер.

Шумно вошел жилистый, длинный, как телеграфный столб, Стефан Борн, громко застучал высокими пыльными сапогами.

— Последняя колонна прибыла в порядке, герр Гейбнер.

Потискивая в грубых руках, рассматривая, как нечто совершенно новое, свою старую с егерским торчащим пером шляпу, Борн сопел. Вероятно, виновата была Цецилия, смущая революционеров.

— А скажите, Борн, — прожевывая, торопился Гейбнер, — как думаете, отстояли б мы наличными силами Фрейберг, если б тут развернулся бой? Доносят, что нас преследуют две колонны — полковника Опеля через Кессельдорф и другая, полковника Петча, через Таранд.

Борн пожал широким плечом, на бородатое лицо вышла улыбка.

— Я не особенный стратег, герр Гейбнер, — засмеялся очень громко, как смеются добрые люди, — кто знает, каковы силы этих колонн?

— По донесениям, два полка конницы, два орудия и рота пехоты. Но Фрейберг просит пощадить город от уличного боя. Хемницкие командиры предлагают двигаться в Хемниц. Там сильная гвардия и местность выгодна для обороны.

— А вы уверены, Гейбнер, в хемницких командирах? — проговорил сидевший поодаль Вагнер. — Я слышал, хемницкие командиры — враги конституции.

— Нет, они зовут и предлагают совместную борьбу.

Бакунин ел очень поспешно, очень много. Цецилия глядела на него с ужасом: громадный, в грязном порванном фраке, длинноволосый, саженный в плечах, с грудью, как наковальня, — вот такими именно и представлялись ей эти отчаянные отвратительные революционеры, совершенно несхожие с ее золотоволосым Отто.

— Что Хемниц, что Фрейберг, один черт, — пробормотал прожевывая последний кусок, Бакунин, — надо скорей уходить в горы. Если вступим в Хемниц со всеми войсками, командиры гвардии никакого вреда не принесут, а на месте выясним, кто во что верует!

Гейбнер, словно не слушая, сказал:

— Я не могу оставаться во Фрейберге.

— Да не будьте, господа, столь пессимистичны! Есть великолепные сведения из Бадена, там у Струве и Геккера оживает революция, — шумно вставая, утирая салфеткой усы, проговорил Бакунин.

— Рад, что после бифштекса к тебе вернулось хорошее расположение духа, а то когда ты голоден, свирепее самого черта, — засмеялся Гейбнер и все вместе с ним Борн, Вагнер, Мартин.

И верно, после обеда Бакунин повеселел. Лакеи сервировали кофе. Мартин, босой, лежал на кушетке. Вагнеру все казалось туманом, утерян Дрезден, разбита революция, что ж теперь, спастись к Листу в Веймар? Охрипший голос Гейбнера доносился к нему как из тумана:

— Будем говорить серьезно, наши силы незначительны, люди измучены, дух пал, мы не выдержим и первого сильного боя. Ведь дело идет, господа, уж не о победе, даже не о борьбе, а только о чести. И я хочу поставить прежде всего вопрос, можем ли мы вообще из-за этого в бессмысленном бою проливать кровь людей? Не разумней ли просто распустить отряды?

Бакунин заговорил решительно:

— Как член временного правительства, Гейбнер, я считаю, мы должны продолжать борьбу до последней капли крови, и распускать отряды, бившиеся в Дрездене, ты не имеешь права, ибо ты сам их призвал к оружию. Бои на улицах Дрездена ничем не бессмысленней боев на улицах Хемница, да и неизвестно еще, как обернутся общегерманские дела с Баденом и Пфальцем! Раз мы вышли на бой, должны идти до конца, каков бы он ни был!

Гейбнер смотрел куда-то мимо Бакунина в пространство.

— Ну что ж, — проговорил после молчания, — пожалуй, ты прав.

Через полчаса с женой, Борном и Мартином Гейбнер выходил из гостиницы «Золотой лев». В номере остались только Вагнер на диване да Бакунин.

— Ну как, вас не посетили еще вдохновения по поводу наших событий? А? — посмеиваясь, тяжело, сонно садясь на диван, проговорил Бакунин.

— Еще нет — иронически, раздраженно ответил Вагнер.

Бакунин был сонен, даже не ждал ответа, откинулся темно-кудрявой большой головой на бархатную спинку дивана. Сон овладевал громадным телом; Бакунин даже чуть сползал, кривилось мощное тело, ища опоры темной кудрявой голове. Она скользнула по спинке дивана и уперлась в плечо Вагнера. Вагнер улыбнулся под свалившейся тяже-

стью. Прошла минута; Бакунин спал, плыла тишина за-
снувшего человека. Вагнер тихо высвобождался; тело Баку-
нина скользнуло вниз, на подушку; но он не проснулся,
слышен был легкий храп и дыхание. Вагнер на носках
вышел из комнаты, в дверях оглянулся: Бакунин спал.

3

Ночь, первую за все ночи восстания, спал и Гейбнер на
Кёниггассе в белом особняке. Когда в сумерках Фрейберга
после смотра войск шел домой, Гейбнер был уже не глава
правительства, не известный демократ, борющийся за кон-
ституцию, был моложе себя на десяток лет; торопящийся в
темноте Гейбнер был почти юношей. Он вспоминал и темно-
ту сада, и запах мокрой листвы; они идут, и все его желания
переполнены любовью, но на душу налегла какая-то боязнь,
и нет сил в темном саду нарушить это молчание, только на
повороте его рука коснулась ее руки и белое платье полуупа-
ло. Гейбнер не забыл это чувство словно мгновенного голо-
вокращения и это движение полуупадающего белого платья.

На ходу Гейбнер потер лицо ладонью, пробормотал:
«Какая усталость» — и завернул в палисадник. В темноте
к окну прижалась Цецилия. Гейбнер думал прободрство-
вать с ней всю, может быть последнюю в жизни, ночь. Но
через полчаса впервые за шесть ночей восстания он спал
как убитый, и Цецилия сидела возле, плача и держа его
руку в своей руке.

4

Закинув за плечо ружье, Бакунин стоял у подъезда «Золо-
того льва», окруженный толпой. Казался выходцем с картин
древних восстаний, в широком плаще, черной шляпе, под
плащом открытые концы рубахи обнажали могучую грудь, за
поясом воткнул пистолет. Выспавшись, Бакунин был весел.

— Гейбнер! Послушай, что рассказывает герр Менц-
дорф о Хемнице. Я всерьез начинаю думать, да не преда-
тели ли они?

Подходившему Гейбнеру поклонился стоявший с Баку-
ниным человек в очках, бритый, скуластый, с непокрытой
головой.

— Менцдорф мое имя, — проговорил католический
проповедник, — я говорю герру Бакунину, что командиры

хемницкой гвардии настроены, герр Гейбнер, не в пользу конституции, они выступают под давлением народа, они даже арестовали меня за речь о нарушении конституции.

— Это мы разберем завтра в Хемнице, герр Менцдорф, — проговорил Гейбнер.

5

Ночью из штаба хемницкой гвардии доктор Бекер и майор фон Торклус несколько раз выезжали на площадь, глядеть на окна гостиницы «Голубой ангел», где остановились Гейбнер, Бакунин и Мартин.

Когда Гейбнер потушил свечу в своей комнате, последнее окно в «Голубом ангеле» стало темно, верховые с майором фон Торклусом впереди выехали из ворот штаба, и черная карета, запряженная четвериком сильных коней, выкатилась на площадь с ночным грохотом.

Бренча шпорами, саблями, в касках, в темноте, с коренастым майором фон Торклусом впереди, жандармы шли к дверям. Дверь гостиницы отпер хозяин, со свечой в руке, в помочах, в подштанниках.

— Где? — негромко проговорил доктор Бекер.

— Восьмой номер, я посвечу.

Вооруженные темной линией вбегали в сад, во двор, окружая гостиницу. Гейбнер крепко спал; но в дверь застучали, и голос крикнул:

— Донесение герру Гейбнеру!

Босой встал с постели Гейбнер: за дверью слышалось дыхание многих людей; на миг мелькнуло в дыханиях недоброе, но Гейбнер уже распахнул дверь, в военной руке качнулся фонарь, множество людей направили пистолеты. Коренастый майор держал пистолет в упор в лицо Гейбнера.

— Именем королевского правительства вы арестованы!

Гейбнер видел, как с кровати поднялся полуголый Бакунин.

В одевании при многих вплотную окруживших солдатах было что-то унижительное: одни разглядывали Гейбнера, другие монументального русского. Бакунин застегивал брюки. «Все на свете оказывается проще, чем думают», — пробормотал, надевая сапоги; овладевало полное, даже как бы наглое безразличие.

— Одну минуту, герр вахмистр, — проговорил, — я не оскорблю вас, если закурю от вашего фонаря?

Бакунин зажал в зубах сигарету, надевая грязный тренировочный фрак.

Пять жандармов пошли вперед, за ними Гейбнер, Бакунин, Мартин; лестницу замыкали еще пять, за ними — коренастый майор фон Торклус легкой военной походкой.

Садясь в карету, выронив сигаретку, Бакунин бормотал: «Черт побери, это не посадка, а погрузка, будьте пожедливей, герр вахмистр, мы не к поезду торопимся!»

Темнота. Гейбнер слышал: окружают всадники, говор, кого-то ждали, долетел звонкий, показывающий волнение голос с седла: «Вперед!» Карета двинулась, спереди и сзади удары подков, звяк сабель, свет факелов. Рысью вымахнула карета из ворот Хемница под эскортом двадцати жандармов, в факелах пошла на Альтенбург.

6

Над Дрезденом в ветре празднично вились саксонские королевские флаги. Граф Вальдерзее знал, что сейчас обезумевшие бранденбуржцы через три дня будут снова спокойны и под флейты и барабаны, под егерский марш пойдут за его седлом грузиться для отправки в Берлин. Но в эти три дня солдаты должны узнать, что такое победа.

Солнце над Дрезденом светило сияюще. Еще не успели убрать мусор и камни разбитых домов у Цвингера, руины театра, остатки баррикад возле Альтмаркт, унести убитых. Прусские гренадеры врывались в дома; в отеле «Рим», в первом номере, с открытым на улицу балконом, лежал в постели приехавший лечиться принц фон Шварцбург-Рудольштадт, и лакей подавал ему глазные капли. Пруссаки закололи принца в постели, лакея на ковре. Бурей вымахнули пруссаки на Шумахергассе, тут выбрасывали из окон на мостовую жителей дома номер 14, где нашли оружие. Солдатское счастье знают только солдаты; на Фрауенгассе искали лазарет с ранеными, солдат вела толстая косая торговка, кормившая повстанцев. У белого ампириного дома, напрягая горло толстыми жилами, она закричала: «Сюда! Выкидывайте зверей! Колите их!» Торговка была тоже в страсти; и только слышался гул вбегавших солдатских сапог и странные военные ругательства. На Вильдсруфергассе на веранде за кофе перекололи туристов-иностранцев, чашки летели в сад, туристов топтали сапогами, хозяин кафе, прижав к себе двух детей, умолял пощадить его, потому что он — немец.

Граф Вальдерзее знал: это пройдет; два дня — и гренандеры спокойными телятами пойдут грузиться за его седлом, поедут в родную Пруссию. На третий день офицеры начали уже останавливать солдат, волокших пленных.

— Стой! Это вы должны были делать раньше!

Но все-таки доктора Гауснера пруссаки поволокли из Альтштадта в Нейштадт, связав ему на спине руки. Солдатам приятно волочь его, в шляпе, с растрепанными космами, каких не носят солдаты, в очках, которые уже выбили, в воротничке, галстук. Доктора били прикладами, очки повисли на ухе, запутавшись в волосах. На мосту пруссакам кричали саксонцы полковника фон Фредерици: «Куда тащите гадину?! Наш транспорт уже пошел к рыбам!» — хохотали солдаты весело, счастливо, под ярким солнцем, золотившим надраенные пуговицы, оружие, бляхи. Доктора приволокли к парапету, он еще пытался ухватиться за перила, но солдаты оторвали, подняли и хохотали, когда тело, смешно крутясь, пошло вниз по Эльбе под прусскими и саксонскими выстрелами и смехом.

— Правительство не хочет обременять себя сотнями пленных! — кричит с коня светловолосый обер-лейтенант, с эскадрой саксонских драгун ловивший убегающих участников восстания. Драгуны рубят их в полях, на дорогах. Крепки, словно бычьи, солдатские страсти. Солнце плавится над Дрезденом, синеватые, с белой каймой облака. В эти ночи проститутки устают любить широкоспинных, пьяных пруссаков. По бульвару ходят с ними в обнимку.

Непрохмелевшим солдатам граф Вальдерзее на утренней проверке коня читает приказ прусского короля Фридриха-Вильгельма IV: «Сообщение о чудесном поведении офицеров и гренандер восхищает меня и наполняет глаза мои слезами! Вы командуете действительно одним из восхитительных полков! Я хотел бы расцеловать всех ваших людей! О, если б я мог быть вместе с вами! Передайте офицерам и солдатам мой самый сердечный привет, скажите, что жестокий бой, который они достойно провели именем Пруссии, заключал в себе поворот во всем несчастье теперешней Германии!»

7

Ночь была непроницаема, может быть, в разрыв и глядела звезда, ее не видали едущие. Карета неслась от Альтенбурга к Дрездену сумасшедшим аллюром. Хрипели лошади. Окруженный факелами майор фон Торклус быстро

облегчался на крупной рыси. Карета окружена конными жандармами, последним на размашистой кобыле скакал старый вахмистр.

Отвалившись в угол, Бакунин старался найти место для головы, где б не било. Темнота, факелы, скок коней, топот отрывистый, дробный, когда собьются лошади. «Повесят на Альтмаркт, перед ратгаузом, как того хотел Пфотенхауер». Но — ничего, пустота, усталость, даже безразличие. Карета музыкой перемахнула, прогрохотав, через мост и снова мягкость полевой дороги. «Немного раньше, немного позже, — думал Бакунин, — все одно. — Но сердце сжалось, вспомнил милую фигуру Адольфа Рейхеля: — Где он? В Лейпциге? Наверное, знает, что умру. Адольф, подлинный друг». Вспомнил Париж, как играл Рейхель по ночам, напевая целые оперы. Близко, напротив Бакунина, зажали спящего Мартина двое жандармов с пистолетами. И снова то музыка мостов, то мягкой дороги, факелы, и около сотни копыт шумят по земле.

8

У нейштадтских кавалерийских казарм вокруг кареты шпалерами стояли солдаты. В улицах разгоняли любопытных. На заборах, домах пестреют прокламации короля: «Саксонцы! Тяжелая опасность угрожала нашему прекрасному отечеству! Люди, частью вредно мыслящие, частью соблазненные под влиянием чужестранных злодеев, старались порвать связь саксонского народа с его князьями, которая живет века». Из кареты вылезли Бакунин, Гейбнер, Мартин. Конвоировавшие жандармы с взведенными пистолетами повели их сквозь шпалеры вооруженных солдат во двор казарм.

Во внутреннем замкнутом стенами дворе стояли два серо-мрачных здания; от одного шел запах пищи, у окон толпились шумевшие, курившие солдаты, это кантина; у второго, немного в глубине, небольшого, просыревшего, пыльные окна были забиты решеткой, у входа часовые.

В коридоре арестного дома зазвенели навстречу кандалы. Меж уходящих солдатских спин Бакунин разглядел полупрофиль и кусок плеча закованного Гейнце. «Да, да, он; плохо ль, хорошо ль дерешься, конец один», — усмехнулся Бакунин.

В приемной преступников ждал худой, как некормленная белая лошадь, капитан Нейман. Все трое стояли у стены, под конвоем. Первым солдаты увели Гейбнера; через пять

минут в коридоре загремели кандалы. «Гейбнер», — подумал Бакунин, взглянул на Мартина, он стоял усталый, чахоточный. Капитан Нейман дал знак вошедшим солдатам, Мартина увели. Капитан курил молча, вполоборота стоял к Бакунину. Но вдруг он повернулся и оглядел Бакунина с ног до головы с омерзением, как грязное животное. На губах капитана презрительная усмешка. Прямым, военным шагом подойдя, Нейман взмахнул у самого лица Бакунина кулаком, закричав:

— Я тебе покажу, кровавая собака! Не думай, что тебя привезли сюда для шуток!

Бакунин взглянул в его бешеное, рыбе лицо; вспомнил Пфотенхауера, подумав: «Этот капитан в высоких, словно деревянных, сапогах, может быть, даже племянник бургомистра».

Вошли солдаты и тюремщик с кандалами.

— Здесь надевать! — крикнул капитан, широко расставив длинные ноги, стоял посреди комнаты.

Бакунин протянул тюремщику правую, большую, с длинными пальцами руку:

— Не ту.

Бакунин протянул левую. Тюремщик наложил кандалы и длинную цепь от поручня с необыкновенной быстротой замкнул на выставленной правой ноге.

— Н-на! Марш бегом, русская свинья! — захохотал капитан. Бакунин зазвенел кандалами по полутемному коридору. К дверям подходили арестованные, прислушиваясь. Бакунин кашлянул. «Может, узнают». В конце вонючего, как немые кишки, коридора тюремщик открыл небольшую дверь. Пригнувшись, Бакунин шагнул в карцер с крошечным, как шель, окошечком.

9

Зимний дворец был взволнован, исплакалась царица, когда в кабинете на походной кровати в тяжелом припадке, с опухшими ногами, лежал больной император. Николая трясли нервные припадки и были неладности с ногами. При императоре безвыходно находились лейб-медики Арндт, Енохин и Мандт.

Но вот уж второй день, как император встал. Император оправился, даже иногда каламбурил. Шутил с доктором Енохиным, любя его за простоту, здоровую внешность и ясные медицинские знания.

— Ты, Енохин, ведь из духовного звания, а? Следовательно, должен знать духовное пение? — смеялся Николай, сидя с доктором в кабинете.

— В молодости певал, ваше величество.

— По носу вижу! Видишь — угадал? От меня не скроешься, а ну-ка, братец, спой что-нибудь, церковную стихирю какую-нибудь, — смеялся Николай в распахнутом преображенском мундире.

Потупив крупную рыжую голову, Енохин откашлялся, глядя на улыбавшегося монарха, запел круглым басом:

Разбойника благоразумного

Доктор усиливал баритонные звуки, но вдруг с ними слился слегка подвиравший в мелодии сильный тенор императора. Возле кабинета переглянулся караул дворцовых кавалергардов в касках с золотыми орлами. Как статуи.

— А?! Каково, Енохин, хорошо ведь спели?

— Прекрасно, вам бы хоть самому петь, ваше величество.

— Ну да, у меня голос недурен, будь я из духовного звания, и попал бы в придворные певчие, и пошла б моя карьера! — засмеялся Николай. — Пел бы, покамест с голоса не спал, а потом, ну что бы потом, Енохин, а? Ну, выпускают меня, скажем, по порядку, с офицерским чином в почтовое ведомство, тут я, разумеется, стараюсь подбиться к почт-директору, он назначает меня на тепленькое местечко, например, скажем, почт-экспедитором в Лугу! — Енохин подхватил залившийся смех императора. — А на мою беду, понимаешь, у лужского городничего прехорошенькая дочка, и я по уши влюбляюсь, но отец никак не хочет ее за меня выдать, и отсюда начинаются мои несчастья. В страсти уговариваю девушку и похищаю ее; об этом доносят по начальству, отнимают любовницу, место, хлеб и отдают под суд. А что тут делать, Енохин, без связей и без протекции?

Царица сама приняла генерал-лейтенанта Дубельта, торопясь, говорила по-французски: «О, да, да, это очень обрадует его». Они шли из Аванзала, прошли Концертный зал, спускались к кабинету. Слышался смех императора. На голос царя Дубельт открыл дверь.

— Дубельт! — закричал, неистово хохоча, император. — Дубельт! Вот кстати, Енохин, а? — Дубельт остановился в некоторой нерешительности. — Ну, теперь я спасен! Я нахожу путь к Дубельту, подаю ему просьбу, и он высвобождает меня из беды!!! — Смех, смех заколебал кабинет императора.

Смеялся и Дубельт. Сквозь смех Николай сказал:

— По делу, Леонтий Васильевич?

— Так точно, ваше величество.

— Спасибо, Енохин, еще как-нибудь споем.

Император в кресле молча улыбался в рыжеватые усы. На лице, все еще необычайно красивом, хоть и отягченном уже обрюзглостью, плавала улыбка удавшегося рассказа.

— Говори, — сказал, указывая на стул.

Дубельт, еще не раскрыв портфеля, проговорил:

— Не могу вытерпеть, ваше величество, Бакунин схвачен.

— Что ты? — серьезно проговорил Николай, встал.

— Так точно, экстренная депеша.

Дубельт подал, Николай бегло читал, улыбки ушли. Повернул, глянул на резолюцию Дубельта: «Ах, как я рад! Генерал-лейтенант Дубельт». И проговорил медленно, откладывая депешу на стол:

— Это радость, верно, радость, давно жду мошенника. Попался-таки, батенька! — Голос стал негнушимся, как на параде. — Снесись с Нессельроде, чтоб немедля написал представление саксонскому двору о выдаче сего преступника против меня и России. Одновременно пусть пошлет бумагу прусскому королю. Я присовокуплю личное письмо «мечтателю», а Вальдерзее хочу поздравить.

— Слушаюсь, ваше величество.

— Нет, посиди, — задумался Николай, улыбкой изменив точный очерк губ. — Так как же это он, голубчик, а? Говорят, у них всем Дрезденом заворачивал, все переворотил там, вот так мой прапорщик! Задал немцам перцу! — захохотал Николай. — Мерзавец первостепенный, но отчаянная голова, его надо взять в ежовые рукавицы, Леонтий, да потолковать как следует. Поляков бунтовал. Ведь эдакую кутерьму поднял, и все против меня хотел, прапорщик артиллерии, — презрительно произнес Николай.

— Судя по газетам и донесениям, ваше величество, был у них главнокомандующим, на белом коне разъезжал, уничтожил оперу, людей порасстрелял, неисчислимое количество домов разрушил.

— Ей-Богу? — захохотал Николай. — Вот это я понимаю! Так им и надо, Леонтий, ха-ха-ха! Я знаю Фридриха-Августа, суцая баба, без всякой воли, они ведь все, немецкие короли-то, на баб похожи, кроме покойника

Фридриха-Вильгельма III, а если бы бабами не были, не замутили бы страну так, не довели бы до такого несчастья. Слава Богу, что генералы-то хоть нашлись моего прапорщика унять, а то б, чего доброго, и до гильотины доплясались.

Николай неожиданно встал, потянулся, зевнул, чувствовал себя хорошо.

— Ну, это ты меня обрадовал. Незамедлительно снесись с Нессельроде, а я завтра его вызову.

11

Двор кавалерийских казарм вымощен был круглым средневековым булыжником. Окна арестного солдатского дома — во двор. Двор пылен майской серой пылью. Из казармы беспрерывно несется гул голосов, шум оружия. На расстоянии в двадцать шагов уже полчаса ходили по двору в кандалах Бакунин, Гейбнер, Рекель, Гейнце.

Звенели по круглым камням кандалы. Левую руку, связанную с правой ногой, держали низко. На прогулке разрешалось курить. Бакунин затягивался потихоньку, прогулка была счастьем, почти что свободой. Перекинуться б словом с Рекелем. Его встретил только раз в уборной, Бакунина выводили, вводили Рекеля.

— Ты все время в кандалах? — спросил Рекель по-французски.

— Не снимают, — по-французски ответил.

— Собаки... — пробормотал по-немецки Рекель.

И разошлись. С Бакунина одного в темноте узкого карцера не снимали кандалов. Газеты писали о нем как о звере, о демоне Дрездена, требовали повешения.

Час звенели кандалы по внутреннему двору кавалерийских казарм. Гейбнер, Рекель и Гейнце гуляли уж месяц, Бакунина вывели первый раз, по предписанию врача. Начались головокружения, и от темноты заболели глаза.

12

Граф Орлов поднимался по сине-ковровой лестнице Третьего отделения, тяжело дыша. Тяжко откинувшись в массивном сафьяновом кресле кабинета, медленно переводя дыхание, проговорил Дубельту.

— Вчера был у государя по делу о Бакуanine. Князь Паскевич предлагает преступника везти в варшавскую цитадель, берет на себя доставку. Вы кого б рекомендовали, Леонтий Васильевич, из варшавских офицеров?

Дубельт сощурил серые глаза до щелей; голубой лентой пролетали в голове офицеры.

— Поручик Распопов, Алексей Федорович.

— Распопов? — макая перо, переспросил Орлов.

— Исполнительный офицер.

— Князь пишет, будет следить за делом лично. Он обратился к Шварценбергу и к саксонскому военному министру Рабенхорсту, у самого-то саксонского короля в голове зайцы прыгают.

Дубельт не любил тестообразного орловского хохота.

— Своими б руками пытнул мерзавца, — сказал серьезно, заходил, зазвенев по кабинету шпорами. — По последним сведениям, у него все польские связи. К тому ж, состоя агентом Ледрю-Роллена, был душой всемирного заговора, связывал немцев с французами и славян с немцами. Недаром вцепились немцы.

— Как же-с, говорят, в восстании-то в Дрездене скакал на коне господин прапорщик! Читали, что пишут про него? Так и называют: единственным демоном разрушения, нанесшим Саксонии неисчислимыя бедствия.

— Мерзавец первостепенный. Если б государь своевременно согласился с моим предложением выкрасть его, многое б выиграли. Написал кучу безбожных в отношении его величества статей, за одно «Воззвание к славянам» виселицы мало, четвертнуть бы негодя по старинке. А на польском банкете перед кем, подлец, перед иностранцами, перед полячишками, перед французишками, в каком свете отечество выставлял?

Проворачивая толстую спину в кресле, Орлов сказал:

— Уверен, возьмем.

Дубельт вышел. Орлов большой рукой писал:

«Его благородию господину поручику Распопову.

Предлагаю немедленно с получением сего отправиться железной дорогой на Краков, взяв с собой в сопровождение одного унтер-офицера и двух рядовых. Вручив прилагаемый при сем пакет на имя генерал-лейтенанта Соболева, приказываю ожидать приемки политического преступника Бакунина, оного заковать со всевозможной осторожностью и доставить в Александровскую цитадель в Варшаве, где сдать под расписку, которую представить мне...»

В карцере Бакунина забили окно, потому что у Рекеля нашли кусок исписанной по-французски газеты. В полумраке на нарах Бакунин лежал, чесался, охватывая спину свободной правой рукой: ели вши. Левую оттянули кандалы. За два месяца мысли спутались, видел, как поведут солдаты на площадь, а там закричат те самые саксонцы, что оплакивали весенние зацветшие широкошумные липы Максимилиановской аллеи, порубленные у них Бакуниным. Болела спина, потому что не мог в карцере вытянуться, а если вставал, то даже плечами упирался в потолок. Бакунин лежал на соломенном тюфяке, подворачивая, как мог, громадные ноги. Был одет в чужое старое платье, рукава и брюки были очень коротки.

Допросы шли и ночью, и днем. После четырехчасового допроса сегодня вели на новый. Двор кавалерийских казарм в сумерках был сер. В сенях главного здания столкнулись с встречными. В темноте узнал бледного Гейбнера.

— Фон Хок, следователь из Праги.

И разошлись. В зале, который так хорошо знал, за зеленым сукном спинами к портрету Фридриха-Августа сидели полковник фон Фредерици, генерал фон Шульц, королевский комиссар Швебе, производящий допросы главных обвиняемых, аудитор окружного суда Мориц, заседатели уголовной королевской комиссии, протоколист-ассессор, офицеры, актуарии и новый старик, с синеватой бородой, казавшейся легкой и колеблемой в воздухе. Старик в глухом сюртуке, черном галстуке — пражский высший чиновник юстиции гехеймрат фон Хок разглядывал Бакунина из-под золотых очков. Но заговорил не он, а комиссар Швебе:

— От имени уголовной королевской комиссии предлагаю вам показывать только правду; на вчерашнем допросе было предъявлено письмо к вам, помеченное «среда вечером», без обозначения месяца и числа, причем подпись неразборчива. Кем написано это письмо, скажите фамилию этого лица.

— Фамилии лица, — заговорил Бакунин, — написавшего письмо, я не назову и не напишу, дабы не замешать его в это дело, — Бакунин говорил твердо; заседатели, офицеры, писаря глядели на него множеством глаз.

Швебе пересматривал бумаги; Бакунин стоял вплотную у зеленого стола. Швебе приподнялся, протянул Бакунину четыре письма на русском языке, которые Бакунин узнал сразу, увидев еще на столе.

— Кем написаны эти письма? Кто такая госпожа Полудина и в каких отношениях вы с нею состояли? Кто такой упомянутый в письме господин Рейхель?

— Все четыре письма написаны мне одной и той же дамой, частью из Брюсселя, частью из Парижа, — проговорил Бакунин, — однако я категорически отказываюсь что-либо сказать об этой даме и даже не скажу, является ли подпись на одном из них — мадам Полудина — ее настоящей фамилией. Точно так же не скажу, кто другие упомянутые в письме лица и верно ли написаны их фамилии. Я вообще отказываюсь дать какие-либо показания относительно обстоятельств этих лиц и моих отношений с ними.

Заседатели переглянулись; брови комиссара Швебе сходились круче, недовольней, и голос становился упорней и злей; когда писцы записали слова Бакунина, Швебе, оглядывая Бакунина с ног до головы, проговорил:

— Когда вы познакомились с дрезденским музик-директором Августом Рекелем и какие отношения установились между вами?

— Вскоре после моего прибытия в Дрезден, кажется, в начале марта этого года, я познакомился с Рекелем через Виттиха в каком-то общественном месте, кафе или ресторане. Рекель понравился мне, и я стал поэтому искать его знакомства. Так как Рекель разделял мои политические взгляды, в частности мое мнение о славянском вопросе, то вскоре после знакомства у нас завязались дружеские отношения.

Швебе помолчал, выжидал; никого из участников восстания он не допрашивал с таким омерзением, как этого русского. Швебе был убежден, что русского повесят, но наглый тон ответов и кажущееся хладнокровие выводили Швебе из себя.

— Оказывается, — проговорил Швебе, — во время восстания в ратгаузе вместе с вами находился молодой человек, занимавшийся писанием под вашу диктовку; он носил очки с темными стеклами и боковыми щитками из зеленого шелка. Знаете ли вы этого человека и как его звали?

— Молодого человека в темных очках с зелеными шелковыми боковыми щитками я вообще в ратгаузе не видал и не знаю, что под моим руководством кто-то занимался писанием; в числе моих знакомых нет никого, кто бы носил темные очки.

— Он небольшого роста, худой, можно даже сказать, крупный блондин с правильными чертами лица и светлыми

глазами; глаза у него больны, и он носит зеленые очки с шелковыми боковыми щитками.

— Схожего с предъявленными мне приметам человека я не припоминаю.

— Что вы можете сказать о прибывших из Парижа Гельтмане и Крыжановском? И что вас с ними связывало?

— Крыжановский — поляк из Галиции, а Гельтман — из русской Польши, оба польские эмигранты. Я познакомился с ними в Париже. Об их семейных обстоятельствах ничего сообщить не могу; оба они прибыли приблизительно за четырнадцать дней до восстания в Дрезден, с какой целью, мне неизвестно, мне кажется, они были проездом, но куда, не знаю. Мои отношения с ними сводились к простому знакомству.

Швебе резко повернулся, нагнулся к гехеймрату фон Хоку, заговорил вполголоса, и на все его слова гехеймрат, потряхивая синеватой шелковистой бородой, тихо твердил: «Хорошо, прекрасно». Потом Швебе обернулся к протоколисту, и лицо его приняло прежнее насупленное выражение.

— Герр Гаммер, прочтите подсудимому данные сегодня им показания.

Протоколист, получив от писаря бумагу, зачитал громко, полным голосом: «Сегодня в помещении комиссии допрошен был королевским комиссаром Швебе заключенный Михаил Бакунин в присутствии аудитора окружного суда, по предварительном увещании говорить правду подсудимый, как ниже следует показал...»

Потом протокол пошел к членам комиссии, и наконец ассессор зажег над ним сургуч, залил и надавил большой красной печатью с королевским гербом Саксонии.

Швебе что-то сказал гехеймрату фон Хоку. Бакунин глядел на старика в глухом сюртуке, черном галстуке. Выпрямясь в кресле, фон Хок, оглядывая из-под очков Бакунина, заговорил тихо:

— По уполномочию австрийского императорского и королевского правительства, в согласии с распоряжением саксонского королевского правительства я прибыл произвести дознание о вашем участии в преступном против австрийской императорской власти восстании в Праге в день Святого Духа, закончившем славянский конгресс, членом которого вы состояли. Не пытайтесь что-либо скрывать, это только ухудшило б ваше положение, прошу вас показывать только правду.

Во время речи гехеймрата фон Хока офицеры, заседатели, чиновники рассматривали Бакунина, словно пред ними встал новый и неизвестный им человек.

— По имеющимся в распоряжении императорского министерства юстиции документам, вы являлись одним из организаторов восстания в Праге. Вы признаете себя в этом виновным?

— Признаю.

— При проезде эрцгерцога Фердинанда, приехавшего усмирить возросшие в городе пагубные страсти, из номера гостиницы «Голубая звезда», занятого вами, раздались выстрелы по кавалькаде эрцгерцога. Это стреляли вы?

— Нет.

— Где вы были при проезде эрцгерцога?

— Вероятно, в Клементинуме.

— Так, — вея шелковистой бородой, сказал фон Хок. — Вы находились в Клементинуме? А известна вам фамилия братьев Страка?

— Известна.

— Укажите, каким образом вы познакомились с Густавом и Адольфом Страка и каков был истинный характер этого знакомства?

— Это знакомство было поверхностное, я ничего о братьях Страка сказать не могу.

— Так-так-так, — тихо проговорил фон Хок, чертя карандашом по полю бумаги. — Опишите наружность Густава Страка.

— Он невысокого роста, других примет указать не могу.

— Знаете ли вы пражского студента Иосифа Фрича?

— Я познакомился во время моего пребывания в Праге в июне прошлого года с неким Фричем. Этот Фрич, имя которого мне неизвестно и относительно которого я лишь предполагаю, что он был студент, носил славянский национальный костюм и был молодой человек небольшого роста красивой наружности. Не могу точно указать, где я впервые встретился с Фричем и при каких обстоятельствах.

— Фрич сознался, что в апреле 1848 года он был у вас в Дрездене и сговаривался с вами относительно подготовлявшегося в Праге революционного восстания. А потому изложите правдиво все обстоятельства этого дела.

— Мне ничего не известно ни о каком посещении меня Фричем в Дрездене, ни о каком-либо подготовлявшемся в Праге революционном движении, которое будто бы замыслил Фрич.

— Фрич показал, что он приезжал к вам в Дрезден и был здесь несколько дней, неоднократно заходя к вам. По его словам, вы проживали на улице, находившейся вблизи каких-то ворот, в районе Фридрихштадта, дом же, в котором вы жили, был окружен садами и находился напротив необитаемого дворца, в котором некогда жил Наполеон. Итак, расскажите все обстоятельства дела и изложите содержание ваших тогдашних переговоров с Фричем.

— Хотя Фрич, по-видимому, знает дом, в котором я проживал в Дрездене, гораздо лучше, чем я сам, все же я должен повторить, что о пребывании Фрича в Дрездене я ничего не знал. Я уж раньше точно указал свою квартиру, но не знаю, жил ли в доме, расположенном напротив, Наполеон.

— Иосиф Фрич показал далее, что, придя к вам, он сообщил вам о положении дел в Праге в отношении предполагавшейся там революции, причем он, по его словам, передал вам, что там никаких приготовлений к революции не делается и что вам поэтому нельзя рассчитывать на Богемию. По его словам, вы выразили свое неудовольствие по этому поводу, а затем, сговорившись с ним насчет встречи на Троицын день и обменявшись воспоминаниями относительно отдельных эпизодов, вы перешли к обсуждению вопроса о предполагавшейся революции в Праге. Вам предлагается подтвердить вышеизложенные обстоятельства и сообщить дальнейшее содержание и ход вашего разговора с Фричем. По словам Фрича, вас привело в особенное негодование вступление в пределы Австрии русских войск, ибо вы усматривали в этом признак поступательного хода деспотизма.

— Обо всем этом мне ровно ничего не известно, так как Фрича в Дрездене я не видел.

— Названный Иосиф Фрич показал, что у вас было тайное общество, и в нем было постановлено, чтобы посвященные были разделены на секции, притом так, что, например, он, Фрич, должен был подобрать себе трех товарищей, из которых лишь один состоял бы в непосредственных с ним сношениях; из этих трех каждый должен был подобрать себе еще трех с соблюдением тех же условий, следующие тройки набирают дальнейшие тройки и т. д. Фрич говорит, что инструкцию по этой организации он также получил от вас. Без оснований Фрич не мог бы сообщить такой подробности. Итак, скажите по этому поводу всю правду.

— Я могу лишь подтвердить полное свое неведение всего этого.

— В отобранном письме к вам Людвиг Штура, между прочим, говорится: «Тебя с нетерпением ожидают в Загребе». Не скажете ли вы, кто и для какой цели ожидал вас в Загребе? А также что значит, — прочел гехеймрат фон Хок, близко поднеся письмо к золотым очкам: — «Теперь мы уведомляем тебя, что на днях мы отправляемся из Вены для известного дела в Карпаты, куда мы ждем тебя согласно твоему обещанию». Разъясните это место.

— Как из газет известно, в Загребе должно было произойти продолжение пражского конгресса под руководством бана Елачича. Я обещал Штуру приехать в Загреб и вместе с ним отправиться в Карпаты, дабы присутствовать при готовившемся тогда восстании словаков против мадьяр. Но так как я к тому времени уже потерял доверие к Елачичу, под водительством которого должно было произойти восстание, и само восстание утратило свою славянскую тенденцию и должно было преследовать скорее русские реакционные интересы, то я и отказался от своего намерения отправиться в Карпаты и принять деятельное участие в тамошнем восстании, которое и обозначено в письме словами «известное дело».

Короткими шагами солдат внес поднос с чашками кофе, хлебом, сыром, маслом. Офицеры, заседатели разбирали чашки, намазывали хлеб маслом, резали сыр. Писаря записывали каллиграфически вопросы фон Хока и ответы Бакунина. По одному движению фон Хока понимали, когда будет пауза, и тогда быстро закидывали перья за уши.

14

В ночь Бакунина разбудили шаги многих ног по коридору, звон ключей, шум отпираемых дверей, говор; шумели и на дворе. «Конец», — бормотнул Бакунин и почувствовал, что подрагивает. Шаги замерли. «Все равно», — подумал, но не шевелился.

В волчке заметался желтый огонь; Бакунин увидел: на пороге, в свете фонарей, капитан Нейман, освещен в полкорпуса, в окружении солдат; за ним седенький актуарий.

— Одевайтесь!

Бакунин одевался с средней скоростью. Нейман стоял спиной. Позвякивая кандалами, в кольцо вооруженных солдат впереди с желтым фонарем, Бакунин пошел по коридорам. Замкнутый внутренний двор горел дымными красными пятнами факелов. Во дворе, окруженные солдатами, стояли

Гейбнер, Рекель, Мартин, Гейнце. Поодаль две кареты. На козлах каждой сидели солдаты. У карет светились зажженными глазами фонари.

— Сажать!

Факелы заколебались, поплыли фантастическими длинными тенями. К одной карете повели Бакунина, Гейбнера, Рекеля, сажали на широкое сиденье; напротив сели жандармы с наставленными на преступников пистолетами. Во вторую посадили Гейнце, Мартина и полз седенький актуарий.

За окном, как из Хемница на Альтенбург, поплыли факелы и фигуры конных. Полосами освещались то лица товарищей, то жандармы с пистолетами. Карета рысью неслась на юг. Мелькнули чешуя Эльбы, темный дворец, Цвингер, Постпляц, желто-темные улицы. Потом пошли факелы, шум вертящихся колес и топот подков по дороге.

На рассвете карета с эскортом мчалась лесом, вдоль Эльбы. Синими стрелами шел свет из-за обступивших реку гор. На желто-зеленых скалах, как гнезда, прижались домишки. Бакунин глядел на убегающий, стелющийся вид; когда-то шли здесь с Адольфом Рейхелем долиной Эльбы, неся на палке чемодан. Побывали на горах — Бастае и Пфафенштейне, в Кёнигштейне, где на скале орлиным гнездом прилепилась еле видная крепость, внизу в кабачке «Амтсхоф» Рейхель играл на рояле. Бакунин толкнул локтем Гейбнера, указывая на окно. В желтом освещении дымящаяся утренняя Эльба словно таяла оранжевым паром.

— Кёнигштейн, — бормотнул Гейбнер.

Карета, грохоча, въехала в деревню у подножия горы, перемахнула узкий мост. Посторонились, стуча по круглым камням деревянными башмаками, шедшие к колодцу женщины. Карета мчалась к подъему на гору. У подъема стояла рота солдат и, глядя на Эльбу, курили четыре крепостных офицера.

Вылезших окружило каре пехотинцев. Гейбнер, Бакунин, Рекель поняли: стало быть, слухи, переданные Рекелю караульным о попытке освободить заключенных, — верны. Возле каждого закованного — по два унтер-офицера с пистолетами. Конные, приехавшие с каретой, заперли улицу от любопытных кёнигштейнцев. Два офицера впереди каре, два позади, пожилой полковник резко скомандовал. И каре, позвякивая примкнутыми штыками, тронулось на подъем. Гора шумела елями, соснами в подымавшемся ветре. Узкой лесной дорогой, выложенной каменными плитами, шли крутым подъемом офицеры, арестованные. Вправо виднелась голубая

лука Эльбы, сжатая гребнем гор с скалистыми вершинами. Дорога заворачивала все круче. Вместо сосен уж шумели березы, каштаны, буки. Гейбнер уставал больше других. Дважды останавливался, прикладывая руку к сердцу. «Вперед!» Гейбнер трогался. Сколько шли меж гудящих берез, буков, каштанов? В прорыве поределых деревьев, взвившись, мелькнула серая скала, на ней стены и башни крепости.

У наружных ворот ждали комендант и три крепостных офицера. Первым шел Рекель. У каменных столбов комендант его остановил. Красивый смуглый брюнет, адъютант, подошел с большим черным платком и завязал Рекелю глаза, обмотав всю голову, оставив только рот. Бакунин успел увидеть лишь выбитое на камне: «Основана курфюрстом саксонским Христианом в 1586—1591». Тот же офицер окутывал ему голову. С черными платками вместо голов, качаясь неровно и неуверенно, Рекель, Гейбнер, Бакунин шли, трудно было идти по средневековому высокому подъемному мосту. После первого моста прошли еще по двум, Бакунин наткнулся на плотно окруживших его солдат. Когда скомандовали «Стой!» и размотали черные платки, их ослепило нестерпимо яркое солнце на скале и шумящие липы. Они стояли во дворе крепости у белого бюста короля Фридриха-Августа.

15

В 16-оконном цейхгаузе, выстроенном над самым обрывом скалы, Бакунину отвели восточную камеру. Окно в решетке, но не забито, комната светлая, жилая, стол, стул, кровать. Из окна — пестреющий вид на Эльбу, деревни, реки, поля, луга, как рельеф раскрашенной карты.

— Губернатор крепости генерал-майор фон Бирнбаум посетит вас, — проговорил брюнет-адъютант, завязывавший у ворот головы черным платком, — перед генералом должны становиться во фронт. Поняли?

— Понял, — сказал Бакунин.

Бакунина радовала комната и в окне вид географической карты. Тюремщик отомкнул кандалы, снял. Левая, привыкшая к несвободе рука свободы не ощутила. Была так же тяжела. Когда тюремщик замкнул камеру, Бакунин левой рукой несколько раз взмахнул круговращательно. Но это было больно, и, придерживая правой рукой предплечье, Бакунин подошел к окну, вглядываясь в обрывавшийся со скалы вид деревенок, рек, лесов, лугов, в мглисто-синие очертания далеких богемских гор.

Крепостная тишина полновластна, слышны лишь шаги коридорного часового да его зевота. Время плывет на скале Кёнигштейн ветровой, звенящей вечностью, и в тишине каждый шаг часового, как гром.

Бакунин считал самым удобным на скале заняться математикой. Склонясь мощным телом к небольшому столу, чертил тонкие касательные, жирные перпендикуляры, катеты и гипотенузы. Если б вошли солдаты, попросил бы повременить, до того стал спокоен в крепости Кёнигштейн.

Только иногда, слыша шаги сменяющихся часовых — ах, шаги! ах, ощущение свободы! — хотелось перемахнуть через дымные горы, опять в Богемию. «Что у венгров? Раздавил ли их Паскевич?» Несущееся вихревое, словно даже ощущаемое седым облаком, идет время на орлиной скале. Рельефом карты внизу голубеют нити рек, зеленеют пятна лугов, краснеют крышами неизвестные деревеньки.

Гейбнер изменился, как истомленный постом монах с впалыми глазами. Гейбнер писал самозащиту суду королевских чиновников, допускающему письменные показания, — цитируя «Братьев-разбойников», ссылаясь на Тита Ливия, Гуго Гроция, Гронова, Монтеские, юридическим анализом защищая свою борьбу за немецкую конституцию. Отдыхая от самозащиты, читал Гюго и Беранже, когда ж ходил по камере, мучило чувство любви к жене, вспоминал последнее их свидание, как милая, с глазами голубки, Цецилия шла легкой походкой по двору кавалерийских казарм меж лошадей и солдат. Гейбнеру страшна не смерть, страшна неправда немецкого отечества, убивающая Гейбнера, Цецилию и их ребенка. Но чиновники не поймут, что светлоглазый основатель гимнастических союзов Отто Гейбнер пишет им честным сердцем хорошего гимнаста: «Только любовь к народу и отечеству двинула меня на то, чтобы оборвать жизнь семьи и взять на себя бремя дрезденского кровавого боя».

В сумерках, стоя на табурете, Гейбнер глядел в решетчатое окно во двор: из палисадника вышел брүнет-адъютант, лейтенант барон Пиляр, самый жестокий офицер

крепости. По каменным плитам шел с розой на длинном стебле в руке, то и дело поднося ее к лицу. И Гейбнер вечером писал не самозащиту, а стихотворение Цецилии — «Розы в тюрьме»:

Leuchtend kam der Lenz gegangen,
Mir nur fremd und unbekannt,
Fenstergitter, Eisenspangen
Trennen mich von Luft und Land
Heut' doch seh' ich Rosen prangen
In den Schlüsselmeistres Hand¹.

18

В объезд на гору подымалась коляска с тремя человеками в сюртуках. Они были разные возрастом и видом, но на лицах лежало что-то общее. Это ехали адвокаты: Глекнер из Фрейберга, Леопольд из Дрездена и розовощекий, пушистый молодой человек в золотых очках, доктор Отто, защитник Бакунина.

Вышедшему к крепостным воротам адъютанту барону Пиляру адвокаты предъявили пропуска, паспорта. В его сопровождении поднялись по подъемному мосту. Адъютант не разговаривал, пристально и часто взглядывая на доктора Отто. Но не только адъютант, коллеги удивлялись, почему семенящий небольшими ножками доктор Франц Отто изъявил желание защищать отказавшегося от защиты иностранца. Против Бакунина выдвинуты тягчайшие обвинения, не только Саксония, Германия, даже заграница требует смерти убийцы. До поимки за его голову газеты объявляли 10 000 талеров.

С нарощим брюшком, светлым ежиком волос на квадратной голове, доктор Франц Отто был даже немного смешон. Но во всем его облике было что-то чрезвычайно спокойное. Почти у самой камеры Бакунина адъютант проговорил:

— Разрешите удивиться, герр доктор, как вы, саксонец, беретесь за защиту русского разбойника, вмешавшегося в наши дела, сжегшего театр, дома и причинившего стране такие несчастья?

Доктор Отто чуть улыбнулся и повел толстым плечом. Адъютант вставил ключ в замок камеры.

¹ В сиянье уходит весна, мой друг незнакомый.
Решетки с засовами с землею и небом меня разделяют.
Я вижу лишь розы, цветущие в руках у тюремщика. (нем.)

Бакунин, громадный, заросший бородой, решал теорему. Чуть наклонившись вперед, доктор Отто сказал:

— Герр Бакунин? Моя фамилия Отто, я ваш защитник. Тяжело поднявшись, зашумев стулом, Бакунин проговорил:

— Очень приятно.

Этого нельзя было допускать, доктор Отто протянул преступнику руку, и она скрылась в громадной руке Бакунина.

На стул сел доктор, Бакунин на кровать. Лейтенант прозвенел шпорами по камере и остановился у окна. Лейтенанту было странно слушать перебой распевного саксонского пения доктора Отто и раскатывающегося баса Бакунина.

— На ваше желание ближе ознакомиться с побуждениями, толкнувшими меня на участие в дрезденском восстании и двинувшими вообще в революцию...

Доктор заносил в записную книжку, а Бакунин словно хотел выговориться, торопился.

— Я, герр доктор, русский и очень люблю мое отечество, но свободу люблю еще больше, а любя свободу и ненавидя деспотизм, я ненавижу и наше русское правительство, которое считаю злейшим врагом свободы, благосостояния и чести России. Простите, я выражаюсь несколько сумбурно и неясно, я изложу вам все это в записке лучше, но я хотел бы только указать, что эта ненависть к русскому деспотизму и борьба с ним послужила исходной точкой моей деятельности в Европе. Передо мной всегда стояла дилемма — или деспотическая Россия задавит Европу, или свободная Европа с освобожденными и самостоятельными славянами внесет свободу в Россию. Из любви к моему отечеству я не желаю, чтоб русский кнут одержал победу над европейской свободой. Я чистосердечно желаю Германии свободы, единства и истинно германского могущества. Это и побудило меня принять участие в восстании в Дрездене.

Лейтенант презрительно улыбнулся. Доктор Отто записывал.

— Вы знаете сами, доктор, что после разразившихся революций в Париже, Вене, Берлине все ожидали общей войны освобожденной Европы против России. Я тоже ждал такой войны, но, разумеется, войны не против русского народа, который я люблю и которого я сын, а против правительства, сидящего на народе. Вот моя *idée fixe*.

Бакунин оживлялся, с губ лейтенанта сошла усмешка, доктор Отто перебил:

— Простите, против вас выдвигается обвинение, что вы приезжали в герцогство Познанское с намерением организовать убийство русского императора.

Закачав кудрявой головой, Бакунин захохотал.

— Милый доктор, я не скрываю ничего, даже говорю много больше, чем следовало, если б я хотел перед судьями спасти свою жизнь. Я этого не хочу и ни на что, кроме смерти, не надеюсь. Жизнь мне не дорога, поверьте, но, когда я узнал, какие мещанские бредни распускает обо мне реакционная немецкая и иностранная печать, мне стало, право же, жаль человечество. Верьте, никто в продолжение всей моей жизни не заметил во мне даже малейшей способности к человекоубийству. Во мне нет ни осторожности, ни хладнокровия убийцы. Я гнушаюсь убийством, и революция, проповедуемая мною, не имеет ничего общего с убийством.

Отто чуть потупился, улыбнулся, сказал, словно извиняясь:

— Да, герр Бакунин, но революция тоже, конечно, нечто вроде убийства.

— Это открытый бой, доктор!

Лейтенанту становилось скучно, он дважды вытягивал из рейтуз луковицу часов, похлопывал стеклом по клееному тугому голенищу; наконец доктор Отто встал, и брюки у него смешно задрались на икрах.

— Герр Бакунин, все, что вы говорили, изложите, пожалуйста, письменно, ваше заявление мной при вашей защите будет представлено суду. Я думаю, что мне разрешат с вами еще свидание, а сейчас я должен идти.

— Очень рад был поговорить, доктор, мое заключение столь сухо, что это большая радость, но, если позволите и простите за бесцеремонность, я бы обратился к вам с просьбой.

— Пожалуйста, — укладывая в портфель бумаги, сказал Отто.

— Заключение мое тяжело, и мне б хотелось украсить его присутствием граций, — засмеялся Бакунин, — не могли б вы одолжить мне, если имеете, а если это будет недорого, может, купите, — полное издание творений Виланда.

— Виланда? — удивленно переспросил Отто.

— Да, я считаю его одним из прекраснейших немецких сочинителей. И тогда уж, для моих занятий, еще географию и статистику Германии и Австрии с картами. А если б вы приложили к этому еще десять сигар, — весело засмеялся Бакунин, — мое заключение стало бы похоже на занятие в рабочем кабинете.

— Хорошо, пришло, — улыбнулся, сконфуженный перед лейтенантом за бакунинский смех, Отто.

Лейтенант распахнул дверь.

— Что? Видали? — сказал он в коридоре. — Это беззастенчивый попрошайка с замашками Марата! Это — разбойник!

Смешной доктор, потупившись, торопился.

19

С утра на скале Кёнигштейн, в древнем зале Магдалинабург солдаты обтирали столы, обмахивали портреты королей пуховыми метелками; взяв за концы, трясли на дворе сукно. Сводчатый древний зал с открытыми в сад окнами был чист и мрачен.

В девять на пороге комендатуры показалась жилистая, статная фигура генерал-майора фон Бирнбаума. Нагоняя, шел адъютант, крепостные офицеры. Все в парадной форме, в касках, в золоте эполет; двинулись к Магдалинабург. По плитам двора звякали шпоры. Молчали, потому что молчал генерал. Генерал выглядел бодро. Морщинистое, розовато-старческой кожи лицо — матовое, словно припудренное, — хорошо гармонировало с снегом волос.

У входа в Магдалинабург генерал приостановился.

— Приговор у вас? — повернул соколиную голову к адъютанту. И, чуть кивнув, вошел. За генералом, создавая мелодичную музыку шпор, каменной средневековой лестницей поднимались офицеры.

Древен, словно вырублен из камня зал, залу триста лет, его даже трудно наполнить ароматом цветов из обступившего сада. Заняв место за длинным столом, покрытым синим сукном с свисающими серебряными кистями, губернатор крепости проговорил:

— Барон Пиляр, распорядитесь ввести приговоренных.

20

К кругу Бакунин чертил тонкую касательную. Взглянув на гладкую голову барона с блестящим пробором посредине, Бакунин подумал: «Это смерть» — и встал из-за стола.

Вокруг Бакунина стали солдаты. В коридор вывели Гейбнера и Рекеля, выстроили в ряд. Гейбнер улыбнулся Ба-

кунину. На красивого лейтенанта, на тупых солдат в касках Рекель смотрел с ненавистью: «Еще несколько часов, и уйдешь черт знает куда, а эти останутся тут отпирать и запирать».

Шли двором, мимо цветущего сада. «Как это все томительно, долго», — подумал Бакунин; он шел, громадный, посредине, слева бородатый, очкастый Рекель, справа золотоволосый Гейбнер идет легкой гимнастической походкой, с неподвижной рукой. Лейтенант впереди. Вошли в Магдалинабург по средневековой лестнице. В зале на сводчатых стенах — короли, в париках, латах, курфюрсты, гросскурфюрсты.

Как седой сокол, генерал-майор Бирнбаум встал с приговором в руках. Поднялись шумно офицеры гарнизона. Старик зачитал ясно, как приказ по полку: «По указу Его Величества короля Саксонии Фридриха-Августа образованный королевский суд в городе Дрездене за содеянные преступления против короля и государства...» Бакунин рассматривал старика, почему-то на один момент напомнившего ему отца. Гейбнер следил за формулировками приговора, казавшимися нелепыми. — «И это немецкий суд, — думал с грустью, — какая некультурность!» Рекель ненавидястно оглядывал офицеров.

«...Приговорил, — читал седой фон Бирнбаум, — бывшего члена саксонской палаты доктора Отто Леонарда Гейбнера к смертной казни через повешение с возложением на него расходов по судебному производству; бывшего музык-директора королевской оперы Августа Рекеля к смертной казни через повешение с возложением на него расходов по судебному производству; русского отставного прапорщика артиллерии Михаила Бакунина к смертной казни через повешение с возложением на него расходов по судебному производству. Приговор привести в исполнение в течение 48 часов со времени объявления его вышеназванным государственным преступникам. О приведении в исполнение немедленно донести господину министру внутренних дел саксонского королевского правительства барону фон Бейсту».

От свитка королевской бумаги генерал-майор фон Бирнбаум оторвал седое лицо, взглядом узких глаз скользнул — спокойны ль? — и, обращаясь к Пиляру, проговорил:

— Разведите приговоренных по камерам!

Лейтенант двинулся, но его задержали: Бакунин протянул руку Рекелю, Гейбнера Бакунин обнял и поцеловал в небритые щеки.

Через час комендант крепости отворил завизжавшую железную дверь в камере Гейбнера. Гейбнер стоял к нему спиной, на табурете, глядел в окно и не обернулся. Комендант окликнул, Гейбнер медленно слез с табурета.

— Герр Гейбнер, вы знаете, как тяжело ваше преступление перед королем и отечеством. Но король великодушен, вручите судьбу милости его величества.

Гейбнер опустил голову.

— А как мои товарищи? — проговорил Гейбнер тихо.

— Товарищи, герр Гейбнер, — пожал плечами комендант, — какое вам дело до чужого человека, замешавшегося в саксонские дела и произведшего тягчайшие преступления!

Гейбнер отрицательно покачал головой.

— Нет, нет, полковник, — сказал тихо, — если те, с кем я связал судьбу, идут на смерть, пойду и я.

Комендант молчал, молчал и Гейбнер.

22

Приходом коменданта Бакунин был недоволен. Комендант, войдя, проговорил грубо, не глядя на Бакунина:

— Гейбнер согласен подать прошение, только если подадите вы, один он отказывается, стало быть, жизнь вашего товарища в ваших руках. Я даю на размышление час. — И комендант вышел.

23

Генерал Дубельт был в непрерывном волнении, то выезжал к министру внешней политики графу Нессельроде в особняк на Морской, то вызывал во дворец государь, семь раз докладывал его величеству. Николай закричал: «Негодяй должен быть доставлен!» И все поняли: баста. Заметался Нессельроде с представлениями саксонскому двору, инструкциями тайным заграничным агентам. Покоритель Венгрии фельдмаршал Паскевич писал письма генералам. Сколько колясок скакало, сколько замелькало людей!

Горбоносый вице-канцлер граф Нессельроде, действительный камергер и кавалер ордена Андрея Первозванного, сидя в большом кабинете, не доставал ногами до земли. Происходил по отцу из древнего рода графов Нессельроде-Эрестофен, по

матери из еврейского банкирского дома Гонтаров во Франкфурте. Умное лицо kobчика затуманено высоким постом и великими почестями. Видя графский полукорпус, можно было предположить, что ноги длинные, твердые. Граф скрывал неприятность рисунком стола, прикрывавшим канцлера.

Нессельроде сидел в ярко-красном персидском архалуке и туфлях из красного сафьяна с большими помпонами; ждал Дубельта, чтоб обсудить исписанный плохим французским языком лист саксонского юстиц-министра доктора фон Чинского. Щуря выпуклые маслины глаз, пробежал письмо:

«Ваше сиятельство! Вы обращались ко мне уже ранее с вопросом, когда закончится следствие, начатое по делу о майских беспорядках, в особенности интересуясь всем, касаемым русского Бакунина. По этому поводу могу сообщить вашему сиятельству, что по свидетельству советника суда Швебе, комиссара, которому поручено производство устных допросов, и протоколиста Гаммера, которому поручено главным образом производство следствия, оно могло бы теперь уж быть представлено на утверждение, если б его не задержало вмешательство находящейся в Дрездене австрийской императорской и королевской следственной комиссии во главе с господином тайным советником фон Хоком. Эта комиссия в интересах аналогичного следствия, производящегося в Праге, произвела обширные расследования и частные опросы обвиняемых, каковые лишь отчасти имеют значение для нашего расследования. Тем не менее гг. Швебе и Гаммер надеются довести следствие в течение этой недели до окончательного допроса, если только известия, ожидаемые австрийским следователем из Праги, не вызовут новой отсрочки. Я с своей стороны, ваше сиятельство, как сами можете видеть, могу только тем ускорить производство следствия, что буду понуждать трибунал к неустанной деятельности, и вы, ваше сиятельство, можете быть уверены, что я делаю это, так как для меня самого в высшей степени важно, чтобы это дело закончилось как можно скорее. Впрочем, должен засвидетельствовать, что следственный трибунал работал с неустанной энергией, доказательством чему и служит тот факт, что ему понадобился лишь короткий срок нескольких месяцев, чтобы довести до конца обширное следствие, в котором замешано несколько сот обвиняемых. Примите, ваше сиятельство, уверение в моем глубоком почтении, с которым остаюсь вашего сиятельства покорнейшим слугой.

Юстиц-министр королевского правительства Саксонии,
тайный советник доктор фон Чинский».

Нессельроде отложил письмо, взял еще раз перечитать депешу императорского посланника при саксонском дворе фон Шрейдера.

«Ваше сиятельство! Препровождая при сем копию защитной записки Бакунина к своему защитнику доктору Францу Отто, смею уверить, что содержание оной еще раз свидетельствует о путанице в его понятиях и о той непреодолимой ненависти, какую он испытывает по отношению к русскому правительству. Барон фон Бейст сообщил мне, что сейчас же вслед за перерывом саксонского парламента будет вынесен приговор высшего военного суда и что тогда последует выдача Бакунина Австрии. Смею думать, что это будет важно узнать вашему сиятельству, и прошу, приняв сказанное бароном Бейстом к сведению, ваших распоряжений и указаний. Должен сказать вашему сиятельству, что я всецело занят этим делом, не пропуская ни одного сведения относительно него, ибо имею честь знать, как заинтересован сим делом Его Величество. Австрийский посол граф Куфштейн уверял меня, что Бакунин останется в Праге недолго, так как его немедленно отправят в Краков, где он и будет передан следственной комиссии. По всей вероятности, там он не будет придерживаться своего метода отрицания.

Покорный слуга вашего сиятельства
фон Шрейдер».

Дубельт вошел, шумный, вихревой. Карлик навстречу озабоченно развел маленькими желтыми ладошками:

— Садитесь, батюшка Леонтий Васильевич, дело-то с преступником осложняется, саксонцы с одного боку, австрийцы с другого.

Беря из рук канцлера бумаги, Дубельт негромко проговорил в усы:

— Предлагал своевременно схватить в Европе негодяя, могли б послать верных людей, теперь станется, что вовсе не получим.

Карлик дружески захохотал:

— Эх, батюшка Леонтий Васильевич, что значит различные-то департаменты! И методы разные. Покойник Бенкендорф — как две капли воды! Тоже был любитель решительных мер, ну а мы-с думаем по-иному, надобно лишь координировать действия. Срочную депешу шлю Медему в Вену, чтоб вступил в переговоры, можно будет на эрцгерцогиню Софию оказать влияние, Паскевич отписал Шварценбергу лично, да и граф Кабога обещал фельдмаршалу.

Дубельт пробежал письма умными серыми глазами. Через час шестерик вороних рысаков рванулся с Морской, понесся к Зимнему. Нессельроде и Дубельт ехали с докладом к царю.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Виландовский «Оберон» не читался; Бакунин повернул кудрявую голову к решетчатому окну, откуда сноп света играл переливающейся в нем пылью. Развернутая ширина плеч; руки, длинные, сильные, с белыми пальцами, вытянуты на столе. Русские сине-степные глаза глядели сквозь решетку. Что-то от запертого в клетку великана было в бакунинской грандиозной фигуре.

Только от двух лет заключения сошел со щек смуглый румянец. Глядя за решетку, где клубилась, рябилась саксонская игрушечная даль, думал о Прямухине, о сестре Татьяне, не было сейчас человека более дорогого и нужного сердцу; вздохнул, оторвавшись. Походил по камере, потом, раздвинув на столе лежавшие горкой зелено-кожаные томики Виланда, сел за письмо к другу Рейхелю:

«Дорогой друг! Я спокоен и здоров, читаю сейчас Виланда и занимаюсь математикой. Математика особенно хорошее средство отвлечения, а ты знаешь, у меня всегда был большой талант к отвлеченности; теперь же я *volens polens*¹ переведен в абстрактное положение. С тех пор как меня перевезли в Кёнигштейн, которым много лет тому назад мы так любовались снаружи, я чувствую себя совсем хорошо, конечно, насколько это возможно в тюрьме.

Что касается моей здешней жизни, то она очень проста и может быть изображена в немногих словах: у меня очень чистая, теплая, уютная комната, много света, и я вижу в окно кусок неба. В 7 утра я встаю и пью кофе, потом сажусь за стол и до 12 занимаюсь математикой. В 12 мне приносят еду; после обеда я бросаюсь на кровать и читаю Виланда или же просматриваю какую-нибудь математическую книгу. В 2 за мной приходят на прогулку; тут на меня надевают цепь, вероятно, чтобы я не убежал, что, впрочем, и без того невозможно, так как я гуляю между

¹ Волей-неволей (лат.).

двумя штыками и бежать из Кёнигштейна невысказано. Как бы то ни было, но, украшенный семью предметами роскоши, я гуляю и издали любуюсь красотами саксонской Швейцарии. Хотя у меня нет часов, но время я знаю довольно точно, башенные часы отмечают здесь каждые четверть часа, а в половине 10-го раздаётся меланхолическая труба, что значит — надо тушить свет и ложиться спать.

Если я не прямо весел, то и несчастным себя вовсе не чувствую. Теперь мой внутренний мир — книга за семью печатями, о нем я не смею и не хочу говорить. Я совершенно спокоен и готов ко всему. Еще не знаю, что со мной сделают: я готов как снова вступить в жизнь, так и расстаться с нею. Теперь я ничто, то есть только думающее, а значит, не живущее существо, ибо, как это недавно узнала Германия, между думать и существовать все же огромная разница.

Вот и все, друг, что я сейчас могу тебе сказать; когда мне приходится плохо, я вспоминаю свое любимое изречение: «Перед вечностью все ничто», а затем... точка...

Чтобы хорошенько оценить свободу, надо посидеть в тюрьме.

Сейчас я обращаюсь к тебе с большой просьбой: денег, денег, дорогой мой! Я живу щедротами г-на Отто, я должен это тебе сказать, чтобы ты понял всю щекотливость моего положения. Разве не бессмыслица — клиент, оплачиваемый своим адвокатом? Где и как найдешь ты деньги — твое дело, но найти деньги ты должен.

Будь здоров, старый, дорогой друг!

Твой Бакунин».

Ночью не спалось; кружение сердца, тошнота. Память выбрасывала осколки мыслей, воспоминаний, лиц: то Казерн де Турнон, то славянская слава, тогдашний пражский святодуховский день, то жаркие бои Дрездена. Все прошло, как вчерашняя ночь, и далеко! Смешной доктор Отто с задравшейся на икре штаниной, вагнеровская симфония в сожженном королевском театре, любовь Полудинской... Бакунин слышал, как перекликаются на кёнигштейнской скале часовые, чувствовал, что проваливается в темноту бессознания.

Над скалой неслась ночь, темная, высокая, прижатая к небу. До того ярки и выпуклы были звезды и ясны в желтолунье и золоте соседние горы Лилиенштейн и Пфафенштейн. Эльба дрожит в лунной мгле серебряной ниткой. Часовые идут медленно по стене над скалистым обрывом. Летят по скалам их голоса, а снизу подымается медленный бой часов из древней деревни.

По двору от комендатуры на носках под луной пробежал адъютант, барон Пиляр, крикнув:

— Готово?

Голос ответил:

— Готово, ваше сиятельство!

Бакунин спал, как ребенок, закинув за голову руки. У наружных ворот встала телега, затянутая парусиной. Спешившиеся возле коней кавалеристы в лунной темноте курили, и кто-то напевал, выбивая трубку об оглоблю.

К камере Бакунина подошли тюремщик с связкой ключей и барон Пиляр в плаще, походной форме, с двумя пистолетами за поясом, позвякивая саблей. Бакунин не услышал, как отперли, только когда солдат осветил его уродливым фонарем в лицо, Бакунин вскочил, и Пиляр увидел, как Бакунин побледнел, и эта внезапная бледность была приятна Пиляру.

— Одевайтесь! — сказал он.

Бакунин спустил ноги, громадный, в свете фонарей взял с табурета кальсоны, натягивал на ноги. Солдат, выпустив ружье, стукнул прикладом об пол. Тюремщик зевнул, закрываясь ладонью, дожидаясь скорей запереть камеру, идти спать. Бакунин застегивал брюки, уж овладел собой, старался только понять: куда?

— Готовы?

— Книги...

— Останутся здесь, — сказал Пиляр, кладя руку на зелененькие томики Виланда, и махнул тюремщику: — Кандалы!

Бакунин знал уже, вытянул левую руку, правую ногу и, окруженный солдатами, двинулся. Впереди танцующим шагом пошел лейтенант барон Пиляр, придерживая ножны.

Звезды, темень, в саду тишина; прошли подъемными мостами. Верховые на конях показались огненными от света факелов. Бакунина втащили в телегу, звенели кандалы. Пиляр осадил метнувшегося, присевшего коня, прокричал на всю ночь:

— В случае неповиновения стрелять без предупреждения! В случае приближения к телеге постороннего — стрелять! Вперед! — скомандовал, дав шенкеля прыгнувшему коню.

Топот коней, факелы, черно-лунные тени леса, два наведенных пистолета, седенький актуарий в смешном капюшоне. Вдоль Эльбы кони пошли резвой рысью. С телегой, облегчаясь на рыси, поравнялся Пиляр.

— В Австрию, господин лейтенант? — спросил в темноте Бакунин.

— Австрия вам не Саксония! — крикнул с седла Пиляр, обгоняя телегу.

2

«Да, да, — думал Бакунин, — конечно, та ж самая дорога, где два года назад, но в обратном направлении ехал с поляками после разбитого Виндишгрецем святодуховского восстания». Жандарм устал от бессонной ночи, издает носом свист. Сизоватое лицо осоловело. Дважды менялся конвой. Сейчас нежным ранним утром скакали австрийские жандармы. Смуглый мадьяр на сером коне несся порывистой, широкой рысью. Конь бочил, норовил подхватить в карьер, обскакать телегу. Мадьяр играл сам с собой, с конем, горяча его и осаживая.

Вместо барона Пиляра на поджарой рыжей кобыле с белыми отметинами на ногах ехал офицер его императорского, королевского и апостолического величества, на пограничной приемке с любопытством рассматривавший Бакунина.

Кавалькада подымала пыль, выезжая на изволок, с изволока в раннем утре вот она — древнее славянское сердце, золотая Прага! Так же блещет острыми башнями Градчин, раскинулся по голубой Молдаве город; захолонуло бакунинское сердце на изволоке, отсюда разливом должна была идти, звоня набатом, беспощадная революция.

На выбоине дрогнул сонный жандарм, подбросило склоненную на грудь голову, проснувшись, взглянул сердито. Под парусиной в щель смотрит Бакунин: обогнали мирным шагом едущий крестьянский воз, в широкополой шляпе, жует краюху хлеба мужик-чех. Полным аллюром кавалькада вымчала в гору. Телега зашумела по камням мостовой, иногда глухо вмахивая, катясь по пыли. Бакунин понимал: везут в самое сердце Славии, в древний славянский кремль — Градчин.

3

Коридором градчинской крепости шел сумрачный майор и аудитор императорского и королевского суда в Градчине Иосиф Франц, человек крепкий, шатен, в мундире. За майором поспевали молоденький лейтенант и три солдата-пись-

моводителя. Впереди — тюремщик с фонарем. Над Прагой стлалась полная ночь, люди спали, спала веселая веснушчатая блондинка, жена майора Франца, спали его дети.

Пражское восстание выдвинуло майора. Составлял суду в Градчине многотомный доклад, допрашивал заключенных, захваченных участников восстания, в крепостях Ольмюц, Смечна, в Праге. Лейпцигских теологов Густава и Адольфа Страка, литератора Арнольда, редактора «Новины Славянской Липы» Карла Сабину, купца Карла Прейса, Иосифа Фрича, жестяных дел мастера Иосифа Менцля, доктора Карла Сладковского, патера Андрея Красного, мельника Франца Мушку — многих передопросил майор. Это была кропотливая работа, хоть все заключенные и винулись полностью перед майором, и майору становилось ясно: показания сходятся в центр, в непонятную фигуру неистового демагога и разрушителя, схваченного саксонцами русского, Михаила Бакунина.

«Какая сырость», — бормотал Бакунин, лежа на тюфяке на боку, не спал, чувствуя сосущую тошноту от голода и скверный вкус моркови во рту. На шум неурочно отпираемой двери Бакунин приподнялся. Свет фонарей сильно осветил камеру и темноватого входящего майора Франца. Майор Франц сказал сухо:

— Я майор и аудитор императорского и королевского суда в Градчине, потрудитесь подняться давать показания.

Писаря внесли два стола, стулья, камера осветилась фонарями. Майор Франц сел за стол, разложив бумаги. Рядом — молоденький, как мальчик, лейтенант. За другим столом писаря заложили гусиные перья за уши. Стоявшего перед столом Бакунина с пристальным испугом, почти с ужасом, разглядывал аквамаринными детскими глазами мальчик-лейтенант, князь Вреде. Бакунин стоял, опустив голову.

Майор читал, никуда не торопясь; да и куда торопиться?

«На допросе, произведенном гехеймратом фон Хоком в Дрездене, вы показали, что родились в России, в Торжке Тверской губернии, в 1814 году, вероисповедания христианского, греческой церкви, холосты, 14-летним мальчиком поступили в артиллерийскую школу в Санкт-Петербурге, где оставались до 1831 года, выйдя оттуда прапорщиком артиллерии, и служили таковым 2 года; затем вышли в отставку, посвятив себя литературной деятельности. В 1840 году вы отправились из России в Берлин...»

Майор читал о Берлине, Швейцарии, Бельгии, Франции, снова о Берлине, Познани, о Бреславле. Писаря, как

зайцы, сидели тихо, с заложенными за уши перьями. Князь Вреде разглядывал большие, в скверных, разорванных башмаках ноги Бакунина.

Наконец, оторвавшись от бумаги, майор Франц произнес:

— Вы показали, что в мае 1848 года отправились в Прагу на славянский конгресс, членом которого и состояли, числясь по польской секции.

Писаря необычайно быстро вынули из-за ушей перья, под каллиграфически, заранее выведенным заглавием записали. В фонаре что-то треснуло в пламени, пламя заколебалось. Майор Франц поглядел на пламя.

— Как можете характеризовать вашу деятельность на славянском конгрессе? Чего вы добивались?

Бакунин заговорил медленным басом; чувствовал голод, слабость, усталость.

— Добивался на славянском конгрессе соглашения и единения славян, мое личное стремление клонилось к объединению австрийских славян с поляками для освобождения Польши как первой ближайшей цели, а посредством ее и освобождения России.

Вреде, вертя бледными пальцами пуговицу узкогрудого мундира, взглянул в лицо Бакунина и почему-то улыбнулся, хотя и не слышал сказанного. Писарь в руку приглушенно кашлянул.

— Признаете ли, что ваша деятельность была направлена к распаду австрийской монархии?

— Да, — сказал Бакунин, — ибо, по моим убеждениям, австрийская монархия несовместима с понятием человеческой свободы.

— Какую форму государственной жизни предполагали вы проводить после желаемого вами распада австрийской монархии?

— Желал самостоятельной организации всех народностей, населяющих Австрию. Форма этой организации, именно государственное устройство отдельных народностей, должна была зависеть от потребностей и их собственного желания и не могла быть предрешена заранее.

Майор выжидал, пока запишут писцы. И лейтенантик сделал вид, что записал что-то, черкнув последние слова преступника и перечеркнув их дважды фамилией «князь Вреде, князь Вреде».

— Вы искали в Лейпциге знакомства с молодыми людьми славянского происхождения и знакомили их с людьми немецкого происхождения? Зачем вы это делали?

— С целью положить начало связи между славянами и немецкой демократией.

Писцы писали борзо.

— С каким поручением вы послали в Прагу Густава Страка в конце января 1849 года?

— В конце января? — Бакунин приложил свободную от кандалов руку ко лбу. — Да, в конце января я отправил Густава Страка в Прагу, дав ему поручение к редактору листка «Новины Славянской Липы» Карлу Сабине. Письмо являлось дальнейшим развитием изложенных в «Воззвании к славянам» идей и содержало призыв к соединению с демократией Германии и с мадьярами для совместных действий против реакции.

— Вы получили ответ от редактора Карла Сабины? — мутноватые глаза майора Франца не отрывались от лица Бакунина.

— Нет, ответа не получил, только узнал от Густава Страка, что Сабина не считает возможным передать мое письмо «Славянской Липе».

— Вы посылали в это же время письмо пивовару Францу Ванку? Что это за письмо?

— Я просил у Ванка денег.

— Лично для себя или на цели агитации?

— Мне нужны были деньги и лично, ибо я нуждался, и для агитации.

— Стало быть, Франц Ванк знал, что дает вам деньги на агитацию?

— Нет, я просил для себя, он мог предположить, что я употреблю часть денег для агитации в России, но что я употреблю их для агитации в Богемии, этого он не знал.

— Но вы употребили эти деньги на агитацию в Богемии?

— Не знаю, как употребил бы, если б получил. Ванк денег мне не прислал и не прислал даже ответа на мое письмо.

— А не обсуждали ли вы с Арнольдом в то же время в Лейпциге организацию демократической пропаганды в «Славянской Липе»?

— Обсуждал, Арнольд обещал мне оказать помощь и связи, но это было только на словах, он ничего не исполнил.

— Вы говорили Арнольду, что вашим желанием и задачей является, чтоб вспыхнувшая германская революция перебросилась в Богемию?

— Вероятно. По крайней мере действовал в этом направлении.

— Приехав в Прагу, вы жили тайно сначала у Прейса, потом у жестяных дел мастера Менцля в Каролиентале, а потом у заготовщика красок Пауля?

— Да.

— С кем вы имели на этих квартирах свидания?

— На этот вопрос я отказываюсь отвечать.

— Ваши квартирохозяева словоохотливей вас, — майор Франц, заложив руки в карманы брюк и вытянув ноги, в первый раз улыбнулся, — вы имели свидания на квартире заготовщика красок Пауля с Францем Гавличеком, бывшим депутатом рейхстага, и с секретарем магистрата Руппертом.

— Может быть.

— Не помните ли вы одного собрания на квартире Прейса, на котором присутствовали вы, Сабина, Арнольд, Рупперт, Гавличек и несколько членов «Сворности», где вы выступали перед собранием с большой программной речью?

— Помню.

— Что вы говорили?

— То же, что и в других. — Лейтенантику казалось, что Бакунин устает, Бакунин несколько раз провел рукой по вспотевшему холодноватой испариной лбу. — На этом собрании, — шурясь, сказал Бакунин, — я говорил в трех направлениях: во-первых, хотел узнать, чего желает каждый в отдельности из присутствующих, во-вторых, хотел убедить всех присутствующих, насколько необходимо, отложить одностороннюю чешскую политику и присоединиться к общему движению европейской демократии, в частности к немцам, мадьярам и полякам. Наконец, говорил с целью убедить присутствующих в необходимости оставить чистую теорию и воспользоваться затруднениями австрийского правительства, чтобы выступить практически.

— Что значит «практически»?

— То есть организовать восстание.

— Вооруженное?

— Вооруженное.

— И что же вам помешало?

— Что помешало? — Бакунин, улыбнувшись, скривил губы, проговорил громко: — Во-первых, герр майор, я заметил, что все эти бывшие на собрании люди склонны очень много говорить и хвастать и никуда не годятся для практических действий. Они все держали себя нерешительно, боязливо и мне говорили, что народ в Богемии в настоящую минуту недостаточно подготовлен для подобных выступлений. Мне казалось, что, с одной стороны, у при-

существовавших ко мне есть доверие как к личности, но в то же время мне не удастся привлечь их на свою сторону.

— Так, — туманно сказал майор, видел, что показания верны. «Скрывает мало», — думал, сжав на животе руки. Краем глаза увидел: лейтенант Вреде еде сдерживает зевоту, опасливо взглянул на майора, закрыв рот тонкой рукой.

— Но ведь Арнольд поддерживал ваши планы?

— Арнольд на все мои уговоры отвечал одно и то же: «Ах, если б у меня не было подагры!»

И вдруг в ночной градчинской камере прыснул со смеху лейтенант князь Вреде. И майор Франц еле сдержал выплывшую на губы улыбку.

4

Долго сидел в Градчине Бакунин без прогулок и света. Ослаб, зарос грязной бородой, от прежнего Бакунина осталась тень. Чувствовал тошно разливающуюся слабость, непрестанный шум в ушах, головные боли разламывали череп.

Ночью вывели во двор Градчина, в кандалах, и снова посадили в черную большую карету. Бакунин не спрашивал: куда? Поехали, кажется, на восток, но темна карета, и темно славянское сердце, золотая Прага. Тут куют не по-саксонски, Бакунин не мог двинуть ни рукой, ни ногой, скованный в железа. Много офицеров в походном снаряжении провожали ночами Бакунина. Но только этот жгучий мадьяр с тонкой проволокой усов и горячими, словно пьяными, глазами тут же, в карете, заряжал пистолет.

— Неужто думаете, ротмистр, что убегу? — сказал Бакунин, устало усмехаясь, и со звоном потрянул руками и ногами.

Надевая пистон, ротмистр проговорил с горловым горячим акцентом:

— Правительство имело слухи, вас могут отбить, в таком случае приказано всадить вам пулю. — И венгр засмеялся в темноте.

Полузвучно сыпался топот подков. Молчали в карете. Гривы коней вились в огне, вероятно, дул навстречу ветер.

На перепряжке с трудом выволокли скованного Бакунина за нуждой. Штаны расстегивал вахмистр и смеялся вместе с окружившими Бакунина драгунами.

Дунайская крепость Ольмюц на Мораве под Краковом глуше и древнее Кёнигштейна. Стены толсты, казематы глубоки. Сколько сгнило тут преступников, позабыл двадцать лет командующий крепостью губернатор, генерал от кавалерии барон Бем. Бем стар, сед, суров.

Бакунина генерал приказал в «глухой» камере приковать к стене. Два года пустовала «глухая», освещавшаяся светом и четыре просверленных сквозь стену дыры. Сидевшим там казалось, что на воле всегда солнце.

— Сюда! — крикнул, злобнея, тюремщик, привлекая к стене. Бакунин ощутил сырую слизь и холод камней; по громыхнувшим ввинченным в камни кольцам догадался, что сейчас прикуют, как приковывали здесь триста лет назад.

Ножные и ручные кандалы тюремщик снял. В сидячем положении за руку и за ногу приковали цепями к двум кольцам. Можно даже лечь, но не встанешь, да и куда вставать? Темнота, сырость, в четыре просверленных на волю дыры ползет узкими стрелами свет. «О, проклятая страна, то-то я их так ненавидел», — пробормотал Бакунин, звеня тяжестью цепей.

6

На границе Российской империи командированный по приказу царя фельдмаршалом князем Варшавским графом Паскевичем-Эриванским крепко сшитый жандармский поручик Распопов занял в богатом селе Михаловицы хату с палисадником, цветущим белыми, розовыми, желтыми мальвами.

По деревенской пыльной улице клохтали, летали куры; подымала, словно взрывала, пыль столбом мужичья телега. Поручик жил с двенадцатью жандармами больше месяца, и делать было решительно нечего, как только выпить да закусить. Грузновато звякая шпорами, после обеда ходил Распопов по хате, повеселев, напевая в желтые от курева концы усов:

Солдат стелит епанчу.

Услыхав за стеной, в сенях, голос денщика, поручик остановился, прислушиваясь. Слышно было — денщик читает окружившим его солдатам по складам: «...милорд, лежа в постели, находился о красоте королевской в различных размышлениях, но вдруг, увидя отворившуюся

дверь и идущую к себе даму, очень удивился; а как она подошла к его кровати и мог он ее узнать, то говорил он ей: «Ах! ваше высочество ли это, зачем вы в такое необыкновенное время прийти сюда изволили?!» «К тебе, любезный милорд, — отвечала она ему, — и в самое лучшее время для доказательства непреодолимой моей любви». «О Боже, сказал милорд, какое это похабство!» — Солдаты заржали в десять голосов.

— Васька! — гаркнул Распопов со смехом.

Влетел вертлявый денщик.

— Чего там читаешь? — ухмыляясь, пробормотал Распопов и сел на скамью, подав толстую ногу в лакированном ботфорте. Денщик повернулся задом, левой ногой Распопов уперся в квадратную задницу ухватившегося за правый ботфорт денщика и что есть мочи толкнул отлетевшего Ваську вместе с слетевшим сапогом. Так же отлетел Васька с левым и выбежал в сени.

Покряхтывая, сняв мундир, Распопов лег на лавку под образами, в голубых рейтузах и снеговой белизны рубахе. Прикрылся дорожным пледом. Долетал голос читавшего денщика: «...а меня оставь в покое», — и, оборотясь на другую сторону, милорд окутался в одеяло...» Распопов засыпал, видел во сне себя мальчиком, играющим с братом на лугу в лапту, и до тех пор смотрел сон, пока экстренный ординарец князя Паскевича не поднял. Встрепанному поручику привезли длинейшее предписание фельдмаршала. Протирая глаза, ероша волосы, Распопов с трудом соображал, в чем тут дело: «...многочисленные соучастники сего преступника за границей и даже в России намерены освободить его, а в случае неудачи отравить, ибо опасаются, чтобы он при допросе не открыл, если будет передан русскому правительству, преступные замыслы как своих соотечественников, так и заграничных злоумышленников, а потому предписываю немедленно по принятии важного государственного преступника: 1) наложить на него ручные и ножные железа, 2) усилить охрану с 12 до 20 человек нижних чинов, выбранных вами, 3) везти преступника, никому не открывая его имени, без остановок, пересаживая на заранее высланные на все почтовые станции подставы, 4) запрещаю произносить хотя бы слово кому из везущих его военных чинов, а также встречным штатским, 5) везти безостановочно прямым трактом Варшава — Петербург...»

Распопов оторвался, толстым пальцем почесал переносицу, внутренне пустил соленое многоэтажное ругательство, относившееся к тем, кто назначил его в эту командировку.

В этот день вместо котелка супа Бакунину дали большой кусок мяса и кружку настоящего кофе. Было двенадцать часов дня, но крепостной зал был темен и потому освещен канделябрами и люстрами. У Бакунина зарябило в глазах, он еле устоял. За сине-суконным столом увидал генерала Бема, захватившего подрагивающей рукой плотный седой подусник; посреди множества незнакомых крепостных офицеров в парадной форме увидал и невыразительного майора Франца.

За офицерами, как в партере театра, ряды зала были заполнены солдатами по чинам: фельдфебели, капралы, ефрейторы, рядовые. Было много блеску и света. Покручивая ус, старик Бем произнес гулко и отрывисто:

— Заседание военного суда, созванного по предписанию господина генерал-майора императорской и королевской армии Эдлер фон Клейнберга, *ad latus des Landes Militärkommandanten*, объявляю открытым.

Рыжий, некрасивый, широкоплечий полковник, председатель суда Шульц фон Штернвальд встал, отставил стул, чтоб не мешал, заговорил ясно:

— Подсудимый! Имеете ли вы какие-нибудь обоснованные возражения против кого-либо из собравшихся судей?

— Нет, не имею, — в тишине проговорил Бакунин.

Шульц фон Штернвальд повернулся к заполнившим зал офицерам и солдатам, заговорил сипловато, отрывисто о военном долге, присяге и чести. Кончив, повернулся к замершему в высоком срединном кресле генералу Бему.

— Прикажете приводить к присяге?

По очереди выстроились в соседнюю комнату полковники, ротные командиры, лейтенанты, фельдфебели, капралы, ефрейторы, рядовые. Когда снова заняли места, Шульц фон Штернвальд обратился к майору Францу, и майор поднялся.

— Показания подсудимого Михаила Бакунина, обвиняемого в государственной измене... — зачитал майор и аудитор Франц. Бакунин переминался с ноги на ногу. Когда майор Франц сел, полковник Шульц фон Штернвальд проговорил.

— Подсудимый! Подтверждаете ли прочитанные вам показания и не желаете ли что-нибудь к ним добавить?

Бакунин чуть выставил вперед правую ногу, хотелось сказать так же отчетливо, как этот неизвестный полковник, но голос раздался глухой, срывающийся:

— Данные мною показания подтверждаю и добавить ничего к ним не могу, но вынужден повторить свой протест, заявленный в начале допроса, против вторичного вынесения приговора по моему делу. Делаю это формально, знаю, что протест недействителен, или, вернее, останется здесь без последствий.

«Нагл», — пожевав подусник, подумал генерал Бем. Председатель суда ждал окончания скрипа перьев писарей, потом, просмотрев запись, быстро звеня шпорами, подошел к Бакунину.

— Подпишите, — указал белым сморщенным пальцем внизу бумаги. Непривычные к свободе бакунинские ноги споткнулись. Стоя у стола, подписал и отошел снова к ефрейторам с саблями наголо.

— Уведите подсудимого, — сказал председатель.

В открывшихся дверях Бакунина встретили еще четверо солдат. Но в камере не приковывали, он первый раз ходил по «глухой».

8

В зале на заросшем волосом лице Бакунина снова остановились карие глаза генерала барона Бема. За окнами качалась бузина, было слышно, как на деревья налетал солнечный ветер. Полковник Шульц фон Штернвальд зачитал, закашлялся, поправив что-то пальцем за воротом мундира:

«Протокол военного суда в полном составе, созванного по предписанию его превосходительства господина генерал-майора императорской и королевской армии Иоганна Эдлера фон Клейнберга, военного коменданта в Богемии, по соглашению с его высокопревосходительством господином генералом от кавалерии и губернатором крепости в Ольмюце бароном Бемом, над подсудимым Михаилом Бакуниным, родившимся в России, в Торжке Тверской губернии, в 1814 году, холостым, вероисповедания православного. Расследованием, произведенным военно-судебным порядком вследствие объявленного от 10 мая сего года в Праге и окрестностях осадного положения, на основании законом установленных фактов и признания подсудимого, удовлетворяющего всем требованиям закона, Михаил Бакунин уличен в государственной измене против Австрийской империи и за это преступление...»

В мертвящей тишине никто не скрипнул, не кашлянул, Бакунин пропускал приговор, не дослушивая, но вот началось главное:

«Рядовые приговорили:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Иоганн Тишлер,
рядовой.

Антон Гоблер,
рядовой».

«Немцы», — подумал Бакунин.

«Ефрейторы приговорили:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Винцент Клука,
ефрейтор.

Демут Венделин,
ефрейтор».

«Чехи», — подумал Бакунин, его охватывало отяжеляющее безразличие, даже словно не слышал голоса председателя суда:

«Капралы приговорили:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Теодор Ноппес,
капрал.

Людвиг Никсцайер,
капрал».

«Фельдфебели приговорили:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Иоганн Шмидт,
фельдфебель.

Эдуард Рейниш,
фельдфебель».

Бакунин переминался с ноги на ногу.

«Господа поручики приговорили:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, соли-

дарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Оттомар граф Меравиглия,
поручик.

Генрих Росси
поручик».

«Господа ротные командиры приговорили:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Владислав фон Бранни,
ротный командир.

Альфред фон Дюрие,
ротный командир».

«Господин полковник и председатель приговорил:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Франц Шульц фон Штернвальд,
полковник в качестве председателя».

«Нижеподписавшийся приговорил:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Иосиф Франц,
*майор и аудитор императорского
и королевского военного суда в Градчине».*

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Все, император Франц-Иосиф, эрцгерцогиня София, фельдмаршал князь Шварценберг, фельдмаршал князь Виндишгрец, военный начальник Богемии генерал-майор Клейнберг, губернатор крепости Ольмюц генерал от кавалерии барон Бем, председатель суда полковник Шульц фон Штернвальд и даже майор и аудитор военного суда в Градчине Франц, знали, кто требует к себе государственного преступника Михаила Бакунина.

Государственного преступника против империи и королевства Австрии, против королевства Саксонии, отставного беглого прапорщика российской 3-й артиллерийской бригады требовал к себе император и самодержец всероссийский, он, Николай I, ждал Бакунина, приказав в ручных и ножных железах везти в свою столицу.

2

Ясное сознание скорой смерти как бы опустошило сердце и голову Бакунина. Все уже слилось в бесцветную линию времени, не вспоминалось, не ощущалось. Вот он на прямухинском балконе. И померкло. Как бред: Прямухино. Представил себе: отомкнут от стены, раскуют, и он свободными ногами встанет на табуретку на дворе под виселицей.

Бакунин хотел потрогать шею рукой, не дотянулся, не пустила цепь. И все ж сердце захолонуло, завертелось, ударилось и упало глубоко в тело, когда увидел на пороге лейтенанта графа Меравиглия, безжизненного и вялого, с вооруженными солдатами.

Бакунина подняли. В свете фонарей, прямыми шагами, пригнув под косяком голову, вошел полковник Шульц фон Штернвальд. В глухих сводах еще отрывистой стали выкрики полковника: «Приговор в судебном порядке утвержден, в порядке помилования смертная казнь заменена пожизненным, тяжким тюремным заключением!»

Бакунину показалось, камера танцует и фонари у солдат уплывают вдаль, наплыла темнота, и, когда тюремщик запер замками железом кованную дверь, первый раз за все заключение Бакунин, падая на тюфяк, застонал.

3

О, и адова темнота! Ни зги. Тиха дунайская крепость Ольмюц, у ворот зевает наружный часовой, и летит зевота далеко в ночь.

В крепостном каретнике зашумели конюхи, вывезли тюремную карету. Вывели из денников подрагивающих, пофыркивающих, прожевывающих овес коней. Один заржал пронзительно в тишине крепости, и солдат ударил его наотмашь кулаком по губам.

Невыспавшийся лейтенант Меравиглия шел по сереющим, темнеющим, росным плитам двора. На небе оста-

лись бледно-зеленые звезды, но мало. В факелах, с зажженными фонарями, виднелась карета, помахивали в огнях лошади головами и хвостами. Бакунина вели к карете скованного. Лейтенант граф Меравиглия полез за Бакуниным в карету.

— Далеко едем? — тихо спросил Бакунин.

— В Прагу, — позевывая, проговорил Меравиглия.

Карета рысью перемахнула мост через Дунай. Бакунин разглядел зевавшее в темноте худое, даже милое лицо графа Меравиглия.

— Было б любезно, если б вы дали мне папиросу.

Граф Меравиглия протянул массивный портсигар в монограммах, открывая. Папиросу было неудобно брать рукой, скованной с ногой. Чувствовалось, что карета едет в гору.

По камням загрохотали колеса, мелькнули огни. Карета встала, и дверцу раскрыл солдат.

Лейтенант вылез, Бакунина вытащили в круг вооруженных солдат, он увидал рельсы, шлагбаум и темную станцию. Но от небольшой станции они уходили вдоль рельсов в сторону и подошли к тюремному вагону с зарешеченными окнами. Бакунину помогли влезть. На лавках размещался конвой. Пахший портянками солдат повесил на гвоздь фонарь, солдаты переговаривались о пустяках. Где-то совсем под боком шипел паровоз, толкнул и потащил. Кричали в ночи незнакомые люди, ругались совсем близко у вагона, потом паровоз засвистел, вагон поплыл, блеснул свет больших газовых фонарей, и, пристукивая на стыке рельсов, поезд пошел мерным ходом в темноте.

— Ложись, спи, — бормотнул широконосый солдат.

«Спросить бы, — подумал Бакунин, — да не знает, наверное».

— Доложи лейтенанту, что хочу есть.

Солдат вышел. Но не вывели, как думал Бакунин. Принесли колбасы и хлеба, Бакунин съел нехотя, лег, думал все, как бы выйти, взглянуть на путь, но, спустив с лавки закованную большую руку, заснул. Не проснулся даже, когда безжизненный, бледный граф Меравиглия взял его за плечо. В окошечки вагона шел яркий солнечный свет.

— Вставайте, — проговорил Меравиглия.

Бакунин поднялся шумно, попросил вывести в уборную, его повели, скованного за руку и за ногу. Потом помогли слезть со ступенек. Перед Бакуниным был залитый ярким утренним солнцем дебаркадер, и на нем строем стояли

двадцать вооруженных голубых жандармов, крепко сшитый поручик прохаживался впереди. Бакунин приостановился: ведь это ж не Прага? И широкое голубое небо, и волнующиеся кривые березы в сережках, и круглые рожи? В один миг понял, где он и кому выдан.

4

На дебаркадере кольцом вокруг Бакунина стояли еще австрийцы. Лейтенант граф Меравиглия, под козырек, рапортовал мягким венским говором тучному красному Распопову. Поручик так же, под козырек, держал руку в белой перчатке. За Распоповым голубой лентой вытянулись в две шеренги двадцать скуластых, усатых, лихих русских жандармов.

Бакунин, стоя в кругу австрийцев, улыбнулся. Воспоминаниям ли? Встрече ли с родиной, с русскими веселыми скулами? Распопов грузно скомандовал: «Напра-во! Шагом марш!» — и русские жандармы быстрым поворотом пошли, обступая Бакунина. Под конвоем, с поручиком впереди, Бакунина повели через вокзал; вокзал оцеплен. У двери отдельной комнаты на часах унтер-офицер.

Распопов пробежал у стола мутным, плохо соображавшим глазом немецкие бумаги. Граф Меравиглия сидел рядом. Распопов расписался, по-русски расчеркнувшись. Жандармы оглядывали Бакунина любопытно, беззлобно, таким он и должен быть, преступник против царя и России: косая сажень в плечах, в вышину верстовой столб, зарос волосом, с скованной рукой и ногой, как Емельян Пугачев, Степан Разин.

— Das ist alles¹, — вставая, сказал граф Меравиглия.

— Sehr angenehm².

— Мне приказано взять наши кандалы, — проговорил граф Меравиглия.

— Сейчас перекуют, — сказал Распопов.

Молодой, легкий ефрейтор побежал за кузнецом. С черной цыганской бородой, кузнец, приземистый и коренастый мужик, вошел с железами, с порога поклонился. С Бакунина, побряхтывая, снял австрийские кандалы; звякая ими, Распопов передал их графу Меравиглия, еще раз взявшему под козырек, прощаясь с поручиком.

¹ Ну, вот и все (нем.).

² Очень приятно (нем.).

А когда он вышел, Бакунина раздели донага, как приказал фельдмаршал князь Паскевич, обыскали одежду, потом одели в свое: арестантская шапка набекрень на длинных волосах и серый, с бубновым тузом, халат.

— Ковать! — крикнул Распопов.

Сидя на стуле, Бакунин выставил большие ноги в рваных котках. Солдаты глядели с любопытством.

— Эх, ребята, на свою сторону, знать, умирать-то пришел! — проговорил Бакунин.

— Не разговаривать! — крикнул Распопов, ступив к Бакунину.

Бакунин взглянул в опухшее, красноватое лицо поручика. «Пьет, видно, шибко», — подумал. Кузнец ударял молотком, заковывал в железа ноги. Но все, чего боялся, стало вдруг нестрашным. Даже легче, пожалуй, умереть, вместо австрийцев, с родными этими мордами, у себя, под русскими ветрами.

— Жжешь, братец! — вскрикнул Бакунин.

— Потерпишь, — бормотнул кузнец, в глаза взглянул жестким, цыганским глазом. Закреплял заклепки, надел наручники, встал, переведя дыхание, сказал:

— Готово, ваше высокоблагородие.

Железные уборы больно ударили узкими звеньями цепи по ногам. В станционном немощем дворе шарахнулись с клохтанием куры, разлетаясь по палисаднику, перелетая городьбу. У подъезда ждала тройка с виду плохоньких длинногривых степняков в бубенцах. У белой расписной дуги позвякивали колокола, когда от оводов коренник мотал мохнатой головой. Поверх черной, блестящей, ловкой поддевки подпоясанный слинялым красным кушаком ямщик, усмехнувшись, когда втаскивали Бакунина в карету, почесался, качнул головой.

Но это даже не карета, скорей как курятник с зарешеченными окнами. Влезая рядом с Бакуниным, Распопов дышал телятиной и вином. Жандармы влетали в седла, осаживая, рвали губы запылившим по двору коням. Распопов высунулся из дверцы:

— Трогай! — крикнул.

Подоткнувшись, разбирая ременные вожжи, ямщик зыкнул — ах, переах! — что-то дикое и запорол витым кнутом. Замершие мохнатые степняки рванулись, как птицы под выстрелом. И с станционного двора вмиг скрылась, улетела карета. Остались только столб пыли, станционный смотритель на крыльце, да подоткнутая девка в ситцевом переднике и панёве выглянула из кухни, разинув рот.

Головой отвечали станционные смотрители, если не вовремя подстава ждала б эту тройку. От стана до стана безостановочно скачут по бокам двадцать верховых с ружьями, саблями, пистолетами. Ох, ох и ямщики в России царя Николая! Много троечной езды знавал Бакунин, а такой не видал. Смотрители выбирали лучших русских ямщиков да отчаянных азиатских коней. Несся по России курятник птицей. Это не битые мелким камушком шоссе да расчищенные европейские леса, это — Россия, Азия, дичь, мощь, разлетается на выбоинах, поворотах карета, крикает Распопов, «все кишки растеряешь». Орет, гикает ямщик: «По всем по трем, коренной не тронь!» — знает, подлец, что получит на водку за царский лет, за сумасшедшинку, и несут буланные мохнатые кони, тряся, звеня дугой, гремя бубенцами, хоть загнать приказано, а домчать в срок до подставы. Под водкой орет ямщик, в гору навынос мчат, звонят ошейниками мохрявые, запотелые степняки, вьются пыльные, потные гривы от Горелого кабака до Ухорского яму. Царь ждет карету, прут ее в Петербург.

Эх, если б посмотреть в окошко на темно-синие десять лет не виданные русские стонущие под ветром леса, на березы, обступившие большой тракт. Увидать, как прыгает по корням карета, когда мчат ее медноствольным, красным бором. Вырваться б глазу в голубую бескрайность, от которой зарежет насмерть глаз: поля ржи ушли черт знает куда, и замер на голубом горизонте колышущийся ее океан. Крутится пыль из-под колес. Летит карета; в сумерках длинные тени лошадей видны на дороге: заводят в оглобли свежих, перепрягают. Звонят, гудут в ушах валдайские колокольцы. «Может, и вправду умирать-то на своей стороне легче? Пусть убьют, сошлют на каторгу, — думал Бакунин, — только б не мешок Алексеевского равелина, куда опускает людей император заживо в каменный погреб».

6

В Большом Фельдмаршальском зале прохаживался император, только что приехав с Марсова поля, с парада. Голубая лента, темно-зеленый мундир с красно-золотыми обшлагами, клапаны, золото воротника, прохаживался один, задумчив, поседелый. Шаги императора ясны. Остановясь в амбразуре, глядел на Неву водяным, задумчивым

взглядом: волновали происки Англии в Турции и дела на Кавказе, волновали польские заговоры, от Бакунина хотел знать о поляках.

Состоящий при особе его величества генерал Яков Гилленшмидт доложил о приезде Дубельта. Пробормотав в усы, сам не зная кому, угрозы, Николай пересек зал и спускался по лестнице мимо караулов. В кабинете вошедшему Дубельту не дал сказать, шагнув, проговорил:

— Ну?

— Привезли, ваше величество, заготовил рапорт, да не выдержал, — чуть улыбнулся Дубельт, — сам приехал.

— Дай, — сказал Николай, улыбнулся туманно, непонятно.

Николай сел за карельский стол, опершись локтем на том «Свода законов Российской империи». Пробежал рапорт Дубельта: «Чсть имею донести Вашему Величеству, что 11 мая в полчетвертого часа пополудни государственный преступник Михаил Бакунин, закованный в ручные и ножные железа, провезен через Красное Село в Санкт-Петербургскую крепость и заключен в Алексеевский рavelин, в номер 5».

Рука Николая в темно-зеленом, бутылочном, рукаве с золотом шитья протянулась, для порядку написал: «Накопец-то! Держать строго. С допросом обождать».

7

Родной каземат, да полно, лучше ль он чужестранного? Покой номер 5 темен, на австрийский манер; не больше квадратной сажени, вдоль стен нары, лежа на которых Бакунин упирался ногами в стену; у изголовья стол, на нем кружка воды, у ног в закрывающемся ящике жестяное ведро и жестяной таз; для спанья дали кусок войлока, обшитого дерюгой. На север, во внутренний двор, окно забито снаружи в три четверти; сыро, холодно, и никто не входит в покой вот уж с месяц. Только мыши пробегают в полутемноте.

Продержат год, двадцать лет, жизнь в мертвой тишине. Бакунина расковали, может ходить. Так ходил из угла в угол, когда в ночь, внезапно заскрипев, открылась дверь. На пороге покоя номер 5 в керосиновом свете тюремного коридора, в мундире, стоял генерал. Толст, мясист; мог не называть себя, Бакунин знал по портретам заместителя покойника Бенкендорфа генерала графа Алексея Федоровича Орлова.

Орлов смотрел в полутемноту на Бакунина. Бакунин остановился у стены. Генерал крикнул из покоя:

— Дай фонарь!

Часовой подал графу фонарь.

— Запри, — сказал Орлов и с фонарем в руке вошел в покой, прошел к столу, поставил фонарь на стол, камера причудливо осветилась. Грузно опускаясь на табуретку, Орлов указал Бакунину на нары. Оглядывая оплывшим, а в молодости свежим и красивым, взглядом Бакунина, граф Орлов проговорил с расстановкой:

— Государь прислал меня к вам сказать: скажи ему, чтобы написал мне все, как духовный сын пишет духовному отцу.

В свете желтого фонаря прошло молчание. Бакунин сидел на нарах без движения.

— Хотите писать? — медленно сказал Орлов и улыбнулся отвисшей губой.

Бакунин молчал.

— Так что ж, — повторил Орлов, улыбаясь явственней, — как я должен передать его величеству, хотите чистосердечно покаяться или нет?

Бакунин поднял большую, заросшую голову на Орлова.

— Ваше сиятельство, — проговорил тихо, — я не знаю, чего хочет от меня государь. — Голос глухой. Орлов видел: преступник в волнении, даже в необычайном волнении. Граф пробарабанил по дубовому столу полными пальцами. Помолчал. И вдруг беззвучно рассмеялся.

— Мы о вас лучшего мнения; государь хочет, чтоб вы написали ему полную и откровенную исповедь всех ваших преступлений и помыслов против него.

Полутемный, в тенях от фонаря, Бакунин молчал.

— Чем исповедь будет полней и искренней, — продолжал Орлов, — чем она будет более похожа на исповедь сына своему духовному отцу, тем сильнее это отразится на вашей судьбе, которая всецело зависит от милости государя.

— Я, граф, судьбы не боюсь, — проговорил по-французски Бакунин и усмехнулся горько, взглянув на Орлова.

— Знаю, что видали виды, — ухмыльнулся Орлов, — все ж полагаю, что ваш долг покаяться перед его величеством, сердце государя и его великодушие, прощающее даже злейших противу него преступников, вы знаете.

— Ваше сиятельство, — сказал Бакунин снова по-французски, — повеление государя...

— Это не повеление.

— Понимаю, — оборвался Бакунин и потупился; потом вдруг, встав с нар, сказал: — Ваше сиятельство, дайте мне срок обдумать.

Орлов оставался сидеть.

— Какой? — сказал, не глядя на Бакунина.

— Двадцать четыре часа.

Орлов поднялся, взял со стола фонарь, пошел к двери, проговорил:

— Хорошо.

Бакунин остановил Орлова.

— У меня к вам просьба, граф.

Орлов повернулся, и фонарь осветил Бакунина.

— Я просил бы вашего распоряжения, — показал на окно Бакунин, — чтоб отбили и разрешили открывать хотя б часа на два в сутки, от темноты болят глаза и от плохого воздуха становится дурно. Я болен, ваше сиятельство...

Орлов сощурил брови и смял углы губ.

— На два часа? — пробормотал словно про себя. — Доложу государю. — И двинулся.

Покой номер 5 крепко заперли.

8

Утром у стены Алексеевского рavelина, у покоя номер 5, отбивали от окна доски, стало светлей. Коридорный часовой слышал: в покое номер 5 заключенный все ходит.

«Вырваться, вырваться, вымахнуть, — бормотал внутренно, лихорадочно, поспешно Бакунин, быстро поворачиваясь в узкой камере. — Только б не резинировать¹, не унизиться, не упасть в подлеца». Откинул большой рукой с квадратного лба космы волос, остановился у посветлевшего отбитого окна, глядел в решетчатый квадрат петербургского неба. «Черновиков не оставишь, написанного не замараешь, бумагу пронумеруют. Знаю Николая, ему надо писать безоглядно, нараспашку, а то пожизненный каземат».

Бакунин встал на заскрипевший под тяжестью табурет. Свет на дворе, хоть серый, хоть и петербургский, а свет...

День и ночь коридорный часовой слышал: заключенный в покое номер 5 ходит. «Погребут, сгноят заживо», — шептал, бормотал Бакунин, возбужденный, большой, грязнобродый, в арестантском халате.

¹ Покориться.

«ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО!
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ!

Когда меня везли из Австрии в Россию, зная строгость русских законов, зная ВАШУ непреодолимую ненависть ко всему, что только похоже на непослушание, не говоря уж о явном бунте против воли ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, зная также всю тяжесть моих преступлений, которых не имел ни надежды, ни даже намерения утаить или умалить перед судом, я сказал себе, что мне остается только одно: *терпеть до конца*, и просил у Бога силы для того, чтоб выпить достойно и без подлой слабости горькую чашу, мною же самим уготованную. Я знал, что, лишенный дворянства тому назад несколько лет приговором Правительствующего Сената и Указом ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, я мог быть законно подвержен телесному наказанию и, ожидая худшего, надеялся только на одну смерть, как на скорую избавительницу от всех мук и от всех испытаний.

Не могу выразить, ГОСУДАРЬ, как я был поражен, глубоко тронут благородным, человеческим, снисходительным обхождением, встретившим меня при самом моем въезде на русскую границу! Я ожидал другой встречи. Что я увидел, услышал, все, что испытал в продолжение целой дороги от царства Польского до Петропавловской крепости, было так противно моим боязненным ожиданиям, стояло в таком противоречии со всем тем, что я сам, по слухам, и думал, и говорил, и писал о жестокости русского правительства, что я, в первый раз усомнившись в истине прежних понятий, спросил себя с изумлением: не клеветал ли я? Двухмесячное пребывание в Петропавловской крепости окончательно убедило меня в совершенной неосновательности многих старых предубеждений.

Не подумайте, впрочем, ГОСУДАРЬ, чтобы я, поощряясь таковым человеколюбивым обхождением, возымел какую-нибудь ложную или суетную надежду. Я очень хорошо понимаю, что строгость законов не исключает человеколюбия, точно так же, как и обратно, что человеколюбие не исключает строгого исполнения законов. Я знаю, сколь велики мои преступления, и, потеряв право надеяться, ничего не надеюсь, и, сказать ли ВАМ правду, ГОСУДАРЬ, так постарел и отяжелел душой в последние годы, что даже почти ничего не желаю.

Граф Орлов объявил мне от ИМЕНИ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, что ВЫ желаете, ГОСУ-

ДАРЬ, чтоб я ВАМ написал полную исповедь всех своих **прегрешений**. **ГОСУДАРЬ!** Я не заслужил такой милости и **краснею**, вспомнив все, что я дерзал говорить и писать о **неумолимой строгости ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА**.

Как же я буду писать? Что скажу я страшному **РУССКОМУ ЦАРЮ**, грозному **Блюстителю** и **Ревнителю** законов? Исповедь моя ВАМ, как моему государю, заключалась бы в следующих немногих словах: **ГОСУДАРЬ!** Я кругом виноват перед вашим **ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ** и перед законами Отечества. **ВЫ** знаете мои преступления, и то, что ВАМ известно, достаточно для осуждения меня по законам на **тягчайшую казнь**, существующую в России. Я был в **явном бунте** против **ВАС**, **ГОСУДАРЬ**, и против **ВАШЕГО** правительства, дерзал противостоять ВАМ, как враг, писал, говорил, возмущал умы против **ВАС** где и сколько мог. Чего же более? Велите судить и казнить меня, **ГОСУДАРЬ**; и суд **ВАШ**, и казнь **ВАША** будут законны и справедливы. Что ж более мог бы я написать своему **ГОСУДАРЮ**?

Но граф Орлов сказал мне от **ИМЕНИ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА** слово, которое потрясло меня до глубины души и переверотило все сердце мое: «Пишите, сказал он мне, пишите к **ГОСУДАРЮ**, как бы вы говорили с своим духовным отцом».

Да, **ГОСУДАРЬ**, буду исповедоваться ВАМ, как духовному отцу, от которого человек ожидает не здесь, но для другого мира прощения, и прошу Бога, чтоб он мне внушил слова простые, искренние, сердечные, без ухищрения и лести, достойные, одним словом, найти доступ к сердцу **ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА**.

Молю **ВАС** только о двух вещах, **ГОСУДАРЬ!** Во-первых, не сомневайтесь в истине слов моих, клянусь ВАМ, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи не вытечет из пера моего. А во-вторых, молю **ВАС**, **ГОСУДАРЬ**, не требуйте от меня, чтоб я вам исповедовал чужие грехи. Ведь на духу никто не открывает грехи других, только свои. Из совершенного кораблекрушения, постигшего меня, я спас только одно благо: честь и сознание, что я для своего спасения или для облегчения своей участи нигде, ни в Саксонии, ни в Австрии, не был предателем. Противное же сознание, что я изменил чьей-нибудь доверенности или даже перенес слово, сказанное при мне по неосторожности, было бы для меня мучительней самой пытки. И в **ВАШИХ** собственных глазах, **ГОСУДАРЬ**, я хочу быть лучше преступником, заслуживающим жесточайшей казни, чем подлецом...»

Бакунин снял с пера прилипшую волосинку, но не продолжал писать, а задумался; взглянул на свой почерк, и почерк не понравился. «Пишу, как кошка», — подумал. Темно-голубые глаза уставились в пространство, в одну пространственную точку. Бородатый, разбитый, грустный сидел Бакунин; потом, медленно отведя голову к рукописи, написал с красной строки:

«Итак, я начну свою исповедь.

Для того чтоб она была совершенна, я должен сказать несколько слов о своей первой молодости...» Но снова шумно встал, заходил по камере. Тучей, клубами бились в черепе, в сердце, заполняли грудь воспоминания, ощущения, откидывал ненужное, искал главное — *тон* — для Николая, Дубельта, Орлова. Хорошо знал партнеров, знал, что саксонцы и австрийцы передали материалы. «Поляки, — внутренне бормотал Бакунин, — поляки» — знал, чего хочет, чего добивается Николай: чтоб отдал всю опору, всю мечту славянской революции в Польше, в России, в мире.

Мелким, слепленным, скорей женским почерком, не завшившимся с мужественной рукой, писал Бакунин, отбрасывая нумерованные Дубельтом листы, о молодости, Берлине, о Вейтлинге, Швейцарии, Гервеге, Париже, благородных увриерах, упомянул о друге Рейхеле, мельком описал поляков, обругал болтуном графа Ледуховского, изругал немцев, рассмеялся и от души, и для Николая над европейской демократией, не утаил ничего, что без того знали Орлов и царь, описал восстание в Дрездене, баррикады, свое желание зажечь мировую, всесокрушающую революцию с богемским началом, много писал, перечеркивая лишь так, чтоб могли разобрать Орлов и Дубельт.

Дважды заходил сухонький комендант крепости Набоков, улучшил пищу, увеличил порции, разрешил сигары. Хитрый пес посмеивался, уходя из покоя номер 5: «Многие мил голубчики становились тут шелковыми!»

10

Светло в покое номер 5. Волнуясь, Бакунин курил без счета, отхлебывал с лимоном чай. То казалось, доступ в сердце Николая приоткрывается, то мучили сомнения. «Лучше смерть, каторга, Сибирь, палочные удары, лишь бы не в каземате сойти с ума. Эх, воля, воля! — Уронил волосатую голову на руки, на рукопись и долго так сидел Бакунин. — Пусть разрешат сестре Татьяне иль брату

Павлу приехать, через них свяжусь, дам им понять, как хлопотать и действовать».

Поднявшись, шумно ходил по каземату, мысли бурны, мучительны, невыносимы. И снова расправил лист, записал почерком, не вязавшимся с мощной, большой рукой:

«Таким образом, окончилась жизнь моя, пустая, бесполезная и преступная; и мне остается только благодарить Бога, что он остановил меня еще вовремя на широкой дороге ко всем преступлениям. Исповедь моя кончена, ГОСУДАРЬ! Она облегчила мою душу. Я старался сложить в нее все грехи и не позабыть ничего существенного; если ж что позабыл, так не нарочно. Все же, что в показаниях, обвинениях, доносах против меня будет противно мною здесь сказанному, решительно ложно, или ошибочно, или клеветливо. Теперь же обращаюсь к своему ГОСУДАРЮ и, припадая к стопам ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, молю ВАС: ГОСУДАРЬ! Я преступник великий и не заслуживающий помилования! Я это знаю, и если б мне была суждена смертная казнь, я принял бы ее как наказание достойное, принял бы почти с радостью, она избавила бы меня от существования несносного и нестерпимого. Но граф Орлов сказал мне от ИМЕНИ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, что смертная казнь не существует в России. Молю же ВАС, ГОСУДАРЬ! Если по законам возможно и если просьба преступника может тронуть сердце ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЬ, не велите мне гнить в вечном крепостном заключении! Не наказывайте меня за немецкие грехи немецким наказанием. Пусть каторжная работа самая тяжкая будет моим жребием, я приму ее с благодарностью, как милость; чем тяжелее работа, тем легче я в ней позабудусь! В уединенном же заключении все помнишь, и помнишь без пользы; и мысль, и память становятся невыразимым мучением и живут долго, живут против воли и, никогда не умирая, всякий день умирают в бездействии и в тоске. Нигде не было мне так хорошо, ни в крепости Кёнигштейн, ни в Австрии, как здесь, в Петропавловской крепости, и дай Бог всякому свободному человеку найти такого доброго, такого человеколюбивого начальника, какого я нашел здесь, к своему величайшему счастью! И несмотря на то, если б мне дали выбрать, мне кажется, что я вечному заключению в крепости предпочел бы не только смерть, но даже телесное наказание.

Другая же просьба, ГОСУДАРЬ! Позвольте мне один и в последний раз увидеться и проститься с семейством; если

не со всем, то по крайней мере с старым отцом, с матерью и с одной любимой сестрой, про которую я даже не знаю, жива ли она.

Окажите мне сии две величайшие милости, **ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ!** И я благословлю провидение, освободившее меня из рук немцев для того, чтоб предать меня в отеческие руки **ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА».**

Бакунин перечитал, оторвался, как кончить, подписать, не знал. Густые, характерно разлетевшиеся над голубыми глазами брови сдвинуты, глаза задумчивы, изломаны, темны. Не тот уж красавец скиф Бакунин, изъездили, истомили, надорвали трехлетние казематы. Поймав наконец желаемое, Бакунин подписал:

«Потеряв право называть себя верноподданным **ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА,** подписываюсь от искреннего сердца

кающийся грешник
Михаил Бакунин».

11

Ефрейтор Алексей Ерошин, каллиграф-писарь Третьего отделения, с «Исповеди» списывал две красивых копии. Одну для фельдмаршала князя Паскевича, другую для графа Орлова. Оригинал Бакунина в четыре часа пополудни повез государю в Зимний дворец сам шеф жандармов.

Николай был занят, принимал посла в Турции Меншикова в присутствии военного министра князя Чернышева и вице-канцлера Нессельроде. Обсуждался вопрос отношений с Турцией и в случае надобности занятия Константинополя. Орлов прошел в Петровский зал, говорил с императрицей о пустом, вспоминали, как в Царском в старинных доспехах на эспланаде Александровского дворца царь, царица, 16 дам и 16 рыцарей исполнили кадрили с эволюциями.

Только отпустив Нессельроде с Меншиковым, Николай вышел к Орлову, ласково потрепал графа по крутой, жирной лопатке, даже обнял, смеясь, проговорил:

— Нет, Федорыч, турку с англичанкой не поддадимся, нет!

Но, зная, с чем приехал Орлов, сказал:

— Пройдем ко мне.

Откланявшись императрице, Орлов пошел за быстро идущим императором по переходам, гостиным, залам, лест-

ницам. У стола с разноцветными фигурками солдат Орлов вынул из потертого портфеля рукопись в четыреста страниц. Николай улыбнулся туманно.

— Много понаписал. А как, ты читал? Садись.

— Читал, государь, — Орлов, в светло-голубом, перетянутом серебряным шарфом мундире, опустил тучное тело в сафьяновое кресло, — и скажу, ваше величество, произвело на меня писаное впечатление тягостное. — Орлов крутил толстыми пальцами, оборвал, замолчал, как бы задумываясь. — Раз уж заговорило, ваше величество, самолюбие, то ни ум, ни способности не в состоянии удержать от самых беспорядочных и преступных увлечений воображения. Нахожу полное сходство с показаниями печальной памяти казненного Пестеля.

Николай почернел мгновенно, самого имени полковника Пестеля, назвавшего царя в лицо сыном выbledка, не мог слышать.

— В чем? — сказал односложно.

— Да то же, ваше величество, самодовольное перечисление всех воззрений, враждебных всякому общественному порядку, тщеславное описание самых преступных и вместе с тем самых темных планов и проектов, но ни тени серьезного возврата к принципам верноподданного.

Ледяные глаза царя дрогнули, как бы усмехнулись.

— Что ж, обмануть меня, стало быть, хочет?

— Раскаяния, приличествующего его положению, не замечаю в «Исповеди», государь, — произнес Орлов, — а что смел он и ловок, отнять нельзя, только смелости этой дает ложное применение.

Николай взглянул на первый лист: «Ваше Императорское Величество! Всемилостивейший государь!»

— Ну, иди, — сказал туго, — почитаю.

Николай сидел у блестящего длинного стола карельской березы; под стеклом стояли крашенные восковые фигурки солдат, лежали аккуратно, в папках, доклады Орлова о польских происках и доклады вице-канцлера Нессельроде об антирусских интригах Англии. Подперев рыже-седой висок белым кулаком, Николай читал «Исповедь».

В первый раз разжался белый кулак у виска, когда прочел: «Молю вас, государь, не требуйте от меня, чтоб я вам исповедовал чужие грехи. Ведь на духу никто не от-

крывает грехи других, только свои». Из золоченого бокала Николай взял карандаш, черкнул на поле: «Этим уже уничтожает всякое доверие; ежели он чувствует всю тяжесть своих грехов, то одна *полная* исповедь, а не условная, может почесться исповедью».

Сумерки падали, плыли, поплыли над Петербургом; окутали, скрыли шпиль Петропавловской крепости. Посерела окованная гранитом Нева. В бельэтаже, на Неву, кабинет царя оставался темен. Николай не замечал павших на его город сумерек. Потом зажег десятисвечный канделябр, принес, поставил на стол и сел, вытянув ноги, растегнув мундир, блеснув ластиком.

«В Западной Европе, куда ни обернешься, везде видишь дряхлость, слабость, безверие и разврат, происходящий от безверия». — Николай черкнул на поле: «Разительная истина!»

«Видел я иногда русских, приезжавших в Париж. Но молю вас, государь, не требуйте от меня имен». — Николай поставил «NB». И тут же против слов: «Раскаяние в моем положении столь же бесполезно, как и раскаяние грешника после смерти, — я буду просто рассказывать факты и не утаю, не умалю ни одного» — написал гневно, с сердцем: «Неправда! Всякого грешника раскаяние, но чистосердечное, может спасти!»

Обгорали, отекали, таяли десять свечей золоченого канделябра. Плыла ночь над миром, над Петербургом. Бакунин ворочался, кашлял, кричал, с ольмюцкой камеры начались кровеприливы, разламывающие череп головные боли. Словно потоком бросалась кровь в голову и грудь, так, что поднимался на нарах, задыхаясь, Бакунин. В ушах шум кипящей воды и отвратительно-невыносимые геморроидальные боли.

Царская койка стояла давно откинутой, прикрыта военной шинелью. В летящем ветре с Невы дворец был слепым, красивейшим в ночи камнем. Стекла кабинета императора отливали отблеском канделябров на Неву. Николай сидел, захваченный «Исповедью».

«...Тяжело моему самолюбию: мне так и слышится, что вы, государь, говорите: мальчишка, болтает о том, чего не знает! А более всего тяжело моему сердцу потому, что стою перед вами, как блудный, отчуждившийся, развратившийся сын перед оскорбленным и гневным отцом». — Николай провел на поле вертикальную линию, черкнул: «Напрасно боялся, личное на меня всегда прощаю от глубины сердца».

«...Оставив в стороне мои немецкие грехи, за которые был осужден сначала на смерть, а потом на вечное заключение, я вполне и от глубины души сознаю, что более всего я преступник против вас, государь, преступник против России и что преступления мои заслуживают казни жесточайшей». — Снова провел черту Николай, написал: «Повинную голову меч не сечет, прости ему Бог!»

Потом вдруг разомкнул сведенные брови и скулы и в кудревато-рыжие усы улыбнулся. «Das heilige Vaterland¹, существовавший доселе только в их песнях да еще в разговорах за табаком и за пивом, должен был сделаться отечеством половины Европы!» — Черкнул: «Прекрасно!» — и не угонял Николай с красивого лица плававшей улыбки.

«...Немцы мне вдруг опротивели, опротивели до такой степени, что я ни с одним не мог говорить равнодушно, не мог слышать немецкого языка и немецкого голоса и помню, что, когда ко мне раз подошел немецкий нищий мальчишка просить милостыню, я с трудом воздержался от того, чтоб его не поколотить!» — В свете канделябра Николай смеялся: «Пора было!» — черкнул на поле.

«...Что делает французских демократов опасными и сильными, это чрезвычайный дух дисциплины. В немцах, напротив, преобладает анархия. Плод протестантизма и всей политической истории Германии, анархия есть основная черта немецкого ума, анархия в каждом немце, взятом отдельно, между его мыслью, сердцем и волей. «Jeder darf und soll seine Meinung haben!»² — Николай отчеркнул, с тремя восклицаниями написал: «Разительная истина!!! Неспоримая истина!!!»

13

К кофе в кабинет императора, как было приказано, вошел граф Орлов. Николай шутил с лейб-медиками Арндтом и Енохиным. Поздоровавшись с Орловым весело, отпустил врачей. Не прожевав еще сухарь, поэтому чуть нагнув голову, вынул из письменного стола «Исповедь» и остановился перед Орловым, усмехаясь в усы.

— Много любопытного. Но это, брат, как какой-то немец сказал, «Wahrheit und Dichtung»³, — потряхивал разлетаю-

¹ Святая родина (нем.).

² Каждый должен и обязан иметь свое мнение (нем.).

³ Правда и поэзия (нем.).

щимися, трепыхавшимися, живыми листьями рукописи. — Он хороший малый, Орлов, но опасный, его надобно держать взаперти.

Орлов наклонил кудлатую, с проседью, голову, словно сказав: «Так я ж вам сам говорил, государь», и, взяв из рук императора рукопись, под словами «Ваше Императорское Величество! Всемилоостивейший государь!» увидел почерк царя: «Стоит тебе прочесть, весьма любопытно и поучительно». Орлов понял, что это обращено к наследнику. А едучи в карете по Невскому проспекту, на последней странице, у слов «кающийся грешник Михаил Бакунин», прочел: «На свидание с отцом и сестрой согласен в присутствии Набокова».

14

Две тысячи дней, солнечных, туманных, морозных, ветреных, дождливых, две тысячи ночей проходили над землей. Цвела земля веснами, облетала осенями, засыпалась снегами, сугробами. Любили, рожали, умирали люди. Бакунин сидел в беззвучной тишине. Одну милость разрешил царь: у решетчатого окна повесить клетку с канарейкой. Прыгала желтенькая птица у Бакунина, но не пела.

Прежнего Бакунина уже не было на пятом году заключения. Николай знал, что узники его вечного заключения кончают помешательством. Обрюзглый, толстый, облысевший, беззубый от цинги, Бакунин лежал на тюремной койке. Непрестанные боли в голове и заднем проходе довели до отчаяния, мучили припадки удушья, а страх помешательства поднимал ночью с нар. Чувствовал, что мозг немеет, что становится глупее день ото дня. Мысль об идиотизме не уходила от беззубого, толстого, шепелявого человека, лежавшего в покое номер 5.

15

Но на шестом году заключения Бакунина Николай I потерпел тяжкое военное поражение в войне с Европой. И в этом же году под балдахином в ароматных розах в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца утопал громадный гроб Николая I. У тела безмолвно дежурили высшие сановники и чины двора, часовыми стояли гвардии полковники с обнаженными саблями и дворцовые гренадеры. Дважды баль-

замировал труп доктор Енохин, и все ж тело разлагалось; то и дело к гробу подходили дворцовые чины, выливая флаконы ароматной жидкости.

Молчаливой, блестящей толпой теснились в зале придворные вокруг нового всероссийского императора Александра Николаевича; рыдала старая императрица; плакала, стоя на коленях, любовница царя, Варвара Нелидова. Придворные тихо переговаривались о том, что государь умер от паралича легких, вследствие запущенной простуды; но многие предполагали, что Николай отравился; знали и последние слова Николая сыну: «Сдаю тебе команду, но не в полном порядке».

На десятые сутки из Фельдмаршальского зала гроб торжественно вынесли, и шествие двинулось к Петропавловской крепости.

16

«ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ!

Многие милости, оказанные мне незабвенным и великодушным РОДИТЕЛЕМ ВАШИМ и ВАШИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ, Вам угодно ныне довершить новою милостью, мною не заслуженной, но принимаемой с глубокой благодарностью: позволением писать к Вам. Но о чем может преступник писать к своему государю, если не просить о милосердии? Итак, ГОСУДАРЬ, мне дозволено прибегнуть к ВАШЕМУ МИЛОСЕРДИЮ, дозволено надеяться. Пред правосудием всякая надежда с моей стороны была бы безумием: но пред МИЛОСЕРДИЕМ ВАШИМ, ГОСУДАРЬ, надежда есть ли безумие? Измученное, слабое сердце готово верить, что настоящая милость есть уже половина прощения; и я должен призвать на помощь всю твердость духа, чтобы не увлечься обольстительною, но преждевременною и, может быть, напрасною надеждой.

Что бы, впрочем, меня ни ожидало в будущем, молю теперь о позволении излить пред ВАШИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ свое сердце, — чтобы я мог говорить перед ВАМИ, ГОСУДАРЬ, так же откровенно, как говорил перед ПОКОЙНЫМ РОДИТЕЛЕМ ВАШИМ, когда ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ угодно было выслушать полную исповедь моей жизни и моих действий.

Привезенный из Австрии в Россию в 1851 году и забыв благодать отечественных законов, я ожидал смерти, пони-

мая, что заслужил ее вполне. Ожидание это не сильно огорчало меня; я даже желал скорее расстаться с жизнью, не представлявшей мне ничего отрадного в будущем. Мысль, что я жизнью заплачу за свои ошибки, мирила меня с прошедшим; и, ожидая смерти, — я почти считал себя правым.

Но великодушную ПОКОЙНОГО ГОСУДАРЯ угодно было продлить мою жизнь и облегчить мою судьбу в самом заключении. Это была великая милость, и, однако же, милость ЦАРСКАЯ обратилась для меня в самое тяжелое наказание.

ГОСУДАРЬ! Одинокое заключение есть самое ужасное наказание; без надежды оно было бы хуже смерти; это смерть при жизни — сознательное, медленное и ежедневно ощущаемое разрушение всех телесных, нравственных и умственных сил человека; чувствуешь, как каждый день более деревенеешь, дряхлеешь, глупеешь и сто раз в день призываешь смерть как спасение. Но это жестокое одиночество включает в себе хоть одну несомненную пользу: оно ставит человека лицом к лицу с правдою и с самим собой. В шуме света, в чаду происшествий легко поддаешься обаянию и призракам самолюбия; но в принужденном бездействии тюремного заключения, в гробовой тишине непрерывного одиночества долго обманывать себя невозможно; если в человеке есть хоть одна искра правды, то он непременно увидит всю прошедшую жизнь свою в ее настоящем значении и свете; а когда эта жизнь была пуста, бесполезна, вредна, как была моя прошедшая жизнь, тогда он сам становится своим палачом; и сколь бы тягостна ни была беспощадная беседа с собою о самом себе, сколь ни мучительны мысли, ею порождаемые, — раз начавши ее, ее уже прекратить невозможно. Я это знаю по восьмилетнему опыту.

ГОСУДАРЬ! Каким именем назову свою прошедшую жизнь? Растраченная в химерических и бесплодных стремлениях, она кончилась преступлением...

ГОСУДАРЬ! Что скажу еще? Если бы мог я сызнава начать жизнь, то повел бы ее иначе; но увы! Прошедшего не воротить! Если б я мог заглазить свое прошедшее делом, то умолял бы дать мне к тому возможность: дух мой не устранился бы спасительных тягостей очищающей службы; я рад был бы омыть потом и кровью свои преступления. Но мои физические силы далеко не соответствуют силе и свежести моих чувств и моих желаний; болезнь сделала меня никуда и ни на что не годным. Хотя я еще

не стар годами, будучи 44 лет, но последние годы заключения истощили весь жизненный запас мой, сокрушили во мне остаток молодости и здоровья: я должен считать себя стариком и чувствую, что жить мне остается недолго. Я не жалею о жизни, которая должна бы была протечь без деятельности и без пользы; только одно желание еще живо во мне: последний раз вздохнуть на свободе — взглянуть на светлое небо, на свежие луга, увидеть дом отца моего, поклониться его гробу и, посвятив остаток дней сокрушающей обо мне матери, приготовиться достойным образом к смерти.

Перед Вами, ГОСУДАРЬ, мне не стыдно признаться в слабости; и я откровенно сознаюсь, что мысль умереть одиноко в темничном заключении пугает меня — пугает гораздо более, чем самая смерть; и я из глубины души и сердца молю Ваше Величество избавить меня, если возможно, от этого последнего, самого тяжкого наказания.

Каков бы ни был приговор, меня ожидающий, я безропотно заранее ему покоряюсь как вполне справедливому и осмеливаюсь надеяться, что в сей последний раз дозволено мне будет излить перед Вами, государь, чувство глубокой благодарности и к Вашему незабвенному родителю, и к Вашему Величеству за все оказанные милости.

Молящий преступник
Михаил Бакунин».

14 февраля 1851 года.

Ранней северной весной вывели заключенного Бакунина из ворот «Государевой Шлиссельбургской крепости». У ворот остался стоять комендант Троцкий. На день разрешили заехать в родное Прямухино. Там у обветшалого за долгие десятилетия балкона гудели те ж родные липы, березы, вязы — ночь и день.

Бакунин взошел по скрипящим половицам балкона в старый барский дом, неузнаваемый и чужой. Сестры Татьяна, Варвара, братья Павел, Алексей, Александр, Илья, Николай съехались, чтоб обнять и выговорить свои чувства Мишелю. Но Бакунин молчал. И все молчали. Только с своей старой, выжившей из ума нянькой Ульяной играл весь день в дураки на ветвистом, от весенних лип ароматном балконе. Наутро жандармская телега помчала обрюзгшего, беззубого Бакунина столбовой березовой дорогой в

Омск, в Сибирь, и там фельдъегерь под квитанцию, при отношении за номером 539, сдал преступника омскому генерал-губернатору Гасфорду.

Тридцать тысяч верст бежал Михаил Бакунин из России назад в Европу. Сошел на английский берег, приплыв из Америки, увидал вновь любимый и ненавистный ему Запад. Оба за 11 лет изменились. Опухшего, безобразного, похожего на лавину, на налившегося кровью быка Бакунина друзья узнали лишь по юношескому звуку пришепетывавшего, беззубого голоса да по энергии. Бакунин встретил врага — уже всемирно известного революционера Карла Маркса. Встретил друга — всемирно известного публициста Герцена. Обнял любимого, никому не известного музыканта Адольфа Рейхеля. И встал за прежнюю работу — за страсть революционного разрушения Европы.

Он поднимал против Александра II поляков. Плавал с вооруженной экспедицией к берегам Балтики. Возглавлял «Альянс», мировое тайное общество заговорщиков. Поднимал восстание в Лионе, увлекал французов. Еле бежал из Болоньи, где подымал итальянцев. Но к старости становился груб, раздражителен и словно разочарован во всем.

Горным швейцарским утром нищий, больной шестидесятитрехлетний Бакунин медленно пришел в бернскую бесплатную больницу. И вскоре здесь на койке для чернорабочих умер...

Нью-Йорк, 1957 г.

КОНЬ РЫЖИЙ

Автобиография

*Моей жене, Ольге Андреевне Гуль,
спутнице нелегкого путешествия.*

Невозвратно. Непоправимо.
Не смоем водой. Огнем не выжжем.
Нас затоптал — не проехал мимо! —
Тяжелый всадник на коне рыжем.

Зинаида Гиппиус

И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир
с земли...

Откровение Иоанна Богослова, гл. 6-я

События, наполнившие мою жизнь, были так разнообразны, я пережил столько увлечений, видел столько разных людей, прошел через столько общественных положений, что за свою жизнь мог бы пережить столетия. У меня налицо все, чтобы сделать мой рассказ интересным. Может быть, несмотря на это он интересен не будет, но тогда виноват уже будет не сюжет, а писатель. Даже в жизни самой замечательной не исключена возможность подобного недостатка.

Жан-Жак Руссо

I

Вот он, маленький, седенький, сидит у окна в руках с биноклем и глядит на площадь своего города. Перед ним собор с синими куполами, обнесенный высокой стеной острог с полосатой будкой часового и красный трактир Веденяпина с палисадником в пестрых цинниях. Дальше, на крутосклоне, белостенный монастырь, а там поля, леса, ветер, грустно темнеющее небо, вся чудесная Россия. Здесь, в недрах ее дед вырос, работал, жил, здесь и умрет.

Глядеть на свою Керенскую площадь — это всегдашний любимый отдых деда. Все-то он разглядывает и все ругает. На вороной кляче в ветхозаветной казанке с Почтовой улицы на площадь выехали помещики, отец и сын Лахтины; они славятся небывалым враньем своих охотничьих рассказов, ничегонеделаньем и богатырской способностью съесть и выпить. Обглоданная кобыла подобием рыси еле движет по площади Лахтиных, одетых в доморощенные поддевки и дворянские картузы. И, не отрывая глаз от бинокля, дед с сердитой издевкой бормочет: «Ах, сукины сыны, вот они, едут российские дворяне, вот уж поистине прохиндерцы!»

Под невидимым биноклем своего предводителя керенские дворяне Лахтины скрываются за острогом. Но дед до ругивает их до тех пор, пока какой-нибудь иной предмет на площади не займет его вниманья.

По площади уездного города Керенска бродят индюшки, поросята, гуси, пробежит исправников рыжий сеттер. На чалом мерине медленно проедет с плещущейся бочкой соседский водовоз. Очень редко на допотопной «гитаре» протарахтит Емельян, единственный керенский извозчик. Тишина. Солнце. Слышно, как зевает на своем крыльце дремлющий за газетой купец Засадилов, как у ветеринара рубят тяпками капусту, как у протопопа бренчит цепью злой волкодав.

Но вот из-за собора вышла керенская шеголиха, купчиха Крикова, и вдруг, сведя мохнатые брови, дед добродушно смеется: «Вот вырядилась, подумаешь, фу-ты ну-ты! Ах

ты, скнипа ты эдакая!» — и долго смеется дед, провожая в бинокль керенскую модницу.

В тишине Керенска дед — самодержавная власть. Больше тридцати лет — бессменный председатель керенской уездной управы, часто и предводитель дворянства, хоть этого и не любит дед. Проезжающий в облаке пыли мимо дедова дома исправник всегда долго и почтительно отдает честь видимому на балконе чесучовому пиджаку деда; все торопящиеся обыватели низко кланяются; а многочисленные городовые, идя мимо дома, до тех пор держат под козырек, пока кто-нибудь не заметит их и не кивнет им с балкона.

Но в деде Сергее Петровиче ничего властного нет. Правда, он неистовый ругатель, горячка, крикун, но это по дворянской наследственности. Щуплый, кареглазый, лопатобородый, с очень русским лицом, Сергей Петрович мягкий, а дома с детьми нежный человек; тут по самым пустякам он может расстроиться и даже прослезиться. В его повадке, манерах, говоре много старины, и я люблю его, особенно когда, приехав из управы, в кремовом пиджачке, дожидаясь обеда, он берет бинокль и садится у окна глядеть на свою площадь.

II

Солнечная тишина, дед, балкон, Керенская площадь, это и есть мое детство. Иногда через площадь куда-то медленно шли «волчки», небритые, с палками, с мешками за спинами. Все тогда бросались к окнам, на балкон, с любопытством и жалостью глядя на беспаспортников, кто-то выносил им еду, деньги. Иногда по площади шел чернобородый, в грязно-розовых портках, в рубахе на одной медной пуговице, мужик с волосами по плечи, с острым волчьим взглядом, в мороз и распутицу шлепавший босиком. Все керенцы звали его «проповедник». Голосом пронзительным, с повелительным жестом, он начинал всегда одну и ту же проповедь: «Мир кончается, кончина приближается, Антихрист нарождается, страшный суд надвигается...» И в его короткопалую ладонь подавали семишники, трешники, пятаки перепуганные встречные бабы. А «проповедник» еще кочевряжится, не от всех принимает подаяние, некоторым приказывает покаяться, а порой начинает и анафемствовать до тех пор, пока тот же дед с балкона не прикажет городовым прогнать «проповедника» с площади прочь.

Иногда появлялся и юродивый Юдка, полуголый, заросший волосом, он бесцельно начинал шляться по площади, выкрикивая нечленораздельные звуки. Все Юдку знали. Из калиток Божьему человеку выносили кто одежду, кто поест. Пробродив так день, Юдка куда-то пропадал, и если очень долго не показывался, то дед говаривал: «Что-то Юдку давно не видно, не помер ли?»

Гораздо реже нарушал сонность Керенской площади дурачок Ваня Приезжев. Трезвый это был тихий и жалкий человек, но когда кто-нибудь нарочно «для смеху» подпаивал дурака, Ваня впадал в буйство, выбегал на площадь, крича, маша кулаками, и никто не понимал, что дураку надо? Кончалось же это тем, что двое городских хватали здорового Ваню, таща через площадь в узилище, а дурак, вырываясь, оглашал Керенск таким животным воем, что обыватели в отчаянье высовывались из окон. И наконец дед, не выдержав, быстрыми шагами выходил на балкон, сердито крича: «Да оставьте вы его, дурака! Куда его тащите!» Городовые отпускали Ваню, и вой замирал к всеобщему облегчению.

Тихо жил Керенск. Вокруг города гнулись поля ржи, овса, проса. А когда ветер тянул с реки Чангара, Керенск наполнялся пряным запахом конопли.

III

Только два путешествия нарушали мирную тишину жизни в дедовом доме: поездка в монастырь и в родовое имение Сапеловку. О поездке в Сапеловку говорили задолго, но собраться поехать все никак не решались: то небо ненадежное, как бы дождя не было, то очень уж марит, быть грозе. Но все-таки, раз в лето, наконец собирались.

В монастырь же ездили чаще.

Покрытая синей подушкой линейка стоит у крыльца. Лоснящийся жеребец похрапывает, переминается. Тети, дядя, я, брат рассаживаемся; дядя предупреждает, чтоб не раскрывали зонтиков, а то жеребец испугается, понесет. И линейка трогается из ворот через площадь, через город на крутосклон к лесу, где белеют монастырские стены.

Страдающая одышкой, бледно-одуловатая мать-игуменья Олимпиада, в прошлом малограмотная крестьянка, а теперь «министр-баба», как называет ее дед, сердечно встречает нас на монастырском дворе и ведет в монастырскую гостиницу. Мы идем чугунными истертыми плитами коридоров, по переходам с слюдяными оконцами в железно-

узористых переплетах. И наконец входим в светлую гостиницу, где пахнет просвирами и яблоневым цветом из раскрытых окон.

Низко кланяющиеся розовые послушницы, неслышно скользя, уж накрывают в саду длинный стол. Несут краснеющий углями самовар, и начинается чаепитие с знаменитым монастырским малиновым, вишневым, крыжовенным вареньем, с липовым медом, с свежими просвирами, с анисовыми яблоками, которые мать-садовница Анна колупает ложечкой в чашку. Меж яблонь мелькают склоненные очертанья послушниц-работниц, поют кругом какие-то невидимые птицы, и солнце золотом наполняет многодесятилетний душистый сад.

Перед отъездом мать-садовница Анна ведет меня и брата в келью столетней схимницы получить благословение. В келье могильная тишина, распятие, киот с образами в серебряных окладах, перед ним молится крохотная восковая старушка. В лампадном сумраке меня пугает стоящий у нее вместо постели открытый гроб. Из сада еле долетает пенье птиц, сухонькая схимница с трудом поднялась с колен и благословляет нас, оробевших, полумертвой сквозной рукой. Идя назад сводчатыми темными коридорами, я, стараясь не показать этого матери-садовнице, тороплюсь и в солнечный аромат сада, на ветер, выхожу с облегчением.

Поездка в Сапеловку обсуждалась всегда еще дольше, потому что двенадцать верст всем казались страшным расстоянием. Чтоб не мучить своих лошадей, брали ямскую тройку. Ехали через Каменку, где, забросивший хозяйство, жил друг деда помещик Малинин, всю жизнь писавший неведомый философский труд. Дальше — через пленительную Нагорную Лаку, куда в июльский зной сходились толпы молиться чудотворной иконе. Об иконе существовало преданье, будто в давние времена купец, родом из Лаки, стал тонуть в Дону и уж захлебывался, как заметил доску, ухватился за нее и доплыл с ней до берега. На берегу ж увидал на доске стертый лик Богоматери и, поняв это как знаменье, вправил его в драгоценную ризу и привез в родное село. Молиться этой иконе в престольный праздник и сходились из соседних сел.

Когда по косо освещенной аллее мы подъезжали к Сапеловке, меня всегда охватывало волненье стариной. Сапеловка — старая усадьба мелкопоместных дворян. Илистый, сроду нечищенный пруд, с которого, подойдя, всегда спугнешь диких уток; фруктовый сад с сочной знаменитой родительской вишней; уродливые старухи яблони, накре-

жившиеся до земли под пестрыми пудами яблок; березовая аллея со стволами, изрезанными порыжелыми инициалами, и на солнечной поляне покосившийся дом с двумя колоннами и тремя подгнившими ступеньками.

Заслышав бубенцы, нас встречает у въезда в усадьбу снявший шапку однорукий чернявый Алексей, на конной молотилке по пьяному делу потерявший руку. От него вкусно пахнет хлебом, навозом, кумачом. Босая солдатка с грудями, уродливо перетянутыми передником, несет нам из людской ситника и молока. Мы походим по саду, пособираем яблок, раек, дуль. Дядя Михаил Сергеевич обойдет с Алексеем поля, переговорит обо всем немудреном хозяйстве, и отдохнувшие лошади, с тем же перезвоном бубенцов, везут нас обратно в Керенск.

Вся Сапеловка — в одну улицу, в тридцать дворов. Линейку уже ждут ребятишки, кричат: «Барыня, дай яблочков!» Им летят яблоки, райки, дули; ребятишки давкой подхватывают их, пока в завившейся пыли линейка не исчезнет. Чтоб не захватить темноты, ямщик трогает все резвей. И когда въезжаем на Керенскую площадь, я уже вижу на балконе беспокойное очертание деда, вглядывающегося в дорогу, и знаю, что, как только мы войдем в дом, бабушка взволнованно проговорит: «И что это вы до темного довели, мы уж думали, что случилось...»

IV

День, когда я уезжал из Керенска почти навсегда, был теплый, августовский. Как обычно, за минуту до отъезда в зале все сели и тут же, как всегда, первым поднялся дед, перекрестился на образа, и началось прощанье с наказаниями, объятьями, слезами теток, бабушки, деда; после родных прощанье перешло на прислугу. И наконец, ямская тройка, запряженная в дедушкин тарантас, подъезжает к крыльцу, громыхая по булыжникам большими колесами. Осаживая лошадей, ямщик дребезжит особенным «тпрррру» и, изогнувшись, откидывает потрескавшийся от солнца старый кожаный фартук.

Последние слова, слезы, и тройка тронулась из ворот.

Ехать из Керенска до железнодорожной станции Пачелма долго, почтовым трактом пятьдесят семь верст, с двумя перепряжками. Тройка уж звенит среди желтой ржи. Ямщик не то дремлет, не то правит: иногда он вскрикивает на непонятном ямском языке, стегает прыгающие крупы при-

стяжных; а когда идущие шагом лошади сами остановятся и, напряжив задние ноги, вспотевший, носящий боками коренник начинает мочиться, ямщик долго ему подсвистывает; и опять вскрикивает и трогает тройку рысью.

Когда тарантас въезжает в село, под ноги тройке кидаются худые, шерстистые собаки, еще злей скачут лошади, ту же пристяжные натягивают вальки и быстрее качаются под шлеями их потные зады с хвостами, подвязанными витушкой. С заваленок у изб медленно поднимаются мужики, низко, в пояс, кланяются тройке; мужики кланяются всякой тройке, потому что тройка это барин, но тут по едущему этой дорогой сорок лет тарантасу узнают, что едут внучата Сергея Петровича. Выкрикивая непонятное, еле долетающее до уносящегося в пыльных облаках тарантаса, вприпрыжку бегут светлоголовые ребятишки. Но рытвистая сельская гать кончилась, колеса сорвались в пыль полевой дороги, умерли крики, грохот, умерло все, остался только уносящийся по ржи звон бубенцов, да под дугой как захлебнулся на всю дорогу, так и качается, бьется колокольчик.

Саженые еще при Екатерине Великой, дуплистые березы обступили по обочинам многоколейный травянистый большой тракт. Из ржи встает, маша крылом, словно хочет улететь из поля злаков, дальняя ветрянка; везде рожь и солнце, это и есть Россия. Встретится едущий шагом задремавший обратный ямщик; пройдут конвойные с арестантами; протрясется верховой урядник в стареньком казачьем седле; и опять везде только рожь и солнце.

Тридцатую версту по выбоинам, мучая душу, прыгает дедушкин тарантас. А мимо проплывают Козловка с красным под зеленой крышей дворянским гнездом; широкое Шеино с задремавшим на горе среди темного парка белым амбирным домом с колоннами; татарское Никольское, в нем полусгнившая мечеть; Архангельское с васильковым церковным куполом-луковицей и мелькнувшим куском господского дома Ранцевых. Но наконец из ржи все-таки вырисовывается Черкасское с выстроенным наподобие замка пестро-красным домом барона Штенгеля. Здесь тройка вскачь мчит тарантас по зеленым от травы улицам села, потому что лошади знают, что в Черкасском им перепряжка.

На широкий двор почтовой станции въезжает взмыленная тройка. Почесываясь, побряхтывая, перекрикиваясь, к нам идут в засаленных фартуках, в разноцветных рубахах ямщики распрягать позванивающих, пофыркивающих лошадей.

Я люблю эту пушкинскую почтовую станцию с разнокалиберными телегами, бричками, тарантасами, дрожками, линейками, с множеством запрягаемых, отпрягаемых пар, одиночек, троек. На двор выходит сам Фарафон, степенный старик с курчавой бородой, в лоснящейся поддевке нараспашку, богатей, издавна гоняющий земскую ямщину. Я знаю всех его ямщиков, чернобородого Семена, кривого Федьку, старика Клима, но хочется, чтоб запрягли буланых, в легких яблоках, длинногривых степняков Гаврилы. Гаврила — кривоногий запьянцовский ямщик с носом луковицей и рыжей бороденкой; никто, как он, не пронесет так вплоть до самой Пачелмы.

Здравшего желтый хвост коренника с опоенными ногами ямщики, подхлестывая, вводят в оглобли; пристегивают пристяжных; и в заплатном кафтанишке, туго подтянутом красным слинялым кушаком, Гаврила с колеса прыгает на козлы. Ямщицким невыразимым движеньем он разбирает вожжи, концы подсунул под зад и с гиком, в котором различимо только последнее «с Богом!», тройка выносит тарантас на мягкую площадь, мча его за село, в даль екатерининской дороги, где в небесном зное плавают ястребы, а линия телеграфных проводов изуродована воробьями, и в полевой тишине их спугивает только приближающийся звон тройки.

Справа от тарантаса мелькают чахлые дубки, березняк, чащоба осинника, это урочище Побитое, оно так зовется потому, что давным-давно на этапном привале перегонявшиеся из Керенска в губернский острог колодники тут убили своих конвоиров.

Гаврила посвистывает. Пристяжные скачут в карьер, только коренник плывет стремительной иноходью. Скоро уж Пачелма. Перетрясая кишки, тарантас впрыгивает на гати и по камням далеко несется грохот колес, смешанный с звоном бубенцов и колокольцев. Из тарантаса мне уже виден открытый семафор и ушедший вдаль железнодорожный путь.

I

Юность прошла в городе Пензе и в своем именье Инсарского уезда. Кончилась юность смертью отца. Отец умер молодым. Это была первая смерть, которую я увидел.

Я проснулся тогда от шагов матери, шаги были особенно-торопящиеся и уже в их необычном звуке я словно почувствовал случившееся. В поспешно раскрывшихся дверях лицо матери было бледное, полное сдерживаемого страданья.

Я помню текшую по спине холодную дрожь, когда я одевался; хотелось бежать в спальню к лежавшему в сердечном припадке отцу и в то же время хотелось одеваться как можно дольше и даже не идти туда вовсе из-за какого-то сложного клубка чувств, в котором был и страх увидеть его умирающим.

Комната внезапно осветилась никогда ранее не замечаемым светом. Все предметы в ней — умывальник, стулья, стакан, зеркало — стали вдруг не вещами, а словно странными, впервые увиденными существами. Ими наполнялся весь дом; в столовой на накрытом скатертью столе — томпаковый самовар, серебряная сухарница, золоченая сахарница на шариках-ножках, какие-то вазы, все стало безобразно и уродливо.

Из спальни послышался испуганно-сдержанный шепот матери, уговаривающей отца не двигаться. Неся в тазу мокрые белые компрессы, оттуда вышла горничная Саша и вдруг, увидев меня, заплакала, заспешила, побежала по коридору.

Сердце леденело и падало, когда я и брат входили к отцу. В бордовом халате, с распахнутым воротом рубахи, отец полулежал в большом кресле, крупный, лысоватый; правильное лицо было подернуто мертвенной желтизной, лишившей его уже жизни; светло-серые глаза, словно расколотые, отсутствовали из мира; когда-то в детстве, играя на коленях отца, в этих глазах я «смотрел мальчиков».

Прощаясь, он с придыханьем произнес: «Благословляю... берегите мать... будьте честны...» Мать умоляюще зашептала, чтоб он не напрягался; отец слабо улыбнулся,

сказав: «Ничего, Ольгунюшка...» Я не знал, что мне делать. Мне хотелось уйти из спальни и было стыдно этого чувства, потому что я отца любил.

В дверь, торопясь, вошли врачи, потирающий с холода руки, насупленный, седой и другой, быстрый, маленький, рыжий. В столовой суетились горничная и няня, Анна Григорьевна: варили кофе, откупоривали шампанское; на столе валялись какие-то лекарства, разбитые ампулы. Но в этой общей торопливости я ощущал, что спасенья нет, что отец умирает, что рухнет все и завтрашнего дня уже не будет.

Я встал у окна, глядя на двор. На дворе, в овчинном полушубке и серых валяных с узорной каймой, кучер Никанор прометал дорожки от навалившего за ночь снега; мордва-дроворубы в зипунах и заячьих шапках беззвучно пилили длинной пилой; из кухни вышел повар и по его жестам я понял, что он кричит кучеру что-то смешное, вот он нагнулся, захватил снегу и, припрыгивая, кидается снежками в Никанора. Я гляжу на двор, но — кучер, повар, мордва, двор, снег, — кажутся мне необычайно несуществующими.

Отцу хуже. Красивые и сейчас какие-то разверстые глаза матери напряжены отчаяньем, она посылает меня в аптеку за кислородными подушками. Я тороплюсь, я рад, что сейчас уеду из дома, где умирает отец, поеду по морозу, буду дышать ветреным воздухом. Но и на улице все — люди, извозчики, лошади, дома — также сдвинуты с мест и также куда-то отошли. Вот мимо нашего дома идут пешеходы, а мне кажется, что они передвигаются в такой удаленности, что если я им сейчас закричу, то они меня не услышат; пешеходы куда-то идут и уходят от меня...

По усиливающейся тревоге в доме я понимаю, что страшная минута, о которой все боятся говорить, приходит. Вошли старые знакомые с совершенно новыми лицами, кто-то неловко взял из сухарницы печенье. По слезам вышедших друзей-докторов, по тому, как на кухне навзрыд плачет Анна Григорьевна, я чувствую, что приближение этой минуты ускоряется. И вдруг из спальни — полукрик матери и в доме все страшно остановилось. И тут же все как бы обрушилось, завертелось; внезапно все заходили, зашумели, заплакали. Во мне — камень тяжести в семнадцать лет моей жизни оторвался и стал куда-то бездонно падать.

Торжественную предсмертную тишину, в которой будто жило чье-то присутствие, запрещающее и громко говорить, и шумно двигаться, сменила теперь всеоскорбляющая суета. Только остававшаяся в спальне мать не видала изме-

нившегося дома; лицо ее было и незнакомо и странно непримиримым отчаяньем, а у лежащего отца лицо было, будто он спал.

В доме же теперь все говорили и ходили шумно. Я не понимал, по чьему распоряжению все происходит? Но начавшаяся суэта разрасталась все страшнее, и кто-то, казалось, ею управляет. Уложив трубки, шприцы, лекарства, уехали доктора. Прислуга понесла на почту телеграммы. Парадные двери раскрылись, и, стелясь по ковру, поднимаясь в комнаты, в кабинет отца, к креслам, с мороза повалил круглый холод. В натопанную снегом переднюю стали вносить живые, дышащие морозом цветы. Пришли знакомые отца по судебному ведомству, незнакомые, в шубах; мелькнули быстрые черные монашки Троицкого монастыря, зашептавшиеся с Анной Григорьевной о священнике, диаконе, хоре, и наконец, шлепая и скрипя калошами, появились здоровенные, запорошенные снегом люди из бюро похоронных процессий; это: гроб и катафалк.

А наавтра среди нежно-зеленых пальм и зеленой мебели, там, где всегда блистал лаковым крылом черный рояль, теперь стоял обитый глазетом гроб. Рваными космами по дому плавал ладан, мешаясь с запахом цветов и морозом. На панихиду с улицы входили любопытные, какие-то мешаночки в косынках, крестясь, перешептывались: «Где жена-то?» — «Да вон, у гроба». — «Молодая, поди, убивается». И, толкаясь, лезли посмотреть на покойника, на гроб, на цветы, на картины, на мебель, на пальмы, на лицо матери. Но вдруг всех раздавил громopodobный бас диакона; сморкаясь, откашливаясь и на ходу пуская октаву погуще, он шел служить, возглашать. Суэта становилась нестерпима. И только когда в запахах морозных цветов и в дым ладана влилось откуда-то слетевшее пенье, показалось, что в дом возвращается та прежняя тишина с страдальческим прислушиваньем к чему-то пролетевшему и задевшему наш дом темно-большим крылом.

Рыдающе-торжественное пенье разливалось сильнее, им излечивалось все и таинственно связывались порванные концы бытия и смерти.

Заколыхавшись, поднятый гроб, в цветах, уже движется в космах ладана, в пенье...

На улице, с непокрытыми головами, с развевающимися волосами, за катафалком пошли люди, поехали рысаки, извозчики...

На кладбище ветер гудел в безобразно голых сучьях над смерзшимися зимними могилами...

Последняя сотрясающая «Вечная память», гуд мерзлой земли и метнувшаяся над черной ямой, под руки подхваченная мать...

И всё. И мы возвращаемся с кладбища...

А дома на матово-узорчатой, накрахмаленной скатерти уже пришепetyвает, горячится, юмористически отражая весь стол, начищенный томпаковый самовар. Рядом изогнулась серебряная сухарница с раздумяившимися калачами, масленка с желтоватым маслом и веселым мужичком на крышке, вызолоченная сахарница блещет сахаром и хрустальные вазы предлагают вишневое и яблочное варенье. Вещи все уже встали на всегдашние свои места, выполняя все свои обязанности и предлагая начинать жизнь сызнова. Даже массивное кресло с выгнутой спинкой, в котором умер отец, отошло на обычное место и на него теперь может сесть кто хочет.

Парадные двери уже заперты. Комнаты проветрены, подметены, прибраны, паркет янтарно натерт, но именно *войдя в такой дом, моя мать лишилась чувств.*

II

Именье отца Конопать раскидывалось по холмам. К усадьбе шла малоезжая дорога, на лесной опушке стоял бревенчатый дом с резными карнизами и коньками и с широченым балконом, с которого виднелось лоскутное одеяло полей, а всем своим тылом дом выходил в шум березового леса.

Летний день в именье шел как обычно.

Брат крутится возле ломящих рожь лобогреек, две четверки лошадей с шумом волочат красные, машущие крыльями машины.

По двору в телятник проходит суровая старуха, моя чудесная няня Анна Григорьевна Булдакова; за свою жизнь где она только не постранствовала, ходила апостольским хождением на Соловки, в Оптину пустынь, в Саров, к Троице-Сергию, в Киевскую лавру, обошла все святые русские места и дважды носила свою веру в Иерусалим. Но сейчас она в заботах о телятах, сепараторах, маслобойках.

В саду с садовником и подсадчиком меж яблонь ходит в легком платье мать, осматривает, удались ли весенние прививки; перед балконом цветут ее любимые чайные розы и пестротой цветов рябят клумбы и рабатки.

В кузнице равномерно ударяет молот кузнеца-нижегородца Павла. На каурой кобыле, нахрячив воз сена до небес, с тихим скрипом везет его к конюшне старик Антон,

бродяга и запойный пьяница. С почты на беговых дрожках въезжает в усадьбу Степка с отторбучившейся от журналов и газет кожаной сумкой.

А в розоватых сумерках, когда малиновой тарелкой солнце закатывается за наш березовый лес и небо начинает медлительно гаснуть, на потемневший луг, крыть кобылу, конюхи выводят на длинных розвях звонко ржущего белого, почти голубого, взвивающегося на дыбы жеребца.

Вечером в людской рябая стряпка Степанида тащит на стол дымящиеся щи. А из нашего дома вырывается «gondo» Моцарта «alla turca», это, зажегши у пианино свечи, играет мать.

Но деревенская ночь падает быстро, и скоро жизнь на усадьбе затихает. Усадьба спит, охраняемая лаем десятка собак; а вдалеке, за черным горизонтом, полыхают еле видимые зарницы.

III

В воскресенье могут приехать гости, соседи: Марья Владимировна Лукина с дочерью или Никита Федорович Сбитнёв. Лукина, по-мужичьи Лукинша, басистая глухая старуха помещица с мужским лицом и заметными усами на верхней полной губе. Она родилась, выросла, прожила всю жизнь в соседнем Евлашеве; уже давно хозяйство ползет из рук старухи, родовое гнездо разваливается, но ничего изменить не хочет нравная барыня, живет так, как жили деды и прадеды. Однажды маклаку, приехавшему покупать телок, с крыльца так и отрезала низким басом:

— Телок продаю, да тебе, дураку, не продам, потому что стоишь передо мной в шапке.

— Да что вы, барыня, Богородица, что ль, чтоб перед вами без шапки-то стоять? — засмеялся маклак и, отругиваясь, поехал со двора умиравшей дворянской усадьбы.

Никита Федорович Сбитнев, это — другое. Это евлашевский мужик, глава богатой неделеной семьи. В воскресенье он приходит попить чайку. В черном полуперденчике-полуподдевочке, остриженный по-крестьянски в кружала, с пегой рыже-седой бородой, Никита Федорович на седьмом десятке занимается уж только пчельником, хоть старик еще кряжист. Он захватит обязательно рамку меду и за чаем, пия его до седьмого поту, не внакладку, а вприкуску, рассказывает, какой у него в этом году первый гречишный взяток, как работают его «пчелки». Часто он начинает вспоминать ста-

рину, об окружных помещиках, о том, что уцелело в памяти еще от рассказов деда. Помню, как одно такое воспоминанье Никита Федорович рассказал с сурово потемневшим лицом: будто его крепостной бабке барин Лукин, дед Марии Владимировны, приказал попробовать выкормить грудями кутят от околевшей любимой легавой собаки.

— До того, значит, эту свою суку барин любил, — сказал, помрачнев, неловко закашлявшись, Никита Федорович. — Да-с, покорно благодарю, чаек-то у вас нечто императорское! Не чай, а бархат! — И Никита Федорович перевертывает чашку вверх дном, кладя на нее оставшийся обкусок сахару. — Лукинъша-то вот еще держится, а многие тут вовсе попропадали от разных своих дворянских фантазиев, — поглаживая иконописной рукой пегую бороду, говорит Никита Федорович, — вот Алехин, Олферьевы, опять же Новохацкие.

И словоохотливый старик вкусно рассказывает, кто и как из помещиков пропадал, как прожигали, прокучивали поместья, кой у кого Никита Федорович и землю купил. Соседнее Смольково помещик Новохацкий промотал на смольковских же девок. В богатом Лопатине отставной ротмистр Олферьев, с привезенной из Парижа французской, фейерверками и кутежами до тех пор удивлял весь уезд, пока именье не пошло с торгов, а барина не вывезли на единственном оставшемся ему шарабане. На торгах, глядя на распродажу своего добра, Олферьев лежал на диване, и когда торг дошел до бархатной подушки под его головой, ее за рубль купил саранский прасол Постнов и, подойдя к Олферьеву, проговорил: «Подушка-то нам без надобности, только вот из-под барина-то ее вытащить!» И вытащил ее из-под Олферьева. Теперь от олферьевской усадьбы остались только развалины дома в сорок комнат, заросли жасмина, сирени да кусок недорубленного еще липового парка.

К вечеру, порасспросив о газетных новостях, о том, что «слыхать в столицах», Никита Федорович уходит домой, опираясь на вишневый подожок. А я седлаю белоногую кобылу и еду в глубь притихших ржаных полей по меже, заросшей повиликой, кашкой, медком. Воздух сух, с запахом полыни. В ржаном пространстве перекликаются перепела. Вот она передо мной, хлебная, полевая Россия, и в ее тишине мне хорошо оттого, что в поскрипывающем седле я дома, это мое счастье, моя страна, ей я и буду служить. Едучи верхом, я пою отрывки стихов Пушкина, Некрасова, Алексея Толстого; дав кобыле шенкеля, пускаю

ее в карьер и слушаю, как ожжит в ушах ветер и как дробно ударяются по земле подковы.

И здесь же, в полях, несколько позже, — теперь это очень трудно представить — меня измучивала христианская философия Толстого. Согласно с Толстым я чувствовал, что живу грешно и стыдно, что вся окружающая жизнь, с поваром, прислугами, тройками, отдыхающими бездельными родственниками, дурна и во зле. Как русский мальчик, я был душевно бескраен, а напор Толстого был так силен, что помещичья жизнь стала оборачиваться во мне душевным стыдом. На глупого работника, бродягу Антона, на вороватого кучера Андрея я глядел с завистью только потому, что они «живут трудами своих рук». И я помню ночь, когда я, помещичий мальчик, плакал, не зная, что же мне делать и как мне выйти из этой дурной нетрудовой жизни? Ночью я решил бросить именье, ученье, семью и ехать в Ясную Поляну к Толстому, чтобы он указал, как же мне жить. По зеленой юности я думал, что у Толстого это знание есть.

Трудно мне было вырваться от Толстого, но произошло это как-то помимо моей воли, когда на закате я лежал в березовом лесу и вдруг исключительно остро почувствовал всю непередаваемую прелесть и этого леса, и этого закатного вечера, и, подумав о Толстом, я вдруг понял, куда манит меня этот богатырский старик. От любимых полей, лесов, от верховых лошадей, от ярмарок, песен, плясок, от деревенских прегрешений любви, от музыки, от всей России мне ощутилось, что Толстой манил меня только к смерти. И тогда, в лесу, я внутренне оттолкнулся от него; слишком сильно я любил эту нашу цветущую землю.

IV

Когда умер дед, я поехал в Керенск на похороны. Суевверный, он боялся разбитого зеркала, трех огней, тринадцатого обедающего, не позволял при себе говорить о смерти, а умер кротко и примиренно. Когда дед уже задыхался, его, легонького, перенесли к балкону, с которого он всегда глядел в бинокль на свою площадь. За окнами в голых сучьях лип гудел ветер, несла метель. Возле деда внуки, дети, жена, с которой любовно прожил пятьдесят лет; уездное хозяйство в порядке; круг жизни завершен. Теперь дети и внуки похоронят его в любимом монастыре и с балкона в обтертый бинокль им будет видна его могила на монастырском кладбище.

Только на несколько месяцев пережила деда бабушка Марья Петровна; она умерла в июле, когда из раскрытых балконных дверей тянуло уже левкоями и матиолой. Но даже больная, в постели, бабушка по привычке все еще отдавала распоряжения по хозяйству. Кухарке, пришедшей спросить, отправлять ли в Сапеловку на откорм индюшек, с тяжелым усилием сказала: «Ох, нет, Марфа, оставь, может, на мои похороны пригодятся...» — и ночью умерла.

А еще через ночь в керенскую почтовую контору пришла весть о неожиданной войне. Перед дедовым домом площадь запружена крестьянскими лошадьми всех мастей и отмастков; телеги отпряжены, меж ними гурьбой ходят парни с гармоньями, отчаянно кричат песни. Это всеобщая мобилизация. Над площадью разрастается звериный, неистовый бабий плач. У балкона морщинистая, будто глиняная старуха припала к молчаливому парню, причитает: «Ой, Петенька, на кого ж ты меня оставляешь!» А неподалеку, всхлестывая руками перед ополченцем с запрокинувшимся набекрень картузом, голосит остающаяся солдатка, он же, ошарашенный водкой, не слушая ее, растягивает гармонию, играет. Трактиры облиты мужиками, толпы их то вваливаются, то вываливаются оттуда. Лысый, с выжелтевшей бородищей какой-то старик то матерится, то вскрикивает: «Сынок, сынок, ах ты, Господи...» У парней тилиликают с звоночками ливенки. Жалобные вскрики солдаток, плач детей, вой гармоний — все стоит душу ломящим гомоном. Даже чуждые горю какие-то старенькие мешаночки всхлипывают у окон, украшенных бальзаминами; в Керенске никто не хочет и не понимает войны.

Но вот вся площадь закопошилась и плач смертельно удесятерился. Это отругивающиеся от баб мужики стали запрягать лошадей, чтоб везти призывных на чугунку, на Пачелму. И когда длинно-пестрым шествием — сарафаны, рубахи, черные пиджаки призывных — тронулись со скрипом подводы, тут уж понесся все покрывающий, щемящий бабий визг. И долго еще издали долетал он до опустевшей площади; и только в сумерках Керенск затих, как заплакавший ребенок.

V

У нас в Конопати за год войны сельская тишина стала еще тише, но и тревожней. Белоглазый немец Франц Зонгаг в Косом Враге конными граблями сгребает сено, убира-

ет конюшни, по вечерам с бабами доит коров. Озорная скотница Марья в людской заигрывает с этим вестфальцем-металлистом, но он отмалчивается и, поужинав, садится каждый вечер учить русский язык, все что-то заносит в записную книжку, а по субботам пишет письма матери, описывая русскую деревню, нашу усадьбу, работу, еду; один раз в конце письма приписал: «Пишу тебе, а в русском господском доме играют немецкую музыку». Верно. Это был Моцарт.

За этот год из Конопати, Евлашева, Смолькова ушло много рекрутов, ратников, ополченцев. Письма приходят из-под Риги, с Карпат, из Польши, с Черного и Балтийского морей, с границ Турции. Но хоть и далеко ушли русские мужики, а к своей земле как приросли; в письмах все беспокоятся о хозяйствах, о пахоте, о лошадях, об оставшихся солдатках, о том, как они справляются. Их письма волнуют села, а ответные бабы волнуют русские окопы.

Пришли тяжелые известия: старшему Сбитневу оторвало ногу, он лежит в Царском Селе в лазарете, а в евлашевской ночной избе потихоньку плачет его баба. Конопатский Крушинин убит далеко от Конопати, под Танненбергом, на селе даже не знают, где это. Весельчак, балагур, мирской пастух Кротков попал в плен к австрийцам, смольковский Воробьев уплыл с войсками во Францию, а поповская старая стряпка Дарья получила от сына из окопов Галиции письмо, кончавшееся «ны... ды... ты...», и, сразу догадавшись, что это «наше дело труба», с какой-то даже странной радостью долго всем об этом рассказывала.

I

Я тогда еще не знал, что человек может быть переделываем жизнью. Мы — студенты, но, идя строем к капте-нармусу, уже даем ногу, и в мерном ударе общей ноги есть даже какое-то удовольствие.

В цейхгаузе, заваленном штанами, гимнастерками, сапогами, в беспорядочном набросе которых чудится что-то трупное, мы переодеваемся во все защитное; все наголо острижены. И, выстроившись в две шеренги, стоим перед рослым, жилистым полковником, украшенным боевыми орденami; на его скуластом лице загар войны, фронта, боев; мужественным голосом он обращается к нам:

— Господа юнкера! До сих пор вы учились в университетах, но сейчас вы мобилизованы и пришли учиться совершенно другой науке. Вы пришли учиться, — говорит полковник, — науке убивать, это трудная наука, и вы преуспеее в ней тем лучше, чем скорей забудете то, чему до сих пор учились...

С шумно-приятным ударом общей ноги мы выходим на военный плац, радующий глаз своей ровностью. Отделенный командир, по-осиному в талии перетянутый юнкер, бывший студент-математик, даже в выражении лица которого не осталось ничего математического, учит нас становиться во фронт перед генералом.

Полковник прав. Чтобы ловко маршировать, лихо делать фронт, проворно действовать пулеметом и по движущимся мишеням метко стрелять из винтовки, надо забыть «Пир» Платона и «Пролегомены» Канта; это мешает так же, как и то аристократическое чувство надмирности, которым дарила философия.

Я иду на отделенного командира. Он, как генерал, идет на меня. Не доходя до него, я отрывисто выношу вперед левую ногу и со счетом «два» становлюсь во фронт. Он проходит. Я провожаю его напряженным взглядом вращающейся головы и, отчетливо повернувшись, с левой же ноги продолжаю путь, пока не становлюсь второй, третий, десятый, сотый раз. В общем, это приятно, как всякое упражнение, развивающее ловкость тела.

На глазомерные съемки, учебную стрельбу, на тактические занятия, с песнями во взводной колонне, мы маршируем за Москву. Мы занимаемся этим в лесу, у Канатчиковой дачи, где помещены привезенные с фронта сошедшие с ума офицеры. И когда мы с песней уходим с ученья, из-за решетки сада сумасшедшие глядят на нас тихими, скучающими взглядами, явно не понимая, кто мы такие.

А у Даниловской заставы в этот час окна уже начинают светиться теплыми керосиновыми огнями. К воротам, посмотреть на юнкеров, цепляясь друг за дружку, бегут хорошенькие портняжки, прачки, горняжки. Из строя мы подмигиваем им, нас ведь держат взаперти. Рота, как машина, отбивает по снежной улице шаг. Мы для девочек поем:

Вспоили нас всех и вскормили
России могучей поля...

После ужина всех нас клонит ко сну, ибо за день мы утомлены маршем, гимнастикой, морозным воздухом; мы крепко спим на своих койках, чтобы на рассвете медная труба того же смешно вздувшего щеки горниста подняла нас на те же занятия.

В отпуск по Москве, где еще так недавно я передвигался в бесконечности кантовских пространства и времени, я теперь иду, взволнованно ища генерала. Какого угодно, пусть даже отставного, я его озабоченно выискиваю. И вот, наконец, золотом и кровью блеснул артиллерийский генерал. Он делает вид, что не замечает моего бьющегося сердца, но, кого-то оттолкнув, я уже становлюсь на снегу Арбата во фронт именно так, как меня учили.

Генерал подтверждающе чуть приподнял белую перчатку и проходит под моим вертящимся взглядом. Но на извозчике приближается второй, бородатый, с девочкой в голубом капоре, и я тороплюсь свернуть в Старо-Конюшенный, скрыться от красных подкладок, золотых и серебряных зигзагов генеральских погон.

В богатом истово-московском доме в Старо-Конюшенном те же знаменитые адвокаты, умные политики в очках, с бородами, известные инженеры, певцы, музыканты, актеры с именами. Гостиная полна говором, остротами, смехом. Студентом я засиживался тут до рассвета, а теперь в десять вечера юнкерское тело уже не в силах преодолеть сонности; и, несмотря на веселье и музыку, оно засыпает в желтом шелковом кресле. Я с трудом слышу спор знаменитого адвоката с социалистом-инженером о проливах. Невпопад улыбаюсь актеру, острящему о футуристах. От сонности я вижу все словно в уродливо искажающем зеркале, во мне

даже вырастает неясное раздражение против седой гривы адвоката, безмускульных рук известного скрипача, брызжущих бриллиантами розовых ушей актрисы и всей этой желтой гостиной стиля директории. Даже романс, вырывающийся звоном из темноты широко разъятого рта певицы, кажется бессмыслицей и дребеденью. Среди шелковой и, в сущности, уродливой мебели, с неестественными улыбками и движениями, певица поет о том, что мы пойдем в лес, нарвем цветов и будем счастливы, как дети. На рябющем рисунке желтоватого ковра я гляжу на свои солдатские сапоги, силюсь не зевнуть и, под раздавшиеся после романса аплодисменты, на цыпочках выхожу в дальний кабинет, где мне постелена кровать.

Наслаждаясь, я сбрасываю «лакеем» сапоги, протяжно зевая, с приятной ломотой в спине медленно скидываю одежду, ложусь на холодноватые простыни и накидываю теплое одеяло. Сразу же я впадаю в темно-влекущее бессознание, но все-таки еще разбираю, что в гостиной придуманно тенор поет о том, что он растворил окно, потому что ему стало душно невмочь и он поэтому упал на колени; но тенор умирает. Я сплю, и в сотый раз мне снится тот же юнкерский сон, как наш курсовой офицер поздравляет меня с производством, а мы все, двадцатилетние новенькие прапорщики, в золотых погонах, в зеленых бекешах, затянутых новыми ремнями, с новенькими наганами и шашками, толпимся на какой-то бесконечной снежной равнине и, обнимаясь, прощаемся друг с другом и все куда-то расходимся по снегу с подмерзшей проламывающейся коркой.

II

Сероватый рассвет. Морозная тишина. В улицах ни души. Деревянные тротуары заснежены. На крышах греются у труб галки. Все еще спят. А я, прапорщик 140-го пехотного запасного полка, иду в полк на занятия и слушаю, как круто скрипят мои подметки по обледелым тротуарным половицам.

Идти мне далеко, за Пензу, где в поле в бараках расквартирован полк. На ходу я думаю о том о сем, высчитываю очередь, когда поеду с маршевой ротой на фронт, вспоминаю, как играл Станиславский Вершинина в «Трех сестрах», как чудесно барабанил Маше «трам-там-там», а за сценой под сурдинку слышался марш. На Сенной площади мелькают рассветные очертания съезжающихся базарных мужиков в раскатывающихся розвальнях. Мужики в полушубках, ча-

панах, в голицах, в меховых собачьих шапках кажутся таинственными, неподвижными тумбами; лиц не видно, торчат только заиндевевшие куски аршинных бород.

Идя по наезженному снегу Сенной площади, я ощущаю трогательность того чеховского спектакля, вспоминаю и себя, студента, где-то высоко у галерки. Площадь остается позади. Я припоминаю, как три года тому назад приехал в Москву в университет и с Рязанского вокзала, в обнимку с чемоданом, ехал на извозчике, все чему-то улыбаясь, и никак не мог подавить эту от счастья выходящую на губы улыбку, хоть и стеснялся, что ее заметят прохожие. В университете, в светлооконных коридорах, — гудящая толчея зеленых, черных курток, сюртуков, пиджаков, русских рубаш, великороссы, украинцы, сибиряки, грузины, евреи, армяне. Вся Россия. И это ощущение с шестой части земли столкнувшейся молодежи — прекрасно.

У Старого вокзала я перехожу оснеженные рельсы, все еще полный воспоминаниями моей Москвы. Я словно даже чувствую тишину университетского читального зала; ощущаю и нашу гаудеамусовскую жизнь на Малой Бронной с попойками в ночной чайной «Калоше», с вечеринками землячества; воскрешаю в себе то чувство беззаботной приподнятости от всей этой студенческой свободы жизни, которая кажется теперь потонувшей.

Закутанный башлыком унтер-офицер ведет мне навстречу взвод мерно мнущих снег солдат и хриловато командует: «Смирно!..» Отдавая честь, я говорю: «Вольно...» Передо мной снеговая равнина, на ней ряды барачков, в них — полк; за годы войны Пензу затопил шестидесятитысячный гарнизон, и бывшей Пензы тоже давно нет. Я отворяю дверь барака, под ноги мне вырывается пар, крутятся низкими клубами; взводный истошно подает команду.

Шумя негнушимися подметками, солдаты строятся. Это все пожилые ратники. Я вывожу их в снежное поле и там начинаю учить стрельбе по движущимся мишеням, рассыпаю в цепь, гоняю перебежками, заставляю окапываться, залегать, готовлю к фронту так, как приготовлен и я. А в перерывах, когда солдаты вольно толпятся, курят и, согреваясь, наотмашь машут крест-накрест руками, я толкую с ними о войне и знаю, вижу, что этим бородачам-мужикам военная служба тяжка, что думают они не о ней, а о своих деревнях, хозяйствах, о бабах. Но этого я стараюсь как бы не замечать. Когда же во взводной колонне мы уходим с ученья, и я приказываю песню, и песенники запевают уныло-тревожную «Вы послушайте, стрелочки», не останавли-

вая ее, я совершаю, в сущности, служебный проступок, ибо песня эта запрещена приказом командующего округом как не возбуждающая воинских чувств.

Но в поле, в желтых снегах я один только и иду с ротой, и я молчаливо разрешаю песню потому, что она единственная, которую солдаты любят петь. А любят потому, что выливают в ней свои подлинные чувства. Я же ее люблю оттого, что, слушая подхватывающие, дробные крестьянские голоса, заражаюсь их заунывным вдохновением.

Вы послушайте, стрелочки,
Я вам песенку спою.
Я вам песенку спою,
Про службицу про свою.
Три мы года прослужили,
Ни о чем мы не тужили,
Стал четвертый наступать,
Стали думать и гадать.
Стали думать и гадать,
Как бы дома побывать.
Как бы дома побывать,
Отца, мать повидать.
Отца, мать повидать,
С молодой женой поспать...

За обедом в офицерском собрании все мы, молоденькие офицеры, всегда говорим об одном: когда и чья уходит на фронт маршевая рота? Конечно, мы читаем газеты, следим за Государственной думой, волновались речью Милюкова о «глупости или измене», статьей Маклакова о «сумасшедшем шофере», толковали об угрожающих правительству речах Керенского и Родичева; правительство «петербургских старичков» у нас непопулярно, но все же всех нас это уже мало касается; мы почти уже в окопах, наши чувства только военные, мы видим только войну; и все думаем, что, Бог даст, вопреки всему Россия дойдет и до победы.

Отъезжающий на позиции прапорщик играет на рояле и поет:

У меня блестят погоны,
У тебя дрожит рука.
Эти пыльные вагоны
Ждут последнего звонка...

III

И в этот вечер из полка я шел, как всегда, усталый, закутанный в обмерзавший от дыханья башлык. Пенза вся в синей темноте; от мороза быстро бегут редкие очер-

тания пешеходов; от режущего ветра ломит переносицу. Зато дома, в жарко натопленных комнатах, я рад отдыху. Освещенная сквозь желтый абажур, у темно-красного стола в гостиной сидит за вышиваньем мать, в ее пальцах игла делает цветные стежки на суровом, смятом ее рукой полотне. Я снял холодноватые сапоги, в туфлях, пожевывая, шелещу длиннейшей, широченной газетой «Русское слово».

Вдруг в передней позвонили. Разношенными валенками няня Анна Григорьевна прошуршала к парадной двери. И вдруг чьи-то чересчур быстрые шаги, и, еще путаясь в рукавах скидываемой шинели, приятель, прапорщик Арзубьев, из передней закричал: «Потрясающее известие! В Петербурге переворот! Самая настоящая революция!»

На полных щеках, в круглых темных глазах Арзубьева сияющая радость. Может быть, потому, что тяготили неудачи на фронте, затянувшаяся война, немощность правительства, распутинские скандалы, но нет, нет, вовсе не поэтому, а по чему-то совсем другому и я вдруг ощутил ту же странно обжигающую меня радость. Эту радость я увидел и в матери, и даже в спервоначалу обомлевшей няньке Анне Григорьевне.

Явно ощущая приятность, что он первый в городе узнал такую историческую новость, Арзубьев, хоть и торопясь, но со вкусом, рассказал, что его отец, инженер Рязано-Уральской железной дороги, только сию минуту получил телеграмму за подписью члена Государственной думы Бубликова, что правительство свергнуто и власть уже в руках членов комитета Государственной думы.

— Теперь скорая победа и конец войне! — сиял Арзубьев.

— Надо Ладыгиным сказать. — И Анна Григорьевна зашелестела валенками к двери.

Вскоре, торопясь, вошел плоскогрудый, желтолицый прижатый поверенный Ладыгин с круглощекой женой и застенчиво улыбающейся дочерью-курсисткой. С ними, извиняясь и шурша длинной юбкой, пришла даже их гостья, спесивая дама с прищуренными прохладными глазами. Арзубьев еще раз рассказал о телеграмме Бубликова, и я видел, как все обрадованно заволновались. Даже незнакомая спесивая дама, оказавшаяся вдовой полицмейстера, проговорила:

— И я скажу: поделом! Всеми этими скандалами нельзя губить страну! Уж если Пуришкевич назвал наше правительство забывшим родину, то и поделом!

А на рассвете я бежал в полк. Я, конечно, за республику, за Думу, за Милюкова — Гучкова и за победу, которая теперь приблизилась! Перерезая Базарную площадь с редкими на морозе жавшимися, жалкими прохожими, пробегая мимо мертвых домов и унылых улиц, мимо рыбных рядов, где сусеки полны торчащей мороженой рыбой, я чувствовал захватывающее душу возбуждение, и все вокруг, казалось мне, перерождается.

Но в полку никто еще ничего не знает. В бараках тихий гул солдатских голосов; в поле на занятия их не вывели, и солдаты чувствуют, что, кажется, произошло для них что-то важное. Но что? Не знают. Они переговариваются, перешептываются, но как только подходят офицеры, хмуро расходятся.

В бильярдной офицерского собрания толпятся офицеры. Капитан Васильченко с отчаянным лицом, молча, ходит из угла в угол. Молодые возбуждены, как и я. Большинство же мнется, покашливает, словно поперхнулись. Говорят, что командир полка заперся в кабинете в ожидании телеграфного ответа командующего округом на запрос: что делать? Но телеграф бездействует.

В роте я вызываю взводного Каркунова, мелкого бакалейщика до войны. По его смеющимся глазкам я вижу, что он уже знает и ему нравится. Я беспокоюсь: а вдруг солдаты пойдут усмирять город, усмирять революцию, если будет отдан приказ? Каркунов пугливо глянул на дверь, заперта ли? «А кто ж их знает, ваше благородие, народ темный, слушают, а что к чему не понимают». Но после раздумья дружеским шепотком бросает: «Да нет, навряд ли выйдут, война надоела, домой хотят, вот что».

Меж бараками по снегу пробегают серые шинели, нагоняют друг друга, толпятся, о чем-то говорят, узнать бы: о чем? Везде полуголоса, шепоты, все чего-то напряженно ждут. И вдруг в роту вбегает побледневший прапорщик Крылов — потрясающее известие: царь отрекся! Он рассказывает, что командир полка в кабинете упал в обморок. В собрании офицеры смяты. А в бараке я не могу даже узнать своих солдат. Со стены сорвали портрет царя, в клочья топчут его сапогами, будто никаких царей никогда в России и не бывало. Солдаты ругаются, приплясывают, поют, словно накатило на них веселое сумасшествие, словно начинается всеобщее счастливое землетрясение. Еще вчера они даже не знали это трудное для мужицких губ слово, а

сейчас кричат: «Ура, революция!!!» И я, двадцатилетний республиканец, чувствую, как спадает моя радость, убитая совсем другой радостью солдат. Из офицеров я в бараке один, кругом меня хаос криков: «Урррраааа!!! Да здраавствуеет!!!» И крики эти будто вылетают не из глоток, а из каких-то таких опьяняющих глубин, что того и гляди эта обезумевшая радость перехлестнет берега и все затопит. Это радость какой-то всеобщей распутицы, в которой тонут люди, лошади, телеги, и хоть все, может быть, и утонут, но сегодня всем почему-то очень радостно. У солдат сразу все стало иным: изменились лица, жесты, движения, голоса. *Это другие люди.* И это зрелище и захватывающе, и страшно. Это, вероятно, то мгновение, которое называет революции великими. Может быть, оно одно и есть революция, а завтра его уже не будет? Но сегодня все закачалось, затанцевало. Так почему же с чувством тревоги ощущаю я взрыв этих сил? Он мне чужд. Я ему даже супротивен, ибо я не хочу этой всепрокидывающей, все-разрушающей, всему угрожающей стихии.

— Долой отделенных! — хохочет на нарах танцующий мордвин; он подбрасывает к потолку сапог с взвивающейся из него ржавой портянкой; мордвин уверен, что теперь он свободен от власти отделенного, которого вчера еще боялся.

— Войну долой! — пронзительно летят простуженные басы и тенора из соседнего барака. Мужики нюхом учуяли, что теперь без начальства война повалится под откос и они уже ближе к своей земле, к избам, к бабам, и их общая радость так могуча, что ей не удержаться в бараках. Гого-чущей, мускулистой толпой полк вываливается на желтый снег, меж бараками колышется океан шинелей. Приветствуя революцию, революционные войска маршем хотят пройти по городу.

V

На Московской улице красные банты, красные знамена, полотнища кумача; и откуда достали столько кровавой материи? Пензяки, без различия состояний, все улыбаются, как на Пасху. На извозчиках, потрясая разбитыми кандалами, в халатах, в войлочных шапочках, в казенных котах едут освобожденные из острога уголовники. С извозчиков они что-то кричат о свободе, о народе. Толпа криками приветствует их. Даже извозчики везут их даром; в России теперь все будет даром! «Отречемся от старого мира!» Тюрь-

мы уже взломаны, стражники бежали. В свободной стране не может быть тюрем. Теперь свобода всем, совершенная свобода! Жизнь народа началась только сегодня, а все, что было вчера, выброшено из народной памяти. Только с сегодня, с этого мгновения, как бы сызнова, пошла история России всеми своими полыми водами. Это ледоход, ледолом. И чтобы это чувствовать, видеть, ощущать, стоит жить.

Освобожденный народ не нуждается в полиции, и полиции нет, она бежала от народного землетрясения. Везде песни, приветствия, давка опьяненной толпы, обладательницы ничем теперь не ограниченной свободы. Губернатор Евреинов арестован, но беззлобно, просто выброшен, как ненужный предмет. По указу революционного Временного правительства власть перешла к председателю губернской управы князю Кугушеву, хорошему знакомому и постоянному партнеру губернатора в винт.

Невыдающийся, безобидный князь, ставший, против воли, революционной властью, от имени революции обязан принять парад народа и войска на Соборной площади, где в склепе хранится гробница осособченного у пензяков архиерея Иннокентия. В каракулевой шапке, в пальто на кенгуровом меху князь стоит на увитой кумачом трибуне, рядом с усатым адвокатом, своим помощником. Обоих окружают мешковатые, милые члены управы и гласные Думы. Но с трибуны будут говорить теперь не они, их оттеснили, на кровавый кумач лезут совсем новые, из подполья вымахнувшие ораторы.

Тощий юноша с лиловым, несвежим лицом, пропагатор Шадрин произносит перед толпой невообразимую речь; его не интересует Пенза, отцы города, он не занят даже Россией. Махая над толпой голодными кулачками, он кричит о человечестве, о том, что через все окопы, через все проволочные заграждения, через границы всех государств эта свобода русской революции полетит ко всем, ко всем, ко всем! Толпа гудит, рукоплещет трогательной всечеловеческой речи Шадрина, полощет в февральском воздухе кровавыми полотнищами. Толпа хочет того же, чего и он, вот такого же веселого и обязательного всеобщего и радостного мирового танца.

Но революционные крики обращаются все-таки и к комиссару Временного правительства, к перепуганному князю Кугушеву. Толпа не видит его испуганного лица. Неподалеку от Кугушева, у трибуны, стоит седоусый бригадный генерал Бем, начальник гарнизона, в петлице его касторовой шинели тоже есть, хоть и небольшой, красный бант. С

окраин в центр идут шестьдесят тысяч войска, это сверхчеловеческий парад, сотрясающий воздух над Пензой; такого парада генерал никогда еще не принимал; блестящий снег весь изранен солдатскими сапогами.

Я иду впереди роты, слышу сзади: «Нет теперь командиров! Идем как хотим!» Солдаты пьяны и свободой и водкой, все течет самотеком, под давлением нечеловеческих сил.

Перед полком на коне едет наш седенький командир. На груди, рядом с орденом св. Владимира, у полковника приколот красный бант и на побледневшем лице старика вся необычайность его ощущений. Сквозь марш долетают пьяные крики солдат. Оркестр играет Старо-егерский марш. Конь полковника танцует, выбрасывая серый хвост; это спокойный конь, но по службе он знает, что под марш надо всегда чуть-чуть играть и шалить.

Перед нашей ротой идет верткий ефрейтор с портретом великого князя Николая Николаевича. В бараке, только что вырвавшись из карцера и поэтому опоздав к самому началу революции, ефрейтор долго не знал, что б ему сделать; он папашой сбил икону, ударил ее ногой, отшвырнув под нары, орал о «Гришке и Сашке», топтал обрывки уже растоптанного портрета царя, но вдруг, увидав великого князя, подпрыгнул, сорвал портрет и теперь, заломив вязанковую папаху, идет с этим портретом перед ротой. Ефрейтор обязательно желает театральности, он крепко заложил за воротник, он покачивается, месит снег пьяными ногами и с кому-то угрожающим лицом то и дело сипло вскрикивает: «Ддда здддрравствует Ррррадзянка!»

Трубаچی устали. На морозе пристывают к трубам губы. Как только обрывается марш, сразу же шелестят по снегу тысячи солдатских сапог. Отдохнув, трубаچی ударили снова, раздувают щеки маршем «Москва». Под эту плавкую русскую мелодию, по этому снегу с алеющими кровью бантами ноги сами подламываются, сами идут; солдаты подтягивают: «Масква, Масква, золотые главы!» — и шелестят их сапоги.

— Братцы, долой войну! — кричат высыпавшие из мастерских замасленные железнодорожные рабочие.

Долой! — режут ответно солдаты. Под бледным полковником боченится от этих криков конь. На Московской мы столкнулись с желтыми бескозырками драгунского полка, едущего под полувальс, под полумарш. И пока стоим, пропуская конницу, в строй вбегают пьяные от счастья интеллигенты в пальто с каракулевыми воротниками, жмут солдатам и офицерам руки, кричат: «Да здравствует армия!»

Да здравствуют офицеры!»; ревом «ура» солдаты отвечают и им.

Под это немолчно стонущее «ура» мы подходим к Соборной площади. Головная колонна с командиром на коне поравнялась уже с трибуной комиссара Временного правительства. Изредка князь Кугушев помахивает каракулевой шапкой в знак приветствия. С странно сведенным лицом стоит и генерал Бем, держа под козырек. Его белую перчатку я вижу на кровавых полотнищах кумача. А вокруг взлетают папахи, гремят марши, туши. Вместо губернатора с балкона губернаторского дома взвизгивают его несколько горничных: «Урра, да здравствует революция!»

Но вдруг все прорезали сильные выкрики: «Бема бьют!» И все кинулись к трибуне комиссара, а с тротуара, ничего не поняв, дамы машут сумочками, платками, кричат: «Ура!» Я и прапорщик Быстров сдерживаем наших солдат. Я кричу: «В строй!» — я остервенел, я лезу на солдат, я знаю, что если сейчас мы их не сдержим, они, может быть, разнесут все.

— Музыка, музыка! — странно кричит командир полка. Это он хочет хоть музыкой увести бесстройную разламывающуюся полковую колонну. Гулко бухнул большой барабан, но с разных сторон мешаются с музыкой те же хриплые крики: «Бьют, бьют!»

В воротах какого-то дома мы, пять прапорщиков, не пускаем наседающую на нас толпу. Сзади на снегу валяется голый, пятнистый от кровоподтеков, растоптанный солдатскими сапогами труп полного человека, и в этом трупе, странно раскинувшем руки и ноги, есть что-то совершенно несообразное с только что виденным командиром бригады и начальником гарнизона.

— Товарищи! Где же свобода?! Товарииииищщииии! Это же позор революции! — надрывается ломкий, умоляющий юношеский голос прапорщика Быстрова. Я уперся кулаком в грудь лезущему на меня солдату, его глаза бессмысленно остекленели, ряд желтых, словно собачьих, зубов ощерился, изо рта тянет самогоном. «Да что ты, осатанел, черт!» — кричу я. А солдат только разгоряченной дышит, прет, давит, он только и видит что валяющийся сзади меня окровавленный труп. С площади долетает марш, это командир все еще хочет увести солдат музыкой.

И вдруг из-под солдата на меня вывернулся розовенький гимназистик с голубыми кантами эвакуированной из Польши гимназии; ему жарко от давки, но даже среди одичалых солдатских лиц это хорошенькое лицо ошеломля-

ет меня своей искаженностью. Мальчик бьет локтями, протискивается. «Пустите!» — с визгом кричит кудрявенький, хорошенький буржуазный херувимчик.

Упав, я еле выпростался из-под сбивших меня тел; они прорвались; я только вижу их бегущие к трупу подметки с налипшим на них снегом и меж серых шинелей маленькую, черненькую, гимназическую, опережающую всех. Возле трупа, размахивая, как мясом, вырванным куском красной генеральской подкладки, хохочет бородатый солдат. «Вот она увольнительная записка-то!» И, теребя полуоторванную руку трупа, двое солдат перочинными ножами срезают с генеральского пальца затекшее обручальное кольцо.

А революционные шествия мимо князя Кугушева все идут, там все кричат «ура» и играет музыка. И только в сумерках солдаты и народ расходятся с площади, кто куда хочет.

В темноте Пензы вздрогнули фонари и погасли. В этих завываниях ветра их некому зажечь. Горожане крепче запираются на замки, засовы, крючки, боятся грабежей. Но это совершенно напрасно, восставший народ благодушен. В снежной тьме все тонет в песнях, в лузганье семечек. На базаре кабатчики попытались запереть трактиры, потому что солдаты не хотят платить за водку, но солдаты не дали запереть, хватит, поплатили, и задарма пьют за здоровье Революции Ивановны. Этим-то и хороша февральская свобода, что она полная свобода! В ней осуществлена *совершеннейшая свобода человека!*

Посередь снежной улицы, в темноте, мимо нашего дома идут солдатские толпы; сквозь нежно-лапчатую ткань морозного окна видно, как, качаясь, идут в обнимку, в шинелях нараспашку и все поют вразнобой, с жгучим удовольствием. А у нас в комнате, указывая на них, присяжный поверенный Ладыгин, в молодости за дело народа знававший каземат Шлиссельбурга, говорит с отвращением:

— Теперь мы все в их руках, — и, помолчав, добавляет с какой-то трещиной боли в голосе: — Ухнула Россия... там, — указывает он куда-то, вероятно на Петербург, — все упустили... а теперь уж не подхватишь... все пропало...

VI

В неурочное время в сторожком мраке пустой Никольской церкви, у иконы Богородицы в высоких, серебряных, закапанных воском подсвечниках горят желтые свечи. В

церкви нас двое: мать и я. Дряхлый отец Никодим в зеленоватой епитрахили служит напутственный молебен; в церкви пахнет и ладаном, и какой-то милой затхлостью. Я уезжаю с маршевым батальоном на Юго-Западный фронт, где началось наступление русской армии.

В чем-то легком, черно-кружевном, на коленях перед сурово темнеющей Богородицей молится мать; в ее моляще поднятых на икону карих сияющих глазах дрожат слезы, губы, осиливая рыдания, шепчут; крепко вжимая крестное знаменье в лоб, в плечи, мать невольно смежает веки и вдруг, не в силах сдержаться, рыдает. От старческого голоса отца Никодима, читающего Евангелие, от музыкально-меркнувшей темноты мать плачет все безудержней. И после молебна мне с трудом удастся настоять, чтобы она не ехала провожать меня еще и на вокзал.

Маршевый батальон выстроен на площади с оркестром музыки впереди. Я, член полкового комитета, говорю солдатам краткую речь о начатом наступлении. Я говорю искренно, но мне мешает говорить то, что я все-таки понимаю, что «разумная дисциплина» и «свободная армия» это нечто вроде балета хромых и оперы немых. Солдаты стоят недовольные, изредка, как бы из вежливости, откашливаются. Маршевые роты не доходят до фронта, с дороги разбегаются по домам, до того не хочется им войны, до того не терпится им дорваться теперь уж не только до своей, но и до чужой, помещицкой земли.

После отслуженного на ветру молебна архиерей Владимир, блеща черными лаковыми глазами, дает нам всем приложиться к прохладе золотого креста и приятно кропит обнаженные головы мокрой метелкой.

Команда «становись!». И вот оно первое движение к окопам: погрузка в вагоны. Ах, как хорошо идти под музыку этого легкого веселого марша, под нее бы и умереть пустяки. У вокзала раздается отчетливый шум снятых к ноге винтовок и солдаты давкой врываются на перрон. Возле длинного красного эшелона стоят матери, отцы, сестры, дети. Матери все пытаются еще хоть раз обнять сыновей. А в теплушках с взвизгами затереренькала гармонья: «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает!»

У головы поезда горнист играет сигнал к посадке. От этих тревожных звуков даже крепившиеся женщины заплакали. А в вагоне все разухабистей, все хулиганистей наяривает ливенка. В ответ горнисту свистит паровоз. И эшелон медленно и плавно поплыл от пензенского вокзала.

Крича что-то безумное, вырываясь из рук дочерей, мать прапорщика Быстрова, протянув к нему руки, бежит за поездом.

А поезд дымит, ускоряет ход, поезду ее не жалко. Она упала, ее поднимают какие-то темные люди. В поезде с звоночками перебирает гармонья; солдаты поют: «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой». У окна вагона Быстров стоит с затуманенными глазами. На верхней полке весельчак прапорщик Кирилл Ивановский, задрав вверх ошпоренную ногу, напевает: «Завтра, может в эту пору, нас на ружьях понесут...» А внизу между лавок, сидя на фибровом чемодане, похохатывает банкомет поручик Нижегородцев, тасуя карты, уже начиная «железку».

Река Сура, красный мост, мужской монастырь, холмистая зелень часовни Живоносная Источница (откуда, по преданию, при осаде Пензы кумыками, из городских ворот вынесся Светлый Всадник, обративший в бегство кумыкского Аюку-хана), театр, белый собор — все мелькнуло, и моя Пенза уходит на повороте; только с железнодорожной насыпи метнулась худая стреноженная лошадь и уродливо запрыгала по лугу, трепыхая гривой. Паровоз протяжно свистит. «Прощай, моя Пенза, прощай все, что я в тебе так любил!»

VII

Эта в желтых обрывистых берегах река называется Днестр. Земля эта — Буковина. А чужой поселок, куда мы ночью входили со звоном сцепляющихся штыков, называется Залещики. Квартирьеры отвели мне ночлег в заваленной барахлом еврейской халупе; перепуганная кудрявая еврейка умоляет уйти, поискать другую квартиру, у нее болен муж, много детей, много вещей. В зоне военных действий ее ломаные шкафы, комоды, шифоньерки, продавленные чемоданы, бронзовые шандалы и кенкеты кажутся мне какими-то потусторонними предметами. Но куда ж деваться в темноте неизвестной ночи? И я успокаиваю хозяйку, что наутро мы уходим дальше на фронт.

Но наутро у Днестра, в солнечном местечке Залещики, солдаты замитинговали. Мы довели из Пензы только половину батальона, другая повыпрыгивала на станциях в темноте ночей. Но вот и привезенные, почувствовав, что потянуло сыростью окопов, боями, смертной тоской, сошлись на митинг в местном театре и отказываются идти дальше.

Контуженный, бессильный капитан Грач, командир батальона, уговаривает солдат подчиниться приказу, выступить, спасти начатое наступление. Но на сцену театра выбежал загорелый солдат, в шинели внакидку, с космами выбившихся волос, с затравленными глазами и ремненным поясом почему-то на шее. Этот солдат-кликуша закричал:

— Вот ты говоришь о Расее, и мы, конечно, с тобой солидарны, а говоришь ты сё-таки неправильно! И вот я спрошу тебя по-своему, пачему ты затростил об ей, о Расее?! У тебя фабрики, да заводы, да именья, вот у тебя и Расея, ты и голосишь, чтоб воевать. А у меня, к примеру, где они мои именья-то? Где?! — с остервененьем закричал солдат. — Кады они у меня были?! У меня и земли-то всей, что вот под ногтями... вот она, моя Расея! Да чем я ей, Расее, виноват, раз я всю жизнь на господов работал, раз у меня в ей ничего не имеется! А по-нашему, по-неученому, раз слободно для всех, то кому надо, поди да воуй, а меня не трожь, повоевали и будя!

— Довольно обдуряли нашего брата... замудровали... — зашумели солдаты.

Грач беспомощно смотрит на офицеров. Просит выступить меня. Но что я скажу? Ведь кликуша-солдат в чем-то и прав. Конечно, для меня дело не в именье, «оплаканном» еще в отрочестве. У меня есть за что идти, у меня есть Россия. А у них? Это страшно сказать, но я знаю, что у них нет ничего. Стиснутый толпой, я лезу на сцену и, отвечая «предыдущему оратору», начинаю речь о том, что Россия такая же родина моя, как и его, но я, конечно, знаю всю лживость и неподлинность таких уверений.

— Ты сперва землю отдай, а тады на хронт! — кричит солдат с черной развороченной бородищей.

Я понимаю, что веревка, на которой триста лет водили русскую армию, сгнила, что петровскую палку в Петербурге кто-то выронил. И все же я, свыше меры взволнованный двадцатилетний прапорщик, кричу, уговаривая солдат идти на смерть и без веревки, и без палки.

Закрывшись загорелой рукой, в первом ряду плачет боевой пулеметчик, подпоручик Кислов. А я все кричу, все уговариваю землей, свободой, легендой о России. За мной выступают такие же прапорщики-студенты, Дукат, Ягодин. И, наконец, двадцатилетние мальчишки, в театре Залещиков мы совершаем чудо. Мы осиливаем солдат: без палки, без дисциплины они соглашаются идти умирать с остатками развеянного чувства о родной стороне. Конечно, я знаю всю хрупкость этой нашей победы, ибо с первого пензенского

дня революции чувствую всю неминуемость еще неясной, но надвигающейся гибели.

Но сегодня на площади Залещиков уже играет военный оркестр. Нам приказано влиться в 117-ю пехотную дивизию, находящуюся в боях. У солдат в подсумках полный комплект боевых патронов, а под рубахой нательный крест или медный образок, у каждого холодит на груди жестяной личный знак с номерком, чтобы по нем опознать убитого. У меня — надетая матерью ладанка с молитвой-псалмом, из прекрасных слов которого я запомнил: «...перьями своими осенит тебя и под крыльями его будешь безопасен; щит и ограждение — истина его; не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень; падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизятся, ибо ангелам своим заповедую о тебе — охранять тебя на всех путях твоих; на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать льва и дракона будешь...»

Под Преображенский марш двинулась голова колонны.

Подтрунивая над моей любовью к маршам, друг, прапорщик Кирилл Ивановский, улыбаясь, подмигивает:

— Но каждый марш звучит печально, в нем что-то уходит и вот, быть может, ушло бесповоротно.

— В маршах всегда есть движенье, они на сухожилия, на кожу, на мускулы действуют, в марше физиологическое удовольствие, к тому ж на ходу только и думается по-настоящему, — отвечаю я.

В окне халупы я вижу довольное лицо освободившейся от постояльцев еврейки. В душных облаках поднимаемой нами пыли мы проходим мимо обрывистых берегов желтого Днестра и выходим на шоссе, за годы войны истоптанное и избитое солдатскими сапогами и подковами конницы.

VIII

Над нами высокое беспощадное небо с нестерпимым жидкорасплавленным солнцем. Ворота рубах расстегнуты, лица матово-пыльны, на губах соль, пот, песок, и нет края этому ползущему галицийскому шоссе с копошащимися на нем игрушками-солдатиками, конями, орудиями, передками, зарядными ящиками, обозными повозками, двуколками, верховыми, мотоциклетами. Все движется сплошной лавой — конница, пехота, артиллерия; движенье то и дело за-

купоривается живой пробкой; с треском сцепляются колеса орудий, друг на друга наезжают упряжки; над шоссе повисла матерная брань ездовых, храпят под хлещущими нагайками, бьются лошади. А надо всем темным облаком поднимается пыль, и под сумасшедшим солнцем мы задыхаемся в этой пылающей пыли. Губы ссохлись, пересмякли; усталость, голод, жажда; на остановках люди мгновенно засыпают тут же в пыли, в канавах у дороги, но это не сон, это тяжкое забытьё. На деревенских улицах у одиноких колодцев солдаты сгруживаются пить, сюда же с ведрами бегут кавалеристы поить лошадей; но на походе от питья только тяжелее.

Сколько дней мы идем? То ночуем в развороченных гранатами халупах, то на дворах под нежно шелестящими ветлами. В походном снаряжении люди спят в странных вывернутых позах; если б они не вскрикивали, не стонали во сне, можно было бы подумать, что это забытые на дороге трупы. А то мы идем ночь напролет под звездами и задремываем на ходу, в усталости не разбирая, сон ли это, явь ли, и все движемся вперед, ступая отяжелевшими ногами в темноте черного ночного шоссе. И чем глубже мы вклиниваемся в Галицию, тем шоссе взволнованней и бесповоротней втягивает нас в то дикое пространство, где нет уже ничего, кроме войны.

Левый сапог трет, я плохо подвернул портянку, но переобуться боюсь, отстану. «Ну вот, это и есть война, — прицапывая по шоссе, думаю я, — все это, оказывается, совсем просто, еще переход, и за Коломыей мы «войдем в соприкосновение с противником», как обычно пишется в военных реляциях». Как мы войдем, я еще не совсем себе представляю, но это там будет видно. Сейчас в Пензе, Тифлисе, Омске, Архангельске люди читают в газетах о Юго-Западном фронте, как когда-то читал и я, и этот *Юго-Западный фронт* представляется им в виде какой-то идеальной военной линии. На самом деле это мы, копошащиеся игрушки-солдатики, лошади, пушки; мне кажется, что в нас есть даже какая-то беспомощность; из Пензы все казалось гораздо величественнее.

Мы оставляем за собой виднеющиеся ломаные изгибы старых русских окопов; проходим мимо обращенных к ним бывших австрийских; в канаве валяется уйма какого-то снаряжения.

— Эй, где теперь 117-я дивизия?! — кричит Кирилл Ивановский скачущему по полю казаку-ординарцу.

— А хрен ё знает, — чуть приостановился и поскакал дальше казак.

У кого ни пытаемся узнать местонахождение 117-й дивизии, никто не знает: в боях. И мы наобум движемся по этому живому шоссе к Коломые.

На вытянутом шее и просительно ржущем жеребце по полю рысью обгоняет общее движение обозов борогатый полковник, вероятно отец большой семьи, оставшейся где-то в Калуге. В вооруженной давке люди злы, оттого что не знают, почему они идут, оттого что никто идти не хочет, и все все-таки идут под мученьем ослепительного солнца, от которого некуда скрыться, от которого, того гляди, лопнет перекалившийся череп. Лошади, люди, пулеметы, орудия, зарядные ящики, патронные двуколки, мотоциклы — все смешалось гремящим хаосом в этом неуправляемом движении, но я знаю, что в какой-то будущий момент вся эта живая масса рассыплется и под солнцем начнет переезжать, перебегать, выбирать позиции, откроет огонь и тогда представится в виде совершенного порядка, в котором проявится сила, управляющая хаосом войны.

Ночью, на опустелом дворе брошенной хаты, я, засыпая, слышу, как, умащиваясь рядом со мной, прапорщик Мещеряков говорит:

— Знаете, Гуль, что на войне для меня страшнее всего? Что такая масса людей, такие чудовищные силы заняты ведь совершенно непроизводительным трудом.

Я смертельно хочу спать, не вслушиваюсь, не понимаю, что говорит Мещеряков.

— Вы, Мещеряков, экономист? — слышу голос Ивановского.

— Экономист... а что?

— Сразу видно.

Мещеряков что-то отвечает, а я, подложив под голову скатку-шинель, сладостно проваливаюсь в бездонную тьму. С тревожного военного неба глядят большие галицийские звезды всегдашнего кантовского неба, но они кажутся мне колеблющимися, плывущими, как множество огней летящих аэропланов.

IX

— Эй, крупа, сторонись, орудия едет! — кричит загорелый артиллерист, сидя раскорякой на коренастой пушке.

На шоссе под Коломеей общее столпотворение дошло до отчаяния. Теперь уж все движется хаосом в двух направлениях: отступая и наступая. Нам навстречу по смятому

кукурузному полю лавой промчалась конница. Какие-то растерзанные, до последнего усталые, только что вышедшие из боя, как из чертова пекла, пехотные части идут прямо по полям, и колеблется на солнце неровная щетка их сверкающих штыков.

— Куда идете? Какой части? 117-я дивизия не знает где?

— А... ее знает, твою 117-ю, — сплевывает на сторону солдат, запыленный, белозубый, как негр.

— Ты поди, посмотри там, под Коломыей, где какая дивизия, — смеется другой, отставший, хромящий, без пояса, без фуражки.

Обветренный, красноносый от опалившего его солнца, Ивановский, приостановившись и указывая рукой в воздух, говорит:

— Слышишь артиллерию?

Доносятся мягкие вздохи, словно пушкинская сказочная голова из «Руслана и Людмилы» надувает щеки и с шумом выпускает из них воздух.

— Эй, не отставай, не отставай, слабосильная команда! — подтягивает отстающих здоровяк прапорщик Дукат. Солдаты порастерли ноги, ослабели; а навстречу, разрывая нас, все идет, грохочет отступающая артиллерия с сидящими на пушках запыленными артиллеристами, с засыпающими, склоняясь к конским шеям, ездовыми. Сотрясаю землю, в карьер, по полю промчалось несколько орудий, в упряжках стелются взмыленные кони, с звоном металла унося пушки; бесстройными толпами, повеся головы, движется пехота; ординарцы на мотоциклах, квакая лягушкой, прорываются с донесениями.

В этом предсмертном хаосе, во всеобщем усталом ожиданье боя все побеждает саженная матерщина, злобно несущаяся над движением армии. Но и здесь, пересиливая все, вдруг какой-нибудь весельчак, глядя на нас, идущих в Коломыю, заорет истерическим голосом:

— Эй, торопись, торопись, браток, а то не успеешь австрийских лепешек поесть! Их там задарма раздают!

— Дорогу кавалерии, — покрикивает богатырский красавец ротмистр на белоногом походном гунтере, продираясь сквозь поднятую пехотой пылицу.

Близость огня чувствуется во всем, в усталости ругающихся людей, в выражении лиц, в оттуда, с полей сражений, словно из доменных печей, тянущем зное, в котором плавится все: тела, воля, отчаяние, мужество, трусость, храбрость, безразличие. Сейчас солдаты уже не замитингу-

ют, они уже *на театре войны*, уж захвачены в эту чертову воронку, крутящуюся с все ускоряющейся стремительностью; пусть в зное, в пыли, в голоде, но теперь они пойдут в бой так, как мы им прикажем и как прикажут нам.

Идя краем шоссе, в массе тяжело дышащих, потных людей и коней, толкающих мокрыми пенистыми мордами в спину, я чувствую, что какая-то необъяснимая сила навсегда увела меня от университета, имения, Пензы, Москвы, от книг, журналов, от всех тех чувств, которые были. *Тут все другое и все не то.* Тут мы все словно нагишом, наши чувства сильны, голы и просты: усталость, храбрость, голод, трусость, смелость, сон, страх. Мы дышим воздухом чужой страны, спим в опустелых домах, в сутки едим консервную банку мяса на троих, немного сухарей, немного воды, а проходим по сорок верст. Мы, конечно, не думаем о многом и в начитанности отстанем от тех, невоющих, оставшихся в тылу, но зато каждый день и ночь на этом военном шоссе, а завтра в бою и мы научаемся чему-то, может быть, даже большему, во всяком случае мы узнаем здесь то, чего они никогда не узнают. И в облаке пыли идя по этому волнующемуся шоссе, я рад тому, что я здесь, а не там, что я на войне, которая лепит людскую, может быть, грубую, но простую и в чем-то правильную душу.

— Оправиться, покурить! — сняв фуражку, кричит вспотевший, изнемогший капитан Грач; он оттирает грязным комком платка лоб. Мы ложимся отдыхать на вытоптанном лугу под самой Коломойей. Сейчас нет большего удовольствия, чем вытянуться всем телом на этой пыльной траве. Из газет солдаты свертывают сигарки, лежа, курят, сплевывая по-цыгански, тонкой струей. Потные, утомленные, они редко перебрасываются словами, да и о чем говорить? Каждый глядит в голубое небо и ничего в нем не видит. Кто задремал, кто задрал кверху ноги, чтобы отлила кровь и отдохнули ступни и икры. Я вот, лежа на спине, думаю о том, как скверно написал о войне в «Красном смехе» не выдавший ее Леонид Андреев. Мимо тропотят мелкой рысью какие-то казаки на горбоносых дончаках.

— Становись! — кричит, трудно поднимаясь, капитан Грач.

И вскоре мы вступаем в чужую австрийскую Коломыю. Ее опустошенность представляется театральной; пустые мертвые улицы кажутся длиннее, чем есть, в окнах брошенных домов ветер рвет занавеси; а на углу какой-то круглой площади, тоже как на театре, открыта кофейня; и

пока капитан Грач и прапорщик Дукат уехали искать коменданта, я в ожидании их с невыразимым и никогда еще не испытанным наслаждением сажусь за беломраморный столик кофейни.

Мне подает молоденькая полячка, у нее румяные губы и пушистые ресницы. Я плохо понимаю ее польскую речь, но по улыбкам вижу, что она не прочь бы полюбить русского прапорщика. Но в этом разбитом городе время идет с такой тяжелой быстротой, что я только успеваю сказать полячке какие-то слова, как в кофейню возвращаются вконец измученный капитан Грач и пыльный, крепящийся прапорщик Дукат.

— Неутешительно, — мрачно говорит Дукат и, сняв насквозь пропотевшую фуражку, опускается у столика. — Коломью бросают, местонахождение 117-й дивизии неизвестно, предполагают, что, отступая с боями, она должна быть где-то совсем близко к востоку, дан маршрут и надо немедленно двигаться.

— А общее положение? — спрашиваю я Грача, и мне ни за что не хочется подниматься, уходить из кофейни.

— Наступление лопнуло, — закуривая колумыйскую папиросу, усмехается больной капитан, — на революционном лозунге армия не дерется, не хотят товарищи. Теперь идут арьергардные бои, чтобы хоть как-нибудь выправить фронт, чтобы наступление, превратившееся в отступление, не превратилось еще и в катастрофу.

Мы встаем, трудно поднять свинцовые ноги. А пленительная полячка уже поит тем же плохим кофеем какого-то другого, такого же пыльного, обросшего щетиной, такого же усталого кавалериста и так же улыбается ему мерцающими глазами.

По тем же помертвелым, обморочным улицам мы оставляем Коломью. Где-то на западе вздыхает артиллерия. В поле, под городом, скакавший на кряхтевшем коне ординарец указал нам дорогу на фольварк, где расположился штаб 117-й пехотной дивизии.

Это была прелестная покинутая усадьба с приземистым домом, вокруг которого еще цвели астры. На некошеном лугу перед домом мы выстраиваем батальон для приема его начальником дивизии. Статный, в блестящих очках, с кирпичом плотной седой бороды, во всем защитном, генерал быстро идет к батальону. Но на команду «смирно!» солдаты не обращают внимания. Полгода назад за такую стойку генерал разнес бы батальон, а теперь он делает вид, что все

обстоит благополучно, и произносит краткую речь о борьбе за свободу, чему подучился наспех и без знания дела.

Хмурые, обгорелые от солнца солдаты пасмурно глядят на его очки, на золотые погоны, на барскую бороду. О чем думают? Да все о том же. Полуоглянувшись, я в оцепенении вижу, что в ветвях яблони сидит мой солдат четвертого взвода Рыжов. Вспомнив босое деревенское детство, он полез за зелеными яблоками. Лицо у него наглое, смеющееся, будто он спрашивает: «А что, мол, вы со мной можете в таком случае сделать, раз хуже окопов и смерти все равно ничего нет?»

Генерал, слава Богу, его не видит, он продолжает говорить о том, что счастлив принять батальон в стяжавшую боевую славу в Тарнопольском прорыве 117-ю дивизию, а сзади меня солдат, которому надоела генеральская речь, бормочет сквозь зубы: «Да мать ее вдоль, эту твою дивизию...»

I

С этой ночи на театре военных действий я — прапорщик 457-го пехотного Кинбурнского полка. Временно командующий полком подполковник Осипов с полевым адъютантом поручиком Никитиным, окруженные конными ординарцами, расположились в лесу: это штаб. А мы лежим в цепи на расцветающей луговине и прислушиваемся к близящимся взрывам немецкой артиллерии.

Немцы наступают. За зеленым перевалом в нескольких верстах их головные части. Сзади нашей цепи под летящим ветром шумит лес. Это живописное место хорошо называется: Млынские хутора. И когда не слышно взрывов артиллерии, кругом стоит лесная тишина. Я лежу на траве, немного позади солдат, ощущаю свежий запах сырой земли; пока что лежим вольно. Но вот к подполковнику Осипову на загнанной, потемневшей от пота, тяжело носящей боками лошади прискакал ординарец. И смугло-желтый брюнет с угольными усами, батальонный командир, поручик Стоковецкий, передал мне, что сегодня будет дело, ибо немцы наступают как раз на участок нашей дивизии.

Солдаты торопливо завозились на луговине; стали наскоро окапываться. А вскоре, не долетев до нашей цепи, визгнув в ровно-голубом небе, разорвалась нежно-розовым облачком впервые увиденная мной шрапнель. Если б это был фейерверк, то тающим, боттичеллиевски-кудрявым дымком можно было бы любоваться; в сущности, я им и люблюсь, хоть знаю, что это смерть.

Взвинчивая черные воронки земли, нащупывая нас, по луговине грохнули густодымные гранаты. Недолеты. Но цепь уже вжимается в наскоро рытые окопчики. Немцы бьют бризантными бомбами, они рвутся двойным ударом: и в голубом небе розовым дымком, и черным столбом на земле. От разрывов снарядов в лесу закачались дубы и лес, как раненый, широко застонал.

«Вот и бой, — думаю я, — в общем ничего страшного пока нет, есть даже некоторая тоска азарта». В цепи отрывисто стучат затворы винтовок, зрение у всех напряжено;

все лица похудели, стали серьезны, почти торжественны, все ждут, чтоб на линии горизонта показались пока еще невидимые немцы.

Сзади ухнуло, и через наши головы уходят русские снаряды; они свистят, будто рвут шелковую материю. «Наша бьет», — молитвенно-тихо шепчет ближний по цепи солдат.

Во мне обрывки каких-то чувств, каких-то воспоминаний. Я почему-то вспоминаю, как в Керенске, в полутемных сенах, горничная Анюта подхватила меня, совсем маленького, подмышки и головокруглительно крутит, я хватаюсь за ее развевающееся платье с красными розами и в отчаянье пронзительно кричу. Шагах в ста на траве, так же как я, лежит Дукач. В кустах обросший черной щетиной Стоковецкий, он все это видел-перевидел и, сплевывая в кусты, безразлично затягивается солдатской цигаркой. Но вот Стоковецкий вскочил. Справа, с растоптанного кукурузного поля, с участка Нарымского полка, сюда накатывается ружейная стрельба, словно по лесу передвигается шум ливня.

Стоковецкий смотрит в бинокль. Я понимаю, он ждет появления немецких цепей и перед нами. И вот на линии горизонта уже показываются черные точки. «Это и есть немцы? Это они». Кругом сухо тявкает лай наших винтовок. Их начавшаяся сплошная стукотня прерывается только глухими, где-то из лесу, ударами нашей артиллерии и взрывами там и сям немецких гранат. Немцы нащупывают нас гранатами, как руками. Их взрывы ложатся все точнее. Вдруг сбоку, с белоствольной березовой опушки, словно сразу же захлебнувшись, в общий концерт вступили наши пулеметы. Я вижу, как, пыхая седым дымком, будто в истерике бьется тело пулемета и, плотно прижавшись к нему, трепещет человек в гимнастерке.

«Вот это и есть: бой под Млынскими хуторами», — следя за всем, повторяю я про себя. Страшно? Пока что нет. Пока что даже как-то приятно. Вероятно, потому, что о смерти этот бой еще не говорит: ни раненых, ни убитых; бой идет как бы вне меня, словно он мне представлен.

Наш артиллерийский, ружейный, пулеметный огонь непереставаем. Наступающие немцы залегли. Сколько до них? Ну, версты две, не больше. И кажется страшным и в то же время захватывающим, что между ними и нами сейчас нет ничего, кроме пуль, огня, дыма, осколков снарядов. На сырой от дождя земле мы и они первобытны; и ими, и нами владеют те же чувства: убить и жить.

Наша артиллерия все настойчивей посылает шелково свистящие снаряды, они взрываются прямо среди идущих на нас немцев. За их первой цепью показывается вторая, третья. «Это атака? Может быть сейчас пойдём и мы?» Я оборачиваюсь на Стоковецкого. Он вне себя, что-то беззвучно крича, машет револьвером. За общим шумом не разобрать его слов. Но вдруг я вижу вправо, у нарымцев, в цепях замешательство, солдаты вскакивают с земли; оттуда, ширясь, летят крики: «Кавалерия! Кавалерия!» — и от этих криков током, молниеносно по сердцам прокатывается паника.

— Назад! Перестреляю! — кричит осипшим собачьим голосом Стоковецкий, мечась с черным наганом перед цепью. На опушку выскочил и подполковник Осипов. Но под свистом пуль, уханьем взрывающих землю гранат нарымцы бегут, оголяя нас с фланга, и наши солдаты уже вскочили и отступают все быстрее. Они на бегу кричат: «Кавалерия! Кавалерия!» — этим криком словно оправдывая и свое отступление и подогревая самих себя в охватывающем их чувстве паники.

Стоковецкий, Дукат, я бросаемся к цепям: «Куда вы, братцы! Вперед, огонь!» Но их не остановить, меня смывают бегущие солдаты. «Вот это черт знает что, если действительно налетит кавалерия, будет не бой, а просто мясорубка... вот тебе и вся жизнь... конец... какая ерунда...», — думаю я в тот момент, когда, неистово ругаясь, кричу: «Да куда ж вы... вашу мать! Куда вы, сволочи, бежите?»

Толстоплечий, приземистый Дукат, пытаюсь сдержать бегущих, тоже размахивает, как Стоковецкий, наганом; я ничего не слышу, что он кричит, только вдруг вижу, как этот кремневый латыш, необычайно любящий Россию и армию, остановившись, плачет слезами злости и отчаянья перед бегущими.

— Ох, ох, — стонет бледный, остроносый солдат, сбрасывает на бегу подсумок, бросает винтовку и, качаясь, повернув ноги, тяжело рухает на землю. Через него перепрыгивают отступающие. «Кавалерия — зарубят, не оставлять же его?» — и я молниеносно приказываю себе испытать свое самообладание; и с чувством восторженного удовлетворения я его проявляю. «Вставай, вставай, я тебя поведу!» — кричу я, хватая тяжело дышащего, посиневшего, узколицего, похожего на птицу солдата. Я вскидываю на плечо его винтовку и, поддерживая, веду его по луговине, заливаемой немецкими пулями; он наваливается на меня, сталкивая бессильным телом в сторону.

— Сюда! Куда ж ты, сукин сын! — И только под моей извозчицей руганью пробежавший было бородатый солдат останавливается, подхватывая больного с другой стороны.

— Что он, ранен, господин прапорщик?

— Болен, — говорю я.

А больной все охает, что-то невнятно гундит, пока у леса я не сдаю его фельдшеру на ротную двуколку.

Тут у березовой опушки Стоковецкий собирает батальон. Ходит взволнованный командующий полком Осипов. Кругом писком невидимых стрижей свистят тыкающиеся в стволы пули. Но сорвавшаяся устойчивость цепей уже восстановлена. Наша ураганная артиллерия залила немцев. Они, в свою очередь, откатились. И подполковник Осипов приказывает полку занять исходные позиции.

Смеркается. Я лежу теперь с винтовкой, взятой у больного солдата, и, когда показываются далекие точки немцев, я постреливаю по ним, «по невидимому врагу», как писал в «Трех разговорах» Владимир Соловьев; но теперь, на этом лугу, я знаю, что проживший жизнь в кабинете знаменитый философ в войне ничего не понимал. Ветер стих, лес успокоился, в его ветвях уж не рвутся шрапнели. Луговина Млынских хуторов окутывается опаловой мглой с кровью просачивающегося сквозь деревья заката. От души отлегло, и она стала свободна. После боя тишина леса — незабываема. И все — лес, луговина, вечер, — представляется никогда не пережитым блаженством.

В полной тишине нас сменяют на позициях малмыжцы. Мы уходим на отдых. Далеко в сосновом бору, на озаренной тлеющими кострами поляне, вкусно дымятся подъехавшие кухни; стоят ружья в козлы; позвякивают котелки; какая-то оседланная лошадь норовит лечь, повалиться прямо в седле, и ее то и дело одергивает ординарец; после молчания в бою люди с особенным удовольствием разговаривают друг с другом.

— Ну что, отошло, брат? — сталкиваюсь я у кухни с больным солдатом.

Он стоя хлебает из котелка. Оторвавшись от супа, начинает говорить, что меня вовек не забудет, что «беспременно пропал бы, потому что силов уж не оставалось»; вокруг собираются солдаты, подсмеиваются над больным.

— Вы зря его, господин прапорщик, таскали-то, — утираясь рукавом от льющегося по губам супа, говорит широко улыбающийся солдат, — он же к немцу в плен лег, на даровой харч захотел, а вы его опять к нам притащили.

— Тоже скосоротился, в плен, зенки-то вылупил, — кричит, накрываясь в его сторону, больной.

Я смеюсь с окружающими меня солдатами и вижу — после сегодняшнего боя мы друзья. Они спрашивают меня, какой я губернии, что слышно в тылу, что думаю о войне, когда ей конец?

До поздней ночи, сидя на выступивших из земли, как уродливые кишки, корнях, прислонившись спинами к мачтовой сосне, мы разговариваем с Дукатом, жуя черные сухари и отхлебывая чай.

— Ты даже заплакал, Данил, — говорю я ему.

Освещенный углями догорающего костра, Дукат неловко улыбается.

— Я думал, что так и покатимся, трудно с ними... а ты, я видел, какого-то раненого тащил?

— Больного.

В лесу у слаженной коновязи лошади ординарцев мерно жуют сено. На поляне замирают последние голоса, кашель. Я покрепче заворачиваюсь в шинель, укладываюсь возле ротной двуколки, и, как только костры потухли, лесная темнота сразу же наполняет собой чужой и страшный австрийский лес.

II

Отходя в арьергарде, наша 117-я дивизия прикрывает общее отступление армии, а я с полуротой замыкаю отступление полка. Мы идем уже по прекрасной Бессарабии, которую я так полюбил. Вместе с нами движется граница России.

В предвечернем сумраке мы стоим на окраине разбитого войной села; полувыворочен сруб колодца, переломлен стебель журавля; артиллерия сорвала крыши, хаты оголились печами и всей убогой трудовой бедностью; кругом немая тишина, нет ни человека.

Бесстройно, вразброд через мертвое село идут отступающие воинские части. На белом иноходце у моста покуривает поручик Стоковецкий, а я сижу на поваленной разбитой колоде. Мы ждем, чтоб, пропустив Заамурский полк, замкнуть отступление, тогда саперы взорвут дощатый мост на заросшей осокой реке и подожгут остатки села.

На мост, дремля в высоком казачьем седле, въехал рябой капитан-заамурец, командир последнего отступающего батальона; солдаты идут за ним торопливой пылящей толпой; и один шустрый солдатик с заломленной на затылок

фуражкой, под общий смех, растягивает гармонику и пританцовывает с вывертом и коленцем:

Иэх, гармонь моя, рязуха!
Дождь идет, дорога суха!
Иэх!..

Тонкие губы Стоковецкого кривятся, кивнув на солдатское веселье, он презрительно бросает, звеня польским акцентом:

— Войска российской республики отступают в порядке, настроение войск бодрое! — И, дав шенкеля белому коньку, говорит: — Прапорщик Гуль, пошлите к саперам связь, скажите, что могут взрывать.

За телеленькающей в темноте гармоньей, за хохотом солдат мы проходим последними по селу. За нами, треща, взлетает горящими щелами слабенький мост и, занимаясь желтым огнем, начинают полыхать уцелевшие хаты.

Мы движемся по кукурузному полю. За нами, как театральным занавесом, занавешивается ночь. Кто там в ней, в этой дикой ночи, за этим оранжевым занавесом пожара? Там пока еще никого.

От арьергардных стычек, от бессонных ночей, от марша по растоптаным, изрытым полям, по лесам, ломящимся и стонущим под обстрелом артиллерии, мы так устали, что, кажется, сейчас упадешь, уснешь. Но мы уже подходим к линии старых русских окопов, где нам приказано встать и держаться во что бы то ни стало.

III

День стоял прозрачно-золотой, когда мы вошли в старые русские окопы. Это было под селом Клишковцы. Вокруг белых хат сливовые сады уж роняли лимонно-канареечный лист. Дальний лес краснел, лиловел, желтел. В голубой дымке утренника мы размещались в глинистых глубоких окопах с прекрасными бойницами, проволочными заграждениями, извилистыми ходами сообщения, просторными блиндажами и землянками, и нам, утомленным походом, эти окопы показались прекрасными квартирами.

К тому ж они идут по живописной местности. На участке соседнего полка почти кавказская крутизна; а перед нами ровный луг с глубокой травой прямо вплоть до немецких окопов, упершихся в тающий бледным золотом лес.

Тишина, синева, осеннее отдохновение. Я иду поверху, вдоль линии окопов. Приземляться не хочется, иду с удо-

вольствием, что прекратилось шатание по неизвестным лесам, ночные походы. Небо надо мной бледно-лазурное, в нем высоко преследуют друг друга два ястреба.

Наши солдаты спешно заплетают провололочные заграждения, чистят ходы сообщения; саперы навалили уже бревна, тес, поправляют блиндажи, землянки.

Немцы уже вошли в противоположные свои окопы и сейчас, вероятно, заняты тем же.

После обеда солдаты, лежа на дне окопа, спят, а на лугу, у землянки, отдыхаем мы: я, капитан Лихарь, прапорщик Дукат и пулеметчики поручики Юрко и Фатьянов. Из землянки вылетает, землей придушенная, песня фельдшера Бешенова, он поет легким фальцетом:

Был я маленькой, был я глупенькай.
Отец, мать меня любили,
Меня в дыбочке качали
За подцепочки, за серебряны...

А мы, глядя то в небо, то на золотеющий и краснеющий лес, разговариваем. Я говорю о том, что война явление неоднородное, что у нее кроме тяжелого быта и страшной были есть и своя увлекательная литература. Фатьянов молча перевертывается со спины на живот и неодобрительно смеется.

— Ты не смейся, Петр, это совершенно верно, — говорит петербургский студент, поручик Юрко, на смуглом лице его играют живые углы монгольских глаз, — вот мы лежим, курим, смотрим на этот лес, и никто сейчас в Москве или Петербурге не мог бы так понять, до чего он хорош, этот лес, и до чего хорош весь этот сегодняшний пушкинский осенний день. А мы можем, потому что на войне наши восприятия гораздо резче и живем мы, так сказать, сильнее, ускоренней. Только надо суметь сохранить это наше на войне нажитое умение остро чувствовать и остро жить, его жаль было бы потерять, его надо сберечь во что бы то ни стало, чтобы им и в мирной жизни отличать ценное от всей той бытовой дряни, которой она загромождена.

Кадровому капитану Лихарю скучно, с сладким звуком зевоты он потягивается, расправляет тонкими пальцами холеные, волнистые усы. Дукат заснул, удобно уложив голову в сгиб локтя, он существо совершенно политическое и поддерживает только соответственные разговоры.

А Юрко, подперев черноволосую голову кистью бледной руки, продолжает говорить, обращаясь к Фатьянову.

— Вот ты послушай, мы движемся по незнакомой земле, это движение само по себе приятно, а если чувствуешь природу, оно приятно вдвойне. От физического труда, от

утомления мы здоровы, чувства наши уравновешены, в голове нет избыточного многомыслия, и это тоже слава Богу, — залиvisto, по-детски смеется Юрко, показывая мальчишеские блестящие зубы, — все это дает мужественное ощущение жизни, отчего окопавшиеся в кабинетах штатские кажутся просто какими-то ихтиозаврами. Ведь наши отцы прожили, в сущности, самую пошлую жизнь за столом в столовой, за столом в кабинете, а умерли в чересчур им известной кровати, вот и все.

Дукат посапывает во сне. Хрупкий блондин с неприятно неподвижными, светлыми глазами и чувственным ртом, капитан Лихарь пускает из вишневой трубки дым. И только Фатьянов, презрительно смеясь, отмахивается.

— Ой, пощади, Юрко, я сегодня плохо обедал, и брось ты врать, ради Бога! Лес да небо! Ну, что ж тут хорошего? У тебя война вроде какой-то африканской экспедиции на леопардов, а мы знаем, что такое война, — говорит он с неожиданным оттенком злобы.

Фатьянов сын богатого волжского купца, студент-естественник. С Юрко они друзья, хоть Фатьянов и подсмеивается над романтическим петербуржцем, который не только в окопе, но даже на походе ежедневно выбрит. Лицо у Фатьянова румяное, славянски-правильное, может быть, с легкой примесью мордвы в скулах. Приятный облик этого пулеметчика как-то не вязался с тем цинизмом, с которым он смотрел на все в мире. Фатьянов был, конечно, нигилист, но не «писаревец», «базаровец», а бытовой, ежеминутный нигилист. Ему совершенно искренно было плевать на Россию, победу, войну, революцию, на жизнь других, на так называемую мораль. В Кинбурнском полку он был единственным офицером, вступившим в партию большевиков. Хороший оратор, Фатьянов на митингах говорил солдатам о том, что Временное правительство враждебно народу, что только большевики защищают трудящихся, что войну надо кончать немедленно, братаясь с немцами и втыкая штыки в землю. И арестовать его нельзя — взбунтуется полк, а может, и вся дивизия, ибо солдаты считают Фатьянова «представителем интересов трудящихся».

— Война, это вот что, — продолжает говорить Фатьянов, — прежде всего, это глупость, именно глупость, всегда и вовеки, хотя бы уж потому, что воюют-то ведь те, кто воевать совершенно не хочет, а те, кто говорят, что хотят воевать за родину и прочую ерунду, просто врут из трусости. Вдобавок эта глупость чрезвычайно скучная и неостроумная. Конечно, наш уважаемый Верховный, генерал Корнилов, и

все прочие генералы воюют с интересом, потому что это их профессиональный спорт, прекрасно оплачиваемый и, главное, довольно-таки безопасный. А посади ты самого, скажем, императора Вильгельма на четыре года в окопы, так на первом же году он как миленький станет за немедленный мир. Ведь когда мы читаем в газетах, что генерал Ренненкампф разбит в Восточной Пруссии, это вовсе не значит, что Ренненкампф разбит, это значит, что перебито превеликое множество безымянной скотинки в виде солдат и офицеров отчасти, а Ренненкампф продолжает процветать и командовать, то есть заниматься тем же военным спортом и вести ту же самую, ему приятную жизнь. Мне рассказывал один полковник, что, когда генерал Куропаткин приехал на фронт, он, собрав генералов, прямо будто бы сказал: «Ну, — говорит, — господа, для меня, в сущности, безразлично, буду ли я побежден или буду побеждать, моя военная карьера сделана, а вот вы, мол, старайтесь...» И правильно. Это и есть война генералов. Если же ты дурак, лезь для Ренненкампфа головой в печь, но знай, что заслуживаешь только улыбку сострадания. Все это давно известно и вполне естественно и законно, умные едут на дураках, первых меньше, вторых больше. Но вот наши солдаты почувствовали, что можно не воевать, что смертная казнь за дезертирство тью-тью, больше нет ее, и теперь воевать они, конечно, не будут, и правильно, довольно дураков! Ведь Керенский ничего умного не ответил окопному солдату, который сказал, что он не хотел умирать за царя и не хочет умирать за демократию? Керенский ведь не бросится сам на немецкие штыки за демократию иль бросится? Я думаю, что все-таки едва ли, — резко смеется Фатьянов, оголяя плотные зубы, — и солдаты это великолепно понимают, что никто с ума не сошел и на штыки не бросается, что всякий человек «немножко подловат» и прежде всего хочет прожить *свою собственную жизнь*, а остальное все от лукавого. И вот наше с вами пребывание в окопах, поручик Юрко, — улыбается Фатьянов, — просто совершенно ничем умным не оправдываемо, кроме того, что мы с тобой быдло, бараны. И война твоя вовсе не псовая охота, это ты себя только улялякиваешь, создаешь, так сказать, вспомогательные конструкции, чтоб не убежать от страха с фронта. Помнишь, как в 15 году, в Карпатах, в отступлении, трупами так воняло, что нас с тобой рвало? Вот это и есть война! И тебе через четверть часа попадет немецкая пуля в кишки, куда-нибудь поглубже, и будешь ты, Юрко, отвратным голосом орать, просить пить, лепетать всякие нежности о маме, а потом ослабишься и под этим солнцем так засмер-

дишь, что тебя поторопятся где-нибудь поскорей прикопать. Чего ж тут «прекрасного»? Не трепись, пожалуйста, а скажи прямо, как вот я, мол, что всему этому военному небу, осеннему лесу и мужеству резких чувств я предпочитаю просто-напросто отпуск в Каменец-Подольск к тамошним хорошеньким девочкам.

Вынув трубку изо рта, Лихарь громко смеется, развевая свои пушистые усы.

— Вот насчет этой литературы и я с превеликим удовольствием! — И, нахохотавшись, капитан под солнцем сладостно жмурится и, потягиваясь, говорит: — Ох, вкусно... могу даже рекомендовать не Каменец-Подольск, а Хотин... не так далеко ездить целоваться.

Мы все знаем, что Лихарь только что вернулся из Хотина, и все смеемся.

— Ты, Фатьянов, шкурник и не понимаешь, что я говорю, — сквозь смех отвечает Юрко, — я вовсе не говорю, что война веселая африканская экспедиция, я только согласился с Гулем, что у войны есть своя увлекательная литература, и она есть, для меня по крайней мере. А простреленные кишки, раны, уродства, смерти, это другое, это быть войны, это мы все знаем.

От шума голосов Дукат открыл заспанные глаза, приподняв голову, не понимая, где он и что такое.

— А мы знаем и другое, — продолжает отмахиваться от Юрко Фатьянов, — наши войска с боем заняли Перемышль, при чем отличился поручик Юрко, представленный к золотому оружию! И вот поручик Юрко едет в Петербург прельщать девчонок золотым оружием, потому что вся эта офицерская форма, ордена, оружие спекулированы, в сущности, на женской психологии и с золотым оружием девчонку повалить можно куда скорее, чем без оногo. Брось ты мне старые калоши заливать! На войне все грязно, скучно, неприятно и, главное, чудовищно глупо, а в тылу все и приятнее и, конечно, умнее потому, что там ведь и есть естественно свойственная человеку жизнь, а здесь на войне мы живем в сплошной бессмыслице, и всякий солдат это понимает, а вы, баре, приходите в восторг то от тишины леса, то от прочей ерунды, но все это, в сущности, из-за страха, потому что вашу жизнь война у вас ежеминутно может отнять.

— Так я про то и говорю, — шумно перебивает его Юрко, — что война это великолепная школа для понимания полноценности жизни, ведь люди умеют ценить только то, чего лишаются, чего уже почти у них нет и этим-то война и хороша, что учит по-иному видеть и ценить жизнь.

— Брось, брось нести бессмыслицу, — замахал сломанной лозой Фатьянов, — ты, говорю, живешь неестественными, наживными представлениями, вот и разводишь эту несчастную ерунду, несусветное перекобыльство! Я по крайней мере честно говорю: я, поручик Фатьянов, 457-го Кинбурнского, Господа нашего Иисуса Христа, третьоочередного полка, стою за немедленный мир, — и, обращаясь к еще ничего не понимающему сидящему на траве с заспанной щекой Дукату, Фатьянов кричит: — Да, да, Дукат, за немедленный мир! Потому, что уроженец города Риги Даниил Эдуардович Дукат очень любит Россию, а я вот, Петр Васильевич Фатьянов, уроженец города Казани, не люблю Россию, а люблю остроумие, как сказал у богопротивного Достоевского какой-то весьма неглупый персонаж!

— Не старайтесь, Фатьянов, — с легким латышским акцентом отвечает Дукат, — мы давно знаем, что для вас России не существует.

— А что такое Россия? Скажите, пожалуйста. Это же миф, Дукат, несуществующее! Что вы начнете мне из учебника энциклопедии права говорить о народе, власти, территории? Но ведь все ж это ерунда и вздор. Вот дважды два это всегда есть четыре, нерушимо и вовеки, а Россия, сегодня она есть, а завтра ее нету, чего ж лоб-то разбивать? — И Фатьянов смеется.

— Это все, конечно, очень замечательно, что вы говорите, — сдерживая раздражение, отвечает Дукат, но дважды два четыре меня не волнует, а вот временная Россия меня волнует, я ее люблю, а раз люблю, то и воюю за нее, вот именно: за власть, за народ, за территорию.

От немецких окопов в безоблачье неба, в блеске солнца с гудящим звоном, высоко паря серебряной мухой, на нас наплывает аэроплан. Сев по-турецки и застив ладонью глаза, капитан Лихарь смотрит на него.

— «Фоккер», — говорит он.

Все смотрят на аэроплан. Как только он залетает за наши окопы, за лесом ухает наша пушка и недалеко от аэроплана тающим цветком вспыхивает разрыв шрапнели.

— Ну вот, разве не зрелище! — говорит Юрко.

— Для «зрелища», погоди, он сейчас бомбу сбросит, — отвечает Фатьянов.

А серебряная муха гудит в окружающих ее все плотнее разрывах шрапнелей. Еще один меткий разрыв, словно прямо в аппарат, и вдруг, вертясь и кувыркаясь, как на тяге подбитый вальдшнеп, аэроплан падает вниз, прямо за наши окопы.

— Сбил! Сбил! — радостно кричат и бегут наши солдаты. Но над самой землей кувыркающийся аппарат вдруг резко выравнивается и с густым гулом проносится над окопами, над пространством ничьей земли, скрываясь за немецкой линией.

— Ушел, стерва, — говорит тихий солдат-старовер, и в тоне его спортивное сожаление; так скажет промазавший стрелок или зритель о сорвавшемся на финише скакуне.

— Хороша у него печенка, тудуть его в душу, до чего же кувыркался, а? — смеется фельдшер Бешенов.

Я смотрю в бинокль на немецкие окопы. Меж нами расстояние с версту. Так же, как мы, они лазят там по ходам сообщения, вылезают, ходят в лес за водой, возвращаются с котелками обратно. Среди дня оттуда нет-нет да свистнет пуля, а в одном колене нашего окопа нельзя пройти: какой-то немец установил стукач и, как только появляется русский, он стреляет. Отличный стрелок, вероятно, часами сидит, карауля появление нашей «движущейся мишени»; он уже ранил двух; но теперь мы углубили окоп, и за стукачом он просидит зря.

IV

Бой под Клишковцами начался ураганным огнем немецкой тяжелой артиллерии. Эта подготовка к атаке осталась навсегда в моей памяти. Небо в ту ночь было так черно, будто кто-то выкрасил его тушью, а звезды были так выпуклы, будто кто-то наклеил их в черном куполе. В эту черно-золотую ночь и открылся огонь.

Он начался одиночными выстрелами по участку нашего полка, но учащался, и вскоре шелестящий визг снарядов, взрывы гранат, завыванье осколков, криканье мин — все слилось в сплошной пережат грома, в какое-то адово светопредставление.

Черное пространство ничьей земли то и дело прорезалось слепящими снопами наших прожекторов, искавших атакующую пехоту; в грохочущем небе взлетали там и сям ракеты; взрывами гранат клубы дыма окрашивались в багровый цвет.

Из души выключилось все. В окопах прижались наблюдатели; солдаты набились в землянки, в блиндажи; сидя в такой набитой солдатами землянке, я не в состоянии был ни о чем думать, я только бессмысленно внутренне повторял: «Скорей бы атака... пусть наступают... все равно... лучше рукопашная, чем этот ад...»

Особо оглушающим, рвущим барабанные перепонки, кричающим треском разворачивали землю минометы. Наши окопы разворочены ими уже в трех местах. Санитары тащили стонущих, исковерканных, окровавленных раненых, а убитые оставались в темноте на сырой земле, их только оттаскивали за ноги к сторонке, чтоб не мешали.

Так прошла ночь. Перед рассветом, под немолчный ответный гул нашей артиллерии, немцы поднялись из окопов в атаку, но нашего огневого урагана не выдержали, не дошли и посредине пространства ничьей земли, бросив у нашей проволоки своих убитых и раненых, кинулись назад; и снова загрела крошечная дуэль двух артиллерий, хоть уже и стихающая.

Успокоило всех только солнце, когда оно показалось над окопами. У проволочных заграждений оно осветило убитых немцев, у нас — убитых наших. И артиллерия, и пулеметы стали вдруг смолкать и смолкли. В тишине тогда началась обычная окопная жизнь и у нас, и у них. Пошли к роднику за водой, в ходах сообщения пошли оправиться, задымилась котелки, закурились сигарки, кухни подвезли еду.

А когда пришла новая ночь, в полной боевой готовности мы стали ждать повторной немецкой атаки. Но ее не было. Ночь прошла только в нервной ружейной перестрелке, начинавшейся всегда одиноким выстрелом караулов. Караулы стреляли зря, от взволнованности. В темноте люди всегда беспокойны. Разорвет ночную тишину выстрел, откликнется другой, вдруг коротко застрекочет пулемет, и стрельба покатится по всей темной линии, перебегая с одного полкового участка на другой, дальше и дальше, и вся ночь начнет разрываться искристыми цепочками огней, пока всех не успокоят бело-желтые ослепительные светящиеся прожекторов и взлеты и паденья разноцветных ракет.

Но все-таки вполне людей успокаивало всегда только солнце. Поднимаясь из желто-ледяного тумана над окопами, оно разогревало тела и прогоняло у всех темные ночные душевные страхи.

V

Обжиться человек может даже в окопах, только нет календаря и поэтому мы потеряли время. Сколько недель мы здесь? И у нас, и у немцев из окопов тонкими струйками тянутся дымки. Сидя на корточках в ходах сообщения, солдаты на потрескивающих кострах варят едо,

свеже строгаными палочками помешивают в котелках суп; в окопе, сидя в кружок, играют в карты, в три листика. Над нами плывут кубовые осенние тучи. Где-то идет перестрелка. Моросит дождь. Я сижу у землянки и прислушиваюсь к заунывной песне, что тихо и уныло, в три голоса поют Богачев, Мамчур и Солоха. Они поют любимую окопную солдатскую песню, сочиненную русским неизвестным солдатом. У песни нет мелодии, рифмы, солдаты поют ее на мотив «Стеньки Разина», только гораздо протяжней, унывней и медлительней.

Хорошо тому живется — слушать ласковы слова.
Посидел бы ты в окопах, испытал бы то, что я.
Мы сидим в открытых ямах, по нас дождик моросит,
А засыпят пулеметы, так поверь, что нельзя жить...

Слушая эту песню, я думаю, что, если б в немецких окопах родилась такая же (а она, может быть, могла бы родиться и там), за нее бы отдавали под суд и она бы умерла. А у нас поют и под суд за нее никто никого не отдает.

— Да, начитаешься вот его, Священного Писания-то, так аж прямо волосы поднимаются, — слышу я тихий разговор Бешенова и санитаря-молоканина, у которого круглое безволосое лицо младенца, — вот, к примеру, как это Господь в красном костюме-то шел...

— Да, откель это?

— Откеля? Оттеля, про грешников, из Второзакония.

И, не получая ответа, молоканин опять говорит:

— Думал я вот, не сказано в Писании, что, к примеру, апостолы ели, чем закусывали, все хлеб да вода и боле ничего.

— Даа, — тянет, не найдя ответа, фельдшер, — и чудное, говорю, это дело, никто вот войны не хочет, а все воюют, и отчего это пошло, а?

Тонкий визг пули с немецкой стороны разрывает денную тишину. Пуля жалобно тыкается в бруствер. Оборвав пень, приподнявшись из окопа, с юмористической злобой Богачев кричит:

— Что ты, немец, одурел, ядрена мать, пообедать не даешь!

— Это он с тобой здоровкается, Богачев, к обеду закуску посылает.

— Хрен с ним, товарищи. Котелок кипит, седай есть, а он пушай постреляет, — говорит Богачев, и солдаты садятся вокруг котелка, вытягивая из-за голенища деревянные ложки и с вкусным присвистом отхлебывают суп. — Ешь

со всем, — ловя плавающие кусочки мяса, говорит Богачев и, пожевав, в раздумье добавляет: — Скоро наш полковник приедет, вот рысковый... под Тарнополем, кады прорыв делали, передом шел.

— Куда его ранило?

— Сюды... в щеку, — показывает ложкой на щеку Богачев, — я от него шагах в десяти, не боле, был. Здорово его цапнуло, аж упал.

По ходу сообщения, пригнувшись, с офицерским обедом идут наши вестовые: рябой старик, крымский татарин, вестовой Дуката и мой Горшилин, тот, которого я тащил в бою под Млынскими хуторами, нагловатый, пронырливый солдат-горожанин.

С Дукатом мы располагаемся обедать в землянке, стульями нам служат пеньки из соседнего леса. С фельдшером Бешеновым выпиваем по рюмке водки, и потеплевший Бешенов говорит:

— Дда, был вот у нас раньше в роте младший офицер, убило его, и ничего был, а не любили его солдаты, ругливый больно. А вас, господин прапорщик, вчерась сильно хвалили, простой, говорят, и веселый, ты, говорит, к нему когда не подойди, у него все одна резолюция...

Брызжа рисовой кашей, подавившись, хохочет Дукат. Но фельдшер обидчиво защищает определение моего характера. Да, оно, может быть, и так, я дружен с солдатами, толкую с ними о войне, политике, о земле, об Учредительном собрании, пишу им письма. За этим они приходят ко мне в землянку, и я пишу, в точности сохраняя стиль их голоса. Начинаем мы всегда «во первых строках моего письма», а кончаем «еще кланяюсь». Из землянки эти письма уходят по всей России, полные все тем же крестьянским волнением: как вспахали, да как убрались, да как озимя, а последняя строка у всех одна и та же: «Теперь уже недолго дожидать, должно, скоро свидимся».

VI

Этой ночью крупный, широкогрудый великоросс, старший унтер-офицер Богачев (в детстве у меня были такие деревянные солдатики) пополз за проволочные ограждения осмотреть трупы убитых немцев. Назад Богачев приполз с цейссовским биноклем, походной сумкой, фляжкой и письмом, вынутым из кармана убитого. Письмо Богачев принес ко мне, и солдаты сошлись послушать, что пишет домой

немец. Пропотевшее, закровавленное письмо сильно пахло трупом; написанное химическим карандашом, оно расплылось от ночного дождя.

— Чего ж он пишет, немец-то? Эк письмо-то смердит.

— Ничего, ребята, не пишет, разбираю только начало да подпись. Это ему кто-то написал, жена, должно быть. Только и видно, что «милый Карл...», а подпись «твоя...», остальное вон все дождь смыл.

— А Карлу-то этого мы, стало быть, стукнули... так... — протянул весельчак, коротенький и усатый Солоха, и все с ним засмеялись. Но это смех не над сгнившим у проволочных заграждений немцем, а над самими собой, над всем *театром военных действий*.

— Богачев, уступи бинокль, сколько за него хочешь? — говорю я, прикидывая к глазам крупный цейсс.

— А черт его знает, я ими сроду не торговал, — широко показывая желтые, животные зубы, смеется Богачев. — Возьмите его так, я за войну их сотни две с немцев поснимал.

В немецкий крупный цейсс я вижу еще яснее, как из их окопов вьются синие дымы костров, вот двое в касках выпрыгнули и побежали в лес, наверное за водой.

Но теперь и Богачев установил в окопе автоматическое ружье. Говорит, бьет без промаха, может, и не врет. И сейчас, весело изругавшись, он бросился к стукачу. Богачев не жесток, он стреляет тоже не по живым людям, а по «движущимся мишеням», как его учили еще на действительной службе. Убегая по окопу он, торопясь, перепрыгивает через свернувшихся, спящих на окопном дне солдат; с подвернутыми головами, раскинутыми руками все они похожи на мертвецов.

По ночам и я вот так перешагиваю через них, идя в обход караулов, а потом иду на участок соседней роты к прапорщику Ивановскому пить чай. Тут на стыке полка, углубив окоп и сделав какую-то замечательную бойницу с установленным автоматическим ружьем, и устроился силач Богачев. Он провоевал три года, не ранен, не контужен. Проходя, я всегда останавливаюсь поболтать с ним. Но в эту ночь я увидел, что, пренебрегая всякой опасностью, Богачев спит наверху окопа, накрывшись с головой шинелью.

«Ухарствует, хулиган», — бормочу я раздраженно и, подойдя, дергаю с силой за высунувшийся из-под шинели сапог. «Что ты, очумел, Богачев!» — кричу я. Но Богачев так заспал, что не поднимается. Тогда я скидываю с него шинель, но спавший в окопе Солоха проснулся.

— Убит он, — пробормотал грубо, будто в этом виноват я, и снова заснул с уроненной на грудь головой.

Сдернув шинель, я это вижу и сам. Силач убит пулей в переносье и лежит с оскаленной жалкой улыбкой. Стало быть, завтра в приказе по полку будет: «Старшего унтер-офицера Богачева исключить с чайного, приварочного и мыльного довольствия». И вдруг эти показавшиеся мне живыми сапоги на мгновение становятся страшными; но я знаю, что это проходит.

— Ночью убило? — нагнулся я к Солохе.

Он еле приоткрыл закаченные белки, бормотнул что-то невнятное без всякого чинопочитанья. Я прикрыл Богачева шинелью и пошел дальше, на участок соседней роты, к Ивановскому, чай пить. В голове какие-то глупые мысли о хрупкости человеческого тела, даже вот такому из дуба рубленному тамбовскому силачу достаточно крошечного свинца — и он лежит, без дыхания. Это была война, скажет Юрко. А любящий красиво выразиться, живущий в обозе второго разряда наш начальник хозяйственной части, поручик Зотов, лодырь и запивоха, по солдатской кличке «поклонник стеклянного бога», всегда встречающий нас на отдыхе прекрасным обедом и крепчайшим бессарабским вином, за вторым мутным стаканом уж непременно говорит: «Да, друзья мои, с полей войны если и возвращаются, то не помолодевшими».

VII

Окопная тишина, темнота, ночной ветер обдувает лицо. Спящие солдаты что-то бормочут, иногда вскрикивают, они еще воюют во сне. Но наяву воевать они уже перестали. Идя по окопу назад в землянку, я думаю о том, что теперь уже ясно, что весеннее наступление было ошибкой. Оно только раскачало и без того уж разложившийся, обессиленный фронт, он еще страшней расшатался, размяк, и теперь при первом боевом усилии хаос противовоенных страстей может вылиться просто в бунт. Пусть у нас теперь есть вволю снарядов, патронов, орудий, продовольствия, все это на войне очень важно, но еще важнее солдатское нутро, а оно уже разложилось.

В жарко натопленной землянке слабо коптит фонарь. Подложив под голову сумку с медикаментами, спит фельдшер Бешенов; свернувшись барбосом, спит мальчишка, ротная связь. Остаток ночи, устроившись возле фонаря, я

читаю единственную здешнюю, забытую Юрко, засаленную и залитую похлебкой книгу стихов Сергея Городецкого:

Стоны, звоны, перезвоны,
Звоны-вздохи, звоны-сны.
Высоки крутые склоны,
Крутосклоны зелены.

.....
Стены выбелены бело.
Мать-игуменья велела
У ворот монастыря
Не болтаться зря.

.....
Стихи заставляют меня вспомнить Керенск, зеленый крутосклон с белым монастырем, цветущий яблоневый сад, вкусное чаепитие у матери-садовницы Анны, а дородная задыхающаяся мать-игуменья Олимпиада, это, конечно, именно она и приказала дочке звонаря «не болтаться зря». Так я сижу, перелистывая книжку; в землянке душно, сыро, затхло от слишком многих спящих тел, отсырелая шинель топорщится; при свете фонаря я начинаю писать письма в Россию и пишу их долго, только на рассвете выхожу в окоп умываться.

Солдаты просыпаются, почесываются от вшей, протирают заспанные глаза, кричат, идут к отхожему месту, а к нашим проволочным ограждениям немцы за ночь уж подтащили очередные тюки «Русского вестника», газеты, выходящей на русском языке в Берлине.

Белесый мальчишка, связь, улыбаясь, несет мне свежий номер; газета хорошо отпечатана, слегка хромает русский язык, в ней пишут не то русские немцы, не то какие-то мерзавцы из эмигрантов, но, в сущности, это неважно: наводка правильна и в окопах газета пользуется бурным успехом.

Собираясь кучками, выпавшиеся солдаты, сидя обнявшись, слушают, как посередь окопа грамотей читает по складам: «Ми-ни-стры по-ме-щи-ки и ка-пи-та-ли-сты ожесто-чен-но со-про-тив-ля-ют-ся зак-лю-че-нью ми-ра...» Яд газеты отравляет именно те участки солдатских мозгов и душ, какие намечены немецким генеральным штабом и вождями коммунизма. И пусть эта газетка, хвалящая Ленина и Троцкого за миролюбие и поносящая Милюкова и Керенского как делящих войну наймитов англо-французского капитала, пусть идет из немецких окопов. Это не играет решительно никакой роли. Солдаты верят «Русскому вестнику» потому, что хотят этому верить, а хотят верить потому, что хотят кончать войну во что бы то ни стало. Да

еще потому, что какой-то искрой души они верят в то, что *совсем скоро* вся земля будет в такой же революции и всему трудовому народу станет хорошо и свободно жить.

Фельдшер Бешенов, запыхавшись, вбегает в землянку, огляделся, нет ли кого, и задыхающимся полуголосом шепчет: «Господин прапорщик, на участке... братанье». Я выбегаю, выпрыгиваю наверх окопа и вижу: по всему участку полка из окопов вылезают солдаты, бегут к проволочным заграждениям, лезут через них, бегут дальше по месту боев, крови, по ничьей земле, к уже стоящей возле немецких проволочных заграждений кучке наших солдат. В подаренный Богачевым цейсс я вижу ясно и их, и вылезавших из окопов немцев в стальных касках.

— Назад! — кричу я в бешенстве на двух солдат, пытающихся выпрыгнуть возле меня. Ближайший, с иссохшим скопческим лицом, смущенно засмеялся, остановился, но дальше — солдаты выпрыгивают, бегут. В пространстве ничьей земли уж толпится наших человек двести; видно, как они прикуривают у немцев, разглядывают друг друга, смеются и вдруг кто-то из русских что-то закричал, заговорил, размахивая руками. Это вот и есть мир по взводно и по ротно из «Окопной правды» и «Русского вестника».

Но в эту пронесшуюся минуту, когда я бегу назад, в землянку, к телефону, чтобы вызвать артиллерию, испытываю вовсе не простое чувство. С одной стороны, самый факт, что три года воевавшие люди, считавшие жуткое пространство между собой и немцами непроходимым, сейчас прошли его без выстрела, обратив ничью землю в зеленый луг, на котором курят, смеются, дружески объясняются жестами и с любопытством разглядывают друг друга, этот факт вовсе не прост. Я и сам чувствую, что в нем есть своя правда. В том-то вся бесовщина большевизма и есть, что под этим осенним солнцем, на этом порыжелом, заплетенном проволокой лугу наши солдаты искренни и бесхитростны. И в их чувствах есть та простая сказочная русская правда о том, что людям вообще никогда не надо воевать и что земли на всех хватит и вся она Божья. Но не о Божьих землях думают редакторы «Окопной правды» и «Русского вестника».

Полевой телефон в моей землянке крикает, гудит, уж соединился с батареей.

— На участке второй роты Кинбурнского полк братанье, прошу немедленно открыть огонь по братающимся!

В трубке заспанный голос командира батареи.

— Изменники, сволочи... — И после молчанья: — Вы думаете, это так просто, открыть по ним огонь? У меня

прислуга может не согласиться, тоже господа товарищи... — Ну, все равно, тогда попробую сам... открою...

Я выбегаю из землянки, выпрыгиваю наверх окопа, гляжу. Теперь уже все поле покрыто безоружными солдатами. Немцев немного, но наших — толпы, тучи. В цейсс я различаю: в руках многих русских газеты, вижу смеющиеся лица, вижу, какой-то наш, в развевающейся по ветру шинели, схватился бороться с немцем и, закружившись с ним, под общий хохот брякнул его, повалил наземь.

Я жду: ухнут ли орудия, поплывут ли шрапнели, чтоб прервать похабный мир? От внезапного удара орудия за лесом я вздрагиваю. Плавно, шелково свистя, через меня уходит снаряд, и высоким облачком шрапнель разрывается над братающимися. От нее с поля все бросаются врассыпную. Первыми кинулись в окопы немцы, по дороге раскидывая еще неразобранные русскими газеты.

За первой шрапнелью плывут еще и еще, вот уже очередь, три белых облачка рвутся над пространством ничьей земли. Видно, командир батареи уговорил, раскачал прислугу. И на соседних участках пошла артиллерийская стрельба. Нарымцы, замурцы, все, обгоняя друг друга, бегут назад, к серой, мертвой линии своих окопов.

Солдаты моей роты уж спрыгивают. Возле меня, поскользнувшись, сорвался в окоп присланный из расформированной петербургской гвардии преображенец, большевик, надышавшийся смердящим распутинским воздухом столицы и привезший его на фронт; он бешено кричит солдатам, что это я вызвал артиллерию.

— Им войны хочется... их мать, им никого не жалко, им бы всех перебить, — бормочет старый казанский ополченец.

— Не навоевались... они нашего брата на дурняка взять хотят, — слышу еще злобнее.

А артиллерия все свищет, бьет. Но вот ответная немецкая. Перелетая, несутся бризантные бомбы, с бумом поднимая черную земляную пыль. Я понимаю, немцы показывают: вот-де как по вине русских офицеров немедленный мир перешел в немедленную войну; и солдаты в нашем окопе уже шумят; оказывается, мне жалко моих «фабрик и заводов», вот я и хочу перебить простой народ.

Когда артиллерийская дуэль стихает, я собираю солдат, я говорю им простые вещи о том, что если они вылезают из окопов добровольно, то ведь немцы-то добровольно вылезти не могут, ведь у них император Вильгельм, помещики, капиталисты и если они все-таки вылезают, то, стало быть, по

приказу немецких генералов, которые только и хотят своей победы. Я говорю, может быть, и неплохо, но меня не слушают, потому что на русском фронте война давно бесповоротно кончена; и говоря солдатам оборонческие речи, я про себя со злостью думаю: «Да чего же смотрят глава правительства, главнокомандующий, все эти министры?! Ведь чем дольше они будут томить этих вооруженных солдат, тем злей они повернут штыки на Россию, оставшуюся позади окопов, на всех, кто покажется им виновником окопной задержки, на кого натравят их большевики».

Я взволнованно кончил. Опершись о плечи товарищей, легко выпрыгнул бывший преображенец и отвечает охрипшим митинговым голосом:

— Все нам старые песни поете, а эти песенки мы слушали три года, только я вас спрошу, за три года сколько наших товарищей их уже не слышат? Они вот в этих окопах перебиты, а за что перебиты, скажите нам? За измену генералов Мясоедова да Сухомлинова, за измену бывшей царицы да Гришки Распутина, за то, что мы все Карпаты без винтовок излазили, за то, что нашего брата, как вшу, там губили без снарядов, а теперь вот, оказывается, вы достали снаряды, чтоб разгонять нас, когда мы, как братья, идем к нашим немецким товарищам и не хотим никакой войны. И вы, пожалуйста, нам не рассказывайте про германский штаб, потому что через эти окопы мы не к штабу в гости ходим. А вот это вы видели? — яростно вскрикивает преображенец, перевертывая свою ладонь и показывая мне свои мозоли. — И у них в окопах эти мозоли есть, а мозоль мозолю брат! — И я вижу, что он верит в это и что его нельзя разуверить, что мозоль мозолю может стать и не братом. — Что же, у них еще нет революции, что, сидит еще эта самая Вильгельма? Не усидит, не беспокойтесь! — зловеще кричит оратор. — Так же полетит, как и наш Николашка, только вы его вот не поддерживайте, этого Вильгельму-то ихнего! А вы поддерживаете, вызываете против нашего же брата артиллерию, а мы этого не допустим! Да! Вам с Милюковым да с Корниловым Дранданела нужна, а я вот критически заявляю, на хрена нам эта самая Дранданела? Нам хоть похабный, хоть деревянный, а подавай мир, вот что!

Но и я в ярости, я кричу:

— Довольно болтать, Кривцов! Сам не знаешь, что несешь... Дранданела....

— Я-то знаю, что несу, а вот вы-то знаете ли? — прыгнув в окоп, угрожающе бормочет впалыми губами вспотевший преображенец-большевик.

Из окопов в землянку я ухожу подавленный одиночеством и бессильем. С каждым днем в окопах, будто на вахте океанского корабля, мы видим, как покачнувшееся судно империи дает все больший крен, как вслед за тылом угрожающе накрывается и фронт, и еще один хороший ветровой удар — и все, перевернувшись, пойдет ко дну. Но самое страшное, что не видно и дна, что все утонет в мутной кровавой бездонности.

VIII

— Смена! — кричат солдаты, торопясь, подпоясываясь, разбирая винтовки. По ходу сообщения уже идет знакомый батальонный командир Малмыжского полка с улыбкой, говорящей: «Сам знаю, что ждете не дождетесь, ну, вот мы и здесь».

Малмыжцы располагаются в окопах, землянках, блиндажах, а мы с чувством предвкушаемого наслаждения отдыхом уходим по длинным, грязным ходам сообщения. Как следует выспаться, как следует вымыться, как это хорошо! А главное, проснуться завтра не в окопе, а в хате и, сонья даже не поняв, где ты, увидеть солнце, какой-то сад, какие-то деревья и косые колеблющиеся от ветра тени на белой стене. Это и есть счастье!

Под Клишковцами квартирьеры ведут нас в ночной темноте, кто-то впереди несет смоляной факел, багрово освещающий нам путь, позванивают котелки, штыки сцепившихся винтовок; на тихих сельских улицах мы расходимся по хатам спать на лавках, на кроватях, на печках.

А назавтра в сельской школе — в офицерском собрании — уже гремит полковой оркестр. За длинными столами — полковые товарищи, оркестр глушит голоса, чоканья, звон стаканов, вилок, ножей. Хорошо быть военным, обедать под полковой оркестр, пить водку и знать, что целых две недели отдыхаешь, как хочешь!

В хате капитана Лихаря, увешанной разнотонными, пестроткаными бессарабскими коврами, после обеда открывается «железка». Офицеры проигрывают хрустящие бумажки свежего жалованья, пьют местное вино, курят, разговаривают о приказе верховного главнокомандующего генерала Корнилова, восстанавливающего на фронте смертную казнь, о Керенском, о надвигающемся большевизме, о разложении полка, о скором возвращении раненого командира полковника Симановского.

Среди говорящих о политике больше других горячится обычно спокойный толстоплечий прапорщик Дукат. Раскуривая трубку, он взволнованно ходит по хате. А за «железкой» в игрецкой страсти бледнеет проигрывающийся капитан Лихарь. Но вот входит улыбающийся румяный Фатьянов.

— Общий поклон, господа, руки не подаю, у меня триппер.

Фатьянов неизменно в хорошем расположении духа. Он садится между Лихарем и Юрко и, играя в карты, отрывается лишь, чтобы подсмеяться над патриотическими волнениями Дуката.

— Да бросьте, Дукат, ваши формулы. «Гибель России», — морщится Фатьянов, будто он закусил лимон, — во-первых, России, вероятно, не так-то уж легко погибнуть, да и вообще, что такое за штука, эта «гибель»? Может, это даже не так уж плохо? Все-то вы, господа демократы, жалеете, а попробуйте не жалеть и проще думать. Я вот только и жалею, что не могу сейчас опять съездить в Хотин к девочкам, ей-Богу, — посмеивается Фатьянов, скаля ровные зубы, — и в революции, Дукат, победим мы, большевики, те, кто проще думают и ничего не жалеют.

— Нет, Фатьянов, твои большевики, конечно, сволочь, — открывая перед ним девятку, говорит капитан Лихарь. Капитан улыбается, мечет банк, капитан от войны устал так же, как устали солдаты, он растерял себя по окопам, он давно уже только ловчится и ему на все плевать: большевики так большевики! Но, знаешь, этим бестиям не откажешь в переживаньице, — продолжает Лихарь, — я вот, например, на свои деньги принципиально в карты не играю, неинтересно, играю всегда на казенные. Так вот и твои большевики. Проиграют? Труба. Зато если выигрыш, подавай сполна наличными! И что там Дукат ни толкуй, а пройтись с красной тряпкой по Европе, это тоже стоящая перспектива! — И сделав полный глоток вина, Лихарь с мечтательным озорством добавляет: — А представляю я, как рассадили бы эту старую ж..., Европу, наши «товарышши-граждане»!

IX

Низкорослый, на кривых ногах, в солдатской шинели, украшенной беленьким Георгием, с черной повязкой на щеке, полковник Василий Лаврович Симановский приехал в

полк, не долечившись от раны. Он принимал полк на широком лугу. Все знали о близости полковника к генералу Корнилову. Именно его назначил Корнилов в весеннем наступлении командовать Кинбурнским полком при прорыве у Тарнополя. И за этот прорыв, когда Василий Лаврович шел в атаку впереди полка и был ранен в голову, он и получил беленький крестик.

Знакомясь с новыми офицерами, полковник пытливо вглядывался в лица и говорил тем тенористо-певучим говором, какой есть только у природных украинцев. По его приказу я сдал командование второй ротой и принял назначение полевым адъютантом. Ежедневно обходя с полковником окопы, я часто слушал его рассказы о Корнилове, перед которым полковник благоговел. А в штабе по вечерам мы обдумывали меры удержания полка от дальнейшего развала. Полковник придумал: немедленный отпуск в тыл всех замеченных в большевизме. Многие уехали. Но главный противник, унтер-офицер Хохряк, от отпуска наотрез отказался.

Рябой, скуластый, рыжий, с тяжелыми узловатыми руками и бегающими буравчиками глаз, этот переметнувшийся в большевики молодой жандарм был крайне опасен. С начала революции, учуяв правильную линию восхождения, он из тыла приехал на фронт и кинулся в самые отчаянные большевики. Из полкового комитета продвинулся в дивизионный, потом в корпусной. Все в Хохряке говорило о нечеловеческой цепкости. В развале фронта он делал большую и страшную карьеру.

Когда на отдыхе он созвал вооруженный митинг дивизии, полковник в противовес ему вызвал корпусного комиссара социалиста Суздальцева.

У голубоватой церкви, переливаясь солдатскими папахами, колышется митинг. В ветре напружились красные полотнища с самоуком выведенными лозунгами: «Смерть буржуазее», «Да здравствует Ленин!», «Долой войну!». И на сколоченную трибуну лезут окопники, говоря речи одна другой злее. Но все ж, в ожидании Суздальцева, про смерть врагам народа соловьицей всех поет Хохряк, он настраивает толпу, как рояль, рассказывая про товарищей Ленина и Троцкого, кто трудовому народу предлагают, братаясь с немцами, кончать войну.

Тревожно гудя, к поляне подъехала запыленная большая машина. Из нее выпрыгнул человек в куртке-комиссарке, с нездоровым серым лицом и выпуклыми красноватыми глазами. Это Суздальцев.

— Как настроение? — бросает комиссар, идя к трибуне.

— Горячее.

— Ну, сейчас потолкую с братьями.

И комиссар поднимается на трибуну успокоить солдатские умы и души.

— Товарищи революционные солдаты самой свободной армии в мире, — ровно бросает Суздальцев привычное вступление, протянув над толпой правую руку.

И Суздальцев заговорил, и чем дольше он говорил, тем сильнее разжигал в себе недюжинный талант красноречия, тем горячее захватывало его самого ораторское волнение. Но когда, кончая, напрягая голос на верхних нотах, он закричал: «...и если товарищ Керенский нам прикажет идти и умереть за нашу великую свободу...» — потрясая в воздухе винтовками, митинг живоно заревел и вся бешеность солдатских страстей переклестнула берега; в солдатском реве комиссара не слышно. Изможденный солдат с взглядом каких-то надорванных глаз, размахивая винтовкой, протяжно голосит: «Заклучаааайй миииир!!!.... Сволааачь!... С бантом приехал!!!»

Побледневший Суздальцев стоит на трибуне. Мы с командиром — поодаль, у церковной ограды. «Дуралей, — бормочет сквозь сжатые зубы полковник, — по этим гадям нужна пулеметная очередь, а он запел им арию о Керенском!» И потемневшими жестокими глазами он оглядывает стонущий митинг, от своего бессилья еще злей его ненавидя.

Вечером, в штабе полка, за ужином Суздальцев ел котлеты с помидорами, пил водку и не казался даже особенно озабоченным, а когда штабные офицеры заговорили о безнадёжности общего положения, он, снисходительно улыбувшись, проговорил:

— Преувеличиваете, господа. Помните французскую революцию? Хотите, я оживлю вам некоторые сцены сопротивления санкюлотов армиям коалиции?

И комиссар заговорил опять, и было ясно, что он влюблен в свое красноречие, в свою кожаную комиссарскую куртку, а главное, в бурно разворачивающуюся революционную карьеру комиссара Суздальцева.

Возвращаясь из штаба по притаившейся в тишине улице села, белевшего лунно-освещенными хатами, я как никогда чувствовал вплотную придвинувшуюся гибель, словно ее можно было нащупать, словно она была здесь, за этими плетнями, деревьями, хатами, и страшно было ощущение ее полной неустранимости. Ощупью шаря по сениям,

я вошел в хату, вздул огонь, и в душу ударила неожиданность. Еще в штабе я знал, что в числе дезертиров скрылся мой вестовой Горшилин, а теперь в тусклом керосиновом свете я увидел, что он взломал мой чемодан и украл все, даже какие-то ему совершенно ненужные предметы. Я вспомнил и мое «проявление самообладанья», и как я ему «беспременно спас жизнь». А может быть, думал я, и верно, что он упал тогда под Млынскими хуторами, чтобы сдать в плен? Тягучую, плохоспаную ночь провел я после дивизионного митинга, ужина с комиссаром, побега вестового. Я все лежал с открытыми глазами.

А на другой день по фронтовым проводам пробежала телеграмма: Верховный главнокомандующий генерал Корнилов восстал против Временного правительства, с Дикой дивизией выступив из Ставки на Петроград, и глава правительства Керенский объявил Верховного главнокомандующего изменником. В первую минуту во все это нельзя было поверить. Но поверить пришлось; и стало ясно, что роковая гибель пришла...

Дни проходили один страшнее и немее другого.

И, наконец, телеграф пронес всем, всем, всем: Временное правительство пало, Керенский бежал и в должность Верховного главнокомандующего вступил прапорщик Крыленко, «товарищ Абрам»...

В подошедших к окопам смерзшихся порыжелых полях еще тянется кое-где паутина. В обуглившемся лесу пахнет сыростью и гниющей листвой. Воздух по-осеннему редкий. По утрам освещенные холодным солнцем сливовые сады начинают курчавиться легким инеем. На широкоспинном жеребце я в последний раз еду к окопам. Неровность мерзлой дороги подведена инеем, скованная земля гулко отдает удары подков. Теперь к нашим окопам можно подъехать вплотную. Война кончена. Наши солдаты бегут из этих глинистых ям, подаваясь вглубь России на черный передел помещичьих земель,

У нашей былой землянки мне встретился Фатьянов. Кивнув на уходящих солдат, весело улыбаясь, проговорил: «Это перевертываемая рукой Ленина заключительная страница участия России в мировой войне». Фатьянов доволен, он тоже бросает фронт, уезжает в Казань.

Сидя на бруствере, в шинели внакидку, держа в левой руке пестро-красочную палитру, кудрявый художник, прапорщик Бондаренко, пишет линию наших окопов, дальний лес, лиловатое небо. Он словно торопится, ибо скоро этой линии уже не будет. Вокруг стоят несколько

еще не убежавших солдат, с любопытством глядя, как художник покрывает картон коричнево-лиловыми мазками.

По лесной дороге я возвращаюсь в штаб; на тугих поводьях жеребец несет меня машистой рысью, приятно поддавая хребтом под седло. Вдыхая прелесть этого осеннего леса, я чувствую себя *потерянным в охватившем все октябре.*

Х

Лохмами белой шерсти летит мокрый снег, облепляет красно-бурые нетопленые вагоны. Я лежу в углу верхних нар, в раскрытую дверь вижу бушующую бурю солдат возле поезда. Обивая с сапог налипший снег, в теплушках устраиваются фронтовики. сбрасывают вещевые мешки, отстегивают подсумки, смеются, теснятся на нарах. Винтовки, как хотели, в землю воткнуть не воткнули, взяли с собой, пригодятся.

Наша теплушка набита свыше Божеской меры. В дверях, свесив наружу ноги, плотно сжавшись, сидят окопники, крича: «Нет местов, товарищи, нет, куды на людей прешь!»

Но солдат в сбившейся на сторону папахе, с винтовкой за плечом, с глазами пустыми и остановившимися, встал перед вагонами, зверски закричав: «Тебе есть, а мне нету?! Я в окопах вшей меньше твоего кормил?! Кады сюды везли, находились, а теперь местов нету?!»; и он так стоверстно заматерился, что в вагоне все расхохотались: «Вот эт-тык занозил!» Он лезет на людей, через тела, через головы, и все понимают, что раз «слободно для всех», то и он «должон получить место».

Снег кружится крупными хлопьями, занес обледенелые рельсы, облепил теплушки, тяжелые колеса вагонов. Фронтовикам не терпится, они залезли не только на вагонные крыши, но и на тормоза, сидят даже верхом на единственной в составе нефтяной цистерне. С крыш, с цистерны, с тормозов хрипло, простуженно угрожают машинисту: «Крутиии, Гаврилааа! Наворачивааай!» Им хочется скорей вглубь взорванной, распадающейся России, и оттого, что поезд все еще стоит, они срамословят, поминая Бога, душу, доску, гроб, мать; во всех них живет отчаянье дикого безудержа, которое они везут в города и деревни. с которым растекутся по всем просторам России.

Наконец, против косо несущего снег ветра, этот перегруженный, в белом снегу поезд трогается. И сидящие у раскрытых дверей сразу разногласно запевают все ту же любимую песню русского неизвестного солдата:

Хорошо тому живется — слушать ласковы слова,
Посидел бы ты в окопах, испытал бы то, что я...

Я еду в Пензу. Солдат, мой сосед, с прожелтевшим больным лицом, тронутым оспой, спит, тяжело навалившись на меня, от него пахнет самогоном. Вагоны мучительно качаются, дергаются; паровик свистит куда-то в снеговые пространства, словно зовя на помощь. Так весь день прорывается он сквозь стылые бело-полотняные снега, туда, вглубь России. А когда падает темнота, в устало мотающихся вагонах люди тяжело засыпают. И в ночной темноте поезд идет черный, невидимый, кроме озаренных паровозной топкой кочегара и машиниста.

Лежа в углу верхних нар, я не могу заснуть, думаю о том о сем, почему-то вспоминаю довоенную Пензу, как после обеда в четыре часа ежедневно гуляли пензяки по левой стороне Московской улицы. Гуляли именно по левой, а не по правой, в этом была какая-то тайна движения гуляющих пензяков. Здесь обязательно промоционивается засидевшийся губернатор, бритый балтийский немец фон Лилиенфельдт-Тоаль идет с палкой, на ходу развевая красную подкладку шинели. Тепло одетый, с квадратной бородой, в пенсне, гуляет безобидный председатель управы князь Кугушев. Степенно и отдышающе движутся дамы в каракулевых шубах, опираясь на руку мужей. Тротуар затоплен зелеными, коричневыми, синими форменными юбками гимназисток; с папками «Musique» топчут по снегу опущенными ботинками, спешат в музыкальную школу. Похулиганивают гимназисты, реалисты. Гимназисток нагоняют офицеры-драгуны в ослепительных канареечных фуражках, в длинных до пят шинелях с разрезами до талии, идут с бормотанием шпор, с громом сабель по обледенелому тротуару. Им невольно дают дорогу скромные зеленые канты землемеров, садоводов и техников; за обилие учебных заведений шутники называли Пензу «мордовскими Афинами».

С криками «Ай берегись!», гулко ударяясь передками саней о глубокие ухабы, по порыжелому иссеченному подковами снегу несутся лихачи. И, шурша и колыхаясь на рессорах, с мягким грохотом катится черный лаковый куб кареты, влекомый парой разьевишихся рысаков в дышлах. Это пензенский архиерей Владимир, смоляной, огненно-окий красавец, в миру гвардии поручик Путьята.

У каждого квартала, на бирже, хлопая голицами и наотмашь маша рукавами, разогреваются извозчики, кричат: «Подвезу, барин!» Над Пензой рассыпается мутное розовое солнце. Из домовых труб тянутся голубые дымы. На морозе раскраснелись пензяки, отдыхают, гуляют. У реки на размеченном темно-зеленом студне катка чертят лед, вальсируют конькобежцы. Далеко по льду несется вальс «На сопках Маньчжурии» оркестра пехотного Венденского полка. И на гулянье в Пензе жизнь кажется тихим, спокойным подъемом на какую-то снежную гору, у которой даже нет и вершины, и все поднимаются на нее не спеша, оттого что солнца и всяческого изобилия на всех хватит. Но, оказывается, все было призрачно в той морозной, радостной Пензе — все, кроме синего снега и розового солнца, думаю я, лежа на верхних нарах теплушки.

Поезд остановился у какой-то станции. В полуоткрытую дверь вдруг запел бабий умоляющий голос: «Христа ради, второй день стоим, пустите, солдатики, нам недалечка...» Крайний у двери солдат проснулся и высунулся, оглядывая двух платками увязанных баб.

— А вы, тетки, кто будете? Не ударницы ль от генерала Корнилова?

В вагоне захохотали, и от этого хохота передняя осмелела и запросилась настойчивей.

— А ехать-то далеко? — мучая бабу, спрашивал тот же крайний солдат.

Но в вагоне весело вскрикнул тенор:

— Товарищи, ставлю вопрос на голосованье, пущать иль не пущать этих дамочек?!

— Пущать! — закричали голоса, — Я, может, четыре года бабы не видел, забыл, как она и пахнет.

В надышенную, тепло-вонючую теплушку солдаты втягивают двух смеющихся баб в полуподдевах, с тяжелыми мягкими узлами.

— Сюда, солдатка, лезь, к нам на полати, погреемся маленько, а то смерзлись, — потирая руки, тоненько засмеялся солдат на нарах.

Но внизу возле баб ярится втянувший их ефрейтор, тот, что «ставил вопрос на голосование»; он уж уместился с одной из них на мешке и, обвив ее за шею, притянул к себе и как бы с издевкой над бабьей беззащитностью приговаривает: «А ты не супротивляйся... ух ты, враг унутренний...»

— Ты ее, Васька, бризантным крой... она, поди, ше неучена...

— Да отчапись, ты, — вырывается баба, и по хохотку слышно, что ей и приятно, и страшновато в полутемном солдатском вагоне.

Поезд пошел. В освещенную фонарями полутемноту с нар свесились солдатские головы, каждому хочется посмотреть на баб. Ефрейтор уж повалил на мешок солдатку, щупает ее, а она, выбиваясь из-под него, и от щекотки, и от стыда, и от бесстыдства заходится смехом сквозь не то рукой, не то поцелуем зажатые губы. Солдаты сползают вниз, поближе, посмотреть на свалявшихся. Но Васька за-таскивает бабу под нары. Оттуда слышится возня, сопротивление, неразборчиво-приказательные бормотанья и полузаглушенный шепот и смех.

Поезд идет, свистит, кричит в темноту. Спящие на верхних нарах стонут во сне. А внизу теперь уже от кого-то другого отбивается баба, будто даже со слезой, скулит по собачьи: «...да што вы... бешеные... да, Манька, да што они...», а ей кто-то затыкает рот и опять скребутся о доски сапоги и слышится неровное дыхание и кто-то сторонний будто давится смехом.

Но вдруг темноту разодрал озверелый крик: «Не натерлись ще! Набрали б... не нарадуются!» И от этого огненного крика все стихло, только слышно, как на нарах, перевертываясь, умачивается разбуженный солдат.

Я заснул. На рассвете проснулся от общего шума. Поезд стоит на малом разъезде. У двери вагона баба в полуподдевке, с испугом ухватившись за тяжелый узел, вырывает его у Васьки, ненавистно крича: «Отдай! Пусти! Черт!» Кругом усталые зелено-желтые солдатские немые лица. Васька с черными кольцами усиков смеется, дразнит бабу, не отдает, но вдруг, сразу сграбастав, выпихивает из вагона и бабу, и узел и кричит, хохоча: «Катись колбасой, тетка! Телеграфируй по беспроволочным проводам, что, мол, отдохнули как надо солдатики революционной армии!»

С платформы обе бабы наперебой отругиваются: «Идолы! Жеребцы стоялые! Чтоб вас под откос спустило! Черти налетные!» Солдаты бурно смеются, высовываются в дверь: «Красненькую аль синенькую за люботу-то хотела?! Теперь лети, по ширинкам не засматривайся!»

Поезд пошел. Сквозь размеренный грохот колес издалика долетает еще неразборчивая ругань баб, опозоренных, но все ж, наверное, довольных, что наконец-то доехали до своей станции.

Паровик свистит, пыхтит, словно у него порок сердца, словно с превеликим усилием прорывается он в сугробные

пустые пространства, словно трудно ему лезть сквозь всеобщую топь в глубь России. У откаченной двери, расстегнув ворот гимнастерки и свесив одну ногу на волю, покуривает козью ножку Васька; он то сплевывает на пролетающие откосы, перелески, чащобы, поля, то вполголоса напевает что-то революционное. Он с винтовкой возвращается в деревню, злое лицо его решительно. Васька на все готов, он поет: «...грудью проложим себе...» Я гляжу на него и думаю: вот Васька это и есть октябрьская революция.

— Помешался народ, — сокрушенно покачивая головой, откусывая сахар и прихлебывая чай из жестяной кружки, тихо говорит неподалеку от меня устроившийся тощий, квелый солдат с обтянутыми скулами, — да рази на ней, на войне-то, не помешаешься?

— А давно на войне-то?

Прожевал сухарь, запил глотком чая.

— Четвертый год.

— Ты откуда будешь?

— Из-под Сызрани. — И задумчивый солдат, что-то шепча, расправляет на нарах шинель и ложится, поджимая ноги, сам с собой бормоча: — Трудно оно после трех-то лет ехать... у бабы мальчонка растет, четвертый год, а я его еще не повидал.

Я молчу. Я слушаю, как Васька поет: «...долго в цепях нас держали...» А мимо пролетает вся Россия: перелески, поля, лесные просеки, поймы, дороги, косогоры, займиша, суходолы, шлагбаумы, будки стрелочников и баба, замотанная платком, стоит с поднятым зеленым флажком, показывая, что поезду путь свободен...

I

Глубокой ночью уставший поезд со скрежетом толкнулся и встал у пензенского вокзала. Я выпрыгнул из своей краснобурой теплушки: несет несусветная пурга. Плохо освещенный вокзальный зал завален вповалку спящими солдатами. Солдаты с вещевыми мешками, узлами, окованными сундучками, спят в ожидании поездов. Стойка у буфета сворочена, бесстеклые окна заткнуты тряпками, большие искусственные пальмы, бывшие когда-то украшением зала, с переломленными листьями валяются кучей в шелухе семечек.

А вокруг вокзала — темнота, снег, моргают далекие глазки огней. На приступках крыльца меня охватила метель, приятно обмывая усталое от неумывания лицо.

— Извозчиков нет?

— Чай, видите, что нет. Откуда им быть? — пробормотал укутанный башлыком прислонившийся к стене носильщик в нагольном полушубке, и в голосе его осуждение революционных порядков.

Я двигаюсь было в темноту, но носильщик, как сквозь сон, окликает:

— А вы не ходите, ждите, кто подъедет.

— Что? Опасно что ль?

— Опасно, — передразнил, усмехнувшись, — не знаете, город разгромили! Каак? Да как громят-то, погром был. От Московской званья не осталось, еще спасибо мы, железнодорожники да драгуны, подспели, а то с магазинов бы на дома кинулись, — и, прикрывая рот варежкой, носильщик зазевал и в зевоту произнес безразлично-устало: — Иххххи... — Он словно дремал в этой темной метели, несущейся безвластным вихрем над городом.

— Да кто ж громил-то? — допытывался я.

— Кто? Народ громил, кому ж громить, не звери из лесу... народ, вот и разнесли. — И, зевая, кряхтя, носильщик пошел в вокзал греться.

Словно прорывая дыры в ткани снежной тьмы, из города доносились далекие ружейные выстрелы; и чувствовалось, зналось, что в России все «поехало с основ», что в

этой вьюге в России нет уже ничего, кроме пустоты страшной всероссийской свободы.

Из налетающей метели показался темный овал дуги и мохнатая голова лошади; скрип полозьев; и запурженный, замотанный каким-то тряпьем старичок извозчик, подвозя солдата с винтовкой, осадил у вокзала шершавую, заиндевевшую лошаденку. Я сел в его сани, прикрыл колени полосато-пестрым рядом с намерзшими на нем льдинками, и длинношерстая, от снега темно-белая лошадка мягко понесла сани, ухая и ныряя в невидимых ухабах. А где-то, словно рвут коленкор, стреляют; выстрелы несутся в ветреной, несопротивляющейся вьюге.

— Чего стреляют-то?

— Стреляют, — дергая вожжами, подтверждающе говорит извозчик.

Я хочу завязать с ним разговор, мне неприятно молчать в этой черной метели.

— Темнота-то какая... фонари, что ль, перебиты?

— А кто зныт... может, попорчены... — погоняя лошаденку, зачмокал извозчик; и с Козьего болота мы скользнули в Нагорную, мимо мелькнувшей на снегу кучки каких-то вооруженных штатских.

— Охрана, что ль?

Извозчик не отвечает, по привычке чмокает, понукает лошаденку, тропотящую мелкой рысцей. И черт его знает, может, этому молчащему старику извозчику в этой первобытной темноте разграбленного города хорошо?

В окне нашего дома я сразу, всем существом, узнаю оранжевый свет: лампу матери с светло-желтым абажуром. Наше крыльцо под круглым навесом занесено снеговым пухом. Повернувшись с козел, извозчик отстегивает рядно и, сняв голицу, протягивает за полтинником согнутую теплую ладонь. А у нас в доме, метнувшись, в окне пробегает тень; это мать увидела, дождалась.

Визжа полозьями, извозчик отъехал, скрылся в метели. В темноте я стою один на морозной улице, у двери родного дома. На крыльце остались резко-черные следы подошедших к двери моих сапог. И в секунды ожидания, что сейчас эта коричневая, с шариками, с детства знакомая дверь откроется, в сознании почему-то молнией проносится то, что обычно называется «вся жизнь». Мне хорошо и жутко. Долго не попадая, торопясь, в замке возится, скрежешет ключ. Но вот, отваливая наметенный снег, дверь отворяется, и я тут же обнимаю темное очертание что-то шепчущей, плачущей няни Анны Григорьевны, а за ней спешит мать.

Все тот же старый друг семьи, томпаковый самовар, уродливо отражая наши кривоголовые лица, вздыхает все на том же с детства знакомом столе. За чаем, несмотря на долгий путь, на страшность разгромленной Пензы, на все захватившую над ней ледяную метель, я испытываю ту же, а может быть, даже еще более острую радость возвращения домой. Я смотрю на мать и она, как всегда после разлуки, кажется мне в чем-то иной и в этой новизне волнующе дорогой. Я гляжу на ее родное лицо: ясная округлость лба, высоким валом взбитые русые волосы, темные пудовые глаза задумчивы, чуть грустны. Лицо очень русское, степное, дворянское. И не подумать, что у этой маленькой женщины с бледно-красивыми руками, как у многих истых русских женщин, характер совершенно бесстрашен и тверд.

Вещи, комнаты, их расположение — все мне кажется изменившимся и от этого еще более приятным. И в то время как я рассеянно и радостно гляжу на все вокруг, мать рассказывает о Пензе, о наплыве фронтовиков в деревнях, о том, что везде громят, что товарища отца, нотариуса Грушецкого, заживо сожгли в его имении, что под Керенском убили знакомого молодого либерального помещика Скрипкина и для потехи затолкали труп его в бочку с кислой капустой, а после этого мужики двинулись дальше, на соседнюю усадьбу Божеряновой. Но Божерянову предупредили. И так как в имении Скрипкина мужики барским кровным маткам ломами перебили хребты, а производителю-жеребцу вырезали язык, Божерянова у себя на конюшне застрелила свою любимую лошадь и потом выстрелила в себя, но себя только ранила; и когда толпа уже вбегала в парк, старый приказчик увозил из усадьбы окровавленную, ослепшую женщину.

Мать рассказывала, как в Евлашеве убили Марью Владимировну Лукину. Ее убийство евлашевские крестьяне обсуждали на сходе, выступать мог свободно каждый. Против убийства выступил Никита Федорович Сбитнев, но большинство не захотело слушать кулака; на убийство мутил пришедший с фронта солдат Будкин. Но тогда несогласное с убийством меньшинство потребовало у общества приговор, что они в убийстве не участники, и поднятием рук сход постановил: выдать приговор несогласным и убить старуху. И, взяв колья, толпа двинулась во главе с Будкиным на усадьбу убивать старую барыню и ее дочь, которую все

село с детства полуласково-полунасмешливо называло «цыпочкой».

Как друзья ни уговаривали М. В. Лукину в эти дни разгромов и самосудов бросить Евлашево, старуха наотрез отказалась: «Тут родилась, а если Бог судил, тут и умру» — и осталась в разваливающейся родовой усадьбе. Когда сельский сход голосовал ее смерть, она ужинала с дочерью, но из парка вдруг в окно забарабанила чья-то темная рука; дочь подбежала, открыла фортку, на пол упал комок бумаги, на бумаге накарябано: «Бегите скорей, вас идут убивать», — и от темного окна какой-то мальчонка кинулся бегом по сугробам. Но сырая старуха успела добежать только до каретника; их учуяли бросившиеся за ними крестьянские собаки, а за собаками набежала и темная толпа с кольями. Марию Владимировну убили, вероятно, первым же ударом кола, с «цыпочкой» же случилось чудо. Окровавленная, она очнулась на расвете у каретника, когда ей облизывал лицо их ирландский сеттер; из последних сил девушка подползла к матери, но, увидав, что мать мертва, поползла дальше из сожженной усадьбы; ирландский сеттер шел за ней, он и спас ее, когда она, не доползши до хутора Сбитневых, потеряла сознание; сеттер бросился к избе, скребся, лаял и вышедшие Сбитнесвы подобрали «цыпочку» и отвезли в Саранскую больницу.

Уж давно потух наш томпаковый самовар, по подоконникам воровски вползает холодноватый рассвет. Анна Григорьевна уснула на диване, а я все слушаю рассказы матери. Она рассказывает, как громили наше имение, как после разгрома Лукиных конопатские пришли на усадьбу к няне Анне Григорьевне с тем, что возьмут имение в охрану, хлеб свезут в общество «под ярлык до Учредительного собрания», а на скот установят цену и купят его обязательно под расписку, чтоб никто, даже само это Учредительное собрание, не имело бы права, в случае чего, отобрать назад. Анна Григорьевна на все соглашалась. И конопатские начали перегонять скотину, как вдруг на дороге показались евлашевские, а из-за лесу, с другой стороны, выбежали смольковские. На усадьбе началось кромешное светопреставление. Евлашевские кричат конопатским, что те разворовывают «народное достояние», конопатские отвечают, что в Евлашеве они с своей Лукиньюшей рассчитались, а эта усадьба причитается конопатским, и они хотят свое добром взять. Но и евлашевские, и смольковские требуют и тут своей доли. И вдруг

какой-то мальчонка, вероятно от удовольствия общей свары, запустил кирпичом в окно, и от этого стеклянного дребезга толпа всех трех сел рванулась, и пошло! Выбили окна, высадили двери, тащили кто кресло, кто посуду, кто стулья, кто диван. Бабы поволокли ковры, портьеры, гардины, тут же на лугу рвали их, чтобы всем вышло поровну; какой-то евлашевский парень топором рубил медные тазы, каждому со смехом раскидывая по куску. В усадьбу понаехали с подводами, каждый торопится побольше забрать народного достояния. Беременная, на сносях, баба на себе утащила входную дубовую дверь. Разгул расходился все безудержней. Но кто-то, разлив в кладовой керосин, поджег его, и выстоявший дом запылал, как свеча. За домом подожгли службы, ометы соломы, сена. Пленные немцы недоумевали, зачем же жгут? Лучше бы взяли и увезли к себе. Но этого им так никто и не мог объяснить. И скоро от отпывавшей усадьбы остался только чугунный локомобиль на снежном бугре да пожарище головней. Анне Григорьевне же дали лошадь и дровни, чтоб узжала подобру поздорову.

Уже после разгрома, на третий день, мать не без страха, но все ж решила ехать в Конопать, думая, что среди вещей, сложенных у учительницы, может быть, уцелело самое дорогое: письма мужа, отца, семейные фотографии. Въехав в село, еще издали она увидела у церкви свои зеленый полукруглый александровский диван красного дерева и на нем весело игравших ребятишек. Неподдалеку прямо в снег свалена библиотека с сверху разлетевшимся собранием сочинений Льва Толстого в красных кожаных переплетах. А на церковной паперти запертый замками длинный кованый коник, который конопатский сход постановил не взламывать, а, предполагая в нем большие богатства, перенести в церковь и потом разделить все поровну, по-божески, всем селом.

Учительница Марья Семеновна, одинокое жалкое существо, увидав мать, залилась слезами. Ночь у нее мать провела страшную, потому что, узнав о приезде барыни, еще до рассвета к училищу шумящей толпой стали сходиться мужики. Мать с волнением прислушивалась к их голосам, они о чем-то спорили, была даже как бы драка, а чуть забрезжило, все ввалились в училище и тут мать поняла, чего они всю ночь дожидались.

Пегобородый, с выкатившимся острым брюхом, хозяйственный крестьянин Иван Лихов заговорил первым. Он сказал, что они, Господи упаси, не хотят никакого само-

управства, что это их попутали евлашевские, а они хотят, чтоб все было по-хорошему. Хлеб, как сказали, берут обществом под ярлык до Учредительного собрания, как оно решит, так тому и быть, а всю пригнанную скотину хотят купить, и обязательно под расписку. Мать стояла ошеломленная, но как ни отказывалась и ни разъясняла, что никакой купли-продажи быть уже не может, взяли все, ну и Бог с ними, мужики только сильнее и недоверчивей настаивали, и вокруг матери поднялся такой настоятельный шум, что на требующую ими куплю-продажу матери приходилось согласиться. Цену крестьяне назначали сами, но деньги заставляли брать мать и непременно тут же давать каждому расписку. И чем дальше все это шло, тем азартнее становились покупатели, отпихивая друг друга, ударяя по ладоням, матерясь, готовые вот-вот схватить друг друга за грудки.

Истомленная мать пыталась было уйти в комнату Марьи Семеновны, но и туда за ней ворвался осипший, замухортый Федор Колоднев и, с разбегу упав в ноги, скороговоркой заголосил: «Барыня милостивая, будьте благодетельницей, не оставьте, бедный я, вдовый, четверо ребяток, а коровы нет, выбрал я буресую, а Пашка Воробьев на нее зарится, а он богатый, пусть уж ваша милость будет, поддержите вы меня, ради Христа...» И Колоднев был счастлив большим человеческим счастьем, когда, при поддержке матери, повел в свою половню корову-ведерницу.

Так до утра проговорили мы с матерью. Когда уже в просветлевшей комнате, где я спал еще ребенком, я задернул занавес, отчего комната, как всегда, наполнилась синеватым светом, я, легши на диван, заснуть уж не мог. Не удавалось словить и осилить сон, он все выскальзывал, и с закрытыми глазами я видел то безгласного старика извозчика, то рыжего Хохряка, рухнувший фронт, поезд с бабами и ефрейтора Ваську, то евлашевских убийц старухи Лукиной, то упавшего в ноги матери Колоднева, то петербургских матросов, заколовших Шингарева и Кокоскина, и все смешивалось в какое-то осязание страшного кровавого потопа, в котором уничтожается все.

В голову пришло воспоминание из далекого детства. Мне десять лет, я отыграл в разбойники с сверстниками, крестьянскими мальчиками, и мы сидим на закате у берега нашего пруда. Вихрастый Канорка, в красноватой домотканной рубаше на одной медной пуговице, держит в руках свою босую ногу с огрубелой, словно крокодиловой, ступ-

ней и выковыривает из нее занозу: хриплым баском он рассказывает, что будет время, когда всех «господов» начнут душить. Мне неприятен Каноркин рассказ; я не понимаю, почему может прийти такое время? И я перебиваю его, что все это глупости и никогда ничего этого не будет.

— Кто ж будет душить? Ну, скажи, кто?

— Бог зачнет господов душить, вот кто! Кады страшный суд придет! — шепеляво кричит Канорка.

— Да это совсем другое, — говорю я, — это только грешников!

Но Мелеха, Ефимка, все, кроме болезненного Пантелея, согласны с Каноркой.

— Кады их душить будут, мы, Канорка, тоже к ним придем, — азартно поддерживает Канорку цыганенок Мелеха, — самовар отыдем, в пруд закинем и картуз с тебя сыдем, — с жадным озорством поглядывает он на мой жюкский картузик с пуговицей на макушке.

И хоть я не верю, что они когда-нибудь придут, но все же ощущаю у пруда какое-то боязное чувство оттого, что нас с братом двое, а их, крестьянских мальчиков, так много; и я еще горячей кричу, что все это глупости, а если они и придут, то я перестреляю их из монтекристо!

Лежа на диване, я вслух шепчу: «А ведь пришли и не только отнимают картузик, а и убивают за него; это вот и есть страшный суд над господами». И я чувствую, что засыпаю.

III

После разлуки есть наслаждение не только во встрече с любимыми людьми, но и с любимыми местами. Я по-особому волновался, когда вышел из дома посмотреть на свою Пензу. Дошел до Московской улицы, она неузнаваема. Как по всей России, тротуары по щиколотку залузганы шелухой семечек, от них снег грязно-серый, окна и двери разгромленных магазинов забиты досками. Все наводнено проезжающими, бегущими с фронта солдатами, они, никому не сторонясь, идут по тротуарам, по снегу мостовой, вооруженные, в шинелях нараспашку, внакидку, без погон, без поясов, сплевывают на сторону подсолнухи; едут на извозчиках пьяные, расхлястанные, с винтовками на коленях и дико поют какую-то азиатчину. На базарной площади они самосудом убили проезжавшего с фронта неизвестного штабс-капитана только за то, что тот не снял еще золотые

офицерские погоны, эту самую лютую, самую жгучую солдатскую ненависть, и, связав ему ноги веревкой, протащили его голый труп по улицам Пензы. «Пенза страшна, как страшна вся Россия», — думаю я, идя в толпе солдат по Московской.

Но мне странно, что во всей этой низменной, всезатопляющей мерзости в то же время и я ощущаю какое-то своеобразное величие. «Это, вероятно, и есть трагическое величие революции», — думаю я.

К вечеру к нам пришла Наталья Владимировна Лукина, «щыпочка». Голова забинтована, с трудом поворачивает шею. Рассказывая об убийстве матери, плакала и чему-то жалобно, страдальчески улыбалась. Но как это ни противостоестественно, к убившим ее мать и не добившим ее мужикам она не чувствовала ненависти. Со слезами тихо говорила:

— Ну, звери, просто звери... а вот когда узнали, что я не убита, что я в больнице, ко мне из Евлашева стали приходить бабы, жалели меня, плакали, приносили яйца, творог...

— Да это они испугались, что им за вас придется отвечать!

— Нет, что вы, перед кем же им теперь отвечать? Власти же нет. Нет, это правда, они жалели меня. — И Наталья Владимировна плачет, поникая забинтованной головой.

В эти же дни с отрядом какой-то отчаянной молодежи по Пензенскому уезду поскакала верхом вернувшаяся с фронта девица Марья Владиславовна Лысова, будущая известная белая террористка Захарченко-Шульц, поджогами сел мстя крестьянам за убийства помещиков и разгромы имений. И в эти же дни пензяки узнали, что наш гимназист Михаил Тухачевский, бежавший из немецкого плена лейб-гвардии поручик, пошел в Москве на службу к большевикам. Это было воспринято как измена. Так незаметно начиналась русская гражданская война.

В сочельник у меня за ужином собрались друзья-офицеры обсудить, как организовать для вооруженного восстания в Пензе. В разгар ужина в прихожей раздался звонок и я неожиданно услышал невнятно-сипловатый голос прапорщика Крутицкого. Что за наваждение? Наш фронтовой сапер, мастер постройки землянок и блиндажей? Действительно, он, пролетарий, ширококостный, с белесыми усами, сын уральского рабочего, приехал ко мне прямо из окопов. За общим ужином Крутицкий долго рассказывал о послед-

них днях Кинбурнского полка, как командир уехал с фронта в Полтаву на полковых лошадях, как разбегались кто куда полковые товарищи. Но под рассказами я чувствовал, что белоусый начальник саперной команды приехал ко мне неспроста; и действительно, когда все ушли, он, как бы невзначай, обронил:

— Я тебе от Василия Лавровича письмо привез, да не знаю, что от него осталось, оно в сапоге, а я их две недели не снимал.

С трудом я стащил с Крутицкого словно примерзший сапог и с трудом прочел истоптанное, пропотевшее письмо командира. Полковник писал: «Корнилов на Дону, я еду туда, приезжайте немедленно, собрав возможно больше друзей, а оттуда мы уж двинемся на север...»

— Он тебя обязательно ждет, — проговорил Крутицкий, — будет организовывать полк, поднимут казаков и айда на Москву! Так и сказал: передайте Гулю, что первыми войдем в Москву и наш полк будет охранять Учредительное собрание.

В ту же ночь Крутицкий уехал глубже к Москве по тайным поручениям командира, а я и брат, приморский драгун, стали обдумывать предложение полковника. Но обдумывали недолго: мне двадцать два, брату двадцать три года, мы едем к Корнилову на вооруженную борьбу с большевиками за Всероссийское Учредительное собрание; и с нами едут четверо товарищей-офицеров.

Липовые солдатские документы, вещевые мешки, все достали, и на третий день Рождества мать, надевая на меня ладанку и крестя частым крестом, беззвучно плакала в страшной боязни вечного расставания. Я уже вышел на улицу, а все еще чувствую на щеках ее слезы. Полувысушившись из двери, мать с трудом выговаривает какие-то последние взволнованные наказания и благословения. На всю жизнь я запомнил выражение ее лица с сияющими от слез глазами и этот зимний синеватый вечер, в который я опять уходил из родного дома.

По обмерзшему тротуару круто и однотонно скрипят сапоги. Мы идем гуськом на расстоянии шагов пятидесяти. «Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер на всем Божьем свете...»

Над казачьей столицей горит золотом шапка собора. На улицах Новочеркаска в ту зиму были особенно хороши тополя в опушке голубоватого инея. Они стояли, словно солнечная декорация, а может быть, это мне так казалось. Все мне тогда на Дону показалось радостным.

Шелестя по снегу, несутся военные автомобили, мелькая генералами. Рысят на золотистых дончаках отряды казаков; звякая бубенчиками, скользят извозчицьи сани, и в франтовских сапогах, с песней, проходят юнкера: «Так за Корнилова, за родину, за веру!»

На тротуарах трудно разойтись. Пестрота красных лампасов, разноцветные околыши и тульи кавалеристов, белые платки сестер милосердия, аршинные мохнатые папахи текинцев. На домах плакаты Добровольческой армии и партизанских отрядов. В этой морозной бодрости столица Всевеликого Дона, Новочеркасск, как военный лагерь. И только изредка среди офицерских бекеш и шинелей попадется проезжающий с фронта, растерзанный солдат, бросающий волчьи взгляды на обилие золотых погон; но тут их не сорвешь, это не Москва или Петербург, это готовящаяся к сопротивлению красным столицам — Русская Вандея.

Радостно и бездельно идя по Новочеркаску, мы заходим в полный молящимися собор. Ближе к алтарю, в окружении офицеров, на коленях молится седоусый генерал, в очках, с лицом простого русского солдата; это бывший начальник штаба Верховного главнокомандующего, генерал М. В. Алексеев. И тут же на паперти я неожиданно встречаюсь с командиром, полковником В. Л. Симановским. Мы оба обрадованы. Но я удивлен неопределенно-тревожной переменной в полковнике: лицо дергается, говорит судорожно; я вижу, что развал фронта обошелся полковнику дорого.

Наутро мы подходим к особняку, где у парадных дверей стоит розовощекий семнадцатилетний юнкер с винтовкой у ноги и делает свое лицо ребенка необычайно воинственным и суровым. Он доложил о нас караульному начальнику, и мы поднимаемся по ковровой лестнице наверх, где в не-

большой комнате, оба красивые, оба в коричневых френчах, прапорщик-женщина и прапорщик-мужчина записывают добровольцев.

После записи гвардии-полковник Пронский обращается к нам с речью. Малорослый, с застывшей в лице петербургской брезгливостью, с пробором, расщепившим голову от лба до затылка, полковник чуть-чуть пренебрежителен и чуть-чуть аристократически невежлив. Картавя и не по-русски, а по-петербургски, на иностранный манер, растягивая слова, он говорит:

— Поступая в нашу (ударяет на этом слове полковник) армию, вы должны прежде всего помнить, что это не какая-нибудь «рабоче-крестьянская», а офицерская армия...

Я гляжу на его шевровые узкие, как чулки, сапоги, на золотое кольцо на бледном дворянском пальце, на колодку орденов над карманом хорошо сшитого френча и с чувством подлинной горечи думаю: «Так неужели ж он не хочет, чтоб наша армия стала действительно рабоче-крестьянской?» И в первую ночь в общежитии добровольцев мне не спится не только от этой речи, но еще и оттого, что сюда на Дон, на эти железные койки, с риском для жизни пробралось со всей России нас всего человек четыреста молодежи. И вот мы, эти двадцатилетние мальчишки, мечтающие ввести всероссийский потоп в государственные берега, должны противостать миллионной обольшевиченной России.

II

На Ростов и Новочеркасск большевики наступают массами. Ими командует когда-то бывший офицером большевик Антонов-Овсенко, в октябре с матросами взявший штурмом Зимний дворец. У него отряды Сиверса, Саблина, Пугачевского, красные казаки Голубова и Подтелкова, их десятки тысяч. И красное кольцо готово сомкнуться, раздавив нас. Внутри этого кольца мы на последнем острове белой России, нас всего до двух тысяч штыков и сабель.

Партизанский отряд полковника Симановского идет во взводной колонне, нас перебрасывают с «новочеркасского» фронта на «таганрогский». Мы проходим по залитому огнями веселых кофесн вечернему Ростову; какие-то штатские в кофейнях пьют, читают газеты; улыбающиеся женщины отпивают из плоских чашек шоколад, с ними сидят не желающие воевать щегольски одетые офицеры.

Мы проходим с песней о Корнилове:

Как белый лебедь, полный гордости,
Так дух спокоен твой и смел!
Ведь имя Лавра и Георгия —
Героя битв и смелых дел!

На тротуаре, глядя на нас, прохожие останавливаются; извозчики торопливо сворачивают с мостовой. Уже поздняя ночь. Ростовский вокзал полутемен, душен, нелюдим. Холод, грязь, сырость. Ожидая состава, отряд стоит на платформе, все опираются на винтовки, молчат, курят.

— Князь! Наурскую! — закричали голоса; и отрядники расступаются кругом, поют, хлопая в ладоши, вызывая ротного командира, мингрельца князя Чичуа. Легкий, красивый; он, улыбаясь, передает винтовку и плавной лезгинкой идет по расступившемуся кругу. В певучем гаме аккомпанемента, в хлопанье ладоней танцор музыкально взмахивает руками, как умеют взмахивать только горцы, и когтит грязную платформу носками сапог до тех пор, пока из темноты, шипя и заглушая танец, на нас не надвигается красноглазый паровоз.

Один за другим мы лезем в темные вагоны. У нашего окна молоденькая женщина с бессильным красивым лицом плачет, обнимая поручика Тряпкина. Он ее целует, а она все что-то украдкой шепчет ему и крестит его частым крестом.

В вагонах нетоплено, не попадает зуб на зуб. Держа меж колен винтовки, отрядники полудремлиют, полуспят. Тусклый свет вагонного фонаря тоскливо качается по стенам, окнам, лавкам. Откуда-то сквозь поездной грохот доносится военная песня. Поезд гремит, шумит, увозя нас в ночную мокрую, снежную темноту.

На рассвете в узких вагонных окнах рождаются первые видения далеких ледяных полей. Спящие очертания отрядников начинают сереть. Поезд останавливается с толчком, одна минута проходит в полной тишине, потом кто-то длинно, с отчаяньем кричит:

— Вы-ле-зай!

Люди не торопятся, потягиваются, позевывают, именно сейчас всем и хочется спать. Гремя винтовками, задевая штыками за двери и притолки вагонов, отрядники выходят и спрыгивают со ступенек в неприятную холодную полутемноту какого-то полустанка. Это и есть «фронт»: тоскливая русская железнодорожная станция с черной надписью «Хопры». По путям бродят такие же, как мы, усталые прапорщики и юнкера в башлыках, с винтовками.

— Наконец-то приехали, а то хоть пропадай, две недели не спим, — со злобой говорит, стоя на рельсе, юнкер с запущенными волосами, со смятым невыспавшимся лицом.

Под ногами и снег, и грязь. Глубоко пробивая осевшие сугробы, с теплушек капает частая капель. Мы перебираемся в теплушки и становимся тут резервом этого участка фронта, которым командует решительный гвардии-полковник Кутепов, широкоплечий, с темной квадратной бородой.

Пока Симановский разговаривает с Кутеповым о «положении на фронте», мы в холодной теплушке готовимся к нашей единственной радости: в почернелом жестяном чайнике, вечном нашем спутнике, кипятим чай и, споласкивая ржавые жестяные кружки, рассаживаемся кругом: я, брат, капитан Садовень, поручик Злобин, прапорщик Покровский.

Подпрыгнув и подтянувшись на руках, в теплушку влезает юнкер Сомов и, ежась от холода, присаживаясь на корточках к чайнику, говорит:

— Там на станции большевистская сестра милосердия пленная и два латыша. Вот стерва! Латышей наши стали бить, так защищает их, бросается, а нашего раненого отказалась перевязать, я, говорит, убежденная большевичка, я белых не перевязываю.

Сидя у двери, я вижу, как из соседнего вагона выпрыгнул князь Чичуа, с кем-то шумно спорит, побежал и, увидев меня, на бегу кричит: «Идемте! Там пленных хотят убить!»

Я выпрыгнул, бегу. На талых грязных путях, около теплушки с арестованными, караул сопротивляется нашим трем офицерам и нескольким солдатам-корниловцам, которые с винтовками лезут к вагону, впереди всех поручик Тряпкин.

— Да пусти, отворяй! — вскрикивает он, силясь отпихнуть караульных.

— Что вы, красноармейцы или офицеры? — кидается к Тряпкину князь Чичуа.

— А что ж? Разводы разводите? Да? Они с нами как расправляются? — наступает на князя юный бледный юнкер с воспаленными широкими глазами.

— Да ведь это ж женщина, и пленная! — вмешиваюсь я.

— Женщина! А что ж, что она женщина? Вы видели, какая это сволочь? Это ж чекистка, черт, она своей рукой расстреляет нас с вами и не моргнет!

Шум и крики разгорались. Возле вагона началась давка, борьба, как вдруг на рельсах появилась быстрая, кривоно-

гая фигура полковника Симановского, и резким тенором Василий Лаврович закричал:

— А ну-ка, господа офицеры, немедленно разойтись!

Тряпкин шел от вагонов хмурый, шепотом ругался матерно: «Все равно заколю...» И, глядя на его потемневшее лицо с тяжелой отпадающей челюстью и крошечными мышинными глазками, ушедшими под череп, я вспомнил, как целовала и крестила его кроткая женщина с бессильным лицом.

В это время, пробивая подковами талый, разъезженный снег черно-пегого размокшего станционного двора, к станции подъехал отряд казаков. С разнообразным оружием, на разномастных конях казаки напоминали ватаги Степана Разина. Впереди на подбористом золотистом коне, в кавалерийском седле, с мундштуками, ехал старый казак с бородой по пояс.

— Откуда конь-то такой, станичник?

— Большевицкай, отбили, — проговорил старик и, молодо прыгнув с коня, подвел привязать его к изгороди.

Казаки спешили, привязывали к станционному красному забору коней. И все обступили отбитого у большевиков сухоногого, жилистого англичанина. Наперебой крича, казаки рассказывали, как захватили большевистский разъезд. И от их криков тонкокровный скакун, оказавшийся казачьей добычей, боченится и перебирает ногами.

— Да на что он тебе? Отдай молодому! Все равно продашь! — нападают на старика молодые. Но старику жаль уступить англичанина. Мозолистой ладонью хлопывая его то по крупу, то по шее, он отнекивается. И вдруг, вскидывая головой, взмахивая руками, не вытерпев, ругается на молодых, чтобы отстали.

Среди колготящихся казаков я заметил у изгороди прислонившегося рослого черноусого солдата с необыкновенно землистым, чуть скошенным на сторону лицом. Солдат стоял, не вмешиваясь в общий шум. Казаки забыли о пленном. И, наконец, не выдержав ожидания, он дернул за кафтан крайнего, тихо проговорив:

— Куда же мне-то?

Усатый казак недовольно обернулся.

— Постой... эй, ребята, отведите-ка пленного к начальнику. Ведерников, — сказал он низкорослому казаку с выбившимся из-под папахи чубом, — отведи ты! — И казак снова с азартом вошел в общий галдеж вокруг брэнчащего мундштуками, боченящегося коня.

Нехотя выйдя из толпы, казак Ведерников махнул пленному, и солдат, на ходу оправляя шинель и подтягивая пояс, пошел за ним. Я остался возле коня, в казачьей толпе. Спор о коне готов был перейти уже в драку, как вдруг сзади я услышал голоса: «Поймали одного... сейчас расстреливать...» Я обернулся: по пестро-снежным, грязным шпалам солдаты-корниловцы с винтовками вели черноусого солдата; и лицо его словно еще землистой, словно ушла уже из него вся кровь; голова опущена в землю, он глядит на рельсы, на лужи, на свои загрязненные сапоги; а из теплушки выпрыгивают, бегут смотреть, как будут расстреливать.

Солдата свели с железнодорожной насыпи в поле. Вскоре раздался выстрел, один, другой, третий и все стихло. Все ходившие смотреть идут назад, а там на снегу осталось что-то бело-красное.

В наш вагон впрыгнул юнкер Сомов, на юном лице плавает странная улыбка.

— Расстреляли, ох, неприятная штука, все твердит: «За что ж, братцы?» — а ему: «Ну-ну, раздевайся, снимай сапоги». Сел он на снег сапоги снимать, снял один: «Братцы, — говорит, — у меня мать старуха, пожалейте ее!», а этот курносый солдат-корниловец: «Эх, — говорит, — да у него и сапоги-то каши просят!» — и раз его прямо в шею, кровь так и брызнула.

Пошел снег, стал засыпать пути, вагоны, расстрелянное тело. Мы сидели в вагоне, пили чай.

— А что ж вы хотите? Что, у нас тыл, что ли, есть, «лагеря для военнопленных»? — горячится в вагоне курчавоволосый, как негр, поручик Злобин. — Гражданская война — это не внешняя, тут тыла нет, тут везде фронт, я ли, он ли, а раз сдался в плен, стало быть, «в расход», играй в ящик.

— Вы к ним, к красным, попадитесь, — с хрустом перекусив кусок сахара, усмехается капитан Садовень, — они нам сначала на плечах погоня вырезают, потом на лбу кокарду выбивают, потом пулю в затылок и полуживьем в землю.

— Да-с, гражданская война дело сурьезное, тут, отец-дьякон, ставь деньги на кон, тут «нервов» не полагается, — затыгиваясь папиросой, смеется незнакомый мне прапорщик и от его папиросы тянется длинный синий дым.

Я отпиваю чай, жую черный сухарь и, глядя на ровно летящий мимо вагонной двери снег, думаю о том, что эти крестьянские трупы загородят нам все дороги и с гвардии полковником Кутеповым мы именно поэтому не дойдем не

только уж до Московского Кремля, а, может быть, даже и до ближайшей деревни. Черноусый солдат стоял передо мной, это с ними я ел из одного котелка, сидел в окопах, с ними был в боях. Я думаю, русскому убивать русского тяжело потому, что мы люди одной утробы и единой судьбы; а мне, чувствую я, убивать своего — не под силу.

III

У колонн прекрасного Парамоновского дворца в Ростове, у штаба армии, стоит караульный кавалерист в зеленом бушлате, в мягких гусарских сапогах, с винтовкой в руках; у кавалериста удлиненное, породистое лицо; он устал от стойки, переминается.

Когда я, обвязанный бинтами, с обмороженным лицом, в смерзшихся сапогах и холодной шинели, подхожу ко дворцу, кавалерист не без грубости спрашивает, кто я такой и что мне надо? На его теплый бушлат, на вырывающиеся из-под него малиновые чикчиры с серебряным позументом, я гляжу неприязненно, я говорю, что по приказу начальника партизанского отряда приехал с личным докладом главнокомандующему генералу Корнилову и мимо корнета прохожу во дворец, сразу попадая в колонный зал.

Здесь все шумит от гула голосов, военных шагов, звона шпор. Зал полон офицерами в блестящих формах; тут — центр быховских узников, участников заговора и восстания Корнилова. Посреди зала, окруженный офицерами, полноватый генерал А. И. Деникин с клинышком седой бородки, в синем штатском костюме похожий больше на доброго буржуа, чем на боевого генерала; с ним говорит болезненно-худой генерал Марков; в темном френче, надменный, прохаживается генерал Романовский, разговаривая с неизвестным членом Государственной думы Аладыным, почему-то одетым в форму английского офицера; ходят какие-то штатские, журналист Суворин, матрос Федор Баткин. А перед кабинетом главнокомандующего, как статуя, в черной аршинной папахе замер темнокожий текинец.

Адъютант Корнилова, подпоручик Долинский, открывает мне дверь. Корнилов — за письменным столом. Он протягивает маленькую, словно юношескую, желтую сухую руку. Я вижу его впервые. Корнилов щуплый, с монгольским лицом, с монгольской жидкой бородкой, узкие, горячие, «неевропейские» глаза разрезаны накосом; штатский костюм сидит на генерале мешковато; и странно, голос у

Корнилова — глубокий бас, совершенно не идущий к его почти хрупкому телу.

По мере чтения доклада полковника Симановского на желтом лице генерала гневно сдвигаются скулы, монгольские глаза темнеют, и бледная рука, с массивным золотым перстнем на мизинце, вздрагивает; и вдруг, отбросив донесение, Корнилов вскрикивает:

— Как? Не получали ни консервов и ничего теплого?

Я еле поспеваю за генералом через освещенный верхним светом прекрасный зал Парамоновского дворца, где при появлении главнокомандующего сидевшие с шумом вскочили, шедшие остановились, все замерло; только я иду за Корниловым, и мне приятно слышны его резкие шаги и мои, за ним.

Мы вошли в кабинет какого-то безнадежно жалкого генеральчика с заросшей волосами зашеиной. Корнилов бросил перед ним на стол донесение Симановского и резко сказал: «Выслушайте, генерал, что вам доложит офицер отряда полковника Симановского!»

Шумно бросив дверь, главнокомандующий вышел; и снова в колонном зале как вросли в паркет шедшие с клетотом шпор рослые гвардейцы, цветные гусары, женщины-прапорщики, круто остриженные под мальчишек, и текинцы, перетянутые узкими ремешками.

IV

На горсть белых русских юношей под командованием Верховного главнокомандующего российских армий, на Ростов насаждают красные. День ото дня белый остров суживается. Одна за другой падают окрестные станции и станицы. По окраинам, с Батайска, красные бьют уже тяжелыми. В Ростове дышит томительная тревога. Так в ожидании грозы притихает сад. И обыватель чувствует, что победа красных бесповоротна; в рабочих предместьях уже гудит поднимающееся восстание.

После боев под Хопрами и Чалтырем обессиленный отряд полковника Симановского перекинут на отдых в Ростов. Но в первую же ночь, когда мы, наконец, заснули на кроватях, в казарму кто-то вбежал и, задохнувшись, закричал: «Красные под Ростовом!»

Перервав сон, зевая, мы одеваемся, подвязываем подсумки, разбираем винтовки, стволы их тревожно холодят пальцы. До казарм уж доносится гул артиллерийского боя.

Поднимая снежно-земляную пыль, на дворе уже начали рваться снаряды. Отрядники молчат. Это жуткая тишина. Все понимают, что белый остров уже захлестнут, что это конец. В казарму торопливо вошел полковник Симановский, под канонаду, опоясавшую город, он читает приказ генерала Корнилова: «...оставляем Ростов и уходим в степи...»

Темно. Снежно. В боевой готовности отряд стоит на дворе вооруженной толпой. Вместе с нами в солдатских шинелях, в папахх две восемнадцатилетние девушки, Варя Васильева и Таня Кунделекова, наши сестры милосердия, в боях лазившие с нами по сугробам под Чалтырем, оттиравшие обмороженных под Хопрами, перевязывавшие под огнем наших раненых, спавшие с нами в холодных теплушках.

— Вот, посоветуйте, идти нам с вами в степи или оставаться? Мама умоляет остаться, а мы с Таней хотим идти.

Я им советую остаться:

— Вы подумайте, куда мы идем? В степи? Где они? Дойдем ли мы до них? Может быть, нас тут еще, в Ростове, в первом же переулке красные встретят пулеметами?

— Ну, а вы? Вы же идете? И мы пойдем с вами, — упорно повторяет Варя, и темнокожая, как турчанка, Таня поддерживает ее.

В ночной темноте отряд молча строится, чтоб уносить белый остров в неизвестные степи. На левом фланге отряда, с медицинскими сумками за плечами, в шинелях, в папахх, в строй входят Таня и Варя; их никто не смог отговорить.

Отряд тронулся со двора: говорить, курить запрещено. Состояние страшное, чудится, что пропало все: и Россия, и жизнь, а смерть где-то за плечом, близко и жить уж недолго.

В дверях плачут наши казарменные судомойки, кухарки: «Миленькие, да куда ж вы... перебьют вас всех... Господи...»

В снежной темноте мокро желтеют городские фонари; немая чернота домов, пустоты улиц — все это теперь уж чужое, их, а не наше. Совсем негромко отбивается шаг; на улицах попадаются какие-то зловещие очертания людей, спрашивают: «Кто идет? кто вы?» Мы молчим. «Ааа, давно заждались вас, товарищи», — тихо говорит голос из темноты подворотни. Мы не отвечаем и на это, только слышен наш общий, дробный, поспешный шаг.

Город кончился редкой окраиной. Бело-черное полотно железной дороги. В голове колонны резкий свист, и мы останавливаемся у занесенной снегом железнодорожной будки. Здесь по снежной дороге, в темноте, без огней, без говора, торопится уходящая армия. С мешком за плечами

впереди главных сил прошел бывший Верховный, генерал Корнилов. В обшарпанной бричке проехал генерал Алексеев. За ними ушла, в три тысячи штыков, в тысячу сабель, вся армия; зато бесконечен обоз, скрипят подводы с чемоданами, узлами, на одной качается швейная машина, с другой в темноту глядит граммофонный рупор, все друг друга гонят, все скорей хотят уйти от Ростова, над которым тяжелой грозой нависли красные.

Рассветает. От Ростова долетело громовое «ура» и сразу смолкло. А кругом нас свищут пули; это казаки Аксайской станицы предательски с тылу обстреливают нас. Их пули говорят нам, что мы совсем одиноки.

Дон вздулся, набух горбом темно-синего льда, разошедшегося трещинами. По нему переправляется армия, лед трещит, того гляди, сам Дон не пропустит нас в степи, потопит. По скрипящему льду с опаской раскатываются орудия, уходит пехота, скользя, пересезжают разношерстные всадники, и все скрывается на другом берегу.

V

Небеса потеплели, оголились дымной голубизной, солнце почти весеннее, и под этим горячим светом тают забелившие станицу снега. За Доном, в станице Ольгинской, армия наскоро переформируется, наш отряд влит в Корниловский полк. На широкой станичной улице, пестрой от темных проталин, шумно строится пехота; взметая фонтаны снега и грязи, скачут конные; слышны военные клики приветствия; и армия молодежи, во главе с двумя Верховными, лучшими русскими генералами, трогается куда-то в снеговые пространства.

А степи раскинулись необъятно. Черной движущейся змейкой изогнулась в этих далеких просторах маленькая армия из трех полков.

— Корнилов едет! — перекатываются крики с задних рядов.

Разговоры смолкли, ряды выровнялись. На идущем машистой рысью светло-буланом коне проносится Корнилов, он в зеленой бекеше, уверенно и красиво сидит в седле. Разноцветной толпой, в черных и белых папахах, за ним скачут его текинцы. Чуть откинувшись, Корнилов кричит резким басом:

— Здравствуйте, молодцы корниловцы!

И за ним по степи несется ответное приветствие, восторженное в устах молодежи. Молодежь любит своего вож-

дя, он при жизни овеян легендами храбрости в боях мировой войны, отважного побега из австрийского плена, тайны заговора, побега из быховской тюрьмы на конях со своими текинцами, он герой; только вокруг него и есть это веяние ветра, остальные же просто «его генералы».

На длинной игренивой кобыле впереди Корниловского полка шагом едет командир, подполковник Неженцев, узколицый худой блондин в пенсне. Рядом с ним на гнедом иноходце, в полной форме корниловца, с черепом и скрещенными костями на рукаве, едет его помощник, смуглый штабс-капитан Скоблин.

Ротные запеваля легкими тенорами начинают песню:

Там где волны Аракса шумят,
Там посты дружно в ряд
По дорожке стоят...

А кругом просторы степей бескрайни; в мягком небе высоко тянут журавли; ветер летит вольно и сильно по океану степей; так день за днем, с Корниловым впереди, мы куда-то уходим; прошлое пропало, к нему не вернуться, настоящее — степь и ветер, а будущее — это линия горизонта сзади нас, с которой вот-вот загремят орудия нагоняющих нас красных.

Лишившийся отряда, верхом на мохнатом степняке, в обозе около телег едет обиженный полковник В. Л. Симановский, он бежал к Корнилову не для того, чтобы быть в обозе. Часто подъезжая к нам, Василий Лаврович спрыгивает с седла, идет со мной, разговаривает и в этом душевно разбитом человеке я не узнаю своего знаменитого боевого командира.

Солнце все горячее, по-весеннему плавит степные просторы. Кругом дымится, потягивается уже черно-пегая даль. По донским степям мы идем без выстрела. И скоро из последней донской станицы Егорлыцкой перейдем в Ставропольскую губернию, а оттуда свернем на Кубань. Все ждут, как встретят нас ставропольские крестьяне, на походе рассказывают, что к Корнилову приезжала их депутация и Корнилов сказал ей: «Если пропустите, будьте спокойны, а если встретите с боем, то за каждого убитого жестоко накажу»; депутация заверила генерала в дружеских чувствах.

VI

Мы идем по ставропольской дороге, близясь к первому большому селу Лежанка; в авангарде верхом на коне ведет свой полк генерал Марков, он в черной кожаной куртке и

белой текинской папахе; в главных силах мы, корниловцы, с подполковником Неженцевым впереди; за нами по дороге шумят кавалеристы полковника Гершельмана; и в арьергарде партизанский полк.

Большое солнце залило степь, на лицо налетает пахучий весенний ветер, поля зеленые, волнятся переливами; дойти до того изумрудного гребня и за ним — Лежанка. В строю курят, разговаривают, но вот из-за гребня взвизгнула шрапнель и разорвалась высоко над нами. Все в изумлении смолкли, остановились; по ветру донесся затаивкавший пулемет.

— Стало быть, Маркова встретили огнем, — говорит кто-то.

Мимо нас карьером, с текинцами, проскакал Корнилов. За первой шрапнелью звонко и высоко рвется вторая, третья. Ясно: сейчас бой. Мы стоим недалеко от гребня в ожидании приказа. На лицах бродят какие-то особенные улыбки, спрашивающие о храбрости, опасности, смерти, и, как всегда перед боем, грудь наполняется пружинящей приподнятостью каких-то неясных и смятенных чувств. Кое-кто покуривает. К Неженцеву подскакал ординарец: корниловцам приказано ударить справа, слева атакуют партизаны, а в лоб пойдет генерал Марков.

Мы пошли редкой цепью по дымящейся рыхлой весенней пашне; озимые зеленеют, но здесь они еще даже не окрасили своей зеленью черноту земли; на штыках поблескивает солнце, и от этой весны мы идем радостные и веселые, будто не в бой.

Расходились и сходились цепи,
И сияло солнце на пути.
Было на смерть в солнечные степи
Весело идти.

— бьются, повторяясь, чьи-то во мне оставшиеся строки; а вдали стучит пулемет и перекачивается неровная ружейная стрельба.

В шинели нараспашку, недалеко от меня, идет наш ротный командир, красивый князь Чичуа, следит за цепью, покрикивает: «Не забегайте там, ровнее, господа!» И, топчась зеленоющую пшеницу, цепь ровно наступает на село, охватываемое с трех сторон; влево и вправо люди уменьшаются, доходя до черненьких точек. Воробьиным свистом разрезая воздух, нас достигают уже редкие пули. Но вот пронеслось «ура», по цепи прокатились крики: «Бегут, бегут!» — и у всех забила знакомая, радостно-охотничья военная страсть.

Мы уже бежим на село с ружьями наперевес; вот оставленные свежеврытые окопы, валяются их винтовки, подсумки, брошенное пулеметное гнездо; мы перебегаем желтую навозную плотину, вбегаем на окраину села, но тут на сочном лугу возле ветрянки с недвижно замершими крыльями Неженцев приказывает остановиться. Он галопом бросил свою кобылу к незнакомой сельской улице, навстречу ему из-за хат отряд наших офицеров выводит человек шестьдесят без шапок, без поясов, в солдатских кацавейках, шинелях, бушлатах, в крестьянских пиджаках, пестро и разнообразно одетых людей; головы и руки у всех опущены, это пленные. Подполковник повернул кобылу, возбужденная стрельбой, скачкой, шпорами, она танцует под ним, выбрасывая хвост как вспыхивающий факел.

— Желающие на расправу! — кричит с седла Неженцев.

«Что такое? — думаю я. — Неужели расстрел? Вот этих крестьян? Быть не может». Нет, так и есть, сейчас будет расстрел этих остановившихся на лугу людей с опущенными руками и головами. Я глянул на офицеров: может быть, откажутся, не пойдут? Я молниеносно решаю за себя: не пойду, даже если Неженцев прикажет, пусть расстреливают тогда и меня; и я чувствую наливающееся во мне озлобление против этого подполковника в желтом кавалерийском седле.

Из наших рядов выходят офицеры, идут к стоящим у ветрянки пленным; одни смущенно улыбаются, другие идут быстро, с ожесточенными лицами, побледневшие, на ходу закладывают обоймы, щелкают затворами и близятся к кучке незнакомых им русских людей.

Вот они уже друг против друга, побежденные и победители. Офицеры вскидывают винтовки, кто-то командует, и сухим треском прокатились выстрелы, мешаясь с криками, стонами падающих друг на друга странными, ломаными движениями людей; а расстреливающие, плотно расставив ноги и крепко вжав в плечи приклады, стреляют по ним, загоняя все новые обоймы.

У мельницы наступила тишина; офицеры возвращаются к нам, только три человека еще добивают кого-то штыками. «Вот это и есть гражданская война, — думаю я, глядя на свалившихся на траву окровавленной кучей расстрелянных. — То, что мы шли цепью по полю, веселые и радостные чему-то, это другое, а вот это: гражданская война». И я чувствую, что в т а к о й в о й н е я участвовать не могу.

Последней затяжкой дотянув папиросу и отбросив бычка, стоящий возле меня кадровый капитан Рожнов бормо-

чет: «Ну, если мы так будем, на нас все встанут»; лицо у него синее, словно сведено судорогой.

К нам подошли расстреливавшие, лица многих беспокойны, неестественно бледны, кой у кого бродят странные улыбки, будто спрашивающие: «Ну, как вы после этого на нас смотрите?»

— Да, может, эта сволочь в Ростове мою семью расстреляла? Ты знаешь? — кричит кому-то бледный расстреливавший блондин, и у него по-детски дергаются губы.

Мы вступаем в село, кто-то пробует запеть песню, но не подтягивают, и запевала оборвался. На широкой улице, меж выбеленных хат, в жидкой грязи дороги тут и там валяются трупы; слышны выстрелы, ведут захваченных лошадей, конвоируют новых пленных, все село сейчас в нашей власти, и все мы расходимся на квартиры по хатам.

Я, брат, Садовень, князь Чичуа, юнкер Сомов, брякая винтовками, входим в первую попавшуюся хату. У порога в темно-красной луже крови ничком лежит черный, большой человек в солдатском, волосы на затылке слиплись. На столе тарелки с недоеденным супом, полбуханки хлеба, ветер рвет в окне пеструю занавесь, и только будильник в тишине хаты громким тиканьем отбивает время.

За сегодняшний пятидесятиверстный переход мы устали, голодны, хочется есть, лечь, спать. И все же в этой мертвой хате мы не остаемся. Идем дальше по вымершему селу, где из-за плетня вдруг покажется и тут же спрячется лицо перепуганной бабы.

Вечереющее небо устало темнеет. С земли в пропасть скатывается остывшее медное солнце, обливая поля, нас, церковь, хаты последним алым и нежным огнем. На площади у церкви слышатся крики, кого-то собираются расстреливать, и с князем Чичуа мы спешим туда, чтобы этому помешать.

— Ты солдат, твою мать? — в темноте кричит офицерский голос.

— Солдат, да не стрелял я, невиновный я, — полуплачет другой.

Но револьверный выстрел сух, и с тяжелым стоном, с мычаньем тело падает в закатной сумеречной темноте.

И опять тот же голос кричит пойманному мальчишке:

— Да я, ей-Богу, дяденька, не был я нигде! Не убивайте, не убивайте! — срывающимся от смертного страха, истошным голосом надрывается мальчишка.

Мы подбегаем к офицеру во френче с еле различимым лицом.

— Оставьте, бросьте...

Он стреляет, осечка.

— Беги, счастье твое!

Вывавшись из вооруженной толпы, паренек опрометью бежит с площади, и топот его ног умирает в темноте. В толпе кто-то чиркнул спичку, закуривает из пригоршни, и на секунду освещено незнакомое небритое лицо. Мимо церкви шагом проезжает кавалерия, под топот подков плывут темные, какие-то монгольские очертания всадников.

Уже ночь. Теперь мы так устали, что нам все равно где спать. В чужой брошенной хате, вздув огонь, мы размещаемся при свете лампы. В переднем углу — киот, полный икон, густо засиженных мухами. У стены раскрыт сундук. На полу набросаны бабьи кофты, юбки, на крышке сундука в ряд наклеены лубочные картинки генералов Отечественной войны.

Мы чудовищно голодны. Осветив печь, я лезу туда кочергой и достаю не совсем еще остывший горшок каши; из чулана Садовень несет все, что осталось от убежавших хозяев: солонину, сметану, краюху хлеба, молоко, масло; поймали даже двух сонных кур и, набив хату сброшенными шинелями, папахами, сапогами, винтовками, подсумками, после еды, мы, усталые, засыпаем на полу на соломе.

В этой хате было странно проснуться. В первую легко-весную минуту сознания, когда нет еще грани между сном и явью, я никак не мог сообразить, где я и что со мной? Но, помахивая нагайкой, на пороге стоит разбудивший нас вольнопер Бендо.

За чаем он живо рассказывает, как вступал в село с другого конца, как на пулемете закололи единственного не убежавшего пулеметчика, как капитан Померанцев бежал по селу с револьвером, расстреливая кого попало, все только приговаривая: «Дорого им моя жена обойдется!» У капитана в Киеве большевики, надругавшись, зверски убили жену, и всю прошлую ночь капитан мстил кому-то; это он был во френче на площади, у церкви.

Вольнопер рассказывает, что в Лежанке расстреляли больше пятисот человек. Я хорошо знаю эти офицерские чувства; в них месть за самосуды, за убийства родных и друзей, за унижения, за уничтоженные, добытые кровью чины и ордена, за сорванные золотые погоны, за изуродованную жизнь, революцией пущенную под откос.

Умываясь у колодца ледяной водой, пахнущей особенной деревенской свежестью, я мысленно разговариваю с полковником Неженцевым. «Нет, полковник, — говорю я

ему, — нет, это не то, армия офицеров-мстителей никогда не победит, в России миллионы Лежанок и всех их не расстрелять. Но если капитан Померанцев почти душевно болен и в своем отчаянии может быть даже по-своему понят, то как же от этих расстрелов не удержит армию генерал Корнилов? Ведь для победы нужно к себе перетянуть души именно этих крестьян? Или, может быть, в белом стане нельзя уже сдержать эти стихийные чувства мести, так же как в красном нельзя удержать стихию ненависти?» — думаю я.

— А одного я совсем случайно на тот свет отправил, — слышу я голос вольноопера Бендо. И он опять рассказывает «новый случай». Но этих случаев чересчур много, и я, не слушая вольноопера, ухожу со двора посмотреть на Лежанку днем.

В поисках еды по хатам бродят наши солдаты и офицеры; где-то мычит голодная корова и исходит лаем собака, все еще бессильно охраняющая хозяйское добро.

На церковной площади в разнообразных, неестественных, вывернутых позах лежат вчерашние убитые; они пролежали здесь эту росную ночь, сейчас утренний ветер, налетая, шевелит их одеждami, они лежат, как страшные, ослабившиеся деревянные куклы. Из улицы на пегой лошади выехала телега, в ней худая баба в поддевке и черном платке; подъехав к трупам, баба слезла с телеги и пошла от убитого к убитому, рассматривая их; тех, кто лежал ничком, она легонько приподнимала, будто боясь сделать больно, и опять так же осторожно опускала на траву; и вдруг возле одного упала на колени, потом на грудь убитого и, не обращая внимания ни на кого, словно на площади никого и не было, жалобно и отчаянно закричала: «Господи, Господи, голубчик ты мой...»

Я смотрел, как, плача, утираясь, баба укладывала на телегу мертвое непослушное тело; ей помочь подошла пожилая женщина из церковной ограды; и телега, поскрипывая, с дорогой кладью поехала в сельскую улицу. Поравнявшись с помогавшей женщиной, глянув в ее угрюмое лицо, я спросил:

— Что это, мужа нашла?

Она посмотрела на меня ненавидяще.

— Мужа, — ответила и пошла прочь.

Не зная, куда себя деть, я иду по Лежанке, чтобы встретить хоть какого-нибудь жителя, поговорить, узнать, почему же они на нас встали? Я вхожу в деревенскую бакалейную лавочку с вывеской в смешных кренделях.

Дверь зазвонила колокольчиком. За обсаленным прилавком стоит благообразный старичок, на носу очки в железной оправе, подвязанной бечевочкой. Седая борода и желтое печеное лицо придают старику сходство с Николаем Чудотворцем. Покупая спички и подсолнухи, я стараюсь со старичком разговаривать.

— Ну зачем же нас огнем-то встретили? Ведь пропустили бы и ничего бы и не было, — говорю я покачивающему седой головой вздыхающему старику.

— Знамо, ничего бы не было. А вот поди ж ты. Это все пришлые виноваты, Дербентский полк да артиллеристы. Сколько тут митингов было, старики говорят: «Пропустите, ребята, беду накликаете», а они свое: «Уничтожим буржуев, не пропустим; их, — говорят, — мало, мы знаем, это Корнилов с киргизами да с беглыми буржуями из Питербурха едет». Ну, вот и смутили, всех наблизовали, выгнали окопы рыть, винтовки пораздали. А как увидели ваших-то, ваши как пошли на село, они бежать. Артиллеристы первые на лошадей да ходу, все бежат, бабы, дети, а куда бежать-то? Ваши тут как тут и настигли. — И, осторожно сняв подвязанные бечевкой очки, старичок глубоко вздохнул и после вдоха добавил: — А народу-то, народу что побили, невинных сколько, а из-за чего все, а? Спроси ты поди?

Я вышел из лавки. На площади, с которой уж увезли трупы, на белой лошади джигитует текинец в малиновой черкеске, хлестко развевающейся на ветру; он то подбрасывает папаху, ловя ее, то спрыгивает и впрыгивает на скаку, а то, привесившись под брюхом лошади, скачет, держась за подпруги; и толпа текинцев одобрительно кричит наезднику на гортанном родном языке.

В нашу хату откуда-то принесли граммофон, он хрипит и кашляет вальсом «Сон жизни», и, отдохнув от усталости степных походов, кто-то кричит:

— Сестры, *valse générale*, вальс!

И, шумя походными сапогами по хате, офицеры кружатся с Таней и Варей, одетыми в солдатские сапоги и шинели.

VII

Куда ж мы идем по этой цветущей кубанской степи?

Точно мы, рядовые бойцы, не знаем. Говорят, Корнилов ведет нас на кубанскую столицу Екатеринодар. Наше продвижение по Кубани трудно, почти каждую станицу берем

с бою. Из Екатеринодара большевики бросили на нас крупные силы во главе с главнокомандующим войсками Северного Кавказа, бывшим солдатом Сорокиным; передают, будто бы генерал Алексеев полушутливо сказал, что после Людендорфа он боится больше всего Сорокина.

Сорокин нам сильно сопротивляется, но все-таки мы тесним красных. Станицы Березанскую и Журавскую взяли с бою, на станцию Выселки ворвались на плечах большевиков. Своих раненых мы везем в обозе, а убитые остались в весенних зеленых степях. Под Березанской закопали мы нашего ротного, князя Чичуа, убитого пулей в сердце. Он лежал возле цепи на зеленой траве как живой, красивый, немного бледный, далеко откинув левую руку. С трудом я и Садовень положили его тело поперек седла и я повел коня к взятой с бою станице.

Беспрестанными боями мы измотаны телесно, разбиты душевно, но мы знаем, отдыха в степях у нас быть не может. Как бродяги, белые перекасти-поле, мы живем в просторах степей, идя от станицы к станице с винтовками в руках.

Из Выселок ночевать мы свернули на хутор Малеваный и, переспав там, ясным утром выступаем дальше на Кореновскую, где, наконец, говорят, будет отдых. Мы пылим по степи, думать не о чем, мы умеем думать только о двух вещах: поестъ бы, поспать бы. Уж видны далекие деревянные крыши Кореновской, но к подполковнику Неженцеву подъехали какие-то конные, и всех сразу облетает: Кореновская занята большевиками, ее надо брать с боя.

И опять рвутся их снаряды, клокоча, уходят наши; сзади в цепи кто-то застонал и падает; Таня и Варя бросились к нему, поднимают, поддерживая, ведут раненого; хочется узнать: кто? Я не вижу; кажется, Коля Сомов.

Мы уже залегли на поле и наскоро окапываемся, над нами почти над самой землей с резким визгом рвутся шрапнели; они словно придавливают нас к земле, застилая белым дымом, медленно расходящимся и поднимающимся в небо, но какое оно, это небо, нам не видно.

Звоном пчелиного роя долетают пулеметные пули из где-то далеко курлыкающего пулемета и, ложась все ближе, поднимают на пашне ровную земляную пыльцу; еще секунда, и красный пулеметчик дотянется до наших голов; «Сейчас в голову, в голову», — думает каждый, и в эти душу обжигающие мгновения, вжимаясь в землю, все мы, по-моему, забываем и то, что пулемет красный, и то, что мы белые, мы забываем потому, что смерть близка и сейчас конец и прощай, земля! Я вижу, как поручик Григорьев из

прорехи рубахи вытянул нательный крест и незаметно его целует; и я тоже свободной рукой трогаю на моей груди зашитую матерью ладанку все с тем же псалмом и молниеносно, нежно, вспоминаю мать.

Это повсюдно, всеобщее: если смерть рядом, она делает всех чувствительнее и беспомощнее. Мне даже кажется, что словно, увидя сейчас какую-то темную, без краев пустоту, я узнаю что-то громадное, но в человеческих словах совершенно невыразимое; словно оттуда, из потустороннего, меня на мгновение освещает какой-то и страшный, и вечный свет.

Раздается треск шрапнельной очереди, и сразу донеслись жалобные стоны. В цепи все осторожно поворачивают головы, раненого видно сразу, он уже не вжимается в землю, как здоровые, а лежит, беспомощно выделяясь. Кто-то ранен там, где лежал брат; я чувствую, как у меня от темени отливает кровь.

— Кравченко! — кричу я полупшепотом. — Узнай по цепи, кто ранен.

Кравченко не оборачивается, и мне кажется, что умышленно, потому что ранен брат. Я кричу громче. Кравченко нехотя обернулся, кивает головой, спрашивает следующего и вскоре таким же полупшепотом отвечает:

— В живот!

— Кто? Спроси, кто?

Сзади доносятся звериные стоны. Да, конечно, брат лежал именно там, и, путаясь, громоздятся какие-то давние отрывки домашних детских картин. Но снова шьет пулемет, обдавая пылью и оглушительно рвется шрапнель за шрапнелью, застилая и меня, и Кравченко, и Григорьева белым облаком. Когда дым растаял, Кравченко кричит:

— Лойко ранен!

И сразу легко, слава Богу, не брат. Но за этой радостью просачивается мысль: «Какое же ты животное, рад, что не брат, а ведь Лойко рядом с тобой умирает, и у него и мать, и брат». Лойко стонет ужасно, он просит пить, к нему подполз поручик Возовик и поит его, прикладывая к губам свою слюну на пальце.

— Тринадцать, часто! — кричит взводный Григорьев. Я не понимаю, в чем дело. Григорьев щелкает затвором, стреляет. — Чего ж не стреляете? Наступают же! — кричит он бешено, лицо у него возбужденное, глаза широкие. Но теперь вижу и я: издалека движутся густые цепи красных, на ходу стреляют. «Как же я не заметил?» Затвор заедает, но я уже стреляю «тринадцать, часто» по идущим

в атаку. Вокруг несусветная стрельба; но по цепи кричат: «Отходить!» — и все вскакивают, отступают, некоторые даже побежали. «Что такое? Отступление? Проиграно?» — прорезает меня. — Но куда ж отступать? Ведь отступить нам некуда, у нас везде фронт». И, оборачиваясь, я стреляю в черные фигурки. А кругом ливнем тыкаются в землю пули. «Неужто ни одна не попадет, ведь я такой большой, а их визжит такое множество?» Черненькие фигурки сзади что-то кричат, уже слышны отдельные голоса. «Какие у них лица? Ведь наши ж, русские?! Наверное, звери». Лойко полз, но перестал, брошенный меж ними и нами; он просил Возовика пристрелить его, но у того не хватило на это сил.

— Стойте же, господа! — отчаянно-приказательно кричит штабс-капитан Кедринский, и около него задержалось несколько человек; и вдруг от его криков вся цепь сначала неуверенно замедляет шаг, потом останавливается; каждый понял: все равно ж отступать некуда, так уж лучше вперед, чем назад, а там будь что будет! И цепь повернулась и двинулась на красных.

— Вперед! Вперед! — Крики ширятся, и вот уж вся цепь пошла, даже далеко убежавшие нехотя, медленно возвращаются; что-то мгновенно переломилось в душах; так же ливнем свистят пули, так же наступают красные, но теперь мы идем прямо на них с ширящимися криками «ура» и теперь мы уже не люди, глядящие в пустоту смерти, а настоящие белые, с штыками наперевес бегущие на красных.

— Бей их! — И лица совсем другие, зверские, сильные, рты раскрыты, глаза блестят. Сверкая штыками, мы пробегаем по пашне, сейчас сойдемся в рукопашную, все равно! По всему полю несется «ура», но черненькие не близятся, остановились, толпятся. Дрогнули? И еще сильнее по степи катится «ура». Мы перебегаем наши окопчики, теперь уж ничто не страшно; вон лежит их раненый матрос в синей куртке, кто-то из наших выстрелил ему в голову, он безобразно дрыгнул ногами и медленно вытягивается, как зарезанное животное. Черненькие бегут, бросают винтовки, подсумки, мы их опрокинули. Какое радостное чувство победы и силы! Вот уж их окопы, валяются патроны, винтовки. В стрельбе не слышно голосов, кричащих прицелы. В луже крови растянулся их раненый с каким-то нечеловеческим лицом, он широко раскрывает словно обуглившийся рот. «А-а-а, сдыхаешь!» — но это блик, все мелькнуло и улетает в беге.

Сросшись с телом пулемета, по отходящему красному бронепоезду с полотна железной дороги стреляет прапор-

щик-женщина Мерсье. Страшным разрывом гранаты у полотна убило наших пулеметчиков. На железнодорожной насыпи тут и там стонут лежащие раненые, но здоровые бегут вперед, делая вид, что раненых не замечают. «Господа, ради Бога, возьмите!» — слышатся стоны, но здоровые как будто не дослышивают или отговариваются на ходу. И только поручик Тряпкин, закинув за плечо ремень винтовки, тяжело напружив ноги, несет на руках бледного большого раненого корниловца. «Молодец, Тряпкин!» — думаю я.

Из Кореновской красные выбиты, станица за нами. Но в начинающихся сиреневых сумерках большевики возобновляют атаки. Ливнем свистят их пули, их цепи опять уж недалеко, но нас, лежащих на поле за Кореновской, беспокоят не цепи, а надвигающийся на нас, вздрагивающий белым дымком бронепоезд. Этот дымок над трубой увеличивается; с бронепоезда дождем строчат пулеметы.

Наша цепь волнуется, ее устойчивость слабеет. Покуривая, за железнодорожной будкой стоят подполковник Неженцев и штабс-капитан Скоблин. Неженцев приказывает: в атаку на бронепоезд! И надо вставать с земли, идти, а усталость от целого дня боя тяжело сковывает тело, сейчас бы лечь на эту траву и заснуть бы дня на два; но проклятый дымок бронепоезда все увеличивается.

— В атаку! — раздаются голоса. И цепь поднимается; двинулись, идем быстрее, с винтовками наперевес близимся к бронепоезду, подбадривая себя криками «ура». Мы уже выравниваемся, усталость сломлена каким-то общим напряжением воли, бегом мы охватываем со всех сторон бронепоезд, а с него воем, визгом твякают пулеметы. Но теперь все равно, мы близко... Но что такое? Кто-то железным прутом ударил меня по ноге. Я схватился за ногу, по штанам течет кровь, не могу идти... Мимо, согнувшись, как он, согнувшись, играя в лошадки, бегал в детстве, пробегает мой брат, рот у него раскрыт, он кричит «ура».

— Сережа! — кричу я, но в этом чертовом аду он ничего не слышит, не видит. Осторожно ступая, я хромаю назад к будке, а сзади несутся, хлещут пули. «Сейчас добьет», — думаю я, но уже с каким-то безразличием, как будто не о себе; выйдя из боя, я весь в внезапно навалившейся на меня усталости; она полонит меня, я только чувствую режущую боль в ноге, словно, стянув ее проволокой, кто-то закручивает все туже и туже.

В мужской кожаной куртке, в солдатских сапогах, за будкой сестра милосердия перебегает от раненого к ранено-

му; тяжело- и легкораненные лежат на траве; я опускаюсь среди них на пригорке у однообразно гудящего телеграфного столба.

— Сейчас, сейчас, у меня не десять рук, подождите, — покрикивает на кого-то простоватая сестра с глазами веселого утенка.

Когда она подходит ко мне, я с чувством некоторого стыда спускаю штаны, сестра жирно смазывает рану йодом, и нога туго и приятно стягивается бинтом.

— Счастливчик, — улыбается сестра, пропуская вокруг ноги бинт, — на полвершка бы правее и перебило бы бедро, тогда б вас и на подводе отсюда не увезти.

Я знаю, что тогда б меня могли бросить в степи, как бросили Лойко. А сейчас по вечереющей, обсаженной весенними тополями дороге двое офицеров ведут меня под руки в Кореновскую. Медным светом гаснет закат, алые сумерки ниспадают все ниже, но только полная темнота затушит гул боя под Кореновской.

VIII

Против нас в Кореновской сражалось до четырнадцати тысяч красных под командой Сорокина. Выбитые, они сосредоточились у Платнировской, готовясь к второму бою, но Корнилов резко свернул армию на Усть-Лабу.

Обоз с ранеными едет за армией. На телеге нас пятеро. Сестры укрыли нас одеялами; с поскрипыванием движется подвижной лазарет, на выбоинах стонут утомленные раненные, а впереди сквозь подоспевших не пускающих в Усть-Лабу красных пробивается армия.

Уже далеко за полдень, а под Усть-Лабинской бой все идет. Усть-Лабинская раскинулась по крутым холмам над реками Лабой и Кубанью. Мешаясь с белым цветением вишен и яблонь, на обрывах меж станичных хат пестреет цветущий кустарник. Стрельба от Усть-Лабы доносится все явственней. Обоз уже почти в зоне боевого огня. Раненные прислушиваются: не приближается ли общий гул боя?

На моей подводе волнуется капитан с обеими перебитыми ногами; смельчак в бою, здесь в беспомощности он потерял самообладание.

— Слышите, приближается, — приподнимаясь на локте, говорит он, грязно-бледный, измученный от неспанных ночей, от страшного ранения; губы у него почти черны; под все близящимся ружейным накатом капитан с отчаянием

откидывается. А зловещий гул действительно близится. Раненые прислушиваются к нему, как зверь на облове к крикам загонщиков. Я волнуясь вдвойне: мой брат в бою.

Из арьергарда, торопясь, проходит отряд; лица строгие, озабоченные.

— Ну, что?

— Наседают, отбиваемся, — говорит худенький офицер с бородкой; отряд уходит влево по пашне.

Раненые зорко следят за ним, вот и оттуда, слева, донесли выстрелы, стало быть, большевики и с флангов; мы в кольце, бой со всех сторон, но в авангарде самый напряженный.

От подводы к подводе ходят сестры, меняют повязки, кормят, поят раненых. Так идут часы. Но вдруг винтовки в авангарде затрещали ожесточенней и общий гул боя сразу стал удаляться, будто подхваченный и понесенный какими-то прорвавшими плотину волнами; раненые завозились.

— Удаляется, слышите?

От головы обоза крик:

— Обоз вперед!

Возчики замахали кнутами, лошади вскачь помчались по степной дороге, а перед нами, замирая, все уносится эхо боя; теперь уж нет сплошного гула; гул с перерывами, стало быть, большевики отброшены и наши взяли станицу.

Но в Усть-Лабе мы не останавливаемся. Вырываясь из красного кольца, Корнилов бросает нас дальше, и я не знаю, где я просыпаюсь ночью в темноте от многоголосья, скрипа тысяч колес, криков, ругательств, ржанья лошадей. Недалеко от подводы у костра кто-то легким фальцетом напевает:

Мы дралися за Лабой,
Бой был молодецкай!

— Станичник, где мы?

— В Некрасовскую въехали.

Все глушится кромешным галдежом возчиков, криками квартирьеров, сестер, скрипом колес тронувшегося по станице обоза; и только уж в хате я встречаюсь с раненым братом.

Я лежу под божницей, обклеенной узорно вырезанной газетой; брат с раздробленной ступней прыгает по хате на одной ноге, капитан с перебитыми ногами неподвижен на полу; другие раненые кто ходит, кто прыгает, а Таня и Варя промывают раны, меняют перевязки, рассказывают новости. От отдыха все веселы. Сердита только дряхлая хозяйка-казачка с глядящим изо рта длинным желтым клыком; она то беззубо шамкает, то ворчливо кряхтит.

— Что ты, бабушка?

— Ох, да как что? Куды я вас дену, хата малая, а вы все перестреляны, как птицы какие, — оглядывает нас мутным глазом старуха и продолжает охать у печи, — всякие я войны видала, помню, как черкесов мирили, как на турку ходили, а теперь вот своя на своих пошла. — И старуха никнет седой головой.

— Из-за чего ж это, бабушка, пошла-то она, а? — смеется кто-то.

— Да рази я знаю, может, и есть из чего, а может, и нет, так все, зря, — безразлично бормочет старуха.

Пришедший Василий Лаврович рассказывает, что, отбиваясь от нападающих со всех сторон красных, Корнилов ведет нас на Екатеринодар, надеясь штурмом взять кубанскую столицу и тогда в ней уж найти казачью опору. До хаты долетают звуки похоронного марша, это хоронят наших убитых и умерших от ран, и на кладбище каждой станицы вырастают наши простые деревянные кресты.

IX

В Пензе по ночам моей матери снился мучительный сон, как по снежному ветреному полю красные ведут ее сыновей, на расстрел. Мать просыпалась в судороге; но ее дни не легче ночей: красные газеты пишут, что белая армия разбита, что Корнилов бежал в Кавказские горы, а по степям валяются, гниют «объединенные трупы золотопогонников».

Бессонной ночью, ощущая всю свою потерянность в мире, мать решила сама пробираться на юг, в те далекие донские степи, где, быть может, еще живы и сражаются с красными ее сыновья. Но путь на Дон труден. Дон отрезан от всей России кровавой чертой гражданской войны. Надо кружить: ехать до Волги, по Волге плыть до Астрахани, с Астрахани по Каспийскому морю на Северный Кавказ, оттуда на Кубань, а там уже пробираться в донские степи, где потерялась белая армия.

Распродав все, что могла, с зашитыми в юбку тремя тысячами рублей, мать в конце апреля уже ехала на Сызрань, забившись в теплушку, переполненную все еще бегущими с российских фронтов солдатами. На грязной сызранской пристани с трудом за взятку она достала билет до Астрахани и отплыла на разгромленном, захарканном пароходе «Октябрьская революция», полыхавшем красными флагами. На пароходе фронтовые солдаты, красногвардейцы, матросы,

куда-то плывущие мужики-мешочники, пробирающиеся на родину армяне и вместе с ними притаившиеся беглецы-интеллигенты. По необъятно раскинувшейся весенней Волге, мимо туманных Жигулей, мимо кургана Стеньки Разина плыла «Октябрьская революция». Навстречу протяжно гудят сирены таких же разграбленных пароходов. В желтых сумерках по размахнувшейся волжской шири с кормы летят жалобные звуки двухрядки. Это, сидя неподалеку от матери, играет слепой гармонист с отросшими по плечи волосами и простонародным, за душу хватающим тенором поет: «Ревела буря, гром гремел...» Красногвардейцы, матросы разными голосами подтягивают певцу. А когда вечерний туман накрывал Волгу, каждый день вся команда парохода по старинке становилась на корме и хором пела «Отче наш».

Так плыла «Октябрьская революция». За долгий путь беглецы-интеллигенты сжились. Костромич-инженер, в очках, с козьей бородкой, рассказал матери, что тоже пробирается на Кавказ разыскивать сына и что ему сказали, будто в Астрахани есть такой баркас «Гурьев», который возит людей до Брянской косы, а с Брянской косы на Кизляр будто отвозят на арбах казаки.

В Астрахани, не отставая от инженера и семьи армян, мать попала-таки на маленький пароходик «Гурьев», переполненный разношерстными беглецами. По изменчивой зелени Каспия «Гурьев» заскользил к Брянской косе. Неразговорчивый капитан дорого брал за такое путешествие, но подплыть к косе все-таки отказался, бросив якорь далеко от берега. По очереди пассажиры в лодке переплывали на берег и там сговаривались с поджидавшими казаками о поездке дальше на арбах в Кизляр. В эти смутные времена прибрежные казаки зашибали большую деньгу, промышляя извозом человек: двадцать два целковых с души, и непременно царскими.

Ночью на Кизляр тронулись три подводы. На арбе вместе с матерью уюстились: унылый чеховский интеллигент с выцветшей бородкой и трясущимся на носу черепаховым пенсне, — от него только и узнали, что он племянник уфимского архиерея; муж и жена из Орла, все ощупывавшие на себе зашитые драгоценности; пехотный полковник из Сарапула с сыном-кадетом, не скрывавшие, что пробираются в белую армию. Последним, кряхтя, крестясь и шепча: «Царицы мои небесные!» — взобрался на арбу толстый казанский купец в поддевке и сапогах бутылками.

Над ночной степью, как ломоть лимона, дрожит серп луны; тарыхтят казацкие подводы. Дремля на арбе, мать

знает, что к живым или мертвым, а близится к сыновьям, и в этом ее душевное успокоение; привалившись к плечу полковника, спит кадетик-сын; раскачивается тощее очертание племянника архиерея; и казанский толстосум преувеличенно охает и стонет на выбоинах. Но вдруг за подводами по степи пронесся топот скачущих коней и в свете звезд и желтого месяца на дороге стали видны машущие винтовками всадники. «Стой! В веру, в душу, в гроб, в мать! — кричали доскакавшие вертящиеся на конях пьяные казаки. — Арестовывай вчистую! Вертай на обыск!»

Но головной старик-возчик, вероятно, лучше других знал своих станичников. Он хоть и с ругательствами, но спокойно слез с арбы, и спешившиеся казаки, ведя под уздцы коней, пошли за ним в сторону с дороги. Там начался галдеж, торг, но вдруг голоса перешли на мирное, и кто-то в лунной темноте раскатисто и животно расхохотался. Возчики снова полезли на арбы, а казаки, впрыгнув кошками на коней, вскачь понеслись назад к станице пропивать взятый с возчиков бакшиш.

Днем перед беглецами та же выжженная, бесприметная степь. На подводах не укрыться от палящего удушливого зноя, ноги затекают от неудобного положения, но каждый беглец готов терпеть все, лишь бы доехать; и день-деньской молча они трясутся на арбах.

Обрадованно заговорили, только когда раскаленное удушье степи сменилось сочной тенью прохладных армянских садов Кизляра, в которых под вечер пели соловьи.

Х

Издалека доносится гул боя, то стихая, то разрастаясь. С тяжелыми потерями прорвавшись сквозь станицы, крестьянские хутора, разгромленные черкесские аулы, Корнилов начал штурм Екатеринодара, охватив его с трех сторон.

К реке Кубани, где на берегу на некошенных лугах табором расположился обоз-лазарет, катится непрерывный гул штурма. У реки дымятся костры, пасутся стреноженные лошади; меж телегами ходят сестры милосердия, кормят, перевязывают раненых.

К вечеру второго дня по наведенному парому лазарет медленно переправляется через Кубань и по узкой дамбе едет ближе к Екатеринодару, в станицу Елизаветинскую, ждатель взятия добровольцами казачьей столицы.

В Елизаветинской нас, человек тридцать раненых, положили в церковную сторожку. Пол двухоконной комнаты застлан соломой, все лежат, плотно прижавшись друг к другу. «Ну я же ничего не вижу, сестра, умоляю, доктор!» — то и дело отчаянно вскрикивает исхудавший рыжеватый поручик, ослепший на оба глаза от ранения в висок. «Воды...» — тихо стонет мальчик-кадет, у него раздроблена ключица, но он так слаб, так тихо зовет, что за общими стонами его не слышно. Раненый в рот юнкер полумычит, зовя сестру: у него шесть дней не меняли повязки.

Вести из боя странные: то на дрожащей, задохнувшейся лошади подскакавший к церкви казак расскажет, что Екатеринодар взят, и по станице проносится «ура» раненых, то оказывается, наши отброшены с тяжелыми потерями; а штурм гудит без перерыва третий день, все слилось в страшный гул большого сражения.

Мы, могущие передвигаться, вышли из сторожки и лежим на лугу у церкви.

— Я Перемышль, Львов брал, а такой канонады не слышал, — затягиваясь газетной самокруткой, говорит седой полковник с забинтованной головой.

— Они из Новороссийска тяжелые орудия подвезли, слышите, как ахают?

Все напряженно прислушиваются к сотрясающему воздух гулу орудийных залпов. Станичная церковка с розовым в золотых звездах куполом истреляна; хромой старик сторож показывает нам небольшой, стоящий в окне, написанный на стекле образ Христа; все окно выбито снарядами, кругом иконы осколки, но, прислонившись к железной решетке, образ Христа стоит нетронутым.

В церкви полумрак, пахнет весенним воздухом и ладаном. В колеблющемся мерцанье свечей ветхий священник с желтой по краям бородой служит великопостное служение, прочувственно читая молитву св. Ефрема Сирина: «Господи, владыко живота моего, духа праздности, уныния...»; и рушатся на колени, молятся раненые, плачут, не поднимаясь с колен, женщины-казачки. А со стороны Екатеринодара все ревет артиллерия, от орудийных залпов содрогаются свечи и иконы в церкви.

Отслужив службу, неуверенной старческой походкой священник сходит по ступенькам паперти, опираясь о подожок, проходит к себе в разлапистый покривившийся дом.

Мы уходим спать в сторожку, но спать нельзя. Тяжелораненые мечутся, стонут; ночью из боя пришли обессиленные, с лицами странно незнакомыми, Варя и Таня, обе

сели возле нас, плачут: Свиридов убит, Ежов убит, Мошков умирает, рота перебита, наши то и дело бросаются в рукопашную, бьются из-за каждого шага, то займут их окопы, то красные снова их выбьют. Вчера сестры складывали раненых под стога, а к вечеру красные отбросили наших и подожгли стога, из огня слышались крики и стоны раненых.

Ночь проходит без сна. Раненые все прибывают, в сторожке нет уже места, их кладут снаружи, в ограде; раненая в грудь сестра кричит: «Воздуха, воздуха!»; среди общих стонов два офицера осторожно выносят ее на крыльцо; ставший санитаром пленный австриец, в своей еще серой австрийской куртке, и две сестры неловко вытаскивают из сторожки умершего, его руки волочатся по полу, голова свернулась на сторону; «Осторожней же!» — стонут раненые.

На рассвете к нам в ограду внесли раненую екатеринодарскую сестру. Девушка с зелеными переменчивыми глазами, овсяными кудрявыми волосами ранена пулей в таз, сильно мучится. За ней ухаживают наши сестры, от нее узнали, что в Екатеринодаре многие девушки пошли в бой, желая помогать раненым, и красным, и белым; и наши видели, как она перевязывала в окопе и тех, и других; там ее и ранили пулей в таз.

После бесчисленных конных и пеших атак, на пятый день непрерывного штурма, наши потери убитыми громадны; среди убитых командир полка подполковник Неженцев; обоз с ранеными утроился; мобилизованные казаки сражаются неохотно, а сопротивление красных растет. «Когда идешь в атаку, от красных в глазах рябит», — рассказывают раненые. Подвезенная из Новороссийска тяжелая артиллерия засыпает нас гранатами, а у нас уже нет снарядов, и белое кольцо добровольцев, охватившее Екатеринодар голыми руками, теперь, в свою очередь, охватывается спешащими на выручку кубанской столицы красными. Бой с фронта, с тыла, бой везде, и нам в этом бою подкреплений ждать неоткуда.

В это тяжелое утро ко мне в ограде церкви подошел капитан Ростомов, на нем лица нет.

— Корнилов убит, — глухо сказал он, — теперь все кончено, только, ради Бога, не рассказывайте, приказано скрывать, боятся паники, разгрома, говорят о неизбежности нашего плена, ну, а там известно что. — И капитан лег рядом на траву и, закрыв лицо руками, замолчал.

Сердце словно оторвалось и утонуло; я не хотел бы верить, но недалеко от церкви, где возле хаты качается под ветром дуплистая ветла, на карауле стоят два текинца; в

хату входят и выходят военные, там в простом гробу, украшенном полевыми цветами, лежит труп небольшого человека с монгольским лицом; генерал Л. Г. Корнилов лежит в походной защитной форме; и все стоящие у гроба, даже часовые текинцы, плачут.

А под Екатеринодаром все ухают залпы артиллерии.

Его штаб стоял в небольшой хате у рощи, на высоком берегу вытянувшейся далекой лукой Кубани. Уже давно красные вели пристрелку по этому белому трехконному домику, и адъютанты уговаривали генерала бросить хату, но, занятый безнадежным роковым штурмом, он уже не обращал внимания на уговоры и на гранаты, изрывшие рощу.

Последняя граната, пробив стену, попала под стол, за которым сидел Корнилов. Его подбросило кверху, ударило об печь: ему раздробило висок и переломило бедро. Из дымящейся хаты адъютанты вынесли генерала на воздух, Корнилов умирал.

Когда стемнело, к нам в заваленную ранеными сторожку вошел запыленный обозный офицер в пропотевшей гимнастерке. «Господа! — закричал он. — Укладываться на подводы! Только тяжелораненых просят не ложиться, легкораненых отвезут, переложат на артиллерийские, а тогда приедут во второй раз».

Сестры Таня и Варя торопят укладываться, ехать, и в их шепчущих настояниях я чувствую какую-то тайну. Я выхожу в ограду, на паперти темные очертания старого священника.

— Благословите, батюшка.

— Храни вас Господь, — обнял меня дряхлый священник и трижды поцеловал, — уйдете... с нами что будет... Господи... — произнес с вырвавшимся стоном, — завтра же ведь придут и начнут расстрелы.

По темноте еще резче плывет гул боя. Сестры несут одеяла, подушки, торопливо укладывают нас на подводе, и Таня шепчет, что мы отступаем от Екатеринодара, что тяжелораненых бросают в Елизаветинской на произвол судьбы, сокращая хоть этим обоз.

Я забыл в сторожке пояс, ковыляю туда. Коптящая керосиновая лампа со стены освещает вороха измятой соломы. В углу кто-то тихо-тихо застонал, это мальчик-кадет с раздробленной ключицей, он лежит навзничь, желтый свет мутно озаряет его изможденное детское лицо с темными, отросшими за войну волосами.

— Все уехали... бросили... — не то через силу, не то в забытии простонал кадет.

Догоравшая лампа наполняла сторожку колеблющимися тенями; тяжелораненый оставался в темноте ждать утренней расправы красных.

— Триста раненых бросили, а? Ведь не только на смерть, а на страшное истязание! При Корнилове этого никогда бы не было, — вполголоса говорит на подводе раненый в лицо Коля Сомов.

— Доктор и сестры наши с ними остались, — шепчет Таня.

Возчик понукает лошадей, рысью едем в темноте; над нами катится, уплывает оставшееся на полнебе золото созвездий. Мы не знаем, куда нас ведет заменивший Корнилова новый главнокомандующий генерал Деникин.

XI

В степях в эту темную ночь у железнодорожной станции Медведовской решалась судьба. Здесь генерал Деникин наметил попытку вырваться из красного кольца; и здесь же в сети железных дорог Сорокин хотел нас нагнать, чтоб добить, уничтожить. Эта черная ночь решала все: прорвемся — затеряемся в степях, не прорвемся — смерть.

Скрывшись за чередой холмов, в степи в ожидании прорыва притаился обоз. Пофыркивают уставшие лошади, без отдыха прошедшие семьдесят верст. На подводе нас шестеро. Под звездным небом мы молчим, приказано не разговаривать. «Ну, не прорвемся, ну, умру, ну и все», — уговариваю я себя под налетающим на лицо степным ветром. Но я чувствую, что уговоры не действуют, ибо страшна не смерть, страшна подлая расправа.

Далекий орудийный залп. И тут же, свистя и завывая, близится гранатная очередь. Каждый из обессиленных раненых молит об одном, чтобы снаряды не попали в его подводу, это — оголившееся животное чувство, которого каждый внутренне стыдится, но каждому очень хочется жить. По звуку несущихся снарядов все прикидывают: «По нас... не по нас...» Страшный взрыв совсем рядом, за ним, может быть, полсекундная тишина, и вдруг кто-то ужасно кричит. Гранатами разбиты подводы, убиты лошади, убиты раненые, а казаку-возчику оторвало ноги, и это он, как шакал, завыл под золотом звезд.

— Да приколите ж его, — измученно говорит кто-то в темноте.

— Тише, господа, приказано ж не разговаривать.

И все смолкают в ожидании новой очереди, только возчик кричит страшно и тягуче; но вместо гранат далекую степную темноту разорвало вдруг внезапное, короткое «ура».

— «Ура», слышите, «ура», атака, — завозились взволнованно на подводах раненые.

— Не волнуйтесь, господа, это наши черкесы атаковали их артиллерию, — вполголоса с седла говорит едущий темный верховой.

«Ура» вдали оборвалось; замолчал и возчик, истек кровью. В звездной тишине внезапно стал слышен треск кузнечиков, и показалось, будто в этой степи никогда ничего, кроме тишины и треска кузнечиков, не было; с накренившегося, как в исполинском соборе, купола прямо в глаза льются те же звезды.

— Большую Медведицу видишь?

— Да. А вон Геркулес.

— Геркулес, — сворачиваясь под одеялом, подрагивая от холода ночи, шепчет юнкер Сомов, — я вот возчика вспомнил, на две подводы всего нас-то перелетело.

Веет степной ветер, то холодноватый, то словно с кипяченой струей. Далеко, на темной линии горизонта, уже начинается рассвет. Он придет скоро, быть может, слишком скоро и своим приходом может нас погубить. И, словно предупреждая, исчезающую темноту неожиданно разорвал одинокий, испуганный выстрел. Тишина. Стрельба еще и еще. Сначала неуверенная, но чаще. Вот грохнула наша артиллерия, где-то с остервенением закричали «ура». Раненые вглядываются в близкую темноту, разрезаемую огненными цепочками, по телу бежит дрожь, стучат зубы: прорвемся иль не прорвемся?

У станции Медведовской, сотрясая ночь, гремит бой. Где-то далеко вправо и влево ухнули тяжелые взрывы, это наши взорвали полотно железной дороги, отрезая наступление красных; треща, заглушая стрельбу, высоким пламенем на станции горят вагоны с патронами.

— Господа, ради Бога, выгружать снаряды из вагонов! Кто может, скорей, это наше спасение! — скачут, кричат по обозу верховые. И раненые, кто может, прыгивают, ковыляют к станции вытаскивать снаряды красных из еще не охваченных пламенем вагонов, ибо у нас снарядов уже нет.

— Обоз рысью, вперед!

Этого чувства невозможно передать; еще не верится, что прорвались, но обоз уж поскакал, загалдел, машут кнутами перепуганные возчики, попавшие на войну за здорово живешь; по мягкой степи лошади скачут в карьер.

Мы уж у железной дороги, вырываемся из кольца, здесь залегли наши цепи, отстреливаются на обе стороны, и вправо, и влево; захваченными у красных снарядами наши орудия бьют по красным же прямой наводкой; и в открытые «воротца» из кольца, из паники, из смерти летит прорывающийся обоз. Падают убитые, раненые, лошади, люди на путях кричат, бегут, машут винтовками; опираясь передними ногами о землю, храпит, не в силах подняться, окровавленный вороной красавец жеребец, а возле него без движения раскинулся кавалерист во френче и синих рейтузах; но на мертвых не обращают внимания, под дождем пуль, с гиком, криками лазарет уже перелетает железную дорогу и дальше скачет карьером по степи.

Прорвались... живы.... ушли...

XII

У Новороссийского вокзала, у закрытых семафоров, на путях необычайное скопление поездных составов, переполненных вооруженными матросами и красноармейцами. На теплушках коряво выведено мелом: «Да здравствует мировая революция!» На вокзале, на полу, лежат красные бойцы, меж ними на узлах бабы кормят плачущих ребятишек; с руганью сквозь толпу продираются солдаты с чайниками кипятку; а с заплеванных грязных стен на эту человечью давку глядят приказы о сдаче оружия под угрозой расстрела и об уплате контрибуции новороссийскому пролетариату.

С вокзала мать не знала, куда идти. Кругом одинаковые домики железнодорожных рабочих, чохлые палисадники и на холмах незнакомый город. Белые акации напоили неизвестные улицы пряным запахом. Тарахтя и поднимая облака известковой пыли, прополз полуразбитый грузовик; над виадуктом засвистал паровоз; мать перешла площадь и в первой грязно-унылой улице остановила хохлушку в свитке и солдатских сапогах, спросив, как ей пройти на Серебряковскую.

Было за полдень, когда на Серебряковской, во дворе сумрачного казенного здания, мать разыскала, наконец, Марью Ивановну Полозову. Конспиративно работавшая для белых, Марья Ивановна оказалась женщиной на пятом десятке, с круглыми вишневыми глазами, мягкими чертами лица и гладко зачесанными назад волосами. Несмотря на рассеивающее подозрение письмо, она приняла мать почти неприязненно; и только по мере рассказа, с каким трудом

мать добралась от Пензы до Новороссийска, Марья Ивановна смягчилась и, наконец, заговорила сочувственно.

Первое, о чем предупредила: быть крайне осторожной, в городе свирепствует Чека, по подозрению в связи с белыми уже расстреляны сотни людей. Что же касается дела, то как бы она ни хотела помочь, сама не знает, где теперь белая армия: в степях, а где — неизвестно. Подумав, Полозова проговорила: «Я вам записку дам к капитану Белову, может быть, он чем-нибудь поможет». И прямо от нее мать пошла в порт искать неизвестного капитана. В порту — темно-синее море с далекими перевалами волн, у бухты серые очертания грандиозных элеваторов, над морем в ветре кричат уносящиеся чайки и далеко белеют трубами, как колоннами, цементные заводы на горной зелени. В однооконном флигеле, потонувшем в саду, мать нашла жившего под видом рабочего капитана. Загорелый, с наголо бритой головой, с беловатым вдавленным шрамом у переносицы, этот рослый рабочий в мазутом просаленной блузе, глянув на записку Полозовой, сразу в своих манерах стал офицером. Но ничего точного сказать не мог и он: белые штурмовали Екатеринодар, красные их отбросили, белые в степях, но где, неизвестно; кругом — все красное.

— Знаете что, — раздумчиво проговорил капитан, поглаживая ладонью бритую голову, — пойдите-ка вы к генеральше Цуриковой, авось что-нибудь узнаете, там бывают сведения, а если не узнаете, приходите ко мне, у меня есть один план.

Назавтра мать шла по адресу, данному капитаном. На Соборной площади она вошла в отворенные настежь ворота, спросила играющую в пыли тряпочной куклой девочку, где здесь квартира номер три, и девочка указала на небольшой охряной домик во дворе. Там, в полутемной квартире, мать застала странное общество, какое можно увидеть только в революцию, когда в подполье ссыпаны самые разнообразные люди.

За чайным столом сидело человек десять мужчин и женщин. Статного господина в военном кителе без погон присутствующие называли «ваше превосходительство». Это был сорокалетний голубоглазый человек с подстриженными усиками. Отношения его с генеральшей Цуриковой, пожилой напудренной дамой с букляшками на морщинистом лбу, казались странно-близкими. Рядом с генеральшей грызла семечки женщина пронзительной и пышной русской красоты, приехавшая из голодного Петербурга певица. Возле нее, ухаживая и улыбаясь, сидел штатский с ассирий-

ской бородой, по манере говорить показавшийся адвокатом. Он рассказывал, как пробрался из Харькова. В комнате сидело еще человек пять мужчин и женщин, из которых привлек внимание матери один, грузный, в косоворотке, показавшийся переодетым, остриженным священником; и тут же, в углу, в кровати спал чей-то ребенок.

— Вы, стало быть, на Дон, к белым хотите? — шуря глаза, оглядывая с ног до головы мать, говорила подвитая, насурьмленная генеральша. — Но ведь сейчас это много труднее, чем даже вот наша поездка с генералом в Москву. Вы удивляетесь? Да, да, в Москву, — улыбалась генеральша, как будто говорила, что едет в оперу. — Хоть Дон и рукой подать, а пробраться нет возможности. Вот, Владимир Семенович, помогите-ка нам, — тоном легкого, но беспрекословного приказания обратилась генеральша к адвокату, вполголоса разговаривавшему с певицей, — дама приехала из Пензы, ее сыновья у Корнилова. Где теперь может быть его армия?

Полнокровным баритоном адвокат стал рассказывать, что белая армия, вероятно, уже на Дону и единственный путь, правда, рискованный, это ехать, скажем, на подводе в Анапу, а оттуда на каком-нибудь судне с контрабандистами по Черному морю в Крым.

— Ну, скажем, в Керчь, — поглаживая бороду, говорил адвокат, — и вот, если такое экзотическое путешествие удастся, из Керчи в Ростов уж можно ехать просто по железной дороге.

— Но кто сейчас в Керчи?

— Уверять не берусь, были и белые, были и красные. Но сейчас, по моему малому разумению, Керчь как будто заняли немцы, — показывая зеленоватую вставную челюсть, адвокат заулыбался, словно сказал что-то забавное.

Проведя вечер в этом обществе, где генеральша обсуждала поездку в красную Москву, певица рассказывала об ужасах голода в затерроризованном Петербурге, а Владимир Семенович о том, каким остроумным способом, избегши ареста, он бежал из Харькова, где зверствует чекист Саенко, расстрелявший больше трех тысяч интеллигентов и офицеров, — мать вышла на потемневшую улицу в тяжелой тревоге: квартира генеральши ей показалась подозрительной.

С этим тревожным чувством она и пришла к утонувшему в ржавой бузине однооконному флигелю капитана Белова. Но, выслушав ее, капитан, к удивлению матери, сказал, что адвокат прав и что сам он на днях бросает этот флигель и вместе с своим другом поедет именно так, на Анапу, а там по Черному морю в Крым.

Ночью на товарном новороссийском вокзале нет огня, темнота, крики, выстрелы. Толпы красногвардейцев ломятся в поезда, тут же отряды матросов ловят мужиков-мешочников; слышен бабий плач, детский визг, мольбы, причитания и беготня вокруг вагонов.

В потрепанных рабочих пиджаках, в кепках капитан Белов и поручик Широ с бою влезли в освещенную огарком свечи теплушку; помогли влезть и матери. Теплушка с ранеными красными партизанами; в темноте курятся их сигарки; полуошупью мать ищет место, а из вагонной глубины неясное очертание женщины продолжает, видно, давно заведенный рассказ: «...сама в Екатеринодаре видела, привезли к гостинице Губкина, все комиссары вышли, сам Сорокин был, сказывали, выкопали его в степях, где кадеты закопали... что народу сбежалось... тыщи... спервоначалу на столб повесили, комиссар под музыку речь говорил, а потом по городу проволокли и на площади сожгли и начисто развеяли...» — засмеялась с хрипотцой женщина.

У матери захолонуло сердце, и все ж она не верит рассказу о конце генерала Корнилова; а темная женщина рассказывала правду.

— Теперь мы их всех кончим, — сказал лающий мужской бас с верхних нар, — с нами нынче самые главные генералы идут, Брусилов и все фронтовые в Москве на нас работают, нынче кадетам канцирь пришел.

Поезд задрожал, пошел. Мать прислонилась к стене, но ей не дремлет. Она слышит удары своего сердца и гудящие голоса красных партизан, видит пронзающие темноту огоньки их вспыхивающих сигарок.

— Под Белоглинской сонными, сволоту, ихний разъезд, захватили: один прапорщик молоденький, сукин сын, годов двадцать, не боле, сграбастал я его: «Молись, — кричу, — буржуйский выродок, на мою портянку», — а Семка руки ему назад вяжет: «Нет, — говорит, — постой, мы энтого буржуя ще по степи потаскаем, по-кавалерийски». — В вагоне захохотали. — Тащит он его к седлу, а прапорщик помертвел, аж синий, а все не сдается, гад, и взяла меня тут такая злоба, как садану я ему штыком в брюхо, он кричит, стерва, как заяц... — Слышно, как рассказчик сплевывает и жирно растирает в темноте плевок подметкой.

— Они нашему брату тоже скидки не дают.

— Война она есть война, каку ни возьми, что с немцем, что ета, с кадетами.

— Эк, сравнял козу с зайцем, — перебил прежний суровый голос, — ты на немца за што шел? Сам не знаешь за што, пер с винтовкой несознательно на твоего же брата пролетария. Он, немец-то, тоже больше твое воевать не хотел. А с кадетами смекаешь, кого режешь, буржуй он везде одинакий.

И снова чей-то сонный, негромкий, слегка простуженный голос:

— А ты думаешь, им за погоны-то тоже сладко по степям с казаками мыкаться, тоже поди на печь к бабе слазить хочется.

— К бабе... — угрожающе-злобно процедил первый, — ты погодь залезать-то, порежем буржуев, тогда и к бабе полезем... греться...

Сердце у матери бьется все учащенной, ей кажется, что это и есть ее пензенский страшный сон наяву, что это ее сыновей в степях убили красные партизаны; капитан Белов тихо посапывает во сне, и рядом с ним, свернувшись, спит поручик Широ.

XIV

К Черному морю, к Анапе подвода подъехала к вечеру. Пунцовое солнце, поджигая небо, погружалось в тихие воды. Соленый воздух, оранжевые, тающие сумерки над разбросанными одинокими домами — все было хорошо и спокойно после шумящего пыльного Новороссийска.

Но и Анапа — красная. Каждый вечер по морскому берегу идут патрули, стерегут подплывающие парусники, баркасы, лодки. И все-таки беглецы ежедневно бродили вдали от мола, по высокому берегу, ожидая, что, на счастье, может быть, и подплывет какое-нибудь судно. В дежурство капитана Белова к пустынному берегу причалил заросший ракушками катер, с него слезли машинист в замасленной русской рубашке и какой-то краснолицый, рыжий гигант, по виду человек дикой силы, оказавшийся владельцем судна.

Белов с ними закусывал в прибрежном трактире, угощал новороссийским самогоном, долго торговался, и, наконец, рыжий согласился идти с беглецами в Керчь под условием: плыть как будто легально в красный Новороссийск, а уж в открытом море он положит курс куда надо.

— Дело сурьезное, расстрелом пахнет, — глухо проговорил рыжий, опрокидывая в широкий рот полстакана самогона.

К часу отплытия мать спешила к молу с тоскливо обмирающим сердцем. На волнах уж качался катер, ожидавший беглецов, их собралось десять. Плыли: Белов, Широ, мать, под видом учителя полковник Каменский, впоследствии поднявший восстание на Тамани, худой, болезненный еврей-интеллигент с двумя чемоданами, два грека-контрабандиста, военный врач, неповоротливый русский немец, будто слепленный из сырого теста и, под видом бухгалтера, сухенький кавалерийский генерал с нарумяненной женщиной, как казалось, легкого поведения.

Мрачный чекист с ртом лягушки и мутными, словно плавающими в грязной жиже глазами, мучительно долго проверял у схода пропуска. Наконец владелец катера не выдержал и, подмигнув, отвел в сторону чекиста. Пошептавшись с ним, он вернулся, и чекист, действительно, быстро впустил всех на судно.

Подбрасываемый волнами катер закрипел, среди бела дня стал отходить от красной Анапы в открытое море. С багровым лицом, обветренным морскими ветрами, рыжий капитан стоит у руля. Пока виден маяк, он держит курс на Новороссийск, и переполнившие катер беглецы взволнованно ждут, когда скроется острый шпиль маяка. Волны топят его, но маяк еще виден, то исчезая, то мелькая над водой; наконец он затоплен; кругом только волны пенящимися, шипящими гребешками ударяют в борта, да низкие кубовые тучи идут над морем.

— Погляди-ка, что там такое? — проговорил Белову Широ, передавая большой военный бинокль.

У всех захватило душу: на горизонте, нагоняя катер, вырисовалось судно.

— Моторная лодка, идет прямо на нас, — не отрываясь от бинокля, произнес Белов.

И радостное ощущение побега ушло. В страшном ожидании беглецы глядят на близящуюся, подбрасываемую волнами моторную лодку. Но вдруг она круто легла влево и сгнула, словно утонула. И опять ничего, кроме волн и туч, только тучи все черней, волны высоко перекидывают судно, словно бросая его с мокрых рук на мокрые руки. Но Белова и Широ волнует рыжий капитан, он упорно не меняет курса. Может, большевик? Может, плывет к Таманскому полуострову, чтобы выдать? Может, он сговорился с чекистом? Волнение беглецов растет.

— Мы не на Керчь, а на Тамань идем, — говорит капитану Белов.

Рыжий не отвечает, пожимает плечом. Но возле него Широ и Белов с револьверами.

— Клади на Керчь, — разъяренно кричит Белов, — до Тамани все равно не дойдешь, первую пулю тебе пушу!

Рыжий повернул темное от злобы лицо с выставленной, отекающей челюстью.

— Становись сам на руль, если хочешь!

И Белов стал на руль, сменив капитана.

Ночью волны растут, начинается буря, вырастает новая опасность: потонуть. Сжатая на корме мать не заметила, как военный врач сел на единственный спасательный круг; каждый раз с ног до головы его обдают волны, но он сидит на круге. Еврей у борта страдает морской болезнью. «Ох, ради Бога, оставьте меня», — стонет он, вырываясь из рук Широ. «Да я же вас держу, вы за борт опрокинетесь!» И в эту бурю, в качку только десятилетний мальчишка, сын капитана, сладко спит в каюте катера.

Около трех часов ночи из морской черноты внезапно вспыхнули сильные огни. Генерал сказал:

— Господа, это «Гебен».

— Какой там «Гебен», это Феодосия, — засмеялся грек.

Никто не мог определить: что за огни? И решили до рассвета не двигаться, бросив якорь в утихающие воды.

XV

По весенним степям армия едет теперь на подводах: и строевые, и раненые. Кто говорит, что Деникин нас ведет в Терскую область, кто — на Дон. Движемся, куда пробьемся. В зелени степей одна за другой проходят облитые яблоневым цветом станицы, берега тихих, стеклянных голубых рек. Все эти станицы схожи, но во всех веками слаженный быт теперь взломан гражданской войной. Дядьковская, Бекетовская, Бейсугская, Ильинская. В Успенской мы останавливаемся на отдых и в станичной церкви встречаем вербное воскресенье

Стрельчатая деревянная церковь полна молящимися, раненые стоят, опираясь на палки, на костыли, многие с забинтованными головами, с руками на перевязи, лица исхудалые, глаза впавшие, все с вербами и свечами. Поются тревожно-торжественные великопостные песнопения. Ближе к алтарю, с толстой свечой, стоит главнокомандующий генерал Деникин с орденом св. Георгия на шее, чуть позади него генералы: Романовский, Эрдели, Покровский, атаман Филимонов.

На паперти вечерняя темнота пахнет жасмином. Раненые сидят на приступках. Василий Лаврович в обшарпанном штатском пальтишке, подпоясанном ремешком,

рассказывает окружившим его офицерам, что в Успенской нас разыскала делегация донских казаков, зовут на Дон, а Дон весь уж в восстании против красных.

— Наконец-то раскачались донцы.

И этот неожиданный просвет всеми ощущается и как спасение, и даже как слабая надежда на будущую победу.

Из Успенской снова на подводах едет по степи армия; перемежаясь с подводами, скачут конные черкесы, казаки; но теперь уж все знают: едем на Дон. Путь туда лежит через ту же Лежанку. Миновав несколько станиц, мы въезжаем в нее ранним утром, но теперь без боя и с другой стороны. И пока квартирсыры не развели еще нас по квартирам, наша подвода, запряженная парой вороных лошадей, останавливается на той же площади у церкви. Тогда здесь лежали трупы. Теперь на сочно-зеленой траве с редкими желтыми одуванчиками пасутся, словно фарфоровые, пятнистые телята и играют ребятишки.

На длинногривых потных конях на площадь вскакали два запыленных казака, в синих чекменях, в шароварах с лампасами, в фуражках, удальски сбитых набекрень, с вырвавшимися на волю губами; оба как сорвались с батальной картины.

Когда они спешили, их обступили слезшие с подвод раненые.

— Все встали, чисто как один, из половины области начисто большевиков выгнали, — говорит кривоногий, скуластый казак, потряхивая серебряной серьгой в пыльном ухе, — теперь их, гадов, до Москвы погоним, вас только и дожидаем.

— Стало быть, уж не будете нас обстреливать, как раньше-то, в феврале? — говорит худенький, в чем душа держится, раненый в голову шестнадцатилетний кадет.

Казак грубо расхохотался.

— Да рази ж мы кады обстреливали? Теперь не сумлевайтесь, на себе камунию испытали, и стар и мал за винтовку схватились.

Квартирсыры кричат на краю площади, разводят по улицам со скрипом тронувшиеся подводы. У небольшой мазанки, присевшей в зелени сада, мы слезаем с телеги: это наша квартира на эту ночь. В хате на столе позеленевший самовар, кое-что нашлось и поесть, но хозяйка, тощая темноглазая баба, сле отвечает и не садится, а, подпершись рукой, стоит у стены.

— Что, хозяйка, не садишься-то?

— Да постою. В прошлый-то раз вы были, что ль?

— В феврале-то? Были. А что?

— Ничего. Народу много побили.

— У тебя кого-нибудь убили?

— Мужа убили, — говорит она глухо и невнятно, без всякого выражения.

Но в избе сразу вырастает связавшее всех молчание, вероятно, потому, что она кормит нас, убийц ее мужа, и мы будем спать на той же печи, где она спала с ним.

— Где ж его убили?

— Недалечка, вышел он из хаты, его бомбой вашей и убило.

— Снарядом?

— Чи снарядом, чи бомбой, хоба ж я знаю, — хозяйка вздохнула, помолчала. — А сегодня к вашему начальнику комиссар с хлебом-солью выходил, все народ уговаривал не бежать, так, говорит, лучше — не тронут.

— Да чего ж бегут-то?

— Боятся, вот и бегут. — И, сильно оттянув нижнюю губу, хозяйка утерла рот подолом фартука и вышла в сени.

Наутро она уж будто попривыкла, попригляделась к нам, страх и недоверие рассеялись; осмелела и ее дочка Маша, девочка в ситцевом в цветочках платьице, с глазами, как серебряные пяточки. Она улыбается нам и, сидя на корточках, заглядывая в бумажку, хрипловатым детским баском поет на мотив «Стеньки Разина» песню, явно только для того, чтобы мы ею заинтересовались.

— Это что же ты поешь, Маша, а?

Маша, улыбаясь, закрывается бумажкой.

— Песню, — говорит она грудным баском.

— Это у нас песню сложили про первый бой, — говорит ее мать.

— А ну-ка, Маша, покажи.

Зажав в протянутой руке бумажку, девочка смущенно прошлепала ко мне по земляному полу и, отбежав, еще больше смутилась и присела у стены. На бумажке каракулями выведено:

Долго, долго мы слушали
Этих частных телеграм,
Наконец мы порешили
Защищать лежанский план.

И вступивши мы в Лежанку
Не слышали ничего.
А на утро только встали
Говорят нам все одно.

Что кадеты идут в Лежанку
Не боятся ничего.
И одно они твердят,
Заберем всех до одного.

Лишь кадеты выступали,
Выходили из горы,
То мы все приободрились,
Взяв винтовочки свои.

Положились мы в окопы,
Дожидались мы врага.
И мы их сперва пустили
До Карантирского моста.

Тут же храбрый наш товарищ,
Роман Никифорович Бабин
Своим храбрым пулеметом
Этих сволочей косил.

Он косил из пулемета
Как хорош косарь траву
Крикнем, братцы, мы все громко
Ура товарищу Бабину!

Пулеметы помогали
Пехотинцам хорошо.
Батарея ж разбежалась
Не оставив никого.

И орудья побросали
По лежанскому шляху,
А затворы снимали,
Все спешили ко двору.

А пехота дострелялась,
Что патронов уже нет,
Хоть она и утеряла
Двести сорок человек.

Жаль товарищей, попавших
В руки кадетам врагам.
Они над ними издевались
И рубили по кускам.

Я спую, спую вам, братцы,
Показал вам свой итог,
Но у кого легло два сына,
Того жалко, не дай Бог!

— Кто это Бабин?

— Солдат был, — говорит хозяйка, — на площади его хата. Да, сказывают, на пулемете его ваши закололи.

Кругом мазанки деревенская тишина; степное высокое солнце; тихое хрустальное небо; в запущенном саду в ветре

поблескивают листья тополей; за огородом, за гумном си-неет река, а за ней ушли на Дон могучие степи. На дворе, у завалинки соседской хаты, на солнечном пригреве сидит коричневая, как индеец, бабка, и из морщин печеного лица на меня чуждо и непонимающе глядят глаза выцветшего голубого ситца.

— Здравствуйте, бабушка, вы уж простите, что поселились-то у вас, ничего не поделаешь, не наша воля, — говорю я старухе.

— Чего там сердиться, только, говорю, праздник большой скоро, — прошамкала и отвернулась.

Но я не отступаю от старухи, говорю с ней о том о сем; русскому человеку ведь надо только почувствовать душевную открытость собеседника — и он побежден. Я вижу, как бабка уже смотрит на меня по-иному и даже сама позвала к себе в хату. В ее хате над столом висит карточка удалого унтер-офицера пограничника, на декоративно-фотографическом коне лихо взмахнувшего шашкой.

— Кто это, сын?

— Сын, — шамкает старуха и, пожевав губами, глухо говорит, — ваши прошлый раз убили.

Теперь и в старухиной хате рождается то же неловкое молчание.

— Что ж он, стрелял, что ль, в нас, что его убили?

— Какой стрелял, — пробормотала старуха и пристально глядит на меня спрятавшимися в морщинах, выцветшими глазами; и, словно удостоверившись в сочувствии, заговорила, будто только и ждала, чтобы хоть мне, хоть кому-нибудь в который раз выговорить все свое жестокое материнское горе: — На хронте он был на турецком... в страже служил, с самой двистительной ушел... ждала я его, ждала, он только вот перед вами вернулся... день прошел, к нему товарищи, говорят: наблизация вышла, надо к комиссару иттить... а он мне говорит: не хочу я, мама, никакой наблизации, не навоевался, што ль, я за четыре года... не пошел, значит, а они к нему опять, он им: я, говорит, в кавалерии служил, я без коня не могу, а они все свое — иди, да иди... пошел он ранехонько, приносит винтовку домой... Ваня, говорю, ты с войны пришел, четыре года отвоевал, на што она тебе? Брось ты ее, не ходи никуда... што Бог даст, то и будет... и верно, говорит, взял ее да в огороде и закопал... закопал, а тут ваши на село идут, бой начался, он сидит тут, а я вот вся дрожу, сама не знаю, словно сердце что чует. Ваня, говорю, нет ли у тебя чего еще, выкини ты поди,

лучше будет... нет, говорит, мамаша, ничего... а патроны-то эти проклятые остались, его баба-то увидела их... Ванюша, говорит, выброси их... взял он, пошел... а тут треск такой, прямо гул стоит... вышел он на крыльцо, а ваши вот и вот во двор бегут... почуяла я недоброе, бегу к нему, а они его уж схватили: ты, кричат, в нас стрелял! Он обомлел, сердешный, — старуха заплакала, утираясь негнушимися старыми пальцами, — нет, говорит, не стрелял я в вас... и я к ним бегу, не был, говорю, он нигде... а с ними баба была, доброволица, та прямо на него накинулась, сволочь, кричит: ты большевик! — да как в него выстрелит... он вскрикнул только, упал... я к нему... Ваня, кричу, а он поглядел и вытянулся... плачу я над ним, а они все в хату... к жене его пристают, оружие, говорят, давай, сундуки пооткрывали, тащат все... внесли мы его, вон в ту горницу, положили, а они сидят здесь вот, кричат, молока давай, хлеба давай, а я как помешанная, до молока мне тут, сына последнего ни за что убили... — И бабка заплакала, закрывая лицо жилистыми, коричневыми, словно глиняными, руками.

— Он один у вас был? — сказал я после молчания.

— Другой на австрийском хронте убитый, давно уж, — всхлипывает старуха и сквозь слезы говорит: — ...А парень-то какой был, уж такой смиренный, такой смиренный. — И, близко наклонившись, показывая на притаившуюся в углу хаты трехлетнюю светлоголовую девочку, старуха зашептала: — Девчонка-то без него прижита, другой попрекал бы, бил, а он пришел, ну, говорит, ничего, не виню я тебя, только смотри, чтоб при мне этого не было... — И, размазывая по старческим щекам грязные слезы, старуха снова беззвучно заплакала, затряслась.

Я еще раз посмотрел на лихого русского пограничника, провоевавшего четыре года, посидел с старухой, но разговор уже не клеился, старуха выплакалась, выговорилась и молчала, теперь я ей был уже не нужен.

Я пошел к своим раненым, чтоб собираться в церковь: сегодня Великий Четверг.

И эту сельскую церковь, как всякую, обняла сплошная заросль сирени и жасмина. Ночь весенне-синяя, благоуханная. Из церкви нежными звуками выплывает великопостное пение «Разбойника благоразумного...», замирая в воздухе, напоенном сиренью.

После службы, дрожа в сельском мраке, уплывают желтые языки свечей от двенадцати евангелий; в слепых окон-

цах вздрагивает их свет, а где-то в далеких степях вздыхает артиллерия, это бьются казаки с красными.

— Тут, в церкви, служба идет, а на площади на виселицах какие-то повешенные качаются, — говорит кто-то в темноте.

XVI

Степь, степь, без конца, без края, зелена ее самая далекая даль, только кое-где кровавыми пятнами алеют воронцы, дикие степные тюльпаны. От станицы до станицы мы трясемся на подводах, мы вернулись на Дон. Сколько дней, недель я не слезал с этой казачьей телеги? Еду, глядя то в знакомую голубь неба, то на тучи, то на зелень степи, то сплю под ветром в темноте ночи. Едучи, вспоминаю Пензу, которая летом всегда пахла известью и пылью. Вспоминаю из детства, как я, восьмилетний, иду по Московской с матерью, мать в каракулевой кофте, на морозе легко и приятно пахнувшей какими-то тонкими духами. На углу она покупает у крикливого газетчика листок и, читая его, вдруг плачет, рассказывая со слезами о гибели русской эскадры в Тихом океане; и мне тоже необычно страшно от этой гибели людей в каком-то далеком океане. Пенза, мать, как все это далеко. «Жива ли она?» — думаю я. Потом я вспоминаю Москву, как на Пасху студентами, целым скопом, ходили к светлой заутрени в Кремль и на кремлевском дворе под гул пушек, под перезвон колоколов христосовались с кем попало; вспоминаю свою невесту, Олечку Новохацкую, как иду с ней по Тверской и у нее такие золотые и такие кудрявые волосы, что, глядя на нее, прохожие останавливаются, а она, стесняясь, смеется, и светлые глаза ее становятся и веселыми, и застенчивыми. В революцию я потерял и ее, она бежала из Москвы с семьей куда-то в Закавказье, к границам Персии. Все это сейчас в степи кажется утонувшим. Так мы и трясемся, шесть раненых корниловцев, на подводе в общем движении степного лазарета; каждый думает о своем. Я думаю и о том, что эта гражданская война *мне не нужна*, что мое участие в ней бессмысленно, что, приехав в Новочеркасск, я уйду из армии. И я вспоминаю, как мы ночевали в станице Плотской, в убогой хате иногороднего столяра. С враждебным, наглухо закрытым лицом он, недоверчиво усмехаясь, спросил меня: «Ну, а скажите вот, за что вы воюете?» «За Учредительное собрание, — ответил я и, что-

бы пояснить ему, говорю: Оно было выбрано всем народом, большевики разогнали его, силой захватили власть, вот я и воюю против них, потому что думаю, что только народом избранное Учредительное собрание даст русским людям свободу и спокойную трудовую жизнь». Но столяр еще недоверчивей усмехается: «Ну, конечно, вы образованный... оно вам, может, и понятно. А вот скажите, именье-то у вас есть?» «Есть... было...» — говорю. И столяр вдруг хохочет, смехом показывая, что выиграл спор. Так же как фронтовые солдаты, он искренне не в состоянии поверить, что именья для меня не существует, что у меня есть большие богатства; у меня есть русская культура, есть Пушкин; и в эти степи я пришел защищать их. Но ведь и гвардии полковник Пронский, также, как иногородний столяр, этого не понимает; он, действительно, здесь защищает «именья». И в донских, и кубанских степях мне «с моим Пушкиным» нет места меж смертельно схватившимися конногвардейцами и столярами.

Мимо наших подвод уходят станицы Егорлыккая, Мечетинская, Кагальницкая, Хомутовская. В Манычской всех раненых перегружают на пароход, и теперь, в предчувствии близкого отдыха, мы, радостные, плывем по желто-илистому Манычу. Ни свиста осколков шрапнелей, ни завываний гранат, ни пулметного тьякья, все это вместе с трупами товарищей осталось в степях. Раненые лежат на палубе и только теперь видно, до чего измучены бледные лица, устали глаза; вместо обуви, ноги обмотаны тряпками, шинели изорваны, прострелены. Пароход выпускает сизый крутящийся дым; сирена длительно замирает на водном просторе.

Мы выплыли из Маныча в светло-серебряный Дон, мощным разливом затопивший луга и леса. Водный простор Дона так велик, что не окинешь глазом. Пароход проплывает мимо древней казачьей столицы, Старочеркасской, где хранятся цепи Степана Разина и живет история казачьих смут. Но вдруг у борта кто-то вскрикнул:

— Господа, немцы!

На легких волнах Дона качается лодка. За веслами сидят немцы в стальных касках, а на руле барышня в чем-то кисейном, белом. Стало быть, эти каски, подтаскивавшие к окопам «Русский вестник», дошли-таки до Дона?

— Это что ж, союзники или победители? — усмехается шесть раз раненый в войну с Германией заросший грязной бородой капитан.

— А баба-то! Смеется еще, а?

Вдали на горе золотом горит Новочеркасский собор. Вшивые, голодные, оборванные, грязные, безрукие, хромые раненные уже сходят по сходням на берег; это Аксай. У пристани откормленный немецкий лейтенант с моноклем в глазу отдает какие-то приказания своим солдатам, стоящим с деревянно-откинутыми назад руками. Поодаль кучкой стоит много немцев-солдат и, показывая на нас, все чему-то смеются. Что ж, есть над чем и посмеяться.

Идущие по берегу русские прохожие тоже останавливаются перед нами с удивлением. Лабазник с лоснящимся из-под картуза лицом плаксивого жулика, подойдя ко мне, осторожно спрашивает:

— Откеля будете? Кто такие?

— Корниловцы, из похода вернулись.

— Аааа, — безразлично-успокоенно тянет лабазник, словно: «Ну, это, мол, нам мало интересно», и спокойно ускоряет шаг.

XVII

Здесь, в Новочеркасске, недавно еще застрелился атаман Каледин и ворвавшиеся в атаманский дворец казаки, во главе с Голубовым и Подтелковым, зверски убили заместившего его атамана Назарова. Из госпиталей красные выбрасывали тогда в окна белых раненых, добывая на мостовой штыками и прикладами. Потом, восстав против красных, казаки убили Голубова и Подтелкова, а оставшихся в городе красных раненых так же добывали на тех же мостовых. Много крови пролито в Новочеркасске. Но когда мы опять вошли в эту прекрасную донскую столицу, ничто, казалось, в ней и не менялось. Так же мелькают красные лампасы, околыши, чикчиры, шпоры, волнуются в ветре батистовые женские платья, стучат острые французские каблуки, блестят начищенные офицерские голенища, золотятся погоны. Только мы, вернувшиеся из похода, похожие на нищих корниловцы, нарушаем картину этой легкой городской жизни. Но я и не обращаю внимания на вопросительные взгляды и удивление останавливающихся перед нами горожан. Я сейчас счастливее всей этой толпы. Толпа не понимает ведь, какая эта радость, после всего пережитого, идти и вдыхать запах освеженных дождем тополей, видеть голубые лужи или вдруг услышать откуда-то вырвавшуюся музыку рояля.

XVIII

Когда по морю поползли полосы холодного рассвета, стоявший на корме капитан Белов закричал: «Господа, это Керчь! Ей-Богу! И мы, кажется, пролетели прямо по минным полям!» Выбрав якорь, катер тронулся к Керченской пристани. Несмотря на ранний час, на пристани у схода беглецы увидели бритого человека с тяжелым животом, одетого в чесучовый пиджак и в пробковый шлем «здравствуйте-прощайте»; это был немец из комендатуры. На чистом русском языке он потребовал предъявить документы. И вместе с ощущением большого счастья, что, рискуя жизнью, все-таки ушли от красных, в душе матери дрогнуло чувство унижения.

— Да-с, тело-то радуется, а душа-то болит, — уходя с пристани, кивнув в сторону немца, проговорил кавалерийский генерал, которому теперь уже не нужно было ни от кого скрываться.

На улице у пристани простонародная толпа; из нее кричат:

— Ну, как там в Новороссийске-то?

— Плохо в Новороссийске, — бросает Белов.

— Плохо? Тебе тут, под немцем, хорошо!

И где-то в душе рождается зависть к чувствам простонародной рабочей толпы, могущей пришедших в Россию немцев только ненавидеть. Но от перенесенного путешествия, волнений, недоедания, качки мать до того слаба, что еле дошла до первой гостиницы, легла и заснула.

XIX

В лазарете на окраине города, в старом липовом саду, я и брат лежим в сине-полосатых халатах. Какие-то газетчики пишут в ростовских газетах о нас как о «героях духа», «титанах воли», «о безумстве храбрых», о «горсти горящих любовью к родине», а в лазарете нет ни одеял, ни простынь, ни белья, вместо хлеба за обедом нам подают на блюде хлебные крошки и по пушенному подписному листу ростовское купечество собрало для нас... 476 рублей.

Сюда в сад все чаще приходят взволнованные женщины; это матери, жены, невесты, сестры; они ищут женихов, братьев, мужей, сыновей. Одни находят, другие узнают о смерти, третьи остаются в неизвестности, и все плачут, не в силах сдержать ни радости, ни горя, ни своей тоски. Ко мне подошла высокая девушка с тонким смуглым лицом и широкими блестящими глазами.

— Простите, вы не знали корнета Штейна?

— Штейна?.. Ннет... Господин ротмистр, — кричу я знакомому — подите, пожалуйста, сюда!

Как подстреленная птица, гусарский ротмистр прыгает к нам на костылях. Он, оказывается, хорошо знал корнета Штейна, но боевой гусар почему-то смутился и замялся перед девушкой.

— Я невеста корнета Штейна, — говорит она, — вы не бойтесь, я знаю, что он убит, я хочу только узнать все о его смерти.

И сначала растерявшийся ротмистр теперь рассказывает ей, как жених ее поехал в разъезд в Горькую балку, как разъезд этот выдала большевикам баба, у которой они заночевали, как большевики захватили кавалеристов и изрубили сонных, как потом, войдя в слободу, наши мстили за изуродованные трупы товарищей и расстреляли предательницу-бабу.

Блестящими, широкими глазами девушка глядит в цыгански загорелое лицо ротмистра, и по этим глазам я не пойму, что она чувствует, что вызывает в ней жестокий рассказ о судьбе ее жениха и зачем ей нужны эти страшные подробности гибели корнета Штейна. Ротмистр кончил, больше рассказывать нечего; он неловко что-то бормочет, раскуривая старую трубку. Девушка встала, благодарит, протягивая руку, стянутую белой перчаткой, и в аллее скрывается ее стройно колеблющееся очертание.

В лазарет пришла и моя мать, добравшаяся, наконец, до донских степей. Она готова к самому страшному: убиты. Старшая сестра в канцелярии перед ней листает перечеркнутые, истрепанные списки участников «Ледяного похода». Тонкий палец сестры с обручальным кольцом наконец остановился, сестра разбирает имена и, не поднимая головы, спрашивает:

— Роман и Сергей?

— Да.

Молчание.

— Оба ранены, на днях выписались на отдых в станицу Каменскую, — быстро произносит сестра, вставая и захлопывая книгу, и куда-то торопливо выбегает, кому-то что-то крича.

Когда, через день, я и брат вошли в гостиницу к матери, она, бросившись к нам, была в силах выговорить только:

— Нашла... нашла.

I

Неизвестный юнкер распахнул высокое красивое окно, в него врывается шум крушенья Киева, ржанье лошадей, перебаты выстрелов и украинские крики «Слава!». Это Киев, взятый Петлюрой. Это было, конечно, безумно: в разгар всероссийской гражданской войны пытаться уйти с полей междоусобицы. Но, уехав с Дона, я пытался стать в сторону; заняться под Киевом сельским хозяйством. И вот в числе трех тысяч сдавшихся Петлюре офицеров и солдат я сижу арестованный в киевском Педагогическом музее.

У меня, пензяка, нет никакого касательства к Украине. Но, как все офицеры, и я был мобилизован гетманом. Мы сражались на подступах к Киеву с сечевиками и гайдамаками; были убитые, раненые, зарубленные сонными в хатах у крестьян, сочувствовавших Петлюре. Теперь Петлюра въехал на Крещатик и ему поднесли шашку свежерасстрелянного генерала графа Келлера. А мы, сдавшиеся ему, сидим в музее в ожидании судьбы и хорошо знаем, что в революцию люди уничтожаются оптом.

По вестибюлю тяжело ходит задыхающийся русский генерал, ждет вступить в переговоры с победителями. Отовсюду накатывается стрельба. Вот совсем близко раздались азиатские крики и с лохмами выбившихся из-под папахи волос, весь ограначенный, с маузером на перевязи, как сама олицетворенная революция, в двери музея ворвался рябой, толстомордый солдат в желто-блакитных бантах. За ним такие же, на бегу щелкают затворами, блестят штыками. Они называются: черноморский кош. Русский генерал отброшен к стене, на него наставили штыки. Но с горловым криком «Halt!» кинулся подбористый немецкий лейтенант, похожий на молодого Шиллера. Его отряд рыжих баварцев предупредил революционную резню в стенах Педагогического музея.

Оружие сдано. В вестибюле встали два караула: сечевики Петлюры и сумрачные, в стальных шлемах, немцы, ничего не понимающие в украинской Мексике, но, даже

несмотря на свою германскую революцию, верные чувству солдатчины и дисциплины.

В постылом плену я лежу день и ночь на паркетном полу обширного зала. Перед музеем толпится толпа жен, матерей, сестер, невест. В вестибюль на свиданье к матери меня ведет увешанный целым арсеналом оружия гайдамак с нарочито запорожскими усами.

— Набалакались, — бросает гайдамак.

И, едва успев рассказать то, что хотела, мать уже скрывается за дверью в толпе убитых горем женщин. А гайдамак ведет меня назад в зал, чтоб я там лежал на полу. Мне тяжело. В эти оборванные минуты я узнал от матери, что среди всероссийских казней за покушение на Ленина в Москве в Керенске убит дядя, Михаил Сергеевич. От толпы ли лиц, от спертого ли воздуха, от недоедания ли у меня кружится голова. Штабс-капитан Саратов с лицом апаша, сидя на полу, перебирает гитарные струны и мягким баритоном поет:

Ходят пленные, как тени,
Ни отчизны, ни семьи.

И, сделав разухабистый перебор из минора в мажор:

Ах вы, сени, мои сени,
Сени новые мои!

Может быть, нас скоро расстреляют украинцы, а если не они, то наступающие с севера на Киев большевики, взяв город, расстреляют нас уже наверняка, но пока что капитан поет:

Черноморец, как хозяин,
Раскричится иногда.

И, сделав тот же перебор:

Что ты ночью бродишь, Каин,
Черт занес тебя сюда!

В углу зала, у полковника Калашникова, нашлись карты; там, по-турецки сидя, арестованные азартно режутся в «железку»; они забылись. А под высоким окном, возле пришедшей с воли сестры милосердия, хищной блондинки с шапкой золотистых волос, собрались кавалеристы и под общий хохот рассказывают ей соленые анекдоты.

Я, наверное, устал от войны. Все мне представляется сумасшедшим. И несвобода невыносимо тяжела. «Хорошо бы из этого человеческого месива вырваться сейчас в какую-нибудь беззвучную тишину, в поля, в леса, иль уехать бы лучше всего на Афон, в монастырь, и поступить там в монахи». Я ясно представляю медлительного, статного, с густо зачесанными назад волосами дядю, всегда с университетским

значком на защитном кителе. Арестовав, его вели из дома по Керенской площади, на которой он с детства знал каждую ложбинку; потом, наверное, заключили в острог, что всю жизнь белел напротив нашего дома и откуда по пятницам выводили арестантов убирать площадь. И когда большевистский керенский комиссар, бывший острожный сторож, тот что раньше, уходя в глубокий воротник чапана, недвижно сидел у полосатой будки и низко кланялся проезжавшему из управы дяде, когда этот темный сторож, по приказу Всероссийской Чека должен был в Керенске для казни выбрать десять «врагов народа», он сразу опознал «врага» в бывшем комиссаре Временного правительства, в образованном юристе, в председателе управы, в моем дяде, и приказал его убить в числе десяти. Их убили на большой дороге, у урочища Побитого, погнав пешком на Пачелму, будто бы «ехать в Пензу, на суд». Всю свою жизнь, ребенком с отцом, подростком из гимназии, студентом из университета, дядя ездил на тройке мимо Побитого. Их убили прикладами и штыками и, разноготив трупы, бросили в чащобе осинника у дороги.

Я в подробностях представляю это убийство: лицо дяди, крики, борьбу, изуродованное голое тело; и со дна души поднимается такая ненависть, что словно вижу, как я въехал бы с отрядом в Керенск, разыскал бы убийц и сам, как собак, расстрелял бы собственными руками.

Двое украинцев несут большое ведро с мутным пойлом. Это обед. Мы садимся в круг, я из-за голенища вытягиваю деревянную ложку и хлебаю. Так нас кормят раз в день и раз в день, под конвоем, унизительно выводят на двор оправляться. В первый же день, на дворе, заговорив с каким-то бородатым офицером, я узнал от него о судьбе полковника В. Л. Симановского: его самосудом растоптала на улице родных Кобеляк случайно проходившая через город украинская банда атамана Ангела.

Люди могут привыкнуть ко всему. Мы привыкли и к музею. Кому-то даже пришло в голову устроить концерт. Украинский комендант разрешил, и в громадной аудитории, под красивым стеклянным куполом, арестованные выступают. В первом ряду: сестры милосердия, украинский комендант, унылые, с споротыми погонами, наши генералы, караульные немцы в стальных шлемах и гайдамаки в великом многооружии. Позади — море заключенных.

Хор из арестованных чудесно поет лубочные солдатские песни:

Неприятель удивлялся
Нашей стройной красоте!

Хохочут и генералы, и гайдамаки, и комендант, и сестры, и арестованные, смеются даже немцы, всем весело. За песенниками выступает солист, из арестованных, бывший оперный певец, он по-собиновски нежно и легко поет арию Ленского «Куда, куда вы удалились...» На мгновенье он, наверное, забыл, где он, что он, кто его слушает; такова уж власть искусства. Бывший актер драмы декламирует «В шумном платье муаровом», а комик рассказывает смешные рассказы Аверченки. И, наконец, выходит арестованный с провалившимися глазами на страшном лице трупа, бывший циркач, факир-престидижитатор; он показывает действительно чудеса, без крови прокалывая свою голую грудь, ноги, руки.

— А вот если его расстреляют, врет, кровь потечет, — усмехается мой сосед по концерту, пожилой арестованный в серебряных очках.

Престидижитатора все наделяют шумными аплодисментами, особенно немцы; но, вспомнив свое ремесло, циркач увлекся и предлагает загипнотизировать зал, затопив все водой.

— Топи, топи, просим! — кричат арестованные. Но украинский комендант, быстро встав, запрещает: с наводнением не случилось бы чего нехорошего. За циркачом на сцену выкатывается кудрявый рыжий куплетист и, вихляя задом, под чечетку припеваает:

Эх, яблочко, куда ты котишься,
В музей попадешь, не воротиться!

Этим и кончается концерт. А ночью я вдруг привскочил от грохота, заколебавшего здание. Из высоких окон, дребезжа, летели стекла; казалось, рушатся стены, в страхе заметались вскочившие полураздетые люди. «Господа! По нас стреляют из пушек!» — в одних подштанниках кричит какой-то полковник. «Да, нет, это взрыв!» — кричит кто-то. Я сразу же подумал, что это адская машина; так чего ж метаться, кричать, бежать? Все равно некуда. Я опустил-ся с локтя на спину и лег, как лежал. Из аудитории, где еще вечером давали концерт, сейчас несут окровавленных людей; на спящих с такой силой рухнул стеклянный купол, что осколками пробивало не только тела, но и стулья. А в вестибюле, куда в эту декабрьскую ночь кто-то, подъехав, с автомобиля бросил адскую машину, лежат, как тряпочные, раскинув ноги, трое убитых часовых. Говорят, этот кто-то, вызвав панику, хотел расправиться с заключенными. Не вышло только потому, что караульные все-таки уцелели.

Провода порваны, электричества нет, темнота. Зал осветился несколькими свечами. В полусвете, гремя оружием, ворвались черноморцы. «Панове! Тихо, не то нагаями бить будем!» В пустые, бесстеклые окна несет снег, ворвался край отмытого черного зимнего неба. И из какого-то сказочного, древнего времени в сознание приходит: «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут». По полуосвещенному залу в направлении ко мне идет вооруженный до зубов невзрачный черноморец и, пристально вглядываясь в арестованных, указывает на некоторых и говорит идущим с ним приятелям: «Це убив бы... це убив бы... це убив бы...» Я понимаю, он выбирает наиболее ему неприятных: полковников с бакенбардами, как у Александра II, интеллигентов в золотых очках, корнетов в красных чикчирах. Сейчас парню не позволяют этого сделать немцы, но когда в Киев въедет чека, Лацис и Португейс разрешат ему «шлепнуть» всех, кто «триста лет пили народную кровь».

II

Из пустых рам приятно обдает снежным ветром. Одних увезли в Лукьяновскую тюрьму, другие освободились благодаря связям, третьи откупились деньгами и бежали. Нас, без связей, без денег, осталось человек пятьсот. Я заглядываю в выбитое взрывом окно, авось увижу какого-нибудь вольного? Никого. Снег, мороз, пустота. Вокруг музея два квартала опутаны проволокой. Под окнами в зале востер нанес снегу. Что с нами будет? Вряд ли что-нибудь хорошее. Но вот в этот полупустой зал, где гуляют сквозняки и под окнами лежит снег, вошел человек незаметной наружности. Он называется: командир украинского осадного корпуса полковник Коновалец. Он закричал, чтоб через час все были готовы к отправке.

— Куда?

На наши вопросы Коновалец не отвечает. Он — наша судьба. И всех облетает невероятный слух: полураздетых, голодных (хотим мы иль не хотим), нас вывозят в Германию. Я не могу себе этого даже представить. Но похожий на Шиллера немецкий лейтенант подтверждает, что именно он нас конвоирует до Берлина. И нет ни времени, ни возможности даже известить мать.

Я в солдатском бараньем кожухе, подпоясанном стертым ремнем, в седых разношенных валенках. Все мои и братнины вещи: жестяной чайник, две кружки, полбуханка хлеба, несколько кусков сахара. Но двери музея уже отброшены на-

отмашь, в них врывается холодный, кружащийся вихрь. По пустеющему залу шумят наши сапоги, шелестят валенки.

В улице нас охватывает темная тишина ночи, углубленная осадным положением. Под конвоем конных петлюровцев в снеговой тишине мы движемся к светящейся линии трамваев. Гайдамаки на круто вертящихся от мороза конях гарцуют с саблями наголо. Но ни на пешех, ни на конных я не гляжу. Этот сухой морозный воздух, эта ночь, этот скрип сапог по снегу, эти после неволи свободные движенья ног и рук сейчас мне дороже всего.

Конный гайдамак саблей подает сигнал и непонятно что-то вскрикивает по-украински. Мы влезаем в охраняемые гарцующими конниками трамваи. Они трогаются в темноте; катятся их зеленые, красные, желтые огни. Кавалеристы скачут все быстрее. Я вижу, рядом с окном еще на рысях летит темный конный, лица не видно, а его запаленный вороной конь высоко подбрасывает левую заднюю; «Попорчен, — думаю я, — шпатит».

— Коля, гляди, у нас в столовой огонь. — И, растирая замерзшее стекло, блондин прапорщик припадает к трамвайному окну, он впился в какой-то свой огонь, от которого его увозят. Мелькают столбы, дома, тумбы, улицы, снег и скачущие уже в галоп петлюровцы. Блондин-прапорщик волнуется, хочет доглядеть огонь в своей столовой. У меня давно уж нет моего огня. Куда я еду? Что чувствую? Черт знает что, ничего, что-то отвратительное. Эти киевские дома, эти улицы мне чужие, я гляжу на пеленающий их снег, вот этот снег только я, пожалуй, и люблю.

Трамваи остановились. Вокзал. На темной платформе зловеще чернеет строй солдат, нас ведут сквозь него.

— Эх, афицаришки бедные, тоже поди дома жана, дети, — тихо говорит голос из солдатского строя.

— А зачем против народу шли?

— От це гарний буржуйка! — смеется какой-то темный петлюровец, с издевкой показывая на толстого офицера.

По сорок человек мы лезем в черную пасть раскрытых скотских теплушек, нас запирают на замок. Я ощупью устраиваюсь в этом временном жилище, ложусь на солому, и мне кажется, что этот Киев, бой на снегу, концерт, взрыв в Педагогическом музес, эта ночь с поездкой в трамваях и то, что я сейчас почему-то лежу в безглазой темноте скотского вагона, — все это сон, и будто во сне кто-то идет вдоль состава, ударяя молотком по колесам. Но вдруг, разноголосо завыв, поезд рванулся, застонал цепями и сквозь ветер и метель пошел. Куда? В темноту России.

Дальше этой станции нет пути. Это Альтенау, Северный Гарц с вершиной Броккен, куда к ведьмам в гости на шабаш летали Фауст с Мефистофелем. Горный паровозик уперся в синий рассвет, за нами всего два вагона, остальные отцеплены, то-то ночью лязгали цепи и кто-то отрывисто кричал по-немецки.

Я выпрыгнул из вагона. Кругом все синее, мутно-синие горы, ели на горах, как из каленой стали. В этом курчаво синеватом тумане немецкий городок в три улочки кажется заброшенной в горы игрушкой; в долине еле видны его красные черепичные крыши.

После всероссийской стрельбы тишина Германии поражает и обволакивает душу. Этой тишине даже не веришь. Два немецких солдата-инвалида в заплатанных, но все ж аккуратных мундирах ведут нас под гору в Альтенау. Хорошо идти в горах в шестичасовом предутреннике. Мы спускаемся с кручи, ноги легко подсекаются. На гостинице, похожей на сказочный пряничный домик, прибита доска: «Здесь в 1777 году останавливался поэт Вольфганг Гёте во время своего путешествия по Гарцу». Вероятно, это было прекрасное путешествие. Цокая по камням деревянными туфлями, у колодца сошлись три краснолицых немки, без удивленья глядят на нас, за войну они привыкли ко всяким пленным. Тут они, вероятно, обмениваются сплетнями трех улочек и медленно расходятся скривленной под тяжестью ведер походкой.

Вывесившись на подложенных под локти подушечках, из странного старинного дома глядит уже проснувшийся алебастровый старичок с трубкой в зубах и чему-то болванчикообразно качает головой.

— Дождался, дедушка, гостей с музеем! — смеется, идущий со мной полтавский вартовый Юзва, украинский люмпен-пролетарий с лимонным лицом скопца.

За нами цокают деревянными туфлями немецкие мальчишки, кричат: «Русски капутцки!» Это замирающие крики войны. Но она уже немцами проиграна. С сосен и елей паром улетает туман. На полугорье у высоко обнесенного колючей проволокой дома проминается часовой с винтовкой. Нас вводят в калитку, и часовой повернул за нами ключ в замке.

Это бывший лагерь военнопленных офицеров; часовой, вероятно, принял нас за запоздалую партию пересыльных на родину. А я даже не знаю, кто мы? И кто нас, без всякого нашего волеизъявленья, привез сюда, в Северный Гарц? Провожавший до Берлина лейтенант с лицом Шил-

лера сказал, что мы вывезены желаньем одного немецкого генерала из главного командования в Киеве, понимавшего, что Киев будет взят большевиками и что большевики нас наверняка расстреляют. Что ж, надо признать, что этот немецкий генерал спас нам жизнь.

В зале первого этажа нашего лагеря стоит пианино, здесь в годы войны коротали вечера пленные русские, французские, английские, итальянские офицеры. Сейчас у пианино сумерничает костромич прапорщик Воронкин, аккомпанируя себе, поет сладким-пресладким тенором гаремного свнуха: «Да, то был вальс, старинный, томный... Да, то был дивный вальс...»

Я открываю окно в отведенной мне комнате и вижу сначала решетку, потом голубое небо в рисунке этой решетки и далекие синеватые горы. Моя комната наполняется горной тишиной. Я слышу голос Воронкина. И вижу, как на дворе от его пенья, у кухни, краснорукая рыжая судомойка Матильда, перестав чистить оранжевую брюкву, замерла в женской вечерней тоске; возле нее рубаха-парень, сибиряк, Еремсев; он охаживает ее, и Матильда, вздыхая, тайно из-под фартука дает ему кусок оленины.

В иглах сосен звенит ветер. На городок, на лагерь падают сумерки, филин плачет в далеких горах, часовой в заплатанном мундире топчется у ворот, мурлыча в усы песню, с которой когда-то ходил по Бельгии: «eine Flasche Rohtwein und ein Stückchen Brathen».

Тих горный городок Альтенау. Когда комендант разрешил нам выходить, я увидел все его несложное бытие. С проблеском рассвета, раскуривая старые трубки, с мешками на спинах, в толстоподметных башмаках дровосски и шахтеры едут на велосипедах на работу. У колодца горбун-пастух собирает стадо черно-пегих коров, нежно позвякивающих привязанными под шеей бубенцами, и под гортанные крики пастуха овчарка прыжками и лаем гонит все стадо по лесной дороге.

Жители Альтенау мрачны, неразговорчивы. Когда я отворяю дверь небольшого магазина, раздается дребезжащий звонок, звонящий так, может быть, сто лет. Из задней комнаты ко мне идет аккуратненькая старушка в белой наколке, в никелевых очках, она спрашивает, что я хочу. Но это по привычке, еще довоенный вопрос: в побежденной Германии купить можно только мусс из моркови и искусно сбитую из множества крошечных кусочков кожи подметку. Эту подметку я рассматриваю с любопытством, в ее мозаике заключена вся трудовая дисциплина этого народа.

С обрыва Вольфсвартэ над Альтенау я гляжу на клубящийся туманный Броккен, хожу вокруг по горам. Междустроевых елей поднимаюсь на Брухберг, разыскиваю водопады, но чем больше я гляжу на немецкую природу, тем сильнее мной овладевает странное чувство. Я с большим уважением оцениваю и сделанные декоративные водопады, и картинно разложенные валуны, и правильность строя насаженных сосен. Все это прекрасно, как вековое усилие народа, но волновать эта немецкая природа меня не может. Я знаю русский простор, ширь весенней Волги, туманные Жигули, разлив серебристого Дона, Кавказ, Днепр, гоголевскую Украину, тютчевскую Великороссию с берегами лесных речек и мордовскими дремучими лесами, я вырос в хаотической божественности русской природы. И вся эта, сделанная, немецкая мне узка и даже чуть-чуть смешновата. Конечно, я понимаю, что военнопленный Франц Зонтаг с точно такой же отчужденностью глядел на наши пензенские темные леса и растянувшиеся ржаные равнины и, вероятно, так же чуть-чуть тосковал. «Где он теперь? Должно быть, вернулся из Конопати к себе в Вестфалию», — думаю я, спускаясь с Брухберга в Альтенау.

IV

Когда в соседнем городке Клаусталь нас всех, вывезенных из Педагогического музея, соединили, поместив в «Гостинице Павлиньего озера», наша жизнь приняла фантастический оттенок, потому что тут мы начали получать английские посылки с продовольствием. И в тихом Клаустале, где когда-то хаживал Мартин Лютер, мы, гулявшие по его старинным улицам в островерхих папах, нагольных полушубках, кацавейках и валенках, у голодных немцев сразу же стали воплощением счастья, вызывая к себе уважение и зависть. Галеты, варенья, печенья, мясо, сосиски, шоколад, кофе, чай, сыры, туалетное мыло — все это в побежденной Германии было давно уже силой, покоряющей всякое воображение.

Киевского хлебороба Кривосапа немцы захватили в Клаустале в постели с двумя женщинами; ночью в лагерном бараке пришедшая полиция нашла сбежавшую от мужа немку в шкафу в комнате подпрапорщика Нескучайло; ежедневно в «Гостинице Павлиньего озера» рассказывали о невероятных происшествиях. Гостиница цвела пиршественным великолепием. Только, к сожаленью, многие наши по дурной

русской привычке запили, кто от потери жены иль детей, а кто просто так, от беспредметного надрыва славянской души.

В курильной комнате открылась «железка»; здесь игрецкая страсть опрощала все; ночь напролет тут царствовала даже не демократия, а разумная анархия. За карточным столом, рядом с кавалерийским полковником Любимским, одетым в коричневый френч с колодкой заслуженных в мировой войне босвых орденов, сидели гетманские вартовье Пузенко и Юзва, штабс-капитан Саратов в костюме французского матроса, александрийский гусар смерти ротмистр Кологривов, вольноперы, солдаты, офицеры в пестроте английского и французского обмундирования и в остатках русской военной формы, принесенной еще с полей войны.

— В банке сто, — сжимает колоду барскими когтистыми пальцами полковник.

— Ва-банк.

— В банке двести, — бросает он сквозь щетину подстриженных усов.

— Крою во вись, — дрожит над картой вартовый Пузенко.

— Та ж, Пузенко, державня варта! — скопческим смехом заливается его земляк, Юзва.

— Ваше! — И полковник кладет перед Юзвой колоду.

До горного голубого рассвета в курильной клубится табачный дым. Словно постарев за ночь, полковник с ненавистью взглядывает на кургузые нечистые пальцы Юзвы, мечущие банк.

А в зале, где днем стоят обеденные столы и устроена сцена, в углу прижался разбитый «Бехштейн». За ним в полутьме, со свечой, худенький брюнет играет скрябинскую «Поэму экстаза». Фамилия его неизвестна, все называют его паж, он очень молод, нервен, красив и любит только музыку. Но в «Гостинице Павлинъего озера», кроме маршей, нет нот, а паж по памяти играет только «Поэму экстаза». И когда одни спят, а другие режутся в «железку», паж ночь напролет играет на рояле и под его пальцами разбитый «Бехштейн» вспоминает лучшие времена. В эту лунную ночь он звучит прекрасно; по крайней мере, мне так кажется из барака, а может быть, это просто бессонница.

В соседней барачной комнате я слышу, как томский семинарист прапорщик Крестовоздвиженский шутит с сошедшим с ума жандармским полковником Кукушкиным. Не выдержав плена, два года назад в их комнате повесился французский лейтенант Морис Баяр. Ночью у Кукушкина и Крестовоздвиженского фарфоровое блюдо бежит по раз-

линованному листу, выговаривая: «Святые отцы молятся о вас и России, молитесь обо мне и Франции. Морис Баяр». В темноте за блюдцем крутятся столы, стулья, кровати, а поутру полковник Кукушкин под подушкой находит таинственное письмо, которое, счастливо улыбаясь, убегает читать в лес, за озеро, а Крестовоздвиженский катается по кровати, на весь барак хохоча густым семинарским басом.

Так уж водится: русские везде поют и пляшут. Не только в Педагогическом музее, но и в Клаустале поручик Матунько составил чудесный украинский хор, и каждую субботу в зале лагеря у нас дается концерт. Когда хор поет шевченковское «Як умру, так похороните», не только у нас, даже у наших гостей, клаустальских немцев, захватывает дух и навертываются слезы. Но, к сожаленью, этим программа не кончается. В балетных пачках на сцену выпархивает балерина, это кадровый капитан Мосин, единственный военнопленный, оставшийся в этом лагере с мировой войны. Не в силах сдерживаться, немки хихикают в руку, а мы знаем, что этот замкнутый, желтолицый, нелюдимый человек уже давно не в себе, что здесь, в «Гостинице Павлиньего озера», уже в годы войны он выказывал признаки душевного заболевания. В грязных пачках Мосин танцует умирающего лебедя. Это тяжелое зрелище, и слава Богу, что капитана скоро сменяет все тот же рыжий, порнографический куплетист с гитарой, что выступал еще перед взрывом в Педагогическом музее.

Под опеку взяла нас Германия,
Знать достойны ее мы внимания!

А наутро рассказывают, что, поссорившись за картами, штаб-капитан Саратов вызвал полковника Калашникова на дуэль, стреляться из винтовок, заложив в магазин по обойме и сходясь на сто шагов по клаустальскому шоссе; кто-то с трудом их помирил. Нсизменны причуды и Алексея Жигулина. В этом богатыре я любил красочную первобытность природы и безалаберную русскую дурашность. Но мне сго было жаль. Этому ярославцу-купцу торговать бы красным товаром в Ярославле, а он ни с того ни с сего попал в немецкую «Гостиницу Павлиньего озера».

У богатыря Жигулина светлые выпученные глаза, серебряные висячие усы и трещущая октава голоса. Однажды в воскресенье, когда клаустальские немцы в праздничных костюмах, с праздничными сигарами, под руку с женами, детьми и с собаками на ремешках пришли на обычную прогулку к Павлиньему озеру, Жигулин потряс их воображеньем, надолго заставив говорить о себе. Он появился возле озера в полушубке, в папахе, в высоких сапогах, нетрез-

вый. Как бы в забытьи, он встал перед озером, невыразительно глядя на его тонкую ледяную корку, и вдруг, закричав что-то дикое, непонятное, сел на берег и начал раздеваться.

Через минуту перед остолбеневшими немцами Жигулин уже стоял в чем мать родила и, диаконской октавой продолжая рычать всемирные ругательства, с размаху, ломая тонкий лед, ринулся в воду. Хохоча, покрякивая из воды, он шел саженками, напрямик режа широкое озеро. Его товарищи с платьем бежали на другой берег, крича: «Сейчас сдохнет!» Но блещущий стекающими струями, гогочущий, рыгочущий Жигулин не только легко вышел на противоположный берег, но еще больших трудов стоило уговорить его одеться.

Мировая война, революция, русская междоусобица, а в особенности эмиграция Жигулину были совершенно неясны. «У меня от всей этой завирухи такое, знаешь, братец, чувство, будто мне кутенок на сердце нагадил». — говорил Жигулин. У себя в Ярославле он понимал толк в ситце, сарпинке, миткале, успешно торгуя в своей суровской лавке, окруженный молодцами-ярославцами, а когда запирает лавку тяжелыми замками, то гонял по вечернему Ярославлю на рысаках, в которых тоже был знатоком.

Теперь, в Гарце, в клаустальской «Гостинице Павлинью озера», богатырь старался только забыться, залить все алкоголем; и когда в бараке ночью с хохотом гремел как-то песни о «денатурке», все знали, стало быть, у Жигулина кончился коньяк и, дымящийся, нетвердый, он веселится, хлеща с Червонцовым денатурат с плавающими в нем для вкусу перчинками.

«Алеш-ша! Возьми полтоном ниже!» — отвечает ему высоким фальцетом спившийся военный чиновник из Тулы Червонцов.

Любимский, Жигулин, Червонцов, паж. Саратов, Мосин, рыжий куплетист, Пузенко с Юзвой — это все горькая судьба русского народа, обломки от взрыва революции, перелетевшие через границы России.

V

Из Клаусталя апостольским хождением я ушел в путешествие по Гарцу, взяв направление на юг, на Нейштадт, куда с эшелонем эмигрантов из Киева приехал мой однополчанин по мировой войне Кирилл Ивановский.

Перевалив горную цепь «Auf den Acker», я вышел в перемежающиеся полями лесные долины Южного Гарца. Обдавая собачьим запахом, цветут желто-розовые каштаны, сладостью дурманит белая акация; Южный Гарц мягче, нежнее Северного, от воздуха которого режет легкие. В горной деревушке Рифенсбек, отдыхая в стареньком ресторане, я пил пиво военного времени, безалкогольную безвкусную воду. Хозяйка с завистью смотрела, как в ее пустом зале я ел давно не виданное консервное мясо и белые галеты. По костюму она приняла меня за англичанина и молчала, но, узнав, что я русский, старушка сразу встрепенулась, подседа к столу, взволнованно спрашивая, когда же теперь вернется ее пленный сын, работавший в годы войны в России на Мурманской железной дороге, от которого вот уж два года нет никаких вестей. Я знал, что на этой стройке погибли многие тысячи немцев, но успокоил старуху, как мог, и пошел дальше, один, по горам, по долинам, к вечеру дойдя до Нейштадта.

Деревня Нейштадт приткнулась у подножья горы, под мшистыми развалинами средневекового замка. Тут, в русском лагере, я и нашел моего однополчанина Кирилла Ивановского. Он встретил меня у ворот. Но так уж всегда бывает, что встречи давно не видавшихся друзей оказываются затрудненными. Мы не знали, с чего начать говорить, отыгрываясь на полковых воспоминаниях. В передней лагерного зданья я увидел какие-то выстроенные рядами длинные палки.

— Кирилл, что это за бамбуки? — спросил я.

— Это кавалерия, — улыбаясь, ответил Ивановский.

— Какая кавалерия?

— Это по приказу генерала Квицинского, для кавалеристов.

— Так это лошади? — засмеялся я в восхищении.

— Нет, это пики.

Когда ж я с Ивановским заговорил, что в гражданской войне больше участвовать не буду, что в ней для себя места не нашел и искать не хочу, Ивановский не то что не понимал этого, а просто не хотел об этом думать. Ему уже было все все равно. Это был не тот остряк, хохотун, весельчак Ивановский, любимец полка, это был потерявший всякое душевное равновесие, разбитый войнами человек.

— Если ты не поедешь, что ж ты будешь здесь, в Германии, делать, — неохотно говорил он, — тебя ж лишат лагерного довольствия?

— Да я только и хочу уйти из лагеря, уйду к немцам, буду работать.

— То есть как работать?

— Да как угодно, батраком, рабочим в городе, на любую работу.

— Ах, это все твоя романтика, — затягиваясь папиросой и пуская медленные дымы, цедил Ивановский, — я хоть тоже теперь ни в какую белую армию не верю, а черт с ними, поеду, куда ни повезут.

Так мы и расстались. Ивановский, как и Жигулин, попал на новый фронт русской гражданской войны, в Архангельск, где покорявший север России коммунист Кедров, после поражения белых, грузил пленных на баржи и расстреливал их из пулеметов. Не менее страшно погиб и другой мой друг, одаренный рыжий Борис Апошнянский, лингвист и востоковед. Он ходил по Клаусталю с вечно дымящейся трубкой, профессорски рассеянный, грязный и, совершенно не имея музыкального слуха, всегда напевал на мотив вальса «На сопках Маньчжурии» две строки собственного сочинения: «Дорога идет цум Кригсгефангенлагер». К войне он был неприспособлен, политикой совершенно не интересовался, даже газет не читал, а поехал из Германии опять в русскую гражданскую войну только потому, что везли через Англию, а он говорил: «Сам не знаю почему, но с детства мечтаю взглянуть на Англию». И после того как он «взглянул на Англию», взбунтовавшиеся солдаты армии Юденича в паническом отступлении от Петрограда подняли его в числе многих других офицеров на штыки; а он хотел жить и умел любить жизнь.

Из Нейштадта в Клаусталь я возвращался другой дорогой, по «тропе Гёте» поднялся на Броккен, но на Броккене большой ресторан и никакого следа ни ведьм, ни Фауста с Мефистофелем. С Броккена я стал спускаться вниз к Клаусталю. Была ночь, была темь, где-то плакал филин. Через шесть часов черного пути я устало подходил к «Гостинице Павлиньего озера», где паж играл ту же «Поэму экстаза», Жигулин с Червонцовым «изображали спиртовку», капитан Мосин танцевал умирающего лебедя, украинцы пели «Заповит», а полковник Любимский понтировал против горящегося и жадного Юзвы.

VI

Гельмштедтского лесоторговца Кнорке я и брат ждали на дворе, сидя на бревнах. Так, бывало, у нас в Конопати нанимавшиеся мужики ждали управляющего именем дядю

Володю, отставного офицера, брата отца. Нанимался я на работу впервые и волновался, когда из балконных дверей вышел толстый немец с мясистым лиловым носом и дряблыми, отвисшими щеками. Кнорке вышел медленно. Недружелюбно оглядев нас, он крикнул с тем оттенком пренебрежительности, как кричал мужикам и мой дядя.

— Давно работаете на лесных работах?

— Недавно, — ответили мы и точно так же, как наши конопатские мужики, почему-то поднялись с бревен.

— Русские? — грубо спросил Кнорке и улыбнулся, приоткрыв золотую челюсть. Я понял эту скверную улыбку только тогда, когда лающе, будто подавая команду, Кнорке прокричал: — Как иностранцам, по тарифу платить не буду, хотите сдельно, по две марки с метра? Поняли? — И, не дожидаясь ответа, лесоторговец показал нам свою толстую спину и гладко остриженный, скалообразный затылок.

Еще ребенком из окна детской я видел, как от нанимавшихся мужиков почему-то всегда вот так же, не дожидаясь ответа, уходил и мой дядя, одетый в зеленую поддевку и высокие сапоги, а мужики у бревен начинали тогда бормотно переговариваться меж собой и чесали затылки. Сейчас мы с братом так же бормотали, переговариваясь.

А в шесть утра в сосновом бору под Гельмштедтом приказчик-немец, верткий старичок с валленштейновской бородкой и серебряной цепочкой на вытертом бархатном жилете, отводил уж нам на порубе участок сваленных сосен, лежавших в голубой глубокой росе.

— Гутен морген! — кричит с соседнего участка дровосек.

Согнувшись над мачтовыми соснами, мы оголяем скрябками белизну их стволов. Кнорке нанял нас по-деляцки, приказав поставить на давно сваленный участок, где немцы не станут работать и за двойную плату. У этих сосен кора присмолилась, скрябка не берет, срывается и на порубе летят наши ругательства, поминающие всех родителей гельмштедтского лесоторговца.

Но вот на дороге задребезжали по корням колеса. И из-за поворота вынырнула голова белой лошади. Одетый в светло-серый костюм Кнорке объезжает в шарабане участки. Возле нас он натянул вожжи, передал их сыну и тяжело зашагал через сосны. По походке я вижу, что он уже стар, артериосклероз делает свое дело.

— Морген, — бормочет он, тяжело переводя посвистывающее дыханье. Он встал позади брата: мутноватыми гла-

зами следит, как двигается в его руках скрябка. Потом встал позади меня, и я ошущаю, как неприятно из-за куска хлеба драть сосну под взглядом твоего хозяина. Я чувствую глаза Кнорке на моих лопатках, бицепсах, пальцах. Но я не хочу испытывать этого рабьего состоянья и только поэтому разгибаюсь и ставлю скрябку стояком в сторону. Я оттираю пот со лба, медленно из-под сосны достаю бутылку и начинаю пить из горлышка. Отпив, передаю брату. Мы нарочно перебрасываемся русскими фразами, а Кнорке цепко глядит то на нас, то на полуободранные сосны, которые он торопится гнать в Гамбург.

Когда я взялся за скрябку, услышал удаляющиеся тяжелые шаги старика; Кнорке уходил к шарабану, где пофыркивала и от мух мотала головой его белая кобылка. «Хорошо так, утром, ехать по лесу в шарабане, — думаю я, обдирая сосну. — Вот я так и ездил у себя в Конопати, только моя вороная кобыла Летунья была много резвее этой стриженной лошаденки, да и шарабан был не этому чета».

В углу поруба брат наткнулся на свежесваленные балки, зовет туда. В свежесваленную сосну приятно врезаться, кора взлетает с нее легкими, выющимися лентами. Обдирая эти сосны, я думаю, что, кто знает, потеряв Россию, может быть, я вот так и останусь на всю жизнь чернорабочим в Германии у лесоторговца Кнорке и буду проводить тогда в лесу по десять, двенадцать часов в день, в голове будет все меньше мыслей, в душе все меньше сложных чувств, ибо ничто так не отупляет человека, как мускульная работа. Конечно, взамен этого я приобрету навык дровосека, научусь валить деревья, на глаз узнавать, когда срублена сосна и сколько в ней метров, буду обдирать сосны в три раза быстрее. Но после трудового дня я буду хотеть только есть и спать, а на рассвете опять пойду в лес обдирать сосны. В сущности, тогда я перестану *быть человеком*, я стану некой такой человеко-вещью, скрябкой с двумя руками и двумя ногами, которая будет жить почти только для того, чтоб работать на лесоторговца Кнорке: в этом и будет состоять *моя жизнь*. Во мне, конечно, будет нарастать озлобление против отнимающего мою жизнь лесоторговца. И это озлобление приведет меня, наверное, к борьбе. К какой? Ну, конечно, к той самой, классовой, о которой пишется во всех социалистических брошюрах, но которую я сам еще никогда не испытывал на своей шкуре.

Сам себя мысленно спрашивая, я чувствую, что улыбаюсь: и так, стало быть, жизнь перекроит бывшего корниловца в революционера-пролетария? Конечно. Жизнь

мудра и не терпит пустот. Это сейчас я живу в состоянии, так сказать, неустойчивого равновесия: бытие пролетарское, а сознание барское, а когда я останусь в лесу навсегда, жизнь, разумеется, уравнивает сознание с бытием.

Тусклое металлическое солнце медленно опускается за лес, и когда его красные языки перестают мелькать меж деревьев, я выпрямляю уставшую за день спину, поднимаю с земли мешок и по-рабочему медленно, на плече со скрябкой, ухожу лесом в Гельмштедт.

VII

Тихи гельмштедтские вечера, тихо шелестят вековые липы, затенившие русский эмигрантский дом, под липами тихо гуляют светские русские старушки, меж собой тихо французя. Тучный владелец дома, немец Гербст, крепко расставив тумбообразные ноги, стоит на крыльце своего ресторана, насупленный и недовольный французским языком. Он даже сделал бы старушкам замечание, но сегодня начальник эмигрантского дома, полковник Делягин, уплатил ему за зал, где устраивается русский вечер, и он только окрикнул подбежавшую было к дамам свою овчарку. Старушки вздрогнули, но опять тихо пошли машерить под липами, за вязаньем рассказывая, что пишет в Берлине русская газета «Призыв».

Опираясь на палочку, по аллее от русского дома, ссутулившись, идет небольшими шажками камергер высочайшего двора, бывший заведующий капитулом орденов В. П. Брянчанинов. В прошлом старик был близок к царю. У него тонкое, породистое лицо, курчавящаяся, растущая из-под шеи седая бородка и опадающая нижняя челюсть. Наперерез ему из-за лип выбегает стремглав коротенькая девушка Маша в вязаной красной кофточке, резко обтянувшей ее груди; за ней гонится корнет Иловайский, и Маша кричит: «Корнет, оставьте, корнет, не смейте!» — а по голосу слышно, что Маше хочется, чтоб корнет и смел, и не отставал. Возле дома движется восьмидесятилетний, прямой, даже статный генерал Ольховский, бывший командующий войсками Петербургского округа. Кто только ни живет в эмигрантском доме. Иерей из Владимира на Клязьме, отец Иоанн, в черной рясе гуляет по гельмштедтской дороге, говорит он сильно на «о», и ничто немецкое ему не нравится. «Был я и в ихней столице, ну и что же? Разве ж жалкое Шпре («е» отец Иоанн произносит резко по-русски)

в состоянии сравниться с нашей порфиросной Невой?» И в своей тоске целыми днями метет отец Иоанн пыль шоссе-сеиных дорог, уходит и в лес, вспугивая там диких коз. А когда эмигранты, с котелками и кастрюлями, становятся в очередь за обедом у кухни, здоровенные немецкие девки, разливая суп, неизменно фыркают перед батюшкой; им чуден мужчина с женскими волосами; но батюшка не обращает на них внимания. Рядом с ним в очереди всегда стоит невзрачный штабс-капитан Тер-Гукасов из Кутаиса, который ежедневно, получая суп, уныло всем говорит: «Раньше-то, вестовой подаст, уберет, а теперь... — и, вздыхая, грустно шепчет: — Погибла бедная Россия...»

В трех этажах эмигрантского дома много эмигрантов. Но все дамы с пренебрежением сторонятся простоватой жирной Анны Ивановны Куклиной. Она не интеллигентка, не буржуйка, не княгиня и сама не понимает, как случилось, что из Одессы попала в Гельмштедт. «Не знаю, зачем ехала, пьяную французы вывезли, вот теперь и хожу недовольная», — говорит вялая, одстая в неряшливый капот Анна Ивановна. У Анны Ивановны одно удовольствие: «Ох, пристиж что-то коньячку выпить». — И, подмигнув, она пробирается в ресторан за рюмкой дешевого «корна». Осуждая это пристрастие Анны Ивановны, ее хоть и снисходительно, но усовещивает бывший чиновник канцелярии тамбовского губернатора Н. А. Егоров. У Егорова на двери кнопками прижата немецкая визитная карточка: «Н. А. фон Егоров». Этот милый, аккуратненький старичок всю жизнь мечтал дослужиться до личного дворянства и, перед революцией дослужившись, не в состоянии даже здесь, в Гельмштедте, расстаться с достигнутой целью жизни, хотя над его «фон» и подсмеиваются приехавшие из Парижа спесивые светские супруги де Обезьяниновы, которых «шокирует» живущий рядом с ними бывший военнопленный, вятский народный учитель, в плену сошедший с ума, И. Р. Плушкин, уже два года как созидаящий новую конституцию Российского государства, по его мнению долженствующую положить конец всему нестроению родины.

Рядом с эмигрантским домом — барак, где живет молодежь. В коридоре барака я и брат смешиваемся с друзьями, пришедшими с соляных шахт, обмениваемся приветствиями. Все мы, человек десять, студенты, войной переделанные в офицеров и эмиграцией еще раз переделанные в шахтеров и дровосеков. Но это не так-то просто из потомственного интеллигента перейти в чернорабочие. Приятель, прапорщик Курносов, магистр математики московского

университета, попробовал работать на соляных шахтах; мастер дал ему лампу, кирку, посадил с рабочими в клетку и бросил в галереи на семьсот метров под землю. Он должен был взрывать соль, наваливать в вагонетки, везти по рельсам, опрокидывать вагонетки и снова взрывать, везти, опрокидывать; но в первый же день, не дождавшись еще свистка, Курносов поднялся из шахты и, придя домой, лег на постель, а вечером объяснял:

— Физически работа нетрудная, могу, но психологически никак. Как только представляю, что надо мной до поверхности земли пласт в семьсот метров — конечно, не могу. — И Курносов сам над собой смеялся.

В барачной комнате гудит печь-колонка. Почистив картошку, я поставил котелок и варю нам ужин. Я достал три картофелины, в побежденной Германии эту роскошь мне из-под полы продала старушка крестьянка, сказав: «Alle Menschen wollen leben, alle Menschen wollen Kartoffel essen». Я сижу за столом, записываю подсчет заработанного за неделю; брат тоже подсчитывает свое; это когда-то, в Москве, я проводил вечера у лампы за философией греков, за поэзией символистов, за «Уединенным» Розанова. Теперь «читать» я и не хотел бы просто потому, что за время войны отвык от этого занятия, да и не могу, потому что за день слишком устаю от обдиранья сосен. Подсчитав заработанное, я лежу, глядя на нашего сожителя по комнате, штабс-ротмистра Белецкого, он смиренно сидит на кровати и в тихом помешательстве прогрессивного паралича портняжными ножницами режет свою бекешу.

— Что это вы шьете, Белецкий?

Не отрываясь, он тихо говорит:

— Долман шью.

Разгоревшаяся печь гудит, как мотор, ярим пламенем пылают опадающие сосновые поленья. Сейчас во всех беженских комнатах время еды, и я слышу, как в соседней полковник Беличко кричит на француженку-жену: «Я не собака! Я не могу есть без гарнира!» «Salaud!» — взвизгивает жена, и голос полковника переходит в приближающийся к жертве шепот.

По бараку стегает крупнокапельный дождь, застыла окна мокрой кисеей. Над бараком шумят вековые липы. В другой комнате, готовясь к сегодняшнему вечеру, киевлянка Клавдия, заломив красивые руки, декламирует: «Я думала, что расцвели яблони, а это выпал первый снег... Петро, — обращается она к вернувшемуся из шахты мужу, — вы ждете, чтоб я варила ужин? Можете не ждать, этого не

случится». И слышно, как с тяжелыми ругательствами, бросив наотмашь дверь, муж уходит к соседям.

Клавдии двадцать три года, у нее глаза цвета дождевой тучи, она обольстительна; в эмигрантском лагере она умирает с тоски, не желая становиться «женой шахтера». «Коля, я маленькая, я хочу сказок! — ломается Клавдия перед вошедшим корнетом Иловайским. — Вы не знаете Северянина? Вы ничего не знаете, Коля, вы неинтеллигентны. А у него есть чудесные стихи про крылатую яхту: «Мы вскочили в Стокгольме на крылатую яхту! На крылатую яхту, из березы карельской!» Только наша яхта была совсем не крылатая, а противная, и садились мы не в Стокгольме, а в Севастополе!»

Иловайский пришел от Маши. Маша на него рассердилась и сейчас, чтоб успокоиться, неровными быстрыми движениями прибирает свою комнату и, обертывая электрический рожок в розовую бумагу, сердито мурлычет высоким сопрано:

Мне хочется любви
Неясной, как мечтанья...

— Завела, фрейлейн, стучит в доньшко, — смеются барачные соседи Маши, Бог весть как залетевшие сюда пять военнопленных солдат мировой войны.

Под секущим дождем, стекающим с осенних, пахнущих сыростью лип, сжавшись под зонтиками, эмигранты бегут на вечер, в ресторан Гербста. Мужчины собрались вовремя; вспомнив старое, дамы пришли с запозданием, некоторые даже посылали детей узнать, пришла ли та, после которой она хочет войти; но в начале десятого весь русский эмигрантский дом уже в сборе.

Светские дамы, в черных платьях, с кольцами на пальцах, говорят вовсе не о гороховом супе, о дровах, о печках, а ведут словно только что прерванный разговор о Петербурге, о Родзянко, о здоровье великого князя Николая Николаевича, о наступлении генерала Юденича на Петербург, о том, что beau frere Ксении Петровны ведет на Гатчину кавалерийскую дивизию.

Мешаясь с дамами, за столы сели ушитые шевронами корнеты армии Бермонда, стройные, как женщины, тоже в браслетах, в кольцах, со шпорами. Вечер открывает ведущий эмигрантским домом полковник Делягин произнесением вступительного слова и затем объявляет, что корнет Иловайский сейчас прочтет свое стихотворение. Корнет, идя к эстраде, позвякивает шпорами, с эстрады говорит, что это ошибка, что стихотворение не его, а французского

поэта Сюлли-Прюдома в переводе Апухтина, но оно очень красиво, и он его прочтет; и он читает «Разбитую вазу».

В зале тишина. В углу за дальним столом сидят пятеро военнопленных солдат. Раскрыв рот, невыразительно, непонимающе слушает корнета Иловайского солдат действительной службы сибиряк Луновой, попавший в плен под Танненбергом. В былом ряжский стрелочник, унтер-офицер Болмасов с смущенным смешком потупил глаза в толстую чашку. Корнет же, декламируя, смотрит на Машу, а Маша от его шевронов, от розеток на узких сапогах, от шпор, от глаз с поволокой не знает, куда деваться.

— Противно, — говорит Клавдия, — какие-то глупости про разбитое сердце.

Но раздаются аплодисменты, и полковник Делягин объявляет следующий номер программы.

— Сейчас дорогой Валериан Петрович Брянчанинов любезно сыграет нам наш прежний и, надеемся, будущий петербургский парад войскам.

По залу пробегают легкие аплодисменты. Под них седой камергер дрожащей походкой поднимается на эстраду и говорит, кланяясь и улыбаясь:

— Господа, я не буду сегодня играть ничего серьезного, я хочу сыграть то, что приятно каждому русскому сердцу: мою импровизацию «Парад войскам Петербургского гарнизона».

По ресторанным столам еще раз пробегают аплодисменты. Камергер сел за рояль, из-под старческих рук метнулись бодрые и сильные аккорды. Но вот: «Преображенцы», — говорит в паузу Брянчанинов, и, трудно аранжированный, бьется, летит по залу Преображенский марш; «Семеновцы», — кричит он, марш летит упругими гуттаперчевыми звуками, старик склоняется к роялю, улыбаясь, вероятно, воспоминаниям. В туче звуков раздается генерал-марш, «Кавалерия», — кричит камергер, и перед ним на гнедых конях гарцует конная гвардия; но вот: «Артиллерия», — кричит Брянчанинов, он раскраснелся, взволнованно откидывается корпусом влево, артиллерия в левой руке гудит по мостовой орудиями, и гул ее сливается с общим заключительным маршем и с аплодисментами зала.

Встав, камергер прижимает бледную, уставшую руку к сердцу, кланяясь легко и элегантно.

— Устал, — говорит он.

В зале общее движение антракта, шуршанье платьев, шаги, смех, голоса.

— Valse générale — в общем шуме, дирижирует полковник Делягин и на некрашеном досчатом полу ресторана шестидесятипятилетний генерал Юрлов с старушкой, бывшей фрейлиной Ланиной, открывают танцы вальсом в три па.

— Grand rond s'il vous plaît!

Вальс сменяется мазуркой «Под тремя коронами», ее играет старик Брянчанинов, а дамы восхищенно смотрят, как в первой паре полковник Делягин танцует с Клавдией; он то быстро плывет мелкими шажками, то приостанавливается, притоптывает в углу залы и, выйдя на прямую, опять стукнув ногой об ногу, лихо несется первым па.

Мазурка гремит, пока с кухни не вбежала кухарка-немка, закричав:

— Русская барышня отравилась!

Старый камергер не слышит, играет, улыбаясь, мазурку, но дамы вскрикнули, корнеты бросились к двери, впереди всех с искаженным лицом бежит Клавдия. Отравившаяся лежала на полу грязной барачной комнаты без сознания, иссиня-бледная, известковая; стол повален, разлетелись чьи-то разорванные письма. На полу валяются «Четки» Ахматовой.

VIII

На сыром, до костей пробирающем рассвете, с мешком за плечами, в руках с наточенной скряжкой, я уже иду по лесу на работу, когда бывший заведующий капитулом орденов В. П. Брянчанинов, несчастная Клавдия, аккуратненький фон Егоров, полковник Делягин, спесивые де Обезьяниновы, запьянцовская Анна Ивановна, бывший командующий округом генерал Ольховский, умопомешанный учитель Плужкин, отчаявшийся отец Иоанн, все корнеты, все дамы, все эмигранты гельмштедтского дома еще спят под шелест осенних лип.

Отдых мой только в воскресенье. Как всякий чернорабочий, я живу, собственно, только один день в неделю. Но зато с необычным чувством животного удовольствия я просыпаюсь в воскресное утро. Правда, все воскресенья я провожу одинаково и несложно, как проводят их чернорабочие: отсыпаюсь, не торопясь моюсь, спокойно ем и весь день приятно чувствую свое отдыхающее тело. А к вечеру, чисто одевшись, с приятелями ухожу в деревню Бендорф, в ресторан «К зеленому венку», где собирается рабочая

молодежь в дыму дешевых сигар пить пиво и под тренькающую музыку старых клавесин танцевать модный после войны шиббер.

IX

В Берлин я приехал, когда столица Германии под союзной блокадой сохраняла еще весь свой военный вид. Как древнеязыческое изваяние у аллеи Побед вздымался исполнинский деревянный монумент фельдмаршала Гинденбурга. В годы войны за плату в десять пфенигов немцы вбивали в него гвоздики, покрывая монумент броней железных шляпок; от горла и до колен богатырский фельдмаршал был уже сплошь в броне.

Иногда по Унтер ден Линден с отчаянным грохотом проезжали редкие автомобили на железных ободах; резиновых шин давно не было. Магазины пусты, люди бедны, лица немки в уличных очередях, прозванных «полонезами», унылы. У побежденной страны нет даже государственных границ, их только что создают. Берлин словно умирал, дрожа на ветру.

Я поселился в его рабочей части, у Штетинского вокзала, в тяжелом городском безвоздушьи, среди вечного лязга, грохота, криков, где днем на улицах толклись безработные, а ночью высыпала бесчисленная армия дешевых проституток.

Но вскоре же после моего приезда, выйдя однажды утром за газетой, я был поражен необычайной сонной тишиной города. Так же в «полонезах» стояли немки, так же тарахтели редкие бесшинные автомобили, но город был полон странной, внушающей тревогу тишиной; и, наконец, от седовласого, беззубого газетчика я узнал, что этой ночью правительство бежало в Дрезден, когда в пролет Бранденбургских ворот неожиданно вошла «железная бригада» капитана Эргарда; это был Putsch заговорщиков «Свободы и действия», Каппа и Лютвица.

От нечего делать и я пошел в центр города, все явственней чувствуя в этой странной тишине разливающееся немецкое медлительное волнение. Есть что-то затягивающее в волненье больших городов. Вспоминая некрасовское «...зато посмеивался в ус, лукаво щуря взор, знакомый с бурями француз...», я шел в толпе. На Шлосспляц кепками, шляпами, котелками уже переливается толпа. Я знаком с самой страшной бурей, русской, и в этой немецкой мне чудится ее отголосок, хотя музыка ее совершенно иная.

Над Унтер ден Линден в лучах солнца парят аэропланы заговорщиков, дождем сбрасывая вниз листовки. Ощетившимися дикими зверями толпу медленно разбирают броневики «железных ребят» Эргарда. Но город все-таки мирен; звонят идущие трамваи, у вокзала на козлах пролеток дремлют еще довоенные старики извозчики. Какой-то разъяренный пивник с закаченными по локоть рукавами кричит окружившей его толпе о зачинании новой войны с Францией. В его сторону смеются всю войну провоевавшие рабочие; но ничто не переходит границ уличного возбуждения, словно немцы и здесь ждут приказания. И к ночи от бежавшего в Дрезден правительства получен приказ всеобщей стачки; он застал меня на ночной Фридрихштрассе, в той же толпе, и я увидел, как, по команде, Берлин погас, лег и умер. Теперь напрасно, упираясь то в звездное небо, то бегуще скользя по матовости далекого асфальта, шарят мощные прожекторы заговорщиков. «Железные ребята» на грузовиках напрасно бороздят красными факелами черные улицы; Берлин не встает, умер, и вместе с ним по команде всеобщей забастовки умерла вся страна.

А к утру столица уже гудит поднимающимся тяжелым волнением. На моей Инвалиденштрассе неизвестно, кто рыл окопы, но она изрыта, забаррикадирована, по углам пулеметные гнезда. Заборы Шоссештрассе пробиты, в их дыры выглянули узкие собачьи морды пулеметов. Ни воды, ни света, ни движенья, ни хлеба, ни угля — ничего нет в Берлине. И из рабочего Нордена катится гул разжигаемого Москвой восстанья спартакистов; говорят, Москва против Веймара играет на обе руки, поднимая и «железных ребят», и красных.

По улицам, ставшим пустыми и необычайно длинными, текут миллионные толпы. Я иду в толпе. Чего я не видел? Устал от виденного. Но страшная вещь толпа, и я чувствую, как этим миллионным топотом ног, этим океанским стихийным движеньем она заражает меня, хоть эта немецкая толпа и совершенно несхожа с русской человеческой лавой. Немцы идут без слов, строем, в ногу, глаза опущены в пятки идущих впереди, по команде трижды вскрикивают «Hoch!» и трижды «Nieder!», но ногу подсчитывают, не сбиваются, заботливо обходя встречные газоны, цветники, сады; недаром эту немецкую стихию так ненавидел апостол русского революционного разрушенья Бакунин.

Фридрихштрассе, Люстгартен, Унтер ден Линден, Шлосспляц — все запружено никогда здесь не бывающими рабочими, над ними красные полотнища, лозунги социал-демократов, профсоюзов, коммунистов, католиков, и бок о

бок в толпе едут тут же на грузовиках с вьющимися бело-черными прусскими штандартами «железные ребята», крича Эргарду трижды «Hoch!», а Эберту трижды «Nieder!».

«Pfui, pfui!» — свищет толпа, но никогда никто очертя голову не бросится на грузовики, не сомнет их в драке, как рванулась бы наша несдержанная в страстях славянская толпа Москвы, Пензы, Калуги. Сброшенных с аэропланов листовок уже по колено, люди ходят, весело шурша бумагой, но ночью с огнедышащими красными факелами все еще ездят на грузовиках солдаты Эргарда, не уставшие от четырехлетней войны и желающие новой; правда, их факелы тонут в беспросветной темноте.

И вдруг в моей комнате, задохнувшись, из водопроводного крана брызнула вода, нелепо вспыхнуло среди дня электричество, а за окном зазвенели стоявшие в обмороке трамваи. Что случилось? Это «железная бригада» капитана Эргарда отмаршировала назад в Деберитц, а правительство Эберта возвратилось в Берлин, дав немцам команду: работать! Из германских берегов реки без приказанья не выходят.

Городские служащие подметают, убирают от листовок улицы. Берлин принимает свой деловой вид, будто ничего и не было. По Унтер ден Линден уже бездельно гуляют фланеры; торопясь на службу, девушки мурлычат модную песенку «Твои темные глаза, как два каштана»; в пивных какие-то бисмарковские старики пенсионеры пьют пиво и ругают правительство; подземная дорога, словно выплевывающая, выбрасывает немцев по всему Берлину.

Х

Голодная, продрогшая, в туфлях, сшитых из лоскутов какого-то ковра, оставшаяся в Киеве моя мать ежедневно выходила на Еврейский базар, чтоб у приезжих окрестных крестьянок выменивать скатерть, простыню, полотенце на какую-нибудь еду. Это страшная первобытная эпоха военного коммунизма. В Киеве властвовал террор и сплошной голод. На Еврейском базаре шла древняя меновая торговля. Сытые краснощекие бабы-хохлушки из подкиевских сел и скупые на слова мужики за картошку и хлеб брали у горожан юбки, обивку с кресел, зеркала, гардины, графины, стулья, ножи, столы, даже ночная посуда и та шла в деревню. Так, чтобы жить, торговал весь когда-то богатый город, так торговала вся Россия. И те, у кого оставались еще силы, подсмеивались над всеобщим торжищем, говоря, что

это и есть «национализация торговли», когда вся нация торгует.

Правитель Украины Раковский жил во дворце миллионера Могилевцева, и на его парадной лестнице были установлены пулеметы. Перед зданием чеки часовые сидели в национализированных буржуазных креслах. Киевские школы были без учителей, больницы без лекарств, мастерские без инструментов, магазины без товаров, дома без отопления, у жителей были хлебные карточки, но не было хлеба, и обитатели многоэтажных домов стояли во дворах в очередь к единственному водопроводному крану, чтобы получить хоть немного воды.

В прекрасных киевских садах и парках деревья рубили на дрова. Город обезобразился гипсовыми бюстами Ленина. Изнуренные террором, голодом, сыпняком, киевляне ходили с тупо-испуганными лицами. Киев стал коммуной перепуганных нищих. По ночам все спали с открытыми окнами, чтобы заранее услышать приближение обыска или ареста. Жизнь людей управлялась приказами, мандатами, ордерами, мобилизациями, уплотнениями, выселениями, контрибуциями, реквизициями и расстрелами. Коммунистические газеты печатали списки расстрелянных «в порядке красного террора», а в органе чеки «Красный меч», газетке никогда еще не виданной в мире, чекисты за всякое сопротивление грозили новым террором.

На Лукьяновке, окраине Киева, в каменном флигеле жили моя мать, тетка полковница Е. К. Высочанская и их друг А. Д. Похитонова, дочь в былом известного генерала. Голод, террор, бездровье, безводицу, солдатские постои и все испытания, которым чернь подвергала русскую интеллигенцию, женщины переносили достойно. Жили тем, что выменивали на еду еще оставшиеся не Бог весть какие вещи. А когда на базар нести уже было нечего, разошлись на работу по чужим людям. Мать пошла в услужение к жившей неподалеку старухе. У старушки оставалась еще всякая заваль на мену, а главное, был сад с огородом, что в эпоху интегрального коммунизма всякому представлялось несметным богатством. Став прислугой за все, мать носила на базар яблоки, стирала белье, мыла полы, убирала дом, работала в огороде и готовила на восьмерых буденовцев, стоявших постоем у тихой старушки. Эти удалые, нахрапистые парни тоже помогали жить; с кладбища, разрушая жилище мертвецов, они воровали кресты и могильные ограды и, распиливая их, создавали дрова; в эту лютую зиму многие киевляне так спасались от замерзанья.

Старушка, из-за возраста, революции уже не замечала. Даже на дубасивших на рояле буденовцев глядела как бы из потусторонности. Только изредка, когда к ней приходила подруга по Смольному, она оживлялась и тогда обе старушки за желудевым кофе с лепешками из картофельной шелухи вспоминали о шифрах, о шалостях, о том, как в высочайшем присутствии на выпускном балу танцевали качучу. А за стеной политком учил только что обворовавших кладбище буденовцев тому, что Красная Армия есть передовой отряд мировой революции, которую Ленин ведет к победе над мировым капиталом. И мимо дома с грохотом пролетали темные грузовики с вооруженными кожаными куртками, везшими арестованных понурых казров.

Но на вторую зиму у матери уже не было ни шубы, ни обуви, чтоб ходить на базар, и она поступила нянькой в детдом, переполненный беспризорными ребятишками, в буквальном смысле слова детьми революции, ибо родители их расстреляны, пропали без вести, умерли от сыпняка. Здесь, в нетопленном детдоме, мать и получила мое отправленное с оказией письмо из Гельмштедта, из которого узнала, что старший ее сын стал шахтером на соляной шахте, а младший дровосеком в брауншвейгском лесу. Счастье этой вести было велико, но оно смешалось со страхом: а вдруг из этой немецкой шахты, из этого брауншвейгского леса вздумают возвращаться в Россию, на родину? И в одну из морозных зимних ночей, когда плакали некормленные ребятишки, мать решила уйти к своим сыновьям. Пешком из советского Киева в Германию? Да. И это решение стало жизнью матери, благодаря ему она как будто даже жила уж не в затерроризированном, голодном Киеве, а где-то гораздо ближе к своим сыновьям.

У Анны Даниловны Похитоновой от отца генерала осталась военная семиверстка со всеми дорогами, селами, хуторами, лесами, местечками, реками. Приходя ежедневно к ней, мать наизусть заучивала путь своего побега из Киева до польской границы, выбрав, как верующая, направление на Почаевскую лавру. Оставалось только ждать тепла, лета.

Майским погожим вечером, когда все уже на Лукьяновке зазеленело, в заглохших садах пели невесть откуда залетавшие соловьи, а на согретых солнцем крышах, распластав хвосты и крылья, грелись серо-пепельные голуби, в калитку сада неожиданно вошла моя старая няня Анна Григорьевна Булдакова. Несмотря на теплынь — в валенках. В родном пензенском Вырыпаеве, получив письмо матери, Анна Григорьевна сразу поняла немудреный

шифр и правдами и неправдами, с палкой и котомкой, добралась до Киева.

После первых слез радости Анна Григорьевна сразу же сказала, что одну мать не отпустит, а пойдет с ней. И тут же стала разуваться и отпарывать подметки валеных, в которых принесла остатки добра. Из стоптавшихся за дорогу валенок, к всеобщему огорчению, керенки вынули до того промокшие и порыжелые, что мать, няня, все тут же принялись разводить плиту, сушить и разглаживать их утюгами.

XI

Небо, ветер, облака. Длинными волнами рябится пшеница. От этого безразличья солнца, ветра, пшеницы, облаков людям на революционной земле еще страшнее. Нарочито отстав от неизвестных попутчиков — Бог знает с кем идешь в революцию, — мать и Анна Григорьевна идут от Бердичева по большой дороге, пылят по ней веревочными самодельными туфлями. В полдень под березами, оставшими шлях, набрали сучьев, со спины отвязали чайник, на костре вскипятили чай и, подкрепившись, зашагали дальше на село Чернобыль, сгорачивая по проселочнику заученный матерью путь.

Странницы идут с палками, с мешками за плечами. Чтоб расплачиваться за еду, за ночлеги, за перевод через границу, в мешки натолкали отовсюду собранные полотенца, платки, кофты, салфетки, простыни.

— Замучились? — говорит Анна Григорьевна, глядя на мать. — Вон девки с поля идут, попросим мешки донести, по полотенцу дадим.

И странницы садятся на придорожный пригорок, поджидая девок, ситцевыми пятнами вышедших с межи. Девки идут неспешно, поют пронзительными голосами. Только подойдя, оборвали пенье, с любопытством рассматривая сидящих у обочины странниц. За полотенце, смеясь и давя друг друга, девки кинулись к мешкам. И порожняком Анна Григорьевна и мать легко ступают за ними. Вот уж сельское кладбище, палисадники, хаты, тополя; на сельской тихой улице мать развязала мешок, расплатилась двумя полотенцами. В восточном лиловом сумраке и в западном алом закате темнеет сельская пузатая церковь с высокой звонницей. «Может, просвирня иль церковный сторож пустят?» — говорит Анна Григорьевна; и палкой постучала в дверь двухоконного присевшего на бок дома.

— Кто там? — небыстро ответил за дверь женский голос, и на порог вышла женщина с гладко зачесанными волосами и закаченными по локоть рукавами на жилистых и длинных мокрых руках. — Входите, входите, — сказала просвирня, — странных как не пустить, только горе у меня, дочь хвора, в горницу-то не зову, тут уж разбирайтесь.

В горнице на деревянной кровати, надрывая грудь, кашляла девушка. Просвирня взялась раздуть потухший самовар, и вскоре в темноватой прихожей, освещенной светом розовой лампы, мать засыпала на лавке, и этот сон у просвирни был как никогда отдохновенен. «Мам... а мам... кто пришел... а?» — «Странные, Лиза, странные», — слышит, засыпая, мать. «Мам... а куда они идут?» — заливаётся легочный клокочущий кашель больной девушки. «Далеко, Лиза, далеко...»

Звон к ранней обедне разбудил странниц. По церковному двору, вея космами, прошел священник. Охая и крестясь, на крыльцо кормить кур вышла просвирня. Солнце, куры, тишина, у церкви, обивая с него поржавевший, облетающий цвет, ветер треплет сиреневый куст.

Застив ладонью глаза, просвирня с крыльца глядит вслед уходящим странницам. Несмотря на шестьдесят четыре года, Анна Григорьевна идет легко, отдохнула и мать. Проселочник стелется меж пшеничных полей, с них налетает духмяный ветер, а в полях тишина, только высоко трепыхается, словно не могущий улететь, утренний жаворонок, да где-то далеко в поле ковыряется скорчившийся одинокий мужик.

Знаток духовных стихир, Анна Григорьевна неестественным крестьянским наголоском на ходу поет тропарь покровителю плавающих и путешествующих Николаю Угоднику, «Правило веры, образ кротости»; так всегда тоненько-тоненько, по-монашечьи, певала, странствуя по святым местам. Мать наизусть знает, что, пройдя за Романов, им надо свертывать на Миргород. За ними, нагоняя, тарахтит телега, поднимает в солнечных лучах клубы горячей пыли; изредка возница лениво взмахнет кнутом; поравнявшись, мужик долго глядит на странниц, пока они не скроются у него из глаз; и опять поля, дорога, в небе длинные растянувшиеся облака.

В Романове мать постучалась в крайнюю хату; окошко приподнялось, выглянула повязанная платком баба с бельмом на глазу.

— Ночевать пустите?

Недружелюбно одним глазом оглядывая странниц, кривая баба не отвечала.

— Мы полотенце дадим.

— Идите, — сказала равнодушно и слышно, как босиком прошлепала к селям, с шумом сняв щеколду, — только в хате-то местов нет, самих пятеро, под навесом переспите.

Навес обступили пирамидальные тополя с блестящими, словно отлакированными, листьями; в лунном свете тенями на стене чернеют вымахнувшие саженные мальвы; с соломы матери видны небо, звезды, но дорожная усталость уносит мать в бессознание, ей кажется, что она летит вместе с этой ночью, с лесным поселком, неразделимая от этих серебряных звезд, от тополей, освещенных желтым обрезком мусульманского полумесяца.

На рассвете баба хозяйски осмотрела полотенце и после этого рассказала, как идти на Миргород.

XII

Полями, лесами, межами, проселочниками, большими трактами уже давно идут странницы, делая в переход верст по тридцать. Растертые ноги лечат подорожником, недаром он и растет по обочинам дорог; иногда за день не встретят живой души, иногда от верховых, от подозрительных пеших, хоронясь, бросаются в хлеба. Раз испугались в поле двух вахлаков, один, оборванный, взлохмаченный, приостановился и с сиплым хохотом закричал: «Семка, а одно-то ще годится!» Молча, испуганно, не оглядываясь, уходили от них странницы.

После многих ночевок мешки попростались. За долгий путь люди встречались разные, кто совсем не пускал ночевать, говоря: «Много вас теперь шляется, может, буржуи какие беглые скрываетесь», кто запрашивал и кофту, и полотенце, с ними торговались, а многие ничего не брали, кормили и указывали дорогу.

Уже давно странницы идут по следам войны, попадают обвалившиеся окопы, разбитые артиллерией церкви, сожженные хутора, в изнеможенье повисшие меж речными берегами взорванные мосты. Над безлюдными полями, через силу маша крыльями, тянут стаи грачей. В полевой тишине Анна Григорьевна поет «Волною морскою скрывшего древле», а мать идет с думами о своих детях.

После многих недель пути, подходя к Полонному, мать сильно волновалась: тут надеялась узнать, где лучше перейти границу. Но за неделю жизни в Полонном ни у кого не узнала, годно ли для перехода заученное ею по семивер-

стке направленья. А задерживаться нельзя, в волненье и бездействии только падают силы, и мать решила все же идти на авось по зарубленному в памяти пути, жившему в мозгу огненной ломаной линией, уводящей из России.

Перед уходом пошли на реку искупаться. Медленная река дремала на солнце. У мостков бабы полоскали белье, словно со злостью колотя его вальками. С мостков, завизжав, в реку бултыхнулась широкобедрая баба и поплыла, подбрасываясь лягушкой, показывая из воды ягодицы. Купаясь, баба перекликалась с товарками и, наконец, выскочив, схватив одежду и трепыхая грудями, согреваясь, побежала по траве. Возле поодаль раздевавшихся матери и Анны Григорьевны она приостановилась и, присев на корточки, стала одеваться.

— Ох, тут глыбко, не суйтесь, у нас прошлый год тут парень утонул, — проговорила баба, останавливая пошедшую было в воду мать. — А вы нездешенские?

— Нездешние, мы на богомолье идем, — и под влияньем все того же томящего страха за правильность взятого пути, мать неожиданно для самой себя вдруг добавила: — В Почаев хотим, да вот не знаем, как границу-то перейти.

— Ааа, — таинственно протянула баба и, сделав значительное лицо, подседа поближе, подрагивая холодеющим под рубахой телом. — А я вам вот что, я вам человечка найду, через границу водит, — зашептала она, — брат мой, если хотите, проведет и дорого не возьмет.

Прямо с реки мать пошла к бабе. Бабина хата темная, в красном углу смуглая божница с картинками святых, густо засиженными мухами. У печи что-то стругает хмурый солдат, бабин брат, контрабандист, ходящий за товарами в Польшу. Выслушав зашептавшую сестру, он не изменил хмурости лица и, исподлобья оглядев мать, пробормотал, что раньше чем через неделю не пойдет. Но с ним мать и не согласилась бы идти, уж очень жуток, и мать ответила, что неделю ждать не может.

— Как хотите, ступайте сами, только вострей глядите, у границы-то там не милуют, — проговорил солдат и опять застругал, взвывая фуганком стружки.

Веря в свои молитвы, которыми горячо молилась на ходу по лесам, по дорогам, по ночам в чужих хатах, мать решила завтра же идти на Шепетовку по заученному по карте пути. Последнюю ночь в Полонном мать молилась, как никогда. А в желтоватой мути рассвета, с полегчальными мешками странницы уже шли в даль новой дороги. Но чем ближе к границе, тем путь опаснее, состоянье томительней,

иногда пугались случайного крика, подозрительно глянувшего встречного, часто бросались в хлеба, скрываясь от пеших, конных, от проезжавшей телеги.

Когда дошли до лесного железнодорожного пути на Шепетовку и пошли по шпалам, вздохнули свободней: встречных нет, тишина; только раз издалека показалась дрезина и на ней будто вооруженные. Что было сил странницы сбежали под откос, залегли в чащобе. Были слышны голоса, гул колес, и опять все напоено лесной тишиной. За день увидели только один перегруженный пассажирами поезд, из которого какой-то ребенок замахал им белым платком.

К вечеру, дойдя до железнодорожной будки, решили попроситься переночевать у старика сторожа. Старик принес сена, настелил на полу, и, осмелев, странницы рассказали, что идут в Почаев на богомолье, да боятся пограничников.

— На Шепетовку ни-ни, упаси Бог, не идите, — проговорил старик, — в каждой хате солдаты, — и, пригоршней чеша седую кудлатую бороду, добавил: — Вы полотна держите и лесом на Словуту берите, а на Шепетовку ни-ни, пропадете, верное дело.

Мощные словутские леса режут под натиском ветра; сосны, ели ушли в поднебесье; в бору пахнет смолой, грибами, всей пахучей духотой красноеся. Приостанавливаясь, странницы собирают ежевику, костянику, на полянах не раз кипятили чайник, закусывали и снова идут по ревущему многовековому лесу, по дорогам, изрезанным сказочными корневищами. В отрочестве мать мечтала вместе с набожной теткой Варварой Петровной пойти богомолкой по России, но пошла вот только так на Почаев, в революцию.

В лесу Анна Григорьевна поет «Да воскреснет Бог и расточатся врази его», а мать полна смятенных воспоминаний. То внутренне увидит на керенском балконе отца за чаепитием и словно услышит его ласковый голос, и слезы позднего умиления подступают к горлу; то вспоминает рано умершего мужа, жизнь с ним в пензенском доме, в именье, как каждый год вот этой же дорогой через Варшаву ездили в Германию, в Бад-Наухайм, а потом после леченья мужа отдыхали всегда в Париже, а из Парижа в Пензу возвращались через Италию, Вену, с непременно заездом в Москву, чтоб в Художественном увидеть новые постановки, в Большом послушать Шаляпина и вечером с друзьями семейно заехать к цыганам в загородный «Яр». Вокруг матери стонет словутский лес. На груди у нее, под кофтой, еще бабушкин медальон с выцветшими фотографиями мальчиков трех и четырех лет, и она никак не может представить

их шахтером и дровосеком; и горло сжимается любовным ощущением близких слез...

Когда в Словуте странницы вошли на базар, матери стало не по себе от пестрого базарного гомона. Ржанье лошадей, крикливые бабы, красноармейцы, мычанье коров, евреи в лапсердаках, еврейки в париках, и, чтобы как-нибудь разобраться в этом чужом мире, она поторопилась зайти в подвальную харчевню. За невымытым веками прилавком стояла пожилая еврейка в засаленной кофте, под которой, как рыбы, волновались большие груди. Увидав новые лица, словоохотливая корчмарша затараторила со странницами, и, пока женщины ели и пили, она, подсев, рассказывала им то о том, что ее сын пропал без вести в Сибири, то о том, что у здешних красноармейцев деньги по карманам тыщами, то о том, как под Словутой убили князя Сангушко и как разграбили княжеское именье. «Такой погром стоял, такой страх... — быстро шептала корчмарша и вдруг, словно увидев что-то ее поразившее, схватила мать за руку: — Руки-то у вас какие белые? Кто ж вы такая?»

— Портниха... из Киева.

— Ах, портниха? — протянула корчмарша, с недоверием выпуская руку матери.

И хоть не зла, наверное, была корчмарша, и хоть совладела с собой мать, а все ж поторопилась уйти из харчевни.

На окраинной словутской улице, играя в чижик, бегали ребятишки, скакали на одной ножке. Уж виднелись поля, когда прямо из проулка на странниц вышел скуластый толстоплечий человек в рыжем френче. «Комиссар», — пронеслось у матери, и сердце захолонуло, а френч остановился, коротко крикнув:

— Документы есть?!

— Есть, — ответила мать и от взгляда скуластого стала снимать со спины мешок. Мгновения ужасные: документов никаких. Стараясь сдержать овладевавшую телом дрожь, сама не представляя, что сейчас произойдет, мать хотела лишь дольше рыться в мешке, оттягивая ужасную минуту. Комиссар, хмуро покуривая, пытливо взглядывал то на мать, то на Анну Григорьевну, и вдруг из того же проулка стремглав бежал молоденький красноармеец, бешено закричав:

— Да иди же ты! Готово!

Наотмашь отбросив бычок, выпустив стаю соленых ругательств по адресу матери, что не может найти документы, комиссар бросился бегом, и в проулке они оба скрылись. Только тогда Анна Григорьевна увидела, до чего

бледна еле держащаяся на ногах мать, завязывавшая дрожавшими руками мешок.

— Заарестовал бы, Бог нас хранит, — зашептала старуха.

Почти бегом женщины заспешили из Слоуты и в вечернем поле на пшеничной меже затерялись. Вечер, ветер, тишина. Вышли на старый, обсаженный ветлами тракт с столбами в уходящих белых телеграфных стаканчиках. Кругом та же бесконечная Россия, безразличные к человеку жестокие вечерние поля, сине-черные леса и катящаяся дорога; только чем ближе к границе, тем сильнее гудят телеграфные провода, тем напуганнее люди и страшнее идти, словно подошвы пристывают к земле.

С плеском быстрых крыл пролетела с полей голубиная стая. Под селом Панорой дорогу пересекла ржавая, мутная речушка, вместо моста перекинута бревно, и на берегу валяются две слепи для перехода. Ими опираясь о дно, мать и Анна Григорьевна перебрались через шелестящую темную речку и в улице у крайней хаты, заметив у завалинки копящуюся девчонку, мать спросила ее, не знает ли, где б пустили переночевать?

Девочка повела их вдоль темной улицы, доведя до хаты, где возилась в сенях простоволосая баба. Чтоб расположить хозяйку, мать в сенях же развернула перед ней оставшиеся юбку и платок, и, взяв за ночевку эти драгоценности, баба даже растрогалась.

— Вы мене слушайте, — шептала она, сидя на лавке со странницами, — у мене крестник есть, парень тихий, все тропы знает, вы ему заплатите, он и переведет вас через границу.

И баба тут же послала девочку за крестником, а пока его ждали, хозяйка все хвалила юбку, все примеривала ее к себе, поглаживая ладонями.

— Сама бы на Почаев пошла, жизнь-то какая, — вздыхала вдруг баба, — у мене вон зять маво мужа убил. Сам курицы не зарежет, а вот поди ты, попутал сатана, поссорились, схватил ружье да и убил враз, — и вдруг неожиданно, длинно, ручьисто баба заплакала, утираясь подолом.

В хате родилось молчанье, но в сенях кто-то завозился. Мать обрадованно подумала, что пришел крестник, но вместо него в хату вошел низкорослый мужик какого-то забитого, несчастного вида и мать почему-то сразу поняла, что это и есть убийца. Оглядев странниц, мужик поздоровался даже как-то застенчиво. Баба тут же отвела его вглубь хаты, заговорив с ним полупшепотом, но мужик сразу же отмахнулся.

— Я таких делов не делаю, — сказал строго, — за такие дела нынче пропасть можно, пускай Сенька хочет и переводит.

И вдруг непреодолимый ужас охватил мать; болтливая баба, убийца-зять, какой-то крестник — все стало страшно в полутемной избе; выдадут, донесут, захотят ограбить. Зять стал возиться у печи, что-то доставая из темной бочки, а баба все спрашивала мать, лезя в душу, кто, да откуда, да к кому идут, да когда вернуться?

Тощий, квелый паренек лет семнадцати с рано выцветшим лицом вошел в хату в сопровожденье девочки. Выслушав мать, он деловито помолчал, потом сказал, что пробраться через границу можно, только с опаской, пограничники в хлебах залегают, ловят и арестовывают.

— Да мы ночью прокрадемся, — проговорила Анна Григорьевна.

— Ночью ни-ни, убьют, иттить середь дня надо, — с знаньем дела произнес паренек, — когда солнце высоко, солдаты на обед уходят, вот и надо иттить.

За пятьсот рублей керенками и две оставшиеся в мешке Анны Григорьевны простыни паренек согласился вести через границу России. Эту последнюю в России ночь нужно было выспаться, собраться с силами, но, несмотря на усталость от четырехсотверстного пути, мать заснуть не могла. То стонал на печи убийца-зять, то, переворачиваясь с боку на бок, чешась от блох, кряхтела баба. В темноте сеней мать лежала переполненная волнением, все молилась Богу и какими-то обломками громоздились воспоминанья счастья прожитой жизни, с которыми прощалась, ужас возможного ареста, лица сыновей, все наплывало жестоко изнуряющей смесью бодствования и сна и опять уходило в темь ночи.

Еще только свежел восток, а тихий паренек уже вошел в хату. С сильно бьющимся сердцем, подрагивая от холода рассвета и от волнения, мать вышла. «С Богом, с Богом», — шептала в сенях заспанная баба. Паренек проворно пошел шагов на двести вперед. Странницы еле поспевали за ним, все боясь упустить из глаз его пеструю рубашку. Как только он оборачивался, делая условный знак, мать и Анна Григорьевна бросались в пшеницу, залегая в ней, а когда раздавался его далекий свист, выходили и опять шли за его мелькающей, удаляющейся рубашкой.

Мать все чаще взглядывала на поднимающееся солнце, оно уже высоко, стало быть, и граница близка. Сейчас, собрав все силы, надо решиться на самое страшное: перейти границу России.

Паренек манит, подзывает к себе; странницы заспешили. — Нельзя мне дальше, теперь одни ступайте, — зашептал он, — вон луг, видите, за лугом хата под новой крышей, там и стоит польский кордон. Да вы не бойтесь, идите спокойно, будто вы никуда и не бегете и никакой границы тут нет, а луг он луг и есть. — И взяв уговоренные керенки, паренек заспешил от странниц.

Зеленый луг в полевых цветах на опушке леса — это и есть та заветная граница России, о которой, изучая карту, думала мать. Вот она дошла, она перед цветущим лугом, за которым уж Польша, поход кончен, но нужно еще самое страшное усилие: среди бела дня, у всех на виду перейти этот зеленый, в белых ромашках, в кашке, в желтом зверобое, простой и словно заколдованный луг. Это жутко. Кругом лесная тишина, никого. А матери чудится, будто каждый куст, дерево, рытвина, поросль — все живое и все стережет ее каждый шаг.

Как сказал паренек, мать и Анна Григорьевна по лугу стараются идти «будто спокойно», но ноги не слушаются, почти бегут, сердце их торопит. Мать чувствует, что это нехорошо, что это может стать подозрительным, но удержаться уж нет сил. Сейчас луг кончится, с ним кончится и Россия. Еще каких-нибудь пятьсот шагов — и они за границей, и надежда увидеть сыновей будет настоящей. Кругом знойная полуденная тишина, ни звуков, ни голосов, только лесной звон в ушах. И вдруг где-то совсем рядом, с русской стороны: «Эй, тетки, тетки, куда вы, кудаааа?!» Мать и Анна Григорьевна бросились бегом, а вслед все летит длинный крик и хохот. Это посмеялся сидевший у дерева, на русской стороне, дуралей-пастух.

Но они уже бежали по Польше, хоть им все и не верилось, что это не Россия. И только когда навстречу раздались польские голоса и из кустов вышли человек шесть пограничников, женщины поняли, что они уже не в России.

— В комендатуру! — проговорил старший, и от польского языка, чужой формы, чужих лиц повеяло чем-то, от чего беспомощно сжалось сердце.

Пограничники вели их к той хате под новой крышей, что показывал паренек с русской стороны. В хате их оставили наедине с хитроглазым пожилым хуторянином. «А вы, чтоб в комендатуру-то не вели, заплатите им, тут всегда так делается», — подмигнул хуторянин. У него мать и обменяла керенки на злотые, он их и передал старшему команды; на границе двух держав хитроглазый хуторянин был и адвокатом, и маклером, и менялой. Но как только женщины вышли

из дома, молодой солдат с отталкивающим лицом куницы двинулся за ними.

— Он вас до дороги проведет, — проговорил старший.

Увешанный винтовкой, револьвером, гранатами, одетый с иголки, солдат повел женщин напрямки по чаще; они еле продираются, а чащоба березняка все глуше. Мать замечает, что поляк сворачивает туда, где продаться почти уж нет возможности, и обеих женщин все уверенней охватывает страх. Еще в Киеве рассказывали, что пограничники убивают и грабят перебежчиков. Издали слышен только стук топоров да голоса дроворубов, и будто от этих голосов солдат и сворачивает все глубже в чащу.

Анна Григорьевна с матерью переглянулись.

— Где ж дорога? — остановившись, проговорила мать.

— Идите! — яростно закричал солдат.

Но женщины не идут. Мать видит разгоряченное, хищное лицо мальчишки, узкие рысьи глаза словно ощупывают ее, словно ищут, где спрятаны на ней деньги.

— Я к сыновьям иду! — вскрикнула мать. — У вас тоже мать есть, куда вы нас ведете? Отпустите! Я вам отдам все! — И мать полезла за деньгами.

Это движенье могло их только погубить, ободрив еще не решавшегося на убийство мальчишку. И, словно поняв это, Анна Григорьевна вдруг с палкой рванулась к нему и, как сердитая старуха ругает на деревне хулигана, закричала:

— Подлец ты! Креста на тебе нет! Деньги взяли, ограбили, а ты еще, негодяй, хочешь! Нехристь ты окаянный! — наступала с палкой, вне себя от ярости, Анна Григорьевна.

От ее ли криков, от донесшихся ли звуков топоров, но солдат оторопел и, выхватив у матери из рук деньги, бросился в чащу. Женщины с испугом ждали: будет стрелять иль уйдет? Но бегущими, замирающими шагами солдат ломил кусты. И им вдруг стало слышно пенье птиц, которого раньше не было.

Из последних сил продираясь сквозь мелколесье, странницы пошли на стук дроворубов. Над ними прокатился теплый гром. Из подбитых желтой подкладкой туч, прорезая чащу белыми струями словно кипяченой воды, по лесу вдруг зашумел дождь. По пояс мокрые, женщины все лезли чащобой, пока наконец не вышли на просеку, с которой увидели, как дроворубы канатом валили богатырский, трепещущий ветвями дуб, словно сопротивляющийся им всей своей обреченной листвой.

Лев Толстой где-то очень хорошо писал «о любви к земле по купчей крепости». Этот дом мы строили сами. Клади фундамент, выводили стены, настилали черепицу, красили полы, клеили обои, устанавливали печи. И на самом краю немецкой деревни вырос наш двухоконный сероватый дом. Весь участок земли обнесли забором, вдоль него посадили любимые русскими березы, тоненькие, нежные, но уже в первый год затрепетавшие легким ситцем листьев. Перед балконом кусты роз, всякие цветы, пестрый строй георгинов. А дальше фруктовые деревья, груши, яблони: весной, когда они зацветали, везде, даже в комнатах, пахло леденцами.

Этот дикий песчаный участок разделан любовью нашей семьи к земле. Вспоминая пензенское имение, мы шутя называем его «местоимением». Земские корни оказались глубоки, тянут к земле. Кто-то из древних говорил, что человеку нужен не столько дом, сколько сад. Мне он нужен. И вот я сажаю, поливаю, поляю, копаю песчаную немецкую землю, превращая ее в свой сад. Только в этом саду нет былого душевного покоя, оттого и нет возможности вполне им насладиться. Это чувство спасшихся после кораблекрушенья, ноги все еще не верят суше. Русскую грозу носишь в себе, словно от русского землетрясения никуда не ушел. И в острые минуты такого ощущения здесь, на бранденбургском песке, чувствуешь себя нежилецкой луковицей, пустившей корни без земли, в воздух. Тогда и этот разделанный цветник, и деревья, и огород кажутся почти несуществующими. Но все-таки к весне я рою новые ямы, смешиваю песчаную землю с черноземом, с удобрением и сажаю новые яблоневые и грушевые сорта, которые зацветут только на вторую весну; и все-таки хорошо свежим солнечным утром выйти из своего дома в свой сад.

На подловке голуби уж заждались лета и черношалие, синеплекие, белые, краснопузые, желтые, чугунные выносятся в прозрачность утреннего воздуха с стремительным звоном крыл, словно под рукоплескания. Играя, они дают сначала низкие, блистающие, взволнованные круги, потом

набирают высоту и в солнечных лучах кажутся прозрачными, бело-серебряными, «как святой дух», а залетев на оловянную тучу сразу проявляют всю разнобойную пестроту окрасок. Это тоже счастье: следить за полетом своих голубей. На большой высоте, отстав от стаи, лентовый красношалий начинает кувыркаться, стремительно падая вниз, и кажется, вот-вот ударится о крышу, но у крыши внезапно он выравнивает паденье и тяжелыми кругами снова начинает набирать высоту, догоняя снизившуюся за ним стаю. Ввинчиваясь в поднебесье, голуби почти скрываются, так же, как мои русские голуби в Пензе, когда мальчишкой, стоя с махалом на крыше, я спорил в голубиной охоте с приказчиками соседней мануфактурной лавки братьев Кузнецовых; водить голубей — это сильная и непроходящая страсть.

В подберлинской деревеньке Фридрихсталь я живу уж давно. За двенадцать лет жизни хорошо знаю Германию. Берлин знаю лучше Москвы. Знаю суровые берега Северного моря, живописный Шварцвальд, солнечно-гётевские Веймар и Йену, где, идя по улицам, из уюта цветущих розариумов я всегда слышал то набежавшего скрипичного Моцарта, то рояльного Баха; знаю деловые немецкие города, Лейпциг с вокзалом в тридцать шесть платформ, безличный Магдебург, скучный Брауншвейг, пестроту старинного портового Гамбурга, изяшный Ганновер, оставивший в душе легкое воспоминанье, знаю Франкфурт, Штеттин, но больше всех немецких городов люблю столицу Саксонии — Дрезден, с его синей Эльбой, с дворцом, с Брюллевской террасой, с недалекой крутизной Кёнигштейна, с воспоминаньями о Достоевском, Бакунине, Вагнере. Я не только привык, я люблю весь этот добротный, скучноватый рай — Германию. И ценю немецкий народ за станovou черту его характера, за трудовой пафос, за неодолимую страсть благоустройства своего дома на земле — своей страны; а немецкую интеллигенцию люблю за ее взволнованную фаустовскую душу.

II

Ночью я стоял на Унтер ден Линден. Я всегда ощущал, что надолго покоя не будет, и все-таки этот предчувствуемый обвал, настав, кажется внезапным... Тревожно и разноголосо гудят сгрудившиеся автомобили, где-то с нетерпением называют застопорившиеся трамваи, ночное движенье пришло в замешательство. На тротуарах к

домам жметя толпа и ликующих, и охваченных страхом. А по мостовой густыми колоннами движутся коричневые рубахи, несут дымные красноватые факелы, гул их шагов как чугунный; они тяжело, каменно поют: «Blut muss fließen! Blut muss fließen».

Глядя на их мерцающие, плывущие в темноте огни, я думаю о том, что это настает немецкий всесокрушающий октябрь. В страхе от огненных орд с тротуаров шарахается беспомощная толпа. Оранжево вздрагивая в окнах старинных домов, все кровавей разгоралось пламя мощного костра, разложенного перед старым университетом. Бой барабанов, визги флейт, военные марши. Мечущиеся снопы прожекторов. Колонны гитлеровцев с свастиками на рукавах. Кольцо полутемной толпы. Все создавало необычайность этой картины. И вдруг, подняв правую руку к огнедышащему небу, толпа запела «Die Fahne hoch!». Это гимн новой Германии. Когда песня замерла, от костра в красноту ночи громкоговоритель прокричал:

— Я предаю огню Эриха Марию Ремарка!

Будто с плахи упала отрубленная голова. Как морской гул по площади прокатилось одобренье. Под этот гул с грузовиков чьи-то красные руки — множество рук — стали сбрасывать в пылающий костер книги, и пламя внезапным прыжком прыгнуло на темное небо, высоко, как живыми, закружив книжными листами.

Толпа ликовала. Я тоже был захвачен зрелищем этой ночи. Плотно сжимаемый, я плыл в водовороте откуда-то вырывавшихся темных страстей, и, так же как в нашем октябре, я словно осязал эту заманчиво гибельную стихию потопа, но идущего уже по западу Европы.

С пламенем пожара Рейхстага и у нас в деревне, как во всей стране, тоже сместилось все: пониманья, чувства, взаимоотношения людей; сместились плоскости исторического бытия. Вздрагивая на мотоциклах и здесь мчались коричневые рубахи. Из домов выволакивают врагов «проснувшейся Германии», тащат в ресторан «К трем липам» допрашивать, избивать до тех пор, пока не запоют нового гимна. А если не поют, тащат дальше, в концентрационный лагерь Ораниенбург: пытать и убивать. Это не вчерашняя Германия. Это не розариумы Веймара и Йены. Крепость правового государства, пафос труда, фаустовская душа, бибелевский социализм, папское католичество, Лютерово протестантство, все исчезло в огне и дыме дьявольского пожара Рейхстага. Это те же октябрьские голые люди, только музыка здесь не нашего октября с его сверхмотивом

всемирного революционного разрушения. Это культ другой варварской силы, культ всемирного порабощения. И люди, кричащие по радио под стон воинствующих маршей и по дорогам несущиеся на автомобилях с автоматическими ружьями в руках, и марширующие военным строем ударники — это все уже не вчерашнее, это взломавшие культуру страны, проснувшиеся варвары.

Стоя у горбатого деревенского моста, я видел, как перед отрядом въехавших гитлеровцев, в ноги начальнику упала простоволосая немка и в беспомощности обнимала его сапоги, умоляя не пытаться, не избивать, не убивать ее сына, которого он увозит в концентрационный лагерь. Деревню сковал террор, страх. Это «Le massacre des innocents» Питера Брейгеля.

III

Подъезжая на велосипеде к своему участку, я вижу светлое платье согнувшейся над грядкой матери, она обрезает усы у земляники. Этот небольшой кусок земли на окраине немецкой деревни она любит так же, как любила Сапеловку и Конопать. У калитки меня встречает жена, та Олечка Новохацкая, о которой я так часто думал в донских степях, раненым, на телеге; с которой юнкером, козыряя генералам, ходил по Москве; студентом танцевал на балах в их институте, когда в камлотовых платьях до пят, в кружевных пелеринах и шелковых передниках институтки парами плыли по бальному залу, отдавая глубокий реверанс величественной начальнице, баронессе. В огороде, белея рубахой, сгибается брат, с которым вместе прошли с винтовками по донским и кубанским степям; нас вместе взорвали в Педагогическом музее, и мы вместе работали дровосеками в гельмштедтском лесу у старика Кнорке. Брат окапывает яблони. Нет только моей няньки Анны Григорьевны; истосковавшись по России, по православным церквям, не выдержала и с немецкой швейной машиной уехала назад в родное село Вырыпаево, где и погибла вскоре во время сплошной коллективизации. Жена подвязывает ее любимые георгины. Я слез с велосипеда, поговорил с ней и стал таскать воду, чтоб поливать яблони, когда в калитку нашего сада, блестя каской, в зеленом мундире, вошел жандарм. На ходу он вынул из портфеля какую-то бумагу, заглянул в нее и спросил:

— Вы русский писатель Гуль? Вы написали роман из жизни русских террористов?

— Да.

— Берите мыло, полотенце, подушку, поедете со мной в концентрационный лагерь.

— Куда?

— В Ораниенбург.

— За роман?!

— Там разберут, что вы понаписали.

Над садом, садясь на крышу, ложила моя пестрая стая голубей. Я простился с семьей, и мы с жандармом поехали на велосипедах по лесной дороге. Под шинами мирно похрустывала хвоя. Так, почти не разговаривая, мы доехали до Ораниенбурга. В городе у древнего герцогского замка переехали площадь и в прилегающей улице у больших деревянных ворот с надписью «Konzentrationslager Oranienburg» слезли с велосипедов.

Жандарм провел меня мимо коричневого часового. Толстый, увалистый, он шел быстро, мы пересекли вымощенный двор, поднялись на третий этаж высокого кирпичного здания и, наконец, вошли в пахнущую всемирной канцелярской духотой небольшую комнату. Здесь сидел такой же, как он, жандарм. Они о чем-то тихо поговорили. Сидевший тут же позвонил по телефону. И вдруг дверь порывисто растворилась и на пороге я увидел высокого гитлеровца, настоящего розенберговского голубоглазого нордйца с множеством шевронов, с черной свастикой на рукаве, во всей военной фигуре которого было что-то необычайно резко-заношчивое. Это — начальник концентрационного лагеря, штурмбанфюрер Шефер.

— Почему вы арестованы? — бросил он.

Я рассказал, что вахмистр мне передал, что мой роман конфискован тайной полицией как не отвечающий духу новой Германии, добавил, что книга в Германии имела хорошую прессу и вышла в десяти других странах.

— Я уезжаю, — повернулся Шефер к жандарму, — поместите этого господина в амбулаторию, а завтра я запрошу Берлин. — И так же шумно, словно военным маршем, Шефер вышел.

IV

В первые дни тюрьма особенно тяжела, вероятно, потому, что ты весь еще не применился к несвободе и все в тебе ропщет. Со временем резкость спадет, тоска пригупится, свободы будешь хотеть, быть может, еще страстнее, но научишься жить и в рабстве, а в долгой тюрьме,

может, отвыкнешь и от свободы, как отвыкают от нее канарейки.

В амбулатории шумно толкуются сменившиеся с караула гитлеровцы, и меня не покидает чувство, что всех их будто я где-то уж видел; я знаю и эти крепко вырубленные brutальные лица, и грубо-бранную речь, и рукастые жесты, и животный хохот; это наши октябрьские латыши, думаю я, то же площадное отребье, чернь всяческих революций.

— Наверх, к вахмистру Геншелю! — закричал вбежавший приземистый гитлеровец в рыжих сапогах с ушками навывпуск.

И я поднимаюсь к неизвестному вахмистру Геншелю, ненавидя и приступки лестницы, и белокрашенные нумерованные двери, и надраенные дверные ручки, и весь этот душный ораниенбургский пивной завод, наскоро превращенный в тюрьму для рабов Третьего царства.

На втором этаже в комнате за столом — пожилой человек, вместо лица у него — «полицейское клише»; это и есть вахмистр Геншель. «Что это, допрос о романе?» — думаю я. Но отталкивающим от себя голосом вахмистр говорит:

— Я должен вас сфотографировать и снять оттиски пальцев. Сядьте вон там и ждите.

Я чувствую странную физическую тошноту. Я сел в углу и жду очереди. Перед вахмистром — старый немец, крестьянин безнадежно дикого вида; самое большее, он мог быть арестован за то, что обругал Третье царство, и теперь в печатные бланки вахмистр заносит фамилии его жены, матери, бабушек и глухие ответы старика по всем пунктам длинного опросника; потом вахмистр переходит к описанию примет: рост, нос, глаза, но на волосах произошло замешательство. У старика не было волос: только сзади меж ушей узкой полосой они окаймляли череп, но и то цвет их был неопределим. Вахмистр на минуту насупился, потом быстро встал и взял аппарат: на полированной деревяшке болтались разноцветные косички, и одну за другой он накладывает их на туповатую добрую голову дикого старика. Наконец цвет волос преступника установлен; и вахмистр, отпустив его, крикнул:

— Следующий!

Следующим был я. Я сел на теплый стул проковылявшего за дверь старика. Я тоже называл фамилию жены — Новохацкая, матери — Вышеславцева, бабушек — одной Аршеневская, другой Ефремова, и от этих неудобопроизносимых для немца славянских фамилий вахмистр впал вдруг в раздраженное оцепенение и злость.

— Теперь мойте руки, — злобно пробормотал он.

Я опустил руки в таз с грязной жижей, обтер их о какую-то тряпку, и каждым моим пальцем вахмистр водит по лиловой краске и по разграфленному листу, а в дверях в затылок выстроились преступники: члены рейхстага, ландтага, чиновники, журналисты, ремесленники, крестьяне, рабочие, бывшие граждане вчерашней Германии.

V

На дворе лагеря беловолосый немец, с глазами как большие стеклянные пуговицы, окрикнул меня. У него семеняще-танцующая походка, он похож на хищную птицу. Это следователь лагеря — штурмфюрер Нессенс. Не глядя на меня, а как-то хватая исподлобья, Нессенс спросил, кто я и почему не на общем положении? Отвечая, я глядел в его подергивающееся, розовое, словно пудренное, тонкое и очень жестокое лицо и думал: «Садист».

Каждый день я вижу, как караульные водят арестованных к нему на допрос. А сегодня в амбулаторию гитлеровцы внесли на руках молодого заключенного и в ожиданье санитарной кареты положили его на мою койку. На губах у него пена, лицо бурое, он в беспамятстве и, вырываясь из их рук, мыча словно от нестерпимой внутренней боли, он вдруг с грохотом упал на пол; он умирал после допроса у Нессенса.

Чтобы хоть как-нибудь *не быть в концлагере*, я уйду на опутанный колючей проволокой луг. Он все же зелен, и над ним все же повисло жидкое солнце. Тут я ложусь, глядя на уже приглядевшийся вид: уездная немецкая улица, белые дома дешевого конструктивного стиля и протестантская церковь с шпилем, ускользящим в облачном небе. Церковь вызывает во мне воспоминанье о Лютере: «*Da stehe ich und kann nicht anders!*». У проволоки проминается часовой-гитлеровец с автоматическим ружьем. Я гляжу вслед пронесшейся стае воробьев, словно ими кто-то выстрелил, как картечью, из пушки. Но скоро мне уж не на что смотреть. Тогда, скинув рубаху, я ложусь под солнцем голый до пояса: на грудь, на закрытые веки падает красноватое тепло и, не улавливая причинности, я вспоминаю, как в отрочестве охотился с отцом в Косом Враге. Может быть, Россию напомнили прошумевшие воробьи? Может быть, тянущиеся с востока снеговые ветхозаветные облака? Не знаю. Лежа, я от нечего делать воскрешаю в себе весь тот день: осенний, мокрый, с резким воздухом; чернолесье тогда было уже ох-

вачено концом осени, опадали последние лимонные листья с берез и буро-красные с осинника. За ночь выпала пороша, забелив лощины. В Косом Враге лес перемежался полянами, оврагами. Когда на рассвете мы спустили гончих, первым громыхнул бас старого кобеля Валдая. Охотники уже все рассыпались мастерить. Сквозь вязаные перчатки стволы двустволки волнуяще холодят пальцы, и от азарта у меня, мальчишки, екает сердце и подрагивают поджилки. На краю поляны я затаил дыханье. Гон приближающейся музыкой все отчаянней катится на меня. И вдруг по гнилому, мокрому листу мне слышатся пугливые скачки и передо мной в бело-рыжей траве вырастают уши русака; он прислушивается к гону, но вдруг, заложив уши, прыжком кидается в сторону, и от охватившей меня дрожи я забываю все и только с стучащим сердцем ловлю на мушку бегущего зайца... отдача в плечо, выстрел... И я бросаюсь по кочкам к убитому зверю, а гон вокруг разливается с остервенением, ахают дуплеты за дуплетами, собаки выбегают на поляну, а я уж несу зайца за теплые длинные уши, спеша к привалу похвастаться и получить поздравление с полем.

В эту же охоту я понял, как сильно я любил отца. Оба в бобриковых куртках, в подшитых кожей валенках, подпоясанные патронташами, мы возвращались домой в розвальнях, но к вечеру дождь смыл порошу, и ударивший мороз превратил все в гололедицу. А ехать в гору. Когда на паре лошадей мы добрались до середины обрывистой горы, лошади вдруг заскользили и пристяжная, упав на колени, покатилась в овраг. «Упадем, упадем, барин!» — закричал кучер. Я быстро выпрыгнул, но отец, выпрыгивая, зацепился валенком, и еще б мгновенье — его б подмяли накатывающиеся сани. Вот в этот-то миг, когда я увидел для него смертельную опасность, я и ощутил, как люблю его. Бросившись к саням, я обхватил его верблюжий валенок и что было сил вырвал его из розвальней. И ощущение этого теплого верблюжьего валенка осталось на всю жизнь ощущеньем любви к отцу, и неизжитый отголосок этого чувства есть во мне даже сейчас, когда я лежу на солнце, на лугу концентрационного лагеря; я словно и теперь вижу темную гололедную дорогу, и в темноте вечернего зимнего неба каким-то чертом прочертился наш напряжившийся, выгнувший спину коренник.

Караульный что-то напевает. Я приподнялся. Как я хочу свободы! Какой? Самой простой! Идти вон так по той улице, как там идут какие-то немцы, не понимающие, какое несказанное счастье эта обыкновенная телесная свобо-

да. О, как я ее хочу! Но я заперт, лежу под караулом, за проволокой и мысленно спрашиваю себя: «Ну, о каком бы предельном счастье ты сейчас бы мечтал? Чего б хотел, пусть совершенно несбыточного?» И отвечаю: «Вот если б, пусть без денег, без крыши, без работы, но внезапно бы очутиться вдруг свободным на улицах Парижа! Это было бы предельное счастье!» Но — свисток. Гитлеровец свистом сзывает заключенных на поверку, и отовсюду тянутся по-пурные люди, походкой, усталыми движениями рук и ног выражая какое-то невыразимое отчаянье. Я смотрю, как они строятся солдатским строем. Пожилой гитлеровец подает команду, и с деревянно-откинутыми руками, с бессмысленными лицами все они остолбенели. Я думаю о том, как глубоко надо презирать свой народ, чтоб воспитывать его так, как воспитывает Гитлер. Но я тут же останавливаю себя: может быть, я чего-то в этом все-таки не понимаю? Ведь Гитлер знает свой народ, и это он загнал его в эту тюрьму. И в стране не нашлось даже горсти молодежи, которая, как мы, с оружием в руках пошла бы за свою свободу? На похищение свободы Лениным русский народ ответил многолетней борьбой. А тут? Я знаю, что арифметическое большинство немцев не за Гитлера, но почему они сдались? Может быть, потому, что Гитлер уже овладел их душами изнутри, заворожив их чем-то исконно немецким, связанным со всем арсеналом идей великого германизма? На дугу концентрационного лагеря я вспоминаю и Фихте с его «законом силы» в речах к немецкому народу, и Гегеля, утверждавшего государство как «абсолютный дух», и Вагнера, обожествившего в звуках германскую варварскую силу, и многих великих немцев. И я внутренне уверен, что в этом насильническом лагере я вижу все ту же грубую германскую силу, охваченную непомерной гордыней величия, только для площадного пониманья сниженную в гитлеризм.

На булыжниках двора горнист в коричневой форме трубит зорю. По трубе заключенные расходятся спать на солому в корпуса пивного завода. Сумерки. У караулки неуверенно закувыркались звуки гармонии не научившегося еще играть ударника. Склонясь на табурете, он с трудом, но упорно разучивает гимн новой Германии; из-под его пальцев плоская мелодия вырывается несвязными обрывками. Сквозь большое окно подвального помещенья я вижу, как арестованные укладываются спать на соломе. На подоконнике у кого-то стоит красная роза в консервной банке.

А в шесть утра тот же горнист играет подъем и тюрьма оживает. С ночью ушла возможность остаться наедине с собой. Позевывая, почесываясь, потянулись вереницы грязных заключенных к клозету, к кранам умываться. Кряхтя под тяжестью бидонов, в проходную комнату, куда из амбулатории перевел меня Нессенс, вошла курносая молочница, в очках. Я давно заметил эту бабу, перед каждым гитлеровцем поднимавшую руку римским приветствием с вскриком «Heil Hitler!».

Возле моего соломенного мешка поставив бидоны, она из-под очков удивленно взглянула на меня и тихо спросила:

— Тоже арестованный?

— Арестованный.

Сердобольно закачав головой, баба вздохнула, но из амбулатории грохнули шаги, и тут же, подняв руку навстречу гитлеровцу, молочница вскрикнула: «Heil Hitler!» Невыспавшийся парень налил молока и ушел. И опять из-под очков на меня бабин соболезнующий взгляд; она протягивает кружку молока и шепчет:

— Знакомые тоже тут сидят, ох, что с людьми делают, а за что? Кто им что сделал? Муж безработный, трое детей, вот я и ношу сюда молоко.

Но слышны тяжелые сапоги, и, торопясь, баба побежала отнести утреннее молоко коменданту Крюгеру и следовательно Нессенсу. Оказывается, они тоже любят молоко. А когда возвратилась, губы ее дрожали, она закрывала лицо руками. «Ох, лучше смерть, чем здесь... ох... доску... доску...» — лопотала баба, показывая ладонью под подбородок. Но через комнату пробежал телефонист, и, встрепенувшись, баба зазвенела кружками, бидонами и, собравши их, не глядя на меня, выбежала из комнаты. Я понял, что у Крюгера и Нессенса она увидела что-то страшное. Но только позже я узнал, что при допросе в Ораниенбурге употреблялся средневековый прибор «Gänsebrett», доска, надеваемая на шею несколькими людям, как гусям на базаре.

На луг, чтоб *отсутствовать*, я ухожу каждый день, но сегодня из лагеря не уйти. Во двор, барахтаясь, один за другим врываются затянутые тентом грузовики с арестованными. Привезенных выстраивают, разводят и по камерам, и по двору на работы. У моего окна человек пятнадцать пожилых немцев в тугих воротничках, доброт-

ных галстуках, сидя на корточках, перочинными ножами вырезают меж булыжниками траву. По виду аккуратнейшие чиновники Веймарской республики. Конечно, двор зеркально чист и травы на нем нет, но они выполняют особую шутку гитлеровцев, называемую: *воспитательные работы*. Об этом еще Достоевский писал в «Записках из мертвого дома»: «Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался бы его заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы. Если б заставить каторжника, например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно, я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленным потому, что не достигало бы никакой разумной цели».

Высокое солнце нестерпимо палит. Мешковатый, обрюзглый, старомодный немец, всем своим видом напоминающий уютную, старую, невоинственную Германию, изнемогая от трудности позы, попробовал было с корточек опуститься на колени. Это вся свобода, которой он захотел. Но караульный сразу заметил его движение и крикнул: «На корточки!» И отяжелевший старик, вероятно больной, грозя разорвать надувшиеся брюки, снова унижительно присел и стал искать и вырезать перочинным ножом признаки несуществующей травы. И опять я думаю о том, что этого пожилого старобытного немца мучает, конечно, не этот рыжий караульный малый, а его окриками мучает та же солдатская, варварская Германия; и старик должен либо здесь умереть, либо влиться в гитлеровских сверхчеловеков; такое воспитание не пустяки, я видел лица этих порабощенных людей.

На лугу гусиным шагом маршируют молодые гитлеровцы; их учит унтер-офицер, уже в годах, провоевавший войну и готовящий теперь эту молодежь ко второй. Под его лающую горловую команду парни машинно маршируют с видимым удовольствием. А я, легши в самом дальнем углу луга, вспоминаю, как вчера на свиданье ко мне приходила жена, как, войдя в этот Дантов ад, в этот особый мир концлагеря, под взглядами гитлеровцев она шла не своей

походкой, будто у нее приклеивались к булыжникам ноги, будто она переставляла их с усилием. За дни моего ареста она исхудала, исплакалась, когда караульный отошел, успела рассказать, что по ночам к нам прибегают соседи-немцы поужасаться над совершающимся, соболезнуют, приносят для меня кто кусок сыра, кто два фунта яблок, кто четвертку масла и, чтоб никто их не увидел, так же тихо скрываются в темноте. В тюрьме люди всегда становятся сентиментальны, таково уж свойство тюрьмы и людей; и переданная от этих немцев еда трогает и радует меня.

Но на лугу зашумели голоса, ввели новую партию арестованных. В середине их почти богатырь, старик на седьмом десятке, с висячим животом, его седо-рыжие волосы причесаны на пробор, одет он в темно-коричневый костюм, по виду и повадкам типичный парламентарий и, если хотите, «бонза». Как истый буржуа, он против воли сторонится на лугу полуголых заключенных-пролетариев и стоит словно топором по лбу ошарашенный мастодонт. Через проволоку с улицы смотрят какие-то вольные, но часовой окрикнул зазевавшихся, и они заспешили по своим делам. А часовой опять проминается вдоль проволоки по кайме шириной в два метра, на которую арестованные не смеют ступить.

Но вот, в раздумье, опустив голову, от вновь привезенных арестантов медленно отошел краснощекий немец с остро общелкнувшимся под жилеткой животом. На нем легкий летний костюм, брюки тщательно заутюжены. По лицу, по виду это благонамеренный демократ. Глубоко задумавшись, он то приостанавливается, то снова движется к запретной черте. Вот он уж шагнул на эти два метра, из кармана пиджака вынул аккуратно сложенную, вероятно, заботливо данную женой, знаменитую «Stulpenpapier», оторвал кусок приблизительно в свой зад и, чтоб не запачкать брюки, положил бумагу на траву, аккуратно на нее сев. Часовой идет к нему спиной, но он сейчас повернется. Я гляжу. Нет, он не заорал ему издали. Но, подойдя, серьезно сказал: «Здесь сидеть воспрещается!» И, несмотря на брюшко, ловко привскочив и подхватив с собой кусок бумаги, немец проговорил:

— Ах, здесь воспрещается? Danke schön! А где ж разрешается?

— Здесь, — мрачно указал гитлеровец на место рядом, но так, чтобы зад заключенного не приходился на роковой двухметровой черте.

И, сделав два шага, демократ снова расстелил кусок бумаги и аккуратно, но уже уверенно на нее сел; из кармана достал «Völkischer Beobachter» и погрузился в чтение.

Я и не хочу улыбнуться и улыбаюсь. Я не профессиональный бунтарь. Мы все знаем, что такое революция, и, конечно, всякая революция есть человеческое несчастье. Но на толстого, краснощекого немца с заутюженной складкой, на эту тщательно подложенную под его зад бумагу я гляжу с легким славянским презрением, ибо это его отношение к «воспрещается» и «разрешается» — это не бессильная тюремная покорность поработанного, нет, это какая-то несомненная попытка приятия нового, обнародованного порядка. И тут не только мы, славяне, но все «не немцы» чего то не понимаем в этом германском тяготении к тому, чтобы быть управляемыми, быть командуемыми, быть под, а не над. Глядя на читающего газету немца, я вспомнил, как после краха небурной немецкой революции 1848 года берлинские портные шли к королевскому дворцу с плакатом: «Unter deinen Flügeln kann ich ruhig bügeln». И вот те из немцев, у кого эта шишка «тяги под» не слишком еще развита, должны ее доразвивать в концентрационных лагерях. В этом вся суть этих насильнических лагерей, где по команде трупфюреров заключенные бессмысленно бегают кругами по двору, перочинными ножами вырезают траву, роют ямы, которые, раз вырыв, немедленно же засыпают. Спору нет, «der Mensch ist nicht gebohren frei zu sein», но должна же жить в человеке пусть даже ложная, но все же мечта о свободе? А вот Германия больше всего возненавидела «беспорядок».

VII

В лагерь въехал лаковый черный автомобиль с восемью арестованными. Худой и высокий, как каланча, гроза лагеря комендант Франц Крюгер выстроил их всех на дворе и, наизмывавшись над ними, потоком брани особенно осыпает одного молодого, спортивно одетого, широкоплечего шатена с очень немецким округлым лицом.

— А ну-ка посмотрим, как он бежит! — вдруг с хохотом вскрикивает Крюгер. И по его команде молодой человек побежал по двору, но он сыроват и бежит не очень шибко. Крюгер махнул одному из гитлеровцев: «Наддай!» И под хохот всех гитлеровцев побежавший нагоняет арестованного и наносит ему удары в спину, в затылок, в шею.

«Упадет или выдержит?» — думаю я. Нет, молодой человек выдержал, бежит, теперь я вижу его лицо, судорожно перекосенное в ожидании удара.

— В одиночную! — крикнул Крюгер.

Двое гитлеровцев повели арестованного в одиночку. Но вскоре же провели назад по двору на допрос. Идя через двор, молодой человек ладонью отряхивает пиджак, по испачканной спине видно, что в одиночке он лежал на полу. Что его ждет? О чем он думает, идя на допрос в эту страшную комнату № 16? Он, конечно, знает, что будет истязанье, пытка, быть может, убьют. Но идет с гитлеровцем твердо, иногда приглаживая рукой поднимаемые ветром светлые волосы.

Перед сумерками в ворота лагеря вошел Нессенс. Возле столпившихся на дворе караульных приостановившись, спросил: «Сюда прислали брата...?» (но как я ни напряг слух, я не расслышал фамилии). Караульные ответили утвердительно. Нессенс сказал: «Приведите-ка его ко мне» и стал похаживать мелкой танцующей походкой перед главным зданием. Я видел, как из казарменного здания одиночек вывели этого самого круглолицего молодого человека, вероятно, брата какого-то крупного врага гитлеризма. Перед Нессенсом арестованный встал руки по швам. Но, не поглядев на него, Нессенс почти ласково сказал: «Пойдемте ко мне» и тихо двинулся в главное здание.

Они прошли через мою проходную комнату, вошли в соседнюю, с надписью «Главная касса». Судьба этого немца, окруженного ненавистью гитлеровцев, меня волновала. Я сел на свой соломенный мешок и вдруг услышал понесшиеся из «Главной кассы» иступленные крики Нессенса и звуки ударов, вероятно по лицу. В ответ ударам раздавалось сдавленное, будто коровье, мычанье. В потемневшей комнате я лег на тюфяк, прикрылся одеялом. Долетавшие крики Нессенса становились дики и вдруг сразу оборвались, пошла какая-то глухонемая возня с придушенным бормотаньем. Остаться в комнате становилось невозможно. Не подавая виду стоявшим возле здания гитлеровцам, я вышел.

— Ну, показывает он ему номера, — услышал я голос гитлеровца Брукмана, уголовного вида сырого парня, одетого в грязный пиджак и синюю блузу.

Стоявший с краю, крутоплечий, животно-сильный трупфюрер Вилли затянулся папироской, лениво сплюнул на сторону, ничего не сказал. Вдруг из главного здания выбежал тяжело-дышащий Нессенс, ни на кого не глядя, пробежал в караулку и тут же с резиновой палкой в руке побежал обратно.

Замотав головой, Брукман засмеялся: — «Испестрит он его!» — и пошел в здание, но тут же с порога высунулся и, все еще смеясь, крикнул: — «Вилли, тебя зовет!»

Разъевшийся трупфюрер Вилли затянулся последний раз, отбросил докуренную папиросу и по-солдатски легко и быстро пошел к Нессенсу. На дворе мутно темнело. В подвалах пивного завода арестованные уже лежали на соломе. Я попробовал было войти в свою комнату. Но за дверь «Главной кассы» шла тупая возня, слышались стоны, хрипы, становилось ясно, что Нессенс убивает молодого немца. И вдруг меня охватило чувство рвоты. Я поспешно пересек двор, вошел в клозет. Кружащее рвотное чувство не покидало меня. Из темноты отхожего места, в оконце, я вскоре же увидел, как танцующей, семенящей походкой, в пальто внакидку, Нессенс пересек двор и скрылся за воротами лагеря. За ним, насвистывая тустеп, прошел в караульное помещение Вилли. Идя назад в главное здание, я думал о том, что сейчас Нессенс идет по улицам мирного, укладывающегося спать вечернего Ораниенбурга и никто из встречных немцев не знает, что этот человек только что убил другого. Дома его, вероятно, ждет любящая жена, она уже приготовила ужин, на столе кофейник, накрытый пестрым вязаным чехлом, чтоб кофе не остывал. Нессенс поцелует жену, сядет за стол, разговаривая, начнет резать мясо, жевать, глотать, пить. Вероятно, он проголодался и устал; все-таки убить — это не так уже просто; и, усталый, он раньше обычного ляжет спать на удобную широкую постель.

В своей проходной комнате я взглянул на дверь «Главной кассы». Она заперта. Тишина. Я лег на соломенный мешок, поджавшись, завернулся в принесенное женой одеяло. Зеленоватая луна выкатилась над лагерем и повисла, освещая в моей комнате на полу длинный ромб. Через комнату прошел телефонист, свободно раскрыл дверь «Главной кассы». «Стало быть, они вытащили труп в смежную комнату?» — подумал я. От ворот долетел неестественно взвизгивающий хохот девушек, под луной пришедших на ночное свидание к уставшим за день гитлеровцам. Кто-то начал играть на гармонье. Лежа, я представлял себе гостиную в немецком доме среднего достатка, с вышитыми подушками, ковриками, с обрамленными фотографиями, с натертыми до метафизического блеска полами; и в этом холодноватом уюте седую, рыхлую, но энергичную немку-мать; сейчас она в думах о сыне, боится за него и еще не знает, что на полу грязной комнаты лагеря вместо сына уже валяется окровавленное мясо.

Ударив створкой, в окно потянул сквозной ветер. Кто-то, напевая, пошел по двору, и напев словно уплывал один, без человека. Ораниенбургская церковь начала отбивать часы. Я зарубал в памяти это немецкое округлое лицо, его спокойное выражение, мелочи одежды, красные туфли, коричневые гольфы, как заставляли его бегать, как вызвал его Нессенс, и неизвестный немец мне говорил: «Запомни меня хорошенько, чтоб хоть когда-нибудь рассказать, как они меня убили». Прервал меня задрожавший подъехавший к лагерю грузовик, он разрывал ночную тишину нетерпеливыми гудками, словно кричал: скорее! И в караулке, и в амбулатории все ожило, зашумело, закричали голоса. Над зданием, осветив двор, вспыхнула сильная электрическая лампа. Грузовик въехал во двор, и было слышно, как с него спрыгивают люди. Потом со двора в амбулаторию через мою комнату прошел, окруженный гитлеровцами, приехавший Шефер. Из амбулатории донесся шум голосов, возня, словно из соседней комнаты тащили что-то тяжелое, и вдруг это тяжелое с грохотом бросили на пол. В наступившую паузу донесся с усмешкой голос Шефера: «Kinder! Wie haben Sie ihn beschmutzt!» Это, конечно, ему показывали труп убитого Нессенсом немца. Ботая сапогами, несколько гитлеровцев выбежали в темноту двора, закричали: «Стаскивай!» И по наполненному звуку шагов, по кряхтенью и полусловам было ясно, что они тащат какие-то тяжести и в узкой двери протискиваются с трудом. Снова в амбулатории голоса, возня и опять грохот брошенной на пол клады и тут же дикое страдающее мычание, словно человека с заткнутым ртом. Меня обдавала лихорадочная дрожь, я не мог ее осилить. А из амбулатории — голоса, шум, возня, стоны. Будто кто-то, прыгая на связанного и нанося ему удары, полуголосом выпытывает: «Где Гофман? Говори, где Гофман?». В ответ — глухонемые мычания. Потом все стихло. Из открывшейся двери блеснул углом свет. Шефер с гитлеровцами прошли по моей комнате в «Главную кассу». Слышно, как с аппарата кто-то взял телефонную трубку и голос Шефера произнес: «Ораниенбургская полиция? Начальник лагеря Шефер... Черт возьми! — закричал он. — Я же приказал немедленно!.. Да, к Хафелю...» — И трубка брошена. Название реки, на которой стоит Ораниенбург, ошеломило меня. Ночное действие становилось ясным; последний его акт: гитлеровцы везут что-то топить в Хафеле. Я ждал. Вскоре на дворе зацокали подковы, по булыжникам загремели колеса и тут же из амбулатории послышались шаги нагруженных тяжелой кладью людей; путаясь в дверях, они что-то

выносили, укладывали и вскоре, вертясь по камням, зашумели уезжавшие колеса. Уехали. Все замерло, все угасло. Гитлеровцы разошлись спать. Над лагерем глубокая тишина, будто никогда она и не была нарушена. Только зеленая луна за это время поднялась несколько выше. Где-то залаяла собака. На колокольне медленно прозвонили часы. И все. Тишина. Связанный путами изнуряющей бессонницы, лежа на соломенном мешке, я все прислушивался к этой не нарушаемой ничем земной тишине.

VIII

На дворе буйно свистали флейты, стонали трубы, корнет-а-пистоны и, как живой, бухал большой барабан. Одетые в коричневые рубахи, красношее музыканты играют марш. В воскресенье в лагере всегда играет военная музыка. Только свидания сегодня отменены комендантом Крюгером, потому что в берлинском предместье Кёпеник молодой социалист Шмаус при аресте оказал сопротивление, убив двух гитлеровцев. Его, раненого, схватили вместе с отчаянной матерью, кричавшей сыну: «Стреляй в них, Антон, стреляй! Чего ж ты не стреляешь?» А отец Шмауса не дался живым, забаррикадировавшись на чердаке, повесился. Для нас, заключенных, лишение свиданий — большое наказание, ибо тюремное свидание есть всегда еле уловимое прикосновение свободы.

Чуть подпрыгивая, толстоплечий, животастый капельмейстер дирижирует знаменитым Баденвейлерским маршем. Это любимый марш Гитлера, марш полка, где в мировую войну он служил ефрейтором. На улице худая беременная немка сопротивляется часовому, отгоняющему пришедших на свидание. Этих женщин трудно отогнать. Немка вцепилась в лагерную проволоку, стараясь хоть взглядом разыскать мужа за решеткой в арестантской толпе. Возле нее пухлая блондинка с непокрытой головой подняла двухлетнего мальчика и показывает его отцу за решеткой. Заглушая плач, крики, голоса, Баденвейлерский марш сотрясает воздух. И нежным сиянием солнце обдаёт начищенные трубы оркестра и посреди двора стоящего коменданта Крюгера, празднично одевшегося в черный мундир с кровавыми петлицами. Крюгер чему-то улыбается, слегка похлопывая хлыстом по своему начищенному голенищу.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

I

И вот серый рассвет, мелко сеющий дождь, и пустоватый поезд несет меня к Парижу. Каруселью отбегают сиреневые домики, плещущие розами палисадники, как картонные, вертятся сероствольные платаны, кудрявые девушки в пестрых платьях пролетают мимо, их застлали рекламные щиты коньяков, пудры, прованского масла. Неясным беспокойством ощущается близость Парижа.

Прикусив опушенную усиками верхнюю губу, черноглазая француженка пудрит плохо вымытое в вагонной уборной лицо, сурьмит выщипанные кукольные брови и толстым карандашом делает свой бледный рот похожим на красный рот слепого котенка. Париж уже близок. В это туманное утро, заволоченное дождливой мглой, кто-то встретит ее на вокзале и под локоть подсадит в дешевый автомобиль. Француз с подвитыми усами и молодо блещущими беззрачковыми глазами, в веселеньком галстуке, что-то напевает укладывая чемодан. Он улыбается тоже, вероятно парижской встрече. Даже лукавый, седо-розовый аббат в ожидании Парижа закрыл молитвенник и сунул его в глубокий карман вороной сутаны.

Париж ждет их всех. А ведь всего несколько часов назад не было ни этих беспечных глаз, ни беззаботных движений, ни беспричинно выходящих на губы улыбок. Я, признаюсь, всего этого не видел уже лет двадцать, с того самого дня, как из родного дома ушел на войну. После войны из окопов возвращаться было почти некуда; а там две гражданских войны и невольное путешествие в побежденную Германию.

Я забыл даже, что существует еще вот такая беспечная жизнь, с множеством дешевеньких колец на пальцах, с лакированными женскими ногтями, веселенькими галстуками, с затопляющей рекламной пестротой алкоголей. От этого отдохновенного, легковейного воздуха я отвык. А тут и от лукавого аббата, и от темноглазой девушки, и от напевающего старичка, и от дамы с расфранченными куклятами-детьми, от всех французов, от всей Франции веет наслаждением жизнью.

Вспотевший паровоз, отплевываясь белым паром, пробегает по мостам, насыпям, откосам, с приятным разговором перепрыгивает с рельсов на рельсы и, наконец, шипя, вползает под стеклянный дымный колпак парижского вокзала.

Я себе так и представлял Париж. С низко опустившегося неба, как с потрепанной декорации, несет липкая сквозная мгла; тускло блестит грязнота асфальта. В этой сырости, кажется, не может быть солнца. Я останавливаю по воде с брызгами шуршащий красно-желтый попугайный автомобиль, и в этой мокрети, в общем потоке машин, я уже двигаюсь по улицам, входя в жизнь Парижа. На него я гляжу с приготовленной русской любовью. Но, Боже мой, как заброшены эти седые улочки, как грязны тупички, как нечистоплотен, салеен великий город, какими дряхлыми проулками везет меня неизвестный француз, зарабатывающий на жизнь искусством шофера. На тротуарах из железных коробок вывален вонючий мусор, в стоках мостовой, как живые, распластались грязные тряпки, волнующие водой; какая-то ребрастая подыхающая сука обнюхивает выставленные у молочной бидоны, и из-под открытых общественных уборных по мостовой текут ручьи. О, Париж! Вот он, дряхлый чаровник мира! Как же ты грязен, старичок, пока тебя еще не побрили и не сделали утреннего туалета.

Но вот вместе с потоком машин мы влетаем в широкую светлость улиц, и Париж словно поворачивается другим боком. Это — Лувр, Тюильри, «батюшка Пале-Руаяль», места великих французских волнений, священных безумий, убийств и смертей. Вот когда-то глотавшая головы гильотинной площадь Согласия, как она хороша в это синее утро и как тиха через полтора года лет! От нее потянувшиеся утренние Елисейские поля дышат прелестью французской деревни, на их каштанах поют птицы, и за ночь взмокшую гладь мостовой, позевывая, подметают какие-то старички в смешных картузиках.

Резко мелькнула зеленоватая, мутно-илистая Сена с белыми горбами ее мостов. И вдруг блеском ослепляет перспектива площади Инвалидов, а за ней зеленые деревья и кусты Марсова поля с поднявшейся воздушным кружевом состарившейся знаменитостью, старушкой Эйфелевой. И опять кварталы открытых базаров, шумливых лавчонок, подозрительных кабачков, подслеповатых публичных домов, это опять тот же Париж, повернувшийся ко мне уже не знаю каким боком.

В узкой, зловонной, как невытая кишка, улице, среди человеческой толкотни, красно-желтая машина останавли-

вается. Я, оказывается, приехал. Улица, конечно, грязна, безалаберна, бестолкова. Гораздо было бы лучше, если бы она пестрела газонами и цвела липами, но на свежем воздухе зеленого луга немецкого концентрационного лагеря я мечтал ведь о свободе вот на этой парижской улице? Так, чего же мне надо? Вот она и есть: и улица, и свобода! Счастлив? Ну еще бы! Франция подарила мне мою мечту.

И все же, медлительно расплачиваясь с шофером новыми для меня монетами с изображением Марианны, я испытываю жесткое чувство бездомности и странного волнения. Но я уже поднимаюсь по осклизлой винтовой лестнице гостиницы «Золотая лилия», дурно пахнущей неубранными постелями, уборной, пудрой, дешевой смертью. Отяжелевший, небритый хозяин даже ранним утром дышит на меня красным вином; в его гостинице живут арабы — торговцы орехами, забытые жизнью проститутки, негры — продавцы ковров и кокаина, и русские эмигранты, офицеры и солдаты мировой войны, ставшие почти что нищими.

В центре довольства, блеска, утонченности, изысканности, мод, вкуса, богатства, свободы, в Париже судьба дает мне переспать в комнате бедного русского шофера, пахнущей кошками и невымытым бельем. Откуда-то доносится неприличный граммофонный мотивчик, куплетист поет, что на свете нет ничего приятней парижской любви. В этой комнате гостиницы «Золотая лилия» трудно даже представить, что так недалеко существуют еще немецкие концентрационные лагеря, «воспитательные работы», «гусиные колодки», громы Баденвейлерского марша и убийства заключенных. Я знаю, что это есть, но для меня это тоже уже ушло, и после утомительного пути я засыпаю в чужой постели и мне снится мой детский, всегда пугающий меня сон, как к моей постели медленно приближается человек без головы, в черном сюртуке, и что-то мне шепчет...

II

Что это за пестрота выющихся дешевеньких занавесок? Что за заплеванной умывальник? Что все это такое? Но я прихожу в себя: это мой Париж, это одна из станций многолетней бездомности.

Париж одет в голубоватую старинную дымку, это его единственная одежда. Я иду в подвижной парижской толпе, шумно стучащей миллионами женских высоких каблуков, мелькающей женскими икрами в шелковых чулках. Париж

отовсюду кричит ртом уличных торговцев; мясники в белоснежных, но чуть-чуть закровавленных передниках зазывают за мясом, арабы предлагают орешки, хрипят лотошники, продавая фрукты, овощи, запыленные конфеты, небритые газетчики выкликают клички газет, а у туннеля подземной дороги уличный певец с лицом бандита поет под гармонию песенку о любви, о Париже; и тут же неподалеку на улице стоят три козы, пастух и овчарка; слушая песню, этот пастух все же не забывает предлагать прохожим козий сыр и козье молоко.

Мимо книжных лавок букинистов, где приколоты раскрашенные портреты каких-то генералов, великих людей, куртизанок, я выхожу к закопченным скалам Notre Dame. По зеленоватой Сене медленно плывут груженные диким камнем баржи, какие-то белые пароходики, баркасы, и на оковавших реку гранитах полудремлют парижские лентяи-рыболовы, закинувшие удочки в муть Сены.

В голубой дымке под золотым солнцем, потоком как будто беспечной и веселой, но страшной и напряженной жизни течет беспощадный Париж. Он дробится во мне картиной кубиста, вероятно, потому, что я чужероден и чужд очарованию этой греческой свободы уличной жизни. И какая это тягость в шуме чужого языка, на чужих улицах, среди чужих жестов, в движении чужой стихии быть совершенно свободным. Я это внезапно с отчаянием ощущаю, ненужно стоя у какого-то фонтана на площади Saint Michel. Я гляжу на весь этот движущийся вокруг меня Париж и думаю: «Да, какая это тягость, жить без своего неба, своего дома, своего крыльца, своего языка, своего народа, своей родной стороны!» Это, конечно, слабая минута, это пройдет, и я позабуду всю разъедающую соль этого ощущения. Но сейчас никто не знает, как вблизи желто-черноватых стен Notre Dame я в первый раз за всю свою бездомную жизнь завидую и этому неспешному старичку французу в какой-то старомодной разлетайке с седой бородкой Наполеона III, и седокам сгрудившихся у моста разноцветных автомобилей, и пассажирам трясущихся зеленых автобусов, всем им, французам, только потому, что они у себя дома и у них дома, в Париже, очень хорошо. Я внезапно понимаю, что никакой России у меня нет и быть уж не может; это — химера, ночной эмигрантский бред и самоулялякивание; жизнь потеряна раз и навсегда и на ее конец остается только классическая тяжесть чужих порогов и горечь кусков чужого хлеба.

Это, конечно, неспаянная ночь, ошеломительное впечатление. Я стыжусь себя за слабость вырвавшихся чувств. Я

иду к Люксембургскому саду. Все французы кажутся мне неживыми, ускользающими, движущимися сквозь затуманенный бинокль. Они весело обедают на открытых верандах ресторанов и кабачков, они смеются; едят со вкусом устрицы, сыр, виноград, пьют вино. Я давно отвык и от этого обилия яств, и от этого пиршественного веселья, для которого, вероятно, нужнее всего душевное спокойствие. О, у них его, до зависти, сколько угодно! Правда, мне чудится и иное, но это за мной, вероятно, идет тревожная тень Германии: а не опасно ли так уж ублажаться устрицами, вином, мясом, салатами и время ли так уж подолгу сидеть на этих чудесных, располагающих к лени и разговорам верандах кофеен? Ведь в Германии встали беспощадные мифы XX века, там сейчас презирают и отдохновенье, и свободу, и праздность, и изнеживающее обилие яств. Там едят грубо, работают без роздыха, создавая полуголодных, выносливых новых людей, которые будут безжалостны, если им придется разрушить с воздуха этот хрупкий Париж и всю эту наслаждающуюся Францию, не могущую оторваться от хорошо приснившегося сна.

Вот он, Люксембургский сад, памятник Верлену, памятник Бодлеру. На фоне зелени застыли в движении темные бегущие скульптуры. Над цветами, бассейнами, газонами, детьми, играющими в мяч, и буржуа, стучащими молотками довоенной игры крокет, над всем чудесным садом, где в вакхической бесплановости разметаны желтые железные стулья, на которые многие положили ноги и, греясь на солнце, полудремут, над всем изяществом этого нежного Люксембурга летит размягчающая душу и волю песенка гармониста о том, что мимо него проплыла любовь на речной шаланде и он тоскует об этой уплывшей любви. Конечно, может быть, вывезенное из Германии мое чувство тревоги и ложно; вероятно, я ничего не понимаю в этой светло-лющейся латинской стихии. Может быть, в последнюю минуту в смертельном страхе за свой очаг хромоногий гармонист, забыв уплывшую любовь, и бросится храбрым солдатом к границам Франции. Я, беглец из двух тоталитарных стран, просто гуляю в Люксембургском саду и думаю. Я думаю даже о том, что бездомность иногда становится достоинством, давая и опыт, и облегченность пути, в котором ничего уж не остается для потерь. Так я хожу среди французов в музыкальном сумбуре Люксембургского сада, как в пустыне. Но начинает смеркаться, сторожа звонят, сад запирают, и надо куда-то уходить. Сейчас, в сумерках, каждому особенно нужен порог, к которому бы прийти.

А я вот ночью один на скамье неизвестного парижского бульвара. Над головой стонут рельсы надземной дороги, темь и грязь, колоннада, составленные спинками скамейки. Между двух скамей вставив деревянные култышки, к которым приделаны его обрезанные ноги, примостился какой-то француз, вероятно участник мировой войны; в такой позе он уже не может упасть и, положив на руки курчавую, в грязном берете, голову, спит, обдавая окрестность перегаром вина. Где он потерял свои ноги? Под Верденом? На Сомме? Когда ему оторвало их, он был молод, теперь заросшее щетиной лицо налилось застоявшейся лиловой кровью, он почти стар. А на противоположной стороне ослеп публичный дом, сквозь его железные ставни радио сипло выбрасывает в ночь что-то веселенькое, как она его обманула и как она от него ушла. Песенку глушат харкающие гудки ночных автомобилей; пары бензина и истертая подметками пыль заменяют бульвару воздух. Я свободен. Я один. Я на парижской улице. Но мне кажется, что все вокруг меня движется страшной, уродской бессмыслицей. Чересчур уж много на темных тротуарах проституток, чересчур уж много шляп и пиджаков у кабацких оцинкованных стоек перед рюмками разноцветных алкоголей.

В кровавых огнях неоновых ламп тают очертания женщин, голоса их ржавы, девочки стары, дешевы, только за три франка зазывают в темноту черного переулка. На его углу одна, блеснув куском панталон, присела, зашуршав струей, и, неверно привстав, пошла, вертясь на острых каблуках, останавливая темных мужчин, кивая на тупичок. Из публичного дома гурьбой высыпали солдаты в голубой военной форме, все смеются, облегчились в этой первобытной ночи.

Раскорячив черные ноги над всем Парижем, темнеет Эйфелева. В змеящихся огнях по бульвару толкаются без дела солдаты, арабы, негры, девки, где-то поются куплеты и с музыкой вертится электрическая карусель. Это апокалипсис парижской ночи. А мне бы заснуть, а спать негде, даже бульварную скамью и ту занял безногий участник войны. Где-то над нами потерялось никому не нужное в Париже небо, его мелкие запылившиеся звезды, как сыпь. Кто выдумал эти огни, эту толпу, этот ночной бульвар? «Броситься бы с него в какие-нибудь прохладные сады», — думаю я, от усталости смежая глаза. К скамье подошел негр, на обвислых черных щеках всклокочена седая борода, он раздробленно дышит и ругается, что-то довело его до ярости. Он тяжело опустился на скамью, неверно выбросив ноги, и разворачивает газетный сверток с хлебом, сыром и початой бутылкой плещущегося

красного вина. Чавкая, он начинает ночную трапезу; в ползущем червивом человеческом месиве, на сцене этого темного бульвара, негр неплохой персонаж; негр жует, бормочет, ругается. «Но неужели это мой брат во Христе?» — думаю я, рассматривая черного старика. Я очень устал, я даже внутренне жалуясь кому-то, и тот, кому я жалуясь, начинает мне отвечать. Мы разговариваем с ним давно, с детства. Он один знает меня изнутри, из-под кожи; но мы говорим только в минуты потрясенности и тревоги. Я помню, мы говорили еще в Пензе, когда умирал отец, в бою под Млынскими хуторами, когда я лежал на луговине, когда был ранен вечером под Кореновской, когда гитлеровцы в Ораниенбурге убивали молодого немца. Сейчас я говорю ему, что так жить мне трудно, почти невозможно. Кто он? Эхо? А может быть, это и есть Бог?

III

Вдали синеватым сахаром блестит хребет Пиренеев. На тяжелом крутосклоне я пашу на паре бланжевых коров. Небо еще не нагрелось, воздух звучен, как в концертном зале, отовсюду слышны долетающие однообразные понукания пахарей. В матерчатых занавесках на мордах (чтоб не кусали мухи), в проволочных намордниках (чтоб не хватали траву), коровы мои, выгнув спины и медленно переставляя ноги, волокут плуг, отваливающий блестящие пласты суглинка, а по борозде, сзади меня, гомозятся куры.

Это небо не наше. Это небо с полотен французских импрессионистов. Такого розовато-голубоватого, и с желтью, и с празеленью, неба в России не бывало. На воспользовавшихся моей задумчивостью затихающих коров я кричу: «Ха, Вёрми! Ха, Верро!»; и коровы вновь натягивают плужную цепь, ускоряя движение. До чего умны эти гасконские коровы, ими управляешь голосом. Я задумался о том, о чем, собственно, никогда не надо думать: о прошлом.

После теплых дождей пашется хорошо. Я пашу крутосклон второй раз: теперь плуг идет уж легко, почти не приходится придерживать ручку, я лишь медленно двигаюсь за коровами и разговариваю сам с собой. В это утро я вспомнил, как подростком в своем пензенском имении тосковал по трудовой жизни. «Ну, вот она и есть. Правда, с запозданием на двадцать пять лет, но пришла именно она, мускульная, трудовая, крестьянская жизнь». Под широкополой соломенной шляпой я улыбаюсь тому, что это утро, пашня,

коровы в русском переводе именно и значат: «Ну, тащися, сивка, пашней десятинной, выбелим железо о сырую землю!» Только на этом гасконском крутосклоне мне кажется теперь, что тогдашняя тоска мелкопоместного пензенского барича была зряшной. Ну, разумеется, ну, конечно, и в ней, как во всей катакомбной философии Толстого, жила какая-то пленительная социальная правда; но сказочная, а потому вредная людям. Этот кающийся нерв русской интеллигенции революцией с кровью вырван из русской жизни. «Аррэ, Верми, ха, Верро, орэ сай...» — по-гасконски кричу я, перевертывая плуг. Тяжело переступая, коровы неуклюже крутятся и снова, натянув цепь, медленно волокут его.

За работой я часто мысленно разговариваю с Львом Толстым. Мне раньше всегда казалось, что он, как никто, умел чувствовать и любить землю. Но, став крестьянином, я понимаю, что Толстой чувствовал и любил ее сверху, по-барски. Крестьянин любить земли не может. Он, если хотите, любит ее, но так, как корова любит траву, которую ест, как лошадь любит дорогу, по которой бежит. То есть живет землей. Став сам мужиком, я хорошо теперь знаю эту человеческую особь. До чего он, мужик, глух, нем, жесток, первобытен, неблагоприятен и всегда хитер, как хитры окружающие его животные, и всегда нечестен, как нечестны с ним природа и Бог. Мужик должен быть таковым, ибо таковы силы земли, иначе мужику с землей и не сжиться, и не справиться. Он с рождения знает неблагоприятность своей земли. Мужик всегда сумеречен, суеверен и никогда не может быть истинно религиозен, оставляя это пастухам, поэтам, бродягам.

Небо надо мной уже другое, ярко-лазоревое, с ослепительно тающим солнцем. Оводы и слепни облаком вьются над спинами коров. Солнце почти что отвесное. Я знаю: скоро полдень. На краю поля, зайдя головами в тень кустов, коровы мои не хотят поворачиваться. Я даю им отдохнуть. Эта гасконская глина тяжела: если нет дождя, она клекнет, становясь камнем, если польют дожди, она разойдется месивом и пахать нельзя. Это не пензенский чернозем, который паши, когда хочешь. Здесь надо еще уметь выбрать время пахоты. Но русская революция заставила меня вздирать именно эту французскую глину, и я ее вздираю. Причем иногда даже сам себя спрашиваю: а не выиграл ли я на всероссийской революционной лотерее? Кто из нас, русских спасся от всеокрушающей революции? Большевики, что, окружая Ленина, зачали октябрь, в большинстве расстреляны в подвалах своей же чеки. Рабочие? Те, что верили в «кто был ничем, тот станет всем», вот уже больше двадцати

лет ведут рабью жизнь египетских феллахов. Мужики, солдаты, вся Россия, что из окопов бросились делить землю? Революция давно их лишила земли, превратив в полунищих государственных батраков. Интеллигенты? Свободомечтатели? В революцию их погибло множество, а те, что остались, влачат тяжкую жизнь несвободы. Так что в предгорьях Гаскони моя судьба совсем не худшая. Повернув коров и перекинув плуг, я спрашиваю себя: но разве я не тоскую, что выброшен из России? И, идя за коровами, с предельной искренностью отвечаю: в моей скитальческой жизни я всегда чувствовал облегчающее душу удовлетворение, что живу именно вне России. Почему? Да потому, что родина без свободы для меня не родина, а свобода без родины хоть и очень тяжела, но все-таки остается свободой. «Ха, Верми! Ха, Верро!» — подгоняю я моих затихающих коров.

IV

Нетерпеливо отмахиваясь хвостами и ногами от оводов, ощутив ослабленность ремней ярма, коровы сбрасывают его с головы и смешной рысью, как не умеющие бегать женщины, трусят в стойло к охалкам маиса. А я иду в свое крестьянское жильё, которое каждому художнику захотелось бы написать. Старый крестьянский дом из дикого камня; стены увиты виноградом, от купороса ярко-голубым, голубоваты даже камни, легшие фоном винограда, а виноград перерезали розовые, желтые вытянувшиеся до крыши мальвы. У порога пунцовым огнем цветет гранатовое дерево. В этом многовековом доме прохладно в жар и сыро в зиму, греет только камин в полстены.

У нас в красном углу — икона, копия Св. Троицы Андрея Рублева, на стене дешёвая автотипия: А. С. Пушкин, с портрета Тропинина. Александр Сергеевич смотрит на свисающие с балок пучки укропа, связки лука, чеснока, на все бедное убранство комнаты.

Старчески сторбившаяся, с широко-грустными глазами, словно ставшими еще шире и темнее, мать на этой ферме больше всех беспокоится, уродится ли маис, взойдут ли арбузы и дыни, встанет ли полегшая после бури пшеница, оправится ли неладно отелившаяся корова? Она любит и этот, наверное уже последний, кусок французской земли. И здесь все ее дни, как всегда, в материнском беспокойстве за утлый корабль нашей уплывающей жизни. Иногда невзначай глянув на нее, я с большим напряжением застав-

ляю себя представить, что там, в Пензе, в зеленой гостиной игравшая вечерами Шопена и Моцарта, это была она же, связавшая в моей памяти тот свой молодой облик с убегающими, ускользающими звуками «gondo alla turca».

Сам-шесть мы садимся за стол, обед весь свой; овощи с огорода, хлеб своего зерна, молоко своей коровы, вино своего виноградника, яйца своих кур, все, что дали труд, земля, животные. По земляному полу комнаты ходят цыплята, утята; выгнув спину, у ножки стола вьется кот; тут же рыжая овчарка, помощница в пастьбе, и я считаю, что если мы и не в интеллигентном, то в очень приятном обществе. За обедом наши разговоры однообразны и для постороннего совершенно скучны; это все заботы хозяйства; появившиеся на картошке дорифоры, на винограде оидиум, плохие всходы кормов, запор у теленка, базарные цены на цыплят и всякие соседские несложные сплетни и новости.

V

Первым косцом идет брат, вторым Иван Никитич, третьим я, а моя жена и жена брата вяжут снопы, кладут их в крестцы и от крестцов желтое поле как бы приподнимается. Так мы работаем до полдня. А в полдень, обедая в тени фигового дерева, Иван Никитич, отирая потную сморщенную, словно замшевую, шею и вместо русского кваска отпивая из бутылки «пикет», рассказывает, как смолоду служил в урядниках в Сальских степях и какие видывал там священные калмыцкие праздники. Иван Никитич донской казак, бывший атаман своей станицы, живет по соседству, на ферме в развалинах древнего католического аббатства; земля у него неудобная, безводная, скалистая; казаку пошел седьмой десяток, и он, как перст один, ковыряется в этих скалах, а ночь напролет спит с горячей лампой, ибо как только потушит, то в развалинах, говорит, поднимается такая шамата, такая шамата, что тут же зажигает лампу и шамата тогда, со светом, исчезает.

В революцию Иван Никитич потерял трех сыновей, двух в белой армии и одного в красной, девочка-малолетка умерла без него, а о жене он так ничего и не знает. За годы странствований чего только Иван Никитич не перевидал: Турцию, Болгарию, Румынию, Германию, Корсику, север Франции, Гасконь, но лучше Тихого Дона для него нет страны, и он очень любит вспоминать донские степи, где гонял табуны долгогривых дончаков, где осенью с станич-

никами охотились на дроф, увозя битую дичь телегами, а когда ездили на рыбалку, то неводом захватывали столько рыбы, что и вытащить бывало не под силу. Иван Никитич помнит еще стародавние времена, когда казаки еще не сажали картошку, помнит, как земля была еще неделеная и по весне казаки выезжали всей станицей в степь и каждый сколько хотел, столько для себя и запахивал.

— Да рази хранцузам такое снилось?! — улыбаясь в седые усы, с искренним сожалением говорит Иван Никитич. — Да у нас же везде простор, поэтому наш брат тут в тесноте по заграницам-то и пропадает, изээх... — Иван Никитич глубоко и грустно вздохнул. — Вот работал я в Эльзасе, был там у нас один русский, Полем звать, то есть Павел, значит, так такой чудной был, ни с кем, бывало, слова не говорил, как есть, ни по-русски, ни по-хранцузски, ни по-немецки; ты к нему, Поль, мол, сколько время? А он улыбнется, покажет часы, и все. Ему скажут, Поль, подай, мол, вилы, он ногой их швырнет, и вся недолга. А завтракать завсегда отойдет к сторонке, сядет один и ест. И не старь, годов сорок, не боле. Говорили про него, будто гвардии офицер был, а как приехал за границу, будто, зарок дал ничего не говорить, пока не вернется к себе в Россию. И молчит. А работать примется, за мое почтенье, только как бы онемел.

Я плохо слушаю, я вспоминаю классическую толстовскую косьбу Левина с мужиками; тоже «барская была косьба», думаю я.

— А чудной все-таки народ калмыки, — вспоминает Иван Никитич, -- помню вот, служил я в Сальских степях и приезжает ко мне раз богатый калмык, Горгульгой звать, и плачет, что, говорит, ночью у него дочь умыкали. Я, говорит, знаю, кто умыкал, его юрта верстах в двадцати стоит, поедем, говорит, с нами отымать девку. Не хотел я ехать, да он пристал, возьми, говорит, Бога ради, три рубли, только поедем. Ну, дело, конечно, не мое, а делать нечего, взял я три рубли, седлаю коня, поехали. Едем мы по степи человек десять верхоконные и стали только доезжать до этой самой юрты, как, слышав нас, из нее выскакивает молодой калмык. Мои калмыки сразу с седел да на него, сграбастали, Горгульга кричит: «Он, окаянный, он дочь умыкал!» Повалили они его и давай плетить. Плетят, а он как резаный боров визжит, ох, что смеху тут было! — рассыпчатым стариковским смехом смеется Иван Никитич. — А из юрты на крик выбегает вдруг эта самая девка, здоровенная, лет осмнадцать. Калмык-то этот как рванется, так, не поверите, вырвался, схватил девку да к коням,

да кошкой на седло, да вместе с ней по степи! Калмыки на коней, я за ними. Скачу с ними, куды тут, ветер в ушах! Нагнали они их под откосом, сшибли вместе с девкой, с лошадьё в овраг, и не пойму я, как они все костей не переломали; схватили их обоих, а девка кричит: не хочу к отцу, не поеду! Ну, тут уж они его еще пуще плетить зачали... — И Иван Никитич замолкает.

— Ну, и что же?

— Как, что же? — обидчиво, что его не поняли, говорит Иван Никитич.

— Что же с ним сделали-то?

— Как что? Заплетили, конечно, — говорит Иван Никитич.

— Как? До смерти?

— Ну, а как же?

— И ничего им не было?

— Да от кого же им быть, ежели у них в степях, к примеру, обычай такой?

— Ну, а девка?

— А девку, конечно, назад увезли, да за девку я там не знаю, влезла в юрту и шабаш. Дддааа, — глядя в гасконское небо, лежа на траве, заложив руки за голову, вздыхает Иван Никитич, — сызмальства привычный я к степи, у нас осенями дрофы, кады по-над степью летят, ну, верьте, хмарой небо застят и шум такой, что твои еропланы..

Брат кончил отбивать косу, поднялся; встали и мы с Иваном Никитичем, заходим за край поля и снова в этот зной идем друг за дружкой с общим звенящим шуршаньем кос. Пот выступает на лбу, на скулах, стекает по лицу, солит губы, а в ушах стоит протяжный звон, не то миллионного комариного пенья, не то это кровь звенит в ушах. Я стараюсь идти вровень с Иваном Никитичем, а у казака-старика силищи! И мне радостно от мерного взмаха кос, от здоровой усталости мышц, оттого, что с крутосклона рябит ушедшая цветная даль, оттого, что моя пшеница уродилась и я, кажется, на ней заработаю.

На закате мы уходим с поля усталые. С возвышенности пестрят те же лоскутные одеяла полей, виноградников, лесов, дороги, обсаженные платанами. У тенистой реки тонет очертание древнего замка времен тамплиеров, он повис над обмелевшей рекой; в нем живут три семьи мужиков-итальянцев, ничего, конечно, не смыслящих в музыкальной строгости пропорций строения, в летящей красоте замковых лестниц и галерей, в чем кто-то из строивших его тамплиеров понимал толк. Зато крепкие богатеи знают толк в откорме свиней, в

отпое телят; денным и ношным трудом, сметкой, хищностью, ловкостью богатеют эти крестьяне, и дай им Бог здоровья, хоть они и загадили выдавшие виды великолепные залы тамплиерского замка, а часть замковых стен даже развалили, сделав из камня совершенно замечательные свинарники.

— Вот живал я и в Париже, чтоб его намочило, — идя рядом со мной, говорит Иван Никитич, — а нет, никак не выжил, камни одни и выйтить некуда. Я уж там, бывало, свободной минутой в Булонский лес ездил, только чтоб подошвами по земле походить.

Я молчу, я устал, в голове занозой сидит глупейшая стихотворная строка: «...так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук», и я никак ее не могу из себя вытащить.

— Вот вижу я вчерась сон, — продолжает, тихо идя, Иван Никитич, — будто как я посреди своей семьи, все дети мои, и будто они собираются обедать, да только толкуются, толкуются, а ничего у них не выходит. Я смотрю, смотрю да и говорю им: «Да што ж вы? Сначала надо умыться, Богу помолиться, а потом уж об обеде думать, обед собирать». Ну, они меня как вроде послушались, стали мы все на колени и начали «Отче наш» читать. Стою это я на коленках, обернулся назад, смотрю, мама моя стоит, а до этого ее тут не было. Стоит она в сереньком таком платьице своем и, как у нее голова часто болела, платочком таким повязана. Я это говорю ей: «Да откелева ж вы, мамаша?» А она мне ничего не сказала, а я это упал перед ней, цалую ей руки и говорю: «Мама, да не могу я так больше жить!» И почему я ей так сказал, сам не знаю, вроде это как дети, што ль, меня не слушаются, а только она положила мне руку на голову да и говорит: «Нет, Ваня, ты еще можешь...»

Я молчу. Я, конечно, знаю, что даже на этой гасконской земле Ивану Никитичу легче, чем на парижском асфальте, но и здесь, разумеется, казаку не прижиться, он дерево непересадачное, оттого и тоскует. Есть пословица: без корня и полынь не растет. С тоненьким звоном кос, задевающих за ветви вязов, мы по лесной дороге подходим уже к ферме. Иван Никитич вздохнул, что-то пробормотал и начинает старческим дрожащим тенорком напевать:

Конь боевой с походным вьюком
У церкви ржет, кого-то ждет.

— А на прошлой неделе вот опять сон снил и опять не знай к чему, — вдруг говорит Иван Никитич, — вижу будто вместо нашей станицы вроде как какие-то цементные домики понастроены, квадратные такие, без окон, без две-

рей, и вижу жену с сыном и хочу их догнать, а они все уходят, а я им кричу: «Да, куда ж вы! Пойдите! Марья!» А она не отвечает, идет. Потом дошла до одного такого цементного домика, а там как вроде дверь какая открылась, она с порога повернулась ко мне, махнула рукой, вроде как «не надо, мол, мне тебя», и вошла туда; подбегаю я к этому самому домику, а никакой двери найти не могу».

VI

Страдная пора здесь не жатва, а молотба, когда по фермам ездит молотилка и соседи сходятся друг к другу на помочь. Гасконцы веселый, солнечный народ, хохотуны, хвастуны, безалаберники, но всегда себе на уме. С соседями я хорош, хоть и замечаю, что эти кондовые потомственные мужики относятся ко мне чуть-чуть свысока, с еле замечаемой усмешкой. Это потому, что я человек не их круга, а себе равноценными все люди признают только людей своего круга. Так светские люди относятся к «рагвепи», так же стадо рабочих коров относится к замешавшейся в нем молочной корове. Это вполне естественное, зоологическое чувство.

Из крестьян я сошелся ближе всего с Гарабосом. Может быть, оттого, что он странноват. Над старым бобылем подсмеиваются все соседи. Мне же он нравится из-за моей любви к хорошей породе. А Гарабос столбовой гасконец, оставшийся здесь, как невыкорчевывающийся виноградный корень, даже после того, как всю округу залили итальянцы. Лицо у него будто сшито из кусков коричневой замши, до того закоржавело складками, морщинами. Губы украшены грязными седыми усами, изо рта торчит единственный черный клык, а слезящиеся зеленые глазки всегда издевательски смеются; основной же чертой характера семидесятишестилетнего гасконца остается, конечно, веселость.

В закопченное жильё Гарабоса страшно войти, тут круглый год то тлеет, то пылает камин. Жена давно умерла, сыновья ушли в город. В ветхой разваливающейся усадьбе старик один. В часы отдыха, бросив в камин бревешко, он дремлет у огня, радуясь пламени, согревающему старческое тело; у огня лежит и его голодная коричневая сука.

На этой виноградно-пшеничной земле Гарабос родился и прожил жизнь, как прожили ее здесь его прадеды и пращурь. Гарабос дремлет от выпитого вина, от теплоты огня, от старости. Жизнь в старике сделала полный круг и вот уже

застывает; он скоро умрет, и смерть его, может быть, никто даже и не увидит, кроме его худой голодной собаки.

В свежие утренники с усадьбы Гарабоса видны вечные Пиренеи, по ним старик предугадывает погоду, иногда дребезжаще поет с детства заученную песню: «*Les montagnes des Pyrénées, vous êtes mon amour*». Старик — философ. Ему все ясно. Как-то я заговорил о войне 1914 года, но он не поддержал разговора. «Это северным округам надо было воевать, — сказал старик, — а нам здесь воевать не с кем!» И это искренне, это то же крестьянское чувство враждебности к государству: «Мы тульские, до нас не дойдут». Да другое представление было бы и противоестественно, ибо весь мир Гарабоса здесь, на восьми гектарах пшеницы и виноградника, с которых он никуда не сходит. Только раз, ребенком, отец возил его на ярмарку в окружной город, и это единственное путешествие до сих пор старик вспоминает как лежащее в бесконечности. Остальные его передвижения коротки и однообразны: отвести корову к соседскому быку, сходить на помощь, занять у соседей для клушки яиц, взять винную бочку, и лишь в субботу, с раннего утра, когда на ферму глядят далекие, за ночь словно отмытые, светящиеся Пиренеи, Гарабос собирается в самое большое путешествие. Он надевает тогда черную гасконскую рубаху навывпуск, оставшуюся еще от времен, когда торговал скотом; маклачская рубаха сразу же скрывает нечистоплотность костюма старика; шляпу он сменяет на широкий черный берет и, посасывая самодельную старую трубку, тихо спускается на еженедельный базар ближайшего городка. Тут на скотьем базаре старик приценится к бычкам, которые, как фарфоровые, привязаны пестрым рядом; узнает цены на яйца, на кур; с своими сверстниками, такими же стариками, посасывающими такие же трубки, он нашутится остротами и поговорками, какими они острят вот уж шестьдесят лет; и если кто-нибудь угостит, то старик выпьет рюмку анисовой водки. А когда начнется разезд, Гарабос той же тропкой поднимется домой, на гору, на ферму, чтоб на рассвете на паре белых волов с черными, словно обугленными, глазницами и такими же черными метелками хвостов выехать пахать свое поле, на котором он знает каждую ложбинку, ибо старым ручным плугом пашет его больше шестидесяти лет.

Раз, после базара, я помогал старику резать виноград. День стоял сентябрьский, виноградник был уже в утомленной желто-лазурно-красной листве. Вдруг, перестав резать

и вынув изо рта стертую трубку, Гарабос сплюнул и, серьезно глядя на меня, проговорил:

— Ты знаешь, это только дураки ведь думают, что там, — он указал старым, заскорузлым пальцем на нежно-осеннее небо, — ничего нет. А кто ж тогда этим всем управляет, а? — И, подмигнув слезящимися глазками, старик рассмеялся с хрипотцой.

Мы продолжали резать матово-чугунные, черные, переспелые гроздья, от сладкого сока которых слипались пальцы. Мне всегда трудно было распознать отношения Гарабоса с Богом, но сейчас я убедился, что эти отношения существуют, хотя они понятны, вероятно, только им двоим. Этот гасконский вольтерьянец всегда подсмеивался над аббатами, церковью, над Богом, но сегодня в осеннем винограднике его, должно быть, что-то волновало. Вскоре он опять заговорил, рассказывая о том, что ночью в прошлую пятницу у вдовы, соседки, увидел в самой середине виноградника какое-то сияние, на следующую ночь опять, в воскресенье ночью то же самое, тогда он пошел к ней посоветовать, чтоб отслужила по мужу панихиду; и действительно, после отслуженной вдовой панихиды ночное сияние в винограднике исчезло.

— Что же это такое было? — продолжая резать переспелые гроздья, спрашиваю я.

— Не знаю, что было, а вот было. — И зеленые глазки старика смеются, при этом он щелкает губами и произносит любимое «хок-йок!».

Трудно распознать душу этого старого гасконца.

Философия хлеба, постели, могилы у Гарабоса по-крестьянски жестока и ясна. Когда умер восьмидесятилетний сосед и я сказал об этом Гарабосу, он снял соломенную шляпу, неожиданно обнажив совершенно круглый безволосый череп, и произнес с сожалением: «Жаль». Потом, помолчав, добавил: «Ну, пахать-то он уж не мог, а вот мотыжить мог еще». Я понял чувство и мысль старика, что каждому нужно свое отпахать, отмотыжить, а потом идти в землю. Зато, живя здесь, на земле, старик, как истый галл, страшно любит всякие плотские радости: красное вино, жирный кусок баранины, пахнувший овчиной сыр. После еды Гарабос желтым пальцем набивает обсосанную трубку горлодерущим табаком; а за едой он неизменно, со всей соленой откровенностью, балагурит о женской любви и сам первый залиvisto хохочет, сотрясая высохшее, костлявое тело.

В склонах Гаскони Гарабос произрастает, как старый корень, дожидаящийся естественного умирания.

На молотье все ведется по истари заведенным правилам: и угощение, и работа. Подняв соломотряс к голубому небу, машина нетерпеливо ждет рабочих; засаленные машинисты отрывистыми свистками созывают их. В спадающих с костлявой поясницы заплатанных широкими латками портках, с свисшими седо-грязными усами, но тщательно выбритый, с вилами на плече, Гарабос идет к нам на молотье первым. На помочи старик, конечно, уж только ловчится, приходя, чтоб задарма поест кур, мяса, сыру, попить вина, кофе, арманьяку, потолковать, посудачить. Он издали уж кричит какие-то «патуасские» остроты, это значит, что от предвкушаемого пиршества старик в хорошем расположенье духа.

За стариком сходятся человек двадцать соседей, французов, итальянцев; в гасконской рубаше, в соломенной шляпе пришел и Иван Никитич. Кругом смех, остроты, у южан сильно развита шишка жизнерадостности. Но вот паровичок застучал, все по местам, и за шумом машины уже еле слышны выкрики голосов, а скирд начал мерно таять под вилами залезших на него мужиков, споро кидающих тяжелые снопы в подрагивающую пасть машины.

Дубовые столы уж приготовлены, накрыты скатертями, на них встали пузатые пятилитровые бутылки с красным и белым вином. Гасконцы идолопоклонники хорошей кухни. Окончив молотье и перетаскав к амбару мешки, соседи в очередь моют у ведра руки и с веселым говором садятся за столы. Церемония началась как надо. Закусочной подаются сардинки; за ними национальный наполеоновский суп с вермишелью, доев который каждый обязательно наливает в тарелку вина и, вкусно ополоснув, спивает. А хозяйки несут уже жирный кусок вареной говядины, ее каждый вдосталь запивает красным вином уже из стакана; за мясом салат, за салатом разварные куры, за разварными жареные, золотистые; и как только жареные куры приносятся на стол, происходит всегдашний отказ гостей от чести их разнимать. Это — дело и честь старейшего. Золотая курица плывет вокруг дубовых столов от отказывающегося к отказывающемуся, пока, наконец, не дойдет до Гарабоса. Старик, смеясь, и всегда с одними и теми же прибаутками крепкого полового свойства, не спеша берет свой сработанный, но острейший нож и ловко начинает разнимать тело птицы. На его искусство глядят молодые, отпуская такие же остроты, сопровождаемые

дружным хохотом здоровых, уже наедающихся тел. Солнце юга, его блеск, вино, мясо, чеснок, кофе — все тут землянее, кровянее, чувственней, чем у нас, северян. За дубовыми столами от простоты плотского веселья, от крепкоядения стоит все усиливающийся гомон голосов. Эти пиршества молотьбы мне всегда напоминают старые полотна Босха и Брейгеля. По локоть засученные мозолистые руки, крепкие челюсти, проголодавшиеся желудки, ничем не сдерживаемый хохот, грубость острот, звуки еды, крики, икота. Даже пришедшие с хозяевами собаки, подхватывающие оброненные со столов куски, и те вкусно пахнут «Деревенским праздником» знаменитого голландца. Подвыпившие и наевшиеся кидаются друг в друга хлебными шариками, сливовыми косточками, ударяют разговаривающих соседей головой об голову. Под общий хохот на лугу, у столов, парни повалили здорового малого и, стащив с него штаны, ищут со смехом, есть ли у него то, что бывает у всех. Крестьянское веселье несложно, это детское веселье. Может, оно и тяжеловато, но, в сущности, не все ли равно, как веселятся люди, главное, чтоб веселились, а остальное — воздух, климат, кровь, нация, класс.

Наконец подается кофе, арманьяк, печенье, фрукты, сыр и на блюдах табак с папиросной бумагой для заверток. Этим должен заканчиваться каждый праздничный обед на молотьбе. Это все обязательно. И после этого наполнение желудков окончено.

На поля, луга, виноградники ниспадает тихая оливковая сумеречность. Вся помочь, покачиваясь, расходится по домам, чтоб назавтра так же собраться за столами у соседа. Я чувствую, что устал от работы, вина, мяса, арманьяка, кофе. У сарая сложены дышащие хлебным теплом мешки с пшеницей: годовой пот и труд. Вокруг дома пахнет хлебом и пролитым вином. На шоссе крикает спешащий автомобиль. В небе вызвездились первые звезды, они словно нетверды, вот-вот звездопадом просыплются вниз. Звеня стаканами, тарелками, жена и мать убирают со столов, похожих на поле после побоища. И мягко из-за холма, как громадный искусственный лимон, вышла луна и залила все призрачным светом, в котором резко заострился выросший после молотьбы омет соломы.

Вино лишает меня чувства действительности, мне все кажется, что это и не молотьба, и не я, а какое-то театральное представление, освещенное громадной электрической луной-лампой.

Выросшие до крыши розовые, белые, желтые мальвы обступили наш дом. Увивший стену виноград цвел, испускающая сладкий запах, будто кто-то пролил у крыльца душистое вино. В переднем углу комнаты, под темным образом Христа, мать лежала в гробу маленькая, пожелтевшая, с странно молодым лицом.

Сквозь окно виднелась качающаяся в ветре айва, желтеющая пшеница и высокое ровное небо. Перед смертью сознание матери не выдерживало напирającego хаоса пережитого. В жизнь на бедной гасконской ферме врвалось далекое, русское, война, революция. И с широко раскрытыми глазами мать произносила жуткую путаницу. Но потом, словно борясь с ринувшимся в сознание хаосом, она с отчаянием выговаривала: «Господи, да как же все это было? Ведь я же путаю...» Я помогал ей выправить мысль. Закрывшись желтоватой, когда-то необычайно красивой рукой, она лежала детская. Взглядом страдающих глаз глядела на нас, своих детей, словно прося простить за причиняемое болезнью страдание. А когда ей становилось легче, пыталась расспрашивать о хозяйстве, сенокосе, о саде; сказала: «Сливы в этом году много, если, Бог даст, встану, наварю вам варенья». Но вскоре с взглядом напряженно ищущим, испуганно-безумным, стараясь приподняться на слабых руках, она тревожно произнесла: «А, знаешь, в этом году большевики, пожалуй, придут... в прошлом не пришли, а в этом придут...» Я понял, что это вспыхнувшая жуть ожидания большевиков в Киеве, двадцать лет тому назад. Внезапно замолчав, мать откинулась на подушку и вскоре заснула. К ночи она страдающе проговорила: «Как это страшно, что человек так близок к безумью... один шаг, и начинается безумье...» Я успокаивал ее. Над домом теплое небо расписалось созвездиями, плыла ночь, ни ветра, ни собачьего лая, будто все к чему-то прислушивается, и вдруг от шороха и шепотов матери я вскочил, но я еще не понимал, что это *пришла смерть*, что сейчас начнется единственно страшное человеку: телесные страдания перед уходом с земли. Верующая, всю свою жизнь она не боялась смерти, но всегда болезненно страшилась возможности телесного уродства, и наступало именно это: мать лишалась души, речи, сознания.

Рассветало медленно и безжалостно. Сквозь окно качалась та же айва, пели те же птицы, желтели те же пшеничные склоны. Полупарализованной рукой мать показывала мне на ногу и на голову, объясняя этим, что понимает

происшедшее с нею: от закупорки вены в ноге — закупорка в мозгу и полупаралич. Хлопоча у ее постели, я вспоминал, как двадцать пять лет назад, закаменев в своем горе, мать вот так же в Пензе хлопотала возле умирающего отца, и мне казалось, что времени нет, что это было вчера и вот ее самое теперь уж не отнять, не вырвать, расставание настанет, надо прощаться.

Мать пытается перекреститься на темный лик Христа, но рука непослушна. Я взял эту бессильную руку с пальцами, сжатыми крестным знамением, и помог поднести ко лбу, груди, плечам. И вдруг, глядя на меня, мать тихо заплакала. Это были те большие, запрокинутые в вечность мгновенья, что переживают, только когда смерть подходит вплотную и своим током, веянием крыл обдает до дрожи. Мать пытается говорить, но все, что произносит, это уже не речь, а отчаянный поток нечеловеческих звуков и в нем различимо только «Господи... Боже мой...». Словно она молится Богу и, видя, что мы ее уже не можем понять, просит Бога, кричит к Нему, чтоб он помог ей досказать что-то самое главное, самое нужное, самое последнее, но у нее нет сил это выговорить.

Рассвело. За окном пели птицы. Остановив на мне потухающие глаза, мать неожиданно произнесла: «Умру». Это было последнее. Силы, уводящие ее из жизни, брали верх. Мы сидели в тишине, нам показалось, она, может быть, заснет, но, полуоткрыв глаза, она вдруг, с трудом приподняв еще не парализованную руку, сделала ею в направлении нас движение, словно прощалась с нами уже оттуда, с пути, уходя навсегда.

Вздрагивая и стоная, она лежала в бессознании. Силы смерти уже несли ее все стремительней по страшному переходу из жизни в нежизнь. Вокруг — полевая тишина, трепет деревьев, долетают понукания пахарей. И нет для смерти окружения лучше, чем цветущая земля. В этой полевой певучей тишине и провожать, и умирать легче, тут земля нестрашна, с землей слипся, сжился.

Так же, как в отрочестве, в Пензе, когда умирал отец, в нашем доме стала жить смерть, и от ее присутствия лица всех стали иными, все заговорили шепотом, заходили тише, жизнь пошла оторванно от быта, смерть словно говорила: «Смотрите, как все это ни к чему и как все это просто, вот я пришла и беру, и очень скоро возьму вас всех».

Боролась со смертью только земля, не позволяя себя забыть. С запада набежали фиолетовые дождевые тучи, сильно понес влажный ветер: будет дождь, надо свозить

сено; корова пришла в охоту, ее надо вести к соседскому быку. И, подчиняясь земле, мы работали и возвращались к лежавшей без сознания умиравшей матери.

У матери закрыты глаза, в тишине она дышит все чаще. Мы стоим у ее постели, сквозь окно я вижу, как в ветвях деревьев прыгают и перекликаются маленькие оранжевогрудые птицы. Мать дышит, словно торопясь. Мать умирает, и, несмотря на сорок лет жизни, я ощущаю, что остаюсь потеряннным, словно соединявшая меня с миром пуповина будет сейчас перерезана. Вот мать глубоко перевела дыхание, и вдруг все стихло. Это останавливается сердце. Бывшееся шестьдесят пять лет, оно биться кончает, еще мгновение, и оно остановится. Остановилось? Нет еще. В тишину с пашни ворвался чей-то непонятный далекий крик. И еще глубокий, всей грудью, вздох матери. И снова захлебывающееся, учащенное дыхание, и опять одинокий длительный вздох будто сладко просыпающегося человека. За ним из мира в мир страшная влекущая тишина. Вот — запоздалый, всеотпускающий последний вздох, и наступает совершенная тишина. В этом мире уже нет ее дыхания... мать умерла...

IX

Есть в уничтожении много страдания, но есть и необъяснимое, радостное. Вот ушла мать, и с страданием смешалась непонятная, противувольная, неопределимая, невозможная для высказывания радость. Что это? Радость возвращения? Радость покоя? Того, что зовется вечным упокоением?

Из своего источника мы принесли воды, обмыли давшее нам жизнь маленькое тело, одели и уложили мать на прибранную постель, потом срезали незатейливые цветы, положили у тела, и в сумраке прикрытых ставень в комнате настала пустота горя и тишина без дыхания.

Когда сосед привез гроб из свежих досок, мы бережно переложили мать в него, на свое только что скошенное свежее сено; и сухонькая, она, чья жизнь сложилась трудным женским подвигом, лежит, скрестив восковые руки.

Русский священник читает ей отходную. Отрываясь от кадила, ладанный дым летит, своим запахом вызывая воспоминания детства и России; дым улетает в раскрытое окно. С свечой в плоской руке, немигающе уставясь в пространство, стоит Иван Никитич, что-то шепчет, перебирая синими губами. Батюшка служит за священника, за дьякона и сам поет за хор, но чин православного отпевания так уни-

ротворяюще прекрасен и глубинной мудростью смысла, и радостно-страдающими напевами, что даже служба одинокого священника снимает животную боль, соблазны, лукавства, искушения, давая душе благодать успокоения.

На рассвете сосед-итальянец, одевшийся в праздничный темный костюм, подводит к дому двуколку, запряженную красными молодыми коровами в белых пополах и пестрых занавесках на мордах. Он управляет ими движением вишневого трости. Это здешний обычай: покойника на кладбище везут соседи; и мы подчиняемся ему.

В скуфье, с серебряным крестом в руке, в черной метущей дорогу рясе, за двуколкой пошел русский священник, я, брат, наши жены и Иван Никитич. С возвышенности бесконечен вид лугов, полей, виноградников. Встречные крестьяне, снимая шляпы и береты, пропускают горькое сельское шествие, с любопытством глядя на шагающего вразвалку русского священника. Я вспоминаю пышные похороны отца, с громогласием дьяконов, с священниками в парчовых ризах, с звучным хором, чужими и своими рыскаками, извозчиками, роскошным катафалком, изобилием живых цветов, искусственных венков, и бедные крестьянские похороны матери, на сене, с немногими полевыми цветами, кажутся и легче и правильнее.

Кладбище заросло акацией, бузиной, сиренью, будто русское уездное кладбище. В ряду крестов — открытая яма, из нее тянет сырой холодок. Мы ставим гроб над ямой на два горбыля, под ними веревка. Француз-могильщик с любопытством рассматривает русского священника с длинными волосами и удивленно слушает непонятную службу. В груди пустота и остро пререзающее чувство бездомности. Сейчас тело матери уйдет в эту гасконскую землю. Как часто в предчувствии смерти мать говорила, что хотела бы умереть в России, где похоронен муж, дети, отец, мать, все родные. «Надгробное рыдание!» И, снижаясь, гроб опускается в могилу. На крышку упали комья глины. Я и брат закапываем мать, а над нами поют какие-то кладбищенские птицы, им хорошо, их тут никто не спугивает.

Наплывают свежие кучевые облака, сквозь солнце начинает сечь теплый слепой крупнокапельный дождик. Полями мы молча возвращаемся на ферму, к дому, где крыша под одно прикрыла комнаты, сарай, коровник; только одно окно приоткрыто ставнями, это комната матери, ставшая без нее странно пустой.

Я, торопясь, запрягаю коров ехать свозить оставшееся в копнах сено.

— Иван Никитич, — кричит батюшка, — лезьте на телегу, а я подавать стану! — В широкополой шляпе, в русской белой рубашке, в штанах, подхваченных ремнем, он сильным розмахом мечет сено. Казак еле успевает подхватывать. — Вот оно как по-сибирски-то! — улыбается русский батюшка, светлолицый, косая сажень в плечах.

Он — сибиряк, сын протоиерея, юрист, военный, эмигрант, фабричный рабочий и, наконец, православный священник на юге Франции, подвижнически путешествующий и в зной, и в дождь, и в невылазную грязь по русским фермам Жиронды и Гаскони, везде служа, крестя детей, венчая молодых, исповедуя старых, соборуя больных, отпевая умерших.

С луга мы поднимаемся на изволок за поскрипывающим, покачивающимся возом.

— Где только я не побывал за этот год, — говорит священник, — недавно казакам служил всюнощную прямо в лесу, да как хорошо было, составился хор, чудно пели, а погода была такая тихая, что в лесу со свечами стояли.

С подъема он оглядывается на пестреющую окрестность.

— Очень красиво, — говорит, — только нашей-то Сибири, конечно, не ровня. По сравнению с нашими-то просторами, это все игрушки. Бывало, плывешь по Енисею домой из университета, что за красотища! С парохода, балуясь, кричим: «Хозяин дома?!» А эхо на весь Енисей несет: «Домааа!» — И батюшка мягко улыбается воспоминанию. — А зимой, когда на лошадях ехали, — снега, просторы дикие. Везешь, бывало, с собой обязательный кулек замороженных щей... Да, наша сибирская-то мощь европейцам и во сне не приснится. — И вдруг батюшка смолкает, словно поняв, что Сибирь очень далека и не стоит бередить себя воспоминаниями.

Наутро он торопится уйти еще до раскаленного жара. Высоченный, широкоплечий, в черной шляпе, с клеенчатым чемоданчиком, в котором уложены ряса, крест, скуфья, свечи, кадило, батюшка пошел к другим русским людям на фермах Гаскони.

А я выехал пахать.

Х

Так я и живу в Гаскони и только иногда во сне хожу в Россию. Недавно видел себя мальчиком, будто я и старый сельский учитель Непогодкин идем на охоте по болотным Лапотковым лугам. Я в высоких сапогах, они мне велики,

я хлюпаю ими по болотцу, но вдруг всем телом вздрагиваю от внезапно фыркнувшего взлета чирков. Я сразу просыпаюсь: это трещит будильник, я в гасконской хате, с постели вижу, что земляной пол выкрошился, его надо набить; я — здешний мужик, это моя настоящая, не выдуманная жизнь и надо вставать задавать корм коровам.

Накинув пиджак, подрагивая от прохлады рассветающей ночи, в одних подштанниках, я иду в коровник. Заслышав меня, лежащие коровы с тяжелым крехтом поднимаются на колени, встают, от них пахнет приятным молочным теплом. В полутемноте правая ловит шершавым длинным языком полу моего пиджака и жует ее. Я похлопываю старую умную корову по тяжелому свислому подгрудку и тихо разговариваю с ней на коровье-гасконском языке; потом я задаю им сена. И вдруг опять это ощущение нежно изливающейся теплоты. Оно до того телесно ощутимо, что я даже приостанавливаюсь: «Что это!?» И тут же отвечаю: «Ах, это мама опять». Я чувствую, будто она не исчезла, а где-то вот здесь, за моим плечом, *только совсем в иной жизни*. И наполненный этим мягко согревающим внутренним светом я ухожу из коровника.

После завтрака я выхожу на последний укос люцерны. Я работаю бездумно, но в это утро мне особенно хорошо: я люблю все: и свою рыжую собаку Моську, легшую неподалеку от меня, и сработанную ладную косу, под которой ровными рядами ложится трава, и щетку соседского мокрого жнива, и своих коров, и вспаханную дышащую землю, и свои начисто вымытые винные бочки, и деревья сада, согнувшиеся под урожаем яблок, и высокое небо, и весь этот резкий воздух, которым я дышу и не надышусь.

Конечно, пословица верна, что мила та сторона, где пупок резан, и я, конечно, хотел бы сменить разлапые фиговые деревья на играющую под ветром березу, а южное опаловое небо на наши тяжелые ветхозаветные облака. Но во мне есть и другое русское чувство, по которому вся земля — наша, вся Божья. И с моих пяти десятин в это утро я радостно встречаю и благодарю весь мир, за косью вспоминая изумительную молитву сеятеля: «Боже, устрой, и умножь, и возрасти на долю всякого человека, трудящегося и гладного, мимоидущего и посягающего...»

Гасконь, 1938—Париж, 1945 гг.

КРАСНЫЕ МАРШАЛЫ

Главы из книги

ПРЕДИСЛОВИЕ¹

Может быть, не было еще исторического явления более парадоксального, чем русская революция. По существу своему крестьянская, а потому национальная, она с самого начала была втиснута Лениным в прокрустово ложе коммунистической и интернационалистской. Правда, из этого ложа она быстро выросла, и тот же Ленин под напором растущих национально-крестьянских сил (Кронштадтское восстание, Тамбовская жакерия) принужден был выломать стенку коммунистического ложа, дав стране передышку нэпа. Во время нэпа подлинный характер революции разрастался вширь и вглубь, все явственней выпирая наружу. Обеспокоенный Троцкий кричал: «Да, мы растем, это несомненно, но нужно смотреть, куда мы растем?!» — и требовал мер для спасения «коммунистической» революции. То есть для воспрепятствования выявлению истинной сущности русской революции.

Понятно, что меры коммунистической олигархии направились против главной национальной основы страны — против русского крестьянства. Сталин, объявивший линию Троцкого ересью, заимствовал ее целиком, ибо объективный ход развития указывал только два пути: или естественный ход событий и крушение коммунизма, или террористическая попытка свернуть революцию снова в коммунистическое русло. На первом пути был слишком явствен крах. На втором в отдаленной перспективе полная неизвестность, но зато в ближайшей — сохранение власти коммунистической олигархии, и Сталин напролом пошел по второму пути. Революция снова уложена в прокрустово ложе, на котором и с самого начала не помещалась, а за время нэпа выросла настолько, что втиснуть ее туда было почти невозможно. Но Сталин с своими заплечных дел мастерами не только отрубает ноги, он карнает народное тело со всех сторон ножницами пятилетки и коллективизации и втискивает это тело в рамку интегрального коммунизма.

¹ Это предисловие было написано Р. Б. Гулем к книге, в которую входили биографии Ворошилова, Блюхера, Котовского.

На пятом году пятилетки, в азарте генеральной линии тяжело повреждена основная жизненная сила России — русское крестьянство; страна хиреет не по дням, а по часам; в прокрустовом ложе лежит полумертвец. Но, обескровленное и превращенное в крепостных колхозных батраков, крестьянство все еще ведет героическую, не на жизнь, а на смерть, борьбу, оказывая Сталину последнее отчаянное сопротивление.

Борьба крестьянства с авантюристически навязанным доктринерским коммунизмом идет сейчас со всей ожесточенностью, и, может быть, недалеко ее последняя фаза. Но исход борьбы крестьянства в конечном счете зависит от Красной Армии: встанет ли она на его сторону?

Можно утверждать, что нет ни одной армии в мире, которая находилась бы в таких тисках правительственного аппарата, как Красная Армия. Со всей тщательностью правительство следит и оберегает ее от всякого проникновения идей, разлагающих официальную коммунистическую доктрину. Но в то время как в клещи коммунистического шпионажа зажата низовая солдатская масса, ее головка из выдвинувшихся в гражданскую войну «красных маршалов» ходом жизни высвобождается из-под контроля партийного аппарата. Думается, верно мнение, что смена террористическо-коммунистической диктатуры выйдет из группы военных — руководителей Красной Армии, которая обопрется в первую очередь на крестьянство.

Совсем не случайно, что именам красных маршалов не сопутствует обильная литература. В то время как о «штатских» вождях изданы сотни книг, о красных генералах предпочитается полное молчание. Кремлевский официальный «марксизм» не любит культа «военных героев» и исторических параллелей с Французской революцией. Но естественно, что в момент чрезвычайной напряженности как международного, так и внутрироссийского положения эти маршалы привлекают к себе интерес.

Вместе с ранее выпущенной биографией М. Н. Тухачевского, настоящими биографиями Ворошилова, Буденного, Блюхера и убитого Котовского, взятого мной из-за его анекдотической красочности и характерности для нравов гражданской войны, — я заканчиваю серию «красных маршалов». Эта серия является частью общей задуманной мной работы.

ТУХАЧЕВСКИЙ

Революции всегда давали много блестящих военных карьер. Правда, почти все эти карьеры (кроме генерала Бернадотта — короля Швеции) полны глубокого трагизма. Их вершина — генерал Бонапарт — император Франции. Их паденья — смерти у стенки — неаполитанского короля генерала Мюрата и «князя де Московва», маршала Нея. Еще более темна и страшна смерть в застенке генерала Пишегрю.

Русская революция дала своих красных маршалов — Ворошилов, Каменев, Егоров, Блюхер, Буденный, Котовский, Гай, но самым талантливым красным полководцем, не знавшим поражений в гражданской войне, самым смелым военным вождем красной армии III Интернационала оказался Михаил Николаевич Тухачевский.

Тухачевский победил белых под Симбирском, спасши Советы в момент смертельной катастрофы, когда в палатах древнего Кремля лежал тяжелораненый Ленин. На Урале он выиграл «советскую Марну» и, отчаянно форсировав Уральский хребет, разбил белые армии адмирала Колчака и чехов на равнинах Сибири. Он добил и опрокинул на французские корабли армию генерала Деникина. В войне с Польшей отчаянным маршем во главе беспримерной полуазиатской армии он пришел к стенам Варшавы с криком «Даешь Европу!». Он взял штурмом на льду Финского залива мятежный матросский Кронштадт. И той же весной, когда заколебалась власть Советов крестьянскими восстаниями, подавил, жестоко расстреляв, поволжскую мужицкую вольницу.

Кто ж он, красный маршал Советского Союза?

Нора для кротов ваша Европа! Великие империи и великие революции совершаются только на востоке.

Бонапарт

В наши дни никто ни о чем великом не думает. Я покажу пример.

Бонапарт

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОРУЧИК

Таковы уж шутки истории, что первым маршалом пролетарской армии стал последний отпрыск древнего дворянского рода, лейб-гвардии поручик. Правда, шумный и богатый род столбовых дворян Тухачевских к рождению вождя Красной Армии обеднел, спустив все на кутежи, рысаков и женщин. Двести десятин удобной и неудобной земли в Чембарском уезде Пензенской губернии, заброшенная усадьба, вишневый сад да парк с шумящими цветущими липами — вот все, что осталось у отца Тухачевского.

Михаил Тухачевский родился в 1893 году в родовом имении; в детстве не знал ни роскоши, ни изнеженности, мать умерла рано; Тухачевский рос на руках француженки-гувернантки в дружной семье: старший брат Александр, талантливый ученый, математик, рано умершая необычно красивая сестра Мария и брат Игорь, с детства поражающий музыкальными способностями. Семья Тухачевских была культурной, талантливой и типично русской дворянской семьей.

Деревенское детство Миши прошло приблизительно так, как детство тезки, бывшего недалекого соседа по имению, гусара с трагической судьбой, Михаила Лермонтова. Ребенком, гуляя за ручку с гувернанткой по старому парку, Миша говорил по-французски, как по-русски. Это впоследствии пригодилось в немецком плену. С детства Миша любил музыку, хоть сам ни на чем не играл. Мальчиком был отчаянным, диким и странным, так что отец благополучно вздохнул, когда из чембарской глуши привез Мишу в губернскую Пензу и поместил в стоящее на горе белое трехэтажное здание классической гимназии.

Но как юноша Сталин оказался глух к гомилетике и канонике, так же не приял и мальчик Тухачевский классицизма. Здание Пензенской гимназии необычайно обширно, мрачно, бывший дворянский пансион николаевской эпохи. Гулкие коридоры, грандиозные классы с громадными

окнами в сад, портреты царей в актовом зале, где столы накрыты зеленым сукном с позументом. Обучались тут наукам — неистовый Виссарион Белинский, террорист Каракозов с товарищами Иштутиным, Загибаловым, Ермоловым, дворяне-революционеры Войнаральский, Теплов.

Стройными рядами маршировали на молитву гимназисты в серых полувоенных куртках; молилась — пела хором — вся гимназия; на правом фланге второклассников стоит высокий, вихлястый темный шатен, красивый мальчик, под ежика, серые, странно разрезанные, чуть навыкате глаза, в фигуре что-то неуравновешенное, но сильное и упорное. Это — Тухачевский.

Он славится неуспешностью, неожиданными выходками и странным озорством. Поэтому каждый день Тухачевского, извальянного в пыли, тащит за руку за дверь надзиратель Кутузов. Желчный Кутузов истошно кричит: «Опять Тухачевский! Пожалте-ка за дверь!» На лице Тухачевского странная и упорная улыбка.

Через 12 лет судьба отчаянного мальчика неожиданно скрестилась с судьбой желчного неудачника-надзирателя. В октябре надзиратель Кутузов оказался большевиком и стал наркомпросом Пензенской губернии; его четыре сына, студенты, коммунисты-красноармейцы, были убиты в боях с чехами на улицах Пензы: а Красной Армией, выбившей чехов из Пензы, командовал тот самый вихлястый мальчик-шатен с упорной улыбкой, Тухачевский, кого таскивал Кутузов за руку.

Но в те далекие времена трудно было представить Мишу Тухачевского коммунистическим главнокомандующим. Не было ничего похожего. Заносчивый, необщительный, холодный, пренебрежительный Тухачевский держался от всех «на дистанции», не смешиваясь с массой товарищей.

У него был лишь свой «дворянский кружок», где велись разговоры о родословных древах, древности родов, гербах и геральдике. Научных интересов у Михаила Тухачевского не было; он ходил одиночкой, «диким мальчиком», не вызывавшим ни симпатий, ни дружб. В нем отсутствовала всякая грубость, но — полная оторванность от товарищей, аристократичность, замкнутость в себе и ко всем — подчеркнутая надменность.

На хорах Дворянского собрания гремит серебро драгунских труб, разливает уездную мелодию вальса «На сопках Маньчжурии». По залу в синих мундирах вальсируют гимназисты с гимназистками в белых фартучках. Тухачевский на балу в первой паре, тот же самый несложившийся кра-

сивый мальчик-шатен с странным прямым разрезом больших выпуклых серых глаз. Голубая распорядительская розетка на левом боку, сух, выдержан, вежлив. «Гвардеец».

Пусть недружен с товарищами, зато гимназистки от Миши без ума; и покончившая самоубийством будущая жена его, гимназистка Шор-Мансыревной гимназии, Маруся Игнатьева уверяет подруг: «Стоит Тухачевскому надеть фуражку, и он — красавец». У мальчика была тогда еще детская большая голова.

Этого дерзкого мальчика за вызывающий характер не любят учителя.

— Латинский язык, какая это гадость! — говорит на уроках латыни будущий командарм.

И кое-как дойдя до 6-го класса, командарм сообщил отцу, что желает военной карьеры. Отец знал: Миша бредит необычайной судьбой, блеском славы, Бог знает чем! Что ж, в роду Тухачевских было немало военных предков: гусары, кавалергарды, кирасиры Тухачевские украшали царскую конницу, ходили с Суворовым в Италию, с Румянцевым за Дунай, с Кутузовым против Наполеона. И странный, оформлявшийся в сильного юношу Михаил Тухачевский осенью 1911 года вместо Пензы уехал в Москву, в корпус.

Распущенно шедший в классической гимназии, в корпусе Тухачевский пошел иначе; натура упрямая, достигающая всякой цели, сказала; из вихлястого гимназиста в год вышел военно-выправленный ловкий кадет.

Умный, талантливый, не позволявший наступать себе на ногу, гордый, отчаянный Тухачевский импонировал товарищам; стал лучшим кадетом, мечтая только о лейб-гвардии и даже в лейб-гвардии наметил всего лишь два полка знаменитой Петровской бригады — Семеновский иль Преображенский.

Дальний прицел на лейб-гвардию, взятый тщеславным, одаренным юношей, осуществить было нелегко. Надо еще выйти в «павлоны», в Павловское военное училище, куда берут только дворян и лучших кадетов.

В отпуск на гимназическом балу в Пензе, среди мешковатых мундиров, обремененных латынью, гостем появлялся кадет Тухачевский. Черный мундир, белые погончики с царскими вензелями, снисходительная улыбка, еще больше прежней надменности. «Стараюсь позабыть латинский и, кажется, успеваю», — смеется бравый кадет. В военном он танцует гораздо ловчее. «Гвардеец... гвардеец чистой воды».

Много верных прицелов в жизни своей брал Михаил Тухачевский, но в 1912 году не попал в «павлоны», не

вышел, пришлось помириться на Московском Александровском, куда, за два года до мировой войны, в белое с колоннами здание у Арбатских ворот, прибыл охваченный манией военного величия юноша.

Юнкера-александровца вспоминаю в веселом и пьющем доме; не перепьет, громко не смеется, корректен, зятанут в мундир, по-печорински «оскорбительно вежлив»; вежливо ухаживает за простенькой, но хорошенькой подружкой сестры, Марусей Игнатьевой; это очень сдержанная, но все же, кажется, первая любовь.

— Тухачевский, вы когда кончаете училище? — спрашивает кто-то.

— Полтора года.

— И тогда?

Улыбается недоуменно-презрительно.

— Не в университет. В полк.

Тухачевский кончал училище фельдфебелем. На плацу лучше всех проводит ротное ученье, команда остра, отчетлива, несмотря что в обыкновенной речи фельдфебель никогда даже не повысит спокойного голоса. Но не только в строю шел первым. Тухачевский штудирует труды Клаузевица, биографии Бонапарта, Блюхера, Суворова, Мольтке. Юнкер болен, юнкер бредит наполеонизмом, и прицел на лейб-гвардии Семеновский полк выходит: будет первым выбирать вакансии фельдфебель Тухачевский.

Только без денег, без связей в царской гвардии нет пути, а Тухачевский беден как церковная мышь; перезаложены-заложены на всю семью 200 десятин земли в Чембарском уезде.

Но на помощь переходящему в манию нечеловеческому честолюбию кончавшего в 1914 году училище фельдфебеля пришла сама история: выстрелил Принцип.

Летом 1914 года лейб-гвардии Семеновский и Преображенский полки отбывали лагерный сбор под Красным Селом, но раньше обычного пришли в Петербург. На военном поле в честь прибывшего президента Франции состоялся гремющий парад. Отбивая ногу, церемониальным маршем шла Петровская бригада. Но еле успел, возвращаясь, проплыть немецкие воды французский президент, как «часом мобилизации считать одну минуту первого в ночь на 19 июля» — приказал всероссийский император, и грянули пушки на Рейне и в Пруссии.

Началась мировая война и необыкновенная карьера Михаила Тухачевского. Может быть, никто так не волновался в одну минуту первого в ночь на 19 июля, как фельдфебель

старшей роты юнкеров-александровцев. Открылось все: слава, карьера. Войне не нужны деньги, война хочет храбрости и таланта.

В августе 1914 года безусый юный двадцатилетний гвардеец, подпоручик Семеновского полка Тухачевский, вместе с офицерами всего Петербургского гарнизона входил в Зимний дворец. Царь приказал явиться офицерам для объявления манифеста и благословения.

В роскоши тридцатисаженного Большого Фельдмаршальского зала на голову поверх блестящей толпы офицеров выделялся главнокомандующий российских войск великий князь Николай Николаевич. Придворный протодиакон гремел октавой высочайший манифест; в одной половине — блеск офицерских форм, меж ними и двадцатилетний подпоручик Тухачевский; в другой — сквозь распахнутые двери, в форме полковника стрелкового полка, показался усталый царь Николай.

«Не положу оружия, доколе единый неприятельский солдат останется на земле Нашей!» — кончал протодиакон. И в наступившую тишину тихо проговорил царь:

— В вашем лице, столь дорогие моему сердцу войска гвардии и Петербургского военного округа, я благословляю всю Русскую армию.

От этого слабого голоса зал зашумел, опускаясь на колени, опустился и гвардии подпоручик Михаил Тухачевский. Государь уходил во внутренние покои дворца, а вслед ему Фельдмаршальский зал задрожал громовым офицерским «ура!». Императрица стояла с глазами, полными слез. Великий князь Николай Николаевич, перекрестясь широким крестом, сказал офицерам:

— С Богом.

Офицеры двинулись.

Предположить, что через четыре года Николая II расстреляют солдаты, гудящие на площади многоголосым «ура!», что главнокомандующий умрет во Франции эмигрантом, а спускающийся по великолепью Иорданской лестницы подпоручик станет красным полководцем, — было трудно.

Из Зимнего двора на Дворцовую площадь Михаил Тухачевский вышел вместе со всеми офицерами; а через несколько дней на петербургском дебаркадере пели тревожные сигналы к посадке; гвардейские солдаты, полувеликаны-семеновцы, которым жить бы да жить, грузились на мировую войну.

При последнем рожке на платформе начались благословения, слезы, женский плач; под торжественные звуки пол-

кового марша мимо платформы плавно, тихо тронулся эшелон.

Безусый подпоручик в офицерском вагоне был необщителен. Очевидцы говорят, много было напускной важности в облике этого двадцатилетнего офицера; было, пожалуй, даже что-то смешное; одежда чересчур вычурна, во всем подчеркнут «фронтвик» и «война», на боку не общая, а кривая шашка и громадная (какую носят только кавалеристы) кожаная неуклюжая тяжелая сумка, набитая картами и планами фронта.

Кругом шумели, курили, говорили о войне.

— Максимум в четыре месяца кончится!

— Не больше. Гвардию берегут, пожалуй, и кончат без нас.

— Пустили бы хоть в бой наподобие Ташкисена.

Офицеры хохотали, знали, что под Ташкисеном был единственный бой Петровской бригады с турками в кампании 1878 года.

Странно, что никто не засмеется, не подшутит над необщительным безусым подпоручиком с странно разрезанными серыми, чуть навывкате глазами. Он рассматривает исчерченную красным и синим карандашом карту Юго-Западного фронта.

Поезд с гвардией идет быстро. Вместе со стуком колес солдаты вразброд, вразнобой поют:

Ура, гвардейские уланы,
Кто не слышал про молодцов!

В БОЯХ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Осень стояла мокрая, дождливая. Туманы. На театр военных действий подпоручик Тухачевский прибыл в конце августа 1914 года.

Русские позиции утопали в грязи; настроение войск упало; уж застрелился генерал Самсонов, опозорен генерал Ренненкампф; немцы прорвали наревский фронт и, казалось, временно выбили Россию из военной игры.

Но русский главнокомандующий великий князь Николай Николаевич новыми наступлениями торопился доказать, что Россия привыкла и не к таким поражениям. Он наседал на медлительного командующего Юго-Западным фронтом генерала Н. И. Иванова, чтобы наступал на австрийцев Конрада фон Гетцендорфа.

Войска сводились в новые армии, готовя Гетцендорфу удар. Темной осенней ночью двинулась и Петровская бри-

гада походным порядком от красавицы Варшавы на линию Люблин — Холм выручать гренадер, зажатых австрийцами. Петровской бригаде приказано — восстановить положение.

Среди блеска военных имен первого ранга — Гинденбурга, Жофра, Людендофа, Фоша, Гофмана, легкомыслия Гетцендорфа и бесславья Романова — началась и боевая карьера красного маршала Тухачевского,

Младшим офицером в 6-й роте Семеновского полка уже в нескольких боях ходил подпоручик Михаил Тухачевский; от неуклюжей толстой сумки осталось смешное воспоминание: вместе с шашкой позабылась в обозе второго разряда. В перебежках, в окопах, по ходам сообщения ходит с револьвером на боку, в длинной, грязной шинели, обстрелянный, овеянный войной. Бойкие полковые писаря уж вписали в послужной список: «Участвовал в походах и боях против Германии и Австро-Венгрии».

Город Люблин был только семеновцам обязан своим спасением. Как львы дрались тут полувеликаны-гвардейцы; бились и под Яновом. Подпоручику Тухачевскому в боях везло: не контужен, не ранен. «Я, по обыкновению, цел. Счастье за меня», — писал с войны артиллерийский поручик Бонапарт. Но не в этом офицерское счастье.

Храбрый командир 6-й роты капитан Веселаго, встретивший надменного безусого подпоручика сдержанно и, пожалуй, даже недружелюбно, в боях отдал должное его хладнокровию. А вскоре под Кржешовом, 2 сентября, когда, выполняя план наступления генерала Иванова, встреченный бешеным австрийским огнем Семеновский полк подошел к реке Сан, — о Тухачевском заговорили офицеры полка.

Под Кржешовом — первое дело, где выявилась безоглядная храбрость Тухачевского, Кржешов приказано было взять. Фронтальный бой семеновцев с австрийцами был горяч, упорен, безрезультатен. Командир приказал второму батальону, в шестой роте которого был Тухачевский, идти в обход австрийскому флангу. Батальон обход сделал быстро, незаметно, глубоко, и в решительный момент боя неожиданно появился во фланге австрийцев.

Австрийцы смялись, кинулись в отступление, стараясь только взорвать мосты через Сан. Но один из деревянных приготовленных к взрыву мостов стал «лодийским мостом» Михаила Тухачевского.

С 6-й ротой Тухачевский бросился на горящий мост; по горящему мосту пробежала рота, преследуя смявшихся ав-

стрийцев, и пошла в атаку на том берегу. Были взяты пленные и трофеи. В бригаде, в дивизии, в корпусе оценили дело под Кржешовом.

О юном подпоручике заговорили однополчане. Но первое дело не только не удовлетворило, а озлобило Тухачевского. Командир полка вызвал капитана Веселаго и подпоручика Тухачевского, пожимая руки, сообщил, что представляет к наградам: командира роты к Георгиевскому кресту, младшего офицера к Владимиру II степени с мечами. Безусый, молчаливый, красивый подпоручик не понравился командиру. Тухачевский считал себя явно обойденным. Захват горящего моста приписывал только себе и этого не скрыл на отдыхе за обедом в офицерском собрании.

Очень может быть, что даже дорого обошелся старой России этот Владимир с мечами. Он стал первым недовольством Тухачевского старой армией, замершей в иерархии и бюрократизме, не оценивающей «гениальных способностей» будущего красного Бонапарта.

Но как бы то ни было, карьера началась. Хоть не пользовался любовью однополчан на отдыхе чуждавшийся общего веселья, шуток, выпивки, женщин сумрачный, всегда ровный, со всеми холодный Тухачевский, — но о нем заговорили и имя его узнали в корпусе.

После Кржешова суждения Тухачевского о военных операциях стали еще апломбней. Не по чинам и возрасту заносчив и серьезен поручик. Только храбрость, ум и безупречность в боевой службе не позволяли никому посмеяться над чувствующим себя полководцем юношей с как будто рассеянной, но в то же время очень упорной походкой.

После напряженных боев у Новой Александрии, где отбилась от немцев Петровская бригада, ее кинули под Ивановгород, на форты которого насел крепкий венгерский корпус.

Тяжелая распутица топила людей, коней, двуколки, орудия, обозы. По наскоро наведенным понтонным мостам семеновцы переправились через Вислу. Издалека глухо вздыхала немецкая артиллерия. В районе крепостной обороны, в разоренном местечке Гневушев, по колена в жидкой грязи, Веселаго и Тухачевский остановили роту. Поливаемых дождем и снегом солдат разводили на ночь квартирьеры.

А с серым рассветом, без выстрела, семеновцы заняли отведенный им боевой участок. На склонах за увалами на холмах виднелись позиции венгров; шел дождь, снег, несся ледяной ветер; в мертвом рассвете не слышалось выстрела;

так прошел тихий день; наступила звездная осенняя ночь; острыми змеями взлетали ракеты, вспыхивая на темно-вызвездившем небе, падали в черноту дикой земли меж русскими и венгерскими линиями.

Но на втором рассвете, когда невыспавшиеся солдаты казались иззеленя-бледными, венгерская артиллерия повела обстрел русских позиций. Он разрастался. Русская полевая отвечала; пошла гудящая артиллерийская дуэль; снаряды подымали кучи черной земли и дыма, и в рассветном небе бело-розовыми птицами полыхала шрапнель.

К вечеру заревела русская гаубичная батарея, и семеновцам был отдан приказ: «Гвардейцы, вперед!»

В неглубоких, наскоро рытых окопах зашевелились, поднялись семеновцы, справа преображенцы, 6-я рота с идущими на флангах капитаном Веселаго и подпоручиком Тухачевским длинной цепью двинулась на венгров.

Бешеный заварившийся огонь открыли венгры. Санитары подбирали, падая, стонущих людей. «Разрывными бьют!» — кричали русские. Венгры действительно били разрывными. Словно захлебываясь бешенством, шили пулеметы; передовая венгерская линия в двухстах шагах, у разрушенного фундамента сожженного дома, но это расстояние семеновцам надо идти по обращенному к неприятелю склону пашни.

Семеновцы окапывались, перебежали. С винтовкой наперевес, пригибаясь, крича: «Братцы, вперед!» — бежал грязный будущий красный маршал впереди роты. Но так и не прошли двухсот шагов дикой земли семеновцы под венгерскую ружейно-пулеметную рапсодию.

Вечером с болот тянулась туманная сырость. Венгерский огонь застыл, изредка вздрагивая пулеметом. Вжимаясь в землю, окопались, лежали на пашне царские гвардейцы. С лицом, облепленным брызгами грязи, завернувшись в рваную шинель, в свежевзрытой снарядом воронке лежал Тухачевский.

— Послушайте, ползите сюда! — приподнявшись, полукрикнул пожилому однополчанину, лежавшему недалеко. Тот подполз, спрыгнул, поздоровался,

— Не дойдем, — проговорил, умащиваясь рядом с Тухачевским, старый офицер, седой и бородатый.

— Надо дожидаться темноты, сейчас наступать — абсурд, — сказал Тухачевский.

По гребню недалекой канавы, подымая в сумерках землю, как хорошая швея прострочила, прошел венгерский пулемет.

— Видите, как пристрелялись, сволочи! Головы не высунешь! — сказал Тухачевский, помолчал и добавил: — Приказано атаковать ночью.

Офицер что-то пробормотал, поворачиваясь в воронке, чуть сдавливая Тухачевского. То и дело на высоте аршина воздух со свистом резали пули, иногда упирались в землю и тогда обдавали сырой землей.

— Сегодня жена командира прислала, не хотите? — улыбаясь в темноте, протянул на грязной ладони Тухачевский офицеру леденцы. — Рекомендую, утоляют жажду... кисленькие...

— Спасибо, — взял тот и засмеялся.

Поворачиваясь со спины на пузо, Тухачевский тихо сказал:

— Смотрю на вас, знаете, и удивляюсь.

— Чему?

— Да так. Вы ведь сами пошли на войну. А зачем? Были в отставке, пожилой уж человек, для вашего будущего все у вас есть, и вдруг пошли в эту бойню? — Тухачевский даже коротко захохотал, что случалось с ним редко.

Артиллерия венгров ударила. Стихло. И снова далеко, словно прося воды и сию минуту захлебываясь, заклокотал пулемет.

Офицер в воронке даже взволновался.

— Позвольте, да как же я могу сидеть сейчас в тепле и уюте, когда встала вся Россия? Это всего-навсего долг. Чего ж тут удивительного? Так поступают тысячи. Ведь вы сами тоже здесь и, вероятно, не считаете это странным?

— Я? — в темноте проговорил Тухачевский, словно даже чуть удивленно. — Ну, я другое дело. — Он натянул на голову крепче грязно-скомканную фуражку, помолчал и сказал для него даже странно, необычайно горячо: — Что у меня впереди? В лучшем случае через годы служебной лямки пост бригадного генерала. Это когда из меня песок посыплется. Война, мой друг, для меня все! Для меня тут или достичь сразу всего, что хочу, в год, в два, в три. Или — погибнуть. Я сказал себе, либо в тридцать лет я буду генералом, либо меня не будет в живых!

Стемнело. Огонь венгров замер. Где-то совсем далеко, влево, у преображенцев тихо строчили пулеметы. Против семеновцев лишь стаями вылетали ракеты; венгры приготовились к русской атаке и шупали темноту, ожидая.

— В войне — вся цель моей жизни с пятнадцати лет! — сказал Тухачевский, и офицер видел в темноте

испачканное комьями земли лицо, выразительное и красивое. — Вот за два месяца, что мы в боях, я убедился — для достижения того, что я хочу, нужно только одно — смелость! Да еще, пожалуй, вера в себя. Ну, а веры в себя у меня достаточно.

В этот момент к воронке Тухачевского подползла на короточках темная фигура.

— Ваше высокоблагородие, связь от батальонного, приказ подымать в атаку.

— Хорошо, скажи, подымаю, — проговорил Тухачевский, приподымаясь в воронке. — Прощайте, — засмеялся он собеседнику, который, чуть пригнувшись, стал перебегать к своей части.

Перед атакой все стихло. Были только взлеты, всплески цветных венгерских ракет, да иногда густой хаос ночи прорывал лунный сноп прожектора. В темноте стали вставать, подыматься семеновцы. И вдруг вместе с криками «ура!», разрезая линией огня темноту, слился внезапный треск пулеметов и ружей. Это царская гвардия пошла в атаку. 6-ю роту, крича «ура!», с винтовкой наперевес, бегом вел Тухачевский. Коротким рукопашным боем гвардия овладела венгерскими окопами и отбросила венгров далеко за Гневушев.

Тяжелые бои, изнурительные переходы с Семеновским полком проделал Михаил Тухачевский; ходил в штыковые атаки, глубокие обходы; два месяца за веру в свою звезду бился под Ломжей.

Осень сменилась вьюжной зимой; понесла метелица, запуржило, занесло русский фронт; а на фронте, хоть и готовил ему новые задания великий князь, не хватало уж ни огнеприпасов, ни провианта, ни бодрости.

Полумиллионную армию под командой генерала Иванова — «через Карпаты в Венгрию» — направлял Верховный. Напрасно указывали князю на снега, морозы, заносы и невероятность операции. У великого князя глазомер и натиск — все. А сражаться можно и во льду, и в снегу, сказал князь, отправляя войска на очередное бесславие.

Два удара решил нанести великий князь. Еще — генерала Сиверса через Мазурские болота направлял в Восточную Пруссию. Это были не планы стратега, а сумасбродство сатрапа.

В вьюге, в метели, в ледяных ветрах гибли русские войска в Карпатах. А меж Сувалками и Августовом генерала Сиверса зажали немцы такими клещами, что уничтожили всю 110-тысячную армию. В этих 110 000 уничтожили и военную карьеру Тухачевского на мировой войне.

Ночь стояла страшная, плачущая метелью, стонущая в темноте. В темноту, в метель, в буран, прорвав фронт, обошли немцы семеновцев и бросились с тылу в атаку. В хаосе февральской снежной ночи началась рукопашная.

Из блиндажа 6-й роты выскочившего командира капитана Веселаго четверо немецких солдат закололи штыками; на теле, найденном впоследствии, остался нетронутым Георгиевский крест и было больше двадцати штыковых ран.

Мало кто из семеновцев в эту ночь вырвался из немецкого кольца. Вырвавшиеся рассказывали, что Тухачевский в минуту окружения, завернувшись в бурку, спал в окопе. Может быть, он видел сон о славе? Но когда началась стрельба, паника, немецкие крики, Тухачевский вскочил, выхватив револьвер, бросился, стреляя направо и налево, отбивался от окруживших немцев. Но врывавшимися в окопы немецкими гренадерами был сбит с ног и вместе с другими взят в плен.

Вот она, мечта, карьера, звезда, вся жизнь! За мост, за храбрость, за риск головой вместо Георгия — Владимир, а вместо боевых отличий — позорная сдача сотысячной армии.

За Сувалками пленных офицеров грузили в вагоны; и поезд вскоре уже шел по той Восточной Пруссии, куда должен был ворваться генерал Сиверс по бесталанной импровизации великого князя.

ПЯТЬ ПОБЕГОВ ИЗ ПЛЕНА

Много крепких лагерей выросло в мировую войну на равнинах, скалах, горах, на морском берегу Германии.

В Пруссии славился форт Цорндорф при крепости Кюстрин у Одера и Варты; в Саксонии — неприступная древняя крепость Кёнигштейн, где в 49-м году сидел заключенный русский бунтарь Бакунин; в Баварии форт № 9 крепости Ингольштадт; в игрушечно-живописных горах Гарца — Клаусталь, Альтенау; в Шварцвальде, Тюрингии, на берегах Северного моря — везде росли лагеря, опутанные колючей проволокой.

Зима стояла снежная, морозная, с сугробами, с синим инеем. Был конец февраля. Поезд с русскими офицерами, пуская дымы, шел по белым полям к северу, к морю, в Штральзунд. Говорят, Тухачевский был молчалив; казалось, равнодушно глядел в окно на чужие, однообразные, белые равнины. Но это равнодушие глядевшего в окно по-

ручика было, вероятно, не сродни психическому столбняку, овладевающему пленными.

За решеткой лагеря Штральзунд, зорко охранявшегося часовыми, собаками и седым бушующим морем, Тухачевский по прибытии обратил на себя общее внимание; стал в отчаянную оппозицию немецкому начальству. По пустыкам и непустыкам подавал вызывающие рапорты; и, бравируя, походя говорил, что в Германии долго не засидится.

— Вот дождусь только тепла, а там убегу из лагеря, украду лодку, проплыву до Рюгена, с него в Швецию и в Россию, в полк.

Лагерная жизнь пленных шла монотонно, по-монашески; по сигналу обед из оранжевой брюквы и картофеля; отдых; прогулка; сон: перед сном в столовой собирались у пианино, кто в домино, вспоминали о войне, читали газеты, обсуждая шансы стремительно начавшегося наступления Маккензена.

Наступление Тухачевского волновало. Из России пишут: однокашники уж командуют ротами, батальонами; у одних — Георгиевские кресты, у других — золотое оружие; из писем с родины и фронтовых сводок несвобода Штральзунда превращалась для Михаила Тухачевского в гроб и в смерть.

Бредить с 15 лет военной славой: в тридцать лет обязательно «быть генералом», прекрасно начать с моста под Кржешовом и кончить брюквой, картофелем и немецким морем.

Сужденья Тухачевского о войне были страстны. Сверстники, сторонясь его, не дружили с странным поручиком; зато любили старики гвардейцы, как бы даже с восхищением говоря: «Наш, львенок, настоящий семеновец, из стаи славных...»

Все еще стояла зима; с моря дул северный ледяной ветер; но вдруг побегом Тухачевского опередил поручик Кексгольмского полка, бежавший именно так, как хотел семеновец. Лагерь пришел в волнение. Тухачевский взволновался сверх меры: поймают иль убежит?

Но через четыре дня в ворота лагеря уже вели оборванного и продрогшего кексгольмца. Лодка не дошла до Рюгена, села на мель, немецкие рыбаки нашли полузамерзшего пленного и сдали его полиции.

— Я говорил — глупо! Неверно выполнено! — возбужденно рассуждал Тухачевский. — Разве можно сейчас бежать, в такой холод? Надо ждать тепла, вот придет лето, тогда и увидим!

Когда серость Северного моря разрывалась солнцем и голубым небом, Тухачевский становился все нервней в ожидании побега.

— Где же летом будете, поручик?

— В Карпатах, в полку.

И «львенок» улыбается упорно и странно. Июнь был жарок, безоблачен; море тихое, с всплесками дальних белых гребней и стаями чаек. Тухачевский предпринял побег в июньское воскресенье. Расчет был таков: с прогулки бежит в поля, ночью пробирается полями до моря, ищет пустую рыбацкую лодку и в ней «быстро пускается в путь» по морю в Швецию.

На прогулке за что есть духу бросившимся Тухачевским побежали конвойные, но все же Тухачевскому удалось скрыться. Долгие дни проводил он в хлебах; ночью выходил на поиски рыбацкой лодки, но как ни рыскал по суровому песчаному берегу, лодки, на несчастье, не находил.

На третьей неделе, буйной ветреной ночью, на морском берегу настиг и схватил Тухачевского военный патруль.

— Первый блин комом, — говорил исхудалый, голодный, искусанный до волдырей комарами за время пребывания в хлебах Тухачевский, — но зато уж хлеба я им потоптал, не меньше десятины никак. Все-таки не без пользы время провел, хлеб для них теперь все.

После отсидки под арестом за побег резкость поведения Тухачевского только усилилась; а тут начались волнения из-за приказа снять офицерам погоны. Царские погоны Тухачевский снять категорически отказался; и за это вместе с другими увезли его из Штральзунда в лагерь Бесков, где собрали до ста офицеров, не подчинившихся приказу.

Комендатура убеждала, но безрезультатно, а когда приказ был внезапно отменен и по всем лагерям погоны вновь надеты, с «бесковцев» в наказание комендатура сняла погоны насильно. Произошел бой, дикую горячность в котором проявил Михаил Тухачевский.

Хлопотно старому коменданту с этим семеновцем. Военнопленных здесь и так не выпускали на прогулку, но для устрашения комендант вывесил все же приказ: «Всякая отлучка из лагеря без моего специального разрешения будет караться тюремным заключением». И на следующий же день Тухачевский подал коменданту рапорт: «Предполагая сего числа бежать из германского плена, дабы вступить в ряды действующей русской армии, прошу вашего специаль-

ного разрешения, согласно вашему приказу, на выход за пределы лагеря Бесков. Российский гвардии поручик Семеновского полка Михаил Тухачевский».

Через полчаса Тухачевского под конвоем отправляли под строгий арест. Правда, после этого комендант устрашающий приказ снял.

Но не из-за бравяды, шума и бума подавал свои рапорты Тухачевский; это была рискованная игра; лучше смерть была на границе от пуль часовых, чем живая смерть плена. Из Бескова бежать трудно, и Тухачевский решил идти на все резкости, чтобы только «переменить местность».

Надоел ли он коменданту, случайно ли, но после последнего ареста Тухачевскому повезло: с партией офицеров увезли в мекленбургский лагерь Бадштуер.

В Бадштуере было больше свободы; поэтому стал только нетерпеливее Тухачевский; среди пленных присматривал товарища для побега; а когда нашел отчаянного армейского прапорщика Семенова, решил бежать в ближайшие же дни. При обдумывании плана на помощь пришли воспоминания побегов русских революционеров из тюрем.

— Знаете, Семенов, — говорил Тухачевский, — читал я о побеге террориста из сибирской тюрьмы; его вывезли в телеге в кадушке с капустой за ворота, и он бежал.

— Но его же вывезли, наверное, сообщники? — возражал Семенов. — А кто ж нас тут повезет, немецкие солдаты?

Но этот план побега Тухачевского не покидал; а когда увидел на лагерном дворе пригнанных на работу русских военнопленных солдат, бросился к Семенову сообщить о важном событии.

План был осуществлен. Бегуны постепенно стоваривались с приходившими убирать помещение русскими солдатами; и одним темным вечером вывезли солдаты будущего командарма и прапорщика Семенова за ворота в телеге с мусором и за лагерем свалили в яму.

В яме лежали до ночи, а ночью тронулись в длинный, километров в 500, путь к голландской границе. Был июль; днем забирались в леса, в хлеба, в овраги — спали; а ночью шли хорошими военными переходами.

Уже неделю пробирались по военной Германии; шли по компасу и карте, за ночь выходило километров 20 «полезного пути», не считая ошибок и крюков.

Все благоприятствовало: штатский костюм, хороший компас, карта, небольшой запас еды; но не предусмотрели одного: через неделю вышли все спички.

Бывало, забравшись в овраг, варили в котелке картофель, поддерживая силы горячей пищей, теперь жевали только хлеб; но и его не оставалось. Беглецы обессилели, ночные переходы сократились, а до границы не меньше 200 километров. Охватывало волнение; и решили идти на отчаянность, а достать спички!

Более чисто одетый Семенов пошел на ура в первую деревню. Тухачевский остался под деревней в овраге; час ждал Тухачевский, но через час, делая знак, что все благополучно, Семенов показался на шоссе.

— Со спичками мы преобразились, — вспоминал Тухачевский позже, — нам как будто что-то в жилы влили; а тут наткнулись еще на утиное гнездо, варили яйца, и уверенность в побеге была полная.

Из сухих веточек лиственницы днем разводили огонь, такой костер не дает дыму, а огня не видно, словно спирт горит; беглецы осмелели, но эта смелость их и погубила.

У самой границы решили реку не переплывать, а на авось пройти по мосту. И только ступили на мост, как из-под моста вырос шлем и серая шинель немецкого часового. Взгляда было достаточно: побежали беглецы в разные стороны, но Тухачевскому не повезло. Часовой бросился в погоню за левым, Тухачевским, а не за Семеновым; долго бежали, обессилел Тухачевский, упал, и солдат схватил его.

— Вы шпион? — начал допрос Тухачевского комендант ближайшего города. Это пахло расстрелом.

— Нет, военнопленный.

— Документы?

— Документов нет.

Казалось, в момент срыва почти осуществленного побега можно было предаться отчаянию; но Тухачевский выказал железное упорство, сказал, что он солдат из недалекого от границы, случайно известного солдатского лагеря. В наручниках под конвоем отправили Тухачевского в солдатский лагерь, но там пленного не признали, а так как он отказывался назваться, посадили в местную тюрьму.

Ночью в тюрьме Тухачевский уговорил двух унтер-офицеров бежать: тюрьма охранялась плохо; с двумя солдатами в ту же ночь Тухачевский бежал; оба унтер-офицера удачно перешли границу, но у Тухачевского сорвался побег в третий раз: его схватили за тридцать шагов до Голландии.

Не то обессилел, не то отпираться на границе было рискованно, Тухачевский назвал себя, и его повезли в Бадштуер; опознав в Бадштуере, — дальше, в славившийся

строгостью штрафной лагерь форт Цорндорф при крепости Кюстрин.

От станции около трех километров вели Тухачевского в гору; был темный глубокий вечер; в темноте, показалось Тухачевскому, подошли к небольшому бугру; блеснул огонек; идя меж солдат, стал спускаться по широкому, плохо освещенному коридору куда-то вглубь. В тусклом свете различил решетчатые железные ворота и часового. Потом — лестница, узкий коридор, наконец, открылась небольшая дверь каменно-подземного помещения.

В почти огромной крепостной комнате с сводчатым потолком и несколькими арками свисали две тусклые спиртовые лампы, в клубах трубочного дыма шел громкий разговор. Тухачевский разглядел человек 50 офицеров, кто за картами, за шашками, кто около большой печи дымит над кастрюлями, кто завалился на поставленные друг на друга железные кровати; французы, русские, англичане, бельгийцы.

Но сильна была вера в судьбу и в «свою звезду»: с французским генералом Гарро и неизвестным англичанином через несколько дней начал рыть Тухачевский в Цорндорфе подземный ход, готовя четвертый побег.

Был уже назначен день и час, но по доносу за полчаса открыли подземный ход и Тухачевского повезли из Цорндорфа в Баварию, в еще более суровый лагерь — форт № 9 крепости Ингольштадт.

Сюда свозили негнушихся, многократных бегунов, оскорбителей начальства, подобрались тут отчаяннейшие головы со всего немецкого плена. Это была компания с богатым архивом побегов и изумительной коллективной франко-бельгийско-русской изобретательностью.

Время бессонных ночей на форте № 9 тянулось в рассказах о побегах, щеголяли офицеры находчивостью, лихостью, остроумием плана. Когда в форт привезли Тухачевского, его уже знали как маниакального бегуна, о нем уж шли разговоры в интернациональной компании.

Двери камер ингольштадтского форта № 9 выходили в темный коридор, разделенный посередине тяжелыми железными воротами на восточное и западное крылья. В пять часов ворота запирались; меж крыльями прекращалось общение; вместе с французами генералом Гуа, Гарро, Маршалем, Ломбаром, Ферваком Тухачевский жил в восточном крыле. В каземате тягучее время плыло звенящей тишиной.

Уж был 1916 год на исходе.

— Вот вы думаете о побеге, мсье Мишель, а скажите, вы верите в Бога? — говорит живущий с Тухачевским в одной комнате француз лейтенант Фервак.

— В Бога? — Тухачевский удивлен, странно выпуклые глаза улыбаются. — Я не задумывался над Богом.

— Как? Вы атеист?

— Вероятно. Большинство русских вообще атеисты. Все наше богослужение — это только официальный обряд, так сказать, — прием. Не забывайте, Фервак, что наш император носит кроме короны — тиару. Он папа, — смеется Тухачевский. — У нас есть секты, но нет ересей. Ваши, например, муки совести и прочее нам неизвестны. Заметьте к тому ж, что мы, как интеллигенты-горожане, так мужики и рабочие, все презираем попов. Они в наших глазах наихудшие из чиновников.

— Но позвольте, — уже горячится Фервак, — вы хотите, кажется, утверждать, что русский народ целиком нерелигиозен?

Тухачевский встает, ходит длинным шагом по каземату, не глядя на собеседника, глядя в каменный пол; он чуть-чуть улыбается тонким ртом и странными грустными глазами.

— Нет, как раз наоборот, я хочу сказать, что мы, русские, все религиозны, но именно потому, что у нас нет религии. Я не христианин, — остановился он перед католиком, — больше того, я даже ненавижу того нашего Владимира Святого, который крестил Русь, тем отдав ее во власть западной цивилизации! Мы должны были сохранить наше грубое язычество, наше варварство. И то и другое. Но постойте, и то и другое еще вернется, я ведь в это верю! Владимир Святой заставил нас потерять несколько столетий, но только и всего.

— Ого! — захохотал Фервак. — Если вы так неодобрительно отзываетесь о вашем князе Владимире, то, вероятно, уж вовсе ненавистно должны отзываться о великом императоре Петре? Ведь это именно он вас европеизировал?

Тухачевский, прохаживаясь, сделал детский жест досады.

— Ничуть! Вы не понимаете Петра! Это был гигантский, грандиозный варвар, и именно русский, именно такой, какой нам сейчас нужен. Что ж вы думаете, он хотел сделать из Петербурга Версаль и навязать нашему народу вашу культуру? Нет! Он только взял у Запада секрет его силы, но именно для того, чтобы укрепить наше варварство. Лично он сохранил культ наших старых богов. К тому

ж, когда он пришел, духовное зло над Россией уже было совершено.

— Я не знаю, верно ли все то, что вы говорите, но во всяком случае это не лишено прелести парадокса. Впрочем, Россия ведь действительно страна загадок и странностей. Главное — как кончится эта война? В немецких газетах пишут о возможности русской революции. Вы верите в нее?

— В революцию? Многие ее желают. Мы народ вялый, но глубоко разрушительный, в нас есть детская любовь к огню. Если б революция пришла, то Бог знает чем бы она кончилась. Главное, вы правы: как кончится война? Этого никто не может сейчас предсказать и предвидеть. — Тухачевский лег на койку, спокойно растянул длинное худое тело. — Вот вчера мы, русские офицеры, пили здоровье нашего императора. А может быть, этот завтрак даже был поминальный. — Помолчав, Тухачевский вдруг прибавил небрежно, вполголоса: — Наш император — дурак. И многим офицерам надоел нынешний режим. Об этом шли разговоры уж в 15-м году на фронте. Давно чувствуется, что при дворе бродит измена. Артиллеристы, например, говорили, что хотят конституционной монархии. Ну а пехота, может быть, захочет и чего-нибудь покрупнее.

— А вы?

— Я считаю, что конституционный режим был бы концом России, — потягиваясь, проговорил Тухачевский, нам нужен деспот. Мы варвары по существу. Представляете вы себе всеобщее избирательное право среди наших мужиков? Какая чушь! — внезапно захохотал Тухачевский.

Помолчали. И снова в камере крепости заговорили пленные, француз и русский. О чем только не говорили, не спорили: о христианстве, войне, России, искусстве, политике, о Бетховене, литературе, о «русской душе», о Боге, о русской интеллигенции. За разносторонность интересов Тухачевского французы даже переделали в Тушатусского (от *touh-ce-â-tout*).

— Евреи? — насмешливо говорил Тухачевский, — евреи принесли в мир христианство. Этого уже достаточно, чтоб я их ненавидел. И потом, евреи — низшая раса. Я говорю об опасностях, которые они могут принести. Вы — француз, для которого равенство — догмат, не можете этого понять. Это именно евреи сеют везде своих опасных блох, стараясь привить нам заразу цивилизации, давая всем свою мораль денег — мораль капитала.

— А, понимаю! Вы против капитала?? — захохотал, перебивая, Фервак. — Вы — русский социалист?

— Какая у вас потребность в классификации, — смеялся и Тухачевский, — но, во-первых, все великие социалисты — евреи, и социалистическая доктрина, собственно говоря, — ветвь всемирного христианства. Мне же малоинтересно, как будет поделена меж крестьянами земля и как будут работать рабочие на фабриках. Царство справедливости не для меня. Мои предки, варвары, жили общиной, но у них были ведущие их вожди. Если хотите — вот философская концепция. Евреев же, социалистов и христиан я ненавижу всех вместе. Между мной и евреями к тому ж есть большая разница. Евреи в большинстве любят силу денег, а я деньги — презираю.

— Но позвольте, мсье Мишель, — горячился Фервак, — ведь вся ваша варварская концепция может войти в жизнь, только если в России произойдет революция. Не правда ли? Так?

— Почти что так.

— Но если таковая произойдет, то во главе русской революции, вероятно, станут социалисты, то есть и евреи. Что ж вы будете делать?

— У нас еще нет революции. Не знаю, — засмеялся Тухачевский, — впрочем, посмотрим. Вы правы, это, вероятно, так и начнется, но выдержат ли наши евреи русский варварский напор и разгул? Едва ли. Не думаю. У них слишком развито «чувство меры», а мы как раз сильны противоположным, тем, что не имеем именно этого чувства. Евреи, вначале ставшие в голову революции, будут оттеснены русским напором. Чувство меры, являющееся на Западе качеством, у нас в России — крупнейший недостаток. Нам нужны отчаянная богатырская сила, восточная хитрость и варварское дыхание Петра Великого. Поэтому к нам больше всего подходит одеяние деспотизма. Латинская и греческая культура — какая это гадость! Я считаю Ренессанс наравне с христианством одним из несчастий человечества. Американцы стояли бы выше вас, европейцев, если бы они, в свою очередь, не соблазнились гармонией и мерой. Гармонию и меру — вот что нужно уничтожить прежде всего! Я знаю ваш Версаль только по изображениям. Но этот парк слишком вырисованный, эта изысканная, слишком геометрическая архитектура — просто ужасна! Скажите, никому из вас не приходило в голову построить, например, фабрику между дворцом и бассейнами?

— Никому, — смеялся француз.

— Жаль, очень жаль. У вас не хватает вкуса или слишком много его, что, собственно, одно и то же. В России у

себя в литературе я любил только футуризм, у нас есть поэт Маяковский. У вас бы я был, вероятно, дадаистом.

— Но позвольте, мсье Мишель, — смеялся Фервак, — вы же любите Бетховена?

— Вы правы. Люблю. Не знаю почему. Для меня даже нет произведения выше 9-й симфонии. Это странно, но в ней я чувствую что-то глубоко родное нам, наше, мое.

Тухачевский в лагере из причуды купил за 500 марок скрипку, начал учиться, но ничего не вышло; и в злобе, что не может исторгнуть у скрипки «бетховенского звука», бросил инструмент под кровать, предоставив ему плесневеть вместе со старыми сапогами.

Революция 1917 года грянула как гром с голубого неба. Тухачевский взволновался. С жадностью набрасывался на газеты; маниакальная мысль о побеге вонзалась теперь с такой остротой, что даже Фервак не узнавал необычайно молчаливого сотоварища. Только за чтением газет не выдерживал Тухачевский.

— Вы смотрите, смотрите, какие страшные, великие ошибки делает этот социалист Керенский, — вскрикивал Тухачевский, отбрасывая газеты, — он не понимает ни нашего народа, ни судьбы нашей страны! В то время когда нужен террор и безоглядная наполеоновская сила, он делает все обратное! Вы почитайте его речи! — возмущался Тухачевский, — это ваши демократические куплеты! Он отменяет смертную казнь и стоит за созыв Учредительного собрания! Да разве этим можно помочь стране и именно нашу страну вывести на настоящую государственную дорогу? Нет, мы, русские, никогда, никогда не должны останавливаться на полдороге. Когда катишься вниз, лучше докатиться до самого дна пропасти, а там, может быть, и найдется тропка, которая выведет тебя куда-нибудь, если не сломаешь себе кости.

А события русской революции развивались с поспешностью грозы; колебля мир, революция уже бушевала изо всех сил. Надменный, угрюмый Тухачевский крутил в одиноких, одиночных прогулках по форту, лихорадочно-тщательно обдумывал план побега. Революция может исправить все, ведь открылись небывалые, наполеоновские просторы! Керенский пробует наступление! Побег сейчас это — последняя карта всей колоды. Он опоздал к войне, и если опоздает к революции, — жизнь может быть кончена.

«На верху» форта кружившего с опущенной головой Тухачевского остановил пленный прапорщик Цуриков. Тухачевский показался Цурикову в «мечтательном состоянии».

— Ничего не получали из России? Не знаете, что у вас в деревне сейчас?

— В деревне? — удивился, словно приходя в себя, Тухачевский. — Не знаю. Рубят там, наверное, наши липовые аллеи. — И добавил с улыбкой: — Очевидно, так надо. — И дальше по форту закружил тонкий, с мальчишеским лицом, оборванный красивый двадцатичетырехлетний поручик.

Вечером Фервак с Тухачевским читали по-французски Достоевского, которого Тухачевский любил и за чтением которого часто загорался. И сегодня, когда дошли до мест панславизма, Тухачевский вдруг воскликнул;

— Вот, именно, Фервак! Только вы этого не поймете! Разве важно, осуществим ли мы наш идеал пропагандой или оружием? Его надо осуществить, — и это главное. Задача России сейчас должна заключаться в том, чтобы ликвидировать все: отжившее искусство, устаревшие идеи, мораль, всю эту старую культуру!

— Но ведь кроме всего есть еще честь.

— Честь? — как бы удивился Тухачевский и пожал плечами. — Да, честь, конечно, есть. Но если б наступающий сейчас на Керенского Ленин был бы способен освободить Россию от всех старых предрассудков и деевропеизировать ее, так я пошел бы за ним.

Это было выговорено впервые. Лейтенант республиканской французской армии был поражен. А Тухачевский возбужденно говорил дальше:

— Нужно только одно: чтобы он снес до основания и сознательно отбросил нас в варварское состояние. Какой это чистый источник! При помощи марксистских формул, смешанных с вашими демократическими куплетами, ведь можно поднять весь мир! Право народов на самоопределение! Вот волшебный клад, который отворяет России двери на Восток и запирает их для Англии.

— Но на Западе он лишает вас Польши, Финляндии, а может быть, и еще чего-нибудь?

— Вот тут-то и привходят марксистские формулы. Революционная Россия, проповедница борьбы классов, распространяет свои границы далеко за пределы, очерченные договорами. Но нам для этого необходима новая религия, и между марксизмом и христианством я выбираю марксизм. С красным знаменем по Европе! Да вы понимаете, что это такое? — возбужденно, с горящими глазами проговорил Тухачевский, откидывая Достоевского.

Он, конечно, не думал, что через три года поведет русские войска с красным знаменем на Варшаву, на Европу.

Он только верил в «свою звезду», ушедшую было за тучи на небе войны и долженствующую выплыть в буре революции.

— Но ведь формулы Ленина будут означать поражение и сепаратный мир. — проговорил Фервак,

— Для нас это безразлично, — сделал неопределенный жест Тухачевский, — ваша победа нас в такой же мере ампутирует, как и ваше поражение. Англичане во всяком случае преграждают нам путь и в Азии, и в Европе. Но они не смогут остановить идеи самоопределения народов. А если нужно, то тут мы сможем воевать против них.

— Черт знает, вы шутите, мсье Мишель, что за мечты? — захохотал вдруг Фервак, глядя на возбужденного Тухачевского.

Тухачевский остановился, потом рассмеялся смехом, в котором были зараз и ирония, и отчаяние.

— Ну, конечно же, шучу! — сказал и поставил Достоевского на полку.

Мечты о победе стали манией, болезнью. Тухачевский становился все неразговорчивей, углубленней; только на прогулках все чаще видели его худую, в обмотках, несмотря на оборванность, элегантную фигуру, в маниакальном состоянии кружившуюся по форту. Глядя на нее из окна, Фервак думал: «Он легко бы нашел работу в историческом фильме, ни один человек в мире не мог бы, если не считать роста, так хорошо изображать великого корсиканца, как этот парадоксальный поручик со вкусом к истории».

В математическом и вдохновенном обдумывании пятого побега Тухачевского сбил французский офицер Ломбар, на глазах стражи свертотчаянно бежал отважный француз, приведя побегом в восторг даже немецкого коменданта.

Ломбар переполнил чашу терпения Тухачевского, — бежать, как угодно, во что бы то ни стало, в Россию, где бушует ломка старого, где уж «пальнули пулей в святую Русь», — только об этом думал, кружась «на верху» форта, Тухачевский.

В надежде побега хватался за все. От вернувшегося из крепостной тюрьмы француза услышал: в тюрьме контрабандист с швейцарской границы. Тухачевский рискнул попробовать фантастическое дело — попасть в тюрьму, связаться с контрабандистом и с ним бежать.

Неважно владея немецким, пошел к прапорщику Цурикову, прося написать рапорт коменданту крепости, что один из фортовых унтер-офицеров во время обыска украл вещь Тухачевского.

— Только пишите, пожалуйста, так, — просил Тухачевский, — чтоб я обязательно попал в тюрьму месяца на два.

— Зачем?

— Мне это нужно.

И Тухачевский попал под арест, но связаться со швейцарским контрабандистом не удалось. Потеряв время, ни с чем выйдя из тюрьмы, лихорадочно обдумывал уже новый план.

Но после Ломбара на открытый побег Тухачевский не решался; он прибегнул к хитрости: комендатура разрешала прогулки вне лагеря, если пленный давал подписку, скрепленную честным словом; этим пользовались англичане и не бегали. Французы и Тухачевский отказывались от подписки.

Но что такое «честное слово»? Перед карьерой, побегом, свободой, жизнью? Ткачев, предтеча Ленина, считал честное слово понятием, предназначенным специально для того, чтобы нарушать его перед дураками.

Да и французский генерал Бонапарт, чью биографию так хорошо знал Тухачевский, говаривал Талейрану: «Подлость? Э-э, не все ли равно! Ведь, в сущности, нет ничего на свете ни благородного, ни подлого, у меня в характере есть все, что нужно, чтобы укреплять мою власть и обманывать всех, кому кажется, будто бы они знают меня. Говорю откровенно — я подл, в корне подл, *je suis lâche, essentiellement lâche*; даю вам слово, я не испытал бы никакого отвращения к тому, что свет называет «бесчестным поступком».

План был готов: бежит с прогулки куда глаза глядят, в леса, пробирается к швейцарской границе, а оттуда уж — в огненную, расплавленную Россию.

«Для компании» уговорил бежать полковника Черновецкого. Фервак только улыбался, не верил, «слишком восточный план». Но все уже было решено. С полковником Черновецким назначили день — субботу. Фервак дал штатский костюм, Тухачевский надел его под военное; документов никаких, ничего, кроме небольшого запаса провизии по карманам.

В душный день, когда на небе не было ни облачка, из окна крепости Фервак смотрел, как конвойные выводили на прогулку пленных и как медленно начала удаляться к крепостным воротам фигура бредившего историей парадоксального поручика. Кроме Фервака да Черновецкого, шедшего рядом с Тухачевским, никто не знал, что под военным надето штатское и сопровождающий фельдфебель, может быть, через четверть часа разрядит обойму в спину бегущего из Баварии в Россию Тухачевского.

Партия пленных шла к лесу. Тухачевский волновался: какую дорогу возьмет сопровождающий фельдфебель? Но шло хорошо. С Черновецким переглянулись, стали держаться на расстоянии. Фельдфебель, покуривая трубку, полагаясь на «честное слово», шел, не обращая внимания на офицеров.

Но у леса две фигуры бросились в кусты. Фельдфебель растерялся: оставить всех, может быть, бросятся даже англичане? Сопровождающий ландштурмист кинулся в чащу за пленными, раздались разносимые эхом выстрелы. Выхватив револьвер, фельдфебель повернул пленных назад к крепости.

Через четверть часа из леса вылез и ландштурмист; а из ворот крепости уж неслась погоня, верховые по дорогам, пешие с собаками по лесам. Нашли шинель Тухачевского, в ней кусок хлеба. Дальше — сброшенная военная форма, в карманах ничего.

Наступила ночь, шел дождь; в комендатуре звонил по всем направлениям телефон; но погоня вернулась ни с чем.

Пленные долго не ложились; спорили о шансах побега и допустимости с точки зрения чести бежать, дав честное слово. Англичане считали это неслыханным неджентльменством; русские во мнениях раскололись; французы, не одобряя нарушения слова, одобряли отчаянность гвардейского скифа.

Через три дня в крепость привели пойманного изголодавшегося, избитого, мрачного полковника Черновецкого. Его спрашивали о Тухачевском, но он ничего не смог сказать — разбежались в разные стороны.

— Видел раз вечером какого-то человека, прятавшегося в зарослях у реки, может быть, и он, да подойти, окликнуть боялся... — говорил Черновецкий.

Думали-гадали пленные о судьбе Тухачевского: ушел или не ушел? Через месяц почта принесла цюрихскую газету, где на последней странице стояла петитная заметка: «На швейцарской границе Тироля найден труп, очевидно военнопленного, умершего от голода и холода, при умершем никаких бумаг не обнаружено».

Пленным стало ясно, как окончил жизнь странный гвардии поручик, любивший Бетховена, ненавидевший Европу и веривший в «свою звезду».

Погоревали в Ингольштадте. А через три года, сидя уже по домам, узнали, что любитель Бетховена жив, но он уж не гвардии поручик, а красный маршал, ведущий русскую Красную Армию ошеломляющим ударом на Европу, «чтоб перекроить ее карту».

ТУХАЧЕВСКИЙ В ПЕТРОГРАДЕ

Из Швейцарии в Петроград, в столицу революции, Тухачевский въехал в момент полного развала. Это был конец 1917 года, драматичнейший этап революции перед созывом Учредительного собрания.

Железнодорожные впечатления уже показали гвардии поручику, в какой температуре лежит страна. С фронтов самотеком «резали винта с липой», развалом, разгулом ехали войска. Деревня зажгла помещичьи имения, дав русской равнине картину костра. «Крути, Гаврила!» Задыхаясь, плыли по России поезда, а на буферах, на крышах, в шинелях нараспашку, без поясов, с кумачовыми бантами, сидят, стреляют солдаты от счастья свободы; с немцем сами заключили мир повзводно и поротно.

На вокзале в Белоострове Тухачевский попробовал окликнуть фронтовиков:

— Зачем стреляете? Зря патроны тратите!

Но солдат с буфера, с лицом деревянно-выразительным, потряс в сторону будущего красного маршала винтовкой, и если б знали фронтовики, что в горчичных обмотках и драной военной шинели, из-под которой виднелся штатский костюм, едет лейб-гвардии поручик, разорвали б самосудом так же, как разрывали многих.

Петроград отражал страну полностью. Это хаос одной из кровавейших революций, сначала считавшейся бескровной. В Смольном, в «Красной комнате» классных дам уже заседал Совнарком, из кабинета Ленина, комнаты № 75, в страну летели лозунги и декреты; перед матросами, солдатами, рабочими, бурно приветствуемый, на арене цирка «Модерн» выступал Владимир Ленин: одни аплодировали, другие хохотали, а случайно зашедшие дрожали, как от мороза.

Керенский уже свергнут. В Петрограде разбиты царские погреба, замертво опиваются французским вином те, чью «кровь пили триста лет». Напиться раз в жизни, как следует, это тоже хорошо! У правительства нет сил остановить даже эту «ренсковую» революцию. А любимый Тухачевским поэт Маяковский орет на концертах перед солдатами, предлагая «перемыть мир». Автомобиль Ленина, летящий из манежа, изрешечен винтовочными пулями. Говорят — покушение, но никто точно не знает. Петроград кипит так, что даже сам Ленин признает: «Тут делается черт знает что!»

Никто не понимает, чего же хочет в 1917 году Россия? Она хочет всего! Вот чего! Страна кроваво отвалила от

старого берега и пошла в ледоходе трехсотлетней мести, ненависти, бессилия, испуга и разнузданности авантюры.

В этот котел октябрьской революции, где сплелись пьяные погромы с беспочвием идеализма, лозунги классовой ненависти с попытками белых заговоров, куда съехались несметные авантюристы, желающие наганами и маузерами исправлять русскую историю, в этот Петроград из Швейцарии приехал и поручик Тухачевский.

С вокзала ехать Тухачевскому было некуда; он приехал к России; поехал прямо в Семеновские казармы, в полк. Свиданье с засыпанным дамскими цветами при объявлении войны родным полком было — странным. В полку почти нет офицеров. После попытки восстания генерала Корнилова поголовно взяты под подозренье; одни «смылись» из Петрограда, другие не приходят в казармы. Власть у полкового солдатского комитета, но и она в сорокаградусной температуре петроградских страстей исчезает.

Все идет, как хочет революция.

И все же Петровская бригада, сыгравшая решающую роль в феврале, сейчас не с большевиками. Больше того — за Учредительное собрание и против большевиков. Здесь эсеры издают еще солдатскую газету «Серая шинель», в ней карикатуры на красногвардейцев, на Ленина, на «запломбированный вагон», «Серая шинель» читается с бурным успехом; Петровская бригада остановилась на феврале и в октябрь не идет.

Сломать контрреволюционность семеновцев, уже при Тухачевском, прибыл в казармы сам товарищ Абрам, прапорщик Крыленко, коммунистический верховный главнокомандующий. Теперь Крыленко у Сталина генерал-прокурор Республики, он знаменит, каждое его выступление в ревтрибуналах — кровь, его имя — одно из самых ненавистных, у него в Москве на Спиридоновской особняк, охраняемый ГПУ и обнесенный высоко колючей проволокой. Известен факт, как, страстный охотник на волков и медведей, генерал-прокурор избил арапником неумелого мужика-обкладчика, упустившего зверя.

Но тогда были иные ветры и время; сам Крыленко бы, вероятно, не поверил в свою позднейшую страсть к медвежьим охотам. По приказу коммунистического главнокомандующего было созвано полковое собрание семеновцев. Медленно серой толпой шли, сходились солдаты. Хмурые. Собранья по приказу хоть и не генерала, а будили злобу. В толпе перекидывались прибаутками, ядовитыми шутками: «Хочет застращать!», «Командующий!»

Тухачевский сидел на окне с членами полкового комитета. Крыленко встал на дощатой, обвитой кумачом трибуне — крепкий, с голым, белым, бритым черепом, лицо, оставленное последней чертой мягкости, квадратный подбородок. Стоял, упершись, выжидая, когда наполненный зал утихнет.

— Не мешало бы этого парня пришить!

— Уж больно на трибуне задается!

— Товарищи! — вдруг заговорил будущий генерал-прокурор Республики. — Я приехал к вам побеседовать от имени рабоче-крестьянского правительства...

Из первого ряда рыжий семеновец с места крикнул:

— Какое такое правительство?! Долой его!

Крыленко на рыжего и не взглянул.

— То, которое озабочено, — закричал, наклоняясь с трибуны, настроенными, царящими в Семеновском полку! Мы осведомлены, что гидра контрреволюции свила гнездо в этих казармах...

— Сам ты гидра! Буржуй! Долой! — заревел зал.

Тухачевский глядел на Крыленко; крепко стоял товарищ Абрам в бушующем море солдатской вольницы: пообвык, попривык не к таким бурям верховный главнокомандующий, ведь недавно на глазах его только что самосудом разорвали солдаты на части начальника штаба ставки генерала Духонина.

— Семеновцы! — повысил голос Крыленко, наливая напряжением скуластое упорное лицо. — Я приехал к вам говорить о так называемом Учредительном собрании! Буржуазная и контрреволюционная часть его решила свергнуть Советское правительство!

И вдруг с конца зала ураганом поднялось:

— Да здравствует Учредительное собрание! Долой большевиков! — зал подхватил вокруг Тухачевского крики. А Крыленко, словно пойдя в атаку, широко разевая рот, кричал в шуме зала:

— Именем Советского правительства предупреждаю, семеновцы! Если осмелитесь не повиноваться, будете безжалостно и жестоко наказаны.

Бешеный стоял рев зала:

— Мы тебе не Духонин! Отмойся! Руки коротки! С семеновцами так не разделаешься! Довольно! — И понесся соловьиный, в три пальца, свист.

Быстро Крыленко сошел с эстрады и, подойдя к членам полкового комитета, где сидел Тухачевский, бросил озлобленно:

— Если что-нибудь произойдет и семеновцы осмелятся выступить, с нами шутки плохи, перед нами будете лично за все отвечать! — И под улюлюканье солдат Крыленко вышел.

В российском конвенте — Совете рабочих и солдатских депутатов — Тухачевский слушал многих ораторов, но Крыленко был первым понравившимся. Понравился перед солдатами Крыленкин тон.

В день созыва Всероссийского Учредительного собрания, о котором полвека мечтали русские революционеры, зал Таврического дворца напоминал камеру уголовной тюрьмы. Дворец был заполнен революционным народом: густо висела площадная матерная брань; по залам с пулеметными лентами крест-накрест, увешанные гранатами и наганами, ходили пьяные матросы и солдаты в заломленных набекрень папах, лузгали, поплеывая, семечки; стучали прикладами винтовок об пол. Революционный народ был нетрезв: в буфете, перегруженные алкоголем, облегались, бляя на пол; уставшие спали, раскинув ноги, на мягких креслах и диванах стиля Империи.

В главном зале, среди публики, в рваной шинели, похожий на солдата, если б не породистое тонкое лицо, ходил Михаил Тухачевский. Слышал, как ветвистой, цветистой речью открыл заседание ВУС председатель его Виктор Чернов и прервал под матросской матерщиной. За ним на трибуну взошел хрупко-красивый Церетели, трагически изведавший царскую каторгу, и под наведенными на него винтовками пьяных матросов заговорил о мечте русского народа, об Учредительном собрании. А наверху в одной из лож положил лысую блестящую круглую голову на руки, на барьер, Ленин. И нельзя было разобрать, спит он или слушает.

Тухачевский не революционер; он не мог им быть по всему складу души. Тухачевский — профессиональный солдат; но не кондотьер и не солдат по присяге. Тухачевский солдат с собственным умом, собственной храбростью, собственным вкусом к истории. Из такого теста выпекались Бонапарты, Бернадотты, Неи, Даву, Пишегрю.

Я не знаю, о чем он думал, присутствуя при трагизме живой русской истории. Хотелось ли ему, как Бонапарту, поставить если не пушку, то пулемет, чтобы выпустить ленту в эту пьяную гранатную сволочь? Или думал только о мании, о головокружительной карьере, срок чему, кажется, пришел? Учредительного собрания, смерти которого от малокровия выжидал Ленин, Тухачевский не жалел во всяком случае.

Оно умерло, когда вышедшему из темноты российских деревень начальнику большевистского караула матросу Железняку от бессонных ночей захотелось спать. Он сделал Ленину дело. Не сдерживая зевоты, брякая прикладом об пол, матрос подошел к председателю Виктору Чернову и попросил «скорей кончать лавочку». И председатель закрыл беспрекословно. Это была жирная точка в русской истории,

Отсюда началась Советская Россия. И карьера Михаила Тухачевского, та самая, о которой так страстно мечталось с 15 лет. «Революция мне пришла по душе, и равенство, которое должно было меня возвысить, соблазняло меня», — говорил Наполеон.

Выходя из Таврического дворца, глядя, словно в пустоту, в площадь, заполненную красногвардейцами, автомобилями, мотоциклами, кричавшую на разных голосах, подымавшую на руки ораторов, Тухачевский не знал, собственно, куда идти. На последних ступенях лестницы кто-то схватил за руку и с криком «Миша!» сжал в объятиях.

Это радостная и необычная встреча, единственный в жизни друг еще по кадетскому корпусу, Николай Кулябко, тот, с которым ставили домашние спектакли и прикармливали поэтов из «Центрифуги», приятель по похождениям и происшествиям. Но теперь Кулябко с красным бантом на груди и повязкой ВЦИКа. Это темпераментный и авантюрный человек с любовью к приключениям без границ.

Первые слова встречи были несвязны; Кулябко рассказывал сумбурно, путано, но конец ясен — Кулябко уж большевик, в партии и даже попал в члены ВЦИКа: работы по горло, но вот именно по военной части у «Красной комнаты» Смольного страшная нехватка, вот именно «такие, как ты, большевикам нужны до зарезу!».

Как пружинный трамплин для дальнего прыжка попался Кулябко Тухачевскому. Чего лучше: друг, член ВЦИКа, говорит, что возьмут с руками и ногами.

В ближайшие же дни Кулябко повез Тухачевского в гнездо большевизма — в Смольный. В первой комнате Смольного Тухачевского поразила вышедшая красивая девушка с громадной трубкой в зубах; она говорила, словно торопясь на поезд.

— Д-да, тут, кажется, не уговаривают, — смеялся Тухачевский, идя мрачными коридорами института благородных девиц.

Когда они вошли в другую комнату, Тухачевскому представилось зрелище странное: в большой разделенной сдвинутой стеклянной дверью зале в одной половине вокруг

Якова Свердлова стояло несколько вооруженных кавказцев в черкесках, бурках, папахах, шел спор, почти крик, а в другой половине, сидя на столе, заплетая волосы, хорошенькая еврейка пела «Очи черные».

Это — не Учредительное собрание и «традиции русской интеллигенции». Тут вся история начинается сызнова, тут голая жизнь голых людей, духовных беспортошников. И тут та самая, овладевающая революциями «*activité vitale*», из которой вырастают, если хотите, необходимые поручику лейб-гвардии деспотизмы.

— Сейчас, сейчас, товарищ Кулябко, — отмахивался Свердлов, которого тянул друг Тухачевского. Тухачевский стоял в отдалении у двери. — Да говорите же скорей, в чем дело? Ваш друг? Куда? Так это не ко мне, идите к товарищу Антонову.

Они вышли к Антонову, который с красногвардейцами и матросами с «Авроры» в октябре взял штурмом Зимний дворец.

После слов Кулябко Тухачевский, вытянувшись по-военному, ошарашил рапортом щуплого глубоко штатского Антонова:

— Гвардии поручик Тухачевский бежал из германского плена, чтобы встать в ряды русской революции!

И вскоре одновременно с правительством Тухачевский переехал в Москву. В апреле 1918 года, не успев толком подчитать «марксистские формулы», уж вступил в РКП (б) и в военном отделе ВЦИКа занял должность инспектора формирования Красной Армии, через несколько месяцев сменив ее на ответственный пост военного комиссара важнейшего Московского района.

Тронулся лед. Еще сидели в Ингольштадте пленные офицеры, а тут уж началась отчаянная карьера. Поплыл Михаил Тухачевский по неожиданным кровавым порогам и полыньям вместе с Россией.

МУРАВЬЕВ И ТУХАЧЕВСКИЙ

В 1848 году в огне европейских революций русский беглец, бунтарь Михаил Бакунин прилагал немалые силы, чтоб зажечь мировой пожар с «богемским началом», Богемию считал бикфордовым шнуром взрыва, после которого, по плану Бакунина, должна была организоваться революционная диктатура, во многом предвосхитившая Советы.

В частности, Бакунин понимал, что не «Freischaren», а регулярное красное войско должно создать сразу по захвате власти, и формировать его предполагал с помощью «старых польских офицеров, отставных австрийских солдат и унтер-офицеров, возвышенных по способностям и рвению».

Ленин по-бакунински собственноручно заложил основание Красной Армии; это было во времена Смольного, когда все вершилось в ленинском кабинете. «Freischaren», красная гвардия, уже тогда не удовлетворяла Ленина. Но, по признанию военного комиссара Украины Затонского, все, «не исключая военки», в Смольном не знали, как подойти к делу закладки армии.

В начале января 1918 года в «Красной комнате» Смольного монастыря Ленин сказал, что не закроет заседания, пока не будет принят декрет о Красной Армии. При молчании присутствующих Ленин взял перо и начал выправлять, вычеркивать, изменять редакцию в заготовленном проекте. Закладка армии заняла час. Декрет был принят без голосования. Послушная «военка» по должностям поочередно подписывала: Крыленко, Дыбенко, Подвойский. Но, прищуря хитрый глаз и выдавив монгольскую скулу, Ленин проговорил;

— Передайте-ка на тот конец стола, пусть и Затонский подпишет, на случай, чтоб Украина потом не отпиралась.

Украина не сопротивлялась Ленину так же, как и Великобритания. Покрытый подписями декрет секретарь Горбунов потащил на телеграф, и декрет вошел в жизнь страны, родив Красную Армию, являющуюся сейчас одной из сильных и организованных армий в мире.

По рецепту Ленина, военачальников «военка» собирала с бору и с сосенки: «Ничего страшного нет! Втягивайте хорошенько их в работу. Чем лучше они обучат наших рабочих стрелять, тем безопаснее будут для нашего дела».

И все же не из числа царских генералов, полковников, пошедших к большевикам за страх и за совесть, родились ставшие теперь во главе армии красные маршалы. Российские Пишегрю, Ожеро, Неи, Мармоны, Даву, Дюроки испеклись из того же «французского» теста. Наполеонистые поручики, обойденные прапорщики, ухватистые унтер-офицеры, авантюристические портные, вовремя не награжденные капитаны, самородки-головорезы и моншеры с сильной уголовщиной, вот откуда вышла головка теперешней Красной Армии.

Всемирно (без иронии) известный царский вахмистр приморско-драгунского полка Семен Буденный, российский

Мюрат, на 15-м году революции иногда по привычке осеняющий себя крестным знаменем; Тухачевский и Блюхер, Ворошилов и Егоров, Якир и Уборевич, Шорин и Славин, Щаденко и Гай, убитые Чапаев и Котовский.

Эти карьеры складывались не быстро. Но на «красном поле» авантюр 1918 года Тухачевский выдвинулся умом, талантом, тактом, административным дарованием, партийным билетом, умением приказывать и был сразу замечен Львом Троцким.

Инспектор формирования, военный комиссар важнейшего Московского района, а в мае 1918 года, когда восстали в Поволжье чехи, Тухачевский вылетел на Волгу уже командующим 1-й красной армией.

Это Тулон Бонапарта, боевое начало карьеры в гражданской войне.

В Пензу, отбивать родной город от чехов, Тухачевский летел из Москвы с несколькими спутниками на сильной машине. Когда, гудя, пролетали над Чембарским уездом, велел спуститься у своего родового имения, захотел посмотреть на родные липы.

Стальной мухой в майской голубой вышине над соломенным селом начал кружиться самолет. Из изб выбегали мужики, бабы, глядя вверх на невиданную сроду муху. А муха все снижалась, снижалась, выбирая на просторном черноземе место спуска. И вот уж, гудя пропеллером, как пчела, совсем низко пошел над полем самолет и, подпрыгнув, пробежал несколько к толпе мужиков, встал, как гигантская птица. И враз бабы, ребятишки, мужики узнали, кто прилетел в диковинной птице.

— Батюшка, Михаил Николаевич... батюшка, барин...

Замерло село, снопами сдуру повалились мужики в ноги. Уж не с наказанием ли каким прилетел барин с таким дребезгом. Виноваты, конечно, побаловались мужики, даже вовсе без надобности в парке порубили липки, березки, растащили сарай, скотный двор.

Но ведь Михаил-то Николаевич — их же, оказался, рабоче-крестьянский вождь, товарищ Тухачевский, летит спасать народ от чужеземного ига. Стали об этом мужикам говорить, разъяснять спутники командарма. Дакали мужики, а так и не поверили. «Барин — демон, барин вывернется».

Пошутил с мужиками Тухачевский, прошел с спутниками в усадьбу, походил по саду, поглядел на изрезанные вензелями — «Надя любит Колю», «М.Т.» и герб — березы, пошуршал прошлогодней гнилой листвой с деревьев и, закусив яйцами, молоком да пахучим ситником, через пол-

часа же вылетел дальше на Пензу, сражаться с Ярославом Индрой и Вячеславом Фундачеком, предводителями чешских легионов.

Трудно пришлось Тухачевскому под Пензой и под Сызранью. Вместе с чехами поднялись белые, «Народная армия» Комитета Учредительного собрания, там капитан, будущий генерал, Каппель, бывший офицер эсер Лебедев, террорист Савинков, они развертывают наступление от Самары, тесня красных.

Но у двадцатипятилетнего командарма сил и энергии не занимать стать; объявил призыв офицеров, уничтожает красный хаос, партизанщину, грабежи, разбойни, пишет воззвания, мешая советский стиль со стилем Петра Великого:

«Товарищи!

Наша цель — возможно скорее отнять у чехословаков и контрреволюционеров сообщение с Сибирью и хлебными областями. Для этого необходимо теперь же скорее продвигаться вперед. Необходимо наступать! Всякое промедление смерти подобно!

Самое строгое и неукоснительное исполнение приказов начальников в боевой обстановке без обсуждений того, нужен ли он или не нужен, является первым и необходимым условием нашей победы!

Не бойтесь, товарищи! Рабоче-крестьянская власть следит за всеми шагами ваших начальников, и первый же их необдуманый приказ повлечет за собой суровое наказание!

Командарм-1 Тухачевский».

Теперешняя правая рука Сталина, сановник Валерьян Куйбышев, тогдашний комиссар 1-й армии, слал в Кремль блестящие аттестации командарма Тухачевского, с холодным расчетом и огненной страстью сопротивлявшегося наступающим чехам.

Но Тухачевскому мало сопротивления, он вырвал у белых инициативу боев; 9 июля тяжелыми боями взял Сызрань и Бугульму; это уже перелом настроения фронта, но сам Тухачевский своим успехам и не удивлялся, это так должно быть, он знал об этом с 15 лет.

Без тени скромности Тухачевский писал о себе: «Можно смело сказать, что 1-я армия положила основание маневру в Красной Армии. Она первая из армий научилась делать громадные и быстрые переходы».

В экстренном поезде после первых побед Тухачевский прибыл на Волгу, в Симбирск, чтобы ждать здесь главнокомандующего всеми красными силами А. Н. Муравьева и

отсюда вести новую дальнейшую борьбу с армией Учредительного собрания и чехами.

Но на Волге, в Симбирске, на горе, в провинциальной тиши, в этот жаркий июль Тухачевского стерегла жестокая авантюра, в которой еле-еле ушел командарм от неразборчивой матросской пули.

Главкомандующий всеми красными войсками, бывший гвардии полковник А. Н. Муравьев гремел уже на всю Россию, когда Тухачевского еще не знали. Это была действительно гремящая карьера. Биографию Наполеона Муравьев тоже знал, но не был человеком бонапартской складки. Эти военачальники эпохи гражданской войны, Муравьев и Тухачевский, были разны во всем, даже в натурности и в жажде славы.

«Красавец брюнет с бронзовым цветом лица и черными пламенными глазами», гвардии полковник Муравьев любил все то, чего не любил Тухачевский: малиновые чикчиры с серебром, лихую венгерку, шампанское и женщин. Авантюрист крупной марки, в кровавой буре России Муравьев играл последнее баккара: увлекши раскаченные банды фронтовых солдат, он предложил свою шпагу Кремлю в октябре.

Под Гатчиной он «победил» Керенского и Краснова; из Киева выбил Украинскую раду и чувствовал себя Степаном Разиным, когда банды разносили грабежом город и в несколько дней расстреляли около 2000 мирно живших в Киеве офицеров.

До войны светский гвардии полковник Муравьев в фешенебельном ресторане появлялся под руку с негритяжкой, публично запаивая ее шампанским. Теперь Муравьев запаивал революцию, появившись под руку с ней. Большой манией величия и преследования человек — главнокомандующий красными войсками мстил всем.

После киевского террора Кремль бросил Муравьева против румын. В развале румынского фронта Муравьев встал главнокомандующим и там, кое-как собрав банды, назвал их громко «Особой армией по борьбе с румынской олигархией». Все громкое и необыкновенное любил Муравьев. С митинга на митинг со свитой в необыкновенных формах скакал гвардии полковник, произносил невероятные речи о Пугачеве, Разине, о том, что «сожжет Европу».

Он разрешал бандам грабить и мародерствовать, но, ругаясь матерно, приказывал наступать и на румын: «Моя доблестная Первая армия мрет под Рыбницей, а вы, преда-

тели, не наступайте на Бендеры!» — кричал на митингах Муравьев.

И пьяная от румынской водки и всероссийского грабежа банда русских солдат вместе с наемными китайцами под командой «капитана китайской службы» Сен Фуяна наступала на румын, сопротивлялась немцам; а когда, отступая, шли мимо Одессы, Муравьев отдал бандам исторический приказ: «При проходе мимо Одессы из всей имеющейся артиллерии открыть огонь по буржуазной и аристократической части города, разрушив таковую и поддержав в этом деле наш доблестный героический флот. Нерушимым оставить один прекрасный дворец пролетарского искусства — городской театр. Муравьев».

Видя нарастающую опасность в Поволжье, Кремль спешно перебросил Муравьева с юга на Волгу, в Симбирск, спасти революцию от чехов и армии Комитета Учредительного собрания.

Окруженный матросами в пулеметных лентах крест-накрест, обвешанными маузерами и гранатами, в бывшем царском поезде, с адъютантами и женщинами, двинулся в Поволжье Муравьев. Но к Симбирску подплывал уже с отрядами на пароходах по серебряной глади Волги, где 300 лет назад выплывали расписные острогрудые челны Степана Разина.

Первым плыл бывший пароход царицы «Межень», белое изящное судно с полуподводными каютами и круглыми точками оконных люков. На палубе завтракал Муравьев с телохранителями-матросами, адъютантом грузином Чудошвили и захваченными для радости жизни каскадными певицами.

За «Меженью» плыли «София», «Владимир Мономах», «Чехов», «Алатырь» с вооруженными до зубов бандитами — русскими, латышами, китайцами. Волжский воздух был свеж и располагающ к жизни.

Уж показался на горе Симбирск, оглушительный внезапный рев многочисленных сирен прорезал воздух; толпы стоявших на берегу людей повернулись в сторону пароходов; на них уж можно было разглядеть вооруженных и красные флаги на кормах.

После паденья Самары и продвиженья чехов и белых вверх по Волге красные ждали главнокомандующего Муравьева в Симбирске как единственную надежду и спасенье красной Волги.

В ожиданье главнокомандующего Тухачевский жил в поезде на вокзале. Но с первой же встречи между бывшими гвардейцами, игравшими каждый по-своему на «красном

поле», вспыхнула глухая вражда. Муравьев расспрашивал о службе; много, красно говорил о предстоящих победах; о том, как разнесет «всю Европу». Тухачевский молчал. Муравьев в малиновых чикчирах, в венгерке, с удивительной шашкой, руки в перстнях. Тухачевский подчеркнуто пролетарский, в рваной шинели. Муравьев подчеркивает, что не коммунист, а левый эсер. Тухачевский — правовернейший коммунист.

Десяти минут Муравьеву было достаточно, чтобы понять, что этот поручик играет на свою лошадь и не примкнет к задуманному здесь, на Волге, Муравьевым заговору и восстанью против Кремля.

День 10 июля был жаркий, над Симбирском облаком стояла пыль; только с Волги тянуло прохладой; в провинциальную тишину города на Соборную площадь въехали броневики, пулеметы, артиллерия, расположились у штаба главнокомандующего, у громадного здания кадетского корпуса.

Матросы, китайцы, муравьевские банды заполонили улицы, размещаясь где попало, навели на тихих симбирцев панику до полусмерти: где-то в полях за Симбирском ухали одинокие орудия.

Но как только пришла из Москвы телеграмма, что левые эсеры Андреев и Блюмкин убили германского посла графа Мирбаха и подняли восстание — Муравьев повел заговор стремительно. Первый, к кому ворвались обвешанные гранатами и маузерами матросы, был командарм Тухачевский. Его схватили на вокзале в салон-вагоне и, вытащив, «именем революции» в черном автомобиле отвезли в тюрьму, в одиночную камеру.

За Тухачевским схватили председателя симбирской организации коммунистической партии латыша Варейкиса, членов совета и губкома коммунистов Гимова, Иванова, Фельдмана, Кучуковского, Малаховского. Красный Симбирск пришел в полное замешательство.

А Муравьев ездил с митинга на митинг; в Троицкой гостинице, в кадетском корпусе, в латышском полку выступал с речами, объявляя, что война с чехами кончена, теперь будет война с Германией; китайцы кричали: «Война конец!» — и стреляли от радости в воздух.

Комиссар телеграфа коммунист-рабочий Панин под страхом расстрела слал по телеграфу приказы Муравьева, возвещая по красным бугульминскому, сызранскому, мелекесскому фронтам, что все войска снимаются и направляются совместно с чехами для войны против Германии.

Сидя в одиночной камере, Тухачевский слышал стрельбу муравьевцев; знал: с Муравьевым шутки плохи, с матросами разговоры коротки, сейчас выволокут на тюремный двор, разденут и пустят пулю в затылок.

На Соборной площади бивуаком расположились матросы, лузгают семечки, поют под гармонику «Цумбу», пьяны; заняли уже все — телефон, телеграф, кадетский корпус, тюрьму; коммунистов Тухачевского, Варейкиса, Шера, Фельдмана, Иванова, Гимова — к расстрелу.

Казалось бы, у гвардии полковника Муравьева — полная победа. Но странно, очевидцы передают, что решительный и кровавый позер А. Н. Муравьев в Симбирске действовал как бы в полной невменяемости: то отдавал приказы, то отменял, говорил бессмысленные речи, которых пьяные матросы не понимали, и провозглашал «Поволжскую республику»; муравьевцы везли из ренсковых погребов вино, водку, на улицах сгоняли девочек. Симбирск охватило безначалие. А Муравьев терял самое главное в успехе заговоров — время. В этом хаосе наносившего удар Кремлю Муравьева, казалось, совершенно оставили силы.

В полночь на Соборной площади все еще стонала гармонь, пели песни и танцевали; и только далеко и тревожно ревели сирены волжских пароходов. Муравьев забыл даже расстрелять коммунистов.

Сидевшие в одиночках Тухачевский, Варейкис, Шер, Гимов услышали в ночь в коридорах тюрьмы солдатский топот, крики и матерную брань. Стучали прикладами, кричали, шла борьба; наконец, двери камер стали ломать: но не муравьевцы-матросы, а солдаты-латыши, коммунисты Интернационального полка.

После взлома камер спавший на «Межени» Муравьев должен был считать себя побежденным. Из Кремля по всем проводам летит телеграмма Ленина: «Изменник главнокомандующий Муравьев, подкупленный англо-французскими империалистами...» В Симбирске латыши и броневики уже на стороне освобожденных коммунистов Тухачевского, Варейкиса, Гимова. Этой ночью Муравьева разбудил адъютант Чудошвили, сказал, что экстренно вызывают на заседание губисполкома в кадетский корпус «выяснить создавшуюся обстановку».

Под заседание губисполкома в кадетском корпусе освобожденные коммунисты отвели комнату № 4, а в соседних № 3 и № 5 засели по 50 верных Кремлю латышей Интернационального полка. К двери в комнату № 4 поставили пулемет, задрапировав тряпками и досками.

— Если окажет сопротивление аресту, открывай огонь в комнату, коси направо-налево, не разбирай, кто свои, кто чужие. Сами не выйдем из схватки, а Муравьева не выпустим, — по-латышски сказал латышу-пулеметчику Варейкис.

Весь губисполком и представители армии, Тухачевский, Варейкис, Иванов, Шер, ждали Муравьева; минуты были томительны: придет или догадается? А если догадается — с матросами окружит, даст бой и да здравствует «Поволжская республика», с маршем чехов и «Народной армии» на Москву.

Не верили, что придет; невероятным показалось даже, когда вбежал латыш Балхар, полукрикнул: «Идут!»

Муравьев сам не знал, зачем шел; и думал о западне, и не думал; идя на последний в жизни митинг, был уверен только в одном, в красноречье, которым, дурманя, водил грабежом по России красные банды. И сейчас скажет речь, после нее увешанные бомбами телохранители, клешники-матросы, схватят всех и арестуют.

Муравьев храбр и чужд холодных выкладок Тухачевского; это полубезумный, больной человек, пред которым все заволось красным туманом; может, выйдет «Поволжская республика», а может, и ни черта не выйдет.

Перед входом, у кадетского корпуса, окруженному адъютантами и свитой Муравьеву сообщили, что и Тухачевский освобожден латышами. Муравьев словно и не слышал: сейчас скажет речь и всех арестует. В малиновых чикчирах, в венгерке, красивый, стройный, вооруженный маузером, со свитой в черкесках, с шашками, револьверами, с матросами в бомбах, ручных гранатах поднимался Муравьев в третий этаж кадетского корпуса.

В коридоре увидал Варейкиса, руки не подал, спросил: — Где заседанье?

Варейкис показал на комнату № 4, и быстрой гордой походкой Муравьев со свитой вошел в западню.

В комнате № 4 среди солдат Интернационального полка увидел Гимова, военного комиссара Иванова, Фельдмана, всех арестованных. Но вошел, как пьяный, в полузабытьи; не заметил даже, что за дверью за его свитой кольцом столпились латыши Интернационального полка в кожаных куртках, с наганами, винтовками; этих речью не подмочишь.

Муравьев встал посреди комнаты № 4 и заговорил с маузером в руке:

— Враги вы или товарищи? Сейчас настал решительный час, и все дело решается оружием! На моей стороне

войска, весь фронт, в моих руках Симбирск, а завтра будет Казань! Разговаривать долго с вами не буду, извольте подчиняться.

Но в последний раз в жизни Муравьев говорил плохо; а все коммунисты заговорили вдруг необычно дерзко:

— Ты шулер, Муравьев! Изменник! Предатель революции!

Стоя среди матросов, Муравьев потемнел и кусал губу. Из соседней комнаты уже вышла вся засада, окружив заседание в комнате № 4. Пулеметчик засел за пулемет, ждет сигнала пустить сквозь дверь ленту.

Варейкис кричал:

— Мы не с тобой, Муравьев, а против тебя!

Муравьев выругался матерно, шагнул к Варейкису с маузером, но — распахнул дверь, вбежал адъютант Чудовшили, бледный, и, перебивая всех, закричал, что в коридоре его разоружили латыши и он требует сейчас же вернуть ему оружие. Поднялся шум, только Тухачевский сидел спокойно.

— Мы сейчас разберем, товарищи, разберем! — орал Варейкис.

Муравьев уже догадался, что западня. Варейкис видел, внезапно страшно побледнел Муравьев, и вдруг наступила тишина: Муравьев глядел на Варейкиса, все глядели на Муравьева. Но Муравьев храбр, с маузером в руке быстрым решительным шагом пошел к двери, проговорив:

— Я пойду успокою отряды сам!

Коммунисты замерли: для слабых заговорщиков минута психологически невыносимая. Муравьев наотмашь ударил дверь, она с грохотом распахнулась, и отпрянул: на него злобно сверкающими взглядами глядели латыши, оцетившись штыками.

— Именем Советской Республики! — закричал, прыгнув к Муравьеву, ближайший рослый латыш, прямо в лицо наставляя наган главнокомандующему.

— Измена! — неистово закричал Муравьев и в упор выстрелил из маузера. Но это только секунда. Словно догоняя один другого, грохнули выстрелы и, страшно подвернув ноги, Муравьев с шумом упал; рука с маузером откинулась, из черной головы текла кровь.

Дорого обочлась эта измена Кремлю: весь Восточный фронт дрогнул. Зато заговор гвардии полковника Муравьева выдвинул верностью Кремлю гвардии поручика Тухачевского.

БОИ ЗА СИМБИРСК

На Москве-реке у кремлевских ворот — двойные караулы, внутренние и внешние. Внутри Кремля оживление: мимо палат царя Алексея Михайловича, мимо Успенского собора, мимо Чудова монастыря пробегают кожаные куртки, идут наряды чекистов; шуршат автомобили, подвозя, развозя народных комиссаров.

Председатель Совета Оборона Ленин следит за кольцом, сжимающим Москву. Отсюда шлет приказы по фронтам, где не хватает оружия, полководцев, огнеприпасов, продовольствия, но есть еще не умершая вера масс в большевизм и во Владимира Ленина.

Вьется над Красной площадью красный флаг. Музыкальные часы на Спасской башне Кремля вызывают каждые четверть часа «Интернационал».

Под Свяжском остановился красный фронт в паническом откате после муравьевской измены. Без боя взяли белые Симбирск, Казань, грозят Нижнему Новгороду.

В Кремле, в длинной комнате со старинной люстрой и старой мебелью карельской березы, в зале заседаний Совнаркома с «амурами и психеями» на каминах висит рукописный плакат: «Курить воспрещается». Это глава красной России Ленин не выносит дыма.

Идут непрекращающиеся заседания. Тут рассеянный барин, моцартофил Чичерин, желчный еврей с язвой в желудке Троцкий, грузин, «дрянной человек с желтыми глазами»¹ Сталин, вялый русский интеллигент Рыков, инженер-купец Красин, фанатический вождь ВЧК поляк Дзержинский, бабообразный, нечистый, визгливый председатель Петрокоммуны Гришка Зиновьев и хитрейший попovich Крестинский. Председательствует Ленин, нет времени в стране, две минуты дает ораторам, многих обрывает: «Здесь вам не Смольный!»; комиссару Ногину кричит: «Ногин, не говорите глупостей!» Недаром писал поэт Клюев: «Есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в декрете!»

Судьба революции решается на Волжском фронте, под Свяжском и Симбирском, где изменил Муравьев и стоит 1-я армия Тухачевского. По предложению Ленина на Волгу экстренно поедет председатель Реввоенсовета республики Лев Троцкий, желчный, желтый, больной, совсем не такой, каким изображают его, в шишаке и стрелецкой шинели, бравые плакаты.

¹ Выражение бывшего полпреда в Германии Н. Н. Крестинского.

Надо остановить развал красных и наступление белых; на Волге разбегаются мужики-красноармейцы куда глаза глядят, не хотят воевать, прячутся в леса. «Зеленая армия, кустарный батальон».

Даже крепчайшая опора фронта латышские полки и те дезертируют. Но Троцкий тогда еще играл не Дантона, а Робеспьера и был по горло в крови. С желчным, сутулым журналистом разговоры коротки.

4-й латышский полк не хочет сражаться, и 29 августа Лев Давидович Робеспьер из купе салон-вагона приказывает: расстрелять членов полкового комитета в присутствии полка. На берегу Волги по приказу Троцкого на глазах латышей 29 августа расстреляли трех коммунистов, членов полкового комитета, не сумевших дисциплинировать полк. Из Пермской дивизии к белым перебежали четыре офицера, и в припадке военно-канцелярского террора Троцкий требует сообщить ему местожительство офицерских семей, которые будут расстреляны, а в назидание войскам расстрелять комиссаров дивизии, старых большевиков Залуцкого и Бакаева.

Это, конечно, не храбрость, а растерянность человека, севшего не в свое кресло. Ленин и ЦК партии остановили устрашающий расстрел Залуцкого и Бакаева, зато комиссары Троцкого расстреливают через 10-го дрогнувшие полки из мобилизованных крестьян; а перед бежавшими с фронта мобилизованными казанскими татарами ставят пулеметы — расстреливая полки целиком.

«Предупреждаю, если какая-нибудь часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар, вторым командир. Мужественные, храбрые солдаты будут поставлены на командные посты. Труссы, шкурники, предатели не уйдут от пули. За это я ручаюсь перед лицом Красной Армии. Троцкий».

Над Кремлем веет красный флаг, играют музыкальные часы каждые четверть часа «Интернационал». «Приезд товарища Троцкого оздоровил наш Восточный фронт», — пишут газеты, а журналист Троцкий обвиняет в бездействии всех командиров и комиссаров — Блюхера, Эйдемана, Ладиса, Бела Куна, Мрачковского, Лашевича, Смилгу, Зофа — ставя в пример только одно «славное имя товарища Тухачевского».

Троцкий и Тухачевский прекрасно понимают, что лишнее ведро крови армии не портит и, как могут, льют ее, цементируя Восточный волжский фронт Кремля.

У дезертиров в деревнях коммунистические отряды снимают с изб крыши, конфискуют хозяйство, расстреливают

«зеленую армию, кустарный батальон». Комиссаров-коммунистов Линдова, Нахимсона, Сергеева закололи штыками красноармейцы; но все ж измена Муравьева выправлена. Восточный фронт крепнет; Тухачевский сбил лучшую 1-ю красную армию, подготовил ее в наступление.

Но 30 августа Троцкий получил телеграмму: «Ильич ранен, неизвестно, насколько опасно. Полное спокойствие. Свердлов». Не рань, а убей Фанни Каплан Ленина в момент, когда все ползло из рук Кремля, когда территория суживалась до владений Московского великого княжества и всю судьбу октября защищали под Свияжском поручики Тухачевский и Славин, — Кремль бы грузно пошел ко дну. Так говорит старый большевик Бонч-Бруевич, ближайший к Ленину в эти дни человек: «Если б случилось непоправимое несчастье с Владимиром Ильичем, все бы пропало, все бы пошло насмарку и большевистская социалистическая революция приостановилась бы потому, что мы все малоопытны в управлении страной и без В. И. несомненно наделали бы много роковых ошибок, а они повлекли бы за собой огромные неудачи, которые закончились бы общим крахом».

В день 30 августа тяжелораненый Ленин лежал на диване в палате Кремля, закрыв глаза; оттенок лба и лица был желтоватый, восковой; приоткрывая глаза, Ленин сказал:

— И зачем мучают, убивали бы сразу.

А по всей стране, в отместку за пулю Каплан, ВЧК прошла такими волнами террора, каких не видел мир; от города до захолустной деревни за Ленина убивали кого попало: бывших чиновников, интеллигентов, буржуа, офицеров, зажиточных крестьян; эта кровь говорила о судороге власти и отчаянности положения.

Чтобы спасти, разжать восточный обод белого кольца, сжимающего Кремль, в этот момент на белую Казань двинулся командарм-5 Славин, поручик, латыш-стрелок. А на Симбирск главным ударом пошел командарм-1 гвардии поручик Тухачевский.

Перед Тухачевским ответственной задачей фронта. Он, конечно, понимал ее, но все ж сделал жест Бонапарта. Беря для конвента Тулон, корсиканец предупредил свою победу: «Завтра, самое позднее послезавтра мы будем ужинать в Тулоне». Ужин — это, конечно, буржуазно. Двинувшийся на Симбирск, родину Ленина, Тухачевский телеграфировал Реввоенсовету: «Двенадцатого Симбирск будет взят».

1-я армия Тухачевского вступила в бои. Это дело большой карьеры и чести Тухачевского. В мгlistую осеннюю ночь 9 сентября Тухачевскому с страшным трудом, но удалось вырвать у белых инициативу в боях на флангах у деревень Прислонихи и Игнатовки. Он бросил в решительное наступление «Железную дивизию» под командой позднее прославившегося в войне с Польшей, бывшего левого эсера, вольноопера армянина Гая.

Любивший все «эффектное», по кавказскому обычаю, не снимавший ни летом, ни зимой бурки и папахи, Гай, в миру Гая Дмитриевич Ежишкян, перед наступлением на плохом русском языке с коня кричал «Железной дивизии»:

— Храбцы мои (он не выговаривал «храбрецы»)! Горжусь вашими победами и верю, что будете достойны великого звания революционера и сумеете честно биться и умереть, как ваши славные товарищи, за нашу дорогую рабоче-крестьянскую Республику! На вас смотрит вся Советская Россия и ждет побед!

Над Симбирском грохотала, стонала артиллерия. Симбирский пехотный полк, чешские роты, сербский отряд, аэропланы, артиллерия, броневики бились против Тухачевского. Это было отчаянное сопротивление. Но, не глядя на потери, Тухачевский торопил Гая с приступом; уже заняты подсимбирские деревни Тетюшское, Елшанка, Шумовка, Баратевка. При занятии последней командарм-1 узнал, что командарм-5 общим приступом уже взял древнюю татарскую столицу Казань. Ожесточенно погнав Тухачевский красных на приступ Симбирска: до 12-го оставалось всего 2 дня.

В вспышках паники, в беспощадных расстрелах за малейшее малодушие, в отчаянных атаках на город — родину Ленина приступом шли войска Тухачевского. Для русской гражданской войны нужны жестокие глаза и крепкие нервы. 25-летний барин с мальчишеским красивым лицом, слава Богу, несентиментален, и гражданская война для него как хорошая ванна. Непреклонности, решимости, жестокости и спокойствию его дивились даже издавшие виды партийцы-пролетарии.

Потери велики, но красные все же продвигались; 11-го с боем взяли железнодорожный мост на Свяяге, белые пытались разрушить, но красные ворвались и отбили. В срок, обещанный Троцкому, 12 сентября, бои пошли уж под самым Симбирском. Волга бурлила от бивших в реку, разрывающихся снарядов, разнося эхом гул орудий далеко к Жигулям. К 10 часам Тухачевский окружил город с трех сторон; у белых осталась свободной лишь переправа через

Волгу. К 12, не выдержав, белые начали отступление, а в улицы уж врывались на их плечах красные.

Опережая пехоту, на автомобиле, в петлице с Георгием еще с мировой войны, в бурке, в черкеске, на «Старый венец» влетел Гай. Теперь уже шел не бой, а разгром города и отступающих белых. Тухачевский уж захватил телеграф; в первый же час овладения городом Троцкому пошла телеграмма: «Задание выполнено. Симбирск взят. Тухачевский».

А любивший все «эффектное» Гай летал по городу то на коне, то на автомобиле. В захваченных военных складах нашлась форма царских улан: мундиры, рейтузы, кивера, даже пики. Своим оборванным всадникам Гай приказал надеть полную уланскую форму; мобилизовал всех симбирских портных подгонять; и на другой день с пиками, в пестрых сине-красных мундирах, в киверах гарцевали по городу конники Гая под полувальс, под полумарш.

На Соборной площади Гай дал парад. Окруженный толпой выпущенных из тюрем арестованных, победно шумящими войсками, любопытными горожанами, Гай пытался произнести меж тушами оркестров взволнованную речь. Начал по-русски: «Храбцы мои!» — но дальше от возбужденья стал путаться, размахивать руками и вдруг перед мужиками и рабочими стал страстно кричать на родном армянском языке.

Очевидцы рассказывают, это было решительно все равно. Дело в подъеме. Площадь, ликуя, кричала Гаю «ура!», а Гай уж, чтоб переплюнуть друга, командарма Тухачевского, закатил телеграмму не Троцкому, а самому выздоравливающему Ильичу: «Взятие вашего родного города, это ответ за одну вашу рану, а за другую рану будет Самара».

У Тухачевского больше вкуса, чем у бесшабашного горячего кавказца: ни уланских мундиров, ни бурок, ни шашек с золотыми эфесами и насечками, ни лирических телеграмм, ни парадов с оркестрами. Тухачевский воевал всерьез и надолго.

Когда в Симбирске начались грабежи распоясанных победой красных солдат, командарм-1 отдал приказ: «Отдельно шатающихся мародеров арестовывать и расстреливать без суда; в городе должен быть водворен строжайший порядок». Город Симбирск был объявлен крепостью, в течение трех дней Тухачевский расстрелял до ста своих же красных солдат, кого гнал на Симбирск, но кто не удержался от солдатской радости мародерства.

В приказах по фронтам Троцкий ставил всем военачальникам в пример «славное имя нашего командарма-1 Тухачевского». И даже поправлявшийся от ран сам «хозя-

ин» Ильич, несколько раз обозвав гвардейца «молодцом», послал ему восторженную телеграмму привета.

Но в Симбирске Тухачевский не собирался длительно предаваться банкетам, которым на родине Ленина предался друг его Гай; на банкетах после официальных речей и тостов «уланы»-гаевцы читали собственные стихи самого свежего вдохновения:

Мы юны, мы зорки, мы доблестью пьяны,
Мы верой, мы местью горим,
Мы Волги сыны, мы ее партизаны,
Мы новую эру творим.
Пощады от вас мы не просим, тираны,
Ведь сами мы вас не щадим!

Тухачевский двигался от Симбирска дальше, преследуя белых, донося Кремлю сухими реляциями: 30 сентября занят Сингелей, Новодевичье, Буинск, Тетюши; 3-го взята Сызрань, 7-го Ставрополь и 8-го, сделав огромный переход, красные ворвались в центр Комитета Учредительного собрания — Самару.

СОВЕТСКАЯ МАРНА

Разжав победами Тухачевского и Славина восточный обод, Кремль временно ослабил сжимающее кольцо, но Кремлю в те годы не было передышки. Очередная опасность пришла с юга, с фронта донских казаков генерала Краснова. Старый атаман с помощью немецких оккупационных войск организовал сильную казацкую армию и вместе с добровольцами генерала Деникина двинулся вперед, за границы Дона.

Здесь — казаки, офицеры-корниловцы, дроздовцы, марковцы, это были лучшие белые силы. С Кавказа, разгромив 11-ю красную армию, сюда же бросилась «волчья дивизия» генерала Шкуро, славившегося бесшабашными налетами, отчаянными рейдами-прыжками.

А у красных в штабе меж главкомом Вацетисом и Троцким идет склока, не делят планов главнокомандования. Вацетис на юге видит опасность, требует переброски сил. Троцкий уперся. Но, защищая полковника Вацетиса от журналиста Троцкого, в штаб пришла верховная ленинская телеграмма: «Очень обеспокоен, не увлеклись ли вы Украиной в ущерб общестратегической задаче, на которой настаивает Вацетис и которая состоит в быстром и решительном наступлении: боюсь чрезвычайно, что мы с этим запаздываем, предлагаю налечь на ускорение и доведение до конца общего наступления на Краснова».

Так, победив Троцкого, Вацетис двинулся на Краснова. С Восточного фронта перебросил красные войска и военачальников; на юг, срочно вызванный, прибыл и Тухачевский, на котором уж сосредоточилось внимание Кремля; поддерживаемый старым знакомцем Троцким, 26-летний командарм получил здесь повышение, став помощником командующего фронтом; но вскоре взял в командование 8-ю армию и пошел на годящихся в «отцы» и «деды» белых генералов Деникина и Краснова.

В течение месяцев успешно развивал Тухачевский бои на Дону против казаков, «волков»-шкурицев и офицерских полков, где рядовыми сражались товарищи по корпусу, по военному училищу и Семеновскому полку.

Но крепко-накрепко, кровавым узлом связал судьбу с судьбой Кремля Тухачевский; или виселица, или слава. Белые не щадят, не милуют. Командующий Сингелевским красным фронтом прапорщик Мельников перебежал к ним — расстрелян. Захваченный белыми в плен ротмистр Брусиллов, сын знаменитого генерала, — висит на осине. Но если бы даже этого и не было, разве мог бы офицер Бонапарт ходить по приказам принца Конде в его белом корпусе?

Бело-красная борьба на юге развивалась для красных удачно, как вдруг произошло перемещение опасности, на этот раз почти смертельной Кремлю: с востока грандиозной победой ударил верховный правитель адмирал Колчак.

Пользуясь переброской красных сил против Краснова и Деникина, Колчак нанес сокрушительный удар. План адмирала был решителен. Южные группы войск ударили на Самару — Симбирск, выводя белые армии на переправы через мосты у Свяжска и Симбирска на Москву. Северные — от Перми на Вологду, идя на соединение с генералом Миллером, открывая дорогу на Петроград.

Это была небывалая по своему фронту и силе сторон операция. С разницей в два дня двинулись белые генералы адмирала Колчака. 4 марта на восток 3-й и 2-й красных армий ударила Сибирская армия чешского генерала Гайды силой в 52 000 штыков и сабель при 83 орудиях. В три дня опрокинул Гайда красных. Стремительно овладев городами Ош и Оханск, продолжал наступление, погнав к лесистой, скалистой реке Каме.

А 6 марта по флангу 5-й красной армии более бурным натиском ударила Западная армия генерала Ханжина в 48 000 штыков и сабель при орудиях. Смяв и отбросив 5-ю красную, Ханжин круто загнул на юг по тракту на Бирск, начав резать тылы растянутых в нитку красных войск.

Успех Колчака был ошеломляющ. Красные пятились в паническом бегстве, не в состоянии оказать сопротивления. Полный прорыв Восточного фронта развивался с неожиданной даже для штаба Колчака быстротой: открывался путь на Москву. «Нам известно, что происходит сейчас в Советской России и в Красной Армии, — писал в приказе генерал Белов, — там развал в тылу, полная разруха на железных дорогах, упорное сопротивление возможно теперь только как акт отчаяния, население всюду пойдет за нами».

Но воля Колчака к наступлению столкнулась с волей к отражению оправившегося от пули Ленина и шедшей за ним партии. Ленин понял смысл наступления Колчака. На всю еще подвластную Кремлю землю бросил лозунг: «Все на восток!» В Реввоенсовет Восточного фронта пришла тревожная телеграмма Ленина: «Всеми силами остановить наступление Колчака. Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной; напрягите все силы...»

А наступающим белым армиям всего два перехода до Волги, до хлебных запасов, а там белые в Великороссии, в сердце России.

Двадцать процентов коммунистов партия бросила на фронт Колчака, пошли эшелоны питерских, московских рабочих, оплота Кремля. Все на восток! Все против Колчака! И с юга на восток летит двадцатишестилетний Тухачевский.

А бои уже в 100 верстах от Самары. Дерется под Вяткой Ударная башкирская дивизия князя Голицына. Башкиры — ожесточеннейшая против красных часть. Снег еще лежит серебряным настом, башкиры-лыжники обгоняют отступающих красных, бьют с тылу, сочетая с ударами в лоб. Смял красных князь Голицын.

Назначенный командующим группой в 4-й армии коммунист М. В. Фрунзе переброшенному с юга Тухачевскому дал в командование 5-ю красную армию. Слово «пятоармеец» в Красной Армии до сих пор окружено ореолом славы. Операциям 5-й армии посвящаются тома.

В 5-ю армию влили лучшие силы питерских рабочих-коммунистов, придали военно-политический аппарат во главе с непререкаемо-авторитетным, отважным и умным большевиком И. Н. Смирновым.

По спасению Кремля Тухачевский во второй раз взял на себя заглавную роль. Не просто было соглашаться главному командованию и Реввоенсовету со смелыми и самонадеянными планами 26-летнего полковника. Человек мало-страстный в жизни и страстный в военном деле, Тухачевский в этом мае поставил на карту все: либо —

быстрый отчаянный маневр и спасение фронта, либо — отчаянное поражение.

Важней всего были дни и часы. И командующий фронтом согласен с отчаянным планом Бугуруслано-Уфимской операции Тухачевского. Уже 4 мая, не теряя сроков, собрав все, что можно, в кулак, Тухачевский под Бугурусланом вступил в соприкосновение с противником. 6 мая повел своим правым флангом наступление, искусным маневром успев нанести удар. Первое короткое сражение — удачно. 5-я армия захватила важный железнодорожный мост через реку Ия и угрозой окружить Бугульминскую группу противника вынудила генерала Ханжина к отходу от Бугульмы.

13 мая Тухачевский вошел в Бугульму. Это была первая победа с момента наступления Колчака, короткая, но поднявшая дух. Теперь вместе с Туркестанской армией Тухачевский двинулся дальше на Уфу, намечая тут главный бой, который должен сорвать всю грандиозно задуманную операцию Колчака.

Но штаб Колчака после проигранной Бугуруслано-Уфимской операции старался парировать развитие успеха Тухачевского. Кулак белых в 6 пехотных полков, опираясь на рубеж реки Белой, у устья, ниже Уфы, пошел в наступление, чтобы вернуть инициативу сражений.

Планы, красный и белый, были тут почти одинаковы. В широкие клещи пытался взять Тухачевский противника; генерал же Ханжин выдвинул две ударные группы, предполагая, в свою очередь, взять в клещи фланг Туркестанской армии.

Стоял степной палящий жар с раскаленным иззеленяголубым небом. Войска Тухачевского в 49 000 штыков и сабель при 92 орудиях двинулись в направлении к Белой и, достигнув указанной им линии, у с. Байсарово завязали бой с войсками генерала Ханжина.

У Тухачевского — отряды питерских, московских коммунистов, уральские рабочие-большевики, конница Каширина и Гая, латышские полки, партизаны Чапаева, где бригадой командует волжский грузчик, бурлак Шкарбанов, а конницей пленный венгр Винерман, говорящий только по-мадьярски; тут полки Степана Разина, Пугачева, красные башкирцы Муртазина, красные калмыки.

У Ханжина — старики оренбуржцы — казаки идут на красных в атаку без выстрела, с одними пиками и опрокидывают рабочих — «иль умрем в степях, иль победим!»; крепки и пехотные офицерские полки; отчаянны и белые башкиры князя Голицына.

Как в белом, так и в красном штабе следили с волнением за операцией под Уфой. У Тухачевского и Ханжина решалась дальнейшая инициатива кампании. Не только штабы, Москва и Омск напрягли внимание, следя за фронтом, куда брошены последние силы; тут либо проигрыш, тогда не удержать Колчака и поражена революция, либо перелом и красные, перейдя в наступление, валят Колчака, и революция победила.

Это советская Марна, определяющая не только военный успех, но движение революции, может быть, ход русской истории.

Очевидцы передают, что обычно спокойный 26-летний командарм Тухачевский на рассвете 28 мая, когда после телеграмм Ленина двинул войска, был взволнован.

Колчак торопил своего шурина генерала Ханжина; первыми вступили в решающую историю революции битву белые. Правофланговая ударная группа — Башкирская дивизия князя Голицына — переправилась на паромов через Белую и начала сражение.

Под командой Голицына и Тухачевского за судьбу русской революции дрались у реки Белой с красными башкирами белые башкиры, с красными калмыками белые калмыки, с красными казаками белые казаки, мобилизованные мужики с мобилизованными мужиками и офицеры с рабочими.

Бой был длительный, но разбил старого дворянина князя Голицына нетитулованный, но не менее старый дворянин Тухачевский. Белые уже отступали, и красные преследовали откатывающихся на юго-восток к переправам через Белую белых. Тухачевский торопился, наседая на арьергарды Ханжина, готовясь окружить его в районе Уфы и разбить наголову.

Но из штаба фронта пришло приказание, переправясь через Белую, начать круто уклоняться на север, на Бирск. Бешено ругался 26-летний командарм, грозя не исполнить приказа, мешающего докончить окружение белых. Но все же, ругаясь, свернул в указанном направлении и 7 июня, когда от зноя и жара под голубым разгоряченным небом падали люди и лошади, с боем занял город Бирск.

В Кремле — полное удовлетворение; но из Кремля телеграммы: не прекращать наступления. Колчак должен быть уничтожен. Тухачевский того же мнения; ведь это на темном ночном полукрасном от пожаров небе Урала загорается та самая звезда, о которой он мечтал с 15 лет.

В Яффе в Сирийскую кампанию Наполеона французы расстреляли 2000 пленных арнаутов, и Наполеон писал брату: «Никогда еще война не казалась мне такой мерзо-

стью». В боях под Уфой красных раненых и убитых 16 000 человек; белых только в плен попало 25 000, их расстреливали без счета. Русские не берут русских в плен. Вешают на телеграфных столбах, наваливают трупы штабелями; красные вырезают белым казакам на ногах лампасы, офицерам на плечах погоны. Белые закапывают красных живьем в землю, вниз головой, и казаки учат молодежь рубке на бегущих пленных. А над всем подымается высоко звезда Михаила Тухачевского.

Казалась ли ему эта война «мерзостью»? Впрочем, вероятно, у Наполеона это была «слабая минута», он же сам ведь говорил, что «лет до тридцати победа может ослеплять и украшать славой ужасы войны». Тухачевскому было как раз 26 лет. Но Наполеон выражался и еще резче: «Такой человек, как я, плюет на жизнь миллиона людей».

Напрасно напрягал все усилия штаб Колчака: «Марна» Тухачевскому проиграна и моральный урон так силен, что белые отступают так же панически, как недавно отступали красные. А Тухачевский, как недавно Гайда, громя отступающих, движется, не давая белым передышки.

Перейдя Белую меж Уфой и Бирском, у Топорнина, 9 июня Тухачевский уже занял Уфу и увидел громаздящийся за нею скалистый Урал.

РАЗГРОМ СИБИРИ

Но и под Уралом у красных не остановка; Ленин хочет уничтожить Колчака. Тухачевский предлагает форсировать с 5-й армией Уральский хребет. В штабе главкома Вацетиса, в Реввоенсовете у Троцкого снова шум и склока. Сам любитель биографии Наполеона, полковник Вацетис категорически настаивает на приостановке наступления на рубеже реки Белой. «Робеспьер из салон-вагона», не терпящий никаких Наполеонов, того же мнения. Но уперся Тухачевский, с ним Фрунзе, Смирнов, и общая склока до того горяча, что решает все владычная рука Ленина и ЦК партии.

План Тухачевского Лениным одобрен и принят. Упорствующий Вацетис смещен, заменен полковником А. А. Самойло, а у обиженно-разгорячившегося, подавшего в отставку Троцкого отставка не принята¹.

¹ Здесь допущены неточности: И. И. Вацетиса на посту главкома сменил С. С. Каменев; А. А. Самойло в старой русской армии имел звание генерала. (Прим. ред.)

Уверенность 26-летнего Тухачевского в решении спора Лениным в его пользу настолько была велика, что на свой страх и риск, до решения Москвы, Тухачевский вел уже нужные ему перегруппировки армии, готовясь к перевалу через Урал.

Адмирал Колчак собирал все силы к тому, чтобы не пропустить красных через Уральский хребет. Пути преодоления хребта крепко заняли белые. Через выветрившийся, скалистый Урал всего два главных пути.

Вдоль железной дороги на Аша-Балашовскую — Златоуст — один; и другой — великий Сибирский тракт через Байки на Дуван — Сатку. Колчак крепко занял оба. Разведка доносила Тухачевскому: белые ждут.

Но зарвавшийся в боевом счастье Тухачевский все же верил в свою звезду. Тухачевский понимал всю рискованность: зажди белые в уральских теснинах — уничтожат.

Не одну ночь в уфимском штабе не спал Тухачевский. Создал план отчаянного маневра. Перевалом через Урал не взять ни одного из главных путей. Здесь решил обмануть демонстрациями, а самому повести армию по труднопроходимой, в теснинах, дороге, вверх по долине горной реки Юрюзани. Переваливши же хребет, выйдя таким образом в белый тыл, решил коротким ударом захватить важнейший стратегический пункт Златоуст, прикрывавшийся недоступным хребтом Кара-Тау.

Это почти авантюра, но разве не боевыми авантюрами стяжают славу полководцы — Наполеон под Мантуей, Людендорф — Гинденбург под Танненбергом, Суворов на Чертовом мосту?

В Реввоенсовете армии шли лихорадочные совещания. Бывший рабочий, подпольщик И. Н. Смирнов, рабочий Гончаров, комиссар штаба Розанов, склоняясь над картами Урала, выслушивали планы гвардейского командарма не без смущения. Тухачевский совершенно спокоен.

— Я учитываю, — говорил, указывая на карту, — охватывающее направление долины Юрюзани по отношению к единственному пути отхода групп противника. Им в тыл я выведу наш ударный кулак и совершенно уничтожу их с тылу в этих же теснинах, которые они придумали для нас.

— Смело, смело, — покачивали головами члены Реввоенсовета.

— Но вы же этим, товарищ Тухачевский, совершенно обнажаете участок нашего фронта против хребта Кара-Тау? — говорил Грюнштейн.

— Обнажаю. Совершенно. Зато на левом фланге армии, на фронте всего в 30 километров, между Айдос и Ураз-Бахты я развертываю Северную ударную группу в составе 15 стрелковых полков с легкой и тяжелой артиллерией.

— Смелó, смелó, ничего не скажешь.

— Ну, что ж, — улыбается в моржовые усы Смирнов, — была не была, где наша не пропадала!

На политических собраниях Реввоенсовета, где докладывал начполит Файдыш, Тухачевский бывал молчалив. И здесь при оперативных сообщениях разговорчив не был, но твердо знал, что своего двадцатишестилетнего гвардейца-командарма именно за эту молчаливую решимость и уважают члены Реввоенсовета: старый подпольщик, «икона пятой армии» Иван Никитич Смирнов, Грюнштейн, Гончаров и старик секретарь Шумкин.

На форсирование Урала 5-я армия Тухачевского выступила тремя колоннами. Первая, наиболее слабая, в составе бригады конницы Каширина и бригады пехоты двинулась вдоль железной дороги Уфа — Златоуст. Левая в составе 27-й стрелковой дивизии — по тракту Байки на Дуван — Сатку. Средняя, две пехотные дивизии, Петроградский кавалерийский полк из рабочих-коммунистов, пошла вверх по реке Юрюзани.

Ночь стояла как мертвая; в звездной темноте чернел массив Урала. Командарм выводил 5-ю армию 23 июня.

Отчаянная задача лежала перед средней колонной.

Бечевой руслом реки, под нависшими скалами, сквозь теснины она медленно двигалась. Позвякивали на ходу котелки, лязгали, сцепившись, штыки столкнувшихся в ночи пехотинцев. В авангарде 228-й Карельский полк из петербургских коммунистов-рабочих.

Ночь сменилась рассветом; шумит уральский лес, поет птицами, качаются лиственницы, сосны, ели; на полянах от земляники красно; а цветы цветут, каких Тухачевский сроду и не видал: царские кудри, акониты, кукушкины слезы; а ягоды! ягоды! На отдыхе мнут траву, лазят на пузе, едят ягоду бойцы.

Но торопится в уральских теснинах средняя колонна. Правая и левая колонны уж вступили в демонстративный бой на перевалах; а средняя идет в глубь Урала теснинами реки Юрюзани.

5 июля в глубоком тылу белых в районе с. Нисибаш 27-я стрелковая дивизия средней колонны появилась с такой неожиданностью на златоустовском плоскогорье, что

12-ю резервную дивизию Ханжина застала за шереножным учением. Красные бросились и смяли белых.

Перевал удался, но маневр еще не закончен. В долинах меж реками Юрюзанью и Ай разыгрались жаркие бои. Как звери дрались зашедшие в тыл красные на златоустовском плоскогорье; с фронта на проходы что было сил ударили правая и левая колонны. Для белых и красных решался важнейший вопрос: чей Урал?

Но теперь на поддержку армии Тухачевского навалились на Урал Вторая и Третья красные армии. Бои Тухачевского у Нисибаша, Айлина, под Китами, у Кувашей и у Миасса, как ни были тяжелы, все ж сломали белых, и 13 июля Тухачевский вырвался на просторы Сибири.

Маневр удался. Урал у красных. И поражение белых велико.

Видно, понимая, что дала Кремлю смелость его маневров, Тухачевский пошел, уже не считаясь с главным командованием; у него скандалы с командующим фронтом Ольдерроге, с главнокомандующим Каменевым; но он идет затоплять Сибирь кровью, не обращая внимания на приказы, одергивающие полководческую страсть 26-летнего командарма.

Главное командование видело: молодой человек зарывается, такие победоносные марши хороши для Тамерлана, но в XX веке приводят иногда к катастрофам. Но маршмаршем идет Тухачевский, опрокидывая остатки сопротивления белых, стремясь отбросить их к югу от Сибирской магистрали, чтоб овладеть Троицком.

Эту тамерлановскую зарывистость Тухачевского понимал и штаб Колчака. По плану генерала Лебедева под Челябинском, собрав все, что было, в последний раз попытался зажать Тухачевского Колчак.

Маневр удался. Подставив себя под удары северного и южного кулаков, Тухачевский попал в тяжкое положение. За Челябинском с тревогой следило главное командование; неделю с переменным успехом шли бои, и 31 июля положение Тухачевского стало безвыходным. Но в челябинской смертельной схватке, на границе Европы и Азии, не таланты зарвавшегося 26-летнего полководца с мальчишеским лицом, а только его счастье пришло на помощь.

В момент последнего отчаяния на поддержку красных внезапно выступили отряды челябинских рабочих и 31 июля перетянули чашу весов со стороны генерала Лебедева на сторону Тухачевского.

5 августа уж по всему фронту Тухачевский одержал победу, больше 15 000 белых попало к красным в плен.

12-ю белую дивизию уничтожили полностью. Белые под командой генерала Дитерихса спешно отступали в глубь Сибири, за Тобол и Ишим; не смогли защитить даже столицу Колчака — Омск.

Бои, расстрелы, сыпной тиф косили белых и красных, Сибирь текла кровью; эту картину красно-белой войны в Сибири не сравнить даже с 1812 годом. Это ад смертей; и на этом кроваво-вшивом фоне все ярче подымалась военная звезда Тухачевского, определяя полководческую славу. Он шел победным маршем, красным завоевателем, победителем, со свойственной лишь русскому бунту беспощадностью уничтожая врага.

Один за другим падали сибирские города Петропавловск, Новониколаевск, Красноярск; в плен сдавались десятки тысяч; у станции Тайга сложили оружие восемь тысяч польских легионеров. 7 марта Пятая армия вошла в Иркутск, где, покинутого чехами и французами, на дворе тюрьмы, уже раньше расстреляли красные адмирала Колчака.

Имя победителя Колчака, Тухачевского, знала теперь уже вся партия и армия. И, щуря темный монгольский глаз, читая телеграфные победные реляции, Ленин говорил в усмешке:

— А гвардеец-то молодец! Настоящий полководец. Как вы думаете, Иосиф Виссарионович, он у нас, чего доброго, еще Наполеоном станет, а?

И, задумавшись, добавил угрюмо и угрожающе:

— Ну, мы-то с Наполеонами справимся!

СТАВРОГИН

Победы Михаила Тухачевского в русской гражданской войне блестящи, но не принадлежат только «мечу» и «маневру». Как и Бонапарт, не будучи по складу души революционером, маниакально-честолюбивый двадцатипятилетний полководец полагал, что «желать убить революцию может только сумасшедший». Пытавшихся веревкой остановить безудержно несущуюся телегу российских восстаний «сумасшедших» белых генералов Тухачевский разбил в гражданской войне.

В 1793 году перед славой Тулона артиллерийский поручик Бонапарт, едуци в Марсель, писал, как друг конвента, политическую брошюру «Ужин в Бокере».

В 1918 году, в разлив русской гражданской войны, в штабном вагоне, откуда наносил он поражения контррево-

люционным генералам, Тухачевский писал статьи «О войне мировой, войне гражданской, войне классовой».

Здесь, сдвигая войну с национальных позиций в окопы Интернационала, Тухачевский выступал унтер-офицером, преподающим полевой устав гражданской войны мировому пролетариату в классовой войне. Не только войной газов, аэропланов, бацилл, танков, шрапнелей, пулеметов, по Тухачевскому, будет эта мировая гражданская война. Она должна быть войной не только фронта, но и войной психологического одоления за фронтом, войной листовок, газет, митингов, брошюр, агитации, пропаганды, всего, окрашивающего души в красный цвет.

Политически ведомая старым большевиком И. Н. Смирновым, 5-я армия Тухачевского была образцом в войне за «одоление душ». Она дала наглядный материал для книги, как в грандиозной симфонии разрушенья капиталистического мира, в войне, которую поведет Тухачевский, надо овладевать — «душами». Это, может быть, даже труднее, чем «сокрушать тела».

Ослепительно-соблазнительной агитацией увели коммунисты «души» русских крестьян и рабочих в плен дорогого сердцу Тухачевского «восточного деспотизма». По уменью «борьбы за души» нет силы, равной коммунистической партии. В 5-й армии у Смирнова работа по развалу фронта врага и овладению «душами» за фронтом делала чудеса; у Смирнова был «миньярский рабочий отряд»; во время самых ожесточенных зимних боев «миньярцы» на лыжах проникали через фронт в тыл к белым и там вели разваливающую подпольную работу-борьбу, подымая классового врага на белых. Это была героическая, беззаветная работа идейно преданных ордену «серпа и молота» коммунистов.

В боях и маневрах Тухачевского она оказывала неоценимую услугу; к красным переходили подчас полки, дивизии белых целиком, перебив своих офицеров и открыв фронт. Эта «агитация с тылу» спасла Тухачевского под Челябинском в критический момент боя, когда выступили на помощь красным челябинские рабочие. А через год в войне с Польшей польские члены ордена «серп и молот» ввели штурмующие войска Тухачевского обходными путями в Брест, и красные овладели крепостью.

Удары с тылу «одоленными душами» вошли твердым правилом в тактику мировой гражданской войны Тухачевского. Но кроме переброски через фронт отрядов, в 5-й армии исключительно тонко была поставлена система провокации. Группа бывших эсеров, прикинувшись агентами

белой контрразведки, на самом деле служили 5-й армии. Это была рискованная авантюра-игра: через фронт от красных с фальшивыми сведениями к белым и от белых с настоящими сведениями к красным бегала бесовская организация.

Тухачевский бил белых маневрами с фронта, агитаторами с тыла и провокаторами через фронт, 5-я армия была лучшей армией Кремля, ее знамя в Москве в Музее красной армии хранится, по выражению безбожника Троцкого, как «*священная революционная реликвия*». В годовщину армии Ленин прислал телеграмму привета: «В годовщину создания 5-й армии, которая за один год из небольшого отряда стала Армией, сильной революционным порывом, сплоченной в победоносных боях при защите Волги и разгроме колчаковских отрядов, — Совет Рабочей и Крестьянской Обороны шлет красным героям товарищеский привет и выражает благодарность за все труды и лишения, вынесенные Армией при защите Социалистической Революции. В возмещение материальных лишений, выпавших на долю Армии в тяжелой боевой работе, выдать всем красноармейцам и командному составу Пятой армии месячный оклад жалованья. Председатель Совета Обороны Ленин».

А Революционный Военный Совет Республики отдал приказ: «В день годовщины Пятой армии Революционный Военный Совет Республики постановил: занести имя Пятой армии на Почетную доску в зале Красного знамени Реввоенсовета Республики и наградить командующего Пятой армией тов. Тухачевского за блестящее руководство победоносной армией орденом Красного Знамени».

Бред необычайной судьбой и славой признала еще за Тухачевским гимназия; личную храбрость удостоверяла царская армия; упорство воли показали побег из плена; но только революция оценила таланты полководца и организатора.

Никто не был так быстр в восстановлении дисциплины в дрогнувших частях, порядка в захваченных городах; в хаосе советских армий армия Тухачевского пленила аккратнейшего журналиста Троцкого железным порядком.

Но было бы неверно вообразить Тухачевского мрачным педантом. Выигравший советскую Марну на Урале, разбивший Колчака в Сибири, Михаил Тухачевский типично русский барин с типично-барской же философией.

Не революционер «в пользу бедных». Полководец. Натура властная, богато одаренная, жестокая, глубоко русская.

Духовным праотцем его был другой русский барин, обер-фейерверкер европейских революций, дирижер красных симфоний разрушенья, дававший их в Париже, Праге, Дрездене, Лионе, Польше, метавшийся по Европе, преследуемый мировой полицией русский скиф — Михаил Бакунин.

Не так блестящ, образован и революционен Михаил Тухачевский. Он вовсе не революционер. Его революционность на свой салтык; и все ж похож на Михаила Бакунина. Тухачевский — одна сторона бакунинского характера; он тот многомятущийся русский барин скиф-анархист Бакунин, который вдруг в разгар самим же разжигаемых революций в Европе сел к письменному столу писать всероссийскому императору Николаю I предложение стать своеобразным революционным диктатором во главе потока славянских революций. Он — тот Бакунин, который вдруг перед побегом из Сибири, чтоб снова бунтить-бунтовать Европу, невероятным революционным диктаторством хотел облечь сибирского генерал-губернатора Муравьева.

Из всей музыки Михаил Тухачевский любит больше всего ту же самую 9-ю симфонию, которую любил Бакунин и которую Бакунин при ожидаемом пожаре мира решил даже «спасать, хотя бы с опасностью для жизни». Только в этом «скифе», Тухачевском, нет страсти разрушения для разрушения. Он — цельнее, в нем одна бакунинская линия страсти: разрушение для варварского диктатора.

Ценитель музыки, эстет, поклонник Бетховена, любитель левой поэзии, красавец барин во главе буквальных орд гражданской войны, которых гонят пулеметами «рукастые» политруки, это тоже неплохая тема, пожалуй, даже для... симфонии. Это не царский вахмистр Буденный, не металлист Ворошилов, не штабной полковник Вацетис.

В русской литературе есть утверждения, что в «Бесах» Достоевский писал образ Ставрогина с Михаила Бакунина; Бакунин, конечно, не Ставрогин, но Ставрогин, конечно, Михаил Тухачевский. «Ставрогин, слушайте, мы сделаем смуту, — бормотал Верховенский почти как в бреду, — вы не верите, что мы сделаем смуту? Мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ... Неужто вы не верите, что нас двоих совершенно достаточно... Ставрогин, вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен! Вам ничего не значит пожертвовать жизнью, и своей, и чужой. Вы именно так, какого надо. Мне, мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы

предводитель, вы солнце...» — Троцкий, я думаю, вполне мог бы продекламировать это Тухачевскому.

Сорвется иль не сорвется блестящая кровавая карьера Тухачевского — Бог весть. Тухачевский бьет в историю дальнобойным орудием. Прицел — слава.

Он разрабатывает тактику будущих гражданских войн, пишет безлично, бескрасочно: чувствуется одно — воля. Воля есть у этого барина; он показал, как умеет полюбоваться пожаром его русская барская душа. «В нас странная и, пожалуй, демонская любовь к огню», — определял славянскую душу Бакунин.

В штабном поезде Тухачевского, в годы гражданской войны выплывавшем то под Симбирском, то под Самарой, то на Урале, то вылетавшем в необозримые сибирские просторы, у Тухачевского в рабочем купе — карты, кроки, планы, оружие. Тухачевский занят всегда, у него нет отдыха, всегда собрана воля, она слишком целеустремленна.

Его отдых — в соседнем купе, там ни карт, ни крок, ни оружия — токарный станок, тонкие доски, лобзики, палитра. «Я не люблю ни женщин, ни карт, я ничего не люблю, я существо совершенно политическое», — писал Бонапарт.

У командарма Тухачевского единственная страсть. Ходящий во главе орд красных башкир, казаков, китайских батальонов, беспощадных коммунистических полков, латышских интернациональных отрядов, лапотных сибирских партизан — командарм в свободное время в купе поезда делает скрипки. Миша Тухачевский, тот большеголовый мальчик, которого водила за ручку по родовому парку мадам, — любит делать скрипки. Он не играет на них, но прекрасно делает: Тухачевский дарит их, на этих скрипках играют другие; это прекрасные скрипки, и когда-нибудь они будут в большой цене.

В те вшивые, отчаянные годы, когда Тухачевский разбивал «сумасшедших» генералов контрреволюции, жизнь человека не стоила ничего. Убивали за интеллигентную наружность, за крепкие башмаки, за «тонкие пальчики». Никогда не выдавший винтовки брат командарма, талантливейший, кабинетнейший математик, ездил в поезде младшего брата красного командарма Миши. Тут, по крайней мере, не расстреляют за математику.

И жена Михаила Тухачевского, Маруся Игнатьева, та самая хорошенькая гимназистка, гулявшая с ним под руку по пензенской Поповой горе, ездила в поезде мужа. Маруся

пустенькая, легкомысленная, хорошенькая женщина, вроде Жозефины, но помельче. Она вся в женских, обывательских интересах, поэтому и стала жертвой жестокости бредившего мировой славой мужа.

У Маруси родители простые люди, отец машинист на Сызрано-Вяземской железной дороге, Маруся не голубой, как Тухачевский, крови.

Может быть, Маруся никогда бы и не сделала рокового шага, но русский революционный голод во вшивой, замершей стране был страшен. А жена командарма Тухачевского может ехать к мужу экстренным поездом, ей дадут в охрану и красноармейцев и не обыщут, как мешочницу. Маруся из любви к родителям, по-бабьи, возила в Пензу домой мешки с мукой и консервными банками.

Не то выследили враги (врагов у Тухачевского пруд пруди) — о мешках стало известно в Реввоенсовете фронта. И, наконец, командарму Тухачевскому мешки поставлены на вид. Мешки с рисом, мукой, консервными банками везет по голодной стране жена побеждающего полководца?!

Я думаю, слушавшему «красную симфонию» и глядевшему не на небесные звезды, а на свою собственную, Тухачевскому от этих мешков прежде всего стало эстетически невыносимо. Мировой пожар, тактика мировой пролетарской войны — и вдруг мешки с мукой для недоедающих тестя и тещи! Какая безвкусица!

Тухачевский объяснился с женой: церковного развода гражданам РСФСР не требуется, и она свободна. Маруся была простенькой женщиной, но тут она поступила уж так, чтоб не шокировать мужа: она застрелилась у него в поезде. Враги, донесшие на Тухачевского, посрамлены, а Тухачевский женился еще раз.

Из Сибири поезд Тухачевского шел без отдыха назад в Россию, на юг, на фронт против генерала Деникина, уж упавшего в своем наступлении от Орла к Ростову.

Это был решающий год гражданской войны. В купе недоделанные скрипки, станок, лобзики; Тухачевский ехал добивать генерала Деникина, еще оказывавшего красному комфронта Егорову жестокое сопротивление.

Восьмую армию Шорина, ходившую по льду на Батаяск, Деникин уничтожил; прямыми ударами конной лавой Буденный ходил пять раз на Аксай и был отбит; в этих атаках по льду под лед провалился, чуть не утонул теперешний глава Красной Армии наркомвоенмор Клим Ворошилов. Вместе с Буденным Ворошилов взбунтовался против

Егорова, отказываясь снова идти в лобовое наступление, как кидал на Деникина Егоров.

— Ты нам маневр дай! А не в лоб бросай! — кричал в заседании Реввоенсовета Ворошилов.

Сюда-то, сломить Деникина, перебросило главное командование из Сибири искусного маневрами, прославленного Тухачевского.

Тухачевский прибыл на фронт в январе 1919 года. По южным степям валялись тифозные, недобитые, раненые и незакопанные убитые в боях.

Тухачевский, приняв командование фронтом, двинулся глубоким обходом на Торговую. Белые оказывали отчаянное сопротивление. У Торговой кавалерийский генерал Павлов попробовал зажать шедшую в авангарде красную конницу Буденного, повел в глубокий обход свою кавалерию при 25 градусах мороза по Сальским степям. Сорок верст конного зимнего марша сделали конники Павлова, обморозились и, сойдясь с красными, понесли поражение. Отступая, поехали опять сорок верст, но уже не доехали — гибли в метели, в буранах в Сальских степях, в операции, похожей на сумасшествие.

Она раскрывалась быстро, эта роковая страница русской истории. К Черному морю уж катилась общей лавой белая армия и беженцы. Под нажимом Тухачевского покраснел Дон, фронт ушел на Кубань, пала кубанская столица Екатеринодар, и настала очередь единственного еще белого города Новороссийска.

Красные нажимали: началась эвакуация белых, уплывавших на кораблях Антанты, но она пошла — отчаянием.

Уже все русские корабли отошли от новороссийского берега; в городе свирепствовал грабеж; вооруженные толпы разбивали вагоны, склады, пожаром давая русской трагедии жуткую раму огня. Плач, стоны, крики гулом отчаяния стояли на берегу. Военные склады пылали оранжево, трещали взрывами пулеметных лент подоженные вагоны.

В ночной темноте туч терялся дым; огонь этот был зловещ, его не забыли еще многие русские эмигранты в Париже и Берлине. Он освещал береговую толпу мечтавших о бегстве. В огне на берегу моря сгущались, спешиваясь, тысячи всадников. Кони метались от жажды, всадники разжигали костры, пьяные от грабежа, проигрыша, паники. Это — казаки, кубанцы, донцы, отступающие с женами и детьми. Конница прибывает, карьером табуном несясь по шоссе, давя, сшибая друг друга.

А когда в толпе прошел крик: «Красные у Туннельной!» — как разоренный муравейник, заварилась еще стремительней толпа. Это сбрасывать в море всех промахнувшихся в исторических ощущениях шел барин, красавец, любитель 9-й симфонии Михаил Тухачевский.

Он уже не чувствовал сопротивления, силы белых рухнули; белые упали, лежачих не бьют, но тогда в России лежачих били с еще большим остервенением; это была кровавая и жестокая победа.

Красные войска Тухачевского ускоряли марши, дорываясь до последней мести — Новороссийска. Впереди замученной трехлетней гражданской войной пехоты мчалась конная армия, освирепевшая, не знавшая никому пощады; за армией двигался поезд командарма; теперь командовать было уже легко. Тухачевский, вероятно, доделывал скрипку.

Ночь накануне падения Новороссийска была тихая, темная. В обрывках тяжелых туч иногда пробегал месяц, но быстро скрывался в черном, нависшем над морем куполе. Разъезды красной конницы уже входили в последний оплот русской Вандеи на едва брезжившем рассвете.

От Екатеринодара на Новороссийск медленно двигался поезд командующего фронтом Тухачевского. Белые уже не отвечали на выстрелы красной артиллерии. Победенные, в панике спасаясь от мести революции, занимали последние французские и английские корабли. Только сверхдредноут англичан «Император Индии» в ответ красной артиллерии Тухачевского медленно повернул носовую башню, наводя серые длинные пальцы черными отверстиями — через головы русских кораблей.

В клубах черного дыма три острых и длинных меча синим пламенем метнулись с «Императора Индии». Густой гул потрясающим грохотом, казалось, заколебал мир. Полминуты — второй. Артиллерия короля Георга отвечала артиллерии Михаила Тухачевского, давая погребальный салют контрреволюции русских генералов.

Иностранные суда спешно уходили за мол. А по молу уж свистали первые красные пули. Над бухтой лопнула первая красная шрапнель. Стоявшая толпа упала. Над уходящей иностранной эскадрой все чаще вспыхивали розовые облачка шрапнелей. Американские миноносцы, болтая невыбранным якорем у носа, уже пустили дымовые завесы: над «Императором Индии» раздался треск гремячего зонтика, американцы дали полный ход.

Это любитель красной симфонии и русского варварства Михаил Тухачевский гонит Европу от русских берегов.

ДАЕШЬ ЕВРОПУ!

Разбитого в Сибири Тухачевским адмирала Колчака вовремя не поддержал глава белого Юга генерал Деникин; сброшенного Тухачевским в Черное море Деникина своевременно не поддержал польский маршал Иосиф Пилсудский. Пилсудский мог подать руку помощи русскому белому генералу под Орлом, но из-за ненависти к прежней России не подал. «Все лучше, чем они. Лучше большевизм!» — сказал маршал Пилсудский.

Последний «пан Володыевский», сорвавшийся со страниц исторических романов Сенкевича (как характеризует его талантливый русский писатель Алданов), Иосиф Пилсудский твердо знал, что с красной Россией сойтись все же придется, но считал выгодней сойтись с Кремлем один на один.

В исторический день капитуляции Германии и воскресения Польши, 11 ноября 1918 года, на развалинах военного пожарища на мировую сцену вышел дотоле неведомый русский подданный террорист Иосиф Пилсудский, жизнь которого — хороший авантурный роман.

Много русских и немецких тюрем, аварий, крови видел Пилсудский, но всю жизнь верил в свою звезду, и в 1918 году, внезапно выйдя к польской исторической рампе, вероятно, несколько ослеп от бешеного света. У Пилсудского большие заслуги перед воскресшей Польшей, он — Стефан Баторий, Ян Собеский, Тадеуш Костюшко; он — последний пан Володыевский, став во главе войск воскресшей родины, пишет:

«Военное искусство — это божественное искусство, тысячелетиями отмечающее вехи в истории человечества».

Но на пути великой Польши — Москва, москали, которых с детства ненавидит польский маршал. Из местожительства русских наместников, старинного Бельведера, напряженно следил польский национальный вождь за бело-красной борьбой русских. Россия — страшна, если победят белые генералы, но страшен и красный Кремль, ежеминутно готовый взорвать польского орла изнутри.

Не сразу решил не подавать руки белым Пилсудский: в Польше — помогал борьбе с Кремлем Бориса Савинкова, террориста такой же авантурной складки, формировавшего «зеленую армию».

Но в составе советской миссии «Красного Креста» в Варшаву в 1919 году въехал друг детства Пилсудского большевик-поляк Ю. Мархлевский. Дружба детства — сильная

вещь. Не для «Красного Креста» послал председатель Совнаркома Ленин в столицу молодой Польши старого большевика Мархлевского, соратника Розы Люксембург, эмигранта, в Германии много лет редактировавшего «Зексисхе Арбейтцайтунг».

На друга детства Лениным возложена «бесовская» миссия: убедить Пилсудского в том, что для его Польши красная Россия Ленина выгоднее всякой белой России, чтоб не подавал маршал белым русским руки.

В былом изрядно голоднувшие эмигранты, Мархлевский и Пилсудский встречались во дворце — Бельведере. И так, расчет Пилсудского клонился в сторону неподачи русским белым руки, но, в бытность Мархлевского с «бесовским» поручением, произошло полное «колебнутие» души начальника панства.

Воли не отнимешь у польского маршала. Ненавидящий Россию и охваченный исторической истерикой, авантюрный человек не попался на московскую удочку, у него был свой план сыграть большую игру: сойтись с потрясенной трехлетней мировой и трехлетней гражданской войной Россией и ошеломительной мазуркой вывести Польшу великой державой «от моря до моря».

«Искусство войны — это божественное искусство», — говорит Пилсудский.

«Самое главное в жизни — это «уметь решаться», — говорил Наполеон.

Напрасно австрийский генерал Галлер, приведший в Польшу с австрийского фронта образцовые войска, отговаривал Иосифа Пилсудского. Галлер не знал России, но «лучше не ходить к этому зверю в берлогу». Пилсудский знал не только Россию, но все ее «фонарные переулки»; и все же отговорить его было нельзя: слишком слепящ свет у исторической рампы. К тому же Пилсудский возражал, и не без резонов: по данным польской разведки, красные все равно пойдут на Польшу, так лучше, не дожидая, самому нанести ошеломительный удар, после которого Россия не встанет.

Дымчатым, свежим апрелем просыпались в мокрой весне болота Полесья; не успевшие очухаться от шести лет идущего невероятного количества «истории» крестьяне собирались уже было выезжать пахать попорченную снарядами землю, но маршал Пилсудский открыл новую страницу истории.

Газеты возвестили: в Бельведере с головным атаманом украинских войск Симоном Петлюрой подписан договор об

освобождении Украины от красных и польским войскам отдан приказ двинуться на столицу Украины — Киев.

История началась. С наступающими войсками в поход пошел сам маршал Пилсудский; он и стратег, и политик, все его планы являются «не только военной, но и политической тайной». Напрасно генерал Галлер указывал, что даже 250-тысячная немецкая армия не смогла оккупировать Украину. 50 000 польских штыков и сабель пошли на Киев.

На фронт от лесной реки Словечна до села Милошевичи тронулась полесская группа полковника Рыбака; двинулась ударная группа легионеров генерала Ридза-Смиглого; высылают шенкелями коней польские шволежеры генерала Роммера, рысью мнут дороги на восток.

По гнилым полесским деревушкам, местечкам, опустошенным мировой войной, немецкой и русской оккупацией, шла армии. «Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами» — все промелькнули по Полесью, стремясь осуществить мечту маршала на востоке.

Марш-маневр развивался блестяще; кавалерийская бригада из группы полковника Рыбака в двое суток сделала 180 километров, а легионеры на грузовиках в сутки пронесли 80. Под натиском досыта накормленных, прекрасно снабженных Францией войск смялась, полетела, как пух, покатила 12-я красная армия. Даже напрасны стратегические ухищрения и весь военный талантище маршала. Занесенный над Киевом удар генерала Ридза-Смиглого пришелся впустую. Красные без боя ушли на левый берег прекрасной реки.

Уже 9 мая в тихую украинскую ночь польский генерал Ридза-Смиглый вошел без боя в столицу Украины; а 11-го на многосильной дымчатой французской машине, конвоируемый пышной военной свитой, в местечко Коленковичи прибыл сам маршал Пилсудский.

Но здесь, в Коленковичах, маршала охватило почти наполеоновское недовольство — русская тишина, в которой нет ни покорности, ни сопротивления. Ненавистная Россия молчит. Вся энергия красивого, «божественно» задуманного удара словно растворилась в этом просторе полей; это скифы.

В разбуженном звоне польских уланских сабель Кремле, в зале, где «Курить воспрещается», потому что глава России не переносит дыма, шли кипучие заседания Совнаркома. Во время перерывов в раскрытое во двор Кремля окно, глядя на Чудов монастырь, вывешивалась странная фигура наркоминдела Чичерина; метался в древних коридорах желчный, сторбленный Троцкий; в соседней с залом

комнате стояли, куря в отдушину, наркомы. И снова сходились по звону председателя, споря о Польше и судьбе маршала Пилсудского.

Поляки — Мархлевский, Держинский, Кон — не хотят с Польшей воевать; сторонники немедленной социальной революции в России, они против экспериментов на живом теле Польши. Троцкий целиком с ними; середина наркомов, как всегда, в замешательстве, и только Ленин один прет, хочет русским штыком «прощупать панскую Польшу», да так, чтобы трубка вошла в Варшаву, а конец глянул, может быть, на Рейне. И Ленин в который раз увел за собой всех наркомов, бросив Россию на «бастион капиталистической Европы на востоке».

Не врасплох застали польские сабли Совнарком, только чуть-чуть раньше зазвенели, чем надо. Уже 20 апреля в Кремле на расширенном заседании Реввоенсовета главком «с усищами в аршин» С. С. Каменев вел разговоры с предреввоенсовета Троцким, кого дать командующим Западным фронтом, кто пригодится для удара по Европе?

А на следующем заседании под председательством того же желчного, с язвой в желудке Льва Троцкого уже присутствовал экстренно прибывший победителем с юга Тухачевский. Заседали — Троцкий, его помощник, напористый, оказавшийся внезапно военным, врач Склянский, Ворошилов, Фрунзе, Вацетис, Самойло, пышноусый, всегда полуклеблющийся главком С. С. Каменев, его талантливый, но в тени начштаба П. П. Лебедев, слывший «Борисом Годуновым» при «Федоре Иоанновиче», украинские военные Подвойский, Затонский, все видные партийные военки и маршалы республики.

От имени правительства рассматривалось предложение объединить действующие на польском фронте войска под единым руководством. В обход склок, интриг, возрастов выставлялась кандидатура самого младшего, почти что мальчика, 27-летнего полководца Михаила Тухачевского, чьи статьи «Война мировая, война гражданская, война классовая» шли из номера в номер в «Правде». Это если еще не цветок пролетарской военной мысли, то во всяком случае многообещающая почка.

Троцкий, Склянский — Реввоенсовет, Каменев, Лебедев — главное командование, политбюро, старые царские генералы Поливанов, Зайончковский, Брусилов, декларировавшие отдачу своих шпаг советской власти против «исторического врага» — Польши, — все указали на Тухачевского; эту кандидатуру, долженствующую пропустить

штык сквозь Варшаву и Европу, чтоб пошевелить в европейских кишках, утвердил и Ильич.

Ответственной пост Михаил Тухачевский принял не колеблясь, напротив, считал себя единственно возможным кандидатом; ведь именно он в расчете на мировую революцию писал книгу о тактике гражданских войн.

День накануне отъезда на Западный фронт Тухачевский провел в квартире главкома С. С. Каменева. Тут в кабинете хозяина долго возились над картами болот Полесья, скверных пашен и неудобной земли, на которую выехали уже было сеять смурыгие, безграмотные мужичонки, никакого толку в истории не понимающие и этой историей за шесть лет умученные.

За ужином после работ шутили, пришел и «Борис Годунов» отдохнуть от надоедлых разговоров с Троцким. «Борис Годунов» талантлив, тонок, в эту войну не верит: «Да не Польша, а Европа насыплет нам по первое число!» — говорит, улыбаясь.

Тухачевский тоже улыбается: кто ему насыплет?

— Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем! — смеется за ужином.

На прощанье же, совсем перед поездом, жена Сергея Сергеевича сыграла любимый «Марш милитэр» Шуберта, угостила любителя музыки, 27-летнего Мишу, вот уже два года живущего почти без музыки. Он просил отрывков из 9-й симфонии, но симфония оказалась трудна для пианистки; так с «Маршем милитэр», по-русски расцеловавшись с Сергеем Сергеевичем и «Борисом Годуновым», вышел из дома и сел в автомобиль командзап.

К командзапу Гиттису Михаил Тухачевский прибыл, окруженный Реввоенсоветом во главе с позднее прославившемся чекистом Уншлихтом. У Гиттиса был свой план контрудара на Польшу, силами 16-й армии под командой Н. Соллогуба предлагал ударить в направлении Гомель — Минск с форсированием Березины; 5-й армией поддерживать... Но не в манере Тухачевского брать чужие планы. План Гиттиса отпал вместе со сдачей командования. 27-летний полководец европейски работоспособен, в работе точен и по-русски оригинален в замыслах.

Перед Тухачевским открывалась свежая страница биографии, и какая! Фронт Европы, прорубить новое «окно», даже, пожалуй, не окно, по возможности пошире, дверь, а может быть, даже и хорошие такие воротца. Это как раз тот бонапартский момент, когда можно лечь спать «русским героем», а встать «европейским».

В командовании Тухачевского три красных армии: 16-я Н. Соллогуба (кажется, графа), 15-я Корка и Северная группа Сергеева. Командарм-16 Соллогуб и его начштаба Баторский предложили юному командзапу свой план контрудара, но и этот план отклонен Тухачевским. Он, любитель «таранной стратегии», в Москве, при советах Лебедева, разработал свой, очень русский и сокрушительный удар по Европе.

Уже вечером 1 мая начальник штаба Запфронта старый гентшабист Шварц телеграфировал командармам: главный удар будет нанесен из Полоцко-Витебского района, выполнение возлагается на командарма-15 Корка; 16-я армия Соллогуба нанесет вспомогательный удар на Березине, который с прибытием резервов разовьется тоже до размеров решающей операции.

Прямой провод командзапа с главкомом работал не переставая. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич, здесь командзап...» — «Здравствуйте, Михаил Николаевич...» Вся Россия напряглась до предела, с высоты Кремля над ней сам Ленин крикнул: «Раз дело дошло до войны, все интересы страны должны быть подчинены войне!»

Кремль умеет напрягать даже нищую, голодную, разоренную страну. На Западный фронт брошены кадры коммунистов: военные трибуналы заработали по суровейшим директивам. «Смертельная угроза, нависшая над рабоче-крестьянской Республикой, влечет за собой неминуемую угрозу смерти всем, кто не выполняет своего воинского долга! Эгоистические, шкурнические элементы армии должны на опыте убедиться, что смерть ждет в тылу того, кто изменнически пытается уйти от нее на фронте! Настал час жестокой расправы с дезертирами! — писал тогда всемогущий предреввоенсовета Троцкий из купе снова тронувшего бывшего царского поезда. — Неряшливость, медлительность, непредусмотрительность, тем более трусость и шкурничество будут выжжены каленым железом! Западный фронт должен встряхнуться сверху донизу!»

Тухачевский как раз выпечен из этого деспотического теста. 27-летний командзап готовит «таран» для Европы не керенскими фразами, а ревтрибуналами и расстрелами. Вместе с Уншлихтом ожелезил фронт. Из одних только дезертиров согнал 100-тысячную армию. Взлом Польши требует мощных и решающих сил. «Чернь одна — ничто и ничего не может, но со мной может все!» — говаривал Наполеон.

Органы политуправления без усталости «овладевают душами». На фронте проведено — 400 митингов, 144 лекции,

611 беседований, 69 концертов, 139 спектаклей; листовки, летучки миллионным тиражом наводняют вражеские и свои позиции. 27-летний полководец славится кроме побед уменьем четко наладить армейскую работу. «Красный кулак» для ответа маршалу Пилсудскому, для взлома его Польши готов.

Майское небо безоблачно. Тухачевский объезжал фронт, на его «Здравствуйте, товарищи!» гремит «Служим революции!». Ночи теплые, звездные; по ночам в резервах поют красноармейцы, что «от тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее!» Скачут ординарцы, прыгая по плохим дорогам, сумасшедшим ходом мчатся в штабы мотоциклы и автомобили. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич, у аппарата командзап...» — «Здравствуйте, Михаил Николаевич...»

14 мая 1920 года, когда маршал Пилсудский еще сидел в беломазаной хате в селе Коленковичи, Тухачевский уже отдал приказ «красному кулаку» о начале протаранивания польского фронта.

От Западной Двины до впадающей в Днепр Березины тронулись русские войска; тронулась 15-я армия Корка, застревая левым флангом в болотистых верховьях Березины; против польских генералов Жигалдовича и Шептицкого удачно переправилась через Двину ударная группа Сергеева, пошла, выдвигаясь на одну высоту с правым флангом 15-й армии; Тухачевский нацелил Сергеева на Брацлав. Задержался только, перебрасывая части, командарм-16 Соллогуб, лишь 19-го переправил дивизию через Березину.

Русская пространственная топь, наконец, проснулась. «Искусство войны — это божественное искусство».

По первым донесениям генералов Пилсудский понял планы военного соперника Тухачевского, тоже считающего искусство войны искусством богов. Польская кавалерия, «уланы с пестрыми значками», драгуны, гусары, пошли на рысях по польским шоссе; поехали на грузовиках легионеры резервов; маршал быстрым контрманевром пытается парировать планы Тухачевского.

Тающим, туманным рассветом передовые части войск 16-й армии, смутно звякая штыками, шли-пылили к Березине. На синей реке стояли лодки; первым пошел грузиться 147-й пехотный полк; плавная Березина стала вдруг покрываться то тут, то там войсками; южнее деревни Мурово плыл 145-й пехотный полк на деревню Черновичи; у устья Маныча поплыла 51-я бригада, 22-я подходила к Березине у устья реки Брусята.

Над красной пехотой в рассвете поднялась, журавлиным клином полетела, свертывая на юг к реке Бобру, эскадрилья красных аэропланов. Еще тихо. Летчики глядели вниз: муравьиными массами скапливались войска на огромном болотистом пространстве Полесья; кое-где полянка, уплывает группа крестьянских дворов, тишина, болота, леса, белеют густые туманы облаков.

На Березине понтоны наводили спешно мосты, переругивались на реке солдаты, толпясь, умащиваясь в лодки; в раннем утреннике разорвались, затрещали под деревушкой Жуковец первые перекаты ружей; русские сошлись с польскими авангардами, завязали начало боя-взлома польского фронта, разработанного Тухачевским.

Уж сменился взрыв ружей над болотами беспрестанным гулом, аэропланы приняли участие в бою, снижаются, открывая пулеметный огонь.

Ожесточенный бой разыгрался на Березине; то русские теснят поляков, то поляки прижимают русских вплотную, сбрасывают в Березину. Шесть дней шел боевой гул, на седьмой подошли свежие польские подкрепления и дали перевес маршалу Пилсудскому над Тухачевским.

По всему фронту с тяжелейшими потерями отступала сломанная 16-я армия Соллогуба. А ведь две недели назад к ее фронту подкатил защитного цвета автомобиль предреввоенсовета Троцкого, и желтый, сгорбленный, тщедушный человек в пенсне вылез из автомобиля. На шоссе и прилегающих полях в необъятное каре собраны массы войск. Каре видело, как человек в пенсне, с трясущейся шевелюрой, полез на крышу автомобиля. С нее предреввоенсовета кричал не своим, сиплым, разрывающимся в ветру голосом не совсем понятные речи. Понятно стало, только как кончил: «Вперед на врага! Удар за ударом до полного разгрома, до полной победы! Настроение широких масс блестящее! Никто из нас не сомневается в непреодолимости нашего натиска!»

Невдалеке Соллогуб и Баторский тихо переругивались грандиозности митинга и всей словесной демонстрации предреввоенсовета. Были правы: уж в середине речи желчного предреввоенсовета, жужжа и стеная в голубом небе, над колоссальным невиданным митингом войск показались польские аэропланы. Закружились плавно, как коршуны, вглядываясь в необычную военную картину. Командарм Соллогуб темнел, ругался старорежимными матерными словами.

На аэроплан указали и садившемуся в запылившуюся машину Троцкому. Он взглянул сквозь пенсне и тоже вы-

ругал окруживших его представителей политорганов армии, которые, оказывается, перестарались, собрав смотр-митинг для Троцкого на глазах у врага. Но таков уж был трепет перед «Робеспьером». Никто не осмелился даже объяснить ему, что 108 лет назад эту же самую Березину, о которой советская рекогносцировка доносит, что место сие ничуть за 108 лет не изменилось, — Наполеон тоже переходил, но и без речи, и без митинга.

В неудачной битве на Березине погибло несметное количество крестьян и рабочих, солдат армии III Интернационала. Сильная машина Троцкого металась по тылам, подымая дух; и такая ж машина несла маршала Пилсудского из Коленковичей в Бельведер, в Варшаву.

В Бельведере — решающее заседание польского командования. Несмотря на пышность и присутствие французских генералов, оно было взволнованно. Генералы Развадовский, Сикорский, Шептицкий, Галлер, Скерский говорили о ненадежном моральном состоянии польских войск, о громадном впечатлении в войсках от удара Тухачевского. «Под влиянием этого удара, — говорил Пилсудский, — заколебались характеры, размякли сердца солдат, и начал за внешним фронтом образовываться фронт внутренний». Генерал Шептицкий заговорил даже о возможности мирных предложений.

Но Пилсудский не раз в жизни лез в петлю головой; и уж если начата игра, то не о мире должна быть речь; даже в трусости упрекнул генерала Шептицкого и, разгрузив, снял с командования 4-й армии, назначив вместо него отличившегося в майских боях Скерского. Кто знает, может быть, и подняла бы непреклонность Пилсудского общее настроение, но радио Бельведера приняло совершенно неожиданное и ошеломляющее известие: покрытая легендами 1-я Конная армия Буденного ударила от Староконстантинова на Изяслав, опрокинула, прорвала польский фронт, режет тылы, грозя всему фронту страшной катастрофой.

«Для людей, слабых духом, — писал польский военный обозреватель полковник Артишевский, — уже самая фамилия «Буденный» была страшилищем. Старый казак, сросшийся с конем, привыкший к разбоям и грабежу, войной и революцией развращенный до последних переделов», — Буденный парализовал все планы Пилсудского, вселив в генералитет нечто близкое к панике.

При всесокрушающем таранном ударе по Европе Тухачевскому мало показалось Кавказского конного корпуса Гая, у Каменева требовал к себе в таран и знаменитую

Конармию Буденного. И вот в 17 000 сабель, 48 орудий, 5 бронепоездов, 8 бронеавтомобилей и 12 самолетов пришла с Кавказа походным порядком долгожданная Конармия и сразу лихим азиатским ударом прорвала польский фронт в районе Сквир — Самгородок.

— Даешь Европу! — ревели буденовцы. Лозунг, родившийся случайно, был страшен тем, что подхватывался действительно широчайшими русскими солдатскими массами. Он выражал сущность всего таранного удара Михаила Тухачевского, поведшего в 1920 году на Европу русские войска.

Как ни грустно признать, этот лозунг, оброненный старым царским вахмистром Приморско-драгунского полка, крепким хозяином в своей коннице Семеном Буденным и подхваченный армией, ведет свое начало из публичного дома. Там он звучал несколько иначе: «Даешь б...ь!» Но когда, снявшись с Кавказа во главе легендарной, покрытой неувядаемой славой шашечной рубки Первой Конной, Буденный молодо и молодцевато, несмотря на «под пятьдесят», поднялся на седло и тронулся походным порядком по степям взламывать «бастион капиталистической Европы»: он подарил именно такое, без всяких прикрас, звучное название Европе. Российский Мюрат, как и все Мюраты, любит красочность.

Громадной брешью в 80 километров разорвав польские армии, безоглядным марш-маршем Буденный бросился в польский тыл, сметая на пути все, что попадалось. Это вовсе не армия. Разношерстная, в штатских пальто, в шубах, в лаптях, в щегольских шевровых сапогах, снятых с расстрелянных на Дону офицеров, в гусарских чикчирах, папах, шлемах, с драгоценными кавказскими шашками, в опорках, в английских толстоподметных ботинках на босу ногу, добытых в южных боях, это — народ, посаженный на коня, но и народ совершенно особый.

«Нищая рвань со всего Лангедока и Прованса под предводительством босяка-генерала» — так писали современники о санкюлотской армии Наполеона. «Только беззаветная храбрость и веселость армии равнялись ее бедности. Люди смеялись и пели весь день», — вспоминал Стендаль.

Идущие на Европу войска Тухачевского были очень похожи на санкюлотские армии Наполеона.

Головным отрядом Конармии неслась кавбригада легендарного Котовского. В желтой отороченной мехом куртке, в красной сияющей фуражке, правая рука в бок — вот он, Григорий Котовский, никогда даже не бывший военным, лихой партизан, воскресивший Дениса Давыдова.

Кто он? Дворянин, анархист, бретер, авантюрист, убийца помещиков, поджигатель имений, каторжник, любитель музыки, герой бульварнейших романов, отчаянный русский человек из Молдавии, о котором по югу России ходят легенды и песни, неуловимый преступник, которого годами ловила царская полиция. С ним — кавалерист-солдат, помощник комбрига хохол Криворучко, покрытый запорожскими шутками и анекдотами.

Рваны, грязны бойцы, народ, севший на коня, но что за кони в кавбригаде Григория Ивановича Котовского! Конь к коню на подбор! На вороном с синим отливом жеребце скачет Котовский, плотный красивый силач, мускулистый, черный, с крепким затылком, крутым подбородком, темными властными глазами. В этом красивом лице героя тысячи уголовных авантур и политических приключений есть, пожалуй, даже и грусть. Но не попадайся Григорию Котовскому под руку; все одесские бандиты говорят, что Григория Ивановича ни на мат, ни на бас не возьмешь.

Сам, скрепя сердце, собственноручно расстреливает своих бандитов Котовский, держит банду в крепкой узде. Потому и радуются жители городков и местечек, когда въезжает Котовский, не позволит разграбить дотла, как, «случается» грабит красная конница.

Перед атакой приказывает банде, не верившей ни в черта, ни в дьявола, не нажираться.

— Дддурачье, — кричит, заикаясь, — ррразве ж мможно жжжрать? Ппппопадет ппуля в жжживот, и бббаста!

Из Бельведера летели приказы отступать с киевского направления. Но хорошо сказать — отступать, когда, прорвав фронт, маршем, гиком, свистом несется в тылу семнадцать тысяч буденновских сабель.

С Буденным на вороном белоногом жеребце — Клим Ворошилов и бывший царский генерал Ключев, но не рад даже этому взлому Буденный, жалуется генералу:

— Да чего тут сделаешь в 17 тысяч сабель, ну, бьем белополяков, так их растак, бьем! Вот бы в мировую, когда конницы триста тысяч было, дали б мне эти сорок дивизий, да поехал бы я с ними по глубоким тылам, черт бы взял меня тогда Людендорф! Дай мне, Клим, триста тысяч бойцов, да я этот польский коридор копытами разомну!

Ворошилов скачет на белоногом жеребце, только посмеивается:

— Воынишь, Семен, дорвемся и до коридоров..

17 000 конницы смешали карты маршала в Бельведере. Французский советник генерал Анри может только констатировать небывалость такой конной операции со времен Наполеона и крах польской военной доктрины кордонной обороны, явившейся наследием мировой войны.

С отчаянием отбиваясь в арьергардных боях, отходила 3-я польская армия генерала Ридза-Смиглого. А прямой провод гудел: пышноусый Сергей Сергеевич нетерпеливо осведомляется, готов ли у Михаила Николаевича главнейший удар-таран по Европе. Да, Тухачевский оправился уже от неудачи Соллогуба на Березине, и главный удар Пилсудскому готов.

Из последних сил над Горынью, начиная от Изяслава, пыталась остановить ошарашивающий напор разномастных буденовцев польская кавалерия генерала Роммера. Но вдруг над польским фронтом разразился новый, да такой гром, что в Бельведере не только у польских, но даже у выдавших виды французских генералов дух захватило.

Прочитав в седле, на лету, Буденный только захохотал:

— Мишка Тухачевский, так растак его мать, наконец раскачался!

4 июля, оставляя в силе основную идею майского наступления, последовательно упираясь правым флангом в Литву и Восточную Пруссию, Тухачевский ударил новым ударом, рассчитывая утопить польские силы в болотах Полесья.

По-русски налетел Буденный, по-русски сногшибающе протаранил поляков и Тухачевский кулаком в 100 000 красных штыков и сабель. Теперь уж двинул пять групп войск — 4-я армия Сергеева на фронте Дрисса — озеро Большая Ельня — Жадо; левее 15-я армия Корка, 3-я Лазаревича, 16-я Соллогуба и Мозырская группа ставшего военным саратовского парикмахера Хвесина.

Удар в лоб лучшей 1-й польской армии генерала Жигалдовича обрушился с страшной силой; дрогнула группа генерала Ржондковского; у озера Долгое на реке Березине смялся генерал Енджеевский, да так покатился на запад, что потерял даже связь с Ржондковским.

В 5 часов началось наступление, а к 7 утра, когда выплыло над болотами бледное солнце, красные войска были уже в 15 километрах за линией фронта.

Все попытки польских контратак разбивались о сметающую лавину наступления. Красная артиллерия была ураганом, словно от радости победы сошла с ума; артиллеристы вылетали вперед цепей, не снимаясь с передков, били по

полям прямой наводкой. Эскадрильи аэропланов гудели над катящимся фронтом. Тухачевскому таран удался.

Пилсудскому не оставалось ничего, как отдать приказ об отступлении. Маршал приказывал только, загнув левый фланг фронта, оборонять во что бы то ни стало, не отдавать Вильно.

Любитель Бетховена, мастер скрипки, эстет Михаил Тухачевский не знает ни дня ни ночи. «Искусство войны — это божественное искусство». Красиво маневрируя ударами на севере и на юге, Тухачевский бросил в бой уже все свои армии, запустив с севера в отчаянную рубку 3-й Конный корпус соперника славы Буденного Гая.

Поляки рухнули именно так, как полагал крушение Тухачевский. Даже, пожалуй, не ожидал таких размеров. Уже далеко от Березины бегут по всему фронту поляки. Тухачевский передвигается за фронтом; красные подходят к Минску, несутся иступленные крики: «Даешь Минск!» Скачут за войсками в тачанках комиссары, подогревают распоясавшуюся в ударе армию.

Ежечасно радиобашня Кремля принимает победы: пали Минск, Вильно, Слоним, Волковыск, Оссовец. 60 километров в сутки идет армия Тухачевского, на севере с Гаем, на юге с Буденным; стоит на полях гречихи и ржи один дикий, истошный вопль обезумевших в военном успехе русской конницы и пехоты.

Уж форсирует красная конница Неман там, где форсировал его когда-то Наполеон, и обтекает крепость Гродно со всех сторон. По прямому проводу течет нервный разговор маршала Пилсудского с генералом Сикорским: может ли продержаться на участке Сикорского крепость Брест хотя бы дней 10 до прихода подкреплений? Генерал Сикорский уверяет, что 20 дней продержится крепость, обломают об нее красные зубы.

И в тот же день три дивизии 16-й армии Соллогуба с размаху штурмом берут сильнейший брестский форт Режицу, а ночью «одоленные души» за фронтом, польские коммунисты, провели штурмующие красные войска в цитадель крепости, где работал штаб командующего полесской группой.

В крепости паника, ворвавшиеся перебили штаб, убили квартирмейстера штаба майора Мерака. Стоит крик отчаянной радости «Даешь Варшаву!».

Потрясенный польский стратег генерал Сикорский, узнав о падении Бреста, понял, что желание маршала — наступать от Буга — неосуществимо; войска панически бегут, едут на грузовиках к Висле.

А по русскому фронту гремит крик «Даешь!». Заседание Коминтерна под председательством Раковского ликует в Харькове, запросив фронт о положении дел — в ответ пришла телеграмма: «Товарищи Тухачевский и Смилга выехали в Варшаву!»

Теперь понял мир, что красный штурм на Варшаву по 60 верст в день — это штурм на старую Европу и русские штыки действительно выйдут на Рейне. В палате общин Ллойд Джордж взволнованно поносит таланты Пилсудского. «Польша заслужила наказание! Польская армия могла бы отразить врага, если б во главе ее стояли опытные и способные люди!» Союзные министры Бонар Лоу и граф Сфорца называют поход Пилсудского «печальной ошибкой».

А за армиями Тухачевского уже едет первое советское польское правительство — негнувшийся вождь ВЧК Феликс Дзержинский, каторжанин Феликс Кон и друг детства Пилсудского Ю. Мархлевский. Может быть, Москва Тухачевского готовит и еще для кого-нибудь по советскому правительству? Да, это штурм, колеблющий и сотрясающий мир, именно о таком и думал в плену Михаил Тухачевский. В нем сплелись мечты Ленина о мировой революции и мечты Тухачевского о мировом деспотизме.

По выражению французского генерала Фори, Тухачевский уже воюет с Версальским договором; он заслал в польский коридор Конный корпус Гая смять копытами параграф Версаля. По коридору раздался топот русской конницы. Зашатались рабочая Германия и Польша «одоленными душами». В Англии образовались рабочие «Советы действия» для оказания сопротивления попыткам вооруженного вмешательства в советско-польскую борьбу. В Германии и Чехии рабочие отказываются грузить и пропускать для Польши военные грузы.

Войска Тухачевского текут красной лавой зажечь «пожар на горе всем буржуям!». Тухачевский идет по указу Ленина разрушать всю международную систему и «перекроить карту мира». Поэтому на взволнованные просьбы Пилсудского о помощи в бастион Европы на востоке, из Парижа в Варшаву, прибыл начальник штаба маршала Фоша, вице-президент высшего военного совета генерал Вейган с штабом офицеров.

Мало, оказывается, хотел гвардии поручик Тухачевский: быть в 30 лет генералом. Не достигнув 30, колебнул мир и вышел на историческую арену; он оценен по заслугам уже не только польскими и французскими генералами, но и самим маршалом Франции Фошем. Недаром генерал

Вейган так торопится встречать его под Варшавой, а радиобашня Кремля 12 июля услышала «голос» самого лорда Керзона, когда таран Тухачевского грозил показаться на берегах Рейна.

Оплот победившей Европы, Англия слала Кремлю предложение посредничества по заключению мира. Но Ленин был таким же русским человеком, как Тухачевский. Ему возражали Дзержинский, Троцкий, Мархлевский, Зиновьев, Каменев, а Ленин хочет прощупать штыком панскую Польшу — и баста! Нота блестящего английского лорда отвергнута. Тухачевский прет на Варшаву, хоть вся санкт-лотская армия тоже русская, и ею уж трудно управлять: таран ожил и сам пошел. Да и российский Мюрат Буденный — не француз: ему приказывает главком поворотить во что бы то ни стало к северу на поддержку боя Тухачевского за Варшаву, а он плюет на приказы, вместе с Ворошиловым, на страх и риск Сталина и Егорова, полным аллюром летит-несется во Львов.

— Эх, была не была, история раз в жизни делается, Мишка Тухачевский, «барин», Варшаву берет! — И Буденный сыплет на Львов. Сталин с Егоровым только отругиваются от главкома, припускают Буденному рыси. Но еще со времени походов Богдана Хмельницкого Львов был тем «гиблым местом», на котором «кажинный раз» спотыкались русские армии.

Вся русскость войны со всей требухой вышла наружу. По прямым проводам идет крик и брань у Каменева с командюгозапом Егоровым, Сталиным: «Тухачевский не выдержит, свертывайте Буденного с Львова на Варшаву!» А югозапфронт только отругивается от главкома. Без всякого удержу, без узды, Азией, наводнением несутся русские армии на Европу. Вожжи главкома Сергея Сергеевича упали к земле, и где уж их там подбирать да маневрировать. Фронт командзапа Тухачевского расклебался, тонок, бьется командзап над маневрами, перенес ставку в Минск, сюда же экстренно принес поезд Каменева. Торопится схватить Варшаву под уздцы. Но русский пир, по обычаю, начался раньше, чем успели сесть за стол.

Уже в двух переходах от столицы воскресшей Польши красные войска. В окруженном автомобилями, конными ординарцами, мотоциклами Бельведере заседания военного штаба без перерыва. Но с первого дня натянулись отношения генерала Вейгана и его штаба с «паном Володыевским»; предпочитают даже не разговаривать, а переписываться «нотами».

Под Варшавой у Вислы слышны тяжкие вздохи артиллерии; это пошли бои в 25 километрах от города. Это исполнение последнего приказа Тухачевского, отданного в Минске: «Противник по всему фронту продолжает отступление. Приказываю окончательно разбить его и, форсировав Вислу, отбросить».

Куда? За Варшаву!

Над Варшавой дымной градовой тучей азиатского хаоса нависли армии III Интернационала, они скоро ворвутся в столицу Польши. На позиции ездят польские горячие юноши на трамвае 86, а в Бельведере полное расстройство и славянское отчаяние перед славянской неистовостью.

— Все комбинации дают ничтожное количество сил, бессмыслицу исходных данных, безумие бессилия или чрезмерный риск, перед которым отступает логика! — так отвечает сам начальник государства, главнокомандующий польских войск маршал Пилсудский на предложения генерала Сикорского.

Маршал Пилсудский позднее написал, что «заперся в кабинете и три дня не выходил ни к кому от мучительнейших размышлений».

«Славянский старый спор» у бастиона Европы для Пилсудского и Тухачевского решился бы, вероятно, иначе, если б не засел в Бельведере экстренно прибывший престарелый генерал Вейган.

Последний охват-маневр Тухачевского под Варшавой был разгадан не польскими генералами и не пришедшим в отчаяние Пилсудским; его отставки от военного командования открыто теперь требовали варшавские газеты. Это генерал Вейган особенно пристально рассматривал участок северного фронта под Варшавой и один в своих «нотах» высказывал «пану Володыевскому» опасения: не замышляет ли Тухачевский именно тут решающий удар и генеральное сражение за Варшаву?

— План маршала Пилсудского основан на неправильном представлении о группировке красных войск. Несогласно с маршалом Пилсудским я полагаю, что сильный кулак красных войск находится где-то севернее Западного Буга, но пока еще не отдаю себе ясного отчета где, — указывал генерал Вейган польскому командованию, отношения с которым больше чем «холодны».

— Стремительность и быстрота взлома польского фронта красными расстроили польскую армию, но они не должны расстраивать нас. План маршала Пилсудского я считаю

скорее жестом отчаяния, чем плодом холодного расчета, — переписываются «нотами» генералы.

А бои идут под самой Варшавой. Глупая, горячая молодежь бежит, едет на трамваях спасать Пилсудского от позора. Тяжело вздыхает за Прагой артиллерия, жестокие кровопролитные бои идут под Радимином, всего в 23 километрах от Бельведера, и Радимин колеблется под русским напором.

Радиостанцией Бельведера перехвачен приказ Тухачевского 5-й армии Корка. Но это уже не приказ, а удар грома: с утра 14 августа древняя польская столица будет концентрически атакована тремя красными русскими армиями.

14 августа, осенний, прохладный день; по всей линии фронта повел Тухачевский бой. Время над Варшавой поплыло медленно, разрываемое артиллерийским гулом и взрывами ружей, замиравшими в жуткую тишину; это красные и белополяки бросаются в рукопашную.

Уже утром по началу операции Тухачевского генерал Вейган понял, что он прав. Тухачевский пытается взломать польский фронт именно на тех неожиданных рубежах, которыми пренебрегал маршал Пилсудский и удержать которые генерал Вейган считал необходимым условием для развертывания под Варшавой контрманевра.

15-я армия Корка уже форсировала, как предполагал генерал Вейган, реку Вкру на участке 5-й польской армии, а под Радимином глубоким журавлиным клином врываются красные в польский фронт. На северном крыле поляков 4-я красная армия выиграла наружный фланг северного крыла. Генерал Развадовский просит ускорить контрнаступление его частей, но Пилсудский по настоянию Вейгана оставляет в силе прежний срок контрманевра: 16 августа.

В два дня, в две ночи вот-вот задохнется Варшава, рухнет Польша, и Ленин перевернет страницу истории. Но оторванные от базы красные, маршем прошедшие сотни верст, докатились до столицы Польши только под угаром. Они уже бессильны, жив только «дух», да еще напрягает последние силы Тухачевский; сломить, свалить Европу обессиленными красными бойцами. Но уж наносить точно задуманные удары трудно, весь успех всей войны — в часах, в минутах; не разгадают план, не удержат с севера Варшаву, взята Варшава, победила русская революция, и въезжает вельможный польский шляхтич Феликс Дзержинский на место вельможного польского шляхтича Иосифа Пилсудского; а там — Берлин, Париж, Лондон, заветное «Даешь Европу!». А — разгадают, и, вероятно, — поражение.

Разгадала Европа, разгадал генерал Вейган.

15 августа поддержал Сикорского, не поддавался на просьбу командующего северным фронтом генерала Галлера, оставив заслон на реке Вкра, повернуть главные силы на севере в сторону Плонска. Напрасно 15 августа метался Тухачевский, требуя усиления группировки правого фланга 3-й армии, давал указания о повороте на фронт Сахоцин — Закорчим главных сил 4-й и требовал быстрее, немедленного поворота на Варшаву Буденного. После тучи телеграмм Буденный уже бросил «львовскую приманку», свернул, несется на помощь Тухачевскому, да поздно. Напряжение обеих сторон достигло момента, когда чье-нибудь должно уже пасть.

Генерал Фори считал по началу операции на Висле судьбу Пилсудского обреченной, стратегическое положение безнадежным, а моральное состояние польского войска со всеми грозными симптомами разложения и гибели. Из Варшавы бегут обыватели, задыхаются, уходят поезда. И все же генералу Вейгану ясно: Тухачевский мечется из последних сил.

С севера пытается Тухачевский опрокинуть врага, сломить, ворваться в Варшаву. Но именно этот участок защищен логикой и опытом генерала Вейгана. 16 августа Вейган сказал польским генералам: «Теперь вы получите свою Марну, надо начинать контрманевр».

Тухачевский понял этот контрманевр. Просьбы о Первой Конной стали похожи на отчаяние. Буденный должен молниеносно скакать, спасти всю войну, всю крупнейшую ставку на мировую революцию. Телеграмма за телеграммой: Первая Конная свернула на Люблин, Первая Конная идет на Замостье. Но время — жестокая вещь, генерал Вейган уже совершил «чудо на Висле». Под Плонском уже двинулись в наступление поляки, и первый раз за всю войну дрогнули под стенами Варшавы красные. Что случилось? Сломилось главное — русская отчаянность, уверенность в победе, и с ней у поляков вспыхнула та же славянская вера в успех.

Сильно вонзилась 4-я польская армия в Мозырскую группу красных, и от этого рассчитанного удара треснула группа Хвесина внезапным пораженьем, дрогнула и начала отступление. Крякали, гудели телефоны в минском штабе командзапа Тухачевского: фронт прорван. Хвесин отступает. Где же Буденный? Конармия на рысях идет, но уже не к Варшаве, а к пораженью, потому что Хвесин обнажил весь тыл южной армии Соллогуба, стоявшей под самыми стенами Варшавы.

Донесения в Минске одно отчаянней другого: Соллогуб отступает, Хвесин открыл фронт, поляки развивают успех, уже выходят на шоссе Брест — Варшава, взяты в плен 12 000 красных, 50 орудий, на севере генерал Вейган отрезал, запер Гая, ворвавшегося в польский коридор для войны с Версалем.

3-я армия Жилинского, 5-я Сикорского уж зажали в стремительном наступлении 4-ю красную, и гарнизон Варшавы пошел наступлением. Всем туловищем увяз под Варшавой Михаил Тухачевский. «Отступать! Назад!» — несется из Минска. Но и отступление заварилось, как наступление.

Это уже неслыханная, азиатская катастрофа: в беспорядке сдаваясь в плен, бросая обозы, орудия, раненых, русские хлынули на восток, разбившись о бастион Европы.

Но теперь по-славянски зашумели польские генералы. Польская армия кинулась в бешеное, стремительное преследование, а русские побежали с польской быстротой. Подросла было Первая Конная с кавбригадой Котовского, пошли в отчаянный русский бой у Замостья. И уж доносит было знаменитыми донесениями-рапортами Криворучко:

— Учепився у ср...

Рубится лихо командир полка Криворучко, летят перерубленные польские руки, русские головы, в шашки сошлись славянские враги — буденовцы с польскими уланами генерала Станислава Галлера. Берут буденовцы верх, шлет Криворучко Котовскому к главным силам:

— Одидрав частыну ср... Добираюсь до пупа.

Но теперь озверели и поляки Галлера, взяли в сабельные клещи Первую Конную, рубят. И последнюю реляцию шлет Криворучко:

— Гвалт!

Морем, гулом, грабежом, кровью хлещет русская армия назад по тем же самым местам, по которым ходили в мировую войну взад-вперед немцы и русские. Впереди армии из Минска идет штабной поезд Тухачевского, в поезде есть и купе с недоделанной скрипкой, подпилки, грифы, фуганки, струны, но сейчас не до скрипок командзапу. Вихрем, симфонией развала, грабежа, отчаянием хлещет русская стихия, исполосованная войной. Даешь Европу? Европа пока что не далась.

В штабном поезде сумрачный отступает полководец разбитых армий; от них жалкие остатки: в 3-й и 16-й по несколько тысяч, а 4-я Сергеева и 15-я Корка перестали существовать. Опередил Тухачевского обратным движением

поезд советского польского правительства с Дзержинским, Коном, Мархлевским, Тухачевский движется туда же, к Кремлю, где противники войны уверяли русского Ленина, что с Польшей нужна осторожность, что Польша не Россия.

Остатки разбитых армий в беге уже вышли из соприкосновения с противником. Пропал только слава фронта Тухачевского, соперник Буденного, овеянный легендами 3-й Кавказский конный корпус Гая. Прижатый поляками к Германии, он еще бьется, не хочет переходить границу Пруссии.

— Храбцы мои! Не сдаваться, не складывать оружия! — кричит неукротимый Гай, скачет перед выстроенными бойцами, матерится солеными ругательствами, русскими и армянскими. — Не отчаивайся, храбцы мои! Мы еще прорвемся через эту польскую калечь!

К ночи, прихватив с собой несколько рот коммунистов на тачанках, бросился Гай с Кавказским конным корпусом на Млаву прорубаться назад, на родину, сквозь польскую конницу и пехоту.

С изумлением и восхищением наблюдали эту последнюю страницу славянского боя полные славных военных реминисценций французские генералы. На головные дивизии 5-й польской армии, прижавшей корпус Гая, в конном строю во главе всего корпуса бросился Гай. На бешеном карьере, рубя шашками направо и налево, текинцы, казаки, калмыки, черкесы Гая прорезали себе дорогу на родину, наводя ужас на польские войска, которые называли Гая — Гай-ханом.

Вырвался из 5-й армии Гай на вольный простор, пошел было по Польше, но ненадолго. Окружила новая 4-я польская армия. И снова густой лавой несется в атаке конница Гая, воскрешая наполеоновские времена: уничтожила 49-й полк, прорубается сквозь 19-ю дивизию у Грабова, но здесь за Грабовом опять перерезал Гаю путь подоспевший 202-й полк.

Лавой бросился с конниками Гай, прорываясь сквозь пулеметы и цепи польской пехоты. Прорвался в третий раз, оставив на поле только раненых, да за ним, за корпусом, несущихся без всадников коней.

Маневрируя по знакомой местности, неся Гай. Но через два дня наткнулся на новый заслон — капкан польской пехоты. У местечка Хоржеле встретили Гая крепкие стойкие части: два полка «сибирских» поляков. Целый день рубился Гай, к сумеркам пробился, уходя дальше карьером на восток.

Поймать Гая — дело польской чести. Уланы, шволежеры пошли ловить калмыцко-кавказскую казацкую конницу. Путь от Хоржеле перерезали две армии — 4-я и 2-я.

Уже у Гая ни патронов, ни снарядов, лишь окровавленные в рубке шашки. Но все ж и в неравный бой вступил у Кольно с поляками Гай.

Двое суток яростно атакывал, прорывал одну за другой польские линии, но наткнулся на новые, превосходящие численно части густых пехотных колонн; 25 августа после десятидневных конных боев снова прижали поляки Гая к границам Восточной Пруссии, и ничего не осталось ему, как перейти прусскую границу.

В 1920 году гаевцы жили под Берлином в лагере Вюнсдорф; приезжая в столицу Германии, на улицах, как вкопанные, останавливались перед идущими по Курфюрстендамм живыми буржуями. Этого, увы, в России уже не водилось.

Но не удалось гаевцам расправиться с Европой по-своему. Сотворил на восточном бастионе генерал Вейган «чудо на Висле»; а уж если бы не сотворил, показал бы М. Н. Тухачевский миру, что такое «марксистские формулы» на буденновском языке.

Военные специалисты говорят: красные «прошли кульминационный момент победы, не заметив его».

ВОССТАНИЕ КРОНШТАДТА

Поражение под Варшавой Тухачевским переживалось тяжело; это первое поражение за всю блестящую карьеру; и поражение не на фронте гражданской войны, где можно взять быстрый реванш; сорвалась гастроль на мировой сцене, и близкого реванша не предвиделось.

Головка Кремля и советские военачальники шумели, спорили о стратегической неудаче кампании. Троцкий сравнивал Сталина с генералом Рузским, обвиняя в такой же амбиции: самому во что бы то ни стало взять Львов, но не помочь Тухачевскому под Варшавой.

Егоров винил во всем «зарвавшегося Тухачевского»; Ворошилов — упустившего вожжи до земли главнокомандующего Каменева; Лебедев напоминал прогноз, что Европа насыплет; Тухачевский же написал книгу «Поход за Вислу», где обвинил всех военачальников: «Наша блестящая операция заставила дрожать весь мир, но она закончилась неудачей; главная причина нашего поражения заключалась в недостатке подготовки командующих войсками».

Может быть, Тухачевский и прав. Во всяком случае его талант признали французские генералы, и Пилсудский, вспоминая войну, в книге «1920 год» писал: «Столь длин-

ные марши, прерываемые к тому же боями, могут служить к чести как армии, так и ее руководителей. Особенно же нельзя отнести к числу средних величин и посредственностей командующего, который имеет достаточно сил и энергии, воли и умения, чтобы проводить подобную работу»,

По заключении мира с Польшей в 1921 году боевая карьера красного маршала Тухачевского умирала: у красной России не было фронтов. Но русская история, хоть ненадолго, а пощадила Тухачевского. За три года большевистский Кремль, как неповоротливая кормилица, навалившись всем телом, оказывается, заспал-задушил революцию. И перед тем как задохнуться, ее все ж свело судорогами Кронштадтского восстания.

Это был парадокс. Революционный авангард авангардов, краеугольный камень Октября, кронштадтские матросы, которых Троцкий со свойственной ему безвкусицей назвал «красой и гордостью революции», этот 70-тысячный матросский гарнизон Кронштадта с оружием в руках поднялся против Кремля.

Ус залихватский закручен в форсе,
Прикладами гонят седых адмиралов
Вниз головой с моста в Гельсингфорсе!

Так в 1917 году воспел балтийских матросов Маяковский. Но, как Тулон восстал против конвента, ибо, захлебнувшись в терроре, не захотел лезть «в красную пасть Марата», так же не захотел лезть «в пасть Троцкого» и Кронштадт. Матросский террор 1917 года поднялся против кремлевского террора 1921 года.

«И революция наша сволочная, и революционеры наши сволочь... все возвращается к старому. Честным людям ни жить, ни работать нельзя», — говорил видный коммунист — рабочий Юрий Лутовинов, покончивший самоубийством.

Но военному вождю красного войска восстание Кронштадта предлагает лишь украсить грудь третьим орденом Красного Знамени и вплести лишний красный лавр. Этот лавр вплелся.

После польского поражения, срыва грандиозного удара по Европе презренье и ненависть Тухачевского заслужили не только малоталантливые военачальники, но и русский расхлябанный солдат, мужик и рабочий, не донесшие на своих штыках его победу до Варшавы, Берлина, Парижа, Лондона.

Именно поэтому так жесток и был красавец барин М. Н. Тухачевский в подавлении этого ж солдата и мужика, всколыхнувшегося в 1921 году восстанием против деспотии Кремля.

Это последнее восстание революционной анархии против революционной деспотии началось мужицкими волнениями по России, потом в Петрограде, где правил Петрокоммуной ненавидимый населением трусливый, с бабьим голосом и лицом провинциального тенора, всемогущий Гришка Зиновьев, оно вспыхнуло среди рабочих.

Уж в феврале начались рабочие митинги глухого недовольства политикой власти в деревнях; первым заговорил Трубочный завод; голодные рабочие пытались разграбить государственные склады, шумя против Гришки.

За Трубочным — Лаферм, Кабельный, Балтийский, зашумел весь Васильевский остров, понеслись злобные крики против террора власти в деревне, отбирающей расстрелами хлеб, против бюрократов-комиссаров, против «чеки».

Близко знающий Зиновьева Троцкий характеризует его как человека панического, в минуты опасности ложащегося на диван и поворачивающегося к стене в ожидании событий. Но Зиновьев, легши на диван, прекрасно понимал, что именно таким глухим недовольством, требованием хлеба и «смены министерства» начинаются все революции.

С дивана от председателя Петрокоммуны к Ленину и Троцкому в Кремль пошли тревожные телеграммы. А волнения приняли уж характер тяжко катящегося по голодной столице гуда. Заводы бастуют, призывают к выступленью, из Кронштадта едут матросы, с Васильевского острова движение перебросилось через невские мосты в город. Гришка занял спешно мосты отрядами курсантов и чекистов, но рабочие переправляются по льду, гудят, шумят, забастовала Государственная типография, Адмиралтейский завод, фабрика Бормана.

Это революция в революции. Последний голодный взлет издыхающей анархической мечты о «свободе» против сковавшей уже страну революционной деспотии.

В особняке Зиновьева день и ночь совещания. Гришка встал с дивана, хочет задушить волнения верными, сытыми войсками. Возле Гришки надежнейший комиссар Балтфлота Н. Н. Кузмин, но он привез тревожные сведения о Кронштадте. Матросы, те, что своей «Авророй» захватили большевикам Зимний дворец, те, к которым грозил уйти — «Уйду к матросам!» — кричал — Ленин, если на октябрьское восстание не решится головка партии, — эти матросы восстают против власти Кремля.

В кремлевский въезд под Спасскую башню, где часы поют «Интернационал», а на башне забыт еще золоченый царский орел, к Троцкому уж въезжали автомобили воен-

ных; прибыли Каменев, Лебедев, Ворошилов, Тухачевский, царские генералы и офицеры.

Зиновьев просит в Петроград самые надежные части, чтоб подавить волнения в корне. В Петрограде бушуют рабочие, агитируют матросы, кронштадтские «краса и гордость», те, у которых «ус заливчатский закручен в форсе», кто разогнал «Учредилку». Но Троцкий уже выслал из Москвы по прямой как стрела Николаевской железной дороге эшелоны верных войск и отправил матросам в Кронштадт террористическую телеграмму-приказ: не «бузить» и подчиниться власти.

Блистательный гвардии поручик, красный маршал Тухачевский уж разрабатывает в своей московской квартире «на всякий случай план взятия Кронштадтской крепости» и подавления мятежного острова, если матросские волны не спадут.

В Кронштадт на уговоры матросов отправил Ленин не Гришку, которого там разорвут, а безобидного, чуть опереточного всероссийского старосту М. И. Калинина в сопровождении комиссара Балтфлота Кузмина; выяснить, чего ж хотят эти «иванморы», «клешники» и «жоржики», у кого в октябре хотел приютиться Ленин против своих же товарищей.

Шумит, ревет островной город-крепость Кронштадт, необычаен. Тут семьдесят тысяч матросов бушует, да таких, каких не подмочишь лимонадом речей; это — старое гнездо, сердце революции, тут дело подавай, сами побывали в деревнях, в карательных отрядах, тут не обманешь, знают, как мужиков расстреливают, сами расстреливали.

С Финского залива несет ледяной ветер. Небо над Кронштадтом голубо, март. Заполнен город толпой, вышедшей посмотреть на голубое небо, на весенний день, потолкаться на матросских митингах.

Всюду кучи синих форм, фуражки с лентами, клеши, маузеры на боку, разговоры одни и те же: о волнениях в Петрограде, о бегстве из Кронштадта ответственных коммунистов, бушуют матросы, кроют Троцкого матерно, обещают спустить под лед Гришку, знают, что сегодня придет разговаривать с братишками Калинин. Смеются. Ждут на Якорной площади, где у статуи адмирала Макарова промитинговали всю революцию.

В полдень на Якорной не протолкнуться. С линейных кораблей и из мастерских матросы и рабочие заполнили площадь, ждут, гудят. На окраине грянул оркестр, замахали в воздухе красные знамена. Это по льду из Ораниенбаума приехал невзрачный мужичка в очках, с хитрецой, намуштро-

ванный Лениным и Троцким, всероссийский староста М. И. Калинин. Его сопровождает комиссар Кузмин. Якорная гудит: «Пусть Калиныч поговорит! Пусть расскажет, за что Троцкий наших отцов и братьев по деревням расстреливает!»

На автомобиле въехал на Якорную площадь в сопровождении Кузмина Калинин. Как только въехал, толпы замолчали: глухо встретили всероссийского старосту. На памятник адмиралу Макарову залез ненавистный матросам председатель кронштадтского совета коммунист Васильев, стал кричать в воздух, что товарищ Калинин охрип, не может говорить на площади, пусть идут матросы в манеж. Но заревела матросня:

«Знаем, почему охрип! Не хочет говорить перед всеми! Мы — не Троцкий, не расстреляем! Пусть на Якорной говорит! Не пойдем в манеж!»

Не сговориться с матросами всероссийскому старосте, хитренькому мужику, бывшему рабочему Калинину, приятно устроившемуся в Кремле; пришлось говорить на площади; безобидный человек М. И. Калинин.

Первым поднялся на самодельную трибуну из досок в красном кумаче, возле памятника адмиралу Макарову, комиссар Кузмин. Вокруг трибуны встали матросские представители — Петриченко, Ососов, Тукин, Архипов. Заговорил Кузмин неласково, так, как настроил в Кремле Троцкий, — ни в чем не уступать матросам, сломить матросскую вольницу. Кричал на ветру в уши тысячам взбунтовавшихся матросов все о том же, что только коммунистическая партия — водительница революции, зря матросы бузят, ни к чему это в такой момент, когда Запад готов признать Советскую власть! Надо перетерпеть тяжелое время, что ж делать, когда нечего жрать, стойте, через год все будет... Заревела площадь.

— Долой его! А зачем заградилровка, голод, почему рабочему холодно! Тебе тепло, сволочь! Тащи его с трибуны, товарищи! Комиссарам тепло в дворцах!

Кузмин хотел дальше кричать, но матросы заглушили, накатила толпа на трибуну, и, чтоб как-нибудь смягчить толпу, отстранив Кузмина, поднялся всероссийский староста Калинин.

— Товарищи матросы! Зря бунтуете... зря...

Но как ветер, как ураган понеслось: «Брось, Калиныч, трепаться! Тебе тепло в Кремле! Ты сколько должностей занимаешь, поди везде получаешь!» — захохотали, зашумели в толпе. И напрасно в ветер кричал всероссийский староста так, как учил Троцкий: «Если Кронштадт скажет «А», то мы

ему скажем «Б»...» Уж не слушали на площади матросские толпы. И снова вымахнул Кузмин, хотел взять матросов за живое, стал вспоминать славные боевые страницы Кронштадта и Балтийского флота. И верно — захватил площадь, стихли матросы, когда вспомянули им о геройствах революции, о «красе и гордости», но вдруг с заднего ряда к Кузмину донесся матросский в тишине тенор;

— А забыл, как на Северном фронте нашего брата через десятого расстреливали?!

И котлом заварилась, забушевала ненавистью площадь:

— Долой! Долой!

Кузмин старался, кричал:

— Изменников расстреливали и будем расстреливать! Вы на моем бы месте не через десятого, а через пятого расстреляли!

— Постреляли! Хватит с тебя! Нечего нам грозить, не таких видали! Гони его! Бей!

Кузмина спихнули с трибуны, а на руках подняли своего матроса, и матрос закричал, размахивая в руке фуражкой с лентами, ветер развил черные волосы.

— Товарищи, посмотрите кругом, и вы увидите, что зашли мы в страшное болото! В это болото завела нас кучка коммунистов-бюрократов, которые под маской коммунизма свили себе теплые гнезда в нашей республике! Я сам был коммунистом, призываю вас, товарищи, гоните прочь от себя этих лжекоммунистов, которые толкают рабочего на крестьянина, крестьянина на рабочего! Довольно расстрелов нашего брата! Попили кровушки Троцкий с Зиновьевым!

И заревела душа революции одобрением, гулом, такой страшной ненавистью, что кронштадтская Якорная площадь словно заколебалась. Ни Кузмин, ни Калинин уж не выступали, а на трибуну взбежал юркий матрос Петриченко с линейного корабля «Петропавловск» и закричал о расстрелах рабочих в Петрограде, о казнях крестьян по деревням, о кровожадных бюрократах Зиновьеве и Троцком, окруженном царскими генералами, предложил всей площади принять мятежную резолюцию против комиссародержавия. Открытым голосованием, против Калинина и Васильева, приняла вся площадь резолюцию.

— Арестовать их! — кричали. Но что есть духу покатило по льду всероссийский староста на автомобиле к берегу, где ждал его экстренный поезд, чтобы ехать в Кремль на доклад Троцкому и Ленину. А в Кронштадте образовалась своя власть — революционный комитет из 15 матросов.

Это было 5 марта, а 6-го назначенный подавить Кронштадт командарм-7 М. Н. Тухачевский ехал в тронувшемся от Москвы поезде. Он ехал в Петроград, в Петрокомму, где Гришка все еще лежал на диване, хоть и писал матросам свое воззвание «Достукались!».

Может быть, Тухачевский в вагоне ранним утром полировал скрипичную деку. Распоряжения по переброске 60 тысяч войск к Кронштадту закончены, перебрасывал надежнейшие отряды чекистов, красных курсантов, заградителей, войска, гораздо больше похожие на александрослободских опричников Иоанна Грозного, чем на социалистическую армию.

Петроградский гарнизон уже разоружен; на улицах Кронштадта уже расклеен приказ:

«К гарнизону и населению Кронштадта и
мятежных фортов!

Рабоче-крестьянское правительство постановило: вернуть незамедлительно Кронштадт и мятежные суда в распоряжение Советской Республики. Посему приказываю: всем поднявшим руку против Социалистического Отечества немедленно сложить оружие. Упорствующих обезоружить и предать в руки советских властей. Арестованных комиссаров и других представителей власти немедленно освободить. Только безусловно сдавшиеся могут рассчитывать на милость Советской Республики. Одновременно мною отдается распоряжение подготовить все для разгрома мятежа и мятежников вооруженной рукой. Ответственность за бедствия, которые при этом обрушатся на мирное население, ляжет целиком на головы белогвардейских мятежников. Настоящее предупреждение является последним.

Председатель Реввоенсовета Республики
Командарм-7
5 марта 1921 года.»

*Троцкий
Тухачевский*

Но знамена восстанья уже трепал ветер над Кронштадтом. Кроме Красной Горки, все форты восстали, арестован комиссар Кузмин и председатель совета Васильев; вся власть в руках временного ревкома, в который выбраны 9 матросов, 4 рабочих, 1 фельдшер и 1 заведующий школой. Председатель матрос с линкора «Петропавловск» Петриченко проявляет кипучую энергию: надежда — поднять Петроград, матросы уверены — Петроград встанет, а за ним против комиссаров подымется и вся крестьянская волнующаяся восстаньями Россия.

Под председательством Зиновьева в Петрограде образован «Комитет Обороны», Гришка объявил город на осадном положении, в северную столицу стянуты курсантские школы и коммунистические полки, Гришка издал приказ: «...в случае скопления на улицах — войскам действовать оружием; при сопротивлении — расстрел на месте». В Петрограде арестованы семьи кронштадтских матросов, как заложники, их расстреля-

ют при первой же надобности. Всех расстреляет Гришка, не подчиняющихся ему, председателю Петрокоммуны.

Троцкий и Зиновьев прекрасно знают истории французских революций, а матросы глупы. Троцкий улыбается: они делают решительно все ошибки Парижской коммуны 1871 года.

Напрасно офицеры Кронштадта, генерал Козловский, Соловянов, Арканников, советуют матросам идти в наступление на Петроград подымать красноармейцев, иначе Кронштадт погибнет. Матросы не хотят «лишней крови».

Тухачевский движется, стягивает к Кронштадту войска. «В истории все решается минутами!» — на заседании ревкома кричат офицеры. Напрасно. Матросы, те, что четыре года назад шли во главе террора революции, сбрасывая правых, виноватых под лед, возражают против решительных мер. Они — за свободу, они будут только обороняться, если Троцкий посмеет пролить народную кровь.

Вот заслуга Троцкого и Зиновьева. Небывалым в мире террором в широчайших массах русского народа они вызвали отвращение к крови. Это — крупная заслуга. Но Троцкий не останавливается и во время Кронштадта, его приказы матросам четки: «Перестреляю, как куропаток!» — пишет человек в пенсне и в стрелецком шишаке, с язвой в желудке.

Над ледяным Финским заливом уже появились аэропланы Тухачевского, сбрасывают во взбунтовавшийся матросский город бомбы, прямо в дома, терроризируя население и защитников мятежных фортов, имитирующих парижских коммунаров, упускающих минуты, творящие историю. Коммунары не шли на Версаль Тьера, когда его правительство было дезорганизовано, так же как кронштадтские матросы не пошли на Петроград, когда в нем развалилась Гришкина власть.

Теперь город Петра уже на осадном положении. Страна схвачена под уздцы. Тухачевский раскинул 60 000 войска, готова приступ по льду Финского залива.

Не только историю революций, Троцкий с Зиновьевым лучше матросов знают и погоду. Над Кронштадтом ранними утренниками проносятся звенящие клинья журавлей, стаи уток, почувствовавших тугу падающую северную весну. Еще недели три, тронется лед с Финского залива. Тогда крепость станет неприступной, а взбунтовавшиеся корабли легко двинутся на столицу Зиновьева, и она не окажет им никакого сопротивления.

Кто знает, не встанет ли тогда вся разоренная Кремлем крестьянская Россия? По ней уже бродят там и тут повстанческие атаманы. Недаром Максим Горький пророчест-

вовал Зиновьеву, что именно мужики оторвут хитрую зиновьевскую голову.

Троцкий торопит Тухачевского. Уже 7 марта в прохладных морских соленых сумерках, в 6 часов 45 минут, грохнулись с Сестрорецка и Лисьего носа первые батареи коммунистов по кронштадтским мятежным фортам; за ними грохнули по Кронштадту тяжелые орудия Красной Горки, оставшейся верной Кремлю.

Кронштадт принял дуэль в сумеречной тишине ледяного залива ответными ударами со всех фортов. По Красной Горке бьет линейный корабль «Севастополь», да так, что матросская изменница замолчала сразу. А в Кронштадте ревком из 15 человек, только с гораздо меньшей художественностью, повторяет все февральские жесты прогнанного ими же Керенского.

Ревком шлет радио всем, всем, всем! «Итак, грянул первый выстрел. Пусть знает весь мир! Стоя по пояс в братской крови трудящихся, кровавый фельдмаршал Троцкий первый открыл огонь по революционному Кронштадту, восставшему против правительства коммунистов для восстановления подлинной власти советов! Мы победим или погибнем под развалинами Кронштадта, борясь за кровное дело трудового народа! Да здравствует власть советов! Да здравствует Всемирная Социальная Революция!»

А кровавый фельдмаршал Троцкий, деля матросскую ненависть с Зиновьевым, сыпал любителю деспотизма Михаилу Тухачевскому директивы, напоминая, что «расстрелять, как куропаток» надо быстро и не жалея патронов. «Троцкий — Трепов», «Малюта Скуратов» — кричат матросские летучки перманентному революционеру. Троцкий только улыбается под пенсне. Тухачевский уже развертывает решительные боевые действия, чтоб со всей беспощадностью и остротой подавить взрывом террора восстание в корне.

Митингуют матросы, крича: «Пусть нам трудно! Пусть уменьшится выдача продовольствия защитникам фортов, потерпим, только б не было возвращения коммунистов!»

В течение ночи гудит, бьет по мятежной крепости артиллерия Тухачевского. Удары глухо по льду относит к Петрограду, их слышат там и Гришка, и волнующиеся рабочие, взятые в осадное положение. А лед Финского залива уж синее, бухнет, еще две недели — вскрыется, и тью-тью Кронштадт от Троцкого. 7 марта истек час ультиматума, не сдались матросы. Из великокняжеского поезда Тухачевский отдал приказ о штурме.

Ранним утром лед еще чуть розов и синь, двинулись на Кронштадт на штурм фортов крепости цепи войск Тухачевского. Он детально разработал осаду с севера и с юга. Под прикрытием батарей с Сестрорецка и с Красной Горки красноармейцы и курсанты пошли по льду, одетые в белые саваны. Губительным огнем встретили атаку матросы. Поднялась метель, сгущались сумерки, наступала ночь, а комиссары армии Тухачевского все гнали красноармейцев, подпертых сзади цепями курсантов с пулеметами.

Ураганный пулеметный и орудийный огонь открыли в ночи матросы. Взвихривались, взрывались в темноте массы льда и огненные воронки снега. С громовым «ура!» бросились было курсанты на форт № 7, но под матросским огнем смешались, дрогнули, и началось паническое отступление всех войск Тухачевского.

Ночная атака не удалась. Когда стихла метель, утро осветило на огромном ледяном пространстве Финского залива тысячи трупов в белых саванах. Это полная неудача.

В Ораниенбауме взбунтовались красноармейцы, не хотят идти против матросов. И комиссары Разин, Медведев и Сотников с чекистами расстреляли полк через пятого. Тухачевский свел под Кронштадт всю надежду правительства, тут и заградители, по локоть в крестьянской крови от долголетней работы по деревням, и чекисты, и башкирские и киргизские отряды с Волги.

Прямой провод гудит. Тухачевский находит необходимым для поднятия морального состояния войск прислать в войска видных партийцев. И Москва, охваченная волнением, с которым несравнимы даже волнения в годы поражений белыми генералами, прямо с X съезда партии шлет 300 самых знатных, самых сиятельных членов партии укрепить дух войск в наступлении на матросов. Ворошилов, Бубнов, Затонский, Дыбенко, Буденный, кого только нет, они должны влить преданность власти.

Тухачевский отдал новый приказ войскам; на этот раз приказывает идти на штурм не цепями, а, несмотря на губительный огонь, — сомкнутыми колоннами.

П р и к а з ы в а ю:

В ночь с 16 на 17 марта стремительным штурмом овладеть крепостью Кронштадт. При этом: 1) Артиллерийский огонь открыть в 14 часов 16 марта и продолжать его до вечера; 2) Движение колонн Северной группы в 3 часа, Южной группы в 4 часа 17 марта; 3) Северная группа атакует северо-западную часть города, Южная — северо-восточную и юго-западную часть города; 4) Группам

ограничиться лишь занятием наиболее препятствующих движению фортов; 5) Командующему Южной группой назначить общего начальника по руководству войсками в уличных боях в Кронштадте; 6) Командующему Южной группой обратить внимание на своевременное овладение северо-западной частью острова Котлин; 7) Соблюсти полную точность движения колонн; 8) О времени получения сего и о распоряжениях донести.

Командарм-7 Тухачевский.

Все развернулось, как захотел командарм. В 14 часов легкие и тяжелые батареи южного и северного берегов залива открыли ревущий огонь. Мятежники повели ответный огонь с кораблей и фортов. Финский залив огласился несусветным ревом умирающей революционной анархии.

Густой туман мешал корректированию огня. Когда сгустились над заливом сумерки, артиллерийская дуэль меж Тухачевским и матросами смолкла. Ухнули последние тяжелые орудия на берег с чернеющего вдали «Петропавловска», и над заливом наступила отдыхающая тишина.

Матросы поняли: будет приступ. В звенящей сумеречной снеговой тишине с берега зажужжали пропеллеры аэропланов. В сумерках, почти в темноте, поднялись они и пошли на крепость звенящими птицами. Тухачевский приказал вылететь всей эскадре и для морального потрясения мятежников сбросить на Кронштадт бомбы.

Прожекторы кораблей и фортов волновались. То щупали полосами лед перед крепостью, ища цепи врага, то уходили в небо, где гудели в темноте железные птицы Тухачевского. Неожиданные удары-взрывы бомб с аэропланов усилили в крепости нервность защитников и подсказали вероятный решительный штурм.

Бомбы Тухачевского убили несколько мирных жителей и ранили 13-летнего мальчика. Аэропланы улетели, как приказал командарм. Кронштадтцы подняли на ноги всех: штурм ясен, замерли форты крепости, прожекторы нервно щупали снеговое пространство, ракеты, взвиваясь огненными хвостами, гасли, падая на лед.

На берегу под личным руководством красивого, стройного, молодого барственного человека войска готовились, занимая исходное положение. Проходя мимо командарма, одетые в белые саваны, в белой ночи, отвечая на приветствия: «Служим революции!» — эти войска походили на смертников. Впереди каждого полка, как приказал Тухачевский, пошли штурмовые колонны для преодоления препятствий и расчистки дороги атакующим по льду.

Разговоры были прекращены, сигарки давно брошены; команда передавалась шепотом, иногда хлюпала под сапогами вода. Где-то в темноте на берегу была еще слышна напутственная речь запоздавшего члена X съезда партии.

Колонны начали спускаться на лед, и стало слышно, как закрипел снег под тысячными ногами. Этот скрип все еще раздавался, хоть густой туман уже и скрыл в темноте пошедшие в саванах на штурм войска. Вслед за атакующими только черными кочками пошли на лед связисты, устанавливая на льду контрольные телефоны, да на салазках сзади повезли пулеметы, чтоб подгонять наступление.

Тухачевский оставался на берегу.

Стояла ночная тишина Балтийского моря. Под Кронштадтом не раздавалось ни выстрела, только метались, как белые ищущие руки, прожекторы с кораблей.

Так прошел час. Но вот — ухнули кронштадтские орудия, прожекторы нащупали штурмующих, и, ослепляя их светом, заревела ночь картечью, пулеметами, ломая лед, били по колоннам гранаты, взрывая полыньи фонтанами воды.

Встрепенулись крики «ура», все смешалось тяжелым непрекращающимся гулом. Тухачевский ждал в бывшем великокняжеском поезде, сидя у телефона. В соседнем купе — дерево для скрипок, лобзики, станок, струны. Троцкий спал в Кремле, в покоях бывших московских царей, Зиновьев — в особняке в Петрограде.

Телефон командарма стонал, крикал, стекла вагона вздрагивали от ударов ночи. Частью вплавь по уже тающему льду, с криками «ура», обегая полыньи, озверев, лезли курсанты на штурм фортов Кронштадта. С семисаженной бранью, в поту, отстреливались матросы.

Но курсанты все ж брали верх, вбегали уж на валы, пошла рукопашная на фортах «Тотлебен» и «Красноармеец», и оба форта пали под штурмом. Ожесточенный бой пошел уже на улицах города, матросы не сдаются Троцкому живьем, все равно расстреляют. Не видали давно воды Балтийского моря такой жестокой схватки, как эта, — революционной вольницы и насевшего на нее революционного деспотизма.

Зиновьев и Троцкий разбужены; гудят прямые провода: Тухачевский бьет Кронштадт, уже занято полгорода. Тухачевский с командирами групп на берегу залива: из охваченной кровавой баней крепости по льду в Финляндию убегают кронштадтские беженцы. Отбиваются матросы, как звери, знают — от Тухачевского с Троцким пощады не

будет, хоть бы семьям уйти. Озверели и курсанты, заградители, чекисты.

К утру пал последний форт и сдались обезлюдевшие мятежные корабли с перебитой, переколотой у пушек прислугой; бежал в Финляндию ревком, игравший «Парижскую коммуну».

Как грозил Троцкий, ворвавшиеся войска Тухачевского расстреляли тысячи, «как куропаток». Прав был Зиновьев, когда писал матросам с дивана: «Достукались!» Достукалась «краса и гордость революции», о которой в 1917 году Троцкий красно отвечал Керенскому, обеспокоенному матросской вольницей: «Да! Кронштадтцы — анархисты, но, если наступит последний бой за революцию, они будут сражаться на жизнь и смерть!» Они так и сражались... против Троцкого.

В особняке, в честь украшенного уже двумя орденами Красного Знамени подавателя Кронштадта Тухачевского, Зиновьев дал обед, но Тухачевский торопился в Москву. Там в залах Кремля жал ему руки, потряхивая пенсне, улыбаясь и бесконечно остря насчет «куропаток», журналист Троцкий. Малоразговорчив М. Н. Тухачевский, но на расспросы Льва Давидовича рассказал:

— Пять лет на войне, а такого боя не припомню. Это был не бой, а ад. Орудийная стрельба стояла всю ночь такая, что в Ораниенбауме стекла в домах полопались. Матросы как озверелые. Не могу понять, откуда у них злоба такая?

Троцкий улыбнулся, пожал плечами.

— Каждый дом приходилось брать приступом, — прохаживаясь со сгорбленным фельетонистом в кремлевском зале, рассказывал Тухачевский, — задерживает такой домишка целую роту курсантов полчаса, наконец, его возьмут, и что ж вы думаете: около пулемета плавают в крови два-три матроса, уже умирают, а все еще тянутся к револьверу и хрипят: «Мало я вас, сволочей, перестрелял...»

— Мда... не просто это. Но, увы, это уже история, — поблескивает стеклами пенсне предреволюционного и снова острит. Троцкий бесконечно остроумен.

Но для праздных разговоров у Тухачевского с Троцким мало времени. Строится новое Российское государство, правда, неизвестно, какого еще стиля будет фасад, зато фундамент закладывается по-хозяйски, на совесть. Только вот в Тамбовской губернии продолжает бушевать мужицкая вольница. Вся губерния горит восставшим против Кремля.

И Михаил Николаевич Тухачевский принял новое назначение — главнокомандующий против восставших в По-

волжье мужиков. Облечен правом судить и миловать именно тех крестьян, где по именьям знакомых помещиков гостил, бывало, Тухачевский ребенком. Тухачевский выехал на Волгу. «Барин — демон, барин вывернется».

ПОДАВИТЕЛЬ КРЕСТЬЯН

Кронштадтское восстание бушевало на фоне общего все-русского мятежа русских мужиков. В январе — феврале 1921 года мужик жестоко топором «регульнул» систему кремлевского военного коммунизма. Загорелись бунты — в Сибири; Ишимское восстание; по Украине на тачанках понесли повстанцы-атаманы; Северный Кавказ восстал во главе с комбригом Ершовым, но самыми угрожающими мужицкими громами разразилось Поволжье, бушевавшее семь месяцев во главе с легендарным атаманом-мстителем Герасимом Павловичем Антоновым.

Жестоко прокорректировали русские мужики кремлевского Маркса. В Тамбовской губернии стеклась к Антонову стотысячная армия, ее нечем вооружить, но все ж десять тысяч кавалерии и пехоты у Антонова вооружено — и с ними низкорослый человек с карими смышленными глазами создал тамбовскую «государственную пустоту» разино-пугачевской вольницы, пойдя против «камунии».

Ненависть мужика к кремлевской государственной машине была огненна. Тамбовский губпродкомиссар Гольдин, рассылая отбирать хлеб коммунистические отряды, напутствовал их: «Не жалеть никого, даже мать родную!» Заградители не жалели «родную мать», вырывая мужицкий хлеб вооруженными налетами, расстрелом, поджогами сел.

Но чуть-чуть не сломали себе шею о крестьянские вилы женевские эмигранты; их спасли только Ленин и Тухачевский. Махнув на Маркса рукой, Ленин пошел мужику на неожиданные уступки. Женевская головка Кремля с изумлением глядела на Ильича. «Как до мужика дело дойдет, Ильич всегда оппортунист», — усмехался Троцкий.

А 28-летний важный барин М. Н. Тухачевский выехал главнокомандующим в горящую мужицкими восстаниями тамбовскую «государственную пустоту». До него посылаемые на подавление бунтов полки и бригады несли поражения, переходили на сторону мужиков, и мужицкие зарницы казались уже видными из кремлевских окон.

Сам Ильич давал наказ российскому Бонапарту: усмирять безжалостно, но против масс репрессий не применять,

а пытаться отрывать повстанцев от населения, безжалостно уничтожая бунтовщиков.

В Тамбовской губернии гудели набатные колокола в селах: волновалось сермяжное море дубинами, оглоблями, вилами, ружьями-берданками.

Герасим Павлович Антонов разъезжает по селам.

— Не робейте, — кричит, — братцы! Ничего, что Россией правят Троцкие да Петерсы! Не надолго их хватит, измотаются, сукины дети! Намылим мы им веревки! Не справиться Ленину с народом.

Особенно красен Кирсановский уезд, тут давно сам «удалой гуляет», как зовут мужики низкорослого человека с смышленными глазами, бывшего народного учителя Г. П. Антонова, выступившего мстителем «камунии». С ним адъютант «Авдеич» — прапорщик из солдат Авдеев и крестьянский парень — партизан «Тулуп».

Антонов главной нагайкой в две тысячи человек бьет, вырезает без пощады всю «камунию»: чекистов, продовольственников, заградителей. Свыше года передвигается по губернии; то налетит на Тамбов, то пойдет по уездам. Коммунисты пустят слух: поймали, убили Антонова, а с базара приедут мужики, привезут бабам веники, развяжут, а в вениках записки: «Кто веники покупал, тот Антонова видал».

По тамбовским полям ходил вольницей Антонов, за одно лето в Кирсановском уезде ста комиссарам «выдал мандат на тот свет», вырезал зверским мужичьим русским образом.

С прибытием в Тамбов Тухачевский объявил всю губернию на военном положении. И все же мужики не отдавали Антонова; он скрывался по селам, мстил Кремлю и чиновникам комиссара Гольдина.

— Пришел конец нашему терпенью! — кричит на сходах. — Перебьем камунию, освободим Россию! — И жесткое море лаптей, зипунов, вил, дубин, оглобель шумит, идет за Герасимом Павловичем. Уже создан «Союз Трудового Крестьянства», в селах выбраны штабы, вырыты окопы для встречи курсантов Тухачевского.

По дорогам, меж вековых полусухих берез, тянется мужицкое антоновское войско походом на красный Тамбов, подымая лаптями весеннюю пыль. Тут и кавалерия без седел, и пехота с вилами, дубьем, с пулеметами, ружьями. Попутные села встречают восставших колокольным звоном.

Но с барином Тухачевским прибыли московские броневые поезда, бронеавтомобили, пять пехотных и кавалерийских дивизий; железнодорожные батальоны.

До Тухачевского под селом Злотовкой антоновцы столкнулись с коммунистическим Отрядом имени Троцкого — разбили, пропороли вилами брюха курсантам и заградителям. Но теперь под Тамбовом Тухачевский зажал мужичью армию Антонова в треугольнике железных дорог. Только смелым прыжком меж Саратовской и Палашовской железными дорогами, прорвав кольцо, ускользнул на север низкорослый, смысленый Герасим Павлович.

Опять жжет совхозы, налетает на станции, вырезает коммунистов, а когда надо, рассыплет отряды по селам, и снова пашут, молотят антоновцы как ни в чем не бывало, чтоб потом по знаку атамана взяться опять за вилы, за зарытые по огородам ружья и опять идти в налеты, в резню против коммунистической власти.

Жестоко атаманствовал по губернии Антонов, не мягки и братья Матюхины, не дает милости и отдельный атаман Васька-Карась и девка атаманша Маруська, тамбовская Жанна д'Арк.

В распоряжении Тухачевского было до ста тысяч войска, которое не перейдет к мужикам: курсанты, мадьярские конные отряды, чекисты, интернациональные полки, испытанные латышские коммунистические части, с Украины по телеграмме прибыла кавбригада Григория Котовского.

Трудно Антонову и братьям Матюхиным сражаться с стратегией и тактикой красного полководца. Он сжимал их правильными маневрами. Только дым стоял от сгоревших восставших сел. Тут «заветы» Ильича позабыты, военачальники распоряжаются по-своему, села поджигают по-татарски, с четырех концов, и расстреливают массово правых и виноватых. Россию надо усмирять диким, варварским дыханьем.

В резиденцию красного главнокомандующего, Тамбов, рапортовали начальники: после семимесячной борьбы сжали в турий рог мужицкие силы. Прямым проводом Тухачевский доложил Троцкому, что дело огосударствления Тамбовской губернии движется.

Только заросшие крапивой и полынью сельские кладбища с низкими косыми крестами знали, сколько русских, седых, черных, льняных мужицких голов порубил Михаил Тухачевский. Много порубил на полях и заливных лугах по реке Вороне, но разбил антоновцев наголову. Сам Антонов, отступая с последними отрядами, ушел в леса за Ворону.

Мужики скрывали Антонова, проводили из села в село с адъютантами Авдеичем и Тулупом, но курсанты все ж

накрыли антоновскую избу, окружили и выпрыгнувшего из окна Антонова расстреляли.

Кремлевские газеты вышли с заголовком: «Ликвидация банд Антонова»; а вскоре кавбригада Григория Котовского разбила и последнюю банду кузнеца Матюхина, которого собственноручно застрелил Котовский. Тамбовская губерния замолчала. И Михаил Тухачевский вернулся в Москву, после многих побед украшенный еще одной — поволжской. От поволжских мужицких восстаний и их широкого тамбовского разлива осталась всего-навсего заунывная песня:

Что-то солнышко не светит,
Коммунист, взводи курок.
В час последний на рассвете
Расстреляют под шумок.
Ох, доля, неволя,
Могила горька...

Говорят, эту песню пели последние антоновцы, когда вели их расстреливать курсанты Тухачевского.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В 1924 году, будучи 31 года от роду, Тухачевский стал уже членом Реввоенсовета республики. Но когда всемогущего предреввоенсовета Троцкого выбросил на Принцевы острова генеральный секретарь партии Сталин, карьера Тухачевского дала крен.

Тухачевского отправили в жаркий Туркестан командовать округом; потом сняли со строевых должностей; он занял почетное, молчаливое место начальника Академии Генерального штаба. Но потом звезда снова блеснула полным блеском.

С 1930 года Тухачевский избран в областной комитет коммунистической партии Ленинградской области и принял в командование ответственный Западный военный округ, которым когда-то командовал великий князь. Теперь у Сталина Тухачевский — «товарищ военного министра», заместитель Клима Ворошилова.

В чемпионате советских полководцев у Тухачевского нет соперников по влиянию и военной славе. За исключением разве таинственной «черной маски».

ИЗ ВОРОТ КРЕМЛЯ

Над Москвой — светло-голубые облака. Горят купола полузаброшенных церквей. Вздываются остовы недостроенных конструктивных домов. На древней Красной площади, где двести лет назад Петр Великий собственноручно рубил головы мятежным стрельцам, наркомвоен Клим Ворошилов принимает парад красных войск.

На замкнутой караулами громадной площади в каре сведена молодцеватая пехота в стрелецких шишаках. Волнуется кавалерия. Приготовились оркестры. Но вот подана команда. Замерли войска. И глаза площади, не отрываясь, глядят на ворота Кремля.

Из этих ворот выезжала колымага Ивана Грозного, выезжал верховой, с боярами, Борис Годунов, выезжала карета разорванного каляевской бомбой великого князя Сергея. Древние ворота Кремля растворяются медленно. На горячем жеребце медленно, совершенно один выезжает наркомвоен Ворошилов.

И вдруг, как бешеные, со всех сторон загремели серебряные фанфары. С фанфарами, тушами оркестров смешались крики.

Кряжистый, с скуластым лицом, крепко сидит на играющем коне бывший слесарь Клим Ворошилов. Под музыку навстречу ему едут красные командиры с рапортами. Красная Армия бурно приветствует своего вождя.

А девять лет назад на эту же площадь выезжал Троцкий. Выезжал на автомобиле.

Троцкисты любят анекдот: «Когда из кремлевских ворот показывался Троцкий, все говорили: «Глядите, глядите, Троцкий, Троцкий!» Теперь, когда из ворот выезжает Ворошилов, все говорят: «Глядите, глядите, какая лошадь, нет, каккая лошадь!»

Но Троцкий в Турции, и Ворошилова едва ли выбьешь из седла анекдотом.

После Троцкого выезжал и другой маршал революции, наркомвоен Михаил Фрунзе. Но в 1925 году под ножом кремлевского хирурга он умер от наркоза. На хирургиче-

ский стол недомогающего Фрунзе уговорило лечь политбюро. И после этой кремлевской операции поползли жуткие слухи, напоминающие времена Борджиа. Говорили, что Фрунзе замышлял переворот, что больное сердце не могло выдержать наркоза. И как бы в подтверждение слухов, жена Фрунзе покончила самоубийством.

После смерти Фрунзе выехал близкий Сталину человек — Климентий Ефремович Ворошилов — русский, народный, низовой. И ладно скроен, и крепко шит. Ширококостный, прочный, волосы с проседью, грубоватое, открытое лицо в тяжелых морщинах. Он — силен. Глядит чуть свысока и подозрительно, украшенный четырьмя орденами Красного Знамени, бывший крановщик Луганского завода. Он умеет повелевать и хорошо знает, что такое большая государственная власть.

Если Сталин — это хитрость и талант макиавеллиевских комбинаций, то Ворошилов весь — безудержность и русская бесшабашность. Сотрудники Ворошилова, бывшие генералы и полковники, говорят: «Если Климентий Ефремович вспылит — ураган!» И Ворошилов сам сознается, что «излишне горяч». Но именно эта «горячность» и выбросила рабочего-самоучку на верх государственной лестницы, сделав военным министром. Кроме бунтарского темперамента, у военного министра России нет ничего.

Простому уму Ворошилова чужды теории и схемы. Когда на заседании наркомфина экономисты говорят о «контрольных цифрах» и «динамическом коэффициенте», Ворошилов только потряхивает крепкой головой и, усмехаясь в стриженные по-европейски усы, шепчет на ухо соседу:

— Ди-на-ми-чес-кий коэффициент! Вот пойми! Без водки не разберешься...

Ничего не поделаешь. Царская Россия не научила ничему военного министра СССР. Ворошилов знал только два года ученья в сельской школе. Зато царизм выковал в нем крепкую волю к сопротивлению. Воля, даже преувеличенная воля к большой власти, есть у выросшего в донских степях Ворошилова. Недаром о военном министре острят москвичи, что мировая история делится на два периода: один от доисторической эпохи до Климентия Ефремовича; другой от Климентия Ефремовича и далее... И Москва, шутя, называет Ворошилова Климом I-м.

Ни интеллигентности, ни наследственной культуры у Ворошилова нет. Рабочие Луганска рассказывают, что в подпольной работе, которую вел среди них в 900-х годах этот отчаянный машинист крана, у Ворошилова на все бы-

ла только одна поговорка: «Черт возьми, что мы будем смотреть!»

В этом — весь Ворошилов. Этот донской «большевик по темпераменту» очертя голову с юности бросился в водоворот революционного движения. И под этой водой налетел на Ленина. «Черт возьми, что мы будем смотреть!» История России в октябре 1917 года высказалась за Ленина и за Ворошилова. И, в детстве ходившего по миру просить милостыню, Ворошилова Октябрь вынес на верх государственной карьеры, предложив кресло военного министра России.

ВОЛОДЬКА

Среди советского генералитета, где с царскими генералами и полковниками Каменевым, Сытиным, Вацетисом, Верховским причудливо смешались вахмистр Буденный, портной Щаденко, гвардии поручик аристократ Тухачевский, солдат Криворучко, парикмахер Хвесин, «великий неизвестный» псевдоним Блюхер, — у Клима Ворошилова перед всеми есть преимущество, давшее ему пост главы Красной Армии.

В жилах Ворошилова не какая-нибудь «голубая», а благородная «красная» кровь. Он — «потомственный пролетарий». И ни у кого из советских полководцев нет генеалогического древа такой пролетарской чистоты, как у Ворошилова.

Ворошилов родился в 1881 году. Его отец, крестьянин-шахтер, такого же, как сын, буйного нрава, нигде не уживался, шляясь с шахты на шахту, вел «кочевую» жизнь. Ворошилов с детства узнал нужду и нищету. Ходил с сестрой просить милостыню; на шахтах за гривенник в день мальчишкой собирал колчедан; был пастухом. И только случайное знакомство с будущим членом 1-й Государственной думы, учителем Рыжковым, вывело мальчика из темноты.

Рыжков определил Ворошилова в школу, потом на металлургический завод в Луганск, в чугунолитейный цех, откуда и пошла революционная карьера Ворошилова.

Упорный, бунтарский Ворошилов пошел путем боевика, подпольщика-революционера. «Черт возьми, что мы будем смотреть!» Уж к первой революции 1905 года он достает рабочим оружие, организует боевые дружины и в центре Донбасса, в Луганске, выходит в провинциальные рабочие вожди.

В 1903 году, когда еще только начинался раскол между ленинским и плехановским крыльями партии, крановщик Ворошилов, иль Володька, как звали его в подполье, уже заявлял рабочим:

— Я, конечно, товарищи, с ленинцами!

В смазных сапогах, в кепке «шесть листов одна заклепка», в косоворотке под дешевым спинжаком, Ворошилов яркий, нутряной оратор, любимец рабочих на массовках, Он — «свой», кровный, низовой. Он привез в Луганск 20 револьверов системы «Смит и Вессон» и в коробках из-под дамских платьев доставил браунинги, маузеры и карабины для вооруженной борьбы.

«Черт возьми, что мы будем смотреть! — кричал на массовках ленинец Володька. — Если наседка имеет, товарищи, яйцо, а в яйце зародышб то при нормальных условиях из яйца обязательно вылупится цыпленок! А зародыш революции налицо! И товарищ Ленин говорит, что надо учиться, товарищи, руководить массами! Правда, нам и револьвер, и булыжник, и болт, и гайка — все хлеб! Но не забывай, товарищи, что во время революции массы будут вооружены! И тогда мы должны будем иметь своих командиров, товарищи!» — орет буйный Володька.

Один из тогдашних слушателей, рабочий Мальцев, вспоминает, что на массовке как-то крикнул ему.

— Володька, мы тебя назначим красным генералом!

— Далеко хватил, — ответил Ворошилов. — Какой я, к черту, генерал! Я в этом ничего не смыслю!

Но через 15 лет Володька стал-таки «красным генералом от рабочих», как назвал его Сталин в парадной речи к пятидесятилетию юбилею военного министра.

Тогда этот головокружительный пост не снился. Володька был занят меньшими делами. По его приказу рабочие сожгли луганскую тюрьму. Ворошилов был арестован, но ненадолго; рабочие буквально силой вырвали Володьку из тюрьмы, грозя забастовкой в случае, если не освободят Ворошилова. В революцию 1905 года он стал председателем совета рабочих, уполномоченных города Луганска.

А вскоре, в 1906 году, ничего, кроме Донбасса, завода, степей и шахт, не выдавший провинциал-рабочий Ворошилов отправился в первое далекое путешествие, в Санкт-Петербург, на съезд партии.

«Это мое самое сильное впечатление в жизни», — вспоминает сейчас военный министр.

В Петербурге Ворошилов впервые увидел Ленина и был ошеломлен. Известно, что Ленин производил на людей сильное впечатление. И «ошеломительное» петербургское впечатление Ворошилова, большевика по темпераменту, провинциала-рабочего, разумеется, закономерно.

«Все в нем мне казалось необыкновенным: и его манера говорить, и простота, и, главное, — вспоминает Ворошилов, — пронизывающие и сверлящие душу глаза».

Встреча оказалась сильной вехой в жизни Ворошилова. Но кроме этой встречи кряжистого, сладко любящего жизнь, и баб, и водочку, и песни, и пляски молодого крановщика ошеломили и потрясли блеск, дворцы, наряды, магазины, жизнь царского Петербурга.

— В том же году Ворошилов двинулся дальше, на съезд в Стокгольм. А в 1907 году — в Лондон, где партия на съезде раскололась на большевиков и меньшевиков и где донской крановщик Володька стал уже ярым большевиком.

И после лондонского съезда в родной Луганск Ворошилов привез оружие, хоть уж спадали волны первой революции. Но в Луганске бывшего председателя Совета, буйного Володьку уже ждала полиция.

Рабочие прятали, переводили Ворошилова от одного подпольщика к другому. Носили скрывавшемуся в зарослях реки Володьке любимую «водочку» и «закусон». Но все ж полиция схватила Ворошилова, и в 1908 году Володька пошел на три года на север, в Мезенскую ссылку.

На вокзале провожавшим его Володька кричал.

— Не падай духом, товарищи! Мы ще вернемся! Придем! Держись, покажем ще им! Черт возьми, чего там смотреть!

И ничего не скажешь: через 9 лет Володька пришел и начал «показывать».

ОКТАБРЬ

Не классовый, но непримиримый враг Ворошилова Троцкий характеризует военного министра России со всей убийственностью для марксиста: Ворошилов и не марксист, и не интернационалист, а национал-социалист, «крайний революционный демократ из рабочих» и «по всем повадкам и вкусам всегда гораздо больше напоминал х о з я й ч и к а, чем пролетария».

В этой характеристике не все неверно. Не совсем верно, что Ворошилов — демократ. Ворошилов — русский национальный бунтарь, а бунтарь не часто равен демократу. Но что Ворошилов н а ц и о н а л е н, это бесспорно. Да и откуда и как ему национальным не быть? Ворошилов воспитался не в женевских «кафешках» в интернациональной компании Троцкого, а в глуши русской провинции, в дон-

ских степях, где было много скверны, но была и жизнь подлинной России.

От этой низовой, буйной, народной России — Ворошилов, и от нее ему никуда не уйти, несмотря на всю фразеологию Коминтерна и полный мундир интернационализма.

Троцкий упрекает Ворошилова в «патриотизме» во время войны и в «поддержке Милюкова — Гучкова слева». Как во всяком памфлете, и здесь палка несколько перегнута, но и это отчасти верно и законно для Ворошилова, переживавшего войну не из Америки, как Троцкий, а стоя у станка Петербургского оружейного завода, работая по 12 часов в сутки на оборону. Разница бытия всегда диктует и разницу сознания.

Но бунт, стихийность, жажда свалить «богачей» для себя, для рабочего народа, — вот что жило в этом по-звериному любящем жизнь металлисте. И когда в 1917 году петербургские улицы заволновались сначала голодными бунтами, а через пять дней страна вспыхнула страшной стихией русского разрушенья, Ворошилов сразу же схватился за этот рычаг, опрокидывающий вместе с «богачами» и «буржуями» в пропасть всю страну, всю Россию. «Черт возьми, чего там смотреть!»

В большевистском послужном списке нынешнего военного министра стоит: «... в дни февраля в Петербурге вывел на улицу лейб-гвардии Измайловский полк». Конечно, Ворошилову не мерещились тогда еще перспективы октября, их не было и у ехавшего из Америки Троцкого, они были только у торопившегося в Россию из Швейцарии Ленина, человека с «пронизывающими и сверлящими душу глазами».

Ухватившийся за сворачивающий всю русскую историю рычаг металлист Ворошилов весной 1917 года только чувствовал, что в этом ветре закудахтала, кажется, та самая «наседка», под которой «при нормальных условиях» из яйца обязательно вылупится цыпленок. Прогноз слесаря исторически оказался правильным. Он, этот русский «цыпленок», вылупился.

Ворошилов поплыл, закружился в революционном водовороте. Он чувствовал, что это и есть единственный момент в его жизни и в истории государства, когда, держась хваткой, мозолистой рукой за рычаг революции, можно вымахнуть вместе со своим классом на вершину жизни. Рискованно? Страшно? Но — «черт возьми, чего там смотреть!».

Силы, темперамента, животного здоровья у этого слесаря не занимать стать. И в водовороте революции Ворошилов сразу же стал выплывать в партии на поверхность.

Он вывел измайловцев. Он член российского конвента — всероссийского совета рабочих и солдатских депутатов. Он встречается Ленина на Финляндском вокзале с букетом цветов. И очертя голову, зажмурив глаза, бросается сразу же за ним, свернувшем партию на путь октября, на взрыв России.

— Нам не надо ни парламентарной республики, ни буржуазной демократии, вся власть Советам! — кричал слегка картавящий на «р» Ленин с балкона дворца Кшесинской.

Этот путь революционного максимализма для Ленина и Ворошилова вполне законен. Они оба братья одной стихии. Только у человека с полутатарским, полурусским лицом, Ленина, эта «русская сумасшедшина» запакована в ученые чемоданы, а у необразованного слесаря в «черт возьми, чего там смотреть!».

После октября партия бросила Ворошилова на работу в террор ВЧК. Но глава ВЧК Дзержинский, отпрыск старого польского дворянского рода, с первого взгляда на Ворошилова понял, что для «его тонкого дела» этот металлист негоден.

Ворошилов откровенно завидовал Дзержинскому: «Вот это да, это настоящий организатор, мать честна! Вот кому я завидую!»

Но не той кости, не той психической тонкости Ворошилов. И партия убрала его от Дзержинского.

Ворошилов попробовал было стать и первым большевистским градоначальником Петербурга, города, ошеломившего и очаровавшего юного провинциала-слесаря. Он стал во главе Комитета по охране Петербурга, но и тут ничего не вышло. И тогда партия кинула Ворошилова на родную землю, в родные степи на Дон, организовывать первые красногвардейские отряды, на штыках которых прочно держался бы ленинский Совнарком.

ВОЖДЬ ПАРТИЗАН

Тут, в центре Донбасса, в родном Луганске, Ворошилова хорошо знали рабочие. Появившемуся среди «своих» уж не Володьке, а члену Всероссийского съезда советов нетрудно было начать организацию Красной гвардии.

Это было начало 1918 года. Отряды Красной гвардии росли под командой таких же «максималистских» рабочих, шахтеров, портных, солдат. Но в это «мексиканское» время

русской революции, когда вся страна была в вооруженной борьбе, на Украину пришла новая сила.

Лавиной стальных касок полилась немецкая армия. По горящей костром революции Украине немецкая армия двинулась на юго-восток, к югу, к казакам атамана Краснова. Немцы отрезали Украину от красной Великодержавии, перехватив главную железнодорожную магистраль. Красная гвардия под их напором, беспорядочно кучась, отступала к Дону. Штаб Красной гвардии бежал. И ей грозила полная гибель.

В этот момент на станции Родаково под Луганском собрались начальники отрядов Красной гвардии на решающее заседание. В шуме, в реве голосов здесь решалась карьера красного маршала Ворошилова.

Шел вопрос: кому командовать всеми красногвардейскими отрядами против наступающих немцев.

— Клим! — ревело собрание. — Командуй! Бери, Клим!

— Да какой я военный! — крыл любитель крепкого слова Ворошилов. — Надо военного товарища!

Но собрание партизан ревело свое. Тут большинство рабочих — луганские, они крутого и горячего Володьку знали с десяток лет, верили. И когда друг-приятель, авантюрный прапорщик Руднев заявил:

— Не валяй дурака, Клим! Не дрейфь! Командуй, а я у тебя буду начальником штаба! — Ворошилов крутнул крепкой головой, махнул рукой:

— Ладно! Была не была! Беру командование! Черта там смотреть, буду, так сказать, вашим «красным генералом». Только знай, у меня разговор короткий. Не боишься умирать — иди, боишься — к черту!

Ворошилов встал во главе отрядов, назвав их 5-й советской армией. На станции Родаково началась карьера красного маршала. Но это нелегкое начало.

Сбродные, полуанархические отряды Ворошилова дали первый бой немецким войскам под Родаковым. Боевое крещение стало пораженьем. Зажатая стальными касками и обойденная немецкой артиллерией, разбитая ворошиловская гвардия бросилась в отступление. Но куда отступать? Отступать некуда. С Дону казаки уж выбили красных. И красногвардейцы между казаками и немцами оказались в жестоких клещах.

В вагоне на заседанье «штаба» Ворошилов бушевал, стучал кулаком по карте, приказывал Рудневу разрабатывать отчаянный план прорыва на Волгу, к красным, в Царицын.

— Раз все равно тут от немцев труба, надо прорываться! — кричал на колеблющегося Руднева Ворошилов.

— Да ты пойми, Клим, это больше 100 верст! Нас немцы с казаками в клещи возьмут, от нас званья не останется!

— А куда деваться, черт подери?! Приказываю категорически: валяй на Царицын!

И под трехэтажные ругательства буйного металлиста-командира Руднев разработал план рискованного предприятия — прорыва через донские степи на Волгу, в еще красный Царицын, по оставшемуся красным узкому горлу железной дороги.

Ворошилов повел красногвардейцев. Отбиваясь то от немцев, то от казаков, исправляя разрушенные мосты, медленно продиралась армия Ворошилова, неся большие потери. Настроение красногвардейцев падало, надежды на прорыв таяли. Передают, что во время взрывов паники Ворошилов появлялся с маузером среди войск, крича:

— Кто паникерствует, кто уходит?! Сейчас застрелю!

Долгий, жестокий бой с казаками разыгрался под станцией Морозовской, казаки окружили Ворошилова кольцом. Опытный кавалерист атаман Краснов на прорывавшихся красных бросил сильные казацкие массы. Это был упорный бой. Но Ворошилов все же вырвался из кольца и, отбиваясь, донскими степями уходил дальше, к Царицыну.

Лето стояло знойное, душное. Степь дышала раскаленным жаром. Но хоть с вдребезги растрепанными и разбитыми остатками отрядов, а Ворошилов в конце лета подошел наконец к Волге, к Царицыну.

Здесь, в городе, ставшем большевистским лагерем, пробившегося командарма ждала дальнейшая военная карьера. Ему подчинились все красные войска Царицына в 50 000 штыков и сабель. И Ворошилов, приняв командование, стал во главе обороны Царицына.

«КРАСНЫЙ ВЕРДЕН»

Защита «Красного Вердена» — Царицына, это второй момент популярности Ворошилова. Осенью 1918 года, когда у сжимаемого со всех сторон белыми армиями Московского Кремля ползла власть из рук, в степях вокруг этого города разыгралась ожесточенная кровавая борьба. Для Кремля Царицын — вопрос жизни и смерти. Он не только «ключ к хлебу», он последняя надежда на то, чтобы не соединились белые фронты адмирала Колчака и генерала Деникина. Царицын — единственный вбитый в белых красный клин, и удержать его Кремлю было нужно во что бы то ни стало.

За судьбой Царицына в Москве, в Кремле Ленин и Совнарком следили с напряжением: отобьется ль Ворошилов от казацких войск?

В Царицын, в «красную надежду», привести войска в состоянии железной твердости, Совнарком недаром отправил чуть сутулого, невзрачного человека с черными висячими усами и лицом, тронутым оспой, — Сталина.

Перед отъездом Сталин словно устало сказал в заседании Совнаркома:

— Меня давно превращают в специалиста по чистке конюшен военного ведомства.

Это сказано по адресу непримиримого врага, всесильного предреввоенсовета Троцкого. На наиболее опасных, наиболее страшных для революции участках фронтов появлялась фигура этого «твердокаменного большевика». Появлялся на таких же участках и Троцкий. Одними мерами — беспощадной жестокостью и кровью — укрепляли они красный фронт. Разница была только в том, что хороший оратор-демагог Троцкий вместе с расстрелами выступал еще на митингах перед массами с речами, полными террористическо-канцелярской истерики, позы и фраз, долженствующих «перейти в историю». Не умеющий же ни красно говорить, ни писать Сталин шел кратчайшим путем Малюты Скуратова — расстрелами в полном молчанье. Но эти вожди уже ненавидели друг друга, хоть и боролись еще в потемках.

Прощаясь с Лениным, на его беспокойства о возможности восстанья левых эсеров Сталин сказал также меланхолично:

— Владимир Ильич, будьте уверены, что касается этих истеричных, рука не дрогнет! С врагами расправимся повражески! — И, пожав руку, уехал в Царицын.

На Волге, в пыльном Царицыне, ставшем волей судьбы, по выраженью разухабистого бунтарского большевика, его защитника Клима Ворошилова, «Красным Верденем», в эту осень пульс революции бился как при сердечном припадке.

Еще недавно в веселом саду городского театра гремела музыка и на сцене играли актеры. Теперь город стоял как сплошной военный лагерь. Государственные учреждения, театр, кино, особняки, все — под лазареты. Тюрьмы переполнены заключенными. На улицах и перекрестках стоят красноармейские патрули; останавливают всякого, проверяют документы. Фронт под городом растянулся на 60 километров. Там окопы полного профиля, проволочные заграждения. На Волге плавают 2 крейсера, миноносец и вооруженный пароход с орудиями и двадцатью пулеметами.

Крепкой подковой охватили Царицын войска атамана Краснова под командой лихих казацких генералов Фицхеллаурова и Мамонтова. Бьют правильными маневрами, все сжимая подкову, упершуются концами в широко разлившуюся Волгу. Белые знают: падение Царицына — это путь к Москве и победе.

Улицы Царицына, как улицы осажденной крепости.

В центре города — каменный трехэтажный особняк бывшего горчичного фабриканта, там — реввоенсовет 10-й армии. Жуткий обывателю дом. В нем засели Ворошилов, Сталин, гонящие всех на фронт из вымершего города. Отсюда прямой провод в Москву. Телеграф мерно выстукивает пишущуюся кровью русскую историю. Говорят, Сталин не спит ночей, все взял в железные руки и беспощадно ломает.

Вместе со Сталиным в особняке глава ЧК Червяков с заплечных дел мастерами. Арестованных отвозят на Волгу. Посреди серебряной широкой реки на якоре — длинная черная баржа. Тут по ордерам Червякова принимают, расстреливают и спускают на волжское дно. Это обещавший большевистской революции «отдать всю свою кровь каплю за каплей» Сталин пока по ведрам отдает чужую: это он «чистит конюшню», считая навозом живых людей. Имя Сталина в этой замершей провинциальной тишине произносится потихоньку.

В полуразграбленном, пустынном особняке горчичного фабриканта командарм-10 Клим Ворошилов живет с женой Екатериной Давыдовной. Здесь полутемная спальня. Екатерина Давыдовна нарядная, изящная женщина. Она пролетает по городу на военном автомобиле в каракулевом манто. И многие чекисты косятся на занимающуюся туалетами в этом городе жену командарма.

В третьем этаже особняка — Реввоенсовет, политкомиссары, командиры. Вокруг Ворошилова — ни в Бога, ни в черта не верящая партизанщина: портной Ефим Щаденко, сын соборного протоиерея Минин, начштаба Руднев, начальник всей красной артиллерии фейерверкер Кулик, золотых дел мастер Магидов, солдаты и рабочие. Здесь на карте цветными шерстинками отмечают колебания фронта. Отсюда сыплют приказы. Иногда тут стоит мат, ругань, крики. В бурке, в кожаной куртке, перерезанной ремнями, с маузером на боку, кричит тут кряжистый слесарь Ворошилов.

— Рухимович! Почему Саратов не шлет чресседельников и постромок?! «Дед» Кулик, где панорамные прицелы, недоданные по прежним нарядам?! Спишь, ядрена мать! — Командарм шумит, все знают: «Клим — ураган!»

— Ефим! — орет Щаденке. — Закручивай срочно в Москву, чтоб гнали снаряды к орудиям и патроны, патроны! Чего там сидит наш Живодер? Только обещают, мать-перемать... — жестоко погибает любитель изящной словесности металлист-командарм, окруженный партизанщиной из портных, шахтеров, столяров, солдат, красных казаков, рабочих.

Ночь. В зале горчичного фабриканта огонь. Заседает Реввоенсовет. Белые насаждают. Положение пахнет катастрофой. А из Москвы вместо требуемых снарядов Троцкий прислал партизанам суровую телеграмму и царского генерала Носовича.

Генерала Носовича Ворошилов отдал чекисту Червякову, и тот отправил его на Волгу на темнеющую баржу.

— Конечно! — встряхивая головой, загораясь вспыльчивостью и гневом, в ночном заседании орет Ворошилов. — Мы — партизаны! В училищах и академиях не обучались! Не давали нам гады обучаться, за это сейчас многим и расплачиваемся. Но мы все — большевики, а не наемная сволочь. Мы своими мозолями и без «военспецов» от Троцкого — не отдадим Царицын!

Молчаливый, потягивающий всегдашнюю трубку Сталин черкнул накриво на телеграмме Троцкого: «Не принимать во внимание». И дальше заседает Реввоенсовет, шумит, гомонится Ворошилов.

— Нам против Мамонтова конницу надо надежную бросить. А где ее взять? Думенко — мужик боевой, да хитрый и не наш. Если от Мамонтова туго придется, он и сбежать может. Неспроста прислал ему письмо генерал Краснов, обещает прощение, если перейдет к белым. Ты, Ефим, за Думенко в оба гляди. Ему дай в помощь испытанных коммунистов. Есть там у него смелый, рассудительный мужик, Буденный... Надо присмотреться, он нам может подойти, тогда и выдвинем.

Сумбурен горяч командарм-10. Тут не регулярная армия, а котел революции. Не стратегией и тактикой, а бунтовским напором сопротивляется казацким генералам Ворошилов.

Но в Московском Кремле Ленин обеспокоен: выдержат ли ворошиловский «народный напор» стратегию белых генералов? Проложил ли уж невзрачный товарищ Коба кровавую железную штангу в этом вздымающемся тесте партизанщины?

В третьем этаже горчичного дома, на широкой постели красного дерева спит жена командарма, элегантная женщина Екатерина Давыдовна. А в штабе все еще дым сигарок, плевки, шум и мат.

— Чего вы мне нос задираете? Кто я такой? Рядовой большевик, такими, как я, держится и растет вся наша ленинская партия. Какие там, в конце концов, «мы — ворошиловцы», — шумит бунтарь-командарм-металлист. Но что греха таить, уж чувствует себя крепко «красным генералом». Недаром не подчиняется директивам командующего фронтом, бывшего генерала Сытина.

И Сталин, сотоварищ еще по подпольной работе в Баку, тиховато говорит в заседании, посасывая трубку:

— Ты у нас, Клим, красный генерал от рабочих.

— Брось, Сталин, очки втирать...

Но, конечно, Ворошилов — боевой генерал. Хоть в стратегии и тактике не Бог весть уж как разбирается бывший слесарь, зато в бою в грязь лицом не ударит. Даже белые пишут о Ворошилове в «Донской волне»: «Надо отдать справедливость, если бывший слесарь Ворошилов и не стратег в общепринятом смысле этого слова, но во всяком случае ему нельзя отказать в способности к упорному сопротивленью и, так сказать, к «ударной тактике».

Вот именно эта русейшая «ударная тактика» сделала из Ворошилова подлинного народного бунтарского вождя, понятного каждому мужику, рабочему, красноармейцу.

— Он, Клим-то наш, он герой! Под Лихой с немцем схватился за мое-мое!

Ворошилов во многих боях показал присутствие духа. Бросался и сам со своими бунтарями на пулеметы. Вокруг него преданная командарму 50-тысячная партизанская красная вольница. Но эта буйная, отбивающая атаки казаков, никому, кроме Ворошилова, не подчиняющаяся царицынская вольница стала поперек горла и командованию Южного фронта, и предреввоенсовета Троцкому. На Ворошилова ежедневные жалобы главкома и фронтового командования: Ворошилов не исполняет приказаний, Ворошилов не отвечает на запросы, Ворошилов присланных Троцким генералов сажает на баржу. А телеграммы Троцкого рвет Сталин.

И вот вместе с борьбой на фронтах закипела борьба за фронтом. Борьба Троцкого со Сталиным — Ворошиловым.

БОРЬБА С ТРОЦКИМ

Троцкий сразу понял, что в Царицыне куется ему оппозиция недолюбливающих журналиста национал-бунтарей. Об оппозиции донесли предреввоенсовета наушники и осведомители. «Унтер-офицерская оппозиция», — усмех-

нувшись, назвал царицынцев Троцкий. И началась война телеграмм.

Одну за другой слал Троцкий в ЦК и Ленину: «Категорически настаиваю на отзывании Сталина. На Царицынском фронте неблагополучно, несмотря на избыток сил. Ворошилов может командовать полком, но не армией в пятьдесят тысяч человек. Я обязал их дважды в день представлять оперативные и разведывательные сводки. Если завтра не будет это выполнено, я отдам Ворошилова под суд и объявлю об этом в приказе по армии».

Уже казалось, что Троцкий выиграл бой: Ленин вызвал Сталина из Царицына. А на разнос Ворошилова к волжскому городу, похожему на военный лагерь, двинулся «поезд предреввоенсовета», в салон-вагоне которого Троцкий писал приказы, фельетоны, воззвания, статьи.

Острый, желчный журналист, окруженный штабом комиссаров и бывших офицеров, чувствовал прекрасно эту восточную борьбу, в которую пошел против него посасывающий трубку, невзрачный Коба. Вокруг Ворошилова против Троцкого Сталин собрал окружение из партизан, рабочих, портных, солдат, мужиков, у которых Троцкий не в чести.

— Мне нужен надежный левый фланг Южного фронта! И я добьюсь его какой угодно ценой! — как всегда свысока и надменно кипятился в салон-вагоне Троцкий перед главным Вацетисом и хитрейшим председателем ВЦИКа Свердловым. Но Свердлов и Вацетис прекрасно понимают, что дело не в одном «левом фланге Южного фронта».

В обтрепанной солдатской шинели, в кепке, в высоких сапогах, Сталин на одной из станций вылез из встречного, шедшего из Царицына, поезда и пошел к вагону Троцкого легкой походкой лезгина. Этот человек вошел тихо и даже любезно.

Троцкий, приняв Сталина, заговорил о «левом фланге Южного фронта». Сталин скромно и не выражал никакого непокорства. Только раз перебил всемогущего предреввоенсовета.

— Но неужели ж, товарищ Троцкий, вы хотите их всех выгнать? Бросьте, они хорошие ребята.

— Эти хорошие ребята, — разгорячился Троцкий, губят революцию, которая не может ждать, пока они выйдут из ребяческого возраста! Я не знаю, кого я выгоню, но кого-то выгоню! Я требую одного, товарищ Сталин: включить Царицын в Советскую Россию! Поняли? Мне нужен надежный фланг Южного фронта!

Щуря желтые глаза, посасывая трубку, Сталин вышел из купе всемогущего предреввоенсовета. Было даже непонятно, зачем приходил этот хитрый крепкий человек, которого Троцкий выбросил из Царицына в Москву.

— А через несколько часов Троцкий подъехал к осажденному «Красному Вердену».

Ворошилов не встретил предреввоенсовета на вокзале. Занят. Вместо него прибыл хитрый и отчаянный политкомиссар, портной Щаденко. Наушники доносили: в особняке горчичного фабриканта не только куется ненависть лично против Троцкого, но вообще царит «русский дух» с выпивоном, с бабами и даже мало-мало тянет антисемитизмом в сторону Левы. Конечно, они тоже марксисты, ленинцы, большевики, но так — чуть-чуть.

Ворошилов принял Троцкого в комнате заседаний. Перед самым приездом вспылил, по-мужичьи ругался матерными словами, что посмел бывший меньшевик, заграничный эмигрант Троцкий, и Россию-то выдавший без году неделю, приехать к нему, потомственному пролетарию Донбасса, грозит вымести большой метлой коренных пролетариев и заменить их царскими генералами.

Объяснение деловое. Троцкий с секретарем, Ворошилов с начальником штаба, Ворошилов в желтой кожаной куртке, перерезанной ремнями, с маузером на боку, бурку скинул, бросил на стул — он только что приехал с северного участка своего фронта. Троцкий в защитной форме.

Когда сели, Троцкий заговорил, протирая платком стекла пенсне:

— Товарищ Ворошилов, прежде всего я считаю себя как предреввоенсовета обязанным поставить вам кардинальный вопрос.

— Пожалуйста. — Ворошилов в переносье свел брови, это признак: сейчас вспыхнет и — ураган!

— Считаете ли вы нужным во имя победы революции исполнять неукоснительно все приказы комфронта и главного командования?

— Я считаю нужным исполнять те приказы, которые признаю правильными! — И заиграл пальцами заложенных за ремни рук.

Этого не ожидал даже Троцкий. Это уж слишком. «Вот она откуда идет, сталинская интрига. Но он ее вырвет сейчас с корнем!»

— Товарищ Ворошилов, как предреввоенсовета, ответственный за состояние всех фронтов республики, заявляю вам, если вы не обяжетесь точно и безусловно выполнять

все приказы и оперативные задания, я вас немедленно отправлю под конвоем в Москву для предания суду ревтрибунала!

— Что! — вскрикнул Ворошилов и, встав, отбросил упавший стул. — Я, товарищ Троцкий, не умею дипломатничать! Я по-своему, напрямки! Оставляясь командующим царицынской армии, буду исполнять все приказы, которые по обстановке будут правильными! Я думаю, что мне тут виднее, чем вам там с горки иль главкому Вацетису! Вы прислали генерала, белогвардейца, а где этот Носович теперь, я вас спрашиваю? Он сбежал к белым через фронт, после того как по вашему приказу мы его не расстреляли, а освободили с баржи! А что касается трибунала — сделайте милость! Не мне, рабочему-ленинцу — да ленинцу-то постарше вас! — бояться трибунала! Сам работал в Чеке, пусть судит!

Ворошилов взбешен.

Но взбешен и Троцкий.

— Я сказал свое, как знаете. Время партизанщины отжило, если мы будем дальше становиться на эту рельсу, то с нее сойдет поезд революции. А что касается побега Носовича, то уверены ль вы, что он не оттого бежал к белым, что вы вместо работы посадили его в Чеку? У Сытина он не бегал. Вы знаете, сколько у нас в армии военспецов? 30 000! Что ж, вы хотите всех их заменить партизанами?

— Я знаю, сколько со мной батрацких рук в Донбассе продиралось сквозь осиное гнездо кулацко-казацких армий! Я знаю, сколько величайшего геройства проявили эти простые и необученные военным премудростям бойцы и командиры! И знаю еще то, что под командой ваших царских генералов и полковников они в бой не пойдут!

— А это мы посмотрим...

Эти люди разны во всем. В культуре, в уме, в мышлении, в темпераменте, в наружности. Типичный еврей с острым, чуть жестоким лицом и восточной шевелюрой черных вьющихся волос над большим и широким лбом и типичный русский широконосый, скуластый рабочий с разведенным по-русски подбородком и упрямыми, как гвозди, глазами. Разговор был резкий. Но Троцкий не отправил Ворошилова под конвоем в Москву. И Ворошилов Троцкому не подчинился.

Ночью, ложась на диван в третьем этаже горчичного дома, Троцкий говорил секретарю: «Вижу, вижу, что Сталин тут тщательно подобрал всех людей с отдавленными мозолями». Троцкий усмехался, обдумывая, кого снять, кого переместить, кого кем заменить в Царицыне.

Но в Москве Сталин уже вывернулся из-под Троцкого. Наутро проведенному бессонную ночь предреввоенсовета подали верховную телеграмму Ленина: «Сегодня приехал Сталин, привез известия о трех крупных победах наших войск под Царицыном («Победы, — усмехнулся Троцкий, — какая ложь! Это ж чистый блеф!»). Сталин убедил Ворошилова и Минина, которых считает очень ценными и незаменимыми работниками, не уходить и оказать полное подчинение приказам центра. Единственная причина их недовольства, по его словам, крайнее опоздание и неприсылка снарядов и патронов, отчего также гибнет двухсоттысячная и прекрасно настроенная кавказская армия...»

Троцкий уже понял, что Сталин обошел «хозяина».

«Сообщая вам, Лев Давидович, обо всех этих заявлениях Сталина, — читал дальше, — я прошу вас обдумать их и ответить, во-первых, согласны ли вы объяснить лично со Сталиным, для чего он согласен приехать, а во-вторых, считаете ли вы возможным на известных конкретных условиях устранить прежние трения и наладить совместную работу, чего так желает Сталин. Что же касается меня, то я полагаю, что необходимо приложить все усилия для налажения совместной работы со Сталиным. Ленин».

Троцкий ухмыльнулся. Знал, что Сталин лучше понимает «разинские струны» Ильича и лучше умеет обойти Верховного. Ведь недаром же Ильич сам посылал Троцкому записочки на заседаниях: «А не прогнать ли нам всех военспецов поголовно?»

И, уж не встречаясь с всплывшим командармом, Троцкий телеграфировал в Кремль: «Согласен встретиться со Сталиным. Оставлять дольше Ворошилова, после того как все попытки компромисса сведены на нет, невозможно. Нужно выслать в Царицын новый Реввоенсовет с новым командиром, отпустив Ворошилова на Украину. Троцкий».

Ворошилов наутро писарским почерком самоучки, зло сведя над переносьем брови и сыпя отборную ругань, писал прощальный приказ по армии с призывом «так же упрямо и беспощадно бить врага до полного его уничтожения».

Сумрачный, грохая по третьему этажу подкованными смазными сапогами, прошелся по комнатам. И, войдя в штаб, бросил машинистке приказ переписать. Ворошилов выехал из Царицына разбитый, с глубоко запавшей в душу мезью сосчитаться с «полуленинцем».

С ближайшим окружением и Екатериной Давыдовой ехал в Москву, где представителя их царицынской армии матроса Живодера уже ликвидировал Троцкий. И где в

«Правде» друг Троцкого редактор Сосновский к приезду Ворошилова в отделе «Маленькие недостатки нашего аппарата» поместил подробное описание одного из царицынских кутежей Ворошилова с друзьями, когда после удачного боя на трех разухабистых тройках катали с девками, пьяные, и как в одной деревне, вспомнив старинку, вприсядку плясал командарм-10, набуянил и набил кому-то морду. Вообще... «дискредитировал советскую власть».

Ворошилов понял, что это Троцкий из Царицына прислал своему другу тщательно собранный материал сплетен о «расейском размахе» жизни командарма-10.

— Ну и морду набил! Ну и пил! Ну да! Ну, с бабами пьянствовал! Что ж, если и командарм, так я и человеком перестал быть?

Но в «Правду» все ж написал опровержение, что ничего подобного не было, что все это «брехня контрреволюционных элементов».

Долго боролись с Троцким Сталин и Ворошилов. Через десять лет свалили и выбросили в Турцию. Непокаявшийся же твердокаменный троцкист редактор «Правды» Сосновский уже пятый год сидит в тюрьме, подвергаясь таким допросам и избиениям, каких он в царских централах и не видывал. Парадоксы истории — неудобная вещь.

Выезжающий из кремлевских ворот министр-слесарь не сентиментален. И с людьми, вставшими ему на пути, расправляется круто.

БУДЕННЫЙ

Но в том же 1919 году популярность Ворошилова в армии вспыхнула даже сильнее, чем под Царицыном. Это было на Южном фронте в момент, когда в руководстве гражданской войной «линия Сталина» стала побеждать «линию Троцкого», когда Сталин уже поставил перед Лениным и ЦК свои три условия, из которых первое было: «Троцкий не должен вмешиваться в дела Южного фронта и не должен переходить за его разграничительные линии». Это условие было подкреплено заявлением Сталина: «...Иначе уйду, куда угодно, хоть к черту!» И все условия, как сообщает сам Сталин, Лениным были приняты.

1919 год для красного Кремля — самый грозный год гражданской войны, полный зловещих катастроф. Это год успехов у белых. Быстрыми маршами шла белая армия в этом году на Москву. Освобождены уже Донская и Кубань-

ская области. Под ударом армии Врангеля пал «Красный Верден». Занята Украина. И белые стремительно бросились к Орлу и Туле.

Это путь на Москву.

Среди этих поражений белые нанесли Кремлю и еще один самый сокрушительный удар: казацкая конница генерала Мамонтова, прорвав под Воронежем красных, ринулась на север, в тыл, сметая все на своем пути.

Эффектный удар. В четверо суток Мамонтов прошел двести верст. Лихими набегами его конница заняла Тамбов, Козлов, Лебедянь. В Кремле полная растерянность. У казаков нет препятствий по пути на Москву. Но вместо похода на белокаменную, обремененная награбленным добром на седлах и в обозах, казацкая конница начала, снижаясь, падать. В этих набегах казаки грабили все; даже в церквах, сначала перекрестясь широким крестом, — «прости, мать-богородица, все равно у тебя большевики отберут», — срывали с икон золоченые ризы. Марш на Москву отпал, казаки не захотели идти, с добром поехали назад, в свои станицы.

А именно в этот момент у красных не было им сопротивления.

Но, выученные мамонтовским рейдом, командовавший всеми фронтами Харьковского округа Ворошилов и командующий Южным фронтом Егоров вошли с представлениями к главе Реввоенсовета Южного фронта Сталину о немедленном формировании крупных конных масс по подобию мамонтовских.

Сталин вошел с представлением в Москву. Обстановка была за Сталина, да и сам предреввоенсовета Троцкий уже выбросил очередной лозунг: «Пролетарии, на коня!» И Ворошилов стал организатором и главой прославленной, легендарной Первой Конной армии.

Но кроме главы Реввоенсовета, бунтарского металлиста, конной силе надобился и военный рубака-вождь. Их было много, красных кавалеристов-рубак.

Большой славой пользовался удалой казак командир корпуса Думенко, царский солдат, с кирпичом вьющейся черной, до пояса, бороды. Но Думенко создан по образу и подобию Степана Разина и не подошел в вожди коммунистического войска. Рассказывают, когда Думенко отбил у белых станицу Каменскую, вечером к нему в хату вошли командиры, в хате горела тускло лампада, и Думенко на коленях стоял перед иконой, покрытой отбитым у белых знаменем с волчьей головой. Обернувшись на шаги, Думенко злобно бросил: «Идите, идите к... матери, не видите, молюсь...»

Популярен был и красный конник темного происхождения, сын ростовского дна Жлоба, но деклассирован, ненадежен. Были прославлены в конных атаках бывшие урядники казаки Городовиков, Ракитин, Летунов, Апанасенко, Тимошенко, Тюленев, но из них никто не подходил Ворошилову, кем бы оглавить красную конницу.

Глаз Ворошилова остановился только на подручном Думенко, замечательном наезднике, царском вахмистре Приморского драгунского полка, лихом рубাকে, пользовавшемся любовью конников, комдиве Семене Буденном.

Надо сказать, выбор не подвел Ворошилова. Через год имя вождя легендарной Конармии, прославившегося в войне с Польшей, гремело (без иронии) на весь мир. И если даже в Советах он заслужил название «красного Мюрата», то у поляков его удостоили тоже неплохим именем «советского Маккензена».

Эта генеральская популярность так укоренилась за Буденным, что оскорбленный народный комиссариат по военным делам от 11 июля 1920 года выпустил даже официальное сообщение: «Хотя товарищу Буденному приходилось и приходится бить русских, польских и французских генералов, но сам он бывший унтер-офицер». Даже подлинным чином вахмистра не решилось назвать Буденного пролетарское военное министерство.

Рослый, ладно скроенный, с грубоватым красивым крестьянским лицом, с выхоленными на царской службе пышными, словно конскими, усами, с молодцеватой выправкой и резким голосом, привыкшим к команде, сверхсрочный вахмистр С. М. Буденный как нельзя лучше подошел к роли русского Мюрата.

Он — кавалерист-солдат с 1903 года, участник японской войны, где отличался в боях с хунхузами, и мировой, в которой побывал на германском, австрийском и кавказском фронтах, проделав Баратовский поход в Персию. Он — лучший ездок во всей Кавказской кавалерийской дивизии, выученик школы верховой езды в Петербурге. Этот 34-летний сверхсрочный вахмистр в революцию нюхом почувствовал, куда идет дело в российском огне. И, не пожелав оставаться вахмистром, а захотев стать генералом, добился и этого звания, и военной славы.

Буденный вступил в командование Первой Конной армией при главе Реввоенсовета и заместителе командарма Климе Ворошилове и его помощнике портном Щаденке.

В Старом Осколе, еще под напором белых, в первый раз собрался этот свежесформированный Реввоенсовет из слеса-

ря, портного и сверхсрочного вахмистра. Здесь был отдан Ворошиловым первый приказ, в котором говорилось, что «перед Реввоенсоветом Первой Конной стоит задача просветить славных буденовцев и сделать их сознательными, верными бойцами за общечеловеческие идеалы».

Слитая из мужиков-партизан, красных казаков, калмыков, черкесов, бандитов, во главе с командирами — царскими солдатами, старшими генералами, эта странная Первая Конная армия прежде всего была глубоко национальна и антикоммунистична. Эта, в корне мужицкая, с ненавистью к городу, к богачу, к интеллигенту, вольница была из еще гуще, чем в Царицыне, замешанного теста. Не только уж Троцкому, а самому захудалому комиссарику из интеллигентов в ней не было места. Тут сведены 17 000 мужичьих, бунтарских, разбойничьих, не верящих ни в черта, ни в дьявола сабель. Степная конница рубак-буденовцев о коммунистах отзывалась не иначе как с полным презрением:

— Каму-нисты? Камунисты — сволочь. Мы не камунисты, мы в доску большевики. Рубать нас учить нечего, а по части политики сами с усами, знаем, за что деремся! В лепешку расшибемся за нашу крестьянскую власть! — И буденовцы гнали из Первой Конной комиссаров-коммунистов.

Первый парад этой армии мужицкого национального бунтарства, оглавленный крепким солдатом Буденным, перед отправкой на фронт принял всесильный наркомвоен Троцкий, окруженный царскими генералами и коммунистами-комиссарами.

На великолепно убранных краденых и в боях отбитых конях таким лихим маршем неслись перед Троцким буденовцы, что Троцкий не то действительно пришел в восхищение, не то сделал вид. Во всяком случае, после парада, пожимая медвежью, мужичью руку бывшего полкового наездника Буденного, поздравил его и проговорил:

— Товарищ Буденный, я хотел взять сюда хор трубачей, но, когда увидел, как прошла ваша конница, понял, что ни один хор не мог бы так стройно сыграть, как стройна музыка ее подков.

До смерти любил «красивую» фразу Троцкий.

Буденный хмыкнул в пышно-холеные, как конский хвост, усы. Такие речи солдату были смешноваты и малопонятны. Не зная, что сказать, откашлявшись, проговорил:

— Прикажите, товарищ Троцкий, идти на Мамонтова. Мы эту золотопогонную сволочь, безусловно, вдрызг разобьем!

И Троцкий, указывая на тронувшуюся красную кавалерию, сказал очередную «историческую» фразу подобострастно окружившим его царским генералам:

— Глядите, господа генералы, какую конницу сумел создать наш русский мужик! Так не проходили, вероятно, и царские кирасиры на Марсовом поле.

Да, это действительно лихая и совершенно особая конница. Но не Троцкому управлять этой степной мужицкой силой. Для нее он иностранец. Даже коммуниста-рабочего, члена РВС Первой Конной Клима Ворошилова и то встретили с насмешкой красные рубаки.

Родившийся на спине коня, старый казак, красный комбриг, словно вымахнувший из Запорожской Сечи, Ока Иванович Городовиков, усмехаясь в всячие казачьи усы, осматривал посадку рабочего Ворошилова, подъезжавшего к строю:

— Оно, конечно, сидел там по тюрьмам и все такое — в тюрьме-то сидеть одно, а на седле другое. А может ли он, во-первых, еще ездить так, как мы, природные, степные казаки? Вот что. Знаем мы рабочего, отстоял на фабрике, взял тростку — да по плинтуару...

Но Ворошилов к этим партизанам-мужикам, казакам-бандитам подошел. Это понял комбриг Ока Иванович, когда походным порядком красная конница с вахмистром Буденным, слесарем Ворошиловым и портным Щаденкой во главе тронулась на белых, на Дон, нацеливаясь к удару в стык Добровольческой и Донской армий.

Во всем кожаном, в накинутой бурке, в заломленной папахе, на рыжем англичанине Маузере ехал впереди по донским степям Клим Ворошилов. В зеленой офицерской бекеше рядом — Семен Буденный, один из лучших русских наездников. И с хищным белесо-ястребиным лицом, променявший иглу на шашку, ехал с ними портной Щаденко.

Осенняя степь дышит, колеблет ветер сухой ковыль. Звон тысяч подков, тарахтенье тачанок. Далеко белыми хатами блеснуло село, закрутив в степном ветре крыльями ветрянок.

— А ну, Семен Михалыч, прижмем до села, а? Кто кого? — смеясь, бросает Ворошилов.

Буденный только повел ослепительной животной улыбкой, кашлянул и вихрем бросил белоногого жеребца. Оторвавшись от армии, два коня на глазах бойцов, под смех, под гиканье, под «уллю-лю», «жми-жми!» — распластались, как птицы, над донской степью.

Только на голову ушел жеребец Буденного от ворошиловского англичанина. Хохочут командиры, бойцы. А Ворошилов, в облаке пыли крутясь на коне, выезжает перед строем.

— Ну, ребята, песню! Песенники, вперед!

Глава легендарной конницы запекает сам, разнося по степи:

Кукушка лесовая
Нам годы говорит,
А пуля роковая
Нам годы коротит.

По степи гудит, несется буйная песня мужицкой конницы, идущей под командой солдата, слесаря и портного.

Вечером на стоянке, в небольшой, освещенной керосиновой лампой хате, работает над картами штаб армии. На лавках, табуретах валяются бурки, папахи, красные башлыки, бинокли, сабли, револьверы. Тут готовятся очередные маневры и удары. И тут не так уж все просто: кроме солдата, слесаря и портного есть и казак-офицер Зотов, и образованный кавалерийский генерал Л. Клюев. Это настоящий штаб.

Буденный спокоен и всегда немного шутлив, отшучивается:

— Пусть болтают, а мы отдохнем, наше дело — рубать.

Но все ж, указывая в развернутую десятиверстку короткими пальцами, привыкшими держать либо повод, либо шашку, посмеиваясь, говорит:

— А ну, где он тут, под Касторной-то, Мамонтов, у него, слышать, конницы — черная хмара?

— Большая сила, а — разобьем, — бросает, свертывая сигарку, оживленный и возбужденный Ворошилов. — У тебя где донесение-то, Семен Михалыч, дай-коть сюда!

Из алых кровяных чикчир Буденный вытаскивает кучу мятых бумажек.

— Лятучка-то? — засмеялся животной улыбкой. — Уж не знаю, куда я эту писанину сунул. Не люблю я писанины, Климент Ефремыч.

Штаб знает: Буденный не любит письменности; донесения, подчас не разобрав, сует в карманы алых чикчир, а когда надо, выгребает их оттуда кучей. Да и пишет командарм не так уж чтоб шибко, вот рубать — это поучись, дело наше.

Но генерал Клюев на исчерченной красным и синим карандашами десятиверстке уже пристально рассматривает подступы к Касторной, на которую завтра лавой обрушится мужицкая кавалерия.

— Ну как, ваше превосходительство, думаешь?.. — и дружески, и с хитрой усмешкой говорит Буденный.

— Касторная нам как душа нужна, — перебивает Ворошилов. — Как, товарищ Клюев, насчет Касторной-то?

Отчаянным прыжком бросилась на Мамонтова Первая Конная и нанесла страшное поражение под Касторной, освободив путь на юг. «Красный генерал от крестьян», как, в противовес «генералу от рабочих» Ворошилову, назвал Сталин Буденного, за этот прыжок получил от Кремля почетное оружие — шашку — с орденом Красного Знамени.

РАЗГРОМ РОСТОВА

Белая армия уже падала в своем наступлении. Отступала. Под напором конницы Буденного открылся путь к Ростову и казачьей столице Новочеркасску. Когда Первая Конная подошла к Новочеркасску и был уж виден вдали на высокой горе золотой крест Новочеркасского собора, перед решительным боем в сведенное каре буденовцев вомчался на золотом донце Ворошилов. Осаживая в середине необъятного конного каре жеребца, Ворошилов закричал не своим, сильным голосом: «Бойцы и командиры! Товарищи Первой Конной! Мамонтовские корпуса еще пробуют задержать наш большевицкий напор! Но нет у них порошу, весь вышел! Выдохлись золотопогонники! Уж бегут из Новочеркасска куда глаза глядят! Бойцы! Еще один удар, и мы сломим Ростов и Новочеркасск и ворвемся в гнездо издыхающей контрреволюции! Разобьем врага рабоче-крестьянского дела! Вперед, к победе! За Советскую власть! Ура!» — И Ворошилов выхватил шашку на метнувшемся от криков коне.

— Даешь Ростов! — ревели по степи, и бойцы, кто в штатском пальто, кто в английских ботинках на босу ногу, кто в шевровых дорогах сапогах, снятых с расстрелянных офицеров, кто в шинелях, кто в бабьей шубе, — зашумели, сминая каре, выхватывая шашки.

Ворошилов тронул к стоявшим группой командирам. Солдаты-генералы Городовиков, Тимошенко, Летунов, Апанасенко, Бахтуров, Ракитин, Тюленев сидели на первоклассных скаковых конях. На полкорпуса впереди всех, в зеленой бекеше, покручивал черный «конский» ус Буденный.

— Приказывай, Семен Михалыч! — бросил Ворошилов.

И Буденный, обернувшись к командирам, высоким мужицким тенором подал команду. Командиры рысью тронули к частям.

Уже выпал снег. Стояли морозы. По необъятной снежной донской степи развевалась конница Буденного в бой за Ростов и Новочеркасск. От комкора Думенко прискакал с «лягучкой» ординарец, где корявым, полуграмотным почерком доносил разбойный комкор, что, согласно приказанию, вступает в бой за Новочеркасск.

Белому оплоту — Ростову и Новочеркаску — эта мужицкая конная армия страшна.

Но хоть и потрепанная рейдом, боями, прошедшая навстречу Буденному маршем 30 верст, белая конница генералов Мамонтова и Топоркова встретила Ворошилова с Буденным под Ростовом и Новочеркасском достойным, жестоким отпором. Это был грандиозный бой. Почти на десять верст в одну линию развернулись красная и белая кавалерии. За боевыми линиями квадратами стояли резервные колонны поддержек. С гиком, блестя на снегу блестящем шашек, сходились в шашечной рубке красные и белые лавы. Линии конных масс волновались, изгибались то в ту, то в другую сторону, наседая друг на друга. Гремели орудия, трещали пулеметы, и, точно море, волновались огромные конные волны, носясь по степям. Со всем бы туго пришлось зажатому под Новочеркасском разбойному мужику Думенко, если б, все ж опрокинув мамонтовцев, не ринулся, как зверь, Буденный и на плечах белых не ворвался б в Ростов.

С ревом, гиком, улюлюканьем полуоборванные, дорвавшиеся наконец «гарбануть», неслись по богатому Ростову буденовцы, где на столбах качались еще люди, повешенные генералом Кутеповым, украсившим по своему вкусу город теми, кого подозревал в большевизме.

Во дворец Парамонова, откуда только что бежали, отступая, белые штабные генералы и где еще не высохли следы от их сапог, вошли победители — Реввоенсовет во главе с Ворошиловым: Щаденко, Буденный, Думенко, солдаты, командиры, Зотов, Городовиков, генерал Клюев. А Ростов застонал, утонул в ночном невиданном, неслыханном грабеже и разгроме.

Под ленинский лозунг «Грабь награбленное!» город задохнулся в убийствах и насилиях дорвавшихся до солдатской радости мародерства буденовцев. Тут бы самого

Маркса повесила на фонарном столбе кверху ногами эта мужицкая, пугачевская конница.

Напрасно в колонном зале Парамоновского дворца бушевал, шумел перед командирами Клим Ворошилов:

— Прекратить грабеж! Гады! Позорят армию! Разослать по частям коммунистов!

Где там!

Сам Буденный усмехается ослепительной животной улыбкой.

— Та нехай, Клим Ефремыч, трошки разомнутся бойцы, трошки грабануть буржуякив.

Разбойный комкор Думенко с кирпичом мужицкой бороды до пояса только хохочет перед главой Реввоенсовета.

— Каких таких коммунистов разослать? У нас в армии нет коммунистов и не было! Дай бойцам взять, что хотят! Что тебе, жалко? За что они кровь проливали? — Звякнул шпорами и ушел из дворца Думенко, пьяный легендарный рубака, как отец, любимый бойцами.

Но это почти уж восстанье. Командир корпуса поощряет грабеж? В эту ночь кавалер ордена Красного Знамени и обладатель полученных из рук Троцкого золотых часов с выгравированной надписью: «Лучшему солдату Красной Армии» — Думенко в штабе среди кутежа с девками и бойцами собственноручно застрелил политического комиссара корпуса коммуниста Микеладзе. И в разгульном пьянстве грозил открыть фронт белым генералам, если Реввоенсовет будет еще «заступаться за жидов и коммунистов».

Острая телеграмма пришла врагу Ворошилову от Троцкого: «Жалобы на бесчинства и злоупотребления властей не прекращаются. Считаю безусловно необходимым положить конец насилиям со стороны недисциплинированных частей. Сообщают, что не хватает силы для обуздания насильников. Необходимо наказывать виновных на месте. Ни одно бесчинство не должно оставаться безнаказанным. Ответственность возлагается на Реввоенсовет армии. Предреввоенсовета Троцкий».

Это второй раз ревтрибуналом грозит Ворошилову Троцкий: ведь это его ж, Ворошилова, бунтарское детище утопило Ростов в водке, в крови, в хаосе разинских душ.

Но любимый красными бойцами казак Думенко Ворошиловым уже арестован, а за городом глава Реввоенсовета приказал выстроить свою пьяную конницу.

И когда Ворошилов выехал во главе командиров на пляшущих, грызущих мундштуки, брызгающих пеной красав-

цах донцах перед конницей, строй задрожал от пьяного «ура» и взвизга обнаженных сабель.

Ворошилов ждал, пока смолкнет строй, потом зачитал с седла приказ от 10 января 1920 года за номером третьим: «Честь и слава вам, красные герои! Революционный совет Конармии от лица Советской республики приносит глубокую благодарность героям красной кавалерии. Но вместе с тем Реввоенсовет не может не обратить вниманья, бойцы, что темные элементы, примазавшиеся к армии, объединившись с уголовными преступными элементами, совершили ряд гнусных разгромов лавок, винных погребов и квартир. Пойманные хулиганы, спаивавшие несознательных бойцов, при допросе оказались переодетыми офицерами белой армии», — лгал было с коня Ворошилов.

Но строй не хотел слушать, зашумел, заколыхался, понеслось:

— Кончай!

— Буденного! Даешь Буденного! — заревел строй.

К Ворошилову выбросил шпорами коня Буденный, завертел коня перед строем.

— Говори! — бешено крикнул Ворошилов.

И Буденный высоким голосом перед хмельной, непротрезвевшейся от ростовских погребов конницей закричал по-солдатски, по-простому, с крепким матом и солеными словами:

— Товарищи! Всех родов кровопийцы, посягатели на нашу молодую, можно сказать, революцию мечутся из угла в угол и не находят себе места! Товарищи, ростовский и других углов пролетарьят не пользовался советской властью, он только увидел ее на самое малое время! Мы являемся как освободителями, наша задача энергичней удерживать в этом вертепе буржуазного разврата более слабых товарищей к грабежу, насилию и пьянству. Хмельных напитков ни капли в рот! — вдруг что есть мочи с седла гаркнул Буденный. — Что мы сделали? Нас хлебом-солью встречали, а мы в пьяном виде — грабеж! Долой контрреволюцию! Да здравствует советская власть! Да здравствует непобедимая Первая Конная! Да здравствует мировая революция! Ура!

— Ура! — загремел строй.

Но Ворошилов отъезжал от войск сумрачный, злой.

Ростовское мародерство и пьянство Конармии дало передышку белым. Они укрепились под Батайском, и, когда Ворошилов вывел Конармию в бой, где некогда у реки Каяла дрался князь Игорь с половцами, восемь жесточай-

ших конных атак буденовцев отбили белые. Через реку по льду в сумерках пошли карьером в последнюю атаку, и Ворошилов в этой атаке вместе с лошадей опустился под лед в выбитую снарядом полынью, еле вытащили Ворошилова бойцы.

Может, даже этот провал и сорвал терпенье Ворошилова. Прибыв в Реввоенсовет фронта к бывшему капитану царской службы Шорину, Ворошилов вспылил и отказался повиноваться.

— Ты кричишь — не рассуждай, полезай, куда указывают! А у нас получается большая чепуха! И я больше не поведу в лоб! Ты маневр мне дай! — кричал у Шорина Ворошилов.

Из станицы Богаевской Ворошилов по телеграфу застучал жалобу в Москву Сталину: «Выражаю свое негодование на комфронта и бездарное использование нашей славной конницы. Прошу приехать вас или равноценного вам товарища и убедиться во всей глупости совершаемого. Ворошилов».

В ответ на жалобу Москва послала на юг искусного маневрами, самого талантливого советского полководца, бывшего лейб-гвардии поручика, Михаила Тухачевского. По его плану конница Ворошилова и Буденного свернула на юго-восток и там, в безлюдных Сальских степях, в метелях, в 25-градусный мороз, когда коченели раненные, в снежной степи разыгралась одна из последних решающих конных битв красных и белых. Из этого ледяного боя в Сальских степях, где в сугробах стояла мертвая, замерзшая конница, Ворошилов с Буденным вышли победителями.

В ТЫСЯЧЕВЕРСТНЫЙ ПОХОД НА ЕВРОПУ

Когда в весне 1920 года просыпались кубанские степи, Ворошилов тронул с Кавказа Первую Конную тысячеверстным маршем на польский фронт. Эту буйную, покрытую легендой силу требовал к себе в «таран», против Европы, командовавший фронтом Михаил Тухачевский.

Много было спору, брани, ругани, склоки на верхах советского генералитета из-за прославленной Первой Конной.

Буденный, смеясь, только руками разводил:

— Да по мне все равно, какой фронт, мое дело рубать.

Но Ворошилов свернул Конармию с Западного фронта, настояв, чтобы шла на Юго-Западный, где главой Реввоенсовета фронта был Сталин. Отсюда нацелилась Первая

Конная для удара на Европу, не отдали Ворошилов со Сталиным «свою» конницу. Тухачевского же успокоил главным, что, выйдя в наступлении на «меридиан Бреста», все красные войска подчинятся Тухачевскому.

— Одно жаль, что сабель маловато, — горевал Буденный, — ну, что там 17 000, чего с ними сделаешь? Вот в мировую войну было 40 кавдивизий — 300 тысяч сабель, а что их превосходительства с ними сделали? Мне б сейчас 300 тысяч, да я бы пошел по европейским тылам, черт бы кто взял меня. Да я бы всю эту Польшу копытами размял!

— Волянишь, Семен Михалыч, — покуривает трубочку, смеется бывший слесарь, — постой, дорвемся и до Европы.

— Да, Европу бы нам на часок, — в пышные усы хочется изрубленный в двух внешних и одной гражданской войне, прославленный российский Мюрат Буденный.

И портной Щаденко вторит легким говорком:

— Как ни верти, а не обойдется без нас Европа. Семен Михалыч, у нас, можно сказать, на все революции патент взят. Хочешь лавочку открыть, приди поучись, а нет — недействительная будет.

— Только б не забузили братишки, устали, скажут, скончали Деникина, думали, войне конец, а тут еще вон — на панов, даешь Европу! — говорил Ворошилов.

В кубанской станице Белореченской, перед тем как сниматься Конармии, чтоб походным порядком трогаться на Европу, в хате, собрав испытанных рубак, солдат-командиров, Буденный, вернувшийся из Москвы, рассказывал:

— Вот, братва, стало быть, был я в Москве. Ничего, хорошо приняли. Пили. Потом автомобиль дали. Здоровенная машина сильного ходу. А потом, — и из кровяных чикчир Буденный вытянул красную картонку, партийный билет, — вот что получил, — бросил на стол.

Хитрый сверхсрочный вахмистр знал, что братва не любит этих «партийных билетов», а тут сам рубака-командир коммунистом стал. Но Семену Михайловичу поверили, какой он коммунист, свой брат, только чтоб рубать.

— Нехай у штанах лежить, он хлеба не просит, — говорили командиры.

Но не просто было Ворошилову поднять с кубанских степей Первую Конную. Перед приказом сниматься в тысячеверстный поход долго заседал Реввоенсовет. А когда Ворошилов отдал приказ — зашумели, загудели буденновцы:

— Куда идти? Люди и кони в боях измотаны! Что мы, железные, что ль? Где фураж возьмут? С ума, что ль, сошли — походным порядком на край света идти! Даешь вагоны!

Ворошилов темнел, шумел на Буденного:

— Чего смотришь! К выступленью надо готовить! А у тебя бузят, гады! Откуда вагоны взять? Нет у нас вагонов! Отдай приказ, что в республике транспорт не налажен, а двигаться походным порядком надо для очищения Украины от кулацких банд!

Это было заманчиво. На Украине по деревням всего вдосталь, есть что «гарбануть» буденовцам. И Семен Михайлович сломал бойцов, объявив в приказе маршрут: Майкоп — Ростов — Екатеринослав — Умань.

Когда 12 апреля, ранней солнечной весной, ехали уж по донским, облитым кровью степям, Ворошилов говорил:

— Только одно, как бы в Ростове чего с Думенко не вышло. Давно б гада к стенке поставить, а трибунал канителит. Он сидит там в тюрьме, маринуют изменника!

Знал Буденный, что пострадавшего «за революцию от жидов и комиссаров» Думенко любят бойцы. Ворошилов приказал зорко следить, обо всем докладывать, что будет с Думенко.

И верно. Вступив в Ростов, вспомнив старого лихача-комкора с бородой до пояса, у которого сам Буденный ходил подручным, заволновалась Первая Конная. В Парамоновском дворце Ворошилову уже в день вступленья армии доложили, будто многие из буденовцев подъезжали к тюрьме, где сидел опальный комкор, и будто Думенко через решетку окна держал к казакам речь:

— Станичники! Братцы! За что меня в тюрьму посадили? За что меня мучат? Кто меня судить будет? Не желаю я чужого суда, пусть меня казаки судят! Вашему суду, станичники, подчиняюсь, вы мои судьи!

И загорелись казаки недобром.

— За что казака, «всемирного героя» Думенку, судят?! Не бойсь, Думенко, не выдадим! С Дону выдачи нет!

К тюрьме больше и больше подъезжали конные. Шумели о неправом деле, об измене.

А когда по случаю встречи Конармии ростовскими рабочими Ворошилов дал на ипподроме парад и вместе с Буденным на горячих красавцах донцах они объезжали строй, говоря приветственные речи, вдруг до Ворошилова долетел одиночный казачий голос из задних рядов:

— Даешь Думенко!

И понеслось со всех концов, сначала нестройно, потом разрастаясь морем голосов:

— Освобождай Думенко! Даешь Думенко! Свобода Думенке!

Вместо парада сломался строй, головная 4-я кавдивизия в предельном возбуждении тронулась, сменяя командиров.

Ворошилов в этот момент уже слез с коня и стоял на трибуне. Рядом — соперник Думенкиной славы, потемневший Буденный. Крики росли. Ворошилов понял, что минуты решающи и, если не подавить вспышку сейчас же, бойцы ринутся с ипподрома силой освободить любимого казака-командира.

Повернувшись к Буденному, Ворошилов бросил;

— Командарм! Разъяснить бойцам о контрреволюционере, предателе и изменнике революции!

— Есть! — крикнул Буденный и, прыгнув кошкой в седло, на загорячившемся донце вонзился в строй бойцов.

— Красные орлы! — гаркнул что было легких. — Зачем мы кровь проливали, зачем тысячи наших братьев казаков по степям погибли? За народную правду умирали! Кто против нас — голова с плеч! А меж нами завелся изменник, пошел против своих казаков, ему не дорога народная кровь! А имя ему — Думенко! — заорал неистово Буденный. — Он хотел генералам да помещикам фронт открыть! Бойцы, товарищи, нет! Тогда убейте меня, не пойду против трудового народа! Либо я, либо иди освобождай Думенку! Красные орлы, да неужто вы не верите мне?!

— Верим, — раздались голоса.

— Верим, — понеслось.

Ворошилов понял: «минута» прошла. И вечером того же дня на разномастных конях, кто в чем, в шинелях, в пальто, в ботинках на босу ногу, в шевровых сапогах с расстрелянных офицеров, в буденовках, в шапках, в фуражках, в лаптях, армия двинулась из Ростова. А ночью на тюремном дворе расстреляли чекисты Думенко, заслуженного командира корпуса, украшенного орденами Красного Знамени, отчаянного казака с вьющимся кирпичом черной бороды до пояса.

Выводя из Ростова Первую Конную, Ворошилов ехал впереди армии, сам запевал:

Буденный — наш, братишка,
С нами весь народ!
Приказ: голов не вешать,
А идти вперед!

И бойцы ревом подхватывали:

И с нами Ворошилов,
Наш красный офицер!

Ворошилов выводил свою конницу в бой на Польшу, в атаку на «восточный бастион капиталистической Европы».

ШТУРМ «БАСТИОНА ЕВРОПЫ»

Не одно местечко, городок, деревню пограбили буденовцы, пока маршем в 1400 верст по степям, полям, лесам пришли с Кавказа в мае 1920 года на фронт против Польши. Придя к Сталину, стали под Белой Церковью. За поход поизмотались, поизносились бойцы и устали кони.

Но уж в начале июня, в жар, в зной, в духоту, буденовцы бросились на поляков и в районе Сквира — Самгородок прорвали польский фронт, смешав планы польского верховного командования. Этот удар скифской конницы показался Польше катастрофой. Брешью в 80 километров разорвали буденовцы вражеский фронт, безоглядным марш-маршем ринулись в польские тылы, громя и сметая все на пути. Это был блестящий азиатский удар. Казалось, Буденный дорвался размять копытами Польшу.

О его прорыве польский маршал Юзеф Пилсудский писал: «Паника вспыхнула на расстоянии сотен километров от фронта. Стала давать трещины даже работа государственных органов. Наступили моменты непреодолимой тревоги. Конница Буденного становилась какой-то непобедимой и легендарной силой. И чем дальше от фронта, влияние этого гипноза росло сильнее и непреодолимей».

Под Новоград-Волынском поляки попытались оказать отчаянное сопротивление. Когда бросились буденовцы в атаку через реку Случь, встреченные сокрушительным огнем легионеров, внезапно смешались у бродов; пулеметы шили по Случи; гранаты вздымали пенившуюся реку. В бурке, в заломленной папахе подскочил к смявшейся бригаде Чумакова возбужденный Ворошилов.

— Что танцуешь, мать-перемать! В брод! Вымести поляков! Передай, в цепи Ворошилов! — И бросился с бойцами, крича, размахивая шашкой, в брод.

Во главе бойцов Ворошилов переправился через Случь. Подана команда «Сабли к бою!» — и, вымахнувши на противоположный берег, всадники на мокрых конях карьером, гиком пошли в атаку на польский огонь.

Очистив Случь от поляков, Первая Конная маршем уходила на Ровно, покрывая все грабежом и кровью. Лавиной неслась на Европу разномастная конница. Ворошилов со Сталиным нацелились на Львов, и бешеной лентой пронеслись деревеньки, оставляя на карте лишь кровавые пятна.

— Есть думка, набьем панам ряшку! Победим иль подохнем, иначе никак! — кричит в седле Буденный, бросаюсь в слабых местах сам в атаку.

Ровненская операция развилась блестяще. Ночью 4 июля Ровно уже у буденовцев, и — «Обнимаю героя Буденного» — получил Буденный от Троцкого телеграмму.

Сопrotивление поляков рухнуло, поляки бегут, не принимая боя. Бунтарь-слесарь Ворошилов скачет 50-верстными переходами во главе русской мужицкой конницы.

Под Самгородком смешалась было 6-я дивизия Апанасенко, но из густых облаков пыли под стонущее «ура!» к бойцам вымахнули, подскакали красноштаный Буденный и завертевший коня Ворошилов, в бурке, с драгоценной кавказской шашкой. Конники поняли, будет дело, «ура!» прокатилось по рядам.

— Отходят, гады! — кричал Буденный, надавая шпорами коню.

— Начдив-6, погибнуть в атаке, а взять Самгородок!

Под загремевшей завесой артиллерийского огня, во главе с Буденным и Ворошиловым, конница пошла в атаку.

— Разгрохаем, рванем на панов!

Мемуаристы отмечают храбрость Ворошилова. В Конармии, вероятно, и не было трусов, ибо у этой санкюлотской армии было только одно оружие — сумасшедшая храбрость. Не талантами командиров, не искусными маневрами, а только древним русским средством, лихостью и напором — «пуля дура, штык молодец!» — сбила эта русская конница Польшу.

Ворошилов сам оценивал армию так: «Бойцы выше всяких похвал. Комсостав до безумия храбр, но как руководители — много ниже всякой критики. Они не справляются с управлением. Этому причиной еще и новая, незнакомая местность, леса, болота, реки, сильная пересеченность. Степи, равнины — вот родная стихия наших чудо-богатырей».

Перед «чудо-богатырями», перед мощью армии, похожей на орды вооруженных нищих, не ценящих ни своей, ни чужой жизни, польские и французские стратеги остановились в полном оцепенении.

Под Станиславчиком ночью, в предрассветной мути, по узким улочкам села — толчея, огонь винтовок, пулеметов,

вспышки шрапнелей; это ворвались в село с боем поляки, и в Станиславчике полная неразбериха.

Но Клим Ворошилов выехал в рассветной темноте на холм, орет:

— Зажал Станиславчик, гад! Атаковать в конном строю! Начдив мнется.

— Докладываю, товарищ Ворошилов, что темно, туман и под селом проволочные заграждения остались...

— Атаковать... в Бога, в душу, в мать!

С развернутыми штандартами, под звуки гремящего марша бросилась на Станиславчик конница; стыкаясь в темноте, падая, матерясь, повисая на проволоке, рубя на улицах кого попало, с маху взяла село.

Реки Случь, Горынь, Иква, Буг, болота Восточной Галиции только мелькают в глазах буденовцев. Прет на Львов Ворошилов с Буденным, близясь к столице Галиции. Еще три перехода, и рухнет выдавший военные виды Львов. Сталин торопит Ворошилова брать Львов раньше, чем Тухачевский ворвется в Варшаву. Тухачевский торопится с варшавским приступом. Точь-в-точь так же торопились генералы Иванов и Рузский, шедшие этими ж путями в 1914 году. Как сообщают мемуары, переругивались тогда генералы по проводам даже «ночью в одних кальсонах».

Уж под Бродами, исполосованная грабежом, смертями, шашечной рубкой, со стоном, гиком несется конница Ворошилова. Все ближе, перед катящимся польским фронтом, под прикрытием огня тачанок, на горизонте вырастают в гигантском облаке пыли градовой тучейдвигающиеся буденовцы.

Звон под копытами, ветер в ушах... Семьдесят лет назад друг Карла Маркса Энгельс писал о русской армии: «Тяжелая на подъем, эта полуварварская армия в решительных случаях, в больших сражениях никогда не применяла другой тактики, кроме массовой». Так она и прет на Европу, эта русская конница и пехота, только под угаром не марксизма от Маркса, а марксизма от Марса.

Но когда уж казалось миру, что Польша свалена и Ленин выпускает Ворошилова с Буденным на блестящие проспекты Европы, в варшавском Бельведере европеец генерал Вейган разгадал, что сметающий азиатский марш ворошиловских «чудо-богатырей» сделан только под угаром.

Под самыми стенами Варшавы рухнула неистовость русского наступления. Первого, кого разбил талантливый французский стратег, — саратовского парикмахера Хвесина. Армия Хвесина треснула неслыханным пораженьем, и Хвесин открыл тыл армий Тухачевского.

На русских прямых проводах у главкома Каменева со Сталиным повисла крепкая ругань: бросайте «львовскую приманку», свертывайте Буденного на Варшаву! А буденовцы всего в восьми верстах от Львова режут: «Даешь Львов!» — знают, что в городе богатая добыча. Но как ни трудно оторвать, тут уж оторвали буденовцев. Ворошилов свернул конницу через Замостье на Люблин, карьером пошли на подмогу Тухачевскому, да поздно.

Поляки ожили. Уже русский гик не действовал. Польская стратегия, как спираль, разжималась с зловещим свистом. Кавалерия генерала Станислава Галлера взяла Буденного под Замостьем в мешок сабельных клещей. Об этих боях так рассказывает в своих воспоминаниях писатель Бабель:

«Под Замостьем шестая дивизия скопилась в лесу у деревни, ожидая сигнала к атаке. Но начдив-6, поджидая вторую бригаду, не давал сигнала. Тогда к начдиву подъехал Ворошилов. Он толкнул его мордой лошади в грудь и сказал:

— Воыним, начдив-шесть, воыним.

— Вторая бригада, — ответил начдив глухо, — согласно вашему приказанию, идет на рысях к месту происшествия.

— Воыним, начдив-шесть, воыним. — Ворошилов рванул на себе ремни.

Начдив отступил от него на шаг.

— Во имя совести, — закричал он и стал ломать сырые пальцы, — во имя совести, не торопить меня, товарищ Ворошилов!

— Не торопить, — прошептал Клим Ворошилов и закрыл глаза. Он сидел на лошади, глаза его были прикрыты, он молчал и шевелил губами.

Казак в лаптях и в котелке смотрел на него с недоумением. Штаб армии, рослые генштабисты, делали гимнастику за его спиной и посмеивались. Скачущие эскадроны шумели в лесу, как шумит ветер, и ломали ветви. Ворошилов расчесывал маузером гриву лошади.

— Командарм, — закричал он, оборачиваясь к Буденному, — скажи войскам напутственное слово! Вот он стоит на холме, поляк....

Поляки в самом деле были видны в бинокль. Штаб армии вскочил на коней, и казаки стали стекаться к нему со всех сторон.

— Ребята, — сказал Буденный, — у нас плохая положения, веселей надо, ребята...

— Даешь Варшаву! — закричал Ворошилов, поднял коня на дыбы и влетел в середину эскадронов.

— Бойцы и командиры! — закричал он со страстью. — В Москве, в древней столице, борется небывалая власть! Рабоче-крестьянское правительство, первое в мире, приказывает вам, бойцы и командиры, атаковать неприятеля и привезти победу!

— Сабли к бою... — отдаленно запел начдив-6 за спиной командарма. Красный казакин начдива был оборван, мясистое, омерзительное лицо искажено. Клинком неценной сабли он отдал честь Ворошилову. — Согласно долгу революционной присяги, — сказал начдив-шесть, хрипя и озираясь, — докладываю Реввоенсовету Первой Конной, вторая непобедимая кавбригада на рысях подходит к месту происшествия.

— Делай, — ответил Ворошилов и махнул рукой. Он тронул повод, Буденный поехал рядом с ним, они ехали на длинных кобылах в одинаковых кителях и в сияющих штанах, расшитых серебром».

Но уж генерал Вейган разгадал, в чем секрет русской силы. Жестоким пораженьем ударили поляки на Буденного под Замостьем. Дрогнули буденовцы и, не прорвавшись в Европу, еле-еле вырываясь из польского мешка, отступая, через Грубешов — Луцк — Ровно — Новоград-Волинский понеслись карьером отчаянья и пораженья. Отброшена от «бастиона Европы» скифская конница. Захлестывая паникой отступленья местечки, деревни, города, буденовцы неслись назад на Россию.

В Реввоенсовет Ворошилову поступают донесенья за донесеньями, но уж не о победах, а о погромах, убийствах и пьяных грабежах. Вместо разгрома Польши и Европы, полетел пух еврейских перин, перерезанные горла старух, разломанные шкафы, разорванные кошельки, пропоротые животы, разбитые квартиры.

Ворошилов темнел.

— Лучше смерть, чем такой позор! — кричал в Луцке на собрании командиров. Одного из командиров полков арестовал, но взбунтовался весь полк.

— Ни за что арестован! Старый командир! Кровь проливал! За жидов и коммунистов хватают нашего брата! Не пойдем без него! Освободить!

Бунт полка разорвал автомобильный гудок. На площадь вомчался автомобиль. Команда «смирно!». Из машины выпрыгнул Ворошилов, за ним сумрачный Буденный, не любивший выступать в роли усмирителя, но приехавший по требованию Ворошилова.

— Выровнять полк! — закричал Ворошилов.

У донского слесаря единственно что есть, что вынесло его и сделало карьеру, — бесстрашие и мужественность, Под мертвую тишину новый командир полка доложил о случившемся. Ворошилов перекошил скуластое лицо, сказал силно:

— Выдать зачинщиков! Зачинщиков выдать! — заревел, наступая на строй полка.

По рядам пополз недобрый шепот. Из задней шеренги неуверенные голоса:

— Командира отпустите, ни за что страдает!

— Ни за что?! Он, гад, пролетарскую армию позорит! Пулемет!

И перед полком выкатили пулемет, к нему подошел и сел пулеметчик.

— Выдать зачинщиков! — По голосу бойцы поняли, слесарь не шутит, сейчас пустит по полку очередь, и ничего ему, кроме награды, из Москвы не будет. В тишине послышалось:

— Товарищ Ворошилов, простите.

Зачинщики выданы, их под конвоем повели в ревтрибунал, полк знает — расстрел. А Ворошилов, садясь в машину с Буденным, бормочет:

— Арестовали выпевших бандитов, позорили полк, гады...

И все ж по Полонному, Любару, Прилукам, Аннополю, Берездову, Таращам шестая дивизия Апанасенко прошла такими еврейскими погромами, каких не видывали евреи ни при царе, ни при белых. А ведь еще недавно Троцкий присылал Буденному телеграмму: «Обнимаю героя Буденного». Правда, буденовцы убивали и грабили местечковых евреев, которые предавали в синагогах Троцкого «херему» и для которых предреволюционного всего-навсего «шруцим», то есть никуда не годный человек, о которых еще в талмуде сказано: «Они будут у власти на вред людям, только ненадолго».

Командира полка, Шепелева, попробовавшего было в Полонном прекратить погром, буденовцы убили зверским самосудом.

Это сокрушительный удар по имени Ворошилова в Кремле и в партии. Орган политического отдела Конармии ворошиловская газета «Красный кавалерист» запестрела заголовками: «Смерть бандитам», «Вон из наших рядов», «Заклеймим позором». И Ворошилов отдал приказ:

«Начдива-6 Апанасенко за преступное систематическое попустительство и бездействие власти, в то время как в

течение трех недель части вверенной ему дивизии производили грабежи, убийства и насилия, немедленно арестовать и предать суду ревтрибунала».

Погромы — скандал государственного масштаба. Из Кремля пришли запрашивающие о событиях телеграммы Ленина и Троцкого. В Конармию спешно прибыли Калинин, Каменев, Курский, Преображенский.

На параде в их честь Ворошилов говорил о славе Конармии, о верности ее заветам Ленина и, наконец, обращаясь к бойцам, перешел к погромам:

— Товарищи! Красные бойцы славной непобедимой Первой Конной! Еще недавно я был в Москве, имел там разговоры с товарищами Лениным, Троцким и главнокомандующим Каменевым. Все они заявляли мне, что придают нашей армии огромное значение и что в смысле снабжения наша армия будет всегда стоять на первом месте! Наш главнокомандующий высокого мнения о командарме товарище Буденном, считает его выдающимся командиром, его достоинства: идет на шашку, бережет, не перетягивает коней, знает коня и человека, понимает боевую обстановку и противника! Лучшие люди республики, товарищи, ценят нашу Первую Конную и надеются на нас! Враг тоже знает нас и боится! Но вот в нашей среде, в нашей Первой Конной, появилась кучка негодяев, которых большинство из нас молча терпит. Нужно выкорчевать сволочь! — гаркнул Ворошилов, напрягая упорное, упрямое лицо, — вывести нужно подлую гниль из армии!..

Изрубленные в боях поседелые буденовцы, погромами разносившие польские деревни, еврейские местечки, разнесшие беспримерным грабежом Ростов, Екатеринослав, Новочеркасск, сидели сумрачно на конях, слушая, что «несет с седла Клим».

А когда Буденный выступил с речью о хулиганах, насильниках, предателях, погромщиках, агентах буржуазии и мирового империализма, конники ухмылялись в седлах, знали, что свой брат Семен заливаает приезжим гостям.

Но Ворошилов и здесь поступил круто. Дивизию Апанасенко приказал расформировать. Это было трагическое событие. Перед молчащим строем бойцов выехал Ворошилов, и раздалась команда:

— Сдавай знамена и оружие!

С седел ответило молчанье. Казалось, дивизия дрогнет, не сдаст ни заслуженных в боях знамен, ни оружия. Но бойцы знали Ворошилова, и началась сдача оружия и знамен. Зачинщики погромов, 153 человека, по приказу Воро-

шилова были расстреляны. А вечером в заседании с Калинин и Камневым шумел буйный глава Конармии Ворошилов:

— Да что я, за грабеж, что ль?! Я, что ль, граблю? Но надо ленинцем быть, вот что! Правду в глаза резать! Нам на Крым, на Врангеля идти, а что, вы бросите их в бой без грабежа?!

И когда Конармия тронулась на юг, в степи Таврии, против генерала барона Врангеля, хорошо знавший душу своих бойцов Буденный отдал красным орлам следующий приказ от 16 октября 1920 года:

«Славные товарищи, орлы, бойцы и защитники Советской республики! После героической борьбы с польской шляхтой мы должны покончить с золотопогонниками генералами и белыми бандами. Мы должны во что бы то ни стало взять Крым, и мы возьмем его, чтобы потом начать мирную жизнь. Немецкий барон делает отчаянные усилия, чтобы удержаться в Крыму, но это ему не удастся. Ему помогают изменники революции — евреи и буржуи. Но достаточно будет решительного удара славной конницы, и предатели будут сметены. Будьте стойки и беспощадны. Крым будет наш! Командарм Буденный».

И еще раз по Крыму прошли шашками буденовцы, выколачивая изо рта убитых золотые коронки. Но это были детские игрушки по сравнению с потрясающим погромом всего Крыма, во главе которого встал полусумасшедший садист Бела Кун, будапештский коммивояжер и диктатор Венгрии. Бела Кун залил Крым кровью. Когда цифра зверски убитых перевалила за 50 000, в Москве поняли, что коммивояжер не только хороший зверь, но еще зверь сумасшедший, и Бела Кун отбыл в Москву на прежнюю коминтерновскую работу: готовить коммунистические революции в Европе.

Крымской победой закончилась русская гражданская война и карьера в ней красного маршала Ворошилова. Не будет преувеличением сказать, что самую крупную роль в победе красных над белыми в гражданской войне сыграла Первая Конная армия Буденного.

В этой парадоксальной победе — вся заслуга Ворошилова перед Кремлем: подлинно национальной, ярко антикоммунистической, степной казацко-мужицкой силой Ворошилов разбил считавшиеся национальными армии белых генералов. Это именно он, донской слесарь, обратал буденновскую конницу кремлевским недоуздком и на нем удержал ее.

ПЕРВЫЙ МАРШАЛ

С 1921 по 1924 год Ворошилов — командующий Северо-Кавказским военным округом. С 1924-го по 1925-й — Московским. С 1925-го — он народный комиссар по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета СССР. А с 1926-го — член правящего Россией всеильного Политбюро ЦК ВКП(б).

Ворошилов подлинный первый маршал республики и глава армии. Когда в «Марше Буденного», по иронии судьбы написанном на мотив еврейской свадебной песни, красноармейцы поют о Ворошилове «готов он умереть за СССР», это — верно. Ворошилов умрет за СССР хотя бы потому, что вместе с СССР он — военный министр 160-миллионного государства, а без СССР — паденье.

Говорят, Ворошилов не забыл поговорку: «Черт возьми, что мы будем смотреть!» Но бывшего металлиста уже не узнать ни по речам, ни по внешности. Он военный с ног до головы. Окруженный бывшими царскими генералами и красными маршалами, Ворошилов ждет побед своей армии. Среди головки советского генералитета читает коминтерновские доклады о противоречиях английского и американского капитала и о неминуемом, по его мнению, столкновении этих сил, влекущем войну для СССР на Дальнем Востоке. Вместе со своим помощником Тухачевским Ворошилов занят планами будущей мобилизации, воздушной, химической, бактериологической подготовкой, созданием сети заводов, работающих на оборону.

— Нам не нужны завоевания, но в случае нападения мы не отдадим ни пяди русской земли! — заявил Ворошилов в речи о Дальнем Востоке.

Это звучит уже не столько «Коминтерном», сколько «Климом 1-м».

Но первый маршал в сталинском политбюро иногда говорит некоминтерновские речи. Ему это можно, у него преимущество, он водитель армии, и, когда выезжает из Кремля принимать парады, встречные крики в его честь бурны.

Как когда-то стареющий Марий показывал римлянам свою еще силу и свежесть, с молодежью меча диск и выходя в публичных гимнастических упражнениях, так и военный министр России показывает себя народу.

Ворошилов участвует в 100-верстном пробеге красных командиров-кавалеристов. Подымаясь на седло, чтобы вместе с другими знаменитыми маршалами ехать по тем дон-

ским степям, где когда-то с Буденным ходили в атаки, смеясь, говорит:

— А ну-ка! Мы со старым Маузером еще не подкачаем!

И хоть не первым среди конников пришел Ворошилов к старту, зато никого такой бурей оваций не встретил ипподромом, как подъехавшего шагом Ворошилова.

Ворошилов еще бурен, темпераментен. Раньше певал частушки, теперь у профессоров учится петь оперные арии, а старые песни о том, как «потеряла я колечко», поет только в буйной, грузно залившей за галстук «скобелевской» военной компании.

Отдавая дань старым традициям Империи, красный министр увлекается кулисами балета и театра. Это было б малоинтересно, если б не соприкасалось с высокой политикой. Вся Россия знает, как однажды в романе с красивой артисткой Ворошилов узнал, что его любовница не что иное, как подсланный к военному министру начальником ленинградского ГПУ Мессингом секретный сотрудник. Неизвестна сцена с актрисой. Но к Мессингу Ворошилов явился в деловой кабинет, и тут произошла неевропейская сцена. Всесильного начальника ГПУ военный министр избил так, как дрался когда-то еще на луганских боях молодым рабочим. По требованию Ворошилова политбюро в 24 часа сняло Мессинга с должности.

Ворошилов может «схватиться в споре» в политбюро со Сталиным, стукнуть кулаком по столу, на шуметь. Но Сталин, мастер макиавеллиевских комбинаций, умеет укротить хоть и буйного, хоть и стучащего по столу Ворошилова. Когда в заседании политбюро по вопросу о коллективизации крестьянской России Ворошилов стал сопротивляться, Сталин встретил протест Ворошилова ироническим смехом и заявлением, что «наркомвоен испугался». Разыгрался скандал, бешеный Ворошилов бросил Сталину в лицо пачку красноармейских писем, кричал: «Ты хочешь восстановить против нас всю мужицкую Россию!» Но маршал — отходчив. Сталин взял, уговорил, сломал Ворошилова будущей «славой и мощью» Красной Армии, ее будущими победами под водительством Ворошилова, после пятилетнего плана, который «без коллективизации немислим». И первый маршал не в первый раз сдался генеральному секретарю.

В Ворошилове уже мало осталось от буйного, непокорного Володьки. Этот отяжелевший военный министр давно оторвался от слесарей и шахтеров Донбасса. Оттуда ему пишут, просят о нуждах, жалуются рабочие. Сами едут в

Москву ходоки посмотреть на бывшего слесаря, не задремал ли он в красном кресле? Помнят Клима ходившим по миру за милостыней сопливым Климкой, лампоносцем Климушкой, забойщиком Климом и буйным Володькой.

Москва. Древний Кремль. Часовые. Дворцы. Гулкие коридоры. Затянутая коврами приемная. Адьютанты. Секретари. Суровая тишина. Наконец — кабинет министра.

Из-за стола подымается поседелый, отяжелевающий, коренастый, среднего роста человек в красноармейской форме со всеми четырьмя орденами Красного Знамени. Вот он.

Ворошилов смеется. Принимает так, как принимают знающие власть, но умеющие играть самую искреннюю позу вельможи большого государства. Только тут не европейский, а пролетарский тон.

— Ах ты, курья нога, а ты все такой же! — И хлопает короткопалой, когда-то заскорузлой рукой по плечу гостя.

Бог весть какой конец сужден шумной карьере военного министра СССР. Годится ли еще на крупные роли этот 52-летний первый маршал? Или, став сановником и вельможей России, министр-слесарь просто-напросто сладко дремлет в завоеванном кровью кремлевском кресле?

ПОЛКОВОДЕЦ ПОД ПСЕВДОНИМОМ

Среди красных маршалов СССР В. К. Блюхер — полководец первого ранга. Послужной список Блюхера богат и блестящ. Блюхер — сильная, колоритная фигура. Но самое замечательное в Блюхере то, что ни в СССР, ни за границей никому не известно: кто ж он на самом деле, этот популярнейший маршал Советов? Блюхер — «генерал Нето», Блюхер — «полководец под псевдонимом». Вокруг этого стратега и организатора, коммуниста, взявшего псевдонимом фамилию знаменитого прусского королевского генерала, только множатся домыслы, легенды, догадки. Но от них не тает, а гуще сгущается вокруг Блюхера темнота.

Легенды о Блюхере и таинственны, и авантюرنы. Смесь данных советской, иностранной и эмигрантской прессы дает неплохой фон для большого авантюрного романа: «Блюхер — рабочий от станка Медведев», «Блюхер — первоклассный иностранный организатор-авантюрист типа Требиш-Линкольна», «Блюхер — образованный русский офицер», «Блюхер — слесарь Мытищинского вагоностроительного завода», «Блюхер — русский унтер-офицер», «Блюхер говорит с сильным немецким акцентом», «Блюхер — майор Титц, офицер австрийского генерального штаба», «Блюхер — член коммунистической партии с 1916 года», «Блюхер — военнопленный германский офицер, бывший правой рукой полковника Бауера», «Блюхер — пролетарий, и его любимая поговорка «по сути дела», «Блюхер — выхоленный человек с отполированными ногтями», «Блюхер — ярославский крестьянин», «Блюхер в октябре обстреливал древнюю русскую святыню — Московский Кремль», «Блюхер подавил Ярославское восстание».

Может быть, в истории еще не было такого случая, чтобы полководец крупнейшей страны оставался легендой и мифом. Ложь, догадки, домыслы и правда, сплетшись, создали плотную «черную маску» на лице знаменитого псевдонима. Но маска не мешает, оказывается, Блюхеру играть крупную роль как в СССР, так и на мировой арене. Лишь единственный человек улыбается — генеральный

секретарь ордена «серп и молот». Ему точно известен этот полководец, выбравший себе имя победителя Наполеона при Ватерлоо, «генерала Форвертс».

На лице атлетически сложенного, спокойного, очень внимательного человека с крепкой посадкой головы маску бережно поддерживает и Советское правительство. Официальная биография Блюхера — фальшива. Она начинается так:

«Василий Константинович Блюхер родился в 1889 году¹ в крестьянской семье Ярославской губернии...» В какой деревне, селе? В какой волости родился «ярославский мужик Блюхер», заставивший «рычать Китай»? Место рождения Блюхера не дается. Не дается и его настоящая фамилия. Год и губерния — ищи-свищи полководца советских армий Василия Блюхера!

Вместо детства — избитый «пролетарский штамп». В сельской школе Блюхер «проучился всего полтора месяца». Для полководца маловато, но ничего не поделывать: родители увезли будущего красного маршала в Петербург, отдав там в магазин мальчиком. В магазине, конечно, на Васю ревели: «Жива! Ногами ходи! Ворона!» И бедный смысленый Вася, будущий победитель китайцев, носился вихрем по Петербургу за папиросами, булками, разносил покупателям пакеты.

Но Вася растет, он уже «ученик на Франко-Бельгийском заводе Берга». Он — Василий, и, конечно, слесарь «на ряде заводов Москвы и Петербурга». Первая революция 1905 года. Будущие руководители второй революции уже все на поверхности, но биограф не выдерживает: «В революции 1905 года слесарь Василий Константинович Блюхер участия не принимает. Почему? Где же был коммунистический генералиссимус, победитель двух баронов-генералов, двух казацких атаманов и северных полководцев Китая? Биография молчит. Но Блюхер, конечно, «старый революционер». Биограф говорит: «В 1910 году на Мытищинском вагоностроительном заводе под Москвой слесарь Василий Блюхер организовал стачку и за свои выступления был предан суду и осужден на 2 года и 8 месяцев тюремного заключения».

Это уж вежа в биографии революционера. Только она наспех написана. Самый тщательный просмотр всей петербургской и московской профессиональной прессы устанавливает: на Мытищинском заводе стачки в 1910 году не было.

¹ Василий Константинович Блюхер родился 19.11 (1.12) 1890 г. (Прим. ред.)

Профессиональная пресса тех лет пристально следит за стачками, подробно регистрируя и описывая их. 1910 год — период кризиса, число экономических конфликтов крайне невелико: в металлургической промышленности за этот год зарегистрировано всего 4 стачки. Но на Мытищинском заводе стачки не было. Пропуск, просмотр, ошибка исключены. Мытищинский вагоностроительный — крупнейшее предприятие, и еще невероятней, чтоб не зарегистрировалось осуждение рабочего, руководителя стачки. Такие репрессии вызывали статьи в рабочей прессе, запросы в Государственной думе. На подобные процессы (в те годы очень редкие) рабочие реагировали с обостренной чуткостью, хоть приговоры выносились относительно мягкие: несколько месяцев тюрьмы. Приговор же — «на 2 года 8 месяцев» — никак не мог бы пройти незамеченным в рабочем движении и его прессе.

«Стачка на Мытищинском», «ярославец по фамилии Блюхер», «отполированные ногти майора Титца», «обстрел Кремля» — мифы, легенды, сказки, ложь, вымыслы вокруг этого полководца. Фальшивая биография только плотнее придерживает маску на спокойном лице этого отчаянной храбрости и большой одаренности человека.

Среди полутора миллионов интереснейших досье генсек Коммунистической партии держит на ключе и досье человека, названного Блюхером.

«В 1914 году, — говорит биография, — Блюхер мобилизован и пошел солдатом на фронт. В ряде сражений выказал большую личную храбрость и был произведен в унтер-офицеры». Ну а полк? А места сражений, в которых выказал личную храбрость Блюхер? Неизвестны. Биограф торопится: «В 1915 году получил тяжелое ранение, будучи эвакуирован, после выздоровления уволен из армии, как негодный к строевой службе».

Негоден? А тысячеверстные походы с китайцами? А бои? А штурм по дну Сиваша, когда в одних красных рубашках в мороз шли сибиряки-блюхеровцы? А поход по ущельям Урала с боями в кольце у белых? А тургайские и оренбургские степи и бои с Шутовым? Негодный к службе царю Блюхер куда как годеи оказался в службе Советам.

Биография рассказывает дальше: «В 1916-м — Блюхер снова слесарь на Сормовских заводах под Нижним и на заводе Остермана в Казани, здесь опять он организует стачку, вступив в сношения с партией большевиков; после стачки бежал, скрылся в приволжском городке Петровске, стал работать там на маслобойном заводе. И после револю-

ции перебрался в Самару, поступив на местный патронный завод и вступил в коммунистическую партию».

Да, с Самары, мы уже знаем, — это «историческая» часть. Отсюда пошла отчаянная карьера отчаянного красного маршала. Но все-таки кто ж он, уже всемирно известный полководец?

С 1917 года Россия управляется «псевдонимно», но всем известно, что Ленин — Ульянов, Троцкий — Bronштейн, Сталин — Джугашвили, Зиновьев — Радомысльский, Молотов — Скрыбин и даже Ярославский — Губельман. Почему ж не поднять ни на минуту псевдоним Блюхера? Или его досье из тех, чьи не выдерживают света? Или нет ли уж, спаси Господи, у главнокомандующего, как и у убитого красного маршала Котовского, в прошлом тяжелых весом «мокрых» дел? «Ответа нет. Бушует вьюга». И пошел по России под фамилией немецкого генерала неизвестный полководец, творя русскую историю.

БЛЮХЕР ПОЯВЛЯЕТСЯ

По берегу Волги у Жигулей раскинулась Самара. Как все русские города, и она пережила революцию 1917 года с красочностью хаоса и анархии. И здесь пылал русский бунт стихией разрушенья и ненависти, вырвавшейся наружу после войны.

В Самаре в двери русской истории большевики ломились под водительством теперешнего друга Сталина и уже давно уставшего коммунистического вельможи председателя Госплана Валерьяна Куйбышева. Уже весной 1917 года расквартированный в Самаре 70-тысячный солдатский гарнизон шумел против Временного правительства, за немедленный мир, за Ленина, за власть Советов.

На солдатских митингах и собраниях, где разрывался в демагогии Куйбышев, появлялся и примкнувший к большевикам солдат 143-го пехотного запасного полка Василий Блюхер. Очень молчалив, очень силен, хоть и невысок, с наголо бритой головой, холодными, светлыми, уверенными глазами, с медленными крепкими движениями и руками боксера, Блюхер среди большевиков выделялся всем обратным Куйбышеву — молчаливостью и силой уверенности. А когда приходилось все ж и ему выступать, говорил обрывочно, коротко.

Никто не знал, кто он и откуда. Да и не было времени расспрашивать в этой буре, ломке и хаосе солдата Блюхера

о его биографии. И зачем? В те дни в России все родились лишь в феврале 1917 года.

К октябрю Самара уже была в температуре всероссийского бреда. По губернии крестьяне валили леса, жгли именья; последняя тень власти готовилась отлететь. И 26 октября в театре «Триумф» совершенно необычно зашумел самарский «конвент».

На общем соединенном заседании советов рабочих и солдатских депутатов с полковыми, ротными и заводскими комитетами, представителями «Комитета народной власти» и уездных крестьянских организаций в реве, в хрипе ночного заседания решался октябрьский переворот. Из Москвы и Питера принимались тревожные телеграммы — борьба большевиков с правительством. В «Триумфе» кричат о «всей власти советам!», «о свержении недостойного правительства Керенского!». И поздней ночью, перед рассветом, в Самаре победили большевики.

Под рукоплескания и крики прокуренного театра председатель собрания Валерьян Куйбышев оглашал принятую подавляющим большинством резолюцию: «Собрание заявляет, что демократия находится на положении борьбы с правительством и будет стремиться к его низвержению. Все распоряжения правительства и его агентов признаются недействительными. Единственной властью в стране демократия Самары признает власть советов. Собрание выбирает из своей среды революционный комитет, который обладает неограниченными полномочиями в борьбе с правительством и контрреволюцией!»

Так, в наводненном крестьянами, заполненном полупьяными солдатами театре «Триумф», в матерной брани, в плевках, на полу, густо устланном ковром налузганных семечек, родился самарский октябрь. Вслед за Питером, за Москвой отвалил и богатый волжский город от берегов февральской революции.

Здесь, в «Триумфе», решалась и военная карьера неизвестного унтер-офицера Василия Блюхера. Сильный, собранный Блюхер не выступал, не говорил, но солдаты знали, что крепче «Блюхерова» нет в Самаре большевика. И таинственный красный маршал, к которому с таким вниманием присматриваются сейчас в Японии и Америке, сделал первый шаг своей карьеры именно из театра «Триумф».

Рассветный свет уж наполнял грязные залы театра. Взмокший, осипший, прошедший-таки по питерской директиве переворот, сын полковника, большевик Валерьян Куйбышев в реве собрания повалился в председательское кресло.

Под свист, крики, гомон эсеры, меньшевики покидали театр. А товарищи Куйбышева составляли уже список 13 человек революционного комитета, к которому через час перейдет вся власть в городе и губернии и который свернет Самару на путь всероссийского взрыва: «Куйбышев, Герасимов, Тиунов, Митрофанов...» Из солдатской толпы крикнули: «Блюхера!» — но уставшее собрание не поддержало, и осипший Куйбышев уже голосовал «чертову дюжину» ревкома.

В «чертову дюжину» красный маршал Блюхер не вошел, хоть официальная биография туда его и зачисляет. Солдаты, рабочие, члены совета вывалились на рассветшую улицу, шумя о происшедшем перевороте. Нетрезвых вывели под руки. В «Триумфе» же остался заседать избранный ревком и военные — большевики.

В 6 утра 27 октября открылось это первое заседание. В повестке стояло: назначенье военного комиссара к начальнику гарнизона генералу Савич-Заблоцкому. Выставили две кандидатуры: прапорщика Мельникова и солдата Блюхера. Мельников и Блюхер чрезвычайно разны. Неуравновешенный, демагогический, толком сам не знавший, зачем пошел он к большевикам, Мельников и крайне уравновешенный, молчаливый Блюхер. Большинством голосов Мельникова выбрали комиссаром, Блюхера помощником.

К 8 часам прямо с заседанья, взяв первого попавшегося извозчика, Мельников и Блюхер поехали в штаб генерала. Меньше чем через год этих ехавших на одном извозчике людей развело дальнейшее течение революции. Ставший командующим красным фронтом, неврастенический прапорщик, не выдержав большевизма, перебежал к белым, а белые, не поверив, расстреляли Мельникова в ограде монастыря. Молча же ехавший с ним на извозчике Блюхер к моменту расстрела Мельникова уж был кавалером ордена Красного Знамени, этим начав карьеру маршала.

В кабинет начальника гарнизона первым вошел Блюхер.

— Гражданин генерал! Взявший в Самаре власть в свои руки революционный комитет назначает нас с сегодняшнего дня состоять комиссарами при начальнике гарнизона!

— То есть при мне, — беспокойно улыбнулся генерал.

Мельников сел и заговорил необычайно революционно о власти народа, новой армии, о том, что начальники должны переродиться. И генерал и Блюхер видели, что прапорщик глуповат. Когда Мельников кончил, генерал сказал кратко:

— Люди мы военные, стало быть, о вашем назначении надо отдать приказ.

— Правильно, — ответил Блюхер, прохаживаясь по обширному кабинету, где еще недавно висели в рост портреты Николая I и Николая II.

Генерал Савич-Заблоцкий диктовал приказ за номером 268. «Объявляю для сведения копию постановления революционного комитета совета рабочих и солдатских депутатов, — непривычно произносил неудобные слова генерал. — Копия. Ревком объявляет Самарскому гарнизону, что при начальнике гарнизона назначается военным комиссаром прапорщик Сергей Мельников, а его помощником солдат Василий Блюхер, которым и дает полномочия отдавать самостоятельно, за их подписью, приказы и распоряжения командирам полков и бригад, а также полковым и бригадным комиссарам и входить в связь с полковыми и им равными комитетами. Подписи: начальник гарнизона, начальник 31-й пехотной бригады генерал-майор Г. А. Савич-Заблоцкий».

Генерал, подписав бумагу, передал ее для подписи Мельникову и Блюхеру.

Карьера началась. Не только генерал, но весь штаб понял с первых дней, что с этим малоразговорчивым, интеллигентным, прекрасно одетым, ловко выправленным, сильным Блюхером — разговоры коротки. В море российской анархии это, конечно, так называемая «твердая власть».

Уже 29 октября Блюхер с двумя ротами солдат разоружил на Трубочном заводе казачью сотню. В ту же ночь по его указанию отряды красной гвардии восемь раз обыскали типографию и редакцию «Волжского слова», захватив воззвания сопротивляющегося большевикам «Комитета народной власти». На телеграф Блюхер ввел вооруженную силу, удалив служащих. Разогнал захвативших типографию анархистов. И отправил уполномоченных закупать оружие в Москву и Тулу. Из «доисторической» темноты уже показался исторический Блюхер.

БОРЬБА С ДУТОВЫМ

Первым белым военачальником, в боях с которым пришлось столкнуться таинственному Блюхеру, был атаман Оренбургского казачьего войска Александр Ильич Дутов. В мировую войну командир шефского 1-го Оренбургского ка-

зачьего полка, природный казак, полный, чуть сутулый, от контузии (когда отпустил бороду) с половиной седой бороды, офицер генерального штаба Дутов выдвинулся в первые ряды казаков к моменту Октябрьской революции.

Будучи хорошим военным оратором, умея играть на казачьих струнах, уже на общеказачьем съезде в Петербурге Дутов привлек к себе внимание, а к моменту октябрьского переворота стал выборным оренбургским казачьим атаманом.

Дутов не признал Октября ни на один день. Атаман печатно заявил, что не подчиняется большевистской власти, и в Оренбурге начал формировать казачьи отряды для вооруженной борьбы.

Но на Оренбург, по улицам которого в желтом овчинном полушубке, в руке с атаманской булавой, окруженный охраной, ходил Дутов, в декабре 1917-го двинулись красные матросские отряды. Пришедшие с фронта мировой войны разложенные казаки-фронтовики не захотели сражаться еще и под родным Оренбургом и открыли матросам город. Красная гвардия ринулась в казачью столицу.

До последней минуты Дутов оставался в Оренбурге. Только когда уж по улицам бежали ворвавшиеся матросы, атаман с комендантом города высадили с извозчика какого-то седока на мостовую и на рысак в сумерках помчались из Оренбурга.

За голову Дутова большевики объявили награду, но так и ушел от красных матросов казачий атаман, увезший с собой только булаву, и, засев в Верхнеуральске, созвал Войсковой Круг оренбургских казаков, чтобы снова отсюда вести сопротивление большевикам.

В русскую революцию и гражданскую войну многие белые и красные военачальники освежали в памяти биографию Бонапарта. Не забыл ее и Дутов. У Дутова были данные: военный талант, храбрость, ораторский дар, умение поднять войска; но люди, близкие к нему, знавали и иные черты казачьего офицера: легкомыслие и любовь к удовольствиям жизни, из-за которых подчас на многое махал рукой веселый атаман.

В 1923 году в Западном Китае к штабу уже выбитого из России Дутова подскочил степной киргиз, привезший для атамана «секретный пакет». Дутов вышел к посланцу на крыльцо. Подкупленный агентами ГПУ киргиз подал атаману левой рукой пакет, а правой выстрелил в упор в Дутова и убил наповал. Так кончил жизнь казак, атаман А. И. Дутов.

Но тогда, в 1918 году, в Верхне уральские за ним пошли старики казаки, башкиры, сформировались партизанские юнкерские и офицерские части, и Дутов двинулся на север на захват железнодорожного узла у Челябинска.

План Дутова был правилен: отрезать от большевистской России Сибирь. Но этот план поняли и в Москве. Против Дутова из Великороссии пошли первые красногвардейские отряды всевозможной шпаны и матросов. Эти отряды были б мало страшны, если б внезапным сильным противником атаману не встал самарский комиссар, неизвестный Блюхер, пошедший на него из Самары.

Еще в штабе генерала Савич-Заблоцкого Блюхер и Мельников получали из Оренбурга тревожные вести: казаки организуются, создают фронт, Дутов раздувает огонь борьбы и в любой час может стать угрозой красной Самаре. Блюхер начал спешную организацию сопротивления: сформировал боевые батареи, двинул надежные красные отряды. А когда к весне угроза Дутова в оренбургских степях на зрела, Блюхер сам пошел во главе отборных войск.

Не в сравнение с прочими сколотил Блюхер свой красный «кулак». Сказалась главная черта неизвестного военачальника: основательность. В отрядах Блюхера — военнопленные немцы, мадьяры, красные казаки, большой процент коммунистов, но на командных должностях старые офицеры. Отряды первоклассно снабжены и снаряжены, и, как сообщает один из бойцов, Баландин, в «кассе отряда имелось более полутора миллионов рублей». Блюхер пошел воевать «всерьез и надолго».

Летом 1918 года о Блюхере, бросившемся на помощь зажатым Дутовым красным, у белых пошла уж молва как о «немецком лейтенанте». В раскаленный жар, доходивший до 35 градусов, когда от солнечного удара гибли люди и лошади, торопясь на выручку партизанских «Боевых организаций народного вооружения», Блюхер ехал верхом по безводным степям впереди своего интернационального войска. Вел его быстрыми переходами. И в момент, когда сопротивляющиеся Дутову красные, взятые белыми в кольцо, в оренбургских степях уж изнемогали, к ним неожиданно под Белорецком с двух сторон подошла помощь. С одной — Блюхер. С другой — Николай Каширин, авантюрный красный подъесаул Оренбургского казачьего войска.

Под жарким небом, в степях, цветших ирисом и тюльпанами, разыгрались жестокие бои у Дутова с Блюхером и Кашириным. В отчаянных степных атаках, в рубке на всем скаку сходились здесь с белыми офицерами, башкирами,

киргизами навербованные Блюхером мадьяры и немцы, белые казаки-отцы с красными сыновьями; теперь это смертельные враги.

«На взмыленном коне летит отец на сына, оба казаки, оба знают приемы, когда-то первые уроки рубки давал сыну отец, а сейчас он ловким казацким ударом с выворотом раскроит сыну череп. Но сын скрылся за коня, оставаясь на одном стремени, держась за луку; шашка разрешила воздух, сын поставил на дыбы коня, повернул за отцовским; момент — и плеть накинута на шею отца и сын крутит черен плети, стягивая ту же шею врага; еще один-два поворота — старый казак, брызнув слюной, мешком катится с лошади» — так описывает один из блюхеровцев эти бои, когда раненые раненым «вывертывали локтевые суставы и откусывали носы». Красными командовал в этих боях беспощадный командир — Блюхер. За «твердокаменную» железную руку и признали в Блюхере настоящего начальника, с бору, с сосенки собранные красные партизаны, воскресившие в тех же степях времена пугачевщины. Только не казак Емельян, а неизвестный Блюхер вел их.

Когда-то из-за весеннего разлива Урала недавшаяся Пугачеву Верхне-Яицкая крепость — Верхне уральск — дала теперь разномастным беспощадным отрядам Блюхера. Напрасно наступали вновь от Троицка казаки Дутова, Блюхер отбросил их и, выйдя за Верхнеуральск, стремительно погнался за атаманом, по пути дотла выжигая мятежные, помогавшие Дутову станицы. Блюхер пытался догнать, доконать непокорного Московскому Кремлю атамана.

В оренбургских станицах пошел разрастаться слух «идут красные, мадьяры, немцы, казаки, конницей командует венгерец, по-русски слова не говорит, а над всеми — командир-немец Блюхер. Сами слышали, как с военнопленными по-немецки говорил».

Но как ни спешил за Дутовым Блюхер, дымя но степям гарью сожженных станиц, — не догнал. Далеко в Тургай ушел Дутов, скрывшись в киргизских кошах.

А военный успех изменчив. Когда Блюхеру в тургайских степях уж казалось, что всему Оренбургскому казачьему войску он нанес удар, после которого казаки не встанут, телеграф принес в степной штаб неожиданное известие: в Челябинске против красных восстали чехи, вместе с белыми произвели переворот, за Челябинском пала Самара, вся железная дорога Челябинск — Самара — Оренбург

уже в их руках, под властью нового самарского правительства — «Комитета Учредительного собрания».

Восстанье чехов под командой полковника Чечека жестоко заставило задуматься Блюхера. И к Дутову в степи дошли эти вести. Из Тургая атаман снова двинулся на Оренбург. А Блюхер с красными отрядами внезапно оказался зажат, окружен и отрезан от красной России.

Среди блюхеровско-пугачевских войск стала вспыхивать паника. Видя полное окружение, начали по ночам разбегаться в степи, куда глаза глядят. В эти дни погиб один из красных командиров страшной смертью. Свои же обозленные партизаны бросили в реку и когда тонущий кричал: «Товарищи, спасите, со мной сто тысяч денег... все вам отдам...» — «Тони, собака, и с деньгами!» — отвечали, и ни один не шевельнулся с берега.

Холодный, жесткий, малоразговорчивый командир, слывший «немецким лейтенантом», Блюхер под Белорецком собрал совещание начальников; тут — Николай и Иван Каширины, Никита Опарин, Борцов, Дамберг, Калмыков, Каюков, Енборисов; но выбранный командующим всеми отрядами Блюхер перебил сразу шум спорящих командиров:

— Судить да рядить не приходится. Известно, что отрезаны, надо одно — разрабатывать скорей план прорыва, а время на ерунду терять нечего. Главное — держать отряды в железной дисциплине, если кто дрогнет — на месте пулю в лоб!

И Блюхер предложил три варианта прорыва. 1. На Самару; 2. В Туркестан и 3. Через Верхнеуральск и Миасс на Екатеринбург.

— По сути дела, нам лучше тут прорываться, путь короче, да и местность не так разорена, только сломить дутовцев под Извозом, и пойдет легче. В Пермской же губернии наверняка должна быть наша 3-я красная армия.

В споре, волнениях, криках партизан Блюхер настоял на третьем варианте. И названный Южноуральским отряд в 10 000 человек на рассвете под командой Блюхера и Каширина двинулся прорываться на Екатеринбург.

Труден был прорыв. От Белореченского завода до Верхнеуральска, на расстоянии пятидесяти верст, красные двигались с непрерывными боями, в сутки отбивая по четыре версты.

В прорывавшейся по степям длинной ленте Южноуральского отряда, тянувшегося с обозом, женами, скарбом, детьми, то и дело вспыхивала паника. Проезжавший верхом

мимо ленты обозов главком Блюхер бормотал ругательства: скарб, бабы задерживали подвижность.

Но все ж на десятый день Блюхер подошел к горе Извоз и дал здесь генеральное сражение белым. Два дня шел рукопашный конный и пеший бой. Николай Каширин был ранен, его заместил брат Иван. На второй день боя белые растрепали уже вдребезги Южноуральский отряд; обоз раненых утроился, у артиллеристов осталось на орудия по 50 снарядов, пехота — почти без патронов. И Блюхер под горой созвал совещанье командиров. Ясно, на Миасс и Екатеринбург не прорваться. Блюхер предложил новый план — идти в район Бирска через Стерлитамак.

Еще никогда в отрядах не было такой неуверенности. Площадно ругали бойцы командиров, что зря по степям водят, бросают куда хотят, народ за ничто считают. «Разговорчики» смолкали только при появлении сумрачного крепко скроенного Блюхера: с этим дело — короткое. Но все-таки недовольство росло, перекинулось даже к командирам. И когда в сумерках авангард Южноуральского отряда подходил к Белорецку, командиры Енборисов и Каюков, во главе двухсот конников, остановились на проселочной дороге и Енборисов вдруг гаркнул с седла:

— Довольно нас Блюхеру по степям водить! Кто с ним, пусть остается, а кто к женам да матерям — за мной! — И, повернув коня, Енборисов, за ним Каюков и двести конников бросились вскачь по дороге к Верхнеуральску.

Блюхер приказал стрелять по изменникам, пустить погоню. Поднялась суматоха. Грохнула стрельба, но ускакали Енборисов с Каюковым, а на тихой дороге остались лежать несколько не доскакавших до матерей убитых казаков.

Но не спасся Енборисов. Понадеялся на отца, начальника штаба атамана Дутова, что заступится, а крутой старик приказал казакам расстрелять прискакавшего изменника-сына.

Блюхер двигался на Стерлитамак. 12 августа подошел к Петровскому, завязался бой. От Блюхера в атаку пошел конный полк имени Степана Разина с развевающимся по ветру красным знаменем, украшенным черепом и скрещенными костями. 14 августа с трудом Блюхер занял самый важный для дальнейшего прорыва пункт — завалившийся в отрогах Урала Богоявленский стекольный завод, отстоящий от Уфы на сто верст.

Ночью здесь, в заводском саду, под председательством Блюхера открылось собрание всех красногвардейцев. На террасе, в темноте, среди колонн, освещенный керосиновым фонарем, стоял перед партизанами и рабочими-стекольщи-

ками, пришедшими вместе с женами и детьми, главком Блюхер.

Плотного, в шлеме, с маузером на боку вышедшего на тускло освещенную террасу Блюхера долгим «ура!» приветствовала темная ночная толпа. Это был самый жуткий момент похода-прорыва. Блюхер заговорил, что бойцам, если хотят пробиться, надо здесь же, на заводе, бросить жен, детей и имущество.

Тихо слушали речь Блюхера бойцы. Но все ж этому человеку подчинились, даже вторичным «ура!» и выкриками «Да здравствует Блюхер!» проводили его, и в темном саду долго не смолкал шум бойцов.

До минимума сократив обоз, Блюхер тронулся от Бого-явленского завода по заново выработанному плану, имея слева реку Белую, справа гористый хребет Урала, на Архангельское — Иглино — Бирск — Красноуфимск.

Меж теснин в боях через реки Сим и Зелим шли отряды Блюхера, впереди конница Ивана Каширина, отряд Томина, за Томиным мелкие отряды, в арьергарде конница Калмыкова.

Без шинели, размахивая маузером, появлялся Блюхер среди бойцов в моменты опасности. У него в отрядах — железная дисциплина.

Но уже 3 сентября, после боя под Иглином, почувствовал не только «железный главком», а и все бойцы, что прорыв удался. 26 сентября у села Богородского Пермской губернии Южноуральский отряд вышел на советскую территорию, и авангарды настигли части 3-й красной армии.

Из штаба армии Блюхеру пришла восторженная телеграмма: «Приветствуем доблестные отряды Блюхера и Каширина! Ждем их, своих верных бойцов!» И вырвавшийся Блюхер в ответ телеграфировал в Москву, в Совнарком, Ленину и командующему 3-й армией: «Приветствую вас от имени Южноуральских войск! Приветствую рабоче-крестьянскую Советскую республику и ее славные красные войска! Прodelав беспремерный полуторатысячный переход по Уральским горам и области, охваченной восстаньем казачества и белогвардейцев, формируясь и разбивая противника, мы вышли сюда для того, чтобы вести дальнейшую борьбу с контрреволюцией в тесном единении с нашими уральскими войсками, и твердо верим в то, что недалек тот день, когда красное знамя взвzвется над Уралом!

Командующий Южноуральским отрядом Блюхер».

Эта стойкость командира Блюхера застала врасплох кремлевского наркомвоена Троцкого: у Кремля еще не бы-

ло орденов, и Троцкий, кого надо, награждал золотыми часами. Но по этому поводу наркомвоен приказал старым царским генералам выработать экстренно статут ордена Красного Знамени 4-х степеней.

Первым кавалером этого ордена оказался таинственный Блюхер, после награждения принявший в командование 30-ю имени ВЦИКа стрелковую дивизию.

ШТУРМ ПЕРЕКОПА

Но два следующих года гражданской войны ничем не выдвинули первого кавалера ордена Красного Знамени. В то время как прославились красные маршалы — Тухачевский на Урале «советской Марной», Ворошилов на Дону защитой «Красного Вердена», Котовский в боях под Петербургом и Одессой, Буденный во главе легендарной Первой Конной прогремел азиатским карьером на Польшу, — к Блюхеру слава не приходила.

Командуя 30-й дивизией, он воевал против чехов на Волге, во главе 51-й — против Колчака в Сибири; это второстепенные роли, на них Блюхер выявил себя решительным командиром. Но только под занавес гражданской войны, когда у Кремля остался единственный внутренний фронт — Крым, Блюхер прошумел, связав свое имя с эпическим штурмом Перекопских позиций.

Это была последняя схватка врагов. Уже сброшены в Черное море главные массы белых; уплыл по Средиземному морю в Англию главнокомандующий вооруженными силами Юга России генерал Деникин; в Константинополе монархисты застрелили его начштаба генерала Романовского. Вся разоренная Россия стояла в красном огне. И только в Крыму засел еще генерал барон Врангель.

— Все на Врангеля! Все на Крым! — И 100 тысяч красных штыков и сабель двинулись по степям Таврии.

Лишенный поддержки Антанты, барон Петр Врангель лихорадочно укреплял узкий Перекопский перешеек — вход в Крым, делая его неприступным врагу. Шесть месяцев рыли здесь одну линию окопов за другой, устанавливали тяжелую артиллерию, плели проволоку, выстроили пулеметные гнезда так, что на тысячу бойцов пришлось по 50 пулеметов; использовали все технические средства Севастопольской крепости. И когда к Крыму подходили красные, барон Врангель считал уже Перекоп неприступным.

За линиями укреплений стали лучшие войска — 1-я армия генерала Кутепова, 2-я генерала Абрамова, донские казаки; стянулись лучшие конные массы.

В августе 1920 года в осенних степях Таврии завязались первые бои за захват каховского плацдарма.

Во главе 51-й дивизии, выполняя самую ответственную задачу наступления, Блюхер пошел в атаку у Чаплинки и Каховки. Широким фронтом, во весь рост, без перебежек, под губительным шрапнельным и ружейно-пулеметным огнем, одетые в красные рубахи, шли блюхеровцы; с налету овладели высотой у хутора Куликовского. Ошеломленные такой атакой, белые сдали высоту, но, оправившись, бросились в контратаку. Это был страшный бой. По несколько раз переходила высота от блюхеровцев к белым. И красный Блюхер, и белый Кутепов в полной мере оценили друг друга — ночью оба отошли на исходные позиции.

Шел сентябрь. Начались морозы. Повалил снег. В отчаянных боях навалившимся красным белые сдавали позицию за позицией, и в конце месяца оборона каховского плацдарма рухнула. Теперь белые оказывали последнее сопротивление на узком Перекопском перешейке, на страшно укрепленных позициях.

Морозы пошли небывалые, в ноябре были уж в 20 градусов. Полуоборванные красные и белые кутались во всяческое тряпье, грелись тем, что запихивали под рубаху солому. Но за красными была уже Северная Таврия, и в белых вкрадывались надлом и отчаяние.

Темной полосой из темных вод выдавался Литовский полуостров. Здесь, на Перекопе, ждала Блюхера дальнейшая военная слава. 8-го на подступах к Литовскому полуострову начался бой за Перекопский перешеек. Угрюм, крут Турецкий вал, поднявшийся над плоскостью моря как стена, загораживающая вход в Крым. После овладения подступами красные бросились в лобовой штурм Турецкого вала. В атаку за атакой шли красные, но все атаки кончились неудачей.

С рассвета шел немолчный гул артиллерии. Стих вечером. Но развязка еще не настала. Белые стягивали все, что могли, в бой пошел даже личный конвой главнокомандующего.

Над морем, над Сивашем, над полями, усеянными трупами, над укреплениями перешейка катилась ночь. Этой ночью Блюхер двинулся с тремя дивизиями, пулеметами, артиллерией по дну Сиваша — во фланг и тыл врагу.

На морозе дрожали красноармейцы в одних гимнастерках; огня не приказано разводить, и войска в темноте шли на эту похожую на безумие, операцию.

На семь верст оторвались от берега блюхеровские войска. В семиверстном пространстве ни складки, ничего, что б позволило скрыться иль встать артиллерии на закрытую позицию. На мокром дне не вырыть и окопов. Здравый смысл говорил: если войска запоздают, до рассвета не подойдут к противнику, белые пулеметами уложат всех на дне Сиваша. Но Блюхера волновал не только рассвет.

— Не Кутепова боюсь, — говорил начштабу Триандафиллову, — Сиваша боюсь. Как начнет прибывать вода, что тогда?..

— Тогда Врангель будет зимовать в Крыму, — отвечал начштаба.

Когда последний 459-й полк группы Блюхера выступил из Владимировки, Блюхер со штабом верхом выехал вдогонку войска. Увязая, торопясь, по дну быстрым маршем шли войска, чтоб до утренника зайти в тыл врагу.

Сиваш высушило, обдуло ветрами. Ни вчера, ни позавчера не было воды. Но не только Блюхер, все торопящиеся красноармейцы, когда были уже на полпути, заметили, что ветер переменился, подул с востока. На левом фланге переходящих Сиваш частей Азовское море накренилось — показалась вода. Вода прибывала. Стихия была против красных. Блюхер торопил части. Вода уж наполняла колеи до колес орудий, колеса увязали до осей. А когда последняя пехота, вступив на полуостров, бросилась на штурм, сзади красных стояло море.

Впереди огненными взрывами забушевал огонь белых, Это был самый яростный бой за всю гражданскую войну. Увидя отрезанных морем блюхеровцев, с фронта на стену Турецкого вала, в лоб, бросились красные. И как ни сопротивлялись белые, Блюхер решил сраженье.

В атаках, одна за другой, падали линии белых. Крым открывался. Белые начинали поспешное отступление. А красные, с головными частями Блюхера, ринулись в открытый побежденный полуостров.

Блюхер получил второй орден Красного Знамени. К Блюхеру вторично пришла слава.

БОРЬБА У ВОРОТ МОНГОЛИИ

В момент, когда блюхеровским штурмом Крыма кончилась гражданская война в Европейской России, в Азии полной победы еще не было. Хоть разбитый сибирский вождь белых атаман Семенов и откатывался уже по пескам, по

лесам за Читу, но Япония вела еще сложную игру, в результате чего меж Москвой и Читой родилось «буферное государство», Дальневосточная республика.

Дальний Восток в эти дни для Кремля стал самой серьезной политической ареной. Там не только продолжение борьбы с белыми. Туда — после того как под стенами Варшавы ленинского маршала Тухачевского разбили Польша и Франция — переносилась московская попытка опрокинуть капиталистический мир.

Вот почему столь внимательно перебирал кремлевский Реввоенсовет своих маршалов, выбирая на 1921 год главу Красной Армии в Азии. Надо добить атамана Семенова, уничтожить засевшего в воротах Монголии барона Унгерна, а главное, выйти на осторожный военно-дипломатический турнир с Японией:

Туда не пошлешь вахмистра Буденного. Помимо крепкой руки нужен маршал с тактом дипломата и европейским кругозором.

Имя Блюхера не сходило со столбцов советских газет. Организаторский талант его доказан Уралом, воля — Перкопом, а такт и кругозор «ярославского мужика» Кремль знал из личных общений с полководцем.

32-летний таинственный, молчаливый маршал с очень внимательными глазами и твердой походкой, Блюхер как раз подходил к посту вождя армии в Азии. Он умен, талантлив, где нужно, сдержан, где нужно, для него нет преград. И в конце декабря 1920 года из голодной Москвы тронулся нетопленный состав сибирского экспресса, в котором Блюхер, с подобранным по собственному вкусу штабом, отбыл на Дальний Восток.

Сибирь. Сопки. Реки. Тайга. Снег. Равнины. В январе Блюхер прибыл в Читу с кремлевскими аршинными манда-тами и принял военное министерство в Реввоенсовете и главное командование сибирской «народной революционной армией».

Перед Блюхером стала задача — присоединение Забайкалья и Дальнего Востока к Советской России.

Семенов отступал уж далеко от Читы. Блюхер бросил вдогонку ему красные партизанские отряды. Серьезной опасностью от Кяхты с границ Монголии стоял другой атаман — Унгерн, возглавлявший монголо-бурято-китайско-казацкую армию. На станции Даурия расстался с Семеновым этот отчаянный генерал, о котором по Сибири ходили легенды, и теперь пытался развить удар по «буферному государству», нацеливая войска по реке Селенге на Верхнеудинск.

Он-то, необычайный, живописный, объявивший беспощадную борьбу большевизму, барон Петр Унгерн-Штернберг и стал первым военачальником, с которым сошелся Блюхер в Азии.

На Унгерна к Кяхте Блюхер двинул сильные красные части. Этим военачальникам, столкнувшимся у ворот Монголии в последней схватке белых и красных, обоим нельзя отказать в исключительной красочности. Таинственный псевдоним знаменитого полководца Блюхер, не то пленный «немецкий лейтенант», не то великорусский «рабочий от станка», ставший уже маршалом русской революции. И барон Петр Унгерн-Штернберг, отпрыск древнейшего наполовину венгро-гуннского, наполовину немецкого рода, потомок и рыцарей-крестоносцев, и корсаров Балтийского моря, полунормальный фантаст, есаул Нерчинского казачьего полка.

Из Урги, пестрой столицы Хутухты, залитой восточной толпой монголов, тибетцев, бурят, разномастными всадниками, караванами верблюдов, от тибетских домов, кумирен и монгольских садов расплывалась страшная восточная слава о сверхчеловеке — «сыне неба», странном командующем Конно-Азиатской армии бароне Унгерне.

С рыжими, жидкими, опущенными по углам рта усами, изможденный, словно остались от барона лишь кости, но железного здоровья и дикой энергии, необузданный, неуравновешенный, с пронзительными глазами под высоким лбом, подолгу буйно запивавший, в Урге решил создать барон Унгерн буддийский военный орден, который очистит Россию от большевизма.

По Урге Унгерн мчался в желтом монгольском халате на автомобиле с телохранителями. Это не генерал Деникин. Это герой романов Майн Рида, пошедший войной на красных.

Унгерн любил и хорошо знал Азию. Еще в мирное время уволенный из казачьего полка за пьяный дебош и рубку шашками с однополчанином-фицером Унгерн из Азии возвращался в Европейскую Россию не обычным путем, а именно так, как герои Майн Рида, с охотничьим ружьем, в сопровождении только собак.

Эти места, где сейчас он носился на автомобиле, Унгерн знал давно, еще по монголо-китайской войне, в которой, командуя монгольской конницей, барон сражался за независимость Монголии.

Время шло. Мировая война, четыре ранения, за безудержную храбрость — белый Георгий и золотое ору-

жие. Но только дичь и необузданность гражданской войны дали выход бурной воле большого барона.

Потомок корсаров создал смелый план борьбы против Блюхера: двинуться на Троицкосавск, спуститься по реке Селенге и ударить на Верхнеудинск.

Но Унгерн никогда не вступал в бой без ворожбы. И перед походом барону в юрту привезли старуху гадалку.

Это была знаменитая гадалка, полумонголка, полуцыганка. Психически больному отпрыску древнего венгро-гуннского и немецкого родов старуха жгла на углях птичьи кости, прорицала, биясь в судорогах, повторяя одно число — 130. Это число давно уж преследовало потомка крестоносцев.

— Я умру, — кричал изможденный генерал, больной человек, главнокомандующий монголо-бурятско-казахской армии, — но в Азии племена наследников Чингисхана пробудились, и никто не потушит пламени в монгольских сердцах. Я знаю, что народы монгольской расы сольются в одну азиатскую федерацию под главенством Китая, и пойдут на Европу и принесут на землю мир. Я рад, что разбудил азиатов и помог великой паназиатской идее!

За движением отягченного тысячелетней голубой кровью и страдающего припадками буйства Унгерна в верхнеудинском штабе следил с напряженным вниманием главком Блюхер.

Блюхеру подробно доносили о движении противника; когда он еще, уйдя из Даурии, двигался к Урге, Блюхер знал, что Урга занята китайским гарнизоном, но знал, что барон с китайцами не церемонится. Под Ургой часть китайцев перешла к подошедшему к стенам монгольской столицы Унгерну, а не сдавшимся Унгерн дал бой и, разбив наголову, занял столицу Хутухты.

Блюхер знал и отданный в Урге знаменитый приказ барона Унгерна за номером 15 от 21 мая 1921 года:

«Я, начальник Азиатской конной дивизии генерал-лейтенант барон Унгерн, СООБЩАЮ к сведению всех русских отрядов, готовых к борьбе с красными в России:

1. 1917 год дал отвратительный преступный урожай революционного посева. Россия распалась. Потребовалось для разрушения многовековой работы только три месяца революционной свободы. Россию надо строить заново по частям. Народу нужны имена, всем известные, дорогие и чтимые. Такое имя лишь одно — законный хозяин земли русской **ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ...**

2. Силами своей дивизии совместно с монгольскими войсками свергнута в Монголии незаконная власть китайских революционеров-большевиков и восстановлена власть ее законного главы Богдо-Хана.

3. В начале июня в Уссурийском крае выступит атаман Семенов, поддержанный японскими войсками или без поддержки этих войск.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подчиняться беспрекословно дисциплине, без которой все развалится.

2. Комиссаров, коммунистов и евреев уничтожать вместе с семьями. Все имущество их конфисковать.

3. Суд над виновными может быть или дисциплинарным, или же в виде применения разнородных степеней смертной казни. Зло, пришедшее на землю, чтобы уничтожить божественное начало в душе человеческой, должно быть вырвано с корнем. Ярости народной против руководителей и преданных слуг красных учений не ставить никаких преград. Единоличным начальникам, карающим преступника, помнить об искоренении зла до конца и о том, что неуклонность в суровости суда ведет к миру, к которому мы все стремимся как к высшему дару неба.

Народами завладел социализм. Социализм, лживо проповедующий мир, — злейший и вечный враг мира, так как смысл социализма — борьба. Нужен мир — высший дар неба. Ждет от нас подвига в борьбе за мир и Тот, о ком говорит святой пророк Даниил, предсказавший жестокое время гибели и несчастий: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней».

Твердо уповая на помощь Божью, отдаю настоящий приказ и призываю всех к стойкости и подвигу.

Начальник Азиатской конной дивизии
барон *Унгерн*».

Против Унгерна Блюхер двинул стойкие крестьянские отряды, выверенные в сибирской партизанской войне. Они уже шли к границе Монголии. Директива коротка. Блюхер приказал: «Уничтожить Унгерна, очистить весь район от противника и удержать его в своих руках».

Красные, переправлялись уже через реку Ингоду: седла и огнеприпасы перевезли в лодках, сами бойцы разделись, голые поплыли на конях; один казак на быстрине выпустил повод, лошадь запуталась передними ногами и стала то-

нуть; спасти опоздали, вместе с конем всадник пошел ко дну.

За рекой раскинулись дикие, шумные ветры монгольской степи. Войска Блюхера двигались, нащупывая главные силы Унгерна. В станице Кулинга застали пепелище; от уцелевших жителей узнали, что с монголо-бурятским отрядом есаула Тапхая и казачьим полком Токмакова Унгерн ушел, оставив от станицы только пепел.

Исполняя приказ, под станицей Кыра красные настигли ургинского барона, сошлись с ним в бою. Унгерн понимал почти полную безнадежность положения, знал, что с красными не справиться, что японцы повели двойную политику, заигрывая с Москвой.

Войска Блюхера, опрокинув отряды Токмакова и Тапхая, по сопкам, по степям уже шли на станицы Средне-Ульзун, Мангут и Верхне-Ульзун.

Унгерн сопротивлялся, но не выдержал. Уж без боя оставили унгерновцы Акшу. А под Кяхтой в решительном бою красные разбили наголову Унгерна, захватив самого барона в плен.

Толпы монголов, китайцев, бурят сбежались смотреть на нечеловека Унгерна. Изможденный, безумный человек дикой воли, Унгерн был совершенно спокоен. Красные повезли Унгерна на суд революционного трибунала в Новониколаевск. И когда, в том же монгольском халате с синим поясом, с генеральскими погонами, в зал заседания трибунала вводили потомка крестоносцев барона Унгерна, Блюхер в качестве военного дипломата заседал на южном побережье Ляодунского полуострова в Дайрене на конференции представителей Японии и Советской России, состязаясь в дипломатической ловкости с Матсushima и генералом Такаянаги. Блюхеру нужно было распространение власти Кремля от Москвы до Тихого океана.

Осенней ветреной ночью 15 сентября 1921 года непокорный потомок корсаров барон Унгерн спокойно и с достоинством отвечал на вопросы коммунистического суда. И так же спокойно встретил смерть — расстрел.

Дайренская конференция оканчивала заседания. Ровно через год Блюхер выбил японцев из Владивостока.

Теперь начиналась новая крупная игра на Востоке. Таинственный маршал темной биографии, в 1922 году Блюхер уже вплотную подошел к перворазрядной государственной карьере. Он не потомок крестоносцев, но человек сильной воли, и океан мировой военной авантюры-игры потянул к себе Блюхера.

Когда Московский Кремль поставил в игре на карту «мировой революции с востока», в взбаламученном тысячетлетней междоусобицей Китае главным персонажем вынырнул Блюхер. Но тут неизвестный псевдоним перекрылся еще одним псевдонимом: вместо красного маршала Блюхера появился генерал Га Лин.

«РЫЧИ, КИТАЙ!»

1924 год. Англия во главе с министром иностранных дел лордом Керзоном является самым опасным врагом Москвы. Ленин умер. Но Кремль хочет свалить опаснейшего врага, по рецепту Ленина, обходным путем, решив тихоокеанскую проблему в свете китайской революции, в пламени которой погибнет колониальная английская мощь. В гнезде Коминтерна, в московской фешенебельной гостинице «Люкс», у организаторов международных заговоров и революций уже брошен лозунг: «Рычи, Китай!»

Китай рычит. Шумит Кантон, столица Южного Китая, центр китайской революции. «Кантонским рычагом» вороочает Коминтерн, чтоб тремя миллионами китайских рабочих привести в состояние революционного движения всю страну, и вздрагивает первыми судорогами 450-миллионный «желтый» народ. Вот она, мечта Ленина, не с запада, так с востока зажечь мировую революцию!

К крупнейшему порту ведут водные пути Южного Китая; к причудливо разбросавшемуся по островам, в дельте реки Жемчужной, Кантону тяготеют все провинции Юга. Кантон сейчас необычен, это не Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, это — столица китайской революции.

Ни сэтльмента, ни концессий, ни иностранцев; если кто-нибудь из иностранцев выйдет на улицу, ему кричат «Янгуцзы!» («Заморские черти!») — и хохочут над ним. В лабиринте Кантона свободно появляются лишь немцы с повязкой «Я — немец» да русские с красной звездой. Рычи, Китай! Город залит электричеством, корабли разукрашены. Людское море, сотни знамен, плакатов, фонари без конца, бои ракет в воздухе, мириады звезд и огненных колес летят в небо. Это начало новых «десяти дней», которые должны потрясти остатки еще не потрясенного мира.

Митинги, демонстрации с красными, синими и белыми флагами, стягами, с портретами Сунь Ятсена и Ленина. «Московский рычаг» сворачивает 450-миллионную страну, делая ее орудием борьбы против Америки и Европы, против

всей европейской цивилизации. Птицами летает по Кантону небывалая литература — листовки, воззвания, — ее тучей гонит главный советник Национального кантонского правительства, друг китайского президента Сунь Ятсена, представитель Москвы в Кантоне, «товарищ Кирилл», коммунист Грузенберг-Бородин.

В свое время Сунь Ятсен и «товарищ Кирилл» вместе голодали эмигрантами в Лондоне и Чикаго. Бородин хорошо знает теперешнего главу революционного Китая, но о нем очень плохого мнения. В 1927 году при обыске в советском посольстве в Пекине среди прочего материала был захвачен и опубликован своевременный отзыв Бородина в Кремль о президенте Китая: «Доктор Сунь Ятсен — это много воображающий о себе простак. Он не способен создать ничего самостоятельного, но очень горд своей пятичленной декларацией основ государства, которую он на две трети украл у Монтеस्कье, а на одну у древних китайских философов».

Бородин подымает Китай по-своему, без Монтеस्कье.

Но в Кантоне он не один. При Национальном правительстве южнокитайскую революционную армию, на штыки которой обопрется Сунь Ятсен, организует главный военный советник, московский генерал Га Лин. Га Лин прибыл в Кантон с 300 отборных русских офицеров, аэропланами, орудиями, пулеметами, неограниченными военнотехническими возможностями, предоставленными Кантону Москвой.

О, под рукой генерала Га Лина Китай зарычит!

Первая работа Блюхера в Кантоне — организация военно-революционной школы. У столицы, на реке Жемчужной, в тридцати минутах езды на моторной лодке, — живописный остров Вампу. Здесь поместилась сыгравшая главную роль в организации армии и побед кантонского правительства военная школа московского генерала, в просторечье называемая «школой Вампу».

16 июня 1924 года на торжественном открытии школы Вампу присутствовали все сочные фигуры китайской революции — президент Китайской республики, чуть схожий с Лениным, Сунь Ятсен с женой-революционеркой Сун Цинлин; глава правительства и председатель военного совета, «джентльмен китайской революции» и «самый красивый китаец», в прошлом террорист, Ван Тинвей, которого, несмотря на революционность, любила последняя императрица Цыси; с ним члены совета — Тан Инкай, Чуй Пейтак, Ген Гим, Си Си-у и маленький стройный, хрупкого телосложения, с блестящими хитрыми глазами, гибкий генерал

Чан Кайши, начальник школы Вампу и главком армии, которого прочит Москва в военные вожди китайской революции; тут и политбюро гоминьдана, все видные генералы Юга и советник Бородин с женой и по правую руку Сун Ятсена, с штабом русских офицеров, самый почетный кантонский гость, атлетический, с руками боксера и спокойной улыбкой, организатор армии, московский маршал Га Лин.

К кадетам школы Вампу Сунь Ятсен, окруженный помпезной свитой, обратился со страстной речью. «Сила солдата-революционера в сто раз больше силы простого солдата, — говорил президент Китая, — мы должны создать революционную боеспособную армию! Школа научит нас, как ее построить и как работать в интересах нашей партии. Некоторые наши профессора вышли из пекинских военных школ, другие из заграничных военно-учебных заведений. Они имеют большие знания, которые хотят передать вам. Вы должны внимательно слушать их и строго следовать их советам. Красная Армия в России создавалась не в один год, а в течение шести лет. Мы должны использовать опыт России и создать такую же сильную революционную армию. Лишь имея ее, наш народ станет могущественным и сильным!»

Речь похожего на Ленина Сунь Ятсена прерывалась криками:

— Хын-хоу! (Очень хорошо!)

И так же прерывалась речь председателя военного совета красавца Ван Тинвея, обратившегося к русским гостям.

— Когда я подготовлял в 1910 году покушение на китайского императора, — говорил Ван Тинвей, — я не умел изготовлять бомб и, несмотря на все расспросы, ни от кого не мог узнать этого секрета. Но в Японии я случайно встретил одного русского революционера, и он не только научил меня изготовлять бомбы, но и научил их метать!

— Хын-хоу! Хын-хоу!

Выступали члены гоминьдана, генералы, Бородин, выступил и знаменитый будущий «желтый Бонапарт» генерал Чан Кайши. Не произносил речи только улыбающийся внимательными глазами, окруженный русскими военными Га Лин. Но по церемониям, обращенным к нему, все понимали, что сейчас этот человек, по-китайски называемый «Щзя-лунь», здесь самый важный гость Москвы.

Не просты были кантонские задачи Блюхера; недаром ему приписывается фраза, сказанная после трех лет работы в китайской революции:

— Что такое русская революция — я знаю. Но что такое китайская — затрудняюсь сказать.

Тем не менее генерал Га Лин прославился не только на Юге Китая. Его узнали и генералы Севера, и японские, английские, американские военные. Кантон сделал уже мировое имя полководцу, скрытому под двумя псевдонимами.

По заявлению генерала Чан Кайши школа Вампу под руководством генерала Га Лина в два года дала крупные кадры образцовой армии. 129 аэропланов с русскими и китайскими летчиками слетелись к Га Лину. Легкая и тяжелая артиллерия, все прибыло. И хитрейшему главкому Чан Кайши с генералом Га Лином стало легче бороться против генералов Севера, воевавших еще по древней китайской тактике, пуская ночью впереди войск на противника стада баранов с привязанными к ним просмоленными горящими факелами.

В 1924 и 1925 годах московский и китайский генерал Га Лин и Чан Кайши не знали поражений; их армия Вампу приобрела славу непобедимой; она дала правительству победу над купеческими отрядами «бумажных тигров» Чан Лимпака; взяла приступом крепость Вейчжоу, которую никто не брал в течение 1000 лет; нанесла поражение генералу Чен Дзюмину, взяв приступом Сватоу; подавила мятеж генерала Чен Юнчи; и наконец, в ноябре 1925 года, разбила последнюю сопротивляющуюся силу — юго-западный фронт генерала Тын Пынина.

Это — неслыханная по стремительности победа. Китай зарычал!

Но в 1925 году внезапно умер друг Бородина Сунь Ятсен, торжественно похороненный в храме пятисот Будд. Если б не умер, может быть, Блюхер с Бородиным и сумели б удержать Южный Китай на кремлевской узде, не дав обойти себя «желтому Бонапарту».

По смерти Сунь Ятсена 1926 год стал годом решающей игры. Генерал Га Лин готовился к крупнейшей операции — походу на Север против войск У Пейфу, в случае успеха развивая движение к Тихому океану, к Шанхаю.

В пастях каменных чудовищ, сторожащих ворота главного штаба Южной армии, плещут гоминьдановские знамена со звездами; на часах — кадеты школы Вампу. Весь день в главном штабе Блюхера работа. Чуждый Китаю, а может быть, чуждый и России, кремлевский коммунистический полководец разрабатывает здесь план смелого и крайне рискованного похода в Средний Китай, в Хунань, Цзянси и Хубэй. Этот поход — задача уж всемирно-исторического значения. В случае успеха революционное движение охватит весь Китай, и судьба колониальных сил Европы на востоке может быть решена.

В кабинете генерала Га Лина и ночью горит огонь. Гладко выбритый, с маленькой щеткой подстриженных усов и светлыми глазами маршал на вид даже моложе своих 37 лет. За окном кабинета бродят английские судовые прожектора. Некоторая растерянность охватила европейцев; говорят, волнуется командующий английскими войсками в Китае генерал Дункан. Не готовят ли иностранцы десант? А генерал Га Лин торопится с походом на север, хочет скорей на парах китайской революции доплыть до берегов Тихого океана — преддверия Восточного полушария.

Но что такое китайская революция? Вокруг Га Лина ожесточенно заспорили китайские генералы. Командующий 8-м корпусом Тан-Чжен-Ши, Чень-Мин-Цюй, Чжан-Фа-Куй, Чен Цян и начштаба Бай-Сун-Чи пытаются свалить главкома Чан Кайши. У Тан-Чжен-Ши большой капитал в Шанхайском банке, он скупает земли и состоит акционером торгово-промышленных предприятий; но перед походом, чтобы опрокинуть соперника, он закинул удочку прямо в Китайскую коммунистическую партию и проповедует «коммунистический буддизм», подкупая деньгами генералов.

Чан Кайши сам рвется к захвату богатых провинций, не сдает командования. Чтоб парировать удар, будущий «желтый Бонапарт» заявил печатно, что «китайская революция это только начало мировой революции».

Бурно зашумели китайские генералы о добыче, деньгах, командовании. Генерал, как и солдат, прежде всего должен твердо знать, что он получает за эту войну. Только что перешедший к революционной армии генерал Лян-Ноу-Кай больше всего спрашивает русских штабных, можно ли в России иметь собственные деньги, земли, дома и сколько... самое большее?

К воротам штаба быстрым аллюром рикша мчит, колыхая в колясочке, генерала Га Лина. За колясочкой, придерживаясь за крылья, бегут бодигары-телохранители, китайцы-коммунисты. Голова генерала Га Лина откидывается из стороны в сторону от бега, но изумительно лавирует в цветной толпе рикша, и с ловкой быстротой бежит свора бодигаров-маузеристов, за ними быстро крутят педали бодигары-велосипедисты.

Блюхер торопится на заседание китайских генералов, знает, что не просто подчинить главкому сопротивляющегося Тан-Чжен-Ши и взбунтовавшихся генералов. Генеральский спор горяч, может кончиться ссорой и разрывом.

Но генерал Га Лин прекрасный дипломат и, как ни трудно, все ж помирил генералов. Он пил с генералами огненный китайский чай, ел молодых змей, курил сигареты с опиумом. Все было договорено и устроено. Из штаба примиренные генералы, по китайской церемонии, пятились к двери, улыбаясь, и все время кланялись, переламываясь пополам, показывая стриженные черные затылки. Блюхер в ответ делал то же самое даже не улыбаясь.

15 августа 1926 года, в нечеловеческий жар, под главнокомандованьем Чан Кайши и Га Лина, прекрасно снабженная, с многочисленными пулеметами, орудиями, аэропланами, кантонская армия в 70 тысяч человек выступила из провинции Гуандун в Хунань, нацеливаясь на столицу Хунани — Чаншу.

Древнюю китайскую тактику: выбить противника и не преследовать, генерал Га Лин отбросил. Он хочет уничтожить врага. Непрерывными боями тесня войска У Пейфу, не давая опомниться смятому противнику, уже в сентябре кантонские войска подошли к столице Хунани и на спинах северян ворвались в Чаншу, Чан Кайши был опьянен успехом, Северный поход сразу же превратился в триумфальный марш.

Теперь Блюхер развивал военные действия по двум направлениям: 1. Из Чанши по прямой линии на север в Учан и Ханькоу, чтоб окончательно уничтожить живую силу войск У Пейфу, и 2. По приморско-восточному направлению на Шанхай против генерала Сун-Чуан-Фана.

В огромных, дымчатых, глухих очках от солнца и пыли, на большом вороном жеребце среди всадников-китайцев на крошечных мохнатых лошадках генерал Га Лин вместе с Чан Кайши перед боем за Учан дал смотр войскам кантонской армии.

Пропуская низкорослых, с заострившимися скулами и выдвинутыми челюстями, угрюмых, с злыми лицами, вооруженных винтовками китайских солдат, окруженный русским штабом Блюхер усмехался:

— В общем, наши ж «михрютки», только поскуластей, на лица потемней, да глаза поуже и с косиной...

И Блюхер бросил войска в бой на тысячелетние стены легендарного Учана, за которыми засели укрепившиеся войска У Пейфу. Под Учаном столкнулись европейская и китайская войны. Русская артиллерия приняла вызов китайских стен, но понесла поражение. Над глубоким рвом древние стены Учана подымались на 15 сажен в высоту, у основания доходя до 20, а наверху не менее чем до 2.

Артиллерия открыла ураганный огонь. Бесполезно: русские гранаты, царапая, отскакивали от учанских стен. Тогда Блюхер бросил на приступ пехоту.

Ночью в низинах накапливались штурмовые колонны, захватив с собой легкие бамбуковые лестницы, повели отчаянный штурм на Учан.

Разыгрался китайский бой. Генерал Чан Кайши в нем понимал много больше генерала Га Лина. Телами атакующие заваливали рвы учанских стен, подставляли лестницы, лезли. А сверху, как во времена седой древности, лилась смола, кипящая вода, сваливали бревна и груды камней. Когда же, не выдержав, войска генерала Га Лина бросились в отступление, их со стен Учана покосили пулеметным огнем.

Но «михрютки» должны взять Учан и разбить У Пейфу! Блюхер приказал вести подкоп под древние стены. Учановцы произвели ночную вылазку и перебили саперов. Войска таяли, а столица провинции Хубэй, где три тысячелетия идет непрерывная война, Учан стоит несломимым.

Чан Кайши почти отчаивался. Всю операцию Га Лин взял в свои руки. «Мы не вегетарианцы! Я возьму их в штыки!» — бормотал в штабе «генерал Форвертс». И на раннем рассвете Блюхер бросил на стены кулак отборных войск, десятую и одиннадцатую дивизии Чжан-Фа-Куя. Это был яростный бой. Рассказывают, что, посылая на верную смерть свои полки и батальоны, генерал Чжан-Фа-Куй плакал. Но Блюхер знал, что голодных в Китае сколько угодно и солдат хватит! Колыхавшийся в мареве красного восходящего солнца древний Учан взяли китайские «михрютки», за что обе дивизии получили название «железных».

С Учанского аэродрома с генералом Бай-Сун-Чи Блюхер поднялся на аэроплане в голубую вышину звенящей европейской птицей над морем черепичных крыш и зеленью горы Хвост Дракона. Рассматривал местность преследования разбитых войск У Пейфу.

Победа стала уже решительной. К кантонской армии переходили один за другим генералы-перелеты, бывшие соратники У Пейфу, увеличив армию Чан Кайши в десять раз. Но все же У Пейфу пробовал еще дать бой за Ухань, сопротивляясь из последних сил. Но и в последнем бою Чан Кайши и Га Лин разбили его тяжким поражением. На единственном пути отступления — на мосту — У Пейфу приказал своим бодигарам, чтоб рубили головы бегущим офицерам. Но опрокинутая лавина войск У Пейфу частью пала в сражении, частью утонула в озерах. Завоеванная Чан Кайши и московским «советником» генералом Га Ли-

ном — пала Ухань. Девять самых богатых провинций с населением в 150 миллионов были теперь под властью Кантона.

Приоткрылся уж легкий путь побед. К Тихому океану Чан Кайши двигался полным победителем. И когда его войска подошли к Шанхаю, где незадолго перед этим восставали, подняв «советское знамя», 800 тысяч индустриальных рабочих, — дело кончилось по-китайски просто. Подкупленный флот перешел к Чан Кайши, а генерал Ли-Бао, на улицах Чапея рубивший головы китайским рабочим, уже имел при вступлении Чан Кайши в кармане секретный приказ о назначении его командиром корпуса национально-революционной армии.

Военный корреспондент советских газет, путешествовавший по Китаю и в дни взятия Шанхая посетивший штаб кантонских войск, рассказывает интересный эпизод. Вдвоем с другим журналистом они прибыли в главную квартиру кантонцев. Как русских, их встретили дружелюбно, навстречу вышел предупрежденный начштаба генерал Бай-Сун-Чи. Только разговор не мог состояться. Бай-Сун-Чи говорил лишь по-китайски. Но Бай-Сун-Чи догадался, он отдал распоряжение, и через минуту из боковой двери показался военный. Журналисты переглянулись. Это был он — «советник». Но, совершенно обессиленный походом, непрерывными боями, недосыпаниями, напряженной работой, генерал Га Лин не вымолвил ни слова. Только буркнул что-то по-русски, махнул рукой и, повернувшись, шагнул за перегородку.

— Сытё! — весело смеясь, сказал Бай-Сун-Чи.

Журналисты понимали, что «сытё» — это значит «спать».

Душа и организатор похода на север, победитель У Пейфу, знаменитый генерал Га Лин переутомился и хочет спать. Но, увы, Блюхеру действительно не оставалось ничего, как спать. Именно здесь, в Шанхае, ехавший с ним по дороге «мировой революции» генерал Чан Кайши неожиданно вылез на станции «Национальный Китай», когда руководящая китайской революцией Москва хотела взять курс на немедленный коммунизм в Китае. Теперь Чан Кайши сказал наконец ясно: «Коммунизм означал бы разрушение Китая. Коммунизм, примененный к Китаю, равен ошибочно прописанному врачом лекарству».

В Шанхае, в Сватоу генералы армии Чан Кайши производили один за другим перевороты. Московский Кремль тяжело просчитался в китайской игре. И вскоре уж покида-

ли Китай «советник» Бородин, агенты, военные. Последним отбыл сумрачный генерал Га Лин.

Говорят, в кругу своего штаба Блюхер часто иронически усмеялся, рассказывая о китайских генералах и китайской революции:

— Затрудняюсь сказать, что такое китайская революция. Вот поймите, я объясняю одному китайскому генералу диспозицию, а он задумался и через переводчика говорит мне: «Знаете, я хотел бы наступать там, где нет противника». Д-да, сложно. А в Ухани, например, крестьянские комитеты делают помещичью землю, а все китайские офицеры и генералы — помещики. Мы воюем за революцию, а они недовольны и тут же требуют навести порядок. Откровенно говорю, не знаю, что такое китайская революция. Китайские генералы склонны к неожиданностям, Чан Кайши это — змея! А вот будь в Китае большевистская партия наподобие нашей, китайцы показали бы всему миру чудеса!

Но не довелось генералу Га Лину показать всему миру эти «китайские чудеса». У «китайского Наполеона» его заменил быстро новый советник; к Чан Кайши перешел организатор мукденской армии полковник немецкой службы Макс Бауер.

МОСКОВСКИЙ ЗАГОВОР

В 1929 году, через два года после советского проигрыша в Китае, из-за конфликта на КВЖД вспыхнула советско-китайская война. Главнокомандующим Красной Армией против Китая был Блюхер. О генерале Чан Кайши красноармейцы Блюхера пели частушки:

Чушки, вьюшки, веревьюшки,
Чан Кайши сидит на пушке,
А мы его по макушке
Бац-бац-бац, бац-бац-бац!

Блюхер оказался стремительным победителем Китая. За 12 лет это была первая победа Советского Союза на внешнем фронте. И красная Москва в 1930 году прибывшего в столицу главнокомандующего Дальневосточной армией Блюхера чествовала торжественно. Коммунистические олигархи боятся чествовать красных маршалов, но для Блюхера было сделано исключение. Никогда и никого так не чествовала Москва.

Имя этого маршала революции не сходило с газетных столбцов. Неведомый солдат 143-го пехотного запасного полка в Самаре стал уже героем государства.

Но среди триумфа по старой любительнице слухов Москве пролетела вдруг молнией странная молва, а в кругах коммунистов вспыхнула паника: «В Кремле — заговор, границы закрыты, телеграфное сообщение прервано».

Несколько дней один другого сенсационней нарастали слухи: «Контрреволюция... Сталин свергнут...» Но телеграф заработал, наступило равновесие, и стало известно, что Сталин не свергнут потому, что заговор председателя Совнаркома РСФСР Сергея Сырцова раскрыт вовремя. Но Москва узнала и нечто большее. В заговоре замешаны сановники, верховники, вельможи, а самое сенсационное: в списке нового правительства стоял прибывший с Дальнего Востока победитель китайцев, популярный главнокомандующий и человек без биографии Блюхер.

Заразительный ряд дворцовых переворотов и заговоров с темными убийствами знает русская история. На гвардейские штыки оперлась женской рукой, всходя на трон, императрица Елизавета Петровна, когда новый временщик Миних поднял среди ночи из кровати отжившего временщика Бирона. В Ропшинском дворце великан граф Орлов ударом кулака закрепил престол за Екатериной II.

А трон императору Александру I очистили гвардейские офицеры ударом табакеркой и узлом офицерского шарфа. Заговоры ходили и вокруг последнего царя Николая II. И в 1930 году в кремлевском застенке Сталина русская история захотела попробовать: а не подойдет ли и тут излюбленный способ «шарфа» и «табакерки»?

Нескладный, долговязый председатель Совнаркома РСФСР Сергей Сырцов, никогда не расстававшийся с портфелем, молодой твердокаменный большевик, человек сильной воли и большого тщеславия, стал душой московского заговора 1930 года. Воспитанный духотой закулисной коммунистической борьбы, кость от кости партии, испачканный и сам в крови, Сырцов все же не выдержал всероссийского погрома крестьянства, предпринятого Сталиным.

— Сталин превратил крестьян в рабов, хищнически эксплуатируя страну новым, установившимся в России крепостническим строем, — уже арестованный, заявил Сырцов.

И в 1930 году Сырцов попробовал — дворцовый переворот. Но, помня, как Сталин провокацией разбил правых и левых оппозиционеров, в темнейшей конспирации вел свой заговор Сырцов. Пользуясь положением председателя Совнаркома, осторожно вербовал сообщников среди верховников, которые мгновенно могли бы свалить диктатора. Сырцов понимал и то, что первую скрипку в дворцовых

переворотах должна играть армия, и вступил в сношения с красными маршалами.

Главой армии и флота заговорщики выставили популярнейшего Блюхера. Связался ли Сырцов с Блюхером заранее, посылал ли к Блюхеру на Дальний Восток своих эмиссаров, или сошлись они уже в Москве — об этом хранит еще тайну история. Известно только, что после игры в «золотую табакерку» наркомвоенном СССР должен был быть Блюхер.

Но и на этот раз Сталин провокацией разбил заговор. Слишком уж перенасыщен предательством воздух Москвы. Заговорщик Резников, один из сырцовского «комитета пяти», кому больше других доверял Сырцов, в последнюю минуту выдал заговор Сталину.

На последнем заседании «комитета пяти» у Сырцова присутствовало только четверо. Отсутствовал Резников. Во время совещания в комнате затрещал телефон. У аппарата оказался Сталин, экстренно вызывавший Сырцова на заседание в Кремль, в политбюро. Сырцов выехал, не подозревая, что заговор вскрыт.

— Какое у вас сейчас было заседание, товарищ Сырцов? — спросил вошедшего в Кремлевский зал председателя Совнаркома РСФСР Генеральный секретарь партии Сталин.

— О тракторизации колхозов.

В этот момент из другой двери вошел Резников. Сырцов понял, что скрывать бессмысленно. Да и человек он не слабого десятка. В этом же заседании произнес речь о губельности антикрестьянского курса Сталина, о перерождении коммунизма в крепостническую эксплуатацию страны, о необходимости возврата к нэпу, о создании второй крестьянской партии и о ликвидации диктатуры Сталина. Не одно драматическое заседание знавали кремлевские стены. Был момент, когда читалось завещание Ленина перед старой гвардией большевизма. Был суд над Троцким, когда, играя параллелями с французской революцией, отыгравший роль опальный вождь кричал: «Мы знаем, что вы, сталинцы, будете завтра нас расстреливать!» И все ж такого напряжения, как во время речи Сырцова, в этом зале, говорят, не было. Напряжение стало совсем трагическим, когда к замолчавшему Сырцову Сталин обратился с вопросом:

— У вас был намечен состав Совнаркома?

— Был.

— Кого вы намечали наркомвоенном?

— Блюхера.

Тут-то и родилась тишина. «Мытищинского слесаря», «первого кавалера ордена Красного Знамени», «героя штурма Перекопа», «покорителя Сибири», «душу северного китайского похода», только что торжественно прибывшего «победителя китайцев» слишком хорошо знали все заседавшие красные вельможи. Это не Сырцов, — рангом повыше, популярность его не буденновской, не ворошиловской даже чета.

Не один час, не один день заседали политбюро и головка ГПУ в споре о судьбе заговорщиков. Всех жарче на предании ревтрибуналу, на смерти Сырцова, настаивал подручный Сталина Каганович, добываясь кресла председателя Совнаркома РСФСР для себя. Но воспротивился Ворошилов: расстрел Сырцова, имя Блюхера! — это раскол в армии! А воспоминанья французской революции? Начать друг друга расстреливать, да не рискованно ль?

И тонкий ювелир макиавеллиевских комбинаций, над виском которого уж было занесли «табакерку», Сталин присоединился к Ворошилову:

— Сырцова сослать на Урал. В тюрьму.

Председатель Совнаркома РСФСР Сырцов темной ночью отбыл под конвоем из Москвы на Урал. А вокруг красного маршала Блюхера споры загорелись еще страстней. Ворошилов вступился за Блюхера изо всех сил. Никаких снижений! Никаких смещений! Чего стоит это имя в армии! Судьба Блюхера Сталиным была решена: немедленно назад, на Дальний Восток.

После вызова Блюхера для объяснений, о которых когда-нибудь расскажет еще история, таинственный, знаменитый, окруженный легендами, небылицами и действительной тайной человек отбыл назад по хорошо знакомому пути, на Дальний Восток, и там принял снова в командование — Особую Дальневосточную армию.

До сих пор стоит Блюхер во главе этой армии на востоке. Воинственный маршал, сторонник активных действий против Японии, говорят, приходит в бешенство от дипломатических уступок. Кто знает, может быть, мы еще и услышим имя Блюхера в реляциях о боях. А может быть, Блюхер мелькнет и на неизбежном повороте внутренней жизни страны при ликвидации коммунистической диктатуры.

Такие люди, как неведомо откуда появившийся, но прочно вошедший в русскую историю маршал Блюхер, если не умирают, то заставляют говорить о себе.

КОТОВСКИЙ

А вы
ноктюрн сыграть
смогли бы
на флейте водосточных труб?

Маяковский

Полковник? Никакого тут полковника
Котовского — нет! Я — генерал Котовский!

(Из разговора Котовского с поляками)

БЕССАРАБСКИЙ КАРЛ МОР

В 1887 году в местечке Ганчешти Кишиневского уезда Бессарабской губернии, в семье дворянина инженера Котовского, родился мальчик Гриша — будущий известный вождь красной конницы. Семья Котовского небогатая, отец служил на винокуренном заводе в имении князя Манук-Бея, жалованье небольшое, а у Котовского пять человек детей. К тому же вскоре в дом вошло и несчастье: когда будущему красному маршалу исполнилось два года — умерла мать.

Григорий Котовский был нервным заикой-мальчиком. Может быть, даже тяжелое детство определило всю сумбурную, разбойничью жизнь. В детстве страстью мальчика были — спорт и чтение. Спорт сделал из Котовского силача, а чтение авантюрных романов и захватывающих драм пустило жизнь по фантастическому пути.

Из реального училища Котовский был исключен за вызывающее поведение. Отец отдал его в Кокорозенскую сельскохозяйственную школу. Но и сельское хозяйство не увлекло Котовского, а когда ему исполнилось 16 лет, внезапно умер отец, и, не кончив школы, Котовский стал практикантом в богатом бессарабском имении князя Кантакузино. Здесь-то и ждала его первая глава криминального романа, ставшего жизнью Григория Котовского. Разбой юноши начался с любви. В имении князя Кантакузино разыгралась драма.

В статного красавца, силача-практиканта влюбилась молодая княгиня. Полюбил ее и Котовский. И все развернулось по знаменитому стихотворению — «не гулял с кистенем я в дремучем лесу...».

О любви узнал князь, под горячую руку арапником замахнулся на Котовского. Этого было достаточно, чтобы не-

навидящий князя практикант бросился на него и ударил. Князь отомстил Котовскому тем, что дворня связала практиканта, избила и ночью вывезла, бросив в степи. Вся ненависть, вся страстность дикой природы Котовского вспыхнула, и, вероятно, недолго рассуждая, он сделал шаг, определивший всю дальнейшую жизнь. Котовский убил помещика и, подпалив имение, бежал.

Через двадцать пять лет Котовский стал почти что «членом правительства России», а княгиня Кантакузино эмигранткой, продавщицей в ресторане «Русский трактир» в Америке. Тогда это было невообразимо. Корабли к мирной жизни у Котовского были сожжены. Да, вероятно, он и не хотел ее никогда. Ненависть к помещику в практиканте Котовском смешалась с ненавистью к помещикам, к «буржуйам», а дикая воля подсказала остальное. Скрываясь в лесах, Котовский подобрал двенадцать человек крестьян, пошедших с ним на разбой; тут были и просто отчаянные головы, и беглые профессионалы-каторжники. Всех объединила воля и отчаянность Котовского. В самое короткое время банда Котовского навела панику на всю Бессарабию. И газеты Юга России внезапно записали о Котовском точно так же, как Пушкин писал о Дубровском: «Грабительства, одно другого замечательнее, следовали одно за другим. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Нескольким троек, наполненным разбойниками, разъезжали днем по всей губернии, останавливали путешественников и почту, приезжали в села, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса...»

Действительно, необычайная отвага, смелость и разбойная удаль создали легенды вокруг Котовского. Так, в 1904 году в Бессарабии он воскресил шиллеровского Карла Мора и пушкинского Дубровского. Это был не простой разбой и грабеж, а именно «Карл Мор». Недаром же зачитывался фантазиями романов и драм впечатлительный заика-мальчик.

Но, исполняя эту роль, Котовский иногда даже переигрывал. Бессарабских помещиков охватила паника. От грабежей Котовского более нервные бросали имения, переезжая в Кишинев. Ведь это был как раз 1904 год, канун революции, когда глухо заволновалась, загудела русская деревня.

То Котовский появляется тут, то там. Его видят даже в Одессе, куда он приезжает в собственном фаэтоне, с неизменными друзьями-бандитами кучером Пушкаревым и адъ-

ютантом Демьянишиным. За Котовским гонятся по пятам, и все же Котовский неуловим.

В бессарабском свете «дворянин-разбойник Котовский» стал темой дня. Репортеры южных газет добавляли к былям небылицы в описании его грабежей. Помещики подняли перед властями вопрос о принятии экстренных мер к поимке Котовского. Помещицы же жены и дочери превратились в самых ревностных поставщиц легенд, окружавших ореолом «красавца бандита», «благородного разбойника»...

Полиция взволновалась: уже были установлены связи Котовского с террористическими группами эсеров. По приказу кишиневского губернатора за Котовским началась невероятная погоня. И все ж рассказы о Котовском в бессарабском свете, полусвете, среди шпаны и биндюжников только множились. Это происходило потому, что даже в английских детективных романах грабители редко отличались такой отвагой и остроумием, как Котовский.

Арестованных за аграрные беспорядки крестьян полиция гнала в Кишиневскую тюрьму, но в лесу на отряд внезапно налетели котовцы, крестьян освободили, никого из конвойных не тронули, только в книге старшего конвойного осталась расписка: «Освободил арестованных Григорий Котовский».

Под Кишиневом погорела деревня. А через несколько дней к подъезду дома крупного кишиневского ростовщика подъехал в собственном фаэтоне элегантно одетый, в шубе с бобровым воротником, статный брюнет с крутым подбородком.

Приехавшего барина приняла в приемной дочь ростовщика.

— Папы нет дома.

— Может быть, вы разрешите мне подождать?

— Пожалуйста.

В гостиной Котовский очаровал барышню остроумным разговором, прекрасными манерами, барышня прохотала полчаса с веселым молодым человеком, пока на пороге не появился папа. Молодой человек представился:

— Котовский.

Начались истерики, просьбы, мольбы не убивать. Но — джентльмен бульварного романа — Г. И. Котовский никогда не срывается в игре. Он успокаивает дочку, бежит в столовую за стаканом воды.

И объясняет ростовщику, что ничего ж особенного не случилось, просто вы, вероятно, слышали — под Кишиневом сгорела деревня, ну, надо помочь погорельцам, я ду-

маю, вы не откажетесь мне немедленно выдать для передачи им тысячу рублей.

Тысяча рублей была вручена Котовскому. А уходя, он оставил в лежавшем в гостиной на столе альбоме барышни, полном провинциальных стихов, запись: «И дочь, и отец произвели очень милое впечатление. Котовский».

Легенды ширились. Человеческая впечатлительность, падкая к мрачному разбойному очарованию, раскрашивала Котовского, как могла. Котовский был тщеславен, знал, что вся печать Юга России пишет о нем, но продолжал играть с такой невероятной отчаянностью, риском и азартом, что казалось, вот-вот, того гляди переиграет и его схватит его противник пристав Хаджи-Коли. Но нет, Котовский ставит один номер сильнее и азартнее другого — публика аплодирует!

Помещик Негруш хвастался среди кишиневских знакомых, что не боится Котовского: у него из кабинета проведен звонок в соседний полицейский участок, а кнопка звонка на полу. Об этом узнал Котовский, и очередная игра была сыграна. Он явился к Негрушу среди бела дня за деньгами. Но для разнообразия и юмора скомандовал не «руки», а...

— Ноги вверх!

Котовский ценил юмор и остроумие и в других. В налете на квартиру директора банка Черкеса он потребовал драгоценности. Госпожа Черкес, желая спасти нитку жемчуга, снимая ее с шеи, словно в волнении, так дернула, что нитка порвалась и жемчуг рассыпался. Расчет был правилен: Котовский не унижится ползать за жемчугом по полу. И Котовский подарил госпожу Черкес улыбкой за остроумие, оставив на ковре ее жемчужины.

Ловкость, сила, звериное чутье сочетались в Котовском с большой отвагой. Собой он владел даже в самых рискованных случаях, когда бывал на волос от смерти. Это, вероятно, происходило потому, что «дворянин-разбойник» никогда не был бандитом по корысти. Это чувство было чуждо Котовскому. Его влекло иное: он играл «опаснейшего бандита», и играл, надо сказать, мастерски.

В Котовском была своеобразная смесь терроризма, уголовщины и любви к напряженности струн жизни вообще. Котовский страстно любил жизнь — женщин, музыку, спорт, рысаков. Хоть и жил часто в лесу, в холоде, под дождем. Но когда инкогнито появлялся в городах, всегда — в роли богатого, элегантно одетого барина и жил там тогда широко, барской жизнью, которую любил.

В одну из таких поездок в Кишинев Котовский, выдавая себя за херсонского помещика, вписал несколько

сильных страниц в криминальный роман своей жизни. Этот господин был прирожденным «шармером», он умел очаровывать людей. И в лучшей гостинице города Котовский подружился с каким-то помещиком так, что тот повез Котовского на званый вечер к известному магнату края Д. Н. Семиградову.

Если верить этому полуанекдотическому рассказу, то вечер у Семиградова протекал так: на вечере — крупнейшие помещики Бессарабии — Синадино, Крупенские с женами и дочерьми. Но неизвестный херсонский помещик все же привлек общее вниманье: он умен, весел, в особенности остроумен, когда зашел разговор о Котовском.

— Вот попадись бы он вам — было бы дело! Задали бы вы ему трепку! — хохочет Синадино, с удовольствием оглядывая атлетическую фигуру херсонского помещика.

— Да и я бы угостил этого подлеца, — говорил хозяин Семиградов.

— А в самом деле, как бы вы поступили? — спрашивает Котовский.

— У меня, батенька, всегда заряженный браунинг, нарочно для него держу. Раскроил бы голову, вот что!

— Правильная предосторожность, — говорит Котовский.

И в ту же ночь, когда разъехались гости, на квартиру Семиградова налетели котовцы, проникли в квартиру бесшумно, грабеж был большой, унесли дорогой персидский ковер, взяли даже серебряную палку с золотым набалдашником — «подарок эмира бухарского хозяину». А на заряженном браунинге в комнате спавшего хозяина Котовский оставил записку: «Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати».

Рассказывают, что именно этот «скверный анекдот» и переполнил чашу терпенья полиции. Губернатор, узнавши, что у Семиградова на вечере пил и ел сам Котовский, разнес полицию. Дело поимки Котовского было усилено. Вместе с приставом 2-го участка Хаджи-Коли Котовским занялся помощник полицмейстера Зильберг. За указание следа Котовского объявили крупную награду. Хаджи-Коли был хорошим партнером Котовскому, и между ними началась борьба.

В этой борьбе-игре, могшей в любую минуту Котовскому стоить жизни, Котовского не оставляли ни удадь, ни юмор разбойника. Когда по Кишиневу разнесся слух, что налет на земскую психиатрическую Костюженскую больницу, где были убиты сторож и фельдшер, — дело рук Котов-

ского, последний опроверг это самым неожиданным образом.

На рассвете у дверей дома Хаджи-Коли вылез из пролетки человек и позвонил. Пристав поднялся в ранний час, заспанный, отворил дверь.

— Хаджи-Коли, я Котовский, не трудитесь уходить и выслушайте меня. В городе распространяется подлая ложь, будто я ограбил Костюженскую больницу. Какая наглость! На больницу напала банда, работавшая вместе с полицией. Обыск у помощника пристава вам откроет все дело.

И перед оцепеневшим, полураздетым Хаджи-Коли Котовский быстрыми шагами подошел к пролетке, а его кучер вихрем дунул от квартиры пристава.

Расследование, произведенное по указанию Котовского, действительно раскрыло дело об ограблении больницы.

Яростная ловля Котовского Зильбергом и Хаджи-Коли не прекращалась. История «бессарабского Карла Мора» стала уже слишком шумным скандалом. За шайкой Котовского по лесам гоняли сильные конные отряды. Иногда нападали на след, происходили перестрелки и стычки котовцев с полицией, но все же поймать Котовского не удавалось.

То на то, то на другое имение налетал Котовский с товарищами, производя грабежи. К одной из помещичьих усадеб подъехали трое верховых. Вышедшему на балкон помещику передний верховой отрекомендовался:

— Котовский. Вероятно, слышали. Дело в том, тут у крестьянина Мамчука сдохла корова. В течение трех дней вы должны подарить ему одну из ваших коров, конечно, дойную и хорошую. Если в три дня этого не будет сделано, я истреблю весь ваш живой инвентарь! Поняли?!

И трое трогают коней от усадьбы. Страх помещиков перед Котовским был столь велик, что никому и в голову не приходило ослушаться его требований. Вероятно, и в этом случае крестьянин получил дойную корову.

Напасть на след Котовского первому удалось Зильбергу. Меж Зильбергом и Хаджи-Коли шла конкуренция — кто поймает гремящего на юге России бандита? С отрядом конных стражников Зильберг налетел на шайку Котовского. Но Котовский с полицейскими вел настоящую войну. И в результате стычки не Котовский, а Зильберг попал в плен.

Вероятно, Зильберг считал себя уже мертвецом. Но в который раз Котовский сделал «эффектный жест». Он не только отпустил Зильберга с миром, но подарил ему якобы еще ту самую «серебряную палку с золотым набалдашником», которую украли котовцы у Семиградова после знаме-

нитого вечера. Только, отпуская Зильберга, Котовский взял с него «честное слово», что он прекратит теперь всякое преследование.

Конечно, это было нереально. Прекратить преследование Котовского вряд ли мог и хотел Зильберг. Да к тому же Зильберг верил, что во второй раз в плен к Котовскому он, вероятно, не попадет. Но Котовский любил «широкие жесты благородного разбойника» и только остроумничал и хохотал, отпуская Зильберга, уносящего серебряную палку — «подарок эмира бухарского».

Но не прошло и месяца, как Зильберг, конкурируя с Хаджи-Коли, схватил потрясателя Юга России, героя 1001 уголовных авантур и политических экспроприаций. Через провокатора М. Гольдмана Зильберг устроил Котовскому в Кишиневе конспиративную квартиру и на этой квартире схватил и Котовского, и его главных сподвижников.

Правда, не прошло года, как котовцы убили Гольдмана, но сейчас весть о поимке Котовского печаталась уже в газетах как сенсация:

Котовский пойман и заключен в Кишиневский замок!

ТЮРЬМЫ, НЕРЧИНСКАЯ КАТОРГА, СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

Высокой каменной стеной опоясан Кишиневский тюремный замок. Вокруг стен снаружи и внутри каждые сорок метров — часовые. В здание тюрьмы ведут тройные, тяжелые, железные ворота с маленькими волчками. Все — крепко замкнуто. Не убежать, а подумать о побеге из Кишиневского замка трудно.

Но заключенный в высокую башню замка Котовский шагал — три шага вперед, три назад, — распевая густым, мощным басом старую тюремную песню: «Не ваше дело, часовой, вам на часах должно стоять, а наше дело удалое, как бы из замка убежать...» Это было — обдумывание плана первого побега.

Не один раз и не из одной тюрьмы бежал Котовский. Каждый его побег — глава романа Конан Дойля. Мощный, атлетически сложенный, необычайной физической силы и железной воли человек, Котовский выдумывал самые фантастические, «нахальные», как называл он, планы побегов. Дело было не только в том, чтобы бежать, но бежать так, чтобы «вся Россия» заговорила о побеге Котовского. Эффект любил неудержимый анархист-разбойник.

Первый план побега был таков. Котовский решил: разружить всю тюремную охрану, захватить в свои руки тюрьму, вызвать по телефону товарища прокурора, полицейстера, жандармских офицеров, всех здесь арестовать, вызвать конвойную команду, обезоружить ее и потом, имея в распоряжении одежду арестованных и конвойных, инсценировать отставку большого этапа из Кишинева в Одессу, захватить поезд и уехать на нем из города. По дороге же скрыться с поезда всей тюрьмой.

Более невероятный и несбыточный план, наверное, никому никогда не приходил в голову. Но недаром же зачитывался фантастическими романами мальчик Котовский. И шагающий взад-вперед по камере арестант Котовский, напевая любимые песни, остановился именно на этом плане.

Этим планом Котовский сумел поделиться с товарищами по тюрьме. Его план и слово для арестантов — закон. И 4 мая 1906 года все пошло по приказу атамана. Во время прогулки по двору тюрьмы двое не пошедших на прогулку котовцев постучались в своих одиночках, прося вывести в уборную. Когда надзиратель выпускал их, котовцы набросились на него и обезоружили. Так был приобретен первый револьвер. Как приказывал Котовский, бандиты бросились ко второму надзирателю в другой коридор. И под направленным на него дулом револьвера сдался и второй надзиратель.

Двух надзирателей, сопровождавших арестантов на прогулке, по сигналу Котовского схватили, заманив в карцер. Все шло как нужно. Котовского отомкнули, и он спускался с башни по внутренней лестнице во двор, чтобы разыграть самое главное.

Выбежав во двор, размахивая газетой, Котовский кричал по-молдавски, вызывая на двор тюрьму: «Эггей, манафес, манафес!» Бандиты бегали по коридорам, крича, что вышел манифест об освобождении всех. Тюрьма высыпала во двор. Высунувшегося было из корпусных ворот привратника Котовский схватил за горло, у него отняли ключи.

Но дальнейшее проведение плана сорвалось. В тюрьме поднялась суматоха. Несколько арестантов, воспользовавшись ею, бросились к стене и, перемахнув через нее, побежали куда глаза глядят. Наружные часовые сразу открыли по ним стрельбу, Котовский понял, что фантастический план сорван, но решил идти напролом. Он метался по двору, крича, зовя арестантов и во главе тюрьмы бросился штурмовать уже вторые ворота замка.

С гиком и криком арестанты сорвали вторые ворота, но у третьих на арестантов бросились солдаты наружного ка-

раула. Котовского ранили в руку штыком. Арестантов отеснили во двор тюрьмы. Одни, видя поражение, кинулись назад в камеры. Другие забаррикадировались в коридорах. Держа перед собой два револьвера, забаррикадировавшись в своей башне, герой невероятного плана на крики «Сдавай оружие!» отвечал:

— Сдам, только если губернатор приедет и даст слово, что не будет избиения!

Извещенный о бунте губернатор приехал в тюрьму. Тюремный скандал властям был неприятен. Котовскому дали слово, что избиения не будет, и сдавший оружие Котовский должен был считать, что «нахальный» план побега всей тюрьмой не удался.

Нешадно ругал Котовский тюремную шпану, сволочь «уголовников-Иванов», сорвавших план, и следующий план решил ставить, учитывая только свою фантазию и свои личные силы.

На этот раз побег удался. Правда, этот побег был уже смесью романов Конан Дойля с романами Вальтера Скотта. Ореол «благородного разбойника», красавца «шармера», давно имелся у Котовского, и в осуществлении второго плана сыграла заглавную роль светская женщина, любившая Котовского и его ореол. Уже несколько раз жена видного административного лица в городе посещала в тюрьме Котовского. Свидания невинны. И помощник начальника тюрьмы Бебелло даже начал отходить от правил свиданий. А любившая Котовского женщина пошла на преступление, рискнув всем: положением мужа, своим, быть может, даже тюрьмой для себя.

Она передала Котовскому начиненные опиумом папиросы, дамский браунинг, пилку и тугую шелковую веревку, запеченные в хлебе.

Побег удался.

Но не сразу, а долго и тонко соблазнял Котовский надзирателя Бадеева папиросами. И все же соблазнил. Глубокой ночью, при заснувшем в коридоре Бадееве, Котовский перепилил две решетки, выгнул их наружу и, прикрепив шелковую веревку светской дамы, стал спускаться во двор тюрьмы.

Когда Котовский был уже невысоко над землей, вышедший во двор надзиратель Москаленко заметил скользящую в темноте по стене фигуру и мгновенно узнал, кто скользит вниз к земле. Но страх перед уже спрыгнувшим Котовским заставил Москаленко вместо крика замереть. Москаленко мог только прошептать:

— Григорий Иванович, это вы?

— Я, а это вы, Москаленко? — прошептал Котовский.

— Я, Григорий Иванович, я, только, ради Бога, не трожьте меня, не убивайте...

— Что ты, друг милый, за что я тебя убью, если не сопротивляешься. Давай-ка сюда затвор, так спокойней будет, — говорил Котовский, наведя браунинг на Москаленко, — да вот помоги мне лестницу к стене приставить. Поднимать тревогу тебе нет расчета, ночь темна, сменишься, не заметят, и вся недолга.

Так и вышло. Москаленко помог Котовскому приставить лестницу. Со стены Котовский бросил ему затвор винтовки и, спрыгнув, исчез в ночи.

Лишь на рассвете, на третьей смене часовых, увидели висящую веревку и обнаружили исчезновение из башни Котовского. В городе поднялась тревога; «черный ворон», глава банды анархистов Котовский бежал из тюрьмы и опять на воле!

Но меньше месяца погулял в этот раз на воле Котовский. Анархиста предал провокатор каменщик Еремеич, он приютил Котовского у себя и привел полицию.

В сумерках весь двор дома, где засел Котовский, оцепили вооруженные полицейские во главе с Хаджи-Коли. Котовский увидел, что попался, но не догадался о предательстве хозяина.

Решил, чем умирать застреленным в комнате (чего, вероятно, хотел Хаджи-Коли), попытаться прорваться сквозь полицейских. Этого Хаджи-Коли не ожидал. Котовский неожиданно бросился со двора, стреляя направо и налево. Ранили его только в первом переулке, куда метнулся Котовский, но легко, в ногу. В переулке поднялась стрельба и свалка двух полицейских с атлетом-анархистом. Но из свалки, из стрельбы, раненный в ногу Котовский все же вырвался и, бросившись на проезжавшего извозчика, сшиб его с козел и погнал лошадь.

Пользуясь темнотой, Котовский скрылся на окраине города. Ночь провел на бахчах, где с раненой ноги снял сапог, обмыл ее арбузом и той же ночью, добравшись до Костюженской больницы, в ограблении которой когда-то подозревали Котовского, нашел там приют у знакомого доктора.

Но в характере Котовского была доверчивость. И здесь она подвела. Из больницы Котовский послал записку тому же рабочему, члену партии эсеров провокатору Еремеичу, Еремеич снова привел полицию на след раненого

Котовского. Тут уже было проще. И Хаджи-Коли схватил Котовского.

Это было 24 ноября 1906 года. Котовского вернули в тюрьму, но посадили не в башню, а в секретный коридор, в полуподвальное помещение, чтобы был всегда на виду у стоящих на дворе часовых, и заковали накрепко в кандалы.

Но и тут Котовский предпринял ряд попыток к побегам. Перестукиваясь с сидящими в тюрьме 30 анархистами, над которыми висела смертная казнь, предлагал подкуп из «крестовой башни». Подкуп начался. Но после двухмесячной работы был провален провокатором С. Рейхом.

Тогда Котовский стучал анархистам новое: «Все равно казнят, предлагаю восстание всей тюрьмы!» Но анархисты на уговоры Котовского не пошли, хотя вскоре их и казнили.

Вероятно, в способности подчинять себе людей у Котовского было нечто родственное Сергею Нечаеву, который в Алексеевском равелине, в кандалах, подчинял себе караульных солдат, делая из них сообщников. Слово, приказание Котовского стало законом для всей тюрьмы. И терроризированное тюремное начальство пошло на сговор с несколькими уголовными, чтоб убили Котовского в «случайной драке».

Уголовные каторжане — Загари, Рогачев, Козлов — составили довольно страшный план: в бане ошпарить Котовского кипятком и «добить шайками». Но Котовского предупредили уголовники «его партии», и, когда этот план «смерти в бане» не удался, вырос план убийства булыжниками на прогулке во дворе.

Этот план Загари, Рогачев и Козлов попытались привести в исполнение. На тюремном дворе разыгралось страшное побоище меж арестантами «за Котовского» и «против Котовского». И Котовский вышел из боя победителем. А вскоре Котовский получил приговор суда — «десять лет каторжных работ». Говорят, что приговор он принял совершенно спокойно.

— Десять лет — это жже пустяки в сравнении с вечностью, — заикался Котовский.

И Котовский зазвенел кандалами по этапу в Сибирь, в Нерчинскую каторгу. По дороге из Кишинева к Бирзуле в этап влилась партия каторжан-одесситов; выделялся черноглазый, белозубый каторжанин, небезызвестный палач Павка Грузин. Говорят, начальник конвоя подослал его к Котовскому с провокационным предложением побега. Полагали, что с отчаянным палачом Котовский попытается бежать.

Так и вышло. В Елизаветградской тюрьме, куда в подвал согнали партию пересыльных, Павка Грузин предложил Котовскому перепилить решетку, выбраться, обезоружить часового, и... прощай, неволя!

Но, когда Котовский приступил к осуществлению плана, партию выгнали вдруг на отправку. А на вокзале конвойные взяли Котовского в отдельный вагон, обыскали, нашли в подметках тюремных котов пилки и, доведя до Николаевской центральной тюрьмы, посадили в одиночку, применив строжайший режим.

Котовский понял, что спровоцирован Павкой Грузином. Положение Котовского тяжелилось. Долгое время просидел он в централе, но с новой партией погнали дальше в Сибирь.

Окруженная тройной цепью конвойных и конных стражников, шла партия в двадцать человек политических и уголовников во главе с Котовским. Со времени перегона из Кишинева Котовский узнал Елизаветградскую, Смоленскую, Орловскую тюрьмы, наконец ушел из Европейской России, зазвенел кандалами по сибирским дорогам.

Из Сретенска на Горный Зерентуй через Шелапугино переходами по 40—45 верст гнали партию. Стояла лютая сибирская зима, налетали ветры, слепила пурга, ежились, ругались уголовники. Котовский поражал и конвой, и арестантов необыкновенной выносливостью и выходками спортсмена. В крепкий мороз вдруг оголялся до пояса и шел полуголым. На привалах по рецепту Мюллера начинал махать руками, приседать и растираться снегом.

Конвойные смотрели на арестанта-атлета с удивлением и смехом.

— Вот легкий пассажир, сроду такого не видали.

— А вы за ним в оба, в оба глядите, а то дунет, не смотри что нагишом, он и нагишом по Сибири пойдет, — приказывал старший. И вздохнул облегченно, когда на Нерчинской каторге оставил Котовского, погнав этап дальше.

На Нерчинской каторге, на приисках, в шахтах, глубоко под землей, два года проработал Григорий Котовский. Если б Достоевский встретил такого каторжника в «Мертвом доме», вероятно, подолгу бы беседовал с ним. Котовский был странным и интересным человеком. Из острых, черных глаз не уходила и грусть. Может быть, осталась от сиротского детства и фантастических книг. Он мог прикрыть последним тряпьем мерзнущего товарища. А мог всадить в горло нож солдату, преграждающему путь Котовскому к свободе, к побегу. Говорят, Котовский плакал, глядя на нищих, оборванных детей. Но если охватывала этого черного силача

злоба, от его взгляда самые крепкие убийцы-уголовники уходили, словно собаки, поджав хвосты. Необычная сила жила в Котовском.

Два года готовился Котовский к побегу с каторги. И зимой 1913 года, работая по подаче песков, накинулся на двух конвойных, убил булыжниками и, перемахнув через широкий ров, скрылся в сибирском лесу, в тайге.

Тайга. Тысячи верст дикого простора и бездорожья. «Славное море, священный Байкал... Бродяга Байкал переплывает... Котел его сбоку тревожит, сухарики с ложкой звенят...» Котовский до дна испил кровь убийства, кандалы, русскую каторгу.

Бежав с каторги, четыре года нелегально шлялся по России. Сначала в Томске, в Сибири, но тянуло на родину, в Бессарабию, где цвели сливовые сады пышным цветом и хаты молдаванскими пестрыми коврами, где родилась и прогремела его разбойничья слава.

На Волге Котовский узнал подлинную рабочую жизнь. Работал в Жигулях бурлаком, грузчиком, смеялись над атлетом бурлаки: не курил и вместо водки пил молоко. Только ел на славу: яичница из 25 яиц была любимым блюдом.

Но не для работы, не для того, чтобы гнуть спину, родился в дворянской семье этот заика-мальчик. В Балашове на мельнице Котовский выдвинулся своей недюжинной силой — подковы ломал. Хозяин назначил смышленного силача десятником. А в одно утро, когда Котовский составлял с хозяином в конторе наряд на работу, вдруг выхватил десятник револьвер и наставил на хозяина:

— Руки вверх!

Котовский отобрал деньги и скрылся из Балашова, как в воду канул. Только осенью 1914 года вынырнул у себя на родине, в Бессарабии. Но с год никто не знал, где Котовский. По чужому паспорту он служил в Бессарабии управляющим большим именем. Любитель «отчаянных положений» жил удивительной двойной жизнью. Образцово управлял именем, хозяева его работе порадоваться не могли. Но это — одна сторона.

А другая — в Бессарабии уж начались зловещие налеты и грабежи. Грабила банда беглых с фронта солдат во главе с Котовским. Полиция снова начала охоту за ним. Переведенный в Петербург, в царскую дворцовую охрану, пристав Хаджи-Коли был снова командирован в Бессарабию ловить Котовского.

И в который раз погубила Котовского доверчивость и любовь к позе.

Какому-то погорельцу-крестьянину дал деньги, сказав: — На-ка, братец, постройся заново. Да брось благодарить, не свои даю. Котовского не благодарят...

Мужик так и обмер: это имя знала вся Бессарабия.

По мужику-погорельцу отыскался след. Имение, которым образцово управлял Котовский, ночью, к полному удивлению хозяев, было окружено сильными отрядами полиции во главе с полицмейстером Кишинева и приставом Хаджи-Коли. Это было 25 июня 1916 года в селе Стоматове Бендерского уезда.

Больше двадцати крупных налетов и грабежей, не считая мелких, числилось за Котовским. Управляющий сразу понял, что это за шум, за гомон, за крики и топот лошадей по усадьбе. Но решил дешево не сдаваться.

Котовский забаррикадировался в доме, начал отстреливаться от наступающих полицейских. Помещица, узнав, кто в течение года управлял ее имением, упала в обморок. В доме произошел бой.

Но бой был недолог. Тяжело раненный в грудь и потерявший сознание Котовский был схвачен полицией и под конвоем приведен в Кишинев.

Котовский знал, что теперь грозит смертная казнь. Был уверен, что повесят, хотел только одного, чтобы расстреляли. Того, что через несколько месяцев над Россией разразится революция, которая сделает его красным генералом, — не предполагал.

Дело Котовского было назначено к слушанию в военно-полевом суде. К Котовскому применен был исключительный режим, его охраняли день и ночь, боясь фантастических побегов.

Одесский военный губернатор самолично настаивал на ускорении следствия, но дело Котовского было чересчур обширно и требовало длительного расследования. Все ж в феврале 1917 года под усиленной охраной полиции Котовский был доставлен в здание военно-окружного суда.

Суд квалифицировал Котовского как обыкновенного бандита, отрицая всякую революционность его налетов и грабежей. Котовский заявил себя анархистом, горячо отбрасывая все обвинения в грабежах с корыстными целями.

— Я — анархист! И в постоянной борьбе с вашим обществом, которое мне враждебно!

Котовский крепко знал, что на этот раз общество победило и от смерти не уйти, но держался мужественно и последнее слово закончил так:

— Если я вообще могу просить суд, прошу об одном — не вешайте меня, а расстреляйте!

Суд совещался недолго, и председатель генерал Гутор, впоследствии перешедший к большевикам, но не достигший, как Котовский, положения «красного маршала», огласил приговор: «Дворянина Григория Котовского, родившегося в м. Ганчешти... за содеянные преступления... к смертной казни через повешение...»

Под усиленным конвоем Котовского вывели из подъезда суда, повели к тюремному автомобилю. Далеко оцепив улицы, городские разгоняли толпу любопытных одесситов, желавших хоть раз взглянуть на «черного ворона». Но эскортируемый конвоем автомобиль быстро увез Котовского в тюрьму.

Такого жизнелюба, такого неподходящего к смерти человека, как Котовский, в тюрьме охватила страшная тоска по жизни. Котовский схватился за невыполнимый план побега с прогулки, несмотря на то что выводили его закованным в ручные и ножные кандалы. «План создан. Риска 95%. Но выбирать не из чего...» — сообщил он политическому заключенному Йоселевичу, прося его помощи. Но тут совершилось несколько малых и больших непредвиденностей. Котовский знал, что Одесса «говорит о Котовском». Но не подозревал, какое сильное движение поднялось в городе за его помилование. Не среди «черных воронов» и биндюжников, ценивших Григория Ивановича за то, что его ни на Бога, ни на мат, ни на бас не возьмешь. Нет, движение по спасению жизни Котовского поднялось в иных кругах.

Особо энергичную борьбу за освобождение бессарабского Робин Гуда повела влиятельный в Одессе человек — генеральша Щербакова. Когда день казни был уже близок, генеральша Щербакова добилась невероятного — оттяжки казни.

Может, надо быть русским, чтоб понимать всю «эксцентричность души» не только Григория Котовского, но и генеральши Щербаковой. Во всяком случае, казнь Котовского затянулась. Кроме Щербаковой захлопотали общественные круги, интеллигенция, писатели, начали выноситься резолюции, обращаться просьбы. А Котовский готовил «хоть какой-нибудь побег».

Но как ни влиятельна была генеральша Щербакова, все ж от смерти спасти Котовского не могла. Смертная казнь была назначена. Григория Котовского, разбойника с тяжелым детством, атлета с уголовной фантазией, должна была неминуемо затянуть петля на раннем рассвете во дворе Одесской тюрьмы.

Но тут пришла бо́льшая, чем генеральша Щербакова, непредвиденность.

Над Россией разразилась революция, буревестником которой был Котовский.

Уж отрекся царь, уж опустел Зимний дворец, власть над Россией взяли в свои руки русские интеллигенты. Но Керенский еще не успел отменить смертную казнь, и петля висела над Котовским.

За дело помилованья взялся теперь известный писатель А. Федоров. Федоров Котовского не знал, но, вероятно, как писателю Котовский был ему интересен.

Федоров вошел в небольшую узкую камеру, где сидел закованный Котовский.

Котовский — «шармер». Это знала Одесса. Знали это и Федоров, и генеральша Щербакова, и та невыданная Котовским светская дама, принесшая ему пилки и шелковую веревку.

В узкой тюремной камере Федоров увидал мускулистого силача с красивым, немного грустным лицом и острыми, пронизательными глазами. Когда Федоров сказал, что хлопчет перед Временным правительством не только об отмене смертной казни, но и об освобождении Котовского, тот улыбнулся и ответил:

— Я знаю, что вас интересует во мне. Вы интересуетесь, как я представляю себе свою жизнь сейчас, после революции? Да? Я скажу вам прямо: я не хочу умирать и хочу милости жизни, но я хочу ее, пожалуй, даже не для себя, я могу обойтись без нее. Эта милость была бы показателем доверия и добра, но не ко мне одному... Впрочем, — улыбнулся Котовский, — я бы постарался оправдать...

— Конкретно, — проговорил Федоров, — что вы хотите?

— Свободы! Свободы! — вскрикнул Котовский, зазвенев кандалами. Но свободы, которую я бы принял не как подарок, а как вексель, по которому надо платить. Мне тюрьма теперь страшней смерти...

Котовский, задумавшись, помолчал. Потом заговорил как бы сам с собой:

— Я знаю свою силу и влияние на массы. Это не хвастовство, это знаете и вы. Доказательств сколько угодно. Я прошу послать меня на фронт, где благодаря гнусному приказу № 1 делается сейчас черт знает что! Пусть отправят меня на румынский фронт, меня все там знают, за меня встанет народ, солдаты, и вся эта сволочь, проповедующая бегство с фронта, будет мной сломлена. Если меня убьют,

буду счастлив умереть за родину, оказавшую мне доверие. А не убьют, так все узнают, как умеет сражаться Григорий Котовский.

Котовский говорил без рисовки, со спокойной твердостью.

— Нет, теперь умирать я не хочу. И верю, что не умру. Если смерть меня так необычайно пощадила, когда я уже был приговорен к казни и ждал ее, то тут есть какой-то смысл. Кто-то, судьба или Бог, — улыбнулся он, — но оказали мне доверие, и я его оправдаю. Теперь только пусть окажет мне еще доверие родина в лице тех, кто сейчас временно ее представляют. — И, не возвышая голоса, он вдруг добавил: — Мне хочется жить!

И с такой внутренней силой, которая почувствовалась в мускулах, в оживших темных, тяжелых глазах:

— Жить! Чтоб поверить в людей, в светлое будущее родины, которую я люблю, в ее творческую духовную мощь, которая даст новые формы жизни, а не законы, и новые отношения, а не правила.

Впечатление Федорова от посещения Котовского было даже сильнее ожидаемого.хлопоты об освобождении пошли полным ходом. В «Одесских новостях» Федоров напечатал статью «Сорок дней приговоренного к смерти». Статья про шумела и создала широкую волну за Котовского.

А когда в Одессу, проездом на румынский фронт, прибыл военный министр А. И. Гучков и здесь же был морской министр А. В. Колчак, в гостинице «Лондо» Федоров добился с ними свидания. Министры отнеслись скептически к ходатайству писателя, но Федоров указал, что казнить нельзя, ибо революция уже отменила смертную казнь, оставить в тюрьме бессмысленно — все равно убежит. И министры согласились, что единственным выходом из положения является освобождение. К Керенскому пошла телеграмма, и от Керенского вернулся телеграфный ответ: революция дарует преступнику просимую милость.

Прямо из тюрьмы освобожденный Котовский приехал к Федорову. Взволнованно сжав его руку, глядя в глаза, Котовский сказал:

— Клянусь, вы никогда не расскажете в том, что сделали для меня. Вы, почти не зная меня, поверили мне. Если вам понадобится когда-нибудь моя жизнь — скажите мне. На слово Котовского вы можете положиться.

На этом кончился разбойный период жизни Котовского.

И началась военно-революционная карьера.

КАНДАЛЫ С АУКЦИОНА

Поза. Подчас замечательная. Подчас безвкусная. Но всегда с максимальной экспрессией. Это в грабеже, в побеге из тюрьмы, на войне, во всей жизни влекло Котовского.

Когда в Одессе бушевала революция, Котовский из тюрьмы на эту сцену вышел не просто. Он вышел «в кандалах» и в первый же вечер поехал в оперный театр, где шло представление «Кармен».

На сцене пели дуэт дон Хозе и Кармен, но вдруг по публике, захваченной представлением, пробежал легкий шорох, шепот, наконец, гул голосов. Артисты сразу заметили этот разрыв и разъем меж ними и публикой. А по залу уже явственно шел шум и гул:

«Котовский... Котовский... Котовский».

Широко распахнув двери, меж ошарашенными капельдинерами в зрительный зал вошел он сам, герой 1001 ночи, несколько раз раненный, несколько людей убивший, Григорий Котовский в руках со своими гремящими кандалами.

В зале произошло замешательство. Не только в зале, но и на сцене. Артисты почувствовали себя побежденными гораздо более сильным эффектом.

С кандалами в руках Котовский сел в первом ряду. Одна когда-то им ограбленная дама упала в обморок. Весьма галантно Котовский привел ее в чувство. Он прекрасно понимал, что это, вероятно, было «сильное переживание». А в антракте, с кандалами в руках, отправился в фойе.

Здесь, окруженный разнообразной толпой, Котовский взлез на что-то долженствующее быть трибуной. Он произнес тут речь о свободе, о России, о себе, Григории Котовском. Слушатели были потрясены. И когда в заключение Котовский закричал мощным басом, покрывая шумы зала, что продает сейчас же свои кандалы в пользу родившейся русской свободы, крик его был покрыт громом аплодисментов и кандалы — единственная движимость Котовского — в десять минут были куплены за 10 000 рублей каким-то влюбившимся в революцию буржуем. Позднее Котовский сам записал так: «Медовый месяц февральской революции. И буржуазия покупает мои кандалы».

Это было «шикарно». Именно так любил Григорий Котовский. Теперь вся Одесса знала и следующую сногшибающую новость: Котовский едет на фронт в кавалерию.

В Одессе в одном из квартировавших кавалерийских полков Котовский прошел короткую военную подготовку.

И раньше был хорошим наездником, а теперь на карьере с маху рубил глиняные чучела так, что только дивились вахмистры-кавалеристы. Стрелком же без промаха Котовского заставили стать еще прежние разбойные ночи.

Шик, удаль, лихую внешность любил Котовский. Надел алые гусарские чикчиры с позументом, венгерку, мягкие, как чулки, сапоги с бляхами на коленях и шпоры с благородным звоном.

По Одессе, где в былом ловила Котовского полиция, обещая награду за его голову, — теперь он ходил гусаром. Но Котовский торопился на фронт. Перед отъездом, уже во всем фронтовом, заехал к Федорову. Подружившийся с писателем странный разбойник долго отказывался от подарка — английского непромокаемого плаща. Наконец, смеясь, сказал:

— Не пропускает дождя? Ну, хорошо, надеюсь, что не пропустит и пули.

Такими «полуисторическими» фразами любил говорить Котовский. Он уехал на фронт, еще раз напомнив Федорову, что когда ему понадобится жизнь Котовского, пусть скажет.

На румынском фронте шло тогда наступление Керенского. Котовский сразу привлек внимание начальства, за боевые отличия в первые же дни получив Георгия. А за проявленную храбрость в дальнейших боях был произведен в прапорщики и принял в командование отдельную казачью сотню, с которой совершал смелые разведки в неприятельском тылу.

Трудно сказать, как сложилась бы судьба Котовского, если б Россия не вспыхнула большевизмом. Но этот начальный большевизм увлек Котовского.

В полном развале фронта, когда кругом шли грабежи прифронтовой полосы, горели имения и местечки под напором разнузданных вооруженных банд, Котовский избирается в президиум армейского комитета румынского фронта. Здесь впервые он столкнулся с большевиками.

— Я — анархист, — говорил Котовский, — но между мной и вами пока что не вижу разницы!

Развал армии шел стремительно, фронта уже не было. Самотеком бежали отовсюду солдаты. В эти дни у старых профессионалов войны — генералов, полковников, оберофицеров, — захлестнутых волнами революции, опустились руки и выпали вожжи. Стихия ножа и красного петуха была чересчур страшна. Но прекрасный наездник «анархист-кавалерист» Котовский в алых чикчирах, с кав-

казской шашкой чувствовал себя в этой стихии, как в отдохновенной ванне.

Он умел атаманствовать. И в развале фронта начал самовольно формировать кавалерийские отряды.

Жители Кишинева, натерпевшиеся от бегущих с фронта грабительских солдатских орд во главе с выбранными командирами-кашеварами и каптенармусами, в один прекрасный день поразились, как диву, когда на праздничной улице, заполненной любопытными горожанами, появился необычайный кавалерийский отряд.

Не в пример другим, отряд ехал в колонне по шести, кони на подбор, конь к коню, ладные, убранные, даже не солдатские, а офицерские кони, вероятно краденные из богатых имений или взятые у ссаженных с седел офицеров. Едут с треплющимся в ветре красным штандартом. Запева-лы в на ухо заломленных папах поют куплеты, от кото-рых покраснела вся улица.

А впереди отряда на танцующем горячем вороном жеребце, оперев крепкую руку в бок, сидит плотный, муску-листый человек с крепким затылком, с крутым подбородком, темными властными глазами. Он не смотрит в толпу на тротуары. Она должна смотреть на эту вели-колепную картину. И толпа смотрит на предводителя от-ряда, на танцующего под ним тонкокровного жеребца, волнующегося от похабных куплетов. Смотрит и не узна-ет: «Да это ж Котовский...»

«Котовский... Котовский...» — пронеслось по толпе. Грабежи... легенды... убийства... И вдруг кто-то гаркнул на всю улицу:

— Ура, Котовский!

Но Котовский только поднес руку к малиновой фураж-ке, полуобернувшись в седле, скомандовал:

— Рысью... марш!

И отряд, оборвав пенье, поскакал за несущимся впереди вороным жеребцом начальника.

Это было то время, когда Котовский уже вступил в борьбу с белыми, формировавшимися под командой генера-ла Щербачева. В первых же стычках Котовский попал к генералу Дроздовскому в плен, но счастье не изменило Котовскому — бежал.

В Одессе, где еще так недавно Котовский гулял гусаром, творилось уже нечто невообразимое. Власти сменялись ки-нематографически: украинцы, немцы, большевики, гри-горьевцы, белые. Это был котел страстей и авантур, как раз подходивший к страстям и авантюрам Котовского.

Отряд Котовского таял в стычках с белыми, румынами, украинцами, и его вождь вдруг махнул в центр российского пожара — в Москву. В Москве в Кремле сидели не «падающие в обморок дамы». Они не ужаснулись биографии ходившего не раз на «мокрое» Котовского. А правильно оценили недюжинные способности, смелость и отвагу этого талантливого и лихого человека. Неважно, что анархист. Сейчас все на красную мельницу. А там — разберемся.

И Котовскому в Москве дали задачу: нелегально ехать в занятую белыми Одессу и там действовать, поддерживая связь с коммунистическим подпольем.

Поздней осенью с фальшивым паспортом на имя помещика Золотарева Котовский появился в одесском революционном подполье. Но уже через три дня газеты оповестили город о его появлении.

Никто еще не знал: с кем этот уголовно-террористический герой? Для чего приехал в белую Одессу, переполненную иностранцами, французами, греками, англичанами, итальянцами, поляками, румынами, где сплелась борьба белой контрразведки с коммунистами, анархистами, левыми эсерами и уголовниками во главе с Мишкой Япончиком.

О Котовском печатались зондирующие статьи: с кем же этот прапорщик революционного времени? Но уж через месяц Одесса знала, что анархист Котовский лезет сквозь пожар России, как лось, напролом, сквозь чашу горящего леса.

В Одессе Котовский набрал под свое атаманство 30 дружинников из разбойного и уголовного мира вперемешку с коммунистами. Котовский брал людей «по глазам». Одним взглядом видел: годится ему или нет.

И снова вся Одесса заговорила о Котовском. Ему это, вероятно, надобилось. Уж давно молчали. А тут опять вспыхнули феноменальные по смелости грабежи-приключения.

Данная подпольем задача коротка: убийства полицейских агентов, провокаторов, террор в отношении белой контрразведки, экспроприация деникинского казначейства, налеты на банки и частных лиц.

И сразу после первого «дела» рука Котовского была узнана всей Одессой. На одном из одесских заводов забастовали три тысячи рабочих. Зачинщиков забастовки выдали полиции, на фабрику выслали войска и под их охраной старались возобновить работу.

Если верить «фантастическим рассказам», Котовский проделал следующее: написал письмо фабриканту: «Немедленно договориться с рабочими, уплатить за вынужденный прогул и добиться у властей освобождения забастовочного

комитета». Если б стояла иная подпись, но — Котовский? И срок в три дня? Визит с револьвером?

Фабрикант будто бы сообщил о письме в контрразведку. Контрразведка распорядилась поместить у парадного входа и во дворе засаду в 50 человек. К тому ж главное управление разведки помещалось в соседнем с фабрикантом доме.

Три дня прошли. Но на пятый, вечером, к дому фабриканта катил щегольской лихач под зеленой сеткой, и у кучера часы на поясе. Подвез капитана в шинели с иголки, капитан покуривал сигару. Рысак замер, лихач намотал вожжи на кулаки. Капитан вылез из экипажа и очень быстрыми шагами вошел в подъезд, крикнув:

— Эй, кто дежурный, живо сюда!

Начальник засады вышел, за ним вышли вооруженные люди. Котовский заговорил:

— Я по поручению коменданта города, мы имеем сведения, что нападение произойдет через пятнадцать минут. Разбудите резерв, зарядите оружие, будьте наготове. Я пойду предупрежу хозяина, чтоб не испугался стрельбы. Живей! — И капитан быстро взбежал по лестнице.

Хозяин был уж в халате, ложился спать. Но дверь отперли и капитана впустили.

— Я к вам по поручению коменданта города, положение чрезвычайно серьезное, вам угрожает нападение, нужно принять все меры.

Хозяин прошел с Котовским в кабинет, а в кабинете разыгралась будто бы известная, исполняемая по шаблону сцена: револьвер, «я — Котовский» и требование денег. Деньги были вручены. Но сцена еще не доиграна. Котовский хочет оригинальности.

Спрятав деньги, Котовский приказывает хозяину звонить в контрразведку:

— Помогите, у меня Котовский!

И когда перепуганный насмерть хозяин взялся за трубку телефона, капитан вышел из кабинета и, сбегаая по лестнице, крикнул начальнику отряда:

— Держитесь! Я сейчас приду с подмогой! Котовский будет минут через десять! Постарайтесь продержаться до моего возвращения!

Щегольской лихач рванулся от подъезда в то время, как из помещения разведки бежали уже люди к квартире фабриканта.

Если верить, этим «делом» Котовский открыл авантюры в Одессе. Та же изобретательность, та же смелость, то ж разбойное остроумие. Но Котовский в своем отряде крепко переплел

политику с уголовщиной. Может быть, из всех периодов этот период самый темный в жизни Котовского. В Котовском самом не было корысти, но его окружение состояло из настоящих бандитов, и «налеты» смешивались с явным разбоем.

То Котовский переодетый офицер, то дьякон, то помещик. Грабежи днем и ночью. На столбах Одессы расклеены воззвания, предлагающие за выдачу Котовского и его сообщников крупную награду. Но именно эту-то «игру жизнью» и риск каждой минуты и любил Котовский.

Котовский играл. Играл так, как играют в кинематографе. Говорят, в этом человеке жила большая тоска, смешанная с патологической жаждой крутить перед всем миром трехтысячметровый криминальный фильм, на который «нервных просят не ходить».

В бытность Котовского в Одессе ему приписывается и следующий «трюк».

В разгар своей войны с полицией и белой контрразведкой, когда гонялись за ним по Одессе, Котовский будто однажды сообщил бандитам, что налет, назначенный на вечер, отменяется.

— Поеду в театр. Хочу отдохнуть. Послушаю «Евгения Онегина».

И, несмотря на полное остолбенение, крики, ругательства и протесты коммунистов, он отставил назначенный налет без разговора.

— Что-о-о? — И Котовский медленно повернет лысый круглый череп, останавливая на сопротивляющемся ему, Котовскому, тяжелые камни глаз. Этого достаточно. Всякий отойдет, как собака, потому что если анархист Котовский что-нибудь хочет, то этому нет препятствий.

— Пппонялли? — заикается Котовский и пойдет своим широким тяжелым шагом атлета.

Котовский любил музыку по-настоящему. Сам недурно играл на корнет-а-пистоне. Но это любительство. Он больше всего любил Чайковского и, как хотел, поехал в оперный театр.

Это было весной 1919 года. В цилиндре, в смокинге ехал, немного опоздав, Котовский в театр. На пышных дутиках, на бандитском лихаче по веявшим мартовским теплом вечеряющим улицам Одессы, где на столбах объявлена награда за его жизнь. Но он едет слушать Петра Ильича Чайковского.

Первый акт прошел благополучно, никто не обратил вниманья на крупного, рослого барина в смокинге, сидевшего во втором ряду и слушавшего Чайковского с подлин-

ным наслаждением. Но в антракте глаз Котовского уж различил «нечто». Заметались какие-то штатские. И через несколько минут он явно услышал свое имя.

В театре началось второе представление. «По Котовскому». Говорят, «с ужасом и восхищением» следили некоторые, как в партере поднялся и медленно пошел меж кресел крупный красивый человек с блестящей лысой головой. Не тот уж Котовский: уж обрюзг, ожирел, у рта легли глубокие складки, глаза чуть прищурены и под глазами густая сетка морщин. Это немного уставший волк. Но еще очень сильный.

Котовский чувствовал облаву. Знал, что теперь надо одно: «бить на психологию». Боковые выходные двери заняты сыщиками. Но в руке с цилиндром Котовский идет не туда, а прямо к главному выходу. Надев чуть набок цилиндр, медленно спускается с лестницы, в упор смотря своими черными напористыми глазами в глаза стоящему внизу, кажется, сыщику. Сыщику остается только радоваться: за голову Котовского награда, и Котовский идет прямо на него.

Но вот, почти подойдя, Котовский вдруг останавливается, вынимает из кармана сигару, затем откусывает кончик и вежливо просит у агента прикурить. Тот подымает застывшую в руке папиросу. Может быть, Котовский сейчас начнет палить из маузера? Секунда, два шага — и Котовский несется по Одессе на своем лихаче.

Одесские уголовники — Мишка Япончик, Домбровский, Загари и другие — ненавидели Котовского за то, что чего-то в нем не понимали. Зачем, в сущности, этот бывший «барин» отбивает у них хлеб? Котовский же презирал «уголовников-Иванов», «мокрушников», потому что знал, за чем эти люди идут на грабеж и убийство.

С уголовником Япончиком безжалостно расправился этот немного уже начавший уставать, с сдающим сердцем Григорий Котовский. Япончик набрал под своей командой отряд, сражавшийся вместе с большевиками против белых. Но когда в этом миновала надобность, Котовский посоветовал красным уничтожить уголовников оригинальным способом: пустить на украинских повстанцев атамана Григорьева, обещать резервы и не дать резервов. Так этот отряд уголовных и был целиком вместе с Япончиком уничтожен григорьевцами.

Весной 1919 года подпольная жизнь Котовского со всеми авантюрами кончилась. На Одессу наступали красные. Белую Одессу охватила паника близкой гибели. Дружинники Котовского вышли уже в эти дни из подполья. Они били с тылу, обстреливали с крыш, отбивали обозы, внося еще большую панику в отступающую армию.

Накануне занятия Одессы переодетый полковником Котовский вывез на трех грузовиках из подвала государственного банка различные драгоценности. А на следующее утро — 5 апреля 1919 года — в Одессу вступили красные войска.

Одесса пережила страшный, неслыханный террор. В этом терроре участвовало все вышедшее наружу большевистское подполье. Но не участвовал Котовский. Расстрелы пленных, всякое трусливое зверство Котовскому были чужды.

В Одессе зверствовал глава большевистской Чеки садист Вихман, впоследствии расстрелянный самими же большевиками. Как раз в эти дни Котовского разыскал писатель Федоров. Понадобилась ему не жизнь Котовского, а более дорогая жизнь его собственного сына, офицера, попавшего в Чеку. Там один суд — пуля в затылок. Но Котовский бросился вырывать сына Федорова из вихмановских рук.

Это было рискованно даже для Котовского: хлопотать об активном члене контрреволюционной организации. Но Котовский не просил у Вихмана, а потребовал:

— Я достаточно сделал для большевистского правительства и требую подарить мне жизнь этого молодого офицера, отец которого в свое время сделал мне не менее ценный подарок.

Вихман с чекистами уперлись. Мастера кровавого цеха возражали:

— Если «подарить» вам этого белогвардейца, то придется освободить всех арестованных по одному с ним делу, так как вина этого офицера — наибольшая.

— Подарите их всех мне!

Чека не выдавала. Но какой-то такой ультиматум поставил Котовский, что Вихману пришлось «подарить» Котовскому и сына Федорова, и его товарищей.

Широко, по-человечески отплатил Котовский писателю Федорову. Но история гражданской войны, в которой крупную роль играл Котовский, знает не один человеческий жест этого красного маршала.

КАВАЛЕРИСТ

С занятием красными Одессы карьера Котовского-кавалериста развернулась.

При поддержке австрийских украинцев-галичан грозной опасностью для красных на Украине встал головной атаман

Симон Петлюра. В лазурно-голубых мундирах он привел на Украину гайдамаков. Вместе с Петлюрой пошли меньшие атаманы — Тютюник, Черный, Ангел, Ткаченко, Струк, Бень.

В Ямпольский уезд Подольской губернии на один из участков против Петлюры красное командование бросило 45-ю дивизию под начальством Якира, в которой Котовский командовал 2-й бригадой.

Для разбойного, кровавого, «смутного времени» российской революции, когда страна стояла в сплошном грабеже, рука Котовского была самая подходящая. За ним — хорошая школа тюрем, каторги, больших дорог.

В отрядах своей бригады мародеров и дезертиров Котовский расстреливал собственноручно. Ввел железную разбойничью дисциплину, содержал банды-войска в таком благочестии, что даже диву давались жители местечек, привыкшие к погромам. В этих местечках дисциплину отрядов Котовского особенно ценили евреи, ибо только один Котовский не грабил их, за что и носил от украинских атаманов кличку «жидивьского бога».

— Товарищ Котовский не приказал. — И этого достаточно, чтобы в случае послушанья быть расстрелянным на месте самим комбригом.

В лесах под Крыжополем начались первые бои Котовского с австрийско-украинскими гайдамаками. Жестокие бои. Четыре месяца изо дня в день отбивалась красная 45-я дивизия от превосходящих численностью украинских войск. Силы дивизии таяли. Особенно горевал прирожденный наездник Котовский о гибели коней. Но у Котовского первым подручным, командиром бессарабского кавалерийского полка, был тоже тип не без красочности. Мишка Няга, 19-летний неграмотный свинопас из одного бессарабского имения. О Няге Котовский отзывался восторженно:

— Мммишка — прирожденный ббоец и командирр!

В обоженном солнцем свинопасе, с носом луковицей, жила отвага, равная отваге Котовского. Нет коней, чтоб атакой разнести петлюровских гайдамаков. Но Мишка Няга решил обрадовать любимого начальника. Глубокой ночью с десятью «не одним дымом мытыми» котовцами Няга вплавь перебрался через Днестр. Знал, в 15 километрах от скалистой реки стоят два больших конских завода, на одном из которых Мишка три года служил пастухом.

С убийством, с поджогом напали на завод котовцы, но увели 60 коней и, связав за недоуздки, погнали назад к Днестру.

— Вот обрадуется Григорий Иваныч! — только вскрикивал Мишка, когда плыли на конях ночью через Днестр. И карьером понеслись к местечку Песчанка, где стояли тогда отряды Котовского.

На рассвете, когда Котовский делал еще гимнастику и обливался водой, командиру доложили о Мишкином сюрпризе. Котовский, не доделав приседаний, выскочил на крыльцо, куда Мишка уже подвел, выстроив, 60 кровных, задыхнувшихся в скачке коней.

— Ммишка, стерва! — И Котовский остолбенел.

Женщины и кони были слабостью Котовского. Стал обходить кобыл, жеребцов; растрогался до слез и, поочередно обнимая, расцеловал всех своих десятерых котовцев.

— Да, вот это интеллигентные лошадки! Золотой мальчик Ммишка! — весь день растроганно повторял Котовский.

И по случаю военного приза перед церковью на площади устроил своей банде парад. Не зная, как почтить героизм Няги, он приказал склонить боевое знамя полка, оркестр же из десяти трубачей гремел «Интернационалом». Правда, такие почести обычно отдавались в отрядах мертвым. Но ничего более помпезного выдумать было нельзя. И этим почтил Котовский своего комполка Мишку Нягу. А через неделю уже скакали кровные скакуны под шпагой Котовского в атаку на гайдамаков.

Ранней зимой в городке Рославле расположились на отдых вырвавшиеся из кольца украинских войск котовцы. От прежнего налетчика, героя Конан Дойля, не осталось и следа. 32-летний Котовский нашел наконец свое призвание. Он должен быть вовсе не страхом больших бессарабских дорог, а кавалерийским генералом.

Во всяком случае в Рославле Котовский уже чувствовал себя генералом. Ввел правильную казарменную жизнь, дисциплину, обязательную гимнастику, расправлялся с бандой сурово. Если проведет ладонью по крупу коня и останется пылинка, изобьет так, как не бил и царский ротмистр. Любил дисциплину этот бывший анархист и разбойник.

Но недолго простояли в Рославле отряды Котовского. На Петроград шел генерал Юденич. Под северной столицей уже гремели пушки. И Котовского бросили под Петроград спасать Ленину революционную столицу.

Там, в городе Петра, по голодным, вымершим улицам, изрытым окопами, вырытыми подневольно выгнанными «буржуями», интеллигентами, профессорами, чиновниками, шли курсантские и чекистские войска. С Урала приехали ди-

кие, странные у памятника Петру Великому башкиры. Кто в чем, без седел, едут и поют заунывные непонятные песни.

И с юга экстренными эшелонами с крадеными скакунами прибыла бригада Котовского. В Петрограде Мишка Няга раскрыл рот: никто из котовцев-партизан не видал во всю жизнь ничего, кроме молдаванских деревень, а тут они, граждане РСФСР, узнали наконец, что в России есть Петроград.

С удивлением глядели царские дворцы, полуразрушенные, покинутые особняки, изуродованные памятники, фонтаны и парки Петербурга на въехавших конников Котовского.

— Хороша столица-то, Григорий Иваныч, только — голодно, — ослабился Мишка Няга. И верно, в столице, кроме мертвых памятников да заброшенных дворцов, — ничего: ни картошки, ни хлеба. Это не Украина, где отожрались котовцы, тут сражаться надо в голоде, голодают и лошади, и люди.

В Царском Селе, где остановились отряды, Котовский приказал реквизировать соломенные матрацы. Партизаны ножами пороли их, и голодные кони тоскливо жевали труху. Зато во дворцах и особняках бежавших аристократов партизаны нашли удовольствие. Котовский сам был любителем старинного оружия и разрешил его брать. Штаб Котовского — бывший цирковой жонглер Гарри, Мишка Няга, Ваня Журавлев — шеголяет уже со старинными палашами и саблями.

Но все ж хоть и голодными войсками, а красные отбили генерала Юденича. Юденич дрогнул под натиском ожесточенно погнанных на него полков. И снова бригада Котовского, вдоволь походившая по дворцам, увидев, что есть в России города, грузилась в эшелоны, отправляясь на родной юг. Только отличившийся в боях Котовский лежал в голодной столице в тифу. Но к нему приставлены несколько врачей: «Выходить во что бы то ни стало вождя красной конницы!»

Еще в госпитале поправлявшийся Котовский получил приказ о своем назначении командиром кавалерийской бригады, долженствовавшей быть сформированной на юге из разрозненных частей 45-й дивизии. Бригада предназначалась для удара на отступавшие на юг войска Деникина. И это должна была уже быть настоящая бригада, а не полубанда, с которой он ходил по Бессарабии и Украине.

Говорят, Котовский становился все нетерпеливее, торопясь на юг. Он уже настоящий «красный маршал», уже

награжден орденом Красного Знамени. Он — генерал с большим вкусом к веселой конной службе и лихим ударам кавалерийских лав. О нем уже пошла широкая слава как о самом боевом командире красной кавалерии.

На дорогу «красному Мюрату» петроградские власти подарили медвежью доху, вероятно, за границу бежавшего эмигранта. В этой шикарной дохе, провожаемый, как герой, защитник красного Петрограда Котовский тронулся в особом вагоне на юг, в Екатеринослав, формировать кавбригаду.

В том, 1920, году путешествия по железным дорогам России были сложны. Люди ехали только по правительственным командировкам, вся громадная страна жила на военном положении. В вагон Котовского попросилась женщина-врач. Со свойственной ему галантностью Котовский не отказал даме. По дороге познакомился, а по приезде в Екатеринослав — на ней женился.

С объятиями и дружескими шутками принимал каждого бойца, каждую новую часть Котовский в Екатеринославе. С штабами, как лавочник, торговался из-за седел, пулеметов. Комната, в которой с женой жил Котовский, завалилась шашками, переметными сумами, седлами, ремнями. По вечерам, при свете лампы, вместе с женой и адъютантами толковал с шорниками, показывая, как кроить кожу, приказывал экономить. Котовский был хорошим хозяином и мастером на все руки.

Наконец 12 января комбриг Котовский в малиновых чикчирах, в серой венгерке с бранденбурами, с орденом Красного Знамени над сердцем, любивший все помпезное, начал готовиться к параду бригады в селе Лозоватовке под Екатеринославом, после чего бригада должна двинуться на фронт.

На парад Котовский вызвал высших красных командиров Украины, произносились речи, оркестры беспрерывно гремели маршами. Все прошло блестяще, и прямо с парада по снежной дороге бригада двинулась походным порядком на фронт против генерала Деникина.

Впереди бригады в сопровождении адъютанта ехал Котовский на знаменитом жеребце Орлике. Сзади гроыхали пулеметные тачанки, развевались красные платки штандартов, тяжело бежали отдохнувшие артиллерийские кони, на полкилометра расстилался пестрый лес пик.

Мерзлый снег широкой, белой, укатанной дороги звенел под копытами коней. По команде комполка Мишки Няги уже выехали вперед песенники и грянули частушки:

Вот веселые, живые
Вам частушки фронтовые!
Ой, дуди, моя дуда,
Выходи народ сюда!

Этим куплетам улыбался комбриг Котовский: ведь это же почти сказка — приговоренный к виселице разбойник едет красным генералом вместе со свинопасом Нягой и скоро разобьет в пух и прах образованных генералов-академиков. А потом во главе этих же разбойничьих полчищ, орущих частушки, грянет и на Европу.

Как раскаченный тяжелый таран впивалась кавбригада Котовского в толщу уже катившихся от Орла белых войск. На десятки километров заходил в тыл, сеял панику, отбивал обозы. Темперамент Котовского, дорвавшегося до большого дела, развернулся во всю ширь. В лихости равнялись с комбригом и командиры полков — белгородский улан-вахмистр Криворучко, Мишка Няга и приднестровский партизан Ваня Макаренко.

К «Одессе-маме» напирала конница Котовского. Уж прошли тяжелые бои под Вознесенском. После боя под Березовкой разбойная бригада спала и видела Одессу. Изю всех сил пёр на Одессу Котовский. Заняв село Потоцкое, окруженный своими командирами, явился на телеграф, потребовал телеграфные ленты, надеясь установить переговоры белых штабов.

Но пока телеграфисты разбирали катушки, раздался треск телеграфного ключа. Котовский приказал принимать разговор. Вызывала белая Одесса белую станцию Раздельную.

— Включай Одессу! Поведу разговор! — кричал Котовский и стал принимать сведения с Раздельной из штаба белых.

Штаб передавал сведения о кавбригаде Котовского. С Раздельной предупреждали, чтоб гарнизон Одессы был поставлен на ноги, ибо не позже трех дней надо ждать Котовского под Одессой.

Разговор кончился, последний вопрос:

— Кто принял?

— Котовский, — отвечает Котовский.

— Что за шутки в такое время, — выбивает в ответ телеграф.

— Уверяю, что принял Котовский.

На телеграфе стоял запорожский хохот Криворучко и Мишки Няги. Любитель остроумия и шуток, Котовский сел на своего конька.

По телеграфу началась агитация:

— Вы русский человек, дворянин, опомнитесь, что вы делаете, вы предаете русский народ большевикам, поверните лучше свою конницу на Москву.

В тот же день кавбригада выступила из Потоцкого, двигаясь на Одессу. Одесса уже задыхалась. Почти не оказывая сопротивления, белые бросали город, отступая к Днестру, к Румынии. Вокруг Одессы загорелись последние бои. Красные окружили Одессу тесным кольцом, а Котовский карьером пошел к Днестру, чтобы зайти в глубокий тыл белых и перерезать последний путь отступления.

В районе немецкой колонии Кандель, близ Тирасполя, Котовский зажал выброшенных на Днестр белых. До 10 000 солдат, офицеров, юнкеров, штатских скопилось в холодную ночь на снежном берегу Днестра. Это — смерть. Идти некуда. Румыны в ставшую румынской Бессарабию не пускают, обстреливают, а на русской земле — Котовский. Многие кончали на льду Днестра самоубийством.

Полуоборванная банда — «кавбригада Котовского» — уже давно дорывалась до офицерских сапог и штанов, во сне видели «галифе с красным кантиком». Но Котовский к зажатым на льду белым послал Криворучко с несколькими всадниками заявить от имени Котовского, что могут сдаваться без страха.

— Чтобы ни одного не трогать, понимаешь? — басом гремел Котовский. — Расстреляю всякого, кто пленного тронет.

И бойцы кавбригады знали, что слово Котовского твердо.

Сбившись в кучу на снегу, стояли полузамерзшие белые, когда к ним подъехали парламентары Котовского.

— Де тут полковник Стесселев?! — закричал с седла партизан и, найдя его, продолжал: — Вы вот что, товарищ полковник, товарищ Котовский приказал сказать, что вы в таком положении, што мы с вами драться не желаем. А если которые гаспада офицера опасаются, что им што будет, то пусть не опасаются. Потому товарищ Котовский не приказал... И вещей отбирать тоже не будем... и ежели при гаспадах которые дамочки имеются, тоже пущая не опасаются, ничего им от нас не будет... Товарищ Котовский приказал, чтобы все шли до нас и чтоб без всякого — не опасались...

Такой эпизод в русской гражданской войне встречался редко. Пленных чаще ставили под пулемет.

Белые поверили Котовскому. Пошли сдаваться. Котовский принял белых именно так, как, вероятно, когда-то читал в каком-нибудь романе. Комбриг приказал выстроить

всех пленных и всю красную кавбригаду и вымахнул на знаменитом Орлике, подбоченясь.

Перед белыми произнес сумбурную заикающуюся речь. Эта речь была не коммунистической. Речь — «необъятной широты» русского человека.

В Реввоенсовете подпольщики-коммунисты мурзились с неудовольствием насчет «дворянско-русских жестов Котовского». Но делать нечего, может быть, не была бы так взята Одесса, если б на нее не налетел Котовский. И Реввоенсовет «товарища Котовского за доблестные подвиги, проявленные в боях в районе Одесса — Овидиополь, постановил наградить орденом Красного Знамени».

Так, становясь одним из виднейших маршалов, Григорий Котовский украсил грудь вторым орденом.

АТАКА НА ПОЛЬШУ

Но полная слава красного маршала пришла к Котовскому летом 1920 года, когда в ответ на наступление Пилсудского на Россию красные войска под командой Тухачевского пошли на Варшаву.

Правда, не целиком доверявшее «дворянину-анархисту» Котовскому главное командование не выдвинуло его на решающую роль вождя красной конницы. Напротив, в противовес ему партийные верхи выдвинули другую фигуру, советского Мюрата — Семена Буденного, командира 1-й Конной.

Котовского труднее взять в клещи политического аппарата. Но все же и на роли второго вождя красной конницы Котовский приобрел громадную популярность в солдатских массах.

Еще до того как пришла с Кавказа походным порядком Конармия Буденного, Котовский со своей кавбригадой пошел на поляков. Вокруг Котовского та же бандитская «запорожская сечь», «братва», с Нягой, Криворучкой, комиссаром Даниловым, жонглером Гарри. Но это «красиво-революционное» окружение густо замешано в кавбригаде бывшими полковниками, ротмистрами, поручиками. По пестроте, по отчаянности, по «аромату этого пестрого букета» вряд ли даже наполеоновская кавалерия Мюрата могла бы соперничать с советской кавбригадой, оглавленной разбойной фигурой Григория Котовского.

Котовский любил кавбригаду, как огородник любит свой огород, как охотник любит своих борзых и гончих. Самолич-

но подбирал командиров, сам среди пленных разыскивал отменных рубак. Не спрашивал, «как веруешь», в кавбригаде вместе с прошедшими всю войну красными партизанами смешались белые казаки — деникинцы, шукуринцы, военнопленные мадьяры, немцы, неведомые беглые поляки и чехи.

Подбор вышел хорош. Недаром котовцы даже не называли себя красноармейцами. Это оскорбление.

— Не красноармейцы мы, а котовцы.

— Какие мы коммунисты, коммунисты сволочь, мы — большевики.

И были здесь чистокровные «национал-большевики», те, что плавали 300 лет назад на челнах Степана Разина. Эта конница вышла победительницей из гражданской войны, но теперь посаженному нежным огородником Котовским «саду-огороду» надо было выдержать иное боевое испытание — противником стала регулярная польская кавалерия генерала Краевского.

Уланы, шволежеры, с иголки обмундированные, накормленные досыта, снабженные оставшимися от мировой войны французскими запасами, столкнулись под Жмеринкой с полуборванной, полуголодной конницей Котовского.

Бой неравный. Но так называемое «моральное состояние войск» тоже на войне определяет многое. Уж на отдыхе в Ананьеве тосковали рубаки-котовцы:

— Войны бы нам настоящей. Свербит. Невмоготу. Ведь мы с войной женатые. А то скучно и пообносились.

И наступили сроки, встрепенулись котовцы, пойдя против Европы. «Дух войск» — великое дело. Не только польские, но и французские опытнейшие генералы в полной мере оценили красную конницу Котовского и Буденного. «Со времени Наполеона не было подобных конных операций», — свидетельствуют они.

Первый самый тяжелый бой конницы Котовского был в районе Таращи, у Белой Церкви. Поляки устроили густые проволочные заграждения; на участке Котовского скопилась сильная польская артиллерия. Передают, что под ураганным огнем во главе бойцов бросился в атаку Котовский, и будто бы, спешившись вместе с бойцами, сломали столбы, прорезали проволоку, и в прорыв ринулись всадники за Котовским, падая и давя друг друга, под ураганным огнем.

Рубились с пехотой польских легионеров. Врезавшись в самую гущу, Котовский зарубил польского полковника. В этом бою потери котовцев были чрезмерны. Почти половина бойцов выбыла из строя. Любимец Котовского приднест-

ровский партизан Макаренко был убит, а комиссару полка Журавлеву снарядом оторвало руку.

Но после боя под Белой Церковью кавбригаде полегчало. Тухачевский сломал своим тараном польский фронт, поляки рухнули и по всему фронту побежали.

На ходу, наспех пополняя свою кавбригаду, Котовский бросился вместе с Буденным на Львов. Своим ударом-наступлением красная конница сшибла и повалила поляков. Неслись по 40 километров в день. Это было всесметающее наступление, и котовцам уже мерещилось, вот-вот перемахнут через порог Европы.

Котовцы шли мимо Пузырьков, Медведовки, Изяслава, Катеринбурга, Кременца, неслись победными атаками. Под Белопольем ночью при свете луны бросилась на них встречной атакой польская конница. Но отбил атаку Котовский с большими для поляков потерями.

Картина боев одна и та же. Когда после упорной борьбы уж изнемогала советская пехота, на смену появлялся Котовский с Криворучкой, Нягой, Кривенко, Удутом, с царскими полковниками и ротмистрами, и конница, сверкая шашками, с гиком, свистом, улюлюканьем кидалась в атаку.

Иногда командование фронта — Егоров и Сталин — бросало кавбригаду в прорывы, в польский тыл, и кавбригада наносила поражения, мотаясь днями в промежутке за польским тылом.

Постаревший, бледный от переутомления, с опухшими глазами, охрипший, носился Котовский во главе бригады на знаменитом любимце бойцов Орлике, по которому вся кавбригада гадала о боях и поражениях: захромал Орлик или невеселый — быть беде, разобьют; ладен, веселый — наша возьмет.

Котовский беспощаден. Хоть и имел в распоряжении подлинных военно-образованных офицеров, но командовал бригадой сам. Он не был военным, но был истым партизаном, и воле его не перечь. Иногда бросал бойцов даже в ненужную, но «эффектную» атаку.

В бою под Пузырьками во время атаки метавшийся словно страшный черт, забрызганный грязью, весь в пыли, Котовский приказал Криворучко спешно бросить эскадрон под командой Кривенко прямо в лоб польским пулеметам.

Жестокий приказ. Но такова уж эта полуразбойная, полуреволюционная армия, народ, севший на коня, таковы ее нравы. Кривенко, удалой комэск, в другой раз, может, сам бы пошел в лоб на пулеметы, на белополяков. Но он наменял под весь эскадрон гнедых, как один, коней. Себя

редко жалел, но подбор масть в масть гнедых коней стало жалко травить на польские пулеметы. И не пошел в лоб, а начал забирать сторонкой так, что густой пулеметный огонь хлестал мимо.

Котовский с коня это заметил.

— Эй! — кричит трещащим басом Криворучке. — Куда заходит твой Кривенко! Жарь в лоб!

— Ванька, в лоб! — надрываясь, кричит Криворучко.

Но комэск не то дрейфит, не то жалеет коней, гнет свою линию.

— Эх, Ванька, дурной хохол, попусту матка тебя носила! — И Криворучко пустил карьером коня к эскадронному.

Подскакав, осадил, ругается, кричит Криворучко, бросил шапку оземь. И вдруг со всех сил опустил саблю полкового командира на голову Кривенко. Кривенко упал с седла. Эскадрон в замешательстве. Конники пососкакивали с лошадей, матерятся, крики, проклятие «мать-перемать»! Но тут уж скачет сам Котовский. И Криворучко, взяв в командование эскадрон, под дикое «ура!» и улюлюканье бросается в пулеметный дождь прямо в лицо врага.

Правда, шашечного удара Котовский не одобрил, еле выжил Кривенко, треснул череп.

— Можно, конечно, расстрелять, но не в таком случае, — говорил Котовский.

Да и Криворучко чувствовал, что зря хватанул, все спрашивал Котовского:

— Григорий Иваныч, а що воне таке за трыщина... що таке?

Но когда выздоровевший, мрачный Кривенко пришел к Котовскому просить перевода в другой полк, Котовский встретил его сурово:

— Я хотел взгреть Криворучко за то, что он тебя, предателя революции, не расстрелял!

На помощь пришел сам Криворучко с хохлацкой хитростью. Послал Котовскому отбитое офицерское польское седло — первый сорт. И заговорил:

— А що, Григорий Иваныч, не назначить мне Ваньку обратно эскадронным, а?

— Как хотите, ведь «физическое внушение» ему сделали вы, я тут ни при чем, — пробасил Котовский.

— Так я ему дам эскадрон, у меня така думка, що дурость Ванькина уся через тую трыщину выйшла...

И Кривенко снова взял в командование эскадрон. В крепкой узде держал Котовский свою «шпанку». Закоренелых, не шедших ни на какой страх мародеров-бойцов расстреливал.

Правда, говорят, эти расстрелы с трудом переносил комбриг. Садился после них в хате за стол, сжимал руками голову, скреб свою блестящую лысину, бормоча, ругаясь по-молдавски:

— Футуц кручь, я мейти футуц паска мейти.

Для своей бригады Котовский был не только боевым командиром, но и трибуналом, и государством, и вождем. На Котовском кончалось все, и жизнь, и смерть в красной коннице. Стонали местечки, городки от прихода советской кавалерии. Эти шедшие на Европу войска были большие охотники до «камушков и часиков». Но котовцы не буденовцы.

— Буденовцы — что, виндиудалисты! — хохотал комполка Криворучко. — Кто нашел, тот и тащи! А у нас — круговая порука, пользуйся, но общей кассы не забывай!

Котовский знал нравы своей банды и разрешал «гарбануть» — богатых, но за грабежи мещан, крестьян, местечковых евреев беспощадно расстреливал, внедряя, так сказать, в разбой «классовую линию». И дань грабежа складывалась в общую кассу кавбригады.

Входя в хату на отдых после боев, первое, что приказывал Котовский ординарцам, — любимую:

— Яичницу в 25 яиц!

Но перед боем не ел целый день и бойцам приказывал не есть.

— Дддурачье! — кричал характерным, чуть заикающимся басом. — Разззв жж можно жжрать перед ббоем? Поппадет ппуля в жживот — и ббаста!

Здоровье, силу и спорт любил Котовский. Гимнастику проводил даже на войне. Ругаясь, заставлял заниматься гимнастикой всех командиров. О себе говорил:

— Я энтузиаст физического воспитания, тут уж ничего не поделаешь. Здоровое нагое тело — да ведь это ж красота!

В местечке Хабное, где после боев стала кавбригада, на второй же день собрал всех командиров в местной синагоге — единственном просторном помещении. Произнес вводную речь о необходимости гимнастики, приказал всем раздеться, разделся и сам и, стоя перед выстроившимися в две шеренги командирами, начал:

— Первый прием, рраз! Начинай, дыши...

Дело было зимнее. А комбриг открыл окна. Командиры поругивались про себя, синели от холода, но проделывали все мудреные приемы вместе с энтузиастом физического воспитания. После гимнастики Котовский приказал обтираться водой. В бочке нашли воду, приготовленную для еврейского религиозного ритуала.

— Обтирайся! Бог не обидится! — ревел Котовский.

И под общий хохот зачерпывали командиры, обтирались. Только тут заметил Котовский, что одного комэска недостает, и прямо из синагоги пошел в его квартиру.

— Отколет сейчас над Митькой «котовку», — хохотали, шли за ним командиры. Знали, что уж что-нибудь да выдумает комбриг, идущий к неявившемуся комэску.

— Как бы, грехом, не «шлепнул»?

Котовский хоть и улыбаясь, а возмущался: «Плевал, говорит, я на Мюллера? Дурак, да это же жизнь, как же на нее плевать?»

У избы остановился. Выскочил ординарец.

— Спит? — крикнул Котовский.

— Спит, товарищ комбриг.

— Принеси-ка два ведра воды, да похолоднее!

С двумя ведрами в руках, пригибаясь в сених, Котовский вошел в покосившуюся еврейскую хату, где на постели, разметавшись, храпел еще полунагой комэск.

С размаху вымахнул Котовский на спящего ведра, приговаривая:

— Обливаться перед девятым номером нужно, товарищ комэск! Вот как!

А наутро трубы уж играли генерал-марш. И странная конница из полубандитов, солдат-командиров, старых офицеров, уголовников подымалась, седлала коней и трогала по пыльным улицам, выступая в бой за Львов.

По 50 километров неслась в сутки красная конница. Еще один переход, и возьмут столицу Галиции. Но под Львовом получился категорический приказ свертывать на север, спасти общее положение уже обессилевшей под Варшавой Красной Армии.

Как ни торопилась конница — не успела. Французский генерал Вейган положил предел русскому красному размаху, и, вместо наступления, Красная Армия пошла грандиозным паническим откатом.

Для конницы Котовского начались жестокие арьергардные бои. Прикрывая панически побежавшую красную пехоту от нападающих теперь польских уланов, Котовский забыл и гимнастику, и обливанья водой. Какая гимнастика, когда по три дня маковой росинки во рту не бывало у бойцов! В этих боях обессилели котовцы. А главное, упало моральное состояние войск: не пустила Европа Котовского делать революцию.

Лучший польский конный корпус генерала Краевского получил приказание: истребить разбойную кавбригаду.

Польская кавалерия торопилась зажать в клещи беспорядочно несущихся на восток котовцев. И вот близ Кременца полным кольцом поляки окружили Котовского на лесистом холме Божья Гора.

Это полная гибель. Командование Юго-Западного фронта похоронило отрезанную кавбригаду. С трудом втащили на гору котовцы последние пушки, тачанки с пулеметами, лазаретные линейки. Котовский обратился к бойцам с речью.

— Братва! — кричал он. — Простите меня, может быть, тут моя ошибка, что завел я вас в этот капкан! Но теперь все равно ничего не поделаешь! Помощи ждать неоткуда! Давайте иль умрем как настоящие солдаты революция, или прорвемся на родину!

По горам трупов собственных товарищей с холма бросился на поляков Котовский. Произошла рукопашная свалка. Покрытые кровью, пылью, размахивая обнаженными саблями, бежали вприпрыжку рядом с тачанками обезлошадевшие конники. Вблизи скакавшего Котовского разорвался снаряд, выбил комбрига из седла. Котовский упал без сознания. И еле-еле вынесли своего тяжело контуженного, комбрига котовцы.

Прорвалась горсть конницы с без сознания лежавшим Котовским. Котовского везли в фаэтоне. Он метался, бредил, кричал. Врачи считали, что рассудок не вернется к безрассудному комбригу. Но здоровье Котовского выдержало даже эту польскую контузию под Божьей Горой. Через месяц Котовский выписался из госпиталя, вступив в командование бригадой, но войны с поляками уже не было.

КОТОВСКИЙ И МАТЮХИН

В Риге шли мирные переговоры советских и польских дипломатов. Красный и польский фронты остановились на новых границах. Зато по Украине загуляли поддерживаемые поляками отряды перебежавших в Польшу бывших красных командиров Булак-Булаховича и есаула Яковлева, остатки петлюровской армии генерала Омеляновича-Павленко и отряды полковника Перемыкина.

Против них красное командование бросило пополненную, отдохнувшую кавбригаду Котовского. Под Волочиским Котовский сошелся с Омеляновичем-Павленко. В атаках резались круглые сутки. Но Котовский взял верх над петлюровцами и сбросил их на лед реки Збруч.

Тяжелее были сражения с атаманом Тютюником, но и тут успех был на стороне Котовского.

А вскоре специалисту по борьбе с повстанцами Котовскому пришлось грузиться в вагоны, ехать с Украины в Тамбовскую губернию на усмирение крестьянского восстания Антонова. На долю Котовского здесь пришлась борьба с сильной, скрывавшейся в лесах мужицкой организацией, во главе которой стоял отчаянный человек кузнец Иван Матюхин.

После долгих и бесплодных гоняний по тамбовским полям за Матюхиным Котовский взял наконец Матюхина хитростью. Тамбовские чекисты поймали повстанческого командира Эктова, ходившего под кличкой Эго. Вместо расстрела Котовский упрощил чекистов отдать Эго ему.

И чека перед Эго поставила вопрос: либо стенка, либо к Котовскому ловить Матюхина. Эго предпочел последнее.

Любитель фантазий Пинкертона, Котовский выдумал довольно тонкий план поимки Матюхина и уничтоженья его отряда. К Эго он приставил восемь неотлучных бойцов-котовцев, приказав: при первой подозрительности пулю в лоб!

И во главе сорока отборных всадников Котовский и Эго, окруженный восемью котовцами, поехали на хутор к мужику-старика, сын которого, по словам Эго, ходил в отряде Матюхина и знал Эго в лицо.

На хуторе подъехавшие всадники вызвали старика, и Эктов начал действовать по плану Котовского. Указывая на Котовского, сказал, что это повстанческий атаман Фролов, хочет драться против «камунии» вместе с Матюхиным, пусть старик даст кого-нибудь, кто бы отвез Матюхину от Фролова письмо.

Старик вызвал сына-пастуха, и пастух поскакал к Матюхину в лес с письмом, а через час привез ответ, что Матюхин благодарит Эктова и атамана Фролова и предлагает встретиться и соединиться через неделю в селе Кобыленка.

Котовский телеграфировал в Тамбов просьбу очистить весь прилегающий к Кобыленке район от красных войск, чтоб не спугнуть мятежного кузнеца.

Фантаст, авантюрист, каторжник, любитель сильных ощущений, в красных штанах, в желтой куртке, почти опереточный Котовский, возвратясь к отряду, приказал всем переодеться в черные круглые смушковые шапки-кубанки, нашить из тряпок широкие лампасы наподобие казачьих, чтобы походить на повстанцев. И весь отряд в 200 человек самых разнообразных бандитов переоделся, готовясь к кровавому представлению.

В назначенный день, как было условлено, встав с отрядом в селе Кобыленка, Котовский выслал к осторожному кузнецу только одного котовца: узнать, приедет ли Матюхин к атаману Фролову?

Рассказывают, с необычайным волнением ждал Котовский возвращения посланца. Ни с кем не говорил. По избе ходил бешеным шагом ожидания. И когда доложили комбригу, что Ванька приехал, выскочил на крыльцо и сам за руку втащил Ваньку в избу.

— Ннну? Ннну? Чччто? Кккак? — заикался в волнении.

— Привел. Тут в полуверсте ожидает. Езжай, говорит, к Фролову и доложи, мол, что жду его с Эктовым сюда.

В избе воцарилось молчание: поедет Котовский вдвоем с Эктовым, рискнет или нет? Котовский отошел к окну, стал смотреть в окно, барабанил по стеклу пальцами. А когда отвернулся от окна — словно похудел.

— Ну что ж, товарищ Эго, поедем? — сказал, не глядя на Эго.

Эго поднялся с лавки, черт знает о чем думал.

— Поедем, — сказал.

Но тут порог пересек Криворучко. Не пуская Котовского, закричал:

— Не пушу тебя! Зарубят они тебя одного! Ерунду ты выдумал...

Но игра была уже начата, и ее надо было кончать.

— Молчать! — рявкнул Котовский. — До моего возвращения комполка Криворучке принять в командование отряд, а убьют меня — пробиваться.

Из села Кобыленка верхами выехали трое: Котовский, Эго и посланец Ванька. Но как только увидели на опушке леса всадников Матюхина, Котовский, касаясь коленом колена Эго, наклонился с седла, пробормотал:

— Отойдешь ли в сторону, мигнешь ли, слово ли скажешь — первая пуля — тебе! Живым не дамся.

Неизвестно, о чем думал тоже выдавший виды бывший штабс-капитан из солдат Эктов.

— Напрасно вы это говорите, товарищ Котовский. Я в Тамбове уж знал, на что иду, — пробормотал.

— Ну, ладно, увидим. — И Котовский, прищпорив Орлика, подскакал к Матюхину.

Странные и сильные ощущения переживались у опушки леса тремя людьми: Эго, Котовским и Матюхиным. Но, вероятно, самые сильные ощущения переживал все-таки Эго: он мог в любую минуту предать Котовского Матюхи-

ну, но мог предать и Матюхина Котовскому. У него был свободный выбор. Эго выбрал второе.

После облобызаний и приветствий атамана Фролова с Матюхиным матюхинцы во главе с атаманом-кузнецом верхами шумно поехали к селу. Уже в сумерках въехал в село силач-кузнец Иван Матюхин на тонкокровном аргамаче, — не человек, а глыба железных мускулов, горячие глаза, руки как башни, а золотистый, нежный, бывший графский конь отбит в совхозе «Красный луч». Конь шел шагом, рядом с Орликом Котовского.

В двусрубную просторную избу сошлись до 20 повстанческих командиров, в ловких поддевах, высоких сапогах, до зубов увешанные оружием. И столько же было котовцев с Гарри, Криворучко, комиссаром Даниловым, Эктовым.

Встреча атамана Фролова с кузнецом Матюхиным открылась пиром. Пир пошел в избе горой. Враги матерятся, льют, пьют самогон, бабы несут жирные щи, баранину, жареных кур, загромоздили стол. Поют повстанцы, грозят перебить всех «горбоносых комиссаров» на свете, дойти до Москвы и самому Троцкому кишки выпустить.

Керосиновая лампа горит на столе, освещает полутусклым светом избу. Лица ожили в бродящих густых тенях, в напряженности, в жарком говоре, в проклятиях, в клятвах.

— Бей камунию! Я всю камунию в Расее переведу! — кричит Матюхин, грохает кулаком по столу, как берковцем.

Котовский отдал приказ, что он первым убьет Матюхина, а за его выстрелом все бросятся на оставшийся на селе матюхинский отряд. Искоса кузнецким глазом смотрит на атамана Фролова Матюхин. Недоверчив кузнец, а поверил. Это как ни в чем наливает, пьет самогон. Эго свой человек. Выступают один за другим с речами, еле держась от крепкого самогона на ногах, то матюхинцы, то котовцы. Только вдруг встает Котовский.

— Довольно! — кричит. — Не Фролов я, а Котовский! — И в упор разрядил маузер в Матюхина. Раненный в живот Матюхин осел на скамье. Повстанцы бросились на котовцев. Кто-то разбил лампу, и в кромешной темноте началась страшная схватка. Загремела беспорядочная стрельба, полопались стекла окон. По стрельбе бросились на селе котовцы на отряд Матюхина, началась рубка полусонных повстанцев.

Тремя пулями был убит кузнец Матюхин, перебиты залившие кровью пол пьяные матюхинцы. Двумя пулями

ранен в грудь и в правую руку Котовский, в ногу ранен Криворучко и смертельно в живот — комиссар Данилов.

Но странная, своеобразная душа у комбрига Котовского. Когда его на носилках вынесли из избы, чтоб везти на станцию, на поезд в Москву, он приказал позвать Эго.

С носилок Котовский мерил Эго глубоким взглядом тяжелых, острых глаз.

— Ничего ты не знал в Тамбове, на что ты идешь, — проговорил усмехаясь. — Пристукнуть теперь тебя я должен.

Эго хоть и не понимал — за что? — побелел, как трупы перебитых матюхинцев.

— Да жаль вот, рука ранена, не поднимается, — продолжал, не спуская злых глаз, Котовский. — Не пойму я тебя, дурака: дурак ли ты уж такой или такой уж честный Иуда. Ведь ты же меня куропаткой связанной Матюхину выдать мог? Героем бы у своих стал! А вот поди ж ты — не выдал!

И, обернувшись к чекисту-политкому, проговорил нарочно громко:

— Дать ему пропуск на все четыре ветра! Не хочу больше ваших чекистских фортелей!

И опять к Эго:

— Квиты. Езжай. Теперь в Москве ба-альшим комиссаром по кооперации будешь!

Котовского понесли на носилках. Спешно увозили в Москву — делать операцию. А победители котовцы в селе Кобыленка по лотерейным билетам разыгрывали единственную еще не расстрелянную женщину из отряда Матюхина: кому перед расстрелом она достанется?

СМЕРТЬ КОТОВСКОГО

С 1922 года у Советского государства нет фронтов. Замерли боевые карьеры красных маршалов. На Украине в районе Умани, Гайсина, Крыжополя причудливой страной раскинулся, встав на квартиры, 2-й конный корпус имени Совнаркома УССР. Им командует красный маршал Григорий Котовский.

Он уже почти «член правительства» России, член Реввоенсовета и трех ЦИКов — Союзного, Украинского и Молдавского. За боевую деятельность Котовский награжден всеми наградами, которые выдуманы в коммунистическом государстве: кавалер трех орденов Красного Знамени и обладатель революционного почетного оружия.

Это вершина государственной лестницы — карьера былого разбойника бессарабских больших дорог.

Но странна жизнь 2-го конного корпуса, словно забыли в перечень советских республик вписать еще одну автономную республику — «Котовию».

Много хлопот у Реввоенсовета с этой «республикой» и много врагов в Реввоенсовете и среди головки партии у 40-летнего неперебродившего, неугомонного, разбойного Григория Котовского.

Перед прекрасным буржуазным особняком — иностранцы, польские купцы, продающие корпусу сукно, дожидаясь, стоят вперемежку с советскими военными из «хозупра». День жаркий, июльский. Долго дожидались комкора Котовского, дважды бегали ординарцы докладывать. Наконец под чьими-то тяжелыми шагами закрипели деревянные ступени, и сквозь широко распахнутые стеклянные двери вышел комкор Григорий Котовский.

То есть нет, это не командир корпуса, это к европейским польским пиджакам вышла скифская, мускулистая, волосатая Азия. Товарищ Котовский появился перед купцами в одних трусиках. И пораженным полякам этот уж уставший атлет проговорил полнокровным, привыкшим повелевать басом:

— Пожалуйста, не стесняйтесь, господа. Если 30 градусов жары, то почему ж не ходить голым?

В роскошном кабинете командира корпуса — драгоценное оружие по стенам, мебель красного дерева с бронзой, карельская береза, из соседней комнаты слышен радиоаппарат, передающий Лондон. Здесь все приятно глазу и слуху, только необычный костюм да непринужденный басовый смех хозяина смущает иностранных гостей.

Но за ужином, переливаясь, горит хрустальная барская люстра. Ловко и бесшумно, как дрессированные мыши, бегают, подают ординарцы. Меняются блюда, водки, вина, шампанское. В русских и польских руках чокаются перезвонном бокалы и рюмки.

Командир корпуса теперь уже в гусарских чикчирах, в серой венгерке, с тремя красными бантами орденов. На короткой бычьей шее рельефно выступает сеть упругих толстых жил. Тяжелые, умные, ищущие глаза под низким упрямым лбом. Если б не глаза, казалось бы, никакой мысли не бьется в этом громадном атлетическом теле.

Котовский в ударе. Рассказывает гостям про свою знаменитую дуэль с польским уланом в коридоре двух еще не сшибшихся кавалерийских колонн. Он даже горячится вос-

поминанию и слегка заикается, отчего разломанное, задержанное слово еще сильнее и выразительней:

— ...И как сплеча рруббанул я его!

И вместе с взмахом сильной руки над обутыленным и цветущим столом кажется, что закровянился багряный бант у Котовского на груди.

Гости вторят смеху, хоть рассказ и не особенно тактичен, но ничего не поделаешь, сукно продается. А Котовский представляет уж своих котовцев, как они вспоминают боевые дни, раскрашивая их причудливым враньем.

— Они у меня все ведь «Кузьму Крючкова» зарубили, все как есть! Двадцать раз по-разному рассказывают. Только спроси, так и пойдет без усталости! «Под Царицыном в 19-м году, братишка, было, — с изумительной верностью начал копировать Котовский бойцов, — как запели командиры атаку, как пошли мы карьером из Черного Яру, гляжу, за речонкой у деникинцев казак гарцует. Конь под ним трепака пляшет, сам-то рыжий, грудь — что кобылий зад, руки во-о! В руках сабля вострая, золотая, царский подарок. Я его враз по спишкам узнал. На спишной коробке еще при царе патрет яво был. Запомнился. Молись, кричу, Иуда, своему Николаю! За офицерские портянки, Кузьма, погибаешь. И хватанул я яво по башке. Покатилась. В царицынском парткоме в спирту и теперь башка сохраняется...»

И опять общий хохот. Это — Котовия. «Республика Котовия». Здесь «президент» — Котовский. Но недаром жена комкора жалуется, что «у Григория Ивановича в Реввоенсовете и в ГПУ много врагов». Да, много врагов. Инспектор красной конницы московский маршал Буденный близок Кремлю, потому что перебродил и верен генеральной линии партии. А Котовский в 40 лет еще бродит, неугомонен, анархичен вождь второго корпуса. Здесь нет никакого закона, кроме «Котовского». Он и вождь, и трибунал, и государство для поседелых и молодых рубак-котовцев, что в казармах тоскуют без военного грабежа.

Котовский на полгода уезжает в Москву, слушает курсы в Академии Генерального штаба, но там недовольны им из-за «атмосферы» в корпусе. Словно сам комкор покрывает эту «запорожскую сечь» — Котовию, где не растет марксизм, необходимый коммунистическому войску.

Стратегией, тактикой, строем, рубкой глиняных чучел за неимением живых еще занимаются котовцы. Но как только зовут на доклад о международном положении, о немецком пролетариате, о предательстве Макдональда,

один за другим командиры рапортуют: «Прибыть не могу, кобыла сапом заболела...»

Неосторожно много, вместо партийных директив, вложил себя в свой корпус Григорий Котовский. Слишком вымесил своих партизан в беспрекословном подчинении комкору, обезличил все, подчинив себе. Здесь все растет в легенде партизанщины и вольницы.

— Мы котовцы...

— Так сказал Котовский.

И все кончено.

Ничего из старого, разбойного, авантюрного, фантастического багажа не забыл командир корпуса Котовский. Этот тяжелый атлет по-прежнему любит эффекты, отчаянность и позу.

Во время ультиматума лорда Керзона в 1923 году Котовский появился в Харькове на съезде незаможников. Съезд шумно приветствовал популярного красного маршала. В ответ Котовский произнес пышную невероятную речь. Он заверял съезд, что у Красной Армии найдется свой ответ на ультиматум английского лорда. Сжатая в кулак правая рука его все время обращалась к дипломатической ложе. Но, подойдя к самому патетическому месту, Котовский вдруг закричал:

— И я, как командир 2-го конного корпуса, заявляю, что одним ударом, одним блеском наших клинков!..

И вдруг в зале все как один поднялись и, как в зеркале, отразили позу, в которой на эстраде застыл комкор Котовский. Конца речи никто не слышал. Он потонул в буре аплодисментов.

А накануне, заявив, что он выступит на съезде с речью, и решив заранее, что во время речи обязательно выхватит пашку, Котовский в гостинице чистил клинок, заставлял даже приходивших к нему помогать. И входившие в номер заставляли Котовского перед зеркалом выхватывающим из ножен пашку.

— Ааа, дьявол, — ругался Котовский, — никак не выходит, подлюга!

Но все же на съезде всех ослепил Котовский сияющим клинком.

Он по-прежнему любит и авантюрные, фантастические романы. В кабинете его рядом с «Историей РКП(б)» лежит демонстративный «Тарзан». «Тарзан» очень нравился Котовскому, и, засыпая над «Историей РКП(б)», комкор переходил к «Тарзану».

— «Тарзан», знаете, после «Истории РКП(б)» — это как шампанское после касторки, — смеялся комкор.

Кроме «Тарзана» Котовский любил романы Пьера Бюна. И даже до того, что, возмущившись однажды на маневрах неладностью дивизии Криворучки, отдал в приказе по корпусу:

— Части товарища комдива-3 Криворучко после операции выглядели, как белье куртизанки после бурно проведенной ночи!

Все, что любил в детстве и юности, авантюру, театральность, браваду, пышное, озорное, чем жил в разбое на больших дорогах, — не ушло и от 40-летнего красного маршала Котовского. Поэтому-то, вероятно, несмотря на большие заслуги перед Советским государством, количество врагов у Котовского в мирной жизни возрастало с необычайной быстротой. На 7-м году революции, а любит все же о себе сказать Котовский:

— Я ведь, знаете, анархист.

И верно, Котовский, конечно, родной брат тех, швыряющих бомбы в театры и кафе с криком: «Да здравствует анархия!»

7 августа 1925 года в официальном органе партии «Правда» появилась странная телеграмма: «Харьков. В ночь на 6 августа в совхозе Цувоенпромхоза «Чебанка», в тринадцати верстах от Одессы, безвременно погиб член Союзного, Украинского и Молдавского ЦИКа, командир конного корпуса товарищ Котовский».

На похоронах над могилой Котовского соперник его по конной славе и популярности Семен Буденный говорил:

— Мы, кавалеристы, склоняем над открытой могилой свои боевые знамена и обещаем нашему Союзу, что имя товарища Котовского будет в нашей памяти в боях и вне боя.

Можно подумать, что Котовский убит на поле сражения. Нет, смерть члена трех ЦИКов и популярнейшего маршала — темным-темна.

В 1882 году пользовавшийся широчайшей популярностью в войсках и в обществе знаменитый «белый генерал» М. Д. Скобелев, человек рискованного и бурного темперамента, связанный с неугодными правительству течениями, — умер внезапно таинственной смертью в гостинице «Англетер». Знали все, что царь, двор, сановные военные круги ненавидели Скобелева, несмотря на все заслуги перед государством. И вокруг смерти популярного вождя поползли слухи, что «белый генерал» отравлен корнетом-ординарцем.

Но кто ж убил «красного генерала»? Из маузера несколькими выстрелами в грудь Котовского наповал уложил

курьер его штаба Майоров. За что? В газетных сообщениях о смерти солдатского вождя — полная темнота. То версия «шальной, бессмысленной пули во время крупного разговора», то Майоров — «агент румынской сигуранцы». Полнейшая темнота.

Но был ли судим курьер штаба Майоров, о котором газеты писали, что он «усиленно готовился к убийству и, чтобы не дать промаха, накануне убийства практиковался в стрельбе из маузера, из которого впоследствии стрелял в Котовского»?

Нет, в стране террора Майоров скрылся. Агент румынской сигуранцы? А не был ли этот курьер штаба той «волшебной палочкой» всесоюзного ГПУ, которой убирают людей, «замышляющих перевороты», людей, опасных государству?

О Котовском ходили именно такие слухи.

В смерти Котовского есть странная закономерность. Люди, выжившие невредимыми из боев, из тучи опасностей и авантур, чаще всего находят смерть от руки неведомого, за «скромное вознаграждение» подосланного убийцы.

Для Котовского таким оказался — курьер штаба.

В Одессе, в былом так хорошо знавшей Котовского, красного маршала хоронили помпезно. В городах расположения 2-го корпуса дали салют из 20 орудий. Тело прибыло на Одесский вокзал торжественно, окруженное почетным караулом, гроб утопал в цветах, венках. В колонном зале окрисполкома к гробу открыли «широкий доступ всем трудящимся». И Одесса приспустила траурные флаги.

Прибыли маршалы союзных республик и боевые товарищи Котовского. Под громы и стоны траурного марша Шопена по Одессе понесли тело. Над могилой сказали речи Егоров, Буденный, Якир. Именем Котовского назвали один из красных самолетов: «Пусть крылатый Котовский будет не менее страшным для наших врагов, чем живой Котовский на своем коне». Несколько городов постановили именем Котовского назвать улицы. Наконец, пришли предложения поставить вождю красной конницы памятник.

Может быть, и поставят Котовскому памятник — памятники молчаливы, памятники ничего не рассказывают.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Моя биография</i>	3
СКИФ В ЕВРОПЕ. Роман	23
КОНЬ РЫЖИЙ. Роман-автобиография	221
КРАСНЫЕ МАРШАЛЫ. Главы из книги	429
<i>Предисловие</i>	431
Тухачевский	433
Ворошилов	533
Блюхер	575
Котовский	608